

ЛЕВ РАЗГОН

**ЛЕВ
РАЗГОН**

*сюжет
продолжается*

Автор назвал эту книгу — «История продолжается». Каждый человек, что бы он ни делал, живет вместе с историей, неотрывен от ее поступательного хода. Но для автора однотомника «История продолжается», писателя Льва Разгона, это название имеет особый смысл. Ибо так случилось, что он стал не только современником и очевидцем, но и деятельным участником многих очень значительных событий, происшедших за долгие восемьдесят лет его жизни. В 1924 году будущий писатель шестнадцатилетним юношей вступил в комсомол. С тех пор началась его активная, творческая жизнь. Она оказалась почти целиком связанной с юными: с детским коммунистическим движением и детской литературой. Лев Разгон был одним из тех, кто организовывал пионерские отряды. Видный журналист, обращавший свое слово к гражданам с алыми галстуками на груди и к их вожатым, написал много статей и брошюр, посвященных пионерской работе. Лев Разгон всегда совмещал эту деятельность с непосредственной, живой работой в ребячьих коллективах. Много лет был он вожатым 91-го отряда пионеров Замоскворецкого района. И до сих пор ежегодно, в день его рождения, собираются вместе уже очень немолодые люди — ветераны того «разгоновского» отряда...

Естественной оказалась деятельность Льва Разгона и, в только-только создававшейся советской детской литературе. Как критик, как редактор он прожил эпоху «бури и натиска» этой литературы. В издательствах «Молодая гвардия» и Детгизе он работал вместе с такими выдающимися издателями литературы для юных читателей, как К. Пискунов, В. Компаниец, И. Халтурин... Он дружил

хурн... .. н 4 др

писателями, ставшими классиками советской детской литературы: Маршаком, Чуковским, Кассилем. И нельзя сказать, что литература создавалась на его глазах, — нет, она создавалась при самом деятельном, самом активном его участии. И сколько же старых, полувековой давности книг для ребят имеют в выходных сведениях подпись: «Редактор Л. Разгон».

В пятидесятых годах его имя стало известно всем, кто так или иначе имеет отношение к детской литературе: писателям, педагогам, библиотекарям и — прежде всего! — читателям. Своими критическими книгами, статьями Лев Разгон всегда боролся за то, чтобы главным воспитательным элементом была правда. Он резко обрушивался на произведения, в которых дети существовали в иллюзорной жизни, лишенной конфликтов, драматизма, каких-либо сложностей. В своих книгах он призывал верить нравственному чутью молодых читателей, их изначальной прямоте и отвращению ко лжи.

Особенностью критической деятельности Льва Разгона является его интерес к научно-художественной литературе. Он рассматривает ее не только как познавательную, но и как воспитательную. Ибо конечной целью всякой науки является поиск истины! Природа и ее законы не могут быть добрыми или злыми, они не обладают моралью в нашем понимании. Но нравственны поступки людей, отдавших свои жизни науке, их стремление установить непреложную истину, отринуть спекулятивную ложь. В книгах «Живой голос науки», «Зримое знание», «Волшебство популяризатора» Лев Разгон создал галерею подвижников науки, культуры, литературы, видевших свою

нравственную обязанность в пропаганде научных исканий и открытий, в том, чтобы вовлечь в эти поиски молодежь. Лев Разгон воскресил память о таких замечательных литераторах, как Я. Перельман и В. Лункевич, на чьих научно-познавательных произведениях выросло несколько поколений.

Историк по образованию, Л. Разгон много писал о прошлом родной страны. Для него летопись культуры — всегда рядом с летописью революционного движения. Поэтому даже тогда, когда он пишет о выдающихся деятелях науки, революционные идеалы озаряют страницы и диктуют необходимость нравственного выбора. Так, в повести «Один год и вся жизнь» знаменитый русский ученый Петр Николаевич Лебедев, больше всего на свете ценящий свой труд и считающий себя человеком вне политики, отказывается от науки ради политического протеста потому, что этого требовала от него высокая человеческая порядочность.

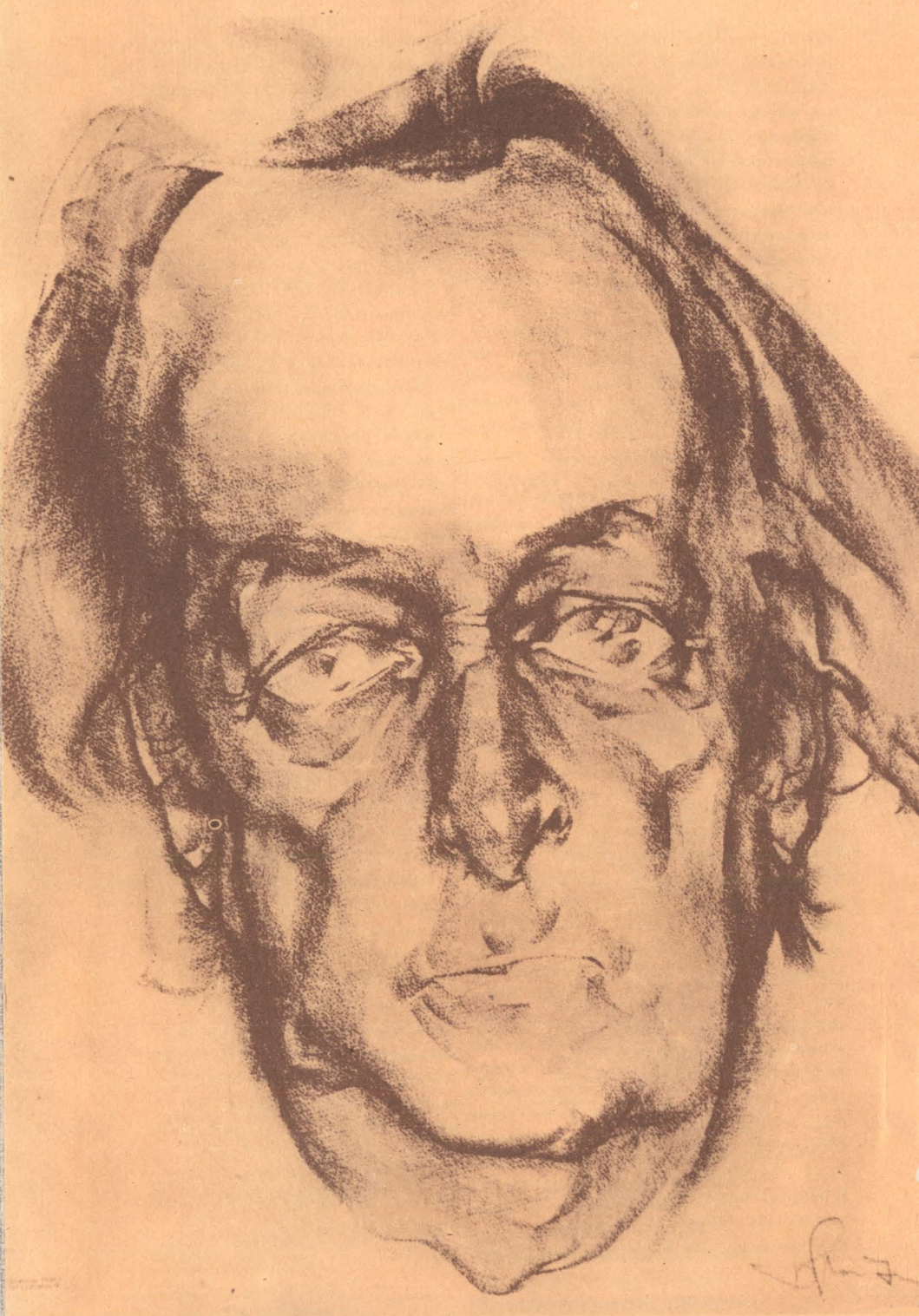
...В этой книге — два произведения, вроде бы не имеющие между собой ничего общего. Главный герой одного из них — выдающийся ученый и революционер, другого — молодежь двадцатых годов, комсомол, строящий первую в Советской России гидростанцию. Но автор справедливо усматривает между этими разными героями явную преемственность, неразрывную связь. В центре «Силы тяжести» — люди, отказывающиеся от спокойной жизни и научной работы ради революции. Они — в непрестанном бою, готовы жертвовать собой для победы правого дела, для блага

трудящихся. Таковы же мысли, чувства и тех комсомольцев, которые, презрев холод и голод, трудятся на Волжестроме.

Работая над «Силой тяжести» и сборником рассказов «Молодость Республики», писатель основывался на своих знаниях истории, на профессиональном умении работать с первоисточниками. Повесть «Шестая станция» носит как бы сугубо личный характер. Это повествование о людях, с которыми писатель провел все годы своей молодости: почти каждый персонаж имеет реального прототипа. В одном из своих публицистических выступлений Лев Разгон сказал, что этим произведением он хотел исполнить свой долг перед памятью целого героического поколения комсомольцев двадцатых годов.

Лев Разгон оказывает плодотворное влияние на литературный процесс, на литературную жизнь не только своими произведениями. Широка и неустанна общественная деятельность писателя, много пользы приносят его многочисленные выступления на дискуссиях, посвященных детской и юношеской литературе в Москве и братских союзных республиках. Внимательный и требовательный член общественных редколлегии энциклопедических изданий для детей, доброжелательный и принципиальный руководитель семинаров молодых писателей и критиков — таким его знают писатели и читатели нашей страны, таким они хотели бы видеть его еще многие годы... А прежде всего хочется пожелать Льву Разгону новых талантливых книг! Мы их ждем...

С. МИХАЛКОВ



ЛЕВ РАЗГОН

*сборник
продолжается*

Москва
«детская литература»
1988

ББК 84Р7

Р17

Художник Б. Жутовский

Разгон Л. Э.

Р17 История продолжается: Повести/Художн.
Б. Жутовский.— М.: Дет. лит., 1988.— 463 с.: ил.

ISBN 5—08—001052—5

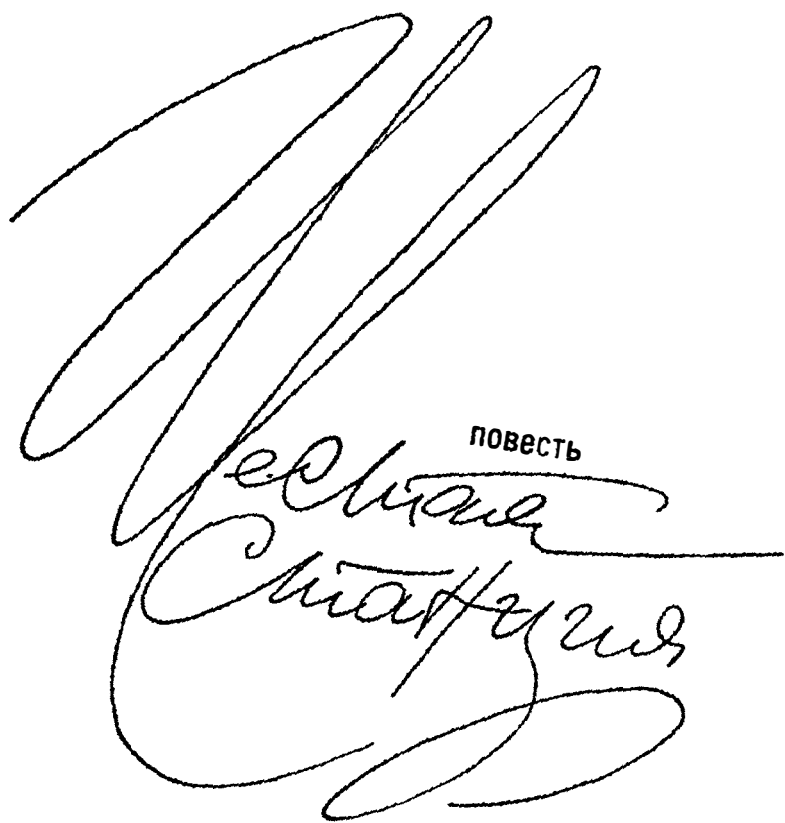
В книгу входят два произведения автора. «Шестая станция» рассказывает о комсомольцах двадцатых годов, строителях первой советской гидроэлектростанции — Волховстроя. «Сила тяжести» — повесть о жизни и деятельности выдающегося ученого и революционера П. К. Штернберга. События в ней разворачиваются в Москве в дни Декабрьского вооруженного восстания 1905 года и во время октябрьских боев в 1917 году.

Р 4803010102—285 Без объявл.
М101(03)-88

ББК 84Р7

ISBN 5—08—001052—5

© Состав
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1988



повесть
Весна
Станция

Основная специальность

Такие города я видел раньше в кино... На белесом экране возникали убегающие вдаль проспекты многоэтажных красивых домов. Зеленая листва кленов и лип заслоняла нижние балконы. Блестел только что политый асфальт. Съемочный аппарат наезжал на чистенькие, веселые подъезды, выхватывая крупным планом полетному нарядных девушек, улыбающиеся глаза молодых ребят, смеющихся детей, судачащих женщин... Сейчас мы увидим героя или героиню картины, и перед нами начнут разворачиваться судьбы кинолюдей, живущих в этом киногороде...

Но город был не на экране. Он был совершенно всамделишный — живой и настоящий. По-настоящему были широки его красивые улицы, настоящими были зеркальные витрины магазинов, по-настоящему нарядны и веселы люди на тротуарах и просторных площадях. Никаких заборов не было в этом городе, его зеленые и чистые дворы, заполненные детворой, были открыты для всех глаз.

От главного проспекта расходились небольшие улочки, зеленые, с сомкнувшимися кронами деревьев. Одна из таких улочек вывела меня к парку над крутым и высоким берегом реки. Парк был совсем молодой. Тоненькие деревья еще не давали тени. Они дрожали даже от легкого ветерка, а когда порывы ветра усиливались, за них становилось тревожно. Вероятно, не мне одному, потому что чьи-то заботливые руки обкопали их, покрасили известкой, натянули шнуры, поддерживавшие слабенькие тела деревьев. Пышные цветы росли на

аккуратных клумбах, газоны были свежи и нетронуты, хотя никакие ограды и грозные надписи не охраняли их покой. Неподдалеку от входа в парк была устроена горка из кактусов. В любовно продуманном беспорядке были расставлены десятки горшков — больших и маленьких, скромно-кирпичных и ярко разрисованных. И кактусы были все разные: огромные, осыпанные пламенем цветов, и малюсенькие, еле выклевывающиеся из своих крошечных гнезд, похожие на обомшелые камни. Сюда, в парк, принесли свои сокровища все любители этих милых колючих уродцев... Посредине клумб стояли пальмы и фикусы — такие домашние, что от них становилось теплее и мягчал резкий ветер с Ладоги.

Был необыкновенно трогателен этот молодой парк, украшенный так, как украшает свою самую парадную комнату новосел. С высокого берега отчетливо была видна гладь большой северной реки. Косо накренившиеся белые паруса яхт неслышно скользили по воде. Внизу, у яхт-клуба, на высоких башнях, ветер колыхал яркие цветные флаги, лодки ослепительно молочного цвета выстроились у причала. А рядом был пляж, отгороженные купальни, строгий голос инструктора раздавался через репродукторы: «Мальчик в красных плавках! Зайди обратно в бассейн, иначе отберу у тебя круг!»

Я сидел на удобной деревянной скамейке, вслушивался в смех и визг, несшиеся с реки, смотрел на детей, бегающих по дорожкам, и странные мысли проносились в голове. Я приехал в город, название которого навсегда было врезано в мою юность. Я никогда здесь не был раньше. Но многие годы то, что делалось на берегах этой реки, было источником забот, радости и тревог моего поколения. Здесь строилась станция, что была задумана Лениным, от которой пошли станции на Свири, на Днепре, на Волге и Ангаре, на Енисее и Оби...

Слово «Волховстрой» для нас было почти таким же близким и родным, как слова «революция», «Советская власть», «ячейка»... По ночам мы, комсомольцы, шли на вокзалы разгружать дрова — заработок шел на Волховстрой... В театрах и клубах мы устраивали спектакли, концерты и, не успев разгримироваться, тщательно подсчитывали выручку — она шла на Волховстрой... И когда я забежал в лавку покупать молоко и хлеб, продавец спрашивал: «Сдачу дать или же волховстроевские марки?» И вместо десяти — пятнадцати копеек сдачи я бережно укладывал в карман волховстроевские марки — и мои копейки шли на строительство станции...

И каждое утро, открыв газету, я искал в ней свежие вести о том, что делается на берегах Волхова: забетонировано еще два бычка, заканчивается строительство шлюза, начали монтаж новой турбины... И как же я завидовал тем моим товарищам, что ездили туда и своими глазами видели Волховстрой!

А я только сейчас, через десятки лет, попал сюда... И — странное дело! — ничего кругом не напоминало мне об осуществленной мечте моего поколения... Все, что я видел в этом красивом и уютном городе, было связано только с одним — с алюминиевым заводом, чьи дымящиеся трубы видны отовсюду. Все эти большие и красивые дома были построены заводом, и в них жили алюминщики. И большой Дворец культуры принадлежит заводу, и новая уютная гостиница была заводской. И заводскими были ясли, и детские сады, и стадион, и яхт-клуб. И в длинном здании с могучими колоннами помещался техникум, готовящий специалистов алюминиевой промышленности... И все разговоры людей, с которыми я ехал в автобусе, ходил по улицам, гулял по парку,— все были связаны только с алюминиевым заводом. И нигде я не слышал упоминания о моей станции!.. Но ведь она где-то здесь, рядом, она же не исчезла, не растворилась!.. И я ее сейчас увижу...

Я встал со скамейки, вышел из белокаменных ворот парка и остановился в раздумье на тротуаре.

Куда идти? В какую сторону? Навстречу мне шел мужчина. Он вел за руку маленькую девочку в красном платьице и весело-укоризненно ей что-то выговаривал... Я остановил его.

— Как мне пройти к станции?

— Это к какой?

— Как это — к какой? Ну к той, к электрической!

— К какой же?..

И тут я не выдержал. Я почти закричал:

— К той самой!.. К Волховстрою! К самой первой!..

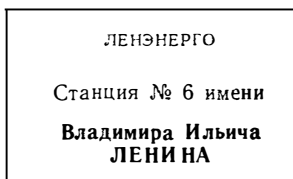
Мужчина внимательно на меня посмотрел и сказал:

— Так это вам на шестую станцию надо. Прямо, а потом налево свернете...

И, снова ухватив руку своей дочери, ушел. А я остался в странной растерянности. Вот так так!.. Шестая!.. Прямо, а потом налево... Почему она шестая?.. Ну хорошо, пойдем прямо, а потом налево.

...Вот она! Станция лежала передо мной, знакомая до самых мельчайших подробностей. Она была точно такая, какой я ее видел на цветных обложках книг и журналов, на бесчисленных серых оттисках газетных клише, на марках, бонах, плакатах... Все было здесь, ничего не пропало, ни одного нашего рубля, ни одной нашей копейки... Они улеглись гигантским полукругом бетонной плотины, вечным гранитом стен, овалами колоссальных окон машинного зала. Сверху было видно, как с водосброса свергается стеклянная масса воды и разбивается в желтые кружева пены, в серебряный туман мельчайших брызг. Две большие баржи и приткнувшийся к ним маленький катер стояли у гранитных стен шлюза.

Я спустился вниз. Шум падающей воды становился все громче, и это только подчеркивало тишину, царившую в огромном здании станции. У входа висела небольшая вывеска:



В колоссальном, почти дворцовом зале было пусто и тихо. Огромные корпуса генераторов блестели свежей краской. Сверкали начищенные вентили кранов, белая эмаль циферблатов измерительных приборов. Только по еле ощутимому, легкому, певучему звуку где-то внизу, под стерильно чистыми плитками пола, можно было догадаться, что станция работает. Молодой парень, выглядевший затерянным в звонкой пустоте машинного зала, отложил в сторону книжку и с любопытством посмотрел на меня. Наверху, у мраморных пултов, возле мозаики из многих сотен выключателей, колесиков, белых приборов, цветных лампочек, дежурили двое молодых ребят в кокетливых синих беретах. Они обрадовались случайному посетителю и увлеченно рассказывали ему о станции все, что знали. Но мне все казалось, что знают они до смешного мало и что я, впервые сюда приехавший, знаю больше их...

— Говорите, «Волховский проспект»?.. Нет, не слышали. У нас в городе главная улица называется «Прспект имени Кирова». Бетонный завод где был?.. Сань, ты не слышал где?.. Деревья? Так они всегда были! Ну, то есть, конечно, не всегда, но при нас всегда такие были. А мы тут и учились и выросли... А это Степаныч, наверно, знает... Он тут все знает, каждый камешек! Да, клуб волховстроевский был вот там, направо, где сейчас дома каменные... И комсомольская организация там была... ну, ячейка, как вы говорите... Нам, когда еще мы пионерами были, об этом на сборе дружины Степаныч рассказывал... Да вы про старых комсомольцев лучше у Степаныча спросите... Как найти его? Так вы у любого человека в городе спросите — вам и скажут, где его найти... Степаныча тут все знают, и большие и маленькие... Кто он по специальности? Сань, ты не знаешь, какая специальность у Степаныча?.. Ну, какая же у него специальность? Так он тут все и делал... И сделал... Давно ли, спрашиваете?.. Так всегда тут Степаныч был... Как мы все тут себя помним, так он всегда и был... Хотите, мы вам покажем, как наша станция управляется? Интересно! Ее несколько лет назад сделали полностью автоматической... У нас в смене всего три-четыре человека работают. А авто-

матизация у нас очень интересно сделана... Сейчас мы вам все объясним!.. Графтио? Как же не знать — знаем! Это академик, что нашу станцию спроектировал и построил. А вот где он жил — это вам Степаныч расскажет...

*

— А зовут меня Григорий Степанович. Григорий Степанович Омудев.

— Вы меня извините, что я вас Степанычем назвал...

— А что ж тут плохого? Так меня все здесь и зовут. И большие и малые. И пионеры меня так кличут. Да и вы меня так зовите. Я еще когда в горсовете был, так секретарша написала в объявлении: «Сегодня приема не будет, Степаныч уехал в Ленинград»... Наверно, с тех самых горсоветовских времен и привыкли ко мне посылать всех. А только я здесь не один такой, из старых... Тут немало осталось из тех, что станцию строили. Выступаем частенько у рабочих и школьников, напоминаем им про старое. Забывать это нельзя. И помнят здесь все, с чего началось. Вы напрасно обиделись на шестую. Ну, привык народ! А все равно знают — не шестая мы, а первая. Самая-самая первая. От нас все пошло.

Мы сидели со Степанычем в том самом молодом парке, откуда я вчера начинал свой путь к станции. Все было как вчера. Так же, гоняясь друг за другом, пробегали мимо дети; с раскрытыми книгами на коленях сидели студенты техникума, готовясь к экзаменам; степенно гуляли рабочие, которым предстояло работать в ночной смене. Только все, проходя мимо нашей скамейки, здоровались, и, внимательно всматриваясь в каждого, Степаныч отвечал... Худенький старичок в чистой, полинявшей от частых стирок рубашке в полоску, в пиджаке, мешковато висевшем на сухих плечах...

— Ну как же вы такое можете спрашивать: «А это было?» Да ничего здесь этого не было. Тут вот, направо, у самой реки — под нами, значит, — была деревня Дубовики. Там рыбаки жили, сига ловили, плоты и баржи переправляли через пороги. А пороги тянулись на десять верст — от села Михаила Архангела до села Гостинополье. По ним провести хоть и маленькое суденышко — великое мастерство требовалось. Этим и жили...

Нет, я сам не здешний. Из-под Пскова. Но вот повоевал с Корниловым да Деникиным. Отлежался в госпитале, залечил рану — уволился вчистую. Приехал в Питер, думаю — поступлю на завод, комнату получу, отдохну, начну жить поспокойнее. А мне говорят: «Чего тебе тут делать? Заводы стоят, коммунистов здесь хватает... Поезжай-ка ты на Волховстройку. Не построим Волховской станции — и нам в Питере нечего

будет делать. Разве только что зажигалки ладить да на базаре продавать...» А был я тогда молодой, здоровый еще. Всю Россию почти проехал от моря до моря — все лежит мертвое, заводы травой заросли, а поля пыреем. Ну, сами понимаете — был я уже парнем обтертым, рабочим. Понимал, что и как крутит колеса на заводах. И что без этого ничего не будет, пропадем, ежели не подымаем заводы... И кому уж, как не нам, коммунистам, все это восстанавливать да строить! Сказал — поеду! Дали мне в губкоме направление. Кем буду работать, не сказали. Устроишься по специальности — хорошо. А нет — так будешь делать все, что надобно: камни рвать, тачку возить, плотничать, если умеешь...

Вот я и поехал. Слез на Званке — так раньше звалась наша станция на железной дороге, — мешок за плечи — и потопал на Волховстройку.

Кругом болота. Дождь идет, пусто кругом, людей не видно, одни лягушки кричат... А дорога скорее была похожа на реку из грязи. Пришел сюда. Пара бараков, хибарки какие-то стоят... Конечно, партийную ячейку ищу. Нашел. Обрадовались. Сказали — девятый коммунист будешь на стройке...

— Это восемь коммунистов только было?!

— А что думали — восемьдесят или восемьсот? Нет, восемь человек. Сказали: осмотрись, устраивайся в бараке и завтра выходи на работу — плитоломом будешь...

Ну, плиты ломать — дело нехитрое. Плотники из бревен рубят ряжи, а мы рвем камни и этим камнем ряжи забиваем. Конечно, работа тяжелая, меня потому туда и послали. Где же большевикам быть — там, где потяжельше!

Застал я самое трудное время. Станцию ведь начали строить еще в восемнадцатом... Еще Ленин не переехал в Москву, а уже подписал постановление — начать строительство этой станции, дать, значит, рабочему Питеру энергию для заводов. И ведь начали! В такое-то время! Лес, материалы стали свозить, бараки первые построили, даже первые котлованы откопали. Ну, а потом было не до строительства. Люди работают, а хлеба нет, все, кто в силах винтовку держать, на фронт ушли. Коммунистов почти не осталось.

В управлении несколько инженеров сидят, барышни в конторе что-то пописывают, пайки получают, отдыхают, словом, от революции... Днем посидят, посплетничают, вечером в картишки поигрывают или для себя самих спектакли разыгрывают. Смотрят, как несколько рабочих-коммунистов, опухшие от голода и бессонницы, по стройке бегают, не дают растащить, что есть, — смотрят и посмеиваются. Плохо товарищам было! Мне на фронте куда было лучше!

Думали, что совсем уж Ильич забыл про Волхов. Нет!

Только-только сбросили белых в море, как уже Ильич сказал вот эти самые слова: «Коммунизм — это есть Советская власть плюс электрификация всей страны». Сейчас про слова эти все пионеры знают, в учебниках они записаны. А ведь тогда они как из сказки были — электрификация!

В двадцать первом году и вышел приказ — строить Волхов! И сразу пять тысяч пайков выделили строительству. Я теперь пионерам стараюсь объяснить, что тогда пять тысяч пайков было, — все равно не могут понять! Говорю им: Ленин ужинал черным хлебом, наркомы — это по-теперешнему министры — в обморок падали от голода! Нет, не влезает в них, что это было для страны — пять тысяч пайков!

Начали посылать рабочих на Волхов. Каждый день прибывают люди. Конечно, народ разный за пайками приехал. И работяги, и из кулачков которые, да и шпаны хватало. А тут нэп начался — вылезли из нор хозяйчики, что прятались раньше.

Меня тогда в рабочком выбрали. Стал я председателем. Да, несладкое было то время. Сначала голод. Ох, какой голод! Как люди могли работать?! Вспоминал потом и не понимал... Вот когда началась Отечественная, тогда опять понял, как могут! Ну, а потом стало сытнее, да тоже жизнь была не сахар — нэпманы полезли, дрянь всякая... всю стройку облепили ларьками, лабазами, трактирами. Ресторан устроили, «Нерыдай» назывался. «Нерыдай» — придумают ведь такое!.. Там другой рабочий всю получку оставляет, а жены и дети плачут, голодные... Самогонщики нахлынули, людей опаивают, драки, поножовщина... Бандиты появились. «Бубновые короли» — так себя прозвали. Ну, да с «королями» мы уже знали, как надо обращаться. Научились. Днем работаем, а по ночам вместе с милиционерами бандитов вылавливаем. Комсомольцы — те объявили: «Все в кооперацию, долой рынок!» Сами за прилавки стали, товары из Питера привезли — гореть стали хозяйчики. Что комсомольцы — ребята, школьники и те ходили по частному базару, агитировали, чтобы покупали только в кооперации!.. В двадцать третьем году, восьмого сентября, наши волховстроевские пионеры первую присягу давали — торжественное обещание, значит...

Комсомольцы у нас были хорошие, сознательные. Коммунисты, значит, только что молодые... Работать с ними было весело... Ах, и весело же мы работали! Вы не думайте, что мы от рабочих только работу требовали. Ведь приходили к нам вчерашние мужики, бедняки самые. А у нас они превращались в грамотных, настоящих рабочих. У нас к началу двадцать четвертого года несколько клубов было, кино, кружки, школы, ясли. Ликвидировали полностью неграмотность, обучили специальностям. Каждую неделю — постановка, свои актеры —

любители, значит... Не только работать — жить на стройке было интересно, весело.

Конечно, и страшно было... Было. Понимаете, Волхов строила очень бедная, очень, скажем даже, нищая страна. На кровные пятаки строилась станция, от себя люди отнимали. Что, мы это не понимали? Бывало, соберемся в ячейку на собрание или так, о делах потолковать, да подумаем о том, как на нас страна надеется, как нам народ последнее отдает, так, поверите, мурашки по спине пробегают от страха перед людьми, перед партией — ведь на нас надеются, мы, коммунисты, за это ответственны! И, когда выходишь после такого разговора и видишь, как валяется под дождем моток проволоки, — как будто в душу плюнули, готов этого человека, что бросил провод ржаветь, за горло схватить...

Но и на народ жаловаться нельзя, нет... С душой работали и знали мы — рабочий класс поддержит! Из любой беды выручит! Дела у нас стали подходить к главному — машины надо ставить. Начало поступать оборудование. Много с ним было мороки. Закупали его в Швеции. А капиталисты погрузили его на такой пароход, который только на слом годился. Конечно, они его застраховали, знали, на что идут. Вышел пароход, попал в шторм и затонул... Снова пришлось заказывать... А на это время требуется. Но уж к этому времени наши питерцы на «Электросиле» решили строить генераторы для нас. Впервые за такое дело взялись. Шведы — они к нам приехали монтировать оборудование — носом крутили, не верили, что смогут большевики такие машины сделать... В машинном зале нашем были?

— Был. Там восемь генераторов стоит.

— Четыре из них наши! Оказались **лучше** шведских! Сколько уже лет прошло — работают как часы. И еще будут работать годы и годы. Вот что значит делать с душой, с пониманием, на что идет...

Не умею я рассказывать, что ли... Как начну вспоминать, так все у меня получается, что работа у нас катилась гладко да хорошо. Строили, строили да и построили... Это, наверно, потому, что хорошее запоминается прочно, его как хороший бетон схватывает — навечно! А плохое, трудное где-то там, на задворках памяти, болтается. А его, плохого, у нас хватало.

Жили мы за Лениным, его словом, его силой жили. Чуть что не так, чуть заминка — к Ленину обращаемся. И работать от этого было как-то и весело и бодро. Сами молодые были, и казалось нам, что Ильич вечно будет жить. Ну, не вечно, конечно, но и станцию нашу увидит, и новые станции, и до коммунизма доживет. Советская власть есть, а электрификацию всей страны сделаем!

А как весной, в двадцать втором, появились эти бумажки на стенах — о том, что болен Ильич, что плохо ему, — так

у нас в душе что-то порвалось... Утром просыпаемся, идем на работу, и все время думается: как там?.. Как с Ильичем?.. А тут еще поднялись против Волховстрой!

Нашлись такие... И раньше были, и сейчас еще не перевелись люди, что думают по-торгашески: по одежке протягивай ножки... Ну, и в центре нашлись мудрецы — считали, что не по силам мы замахнулись, не сумеем построить станцию. Дорого, дескать. Дешевле покупать за границей оборудование и ставить в Питере обыкновенную тепловую станцию. Начали придираться, комиссия за комиссией: это плохо, это не так. Пошли слухи — закроют строительство. Графтию почернел от горя, и мы ходим, трясемся от переживаний. А Ильич болен... И невозможно пойти к нему, пожаловаться, что собираются с его детищем сделать...

Ну, выкрутились мы из этого дела... Это пусть вам комсомольцы старые расскажут как... Я вас здесь познакомлю с теми, кто все это помнит... А тут Ильич пошел на поправку. На каждом собрании рабочие спрашивают: как Ильич? А мы с радостью отвечаем: хорошо! Фотографии в журналах показываем: Владимир Ильич уже гуляет по парку, рабочих принимает... Каждый камень кладем, думаем — приедет Ильич, посмотрит на дело наших рук, увидит, как рабочий класс его идеи поддерживает. Не увидел... Вы тогда, двадцать седьмого января, где были?

— На Красной площади...

— А!.. Ну что ж тогда вам рассказывать... Лютый мороз, стоим без шапок, слезы замерзают на щеках... И клятву ему каждый в сердце своем дает: все равно по-твоему будет! Построим станцию, и социализм построим, и коммунизм построим — все сделаем, все по-нашему будет!..

Через два года закончили станцию. Ходим по машинному залу ошалевшие от радости, глядим на нашу красавицу и сами не верим: да неужели мы это сделали, своими руками? А жены наши дома уже вещички укладывают — уезжаем на Свирь, новую станцию строить. И построили. А потом еще волховцы на Днепр поехали — Днепрострой строить. Вы это поймите: от нас пошли все строители гидростанций. Я, когда читаю про Братскую, про Красноярскую станции, знаю: нашей, волховской школы люди их строят!

Вот для чего Ленин задумал нашу станцию построить — не для шестидесяти тысяч киловатт, а для будущих миллиардов киловатт, для электрификации всей страны — для коммунизма, значит!

А шестой зовется она потому, что это ее номер в системе Ленэнерго. Ленинградскую промышленность питает много станций. Среди них наша — самая маленькая. Так мы на номер не обижаемся! На «Электросиле» сейчас строят генераторы —

каждый во много раз сильнее, чем вся наша станция. А приезжают сюда — шапки снимают... Знают, в чем наша сила и слава,— не в мощности!

Строил я и Свирскую станцию. А как построили, приехал сюда строить алюминиевый завод. Ведь тоже был первый завод, первый наш, советский алюминий. Завод строил, город строил, оборонял его от фашистов... В горсовете долго работал. Словом, город этот — как дом свой... А чего мы тут сидим? Пойдем походим, погода хорошая... Да и сидеть долго как-то неприлично... Что на одном месте можно увидеть?..

Мы пошли. Он был бодрый и какой-то неутомимый. Степаныч шел без палочки неторопливо, но не уменьшая шага, задерживаясь всюду, где ему было важно и интересно. У доски Почета он всматривался в новые фотографии и медленно про себя, беззвучно шевеля губами, читал фамилии... Заходил в магазины, и продавцы кивали ему и, на минуту отрываясь от своей работы, кричали: «Привезли, привезли, Степаныч,— на складе нашлось...»

И в столовой, куда мы зашли выпить чаю, он внимательно разглядывал меню и заботливо спрашивал:

— Не проголодались еще? Поесть чего не хотите? Тут холодные закуски у нас Гранина мастерица делать — хвалят ее люди... А вот видите — вторые блюда Шестипалова готовила, тоже дело свое знает... Что строить, что кормить — все это надобно с душой делать! А иначе что ж — пшик будет, а не дело...

Он часто останавливался и, постукивая небольшой ладонью по стволу дерева или стене дома, рассказывал:

— А это вот Глиноземная улица. Ну, да она теперь Марата называется, а раньше была Глиноземной... Тут глиноземщики жили и сейчас, почитай, живут... А улица Пирогова раньше была Электролизной, и жили на ней рабочие, что у электролизных ванн работают... Каждый цех заводской свою улицу имел да по своему вкусу ее и делал. Заметили — деревья-то разные... Цементники — те тополя любят, ну вот, на своих улицах насадили тополя, какие на юге, в Новороссийске, растут. И представьте — чудно у нас растут, быстро так, только пуху много от них — хозяйки жалуются... А дерево хорошее, ладное и красивое. А глиноземщики — те рябину любят. Свое, северное, милое дерево... Был у нас инженер, Почивалов Владимир Петрович, любитель был страшный этого дела. Рано утром, до работы, обойдет все скверы, все улицы, осмотрит каждое дерево — как растет... Поверите, он каждое дерево в лицо знал! Как увидят у нас сломанное дерево — сбегутся все, как на случай какой, на несчастье... На заседаниях обсуждаем, вот как... Конечно, трудно привыкали. И ломали, и затапывали. И огораживать приходилось. А теперь сняли все

ограды и не упомним случая, чтобы молодое дерево, поломали. Так ведь не примут у нас новый дом, рабочие не въедут, пока не насадят кругом дома деревья.

Вот зайдемте в эту улочку, направо. Там увидим последнее от старого Волхова.

И правда, улочка эта была совсем непохожей на другие — с их многоэтажными каменными домами. Слева в густой зелени утопали деревянные коттеджи — аккуратно обшитые «вагонкой», выкрашенные веселыми красками. А направо стояли оштукатуренные двухэтажные дома. У них был жалкий и непривычный для этого города заброшенный вид. Штукатурка осыпалась, и за ней виден был остов старого деревянного барака... У некоторых из этих домов была сдернута кровля, вынуты рамы; пустые, покосившиеся, они ждали удара бульдозера, ворчавшего где-то неподалеку... На углу одного из таких домов еще висела жестяная табличка, на которой полусмытой дождями и ветрами краской было написано: «Улица Красных курсантов»...

— Вот последние... Здесь когда-то жили курсанты, приезжали помогать строить завод. После них так улицу и называли... Поставят здесь новые, большие дома, и уж ничто не будет напоминать о старом нашем поселке... Да не то что от волховстроевских времен — от города, что при заводе строили, ничего почти что и не осталось. Видели на Волховском два серых четырехэтажных дома? Вот и все... А все остальное уже после войны строили. Фашист нас бомбил нещадно, злился очень: не только Питер — наш маленький Волхов так и не мог взять! А ведь в трех километрах от нас фронт был. Рвались к нам всей силой — мы же были единственной станцией для Ленинграда, все остальное уже было отрезано. Как подошли немцы — поступил приказ разобрать на станции машины и увезти. Как работали, говорить не надо, сами знаете!.. Отправили. А потом, чуть стало полегче, снова привезли, смонтировали и запустили. Конечно, война — все гибнет, разрушается, люди гибнут... А все равно — так было больно и страшно за нашу станцию, за нашу Ленинскую... Проходит день — и думаешь: смотри, и ты жив, и станция цела... А немцы каждый день пускают на станцию бомбардировщики, обстреливают из пушек. И вот ведь как построено было! Несколькими прямыми попаданиями выдержал бетон, не сдал! Работали под обстрелом, жили в землянках — дома почти все уже были разрушены... Потом, как начали строить, — остановиться не можем. Видите — раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь...

Поворачиваясь во все стороны, Степаныч считал башенные краны. Их было много, они росли в конце улиц, поднимались из зелени садов, их стальные руки неслышно и спокойно работали...

— Что ж так много строите? Новые заводы тут есть?

— На нашем заводе и новые цеха появляются. Вот пускаем большой серноокислотный — просто как новый завод... Удобрение будем делать фосфорное — очень это важный, очень нужный продукт. Да ведь дело не в том, что завод новый появляется, — дети новые появляются!.. Им жить надо как следует, им и ясли надобно строить, и детские сады, и школы. А потом, глядь, и уже квартиры им требуются... Это хорошо! Ну, и строить нам сейчас легко. Направо посмотрите. Видите там вот эти длинные серые цеха?

— Вижу.

— Это наш домостроительный комбинат. Туда дальше, значит, цепочка наша тянется...

— Это какая же цепочка?

— А та, что началась от нашей станции. Построили станцию. Стала она давать ток для алюминиевого завода. А из глинозема не только алюминий получается, но и самый лучший цемент. А цемент, значит, идет сюда — на домостроительный комбинат.

— Тут, значит, кончается цепочка, начатая станцией?

— Нет, цепочка кончается вот тут.— Степаныч показал на окружающие нас дома.— Вот тут, в этих домах, в детских садах, да школах, да в клубах и стадионах, она кончается. Да и кончается ли она? Ведь не для домов старались — для людей, что в них живут. Вот для этих ребят. Вырастут, потянут они цепочку нашу дальше...

Я понимал, что мне нельзя себя так вести, но я не мог глаз оторвать от этого старика. Сам я уже немолодой и многое повидал. Видел станции куда большие, чем Волховская, видел и заводы, такие огромные, что Волховский алюминиевый по сравнению с ними выглядит небольшим цехом. Видел и большие новые города, в которых одна улица была побольше всего Волхова... Но никогда я еще не видел кусочка земли, на котором вот так, наглядно, как на школьном макете, была бы раскрыта вся история нашей страны. Ее прошлое, ее настоящее, ее будущее!.. И все это было делом рук вот этого маленького человека, одетого в серый парусиновый пиджак, в ситцевую рубашку с полосками... Его руки и руки его товарищей создали все красивое, прочное, человечески милое, что лежало вокруг меня...

— А какая у вас основная специальность, Григорий Степанович?

— А основная моя специальность — коммунист. И плитоломом я был и монтажником. И учился. И советским работником был. Но это все — дополнительные, что ли, специальности. А основная — коммунист я. Вот хожу по городу, и на встречу мне идут инженеры, мастера, машинисты, монтеры,

учителя. А это все мои товарищи по основной специальности. И старые и молодые. Есть среди них такие — я у их отцов торжественное обещание принимал, когда они в пионеры вступали... Вот, значит, как дело-то идет, какой человеческий след мы после себя оставляем...

— Когда-нибудь, Григорий Степанович, вам и вашим товарищам здесь будет памятник поставлен...

— Так он уже стоит, этот памятник. Вот он — станция, завод, город... Раньше говорили: дерево человек посадил — память оставил. А мы не дерево одно — леса, парки, заводы, города оставим. Социализм оставим. Как это у Маяковского про памятник сказано?

— «Пусть нам общим памятником будет построенный в боях социализм».

— Вот-вот... Это и будет самый красивый, самый правильный памятник. И не одному, а всем людям нашей специальности. И будет он называться почти так, как мы себя называем... А вы что, писать хотите про Волхов, про станцию?

— Хочу. Чтобы самому вспомнить и другим напомнить про тех, кто все это сделал...

— Ну, пишите... Конечно, надобно это, великое время было, и нельзя про это забывать... Тут и помоложе меня есть, из комсомольцев. Они вам порасскажут интереснее, чем я, больше помнят... А только, знаете, не пишите вы наших фамилий... Вот, бывает, читаешь — все правильно написано, правда все, а как-то неудобно, нехорошо себя чувствуешь... Про одних написали, про других не написали... А они такие же, столько же делали. А то и побольше... Кто читать будет, тому ведь одинаково, как фамилия — Иванов ли, Петров ли. Люди делали. Коммунисты, комсомольцы... Вот так. А?

— Хорошо, Григорий Степанович.

— Ну, пойду на шестую. Я еще сегодня там не был. Гуляйте... — сказал он мне совсем по-домашнему.

И как он хотел, так мы его и будем звать. Ну, скажем, Омулев. Григорий Степанович Омулев. Степаныч...

Жарким летом

Домик без окон

Из всех многочисленных надписей, плакатов и объявлений, которых насмотрелся Гриша Варенцов в свой первый день на Волховстройке, это была вторая, наиболее поразившая его. Первая была выведена красивыми печатными буквами на куске жести, аккуратно и прочно прибитой к углу дощатого сарайчика, почти такого же, какой стоял во дворе дома в Тяхвине, где жил Гриша. «Волховский проспект» — вот что было написано на этой дощечке. Варенцов был не только грамотным, он был сознательным парнем и перечитал почти всю укомовскую библиотеку. Он знал, что проспект — это что-то очень большое, городское, красивое. Как самая большая улица в Петрограде, что называется гордо и величественно — «Проспект 25-го Октября». А раньше эта улица называлась «Невский проспект», и рисунки этой улицы он видел в самых разных книжках.

А Волховский проспект был просто широкой и грязной дорогой, проложенной среди обыкновенного ржаного поля... Рожь уже была налитой, высокой, только за ней плохо смотрели. Колосья перепутались, а само поле истоптано узенькими тропками, стекавшимися к Волховскому проспекту. Видно, ленятся жители проспекта обходить все поле, норовят напрямик пробежать... А самый проспект состоял из двух рядов одноэтажных разнообразных домов. Были дома длинные, с десятком скучных окон, с двумя входами — бараки для рабочих. Были дома и поменьше и покрасивее — с резными наличниками

и даже резвым коньком на гребне крыши. А были и просто неказистые сарайчики, вроде того, где висела табличка со звонким и красивым названием.

Конечно, не из одного Волховского проспекта состояло место, где Грише Варенцову надо было построить самую большую, самую могучую электрическую станцию. Такую, какой и у капиталистов нету! Было еще много чего там нагрождено, разбросано, понатыкано. Немного в стороне, около чахлого и редкого леса, в беспорядке, будто из мешка просыпанные, стояли землянки. Иные были повыше, почти как домик, и только вниз надо было по ступенькам спускаться. А другие и вовсе в земле вырыты — как пещеры какие. Так это место и называлось: «Пещерный город»... И еще какие-то строения разного и неизвестного назначения стояли в самых неожиданных местах.

И вот одно из них поразило Гришу еще больше, чем Волховский проспект. Небольшой рубленый домик без окон стоял одиноко на отлете, у самого края безбрежного болота. Был он отгорожен наспех сделанным забором из колючей проволоки. Коля забора покосились, ржавая проволока в нескольких местах провисла до земли, а то и была вбита каблуками в сухую глинистую землю. Через открытый проем двери в темной глубине домика были видны стоящие друг на друге деревянные ящики. Такие же ящики лежали на земле у входа, и на них, как на деревенской завалинке, сидели двое рабочих. Все это было обычно и неинтересно. Интересен был только большой лист картона, висевший над дверью. На нем огромными кривыми буквами было красной краской написано: «Взрывоопасно!»... А кто-то еще толстым черным карандашом прибавил к красному восклицательному знаку с полдесятка своих восклицательных знаков, а сбоку старательно нарисовал длинный, узкий череп, а под ним — две скрещенные кривые кости.

— Дяденька... Товарищи! — поправился Гриша. — Что здесь опасного? Что в этих ящиках лежит?

Один из рабочих тронул рукой черный, смоляной ус и покосился на любопытствующего паренька. Нет, Гриша Варенцов не походил на деревенского разиню, каких много тут шляется... И пиджак на нем не деревенский, а галифе хотя и перешитые, да ладные, и сапоги городского покрова...

— Новенький, что ли?

— Ага. Сегодня приехал.

— Из тихвинских комсомольцев?

— Да. Из самого Тихвина я один, остальные из уезда. А меня уком старшим назначил...

— Это и видно, что самый старший... Раз галифе... А опасного, парень, здесь много пудов. Один такой ящичек

грохнет — во-он где потроха твои будут висеть...— Усатый повел глазом на далекую сосну.— Так что беги отсюда, ежели свои руки да ноги жалеешь. А то, видать, одну ногу ты где-то уж повредил... За другой смотреть надо...

Ух, как Гриша не любил, когда ему указывали на хромую ногу! Если бы не она, так он давно уже колчаковцев рубил бы! И с ним никто не посмел бы с такой ухмылкой разговаривать. Но уходить, ничего толком не узнав, было жалко.

— А в ящиках что?

— А в ящиках это самое и лежит. Динамит называется...

Динамит! В Гришиной памяти сразу всколыхнулось все прочитанное, где упоминалось это грозное слово. Степан Халтурин взрывает Зимний дворец... На карательные отряды «Железной пяты» восставшие рабочие обрушивают шквал динамитных бомб... И это вот лежит в самых обыкновенных ящиках, как мыло или гвозди...

— Чего ж вы так на нем, на динамите, сидите? А то ведь сосна — она любые кишки подхватит!..

— Ишь как в этом Тихвине у комсомольцев языки подвешены! Нет, от моего жара динамит не взорвется. А вот с куревом, с огнем сюда лучше не ходить. Пальнет — вся округа костей не соберет! Вот будем камень для стройки рвать — посмотришь, как это бывает.

— Вы будете рвать?

— Мы будем рвать.

— А как вы называетесь?

— А называемся мы взрывниками.

— А мне можно взрывником?

— Как же, конечно, можно. Как тебе стукнет лет сорок, приходи. Докажешь, что руки у тебя ловкие и в голове правильно шарики вертятся, и возьмем. Да ногу свою поправь — у нас бегать надо проворно...

Здесь и будет станция

Теперь Гриша не обиделся за ногу... Шутки шутить мы умеем в Тихвине не хуже, чем на Волховстройке. А вот этот домик да эти ящики и дядьки эти, взрывники,— это, пожалуй, стоящее! В тихом Тихвине не только взрывников, рабочих-то настоящих было раз, два — и обчелся. Недаром веселый секретарь укома Ваня Селиверстов как-то невесело обмолвился, что у них в городе единственное настоящее производство — это монастырь с чудотворной иконой божьей матери... «Там работают, да!»

Когда пришла бумажка из губкома, чтобы выделить на

Волховстройку два десятка комсомольцев, Гриша Варенцов до самого председателя укома партии дошел — просил, чтобы послали. В городе тихо, все стоящие ребята ушли на фронт. Как соберется Гришина ячейка заседать, всегда почти кто-либо из девчат, озорую, запоет: «Восемь девок, один я». Ну, пусть у Гриши одна нога с изъязнением,— сила есть, голова варит, хочется настоящего дела!

Пока добирались до Званки, Варенцов рассказывал своим товарищам все, что он слышал и читал про большущие заводы, огромные электростанции. В его вдохновенных рассказах из могучих валов выползали огненные рельсы; по эстакадам бегали вагонетки с каменным углем; высоченные трубы извергали черный дым... Все это Гриша вычитал в книгах Рубакина — единственных, где про это говорилось.

Гриша знал, что на Волховстройке еще нет ни труб, ни рудников, ни огромных машин. А все-таки у него екнуло сердце, когда они перешли мост через Волхов и поднялись на гору. Кроме стоящей на рельсах какой-то похожей на странного жука машины с закопченной трубой и свисающим беспомощно ковшом, никаких других машин не было. Ничего, собственно, не было, кроме Волховского проспекта, Пещерного города, Лягушкиной дачи, кроме нескольких десятков тачек, мотков проволоки...

Шумела широкая, суровая и бурная река, и рисунки плотин в книгах Рубакина не помогали представить себе, как можно ее перегородить. Редкий сосновый лес подступал к высокому и крутому берегу. За леском было небольшое поле, потом начинался чахлый кустарник, а дальше, куда ни погляди, тянулись унылые кочковатые болота...

— «Здесь будет город заложен назло надменному соседу...» — бодро продекламировал Гриша.

И, чтобы заглушить противное чувство растерянности, начал рассказывать о том, что будет, что они, тихвинские комсомольцы, здесь построят... Река перегорожена огромной, во-от такой высокой плотинной... Стоит электростанция — во-от такая высоченная!. По проводам бежит электричество в Питер и сюда, видите, вот сюда... А здесь будут заводы! Трубы во-от! А поодаль — город! Весь из во-от таких высоких домов, как в самом Питере! А вместо этого болота — парк! А на реке — моторки и эти... с парусами... как их? Яхты!

И пока они дошли до конторы, и потом — когда шли в барак, и тогда, когда устраивались в нем, а потом до поздней ночи сидели на бревнах под окнами барака, и на другой день, когда пошли на берег лес сортировать, Гриша не переставал рассказывать про то, что здесь будет... И, по мере того как он, увлекаясь, перебивая самого себя, рисовал это будущее, Гриша все яснее и яснее представлял его себе. Да, и высокие каменные

дома, и огромные каменные клубы, и гладкие каменные мостовые, и парк, и моторки, и белокрылые яхты... И что для этого надо? Разбить белых и построить станцию!..

Война рядом

После работы Гриша забежал за газетой в красный уголок, садился с ребятами под окнами барака и начинал читать ее вслух. Он читал, и начинало казаться, что белые везде, что они, как черви, ползут со всех концов... Генералы, генералы, адмирал Колчак, генерал Деникин, генерал Юденич... Каждый день печатаются в «Новоладожской коммуне» короткие оперативные сводки, и каждая из них наполняет тревогой, желанием самому вмешаться в эти страшные и грозные события, быть там, с Красной Армией...

— «Оперативная сводка от тридцать первого августа тысяча девятьсот девятнадцатого года, — читает громко Гриша. — Западный фронт. Севернее озера Сапро под натиском противника наши отошли к реке Саба. В двадцати трех верстах западнее Струги Белые мы заняли ряд селений. В Двинском районе бои у двинских предместных укреплений. Восточнее наши под натиском противника отошли на правый берег Двины...»

Сейчас ребята начнут расспрашивать про то, что непонятно. А Гриша и сам многого не понимает. Не понимает, где же находятся река Саба и место со странным названием «Белые Струги», и непонятно, что означает «предместные укрепления», и непонятно, почему белоголов — белое офицерье, бандитов генералов — надо называть вежливым словом «противник»... Ну да — они же против. Против их станции, против Ленина и большевиков, против красной Москвы и красного Питера, против него, Гриши, и всех его товарищей, против сирот из Ладожского детского дома — против всего своего, доброго, рабочего!

Генеральские фамилии напоминали луну. Они появлялись тоненьким узким серпом на серых страницах газет, потом с каждым днем и неделей раздувались, становились больше, грознее, они восходили на небосклон огромным красным, как кровью напоенным, чудовищем, а потом они начинали уменьшаться в объеме, становились всё меньше, сходили с газет, и на смену одной генеральской фамилии появлялась другая — опять становящаяся с каждым днем все грознее. Сначала самым страшным генералом был даже не генерал, а адмирал — адмирал Колчак. Он взошел где-то далеко, в Сибири, а потом стал расти и расти и, когда подошел к Волге, стал огромным и грозным... Все тогда шли на Колчака, комсомольцев

мобилизовывали на Колчака, и они строем шли на вокзал и с посвистом пели:

В кровожадного бандита
Мы вонзим свои штыки.
Пролетариям защита —
Наши красные полки...

А потом Колчака стали бить, все меньше он стал упоминаться в сводках, и только в веселых частушках, которые печатал в «Новолодожской коммуне» поэт, подписывавшийся «Новолодожский пролетарий А. Прокофьев», еще иногда доставлялось Колчаку:

Удирал Колчак от Волги,
Хорошо, что ночи долги
И сейчас не отдохнуть:
Лупят в спину, лупят в грудь...

Потом появилась фамилия генерала Деникина и стала расти, вытесняя из газет все остальное... Этот поближе и пострашнее Колчака! До сих пор идет с ним страшная борьба, и, если посмотреть на карту, выдранную Гришей из старого учебника географии и лежащую у него под подушкой, становится нехорошо: так близко он от Москвы, такой огромный кусок России в его белых генеральских руках...

А сейчас появился еще один генерал, и он уже совсем близко от Питера, от Волхова, от Гриши и его товарищей. Генерал Юденич смотрит с плакатов обрюзгшей физиономией, его длинные усы — как узловатые веревки, на которых он вешает рабочих и коммунистов... Уже который месяц идут под Петроградом бои с генеральской армией. И нельзя спокойно проходить мимо большого и тревожного плаката у конторы: бежит красноармеец с винтовкой в руках и криком зовет: «Все на защиту Петрограда!»

Не очень понятно Григорию Варенцову, почему здесь, на Волхове, в такое время — и он, и Петя Столбов, и крепкий Евстигнейч, и молчаливый взрывник Макеич. И почему лежит в одиноком домике динамит, а не делают из него гранаты, для того чтобы сыпать их с крыш домов на белобандитов? Почему четыре сотни плотников-костромичей недавно приехали на стройку, вместо того чтобы из них целый отряд сделать и с динамитными бомбами послать в бой? Грише это непонятно, а ведь ребята его, комсомольца, спрашивают! В ячейке комсомольской уже ставил об этом Гриша вопрос, там все с ним согласились и даже предложили организовать комсомольский отряд «Красные бомбисты»... А взрывника Макеича — коман-

диром... Ходили с этим предложением в партийную ячейку. Там только посмеялись и сказали:

— Понадобятся бомбисты — вас первыми возьмут. А вы лучше подумайте: вот кончится война, вернутся люди с фронта, а делать им на заводах нечего — крутить машины нечем... Думаете, зря от фронта людей отнимают, паек урезают, чтобы вас тут кормить?.. Юденича отгоним, а наше дело — станцию построить, без нее обороняться нечем будет...

Так Гриша и объяснил ребятам. Объяснить объяснил, а все равно с каждым днем тревожнее становится. Уже знакомые, близкие от Тихвина и Ладоги деревни и города упоминаются в военных сводках. Да и не только по сводкам можно догадаться, как обстоят дела на фронте. Все ближе и ближе усатый царский генерал — и на стройке становится душно, тревожно, как в Тихвине, когда горят деревянные дома на соседней улице... Ночью снялась целая артель плотников и ушла со стройки. В конторе, куда каждый день заходит Гриша, бывшая барынька Аглая Петровна начала одеваться в яркие, красивые платья, стучит на машинке с ожесточением, поджав губы, и бросает на соседей торжествующие взгляды. А соседи ее, два каких-то старых инженера, уже не приходят на работу в серых толстовках и соломенных шляпах — на них чистенькие инженерские куртки с пуговицами, начищенными кирпичом. Аккуратные фуражки — зеленые, с черным бархатным околышем, с кокардой из перекрещенных молотков — лежат на столе. Чего ждут?.. Думают, наденут эти фуражки и офицерье пойдут встречать!

И не работают ведь, а целый день хихикают, переговариваются, а зайдет кто-либо из рабочих — сразу же умолкают и с плохо скрытой усмешкой уткнутся в бумагу.

Огородники, что на той стороне, и вовсе взбесились. За свою морковку, да свеклу, да картошку готовы последнюю рубаху снять с плеч. А то и вовсе не приносят ничего на глинистый пятачок у инструменталки, где они свой базар устраивают. Для белых берегут!

И все чаще появляются на стройке здоровые, мордатые, небритые мужики в шинели накидкой, в солдатских башмаках, в солдатских обмотках. Идет такой, самогоном от него разит за три аршина, руки в карманах, нахальные глаза высматривают, что можно стянуть со стройки... И за ним ползет по поселку шепоток: дезертир... Раньше эти дезертиры стороной обходили стройку, где на одной из конторских дверей висит страшная для них надпись: «Уполномоченный Уездкомдезертира». Там сидит в кожаной куртке, в ремнях, с наганом на поясе человек из Ладоги. Время от времени вооруженные красноармейцы приводят к нему вот таких обросших дезертиров. Тогда все мальчишки с поселка сбегаются к этой двери, даже к окну подбираются. Никто не знает, что за разговоры

идут за дверь. Знают только: если выйдет из конторы дезертир один, и шинель на нем в рукава надета, и пояс на шинели, и глаза веселые, значит, прощен: повинулся и идет служить в армию. А выведут под охраной и нет на нем никакой шинели, значит, в уезд повели на трибунал... А шинель осталась — она для тех, кто с белыми хочет биться!

А сейчас нет уполномоченного, сам, видно, на фронте, заперта дверь с грозной вывеской, и осмелели трусы да предатели. Открыто шатаются по поселку. Да и не только шатаются...

Первый пост

...Ночью Гриша проснулся оттого, что Петя Столбов тянул его за руку:

— Да проснись, черт сонный! Вставай, бежим в ячейку, всех комсомольцев кличут!

Гриша спросонья не попадал в рукава рубашки. Ночной барак был освещен слабым тревожным светом. Небо в окне было нехорошее, не по-утреннему розовое. На улице гулко и тревожно били о рельс, висевший неподалеку, у склада инструмента. Люди, торопливо переговариваясь, одевались и спешили к выходу.

— Пожар! Машинный склад горит! — хрипло крикнул ему Петька.

Машинным складом назывался большой сарай на задах Волховского проспекта. Там никаких машин не было, хранились гвозди, проволока, кирки да лопаты. Гриша с Петром бежали по улице, на домах переливались яркие блики огня. В ячейке уже никого не было. Они побежали к машинному складу. Сквозь черную толпу обступавших сарай людей было видно, как огонь вываливается из всех щелей сарая. Какие-то люди стояли на самом краю крыши, они с треском отрывали доски и кидали их на землю. У двух пожарных машин стояла очередь качальщиков. Толстые намокшие пожарные кишки путались в ногах. Пожарники в ярко начищенных касках суетились у дверей склада. Тугая водяная струя из брандспойтов билась в слабые доски стены, и под напором воды они с шумом ломались, за ними на свободе бушевало пламя. Гришка бросился к очереди у пожарной машины. Кто-то сильной рукой вытащил его из толпы. Это был Сапронов, из рабочкома.

— Нечего тебе, Варенцов, тут делать! Тут и так тушильщиков и зевак хватает! Беги к продовольственному складу, скажешь — я послал...

Продовольственный склад был в другом конце поселка, огонь отсюда до него никак не мог дойти. Но Гриша послушно,

оглядываясь на горящий сарай, побежал к продовольственному складу. Свет пожара до склада почти не доходил, около него было темно, и не сразу Гриша увидел нескольких человек. Среди них был и председатель рабочкома Омупев. Он стоял у самой двери, обняв руками сноп из нескольких винтовок. Гриша тронул его за рукав.

— Григорий Степанович! Меня к вам Сапронов послал. Что надо делать?

Омупев не сразу узнал Гришу.

— А, Варенцов! Винтовку в руках держал? Обращаться с ней умеешь?

— Григорий Степанович, я же в Тихвине в ЧОНе состоял, я там взводным был!

— Тогда нá, держи!

Варенцов вдруг переставшими слушаться руками взял винтовку. Омупев нагнулся к стоящему у него в ногах ящику, взял что-то оттуда и протянул Грише. Гриша почувствовал в своей руке знакомую тяжесть винтовочных обойм.

— Значит, так! Стоять на карауле до утра. Если увидишь — подходит незнакомый, приказывай остановиться. Не послушается — стреляй в воздух. Если после этого не остановится — ну, сам понимаешь!.. На месте не стой, обходи склад, у дверей пусть сторож все время стоит, вот он... Коли заметишь — кто-нибудь ползет к складу, подпускай поближе и бей в упор! Сигнал тревоги — два выстрела подряд. Все, Варенцов.

Омупев и другие рабочкомовцы забрали винтовки, ящик с патронами и двинулись дальше, сразу же растворившись в ночной темноте. Старичок сторож со своей берданкой испуганно топтался рядом с Гришей. Григорий, не выпуская из руки винтовку, разорвал бумажную обертку и вынул скользкую, пахнущую маслом обойму. Как на учении в ЧОНе, он толкнул влево рукоятку затвора, потянул затвор на себя, всунул в паз жестянку обоймы и большим пальцем надавил на верхний патрон. Патроны послушно и легко ушли в магазин. Гриша двинул вперед затвор, верхний патрон ушел в ствол, он повернул рукоятку направо, закрыл затвор и, как его учили, поставил затвор на предохранитель. Потом, держа винтовку в руках, пошел вокруг склада.

Было очень тихо. В этой тишине отчетливо в той стороне, где горел машинный склад, слышался треск огня, шум людских голосов. Зарево стало меньше, и темнота вокруг Гриши еще гуще. Григорий медленно обходил склад, всматриваясь в темноту. Он не сомневался, что через несколько минут увидит черную подлую фигуру ползущего бандита. «Сначала сшибу его одним выстрелом, потом подыму тревогу... Не забыть только опустить предохранитель...»

Утром пришел Омурев и, забрав винтовку, отпустил Варенцова домой.

— На работу сегодня не пойдешь,— сказал ему Омурев.— К шести часам придешь в рабочком, а потом — на пост.

За неделю после пожара много постов пришлось переменить Грише. Он стоял по ночам и у продовольственного склада, и у пожарища, где в стороне, под открытым небом, были сложены уцелевшие инструменты, и у наплавного моста через Волхов, а одну ночь и у самой конторы. Пожалуй, эта ночь у конторы посредине поселка, на глазах у людей, была самая дурная, самая тревожная...

В конторе было страннолюдно. Керосиновые лампы горели во всех комнатах, и везде были, как днем, и еще больше, чем днем, люди. Только среди них не было ни надменной Аглаи Петровны, ни расфрантившихся инженеров. Были все комитетчики, были из партийной ячейки, был сам Графтио — таким его Гриша никогда не видел: сумрачный, ссутулившийся, молчаливый. Он все время сжимал и разжимал кулак и, глядя на ладонь, говорил:

— Да не может этого быть! Ведь человек как человек был... Ну, не умный, не расторопный, просто суетливый... Может, что случилось с ним?..

— Да ничего с ним не случилось, Генрих Осипович! — досадливо перебил главного инженера прораб Кандалов.— Просто сбежал, подлец! Сбежал к Юденичу или же к ревельским заводчикам. Он и раньше, еще до войны, у них работал. Посмотреть надо, не взял ли с собой что-либо из проекта. Такая гнида и непостроенную плотину попробует продать!

Не сразу Гриша догадался, кто сбежал. А потом понял: Фрид сбежал. Сам начальник Волховстройки! Был такой. Что он начальник, можно было догадаться только потому, что разъезжал всегда на пролетке и лошадь его — серая в яблоках — была раскормлена не меньше, чем ее хозяин. Никогда начальник стройки не приходил вниз к реке смотреть, как сортируют лес, не встречал его Гриша в рабочкоме, да и в конторе он был редким гостем. Все время пропадал неведь где. «Согласовывает!» — говорили... И вот этот начальник сбежал!.. Сбежал к самому Юденичу! Гриша сразу же представил себе, как толстенький Фрид, угодливо изгибаясь, стоит перед Юденичем и протягивает ему украденные бумаги... Что в них? Может, чертежи станции, может, списки коммунистов и комсомольцев... И среди них в этом списке, напечатанном на машинке, — наверно, Аглая печатала, — фамилия: Варенцов Г. И. ...

Может быть, если бы Гриша подольше был в конторе, он бы и узнал точно, что с собой увез предатель. Но Гришу послали на пост, и до утра он стоял у дверей конторы и на вопросы

редких прохожих, останавливавшихся у освещенных окон, сурово говорил:

— Значит, дело есть... Проходи!..

Впрочем, через неделю забыли о Фриде, как будто вовсе его не было на свете. И стало спокойнее — Юденича начали оттеснять от Петрограда. И на Волховской стройке улеглась тревога, а Аглая перестала рядиться в яркие платья, и сняли парадные диагональные куртки два инженера в конторе. И Гриша перестал стоять с винтовкой по ночам, а днем спать тревожным, непрочным сном в пустом и скучном бараке. И снова он с утра уходил на берег и весь день с багром в руках таскал из воды скользкие, тяжелые бревна и укатывал их в штабеля.

Взрывоопасно!

Лето и осень в тот год были жаркие, два месяца дождя не было. Уже август кончался, а все еще было по-летнему жарко, работали без рубах, в перерыв и после работы ребята с визгом залезали в холодную волховскую воду и ныряли под бревна, хватая друг друга за пятки. Солнце с утра всходило в мареве и в мареве заходило, суля на следующий день такую же жару. Возвращаясь с работы, Гриша посмотрел на солнце, уже опустившееся к самому краю дальнего болота. Оно было краснее обычного, горизонт растворился в палевой дымке, и по всей стройке, по всему поселку тянуло щекотавшим в носу терпким дымком.

— Слыхал, комсомолист? — сказал ему, разуваясь, Федосов. — Торф горит. Не иначе — дезертиры подожгли... Пожар учинить — это у них первое дело.

— Ну и дураки! Сюда бояться сунуться, так болото жгут! С лягушками воют!..

— Сам ты дурак! Ветер-то всегда с болота! А торф — он не сарай, его из кишки не зальешь... Нет, они, дезертиры да беляки, свое дело знают. Бегал ты цельную неделю с винтарем да и не усмотрел за кем надо...

Утром Гриша, проснувшись, долго не мог понять, где он... Барак был наполнен едким дымом. Такой же дым стоял на Волховском проспекте. Он висел плотной пеленой над всем поселком, над всей Волховстройкой. До выхода на работу было еще далеко, но барак уже весь проснулся, рабочие торопливо одевались.

Дверь распахнулась, вбежал Сапронов из рабочкома:

— Всем сейчас же к машинному складу за лопатами! — И тут же выбежал обратно.

Гриша кинулся к складу. Лопат уже не было. Люди хватали

кирки, ломы, ведра — все, что было под руками. Цепочки размахивающих руками людей бежали все в одну сторону, к болоту, затянутому сплошным дымом. И сразу же сердце у Гриши забило и противный холодок побежал по спине... Там стоял тот самый домик без окон, на котором висел картон с загадочной и грозной надписью: «Взрывоопасно!»

Сотни людей копали узкую и глубокую траншею по краю болота. Они работали молча, ожесточенно, вытаскивая руками упругие кочки и гнилые пеньки. Огонь был уже неподалеку, он на первый взгляд казался беспомощным и невинным. Плотные струйки дыма тонкими жгутами стлались по низине. И, когда ветерок относил их в сторону, видны становились небольшие языки пламени, такие маленькие и вялые, что их можно было затоптать ногами, залить небольшим ковшиком воды... Но этих язычков было много, их было несчетно, они ползли — как белые! — со всех сторон...

Подобранной где-то лопатой Гриша копал, обливаясь потом, задыхаясь от дыма. Даже разгоряченное тело уже чувствовало другое тепло — жаркое, опасное, шедшее от горящего болота.

— Каюк, братцы! Бежать надо, сейчас как рванет — одна пыль от нас останется! — крикнул кто-то рядом...

— А ну, давай сюда! Ящики будем таскать!..

Перед ними был взрывник Makeич. Его черные усы повисли, мокрые от пота, запорошенные пылью и пеплом.

— Ну, чего вы? — ожесточенно крикнул Makeич. — Динамит надо перетаскивать, пока время есть!

Люди бросили лопаты и кирки. Они разогнулись, вытирали ладонями пот с лица, но никто не мог себя заставить сделать первый шаг. Гриша бросился вперед. Он больно укололся о проволоку забора, вырвал кол и оттащил проволоку в сторону. Дверь динамитного склада была раскрыта, несколько человек вытаскивали тяжелые ящики и складывали их на землю. Неподалеку стояла запряженная телега, на телеге лежали ящики с динамитом. Лошадь равнодушно отмахивалась хвостом от дыма, как от оводов. Ей было все равно, что возить: навоз или динамит... Обливаясь потом, Гриша вытаскивал из склада ящики и передавал их рабочим.

— А возчик где? — крикнул Makeич. — Куда возчик подевался? Эх, удрал-таки, заячья душонка. Заслабило! — Он повернул голову и увидел Гришу. — О! Комсомольский начальник из Тихвина! Берись-ка за вожжи и вези динамит к реке, по нижней дороге. Вези потише, не тряхнись! Там разгрузят, и сразу же возвертайся!

Варенцов поднял с земли веревочные вожжи и стеганул лошадь. Та привычно потянула оглобли и тронулась с места. Только отъехав от динамитного склада, Гриша увидел, что никакой, собственно, дороги и нет. Колея, пробитая, видно, еще

весной, шла по твердым глинистым буграм. На каждом бугре телегу вскидывало, и страшные динамитные ящики начинали сползать к краю телеги. Гриша останавливал лошадь и начинал поправлять ящики. Потом он кричал: «Н-но-о-о!» — и конь опять начинал неторопливо перебирать ногами.

Позже Варенцов никак не мог вспомнить, сколько раз в этот день он ездил от склада к реке и от реки к складу. Назад, порожняком, он гнал лошадь, стоя в телеге и размахивая вожжами. Шли час за часом, в горле першило от пыли, дыма, от крика «н-но-о-о»... Только к вечеру Макеич дернул его за рубашку и сказал:

— Хватит! Кажись, уберегли склад...

Гриша осмотрелся. Дым еще по-прежнему стлался густой пеленой, но в нем уже не было страшного нарастающего тепла. Вокруг склада тянулась глубокая черная траншея; она была как настоящий окоп, с землей, выброшенной на бровку. В глубине ее поблескивала вода. Люди уже не копали траншею, а затапывали огонь, ставший бессильным, сникшим... Варенцов опустил на динамитный ящик и вытянул вдруг заболевшую хроющую ногу... Лицо Макеича стало совсем грязным, уставшим.

— Вот видишь, тихвинец, как у нас бывает! Передохни, малец, немного. С утра начнем возить динамит обратно. А комсомолец ты, видать, настоящий. Я это еще по твоим галифе заметил... Ну, быть тебе взрывником! Не сразу, конечно, а все же быть!

И через пяток дней пошел Гриша Варенцов во взрывную команду бурильщиком.

Двенадцатый талон

Гришин шкафчик

Карточка лежала в правом углу верхней полочки Гришиного шкафчика. Когда-то Гриша очень гордился этими шкафчиками, сколоченными из тонкого, необструганного теса. Однажды, вернувшись с работы, споткнулся он о стоявшую на полу миску с остатками каши, — миска была костромича Федосова, самого степенного жителя барака. Федосов никогда не надеялся на столовский ужин — или будет, или нет... Вернее недоесть за обедом и захватить кашу в барак — все же не ляжешь спать на голодное брюхо. Пока Федосов длинно и скучно объяснял Грише, что ему, комсомольцу, чужого не жалко, потому что его, Гришину, пайку никто из живота не вынет, Гриша с внезапной тоской посмотрел на свой узкий, неуютный барак. Кое-как заправленные койки дыбились горбами, и Гриша, как и все остальные жители барака, знал, кто что хранит под тонкими матрацами, под серыми и жесткими подушками. Плотник Федосов — тот всегда носил с собой и тщательно прятал нехитрые приспособления своей профессии: напильник и обломок точильного камня, почерневший от угля шнур и толстый угольный карандаш. А Гришин приятель Петька Столбов, уходя на работу, быстро запиховал под подушку стопку книг и толстую конторскую книгу — в нее он переписывал все роли, которые играл в спектаклях в клубе... Под койками самых хозяйственных людей стояли миски, погнутые ведра, остатки скарба, привезенного еще из деревни.

Вот тогда-то, на другой день после стычки с Федосовым, Гриша побежал в рабочком и начал уговаривать комитетчиков — надо рабочим шкафчики сделать. И сделали! Сам Графтио, у которого лишний гвоздь нельзя было выпросить, написал, чтобы отпустили на шкафчики тес, гвозди и даже большие оконные петли — других, поменьше, не было. Целую неделю плотники сколачивали шкафчики. И когда они были расставлены у каждой койки, то из других бараков приходили смотреть, как красиво стал выглядеть барак, как вдруг стройны и аккуратны стали кровати. И Паня, уборщица, теперь каждый день выметала пыль из-под кроватей и больше уже не ссылалась на то, что не приучена она в чужое хозяйство залезать... Уже давно эти шкафчики перестали звать «Гришкиными», и уже стояли они во всех бараках, и каждый из них — если открыть дверцу — мог рассказать о характере и склонностях своего владельца.

Гришин шкафчик был почти пустой. На нижней полочке лежали запасные рукавицы да старый солдатский пояс с царским орлом на пряжке. А на верхней — жиденская стопка книг, вырезанные из газет стихи и частушки. Все они были мятые, захватанные не мытыми после работы руками. Только карточка была свежей, чистой, как новенькая, хотя и выдали ее уже давно. Серая ломкая бумага была разделена типографскими линейками на шестнадцать частей, на каждом талоне стоял номер. Еще ни разу не было такого случая, чтобы пришлось отрывать шестнадцатый талон. Да что шестнадцатый! И до восьмого, до десятого редко когда доходило. На первые талоны еще выдавали по осьмушке хлеба, по пачке махорки, по полфунта соли. Один раз по седьмому талону выдали два куска резины — на подошвы. Но все равно новоладожская типография каждый раз аккуратно делила карточку на шестнадцать частей. А вдруг! Никто ведь не знал, что могут завтра привезти на Волховскую стройку, что удастся начальству достать...

Вот говорят, что молодым легче голодать, они посильнее... Нет! Утром еще ничего. Григорий быстро съедал половину своего куска хлеба, запивал крутым кипятком, душистым от кипрейного сухого цветка, что заваривали вместо чая. Жиденко, но встанешь на работу, и как-то забывалось. А вот к середине дня уже все чаще поглядывал на солнце — как подойдет оно поближе к одинокой сосне на горке, значит, скоро шабашить и можно бежать в столовую. Там тоже не накормят досыта. Те же пустые щи из серой капусты и несколько ложек шрапнели — каши из перловой крупы, такой крупной и жесткой, какую раньше Гриша и не видывал никогда. А все же вроде и наелся. Но в столовой кормили лишь работающих на стройке. А вот семейным, тем, что жили на «лягушкиных дачах» — в

деревянных домиках у края болота или же в Дубовиках,— тем приходилось надеяться только на карточку. Редко-редко по карточке свой законный фунт хлеба получишь. Еще на месяц выдадут на едока по полтора фунта чечевицы, по четверти фунта мыла, по полфунта соли, по одной коробке спичек. А все, что сверх этого, пойдет детям. Талон пятый — детям до одного года по два фунта манки; талон шестой — им же по одному фунту картофельной муки и фунту клюквы... Десятый талон — детям до десяти лет по семь с половиной фунтов пшена; восьмой талон — всем детям до шестнадцати лет по полфунта сахарного песка, полфунта пряников и по четверти фунта карамели...

Всё, ребята! Больше ничего нет. Бедна наша Советская Республика, последнее наскребла. Красноармейский паек урезала, рабочим по четвертушке хлеба выдала, лишь бы детей как-то поддержать... Лежат на юге богатые земли, где есть и белый хлеб, и толстое, розовое сало, и густая, холодная сметана, только отрезаны они белыми, подступившими уже к самому Орлу... Да и северной клюквы не соберешь вволю — совсем неподалеку проходит фронт.

Григорий это все знал. Если бы не нога, сломанная, когда мальчонкой упал с крыши, сам был бы на фронте и дрался с белыми, чтобы забрать обратно наши земли, накормить детей, не видеть, как стоят они возле окон столовой и смотрят на рабочих, хлебающих щи... Чтобы не читать в «Новоладожской коммуне» советы, как печь хлеб из шести частей картофеля и одной части ржаной муки... Была бы картошка — и советов таких не надо бы!.. Зато другой совет — как сушить севокольную ботву, растирать ее в муку и печь из нее хлеб,— тот дельный! Гриша сам, бывает, ест этот хлеб. Противный, липкий и сладковатый. Радости от него никакой, а голод обманывает...

Второй год работает Гриша на Волховстройке, а один только раз видал белую муку. И не видел даже, а трогал ее — таскал мешками, горстями подбирал в вагоне, скользкую, белую как снег, вкусную, как пряник, муку. Наверно, вкусную — Гриша ее не пробовал. Когда узнали, что около Зеленецкого монастыря стоит на путях вагон белой муки для Волховской стройки и что местные власти этот вагон отцепили и хотят забрать себе, волховские коммунисты прихватили с собой десяток комсомольцев и кинулись туда. Самоуправщики тыкали пальцами в надпись мелом на вагоне: «В Новоладожский уезд, на Волхов».

— А мы не уезд? А что Волхов — не наш?!

Ну, да волховстроевских большевиков не переспоришь, угрозами не запугаешь! Народ серьезный, в десяти водах мытый-перемытый, и не за свое стоят — за стройку. За ленинскую стройку. Местные начальники быстро это поняли

и отступились. Целый день добывали подводы, грузили мешки, возили на Волхов. Солнце клонилось к столовским щам, в животе у Гриши привычно начало сосать, и от запаха муки кружилась голова и подташнивало. Но до столовки далеко, муку не бросишь. «Эх, надо было сказать Петьке, чтобы хоть кашу мою взял да в барак принес!» — с досадой подумал Гриша. Самый голодный и трудный был этот день для Варенцова. Поздно вечером, глядя, как Гриша ладонью счищает запорошенную мукой рубашку, Федосов спросил:

— Вы из нее лепехи там пекли или же так запросто — болтушкой ели?

Гриша на него ошарашенно посмотрел. Даже не обиделся. Ему и в голову не могло прийти, что кто-то всерьез может подумать, что они, коммунисты и комсомольцы, могли взять себе хоть щепотку этой драгоценной муки. Комитетчик Сергей Петрович Лагутин — а у него трое детей — вместе с ним собирал в вагоне рассыпанную, смешанную с пылью муку, сыпал ее в мешок, который он где-то достал, сам этот мешок потом зашил, углем на нем написал следующий номер и сказал: «На заболтку в столовую пойдет»...

Надолго растянули этот вагон. Несколько месяцев Гриша Варенцов видел у ребятишек в руках редкостное лакомство — белую лепешку. Когда все равно голодают, когда у всех равная забота, легче переносить голод. На самой стройке всем было или одинаково хорошо, или одинаково плохо. Не привозили хоть какой ни на есть муки — и всем уменьшали кусок хлеба. Получали несколько кулей леденцов — каждый мальчишка и каждая девчонка бегали по улице, бережно ворочая языком лежавший за щекой сладкий камешек.

Мешочники

А вот на станцию, на Званку, Варенцов не любил ходить. И, когда его посылали туда разгружать вагоны с материалами, перевозить лес, шел неохотно. Кто видал их, эти железнодорожные станции девятнадцатого или двадцатого года, тому их не забыть! Маленький деревянный вокзал забит серыми, грязными людьми. В тряпье копошатся и не по-человечески, а как-то по-птичьему пищат совсем малые дети. Рядом с ними сидят неподвижно их матери, ссохшиеся от голода и отчаяния. Это они из Питера уезжают, спасают детей своих... А спасут ли? Остановился на станции поезд: два-три классных вагона, десяток теплушек и платформ. В теплушках ящики с гвоздями, острый запах линючей мануфактуры, суровые лица людей, недобрый блеск винтовок — питерские рабочие едут за хлебом. Но и другие люди едут из бывшей столицы. Сытые, раскорм-

ленные, довольные. Еще по-летнему тепло, а на деревенской бабе поверх выцветшего ситчика — богатая мужская господская шуба на хорьковой подкладке, с бобровым воротником. Крепко держится она за мешки, набитые за бесценку выменянной одеждой, посудой, всякой всячиной, любезной ее кулацкой душе... Чего только не везут из голодного города! И граммофоны, и мраморные умывальники, и солдатские шинели... Да, да, и шинели везут! Недавно в «Новоладжской коммуне» было напечатано объявление: «Предлагаю всем, у кого есть, сдавать в военкомат старые солдатские шинели — красноармейцев не во что одевать...» А эти, сытенькие, всего нахватили в Питере и еще шинели везут. На половики, что ли?

А вот и те, что едут в Петроград за хорьковыми шубами, за граммофонами, за последней солдатской шинелишкой с рабочих плеч! Мешки с мукой — гранеными стаканами будут продавать ее, бутылки с маслом — за одну такую бутылку небось обчистит целый дом!.. Мешочки!.. Вот сидит одна такая, выламывает ножку у жареного цыпленка да локтем придерживает краюху хлеба, чтоб не отняли... Гриша ненавидел этих людей так, что у него иногда дыхание перехватывало. Кулацкое отродье!

Да что говорить, и около них жили такие! На той стороне Волхова, как раз напротив стройки, на богатой пойме раскинулись огороды. Каждый кустик картофеля сидит ухоженно, гордо, как цветок в горшке. Капустные кочны крепкие, что валуны. Выполотая розоватая морковь вянет в кучах выдранных сорняка. Попробуй только какой-нибудь мальчишка со стройки взять эту ненужную вялую морковку — голову оторвут, собаками затравят!.. На что уж на Волховстройке живут одни рабочие, у которых нет ни мраморных умывальников, ни шуб, а все равно — не стыдятся приходиться выменивать у них последнее. За пяток картошин — коробку спичек. За баночку муки — полотенце или наволочку. Могут и две баночки дать — укради со стройки пилу, или лопату, или еще что...

Один такой — мордатый продавец пышек — однажды поманил Гришу пальцем, когда тот проходил мимо и невольно глянул голодными глазами на серые пышки. Гриша остановился.

— Слушай, парень, ты на тачке работаешь, что ли, а?

— Ну, на тачке хоть, а что? — Варенцов работал не на тачке, был бурильщиком на ломке камня, но злое любопытство разобрало Григория: чего от него может такой кулачище захотеть?

— Ты вот что: с тачки своей колесо сними и тащи мне. Пять пышек дам или хочешь — банку муки.

— Зачем же тебе, дядька, колесо от тачки?

— Мне пригодится. Тележку сделаю — навоз возить. А нет — пускай лежит. Есть не просит, еще понадобится...

— А я как буду работать? Колес-то на складе нет. Деревянные стали делать...

— Дадут! А не дадут, пес с ней, с тачкой! Все равно вам эту станцию не построить! И слава богу! Нужна она, как дырка в голове!

— Дурень ты! Ведь без нашей станции стоять и дальше питерским заводам. Рабочим жрать нечего, народ без гвоздей, без мануфактуры, без сапог. Тебе же все это тоже нужно!

— А на кой мне? Я наменяю... Мне хватит! А вот если вы дуриком реку перекроете, зальет мои огороды да мои покосы. Ну, не приведи господь вам такое исделать!..

— Сделаем! — бешено закричал Гриша.— И станцию построим, и огороды твои потопим! Свои заведем, а тебя и близко к ним не подпустим! Подавись ты своими пышками, кулак проклятый!

Мордатый схватился за свою миску с пышками, придвинул ее к себе и поспешно прикрыл дерюжкой, как будто Гриша мог ее схватить... Но Гриша и не думал о пышках. Умирай он с голоду — и то не дотронулся бы до этих кулацких ноздреватых хлебцев! Они были ему ненавистны, как ненавистен сам их хозяин, ненавистны раскормленные мешочницы, весь их черныи и несправедливый мир...

Задыхаясь, дергая ворот рубашки, Гриша бежал на работу. Из-за этой нечисти еще и опоздать можно! Кого вздумал агитировать! Кулака. За огороды свои боится. Да дай им волю — они за свою морковку, за свои пышки детям горло перегрызут! И Гриша невольно вздрогнул, вспомнив детей в Ладожском детском доме — тихих, вялых, с тоненькими шейками, такими тоненькими, что им трудно было держать большие детские головенки... И на работе, весь длинный день, эти дети не выходили из Гришиной памяти.

Голодно...

А свою работу Гриша еще любил и за то, что на ней ни о чем нельзя думать, кроме как о самой работе. Когда незнакомые спрашивали Гришу о его профессии, он отвечал одним словом: взрывник... И, уходя, чувствовал на себе почтительные взоры... Взрывник! Самая опасная и почетная профессия на Волховстройке!

Ну, по правде говоря, Гриша Варенцов ничего не взрывал. Редко-редко его посылали помочь поднести динамит. Он тащил тяжелые деревянные ящики, тащил с напряжением, боясь споткнуться и опасно поглядывая на свой страшный груз. Но

когда он осторожно клал на землю таинственный гремучий груз, пожилой взрывник Макеич небрежно пинал ящик ногой, с треском отрывал от крышки доски и, не глядя на Гришу, говорил:

— А ну, мотай, парень, отсюда, ежели еще нужны тебе твои ручки-ножки...

А все-таки Гриша был взрывником, потому что без него и Макеичу делать было нечего. С утра и до вечера Гриша бил шпуры — длинные ямки в камне. Туда взрывники заложат динамит, положат запал, протянут шнур, ткнут в конец его сигаркой и побегут прятаться в вырытые щели. Огонек, как живое золотое насекомое, быстро побежит по шнуру, доберется до сделанной Гришей ямки, на мгновение спрячется туда — и дрогнет земля, подыметесь вверх пепельная туча пыли и щебня, и все кругом заполнится опасным кислым запахом взрыва...

А бить шпуры трудно. На лекции инженера Кандалова Гриша слышал, что придумали для этого такие молотки, которые сами бьют шпур — рабочему только надобно держать его в руках. По резиновому шлангу идет к нему от машины сжатый воздух и с силой толкает долото молотка. Может статься, что и у них когда-нибудь такие будут. А пока каждое утро Гриша достает тяжелое стальное долото, приставляет его к начатой накануне ямке, и Гришин напарник бьет по долоту тяжелой кувалдой. Пройдет полчаса, и рабочие меняются местами: Гриша берется за кувалду и бьет по долоту с таким ожесточением, как будто перед ним не мертвая сталь, а Юденич, Деникин, белое офицерье, мордатые мешочники...

Гришина работа считается на стройке самой тяжелой. Им даже положен специальный паек. Да какой там паек сейчас! Гришин напарник, немолодой, но жилистый мужик Евстигнец, когда откладывает в сторону кувалду и слегка дрожащей рукой начинает сбивать со лба капли пота, любит припоминать:

— Правильно говорят: не полопаешь — не потопашешь... На такой работенке без мяса ноги быстро протянешь!..

Гриша Варенцов не любит эти прибаутки Евстигнеича. Мясо! Они давно уж забыли, каково оно на вкус. За все время только два раза в столовую привозили две бочки солдатской солонины — серой, склизкой, с душком... А все равно щи уже были другие: вкусные, наваристые, сытные... Зимой тоже было — привозили несколько раз мясные туши, по маленьким кусочкам раздавали на детские талоны. А взрослым не доставалось. Конечно, надо бы... Евстигнеич-то прав: все меньше сил становится, все труднее и труднее кувалду в руках держать.

А работать надо больше, скорее. Плотники уже нарубили много ряжей, их теперь следует набивать камнем, отгораживать реку. Грабари стоят, ругаются всюю... Каждый день зачастил к ним прораб Иннокентий Иванович Кандалов. Прибежит,

померяет шуры и недовольно морщится. Угрюмо стоит рядом с ним взрывник Макенч, усы поглаживает, ногой камешки отшвыривает... Несколько раз сам Графтио приходил, с ним инженеры, комитетчики, из Питера кто-то... Нет, не кричали они, не ругались, сами видят — работают Гриша и его товарищи на совесть. Изо всех сил. Сколько могут, столько и работают. Недаром бурильщики на стройке не слезают с Красной доски. И когда приезжают на стройку мужики из деревень, рабочие из Питера — посмотреть, что же это делается такое на Волхове, их ведут всегда к скале, где работает Гриша. Приезжала раз с ребятами из Ладожского детдома и Зоя Сергеевна...

Волховские комсомольцы — шефы этого детского дома. Несколько раз бывал там и Гриша Варенцов. «Живую газету» показывали ребятам, футбольный мяч подарили, учили в футбол играть. В «живой газете» Гриша всегда меньшевика играл. Выдумал их руководитель, что меньшевик — он обязательно хромать должен... Вот каждый раз Гришке и приходится наклеивать остренькую паршивую бороденку, надевать взятые для этого у Макенча очки и выламываться — пакостные слова на Советскую власть выговаривать... А все из-за хромой ноги!

Но Гриша Варенцов готов и бороду наклеивать и ломаться перед ребятами, лишь бы увидеть у них на лицах слабую, застенчивую улыбку, услышать писклявый, захлебывающийся детский смех. А смеются они так редко... В Ладожском детском доме живут сироты: у некоторых отцы погибли на фронте, а матери умерли от сыпняка, от голода... Других подобрали голодных, вшивых на станциях; где их родители — и сами ребята не знают... Есть и питерские — мать умерла, а отец дерется с белыми и жив ли — неизвестно... Каждый раз, когда Гриша подходит к кирпичным монастырским стенам, за которыми помещается детский дом, у него начинает щемить сердце.

Ну, когда взрослые голодают, тут ничего не сделаешь, надо потерпеть — революция, война... Волховстроевские ребяташки — те тоже не сладко живут. А все-таки дети как дети. Бегают чумазые по всей стройке, гоняют в лапу, дерутся между собой, кричат и смеются так, что репетировать в клубе нельзя!.. И то — живут при матерях, отцы работают, все самое сытное и вкусное — им... Мать всегда придумает, как своих детей накормить: пайковый керосин обменяет на картошку, за спичечный коробок соли большую крынку молока возьмет или пойдет к огородникам поработать — те от жадности своей хоть мало дадут, но все же дадут...

А детдомовским ребятам — только скудный казенный паек! Видел Гриша, как их кормят. Жиденькая ячневая сечка, суп из капустных листьев с сушеной картошкой — на тарелку два-три картофельных листика, тонких, как папиросная бумага... Все можно перенести, но смотреть, как ребята вылизывают

тарелку с кашей, чтобы ничего не осталось,— смотреть на это страшно, нехорошо!.. И день-деньской слоняются по монастырскому двору неулыбчивые детишки на кривых, рахитичных ножках, с тонюсенькими шейками, не держащими голову,— от этого, что ли, они свои головки набок держат?.. Да и воспитатели не лучше выглядят, чем дети. Едят ту же кашу, и Гриша знает — лишнюю ложку не возьмут. Заведующая, завхоз, воспитательницы все время в бегах: ходят в уком, в наробраз, по волости — ищут, чем бы детей прокормить. И к ним на стройку приходили, и не раз, комитетчики собирали рабочих и спрашивали: «Дадим детдому мешок пайкового сахара или манки?» — «Дадим!» — без запинки соглашались рабочие...

Один фунт верблюжатины

В тот день Гриша Варенцов не задержался на работе. Не покурил с Евстигнейчем, не выуживал у Макеича жуткие истории о катастрофах на взрывных работах — спешил в клуб на репетицию новой постановки. Поселок был непривычно оживлен. Уже была поздняя осень, подмораживало, белая крупка резала воздух, а народ стоял у бараков и о чем-то весело разговаривал.

— Слышал? — Петька Столбов схватил Гришку за плечо.— Мясо привезли! Целый вагон мяса! И знаешь какое — от верблюдов! Цельных верблюдов привезли! Вот попробую! Никогда в жизни не едал. Пойдем на склад, посмотрим?

— Пойдем!

Около склада толпились люди. С подвод сгружали мясо. Действительно, Гриша и не видывал никогда такого мяса. Синее, непривычное глазу. Огромные кости — выше человека. Странные, не похожие на говяжьи, головы...

— Вот из этих мослов студень будет! — Сосед по бараку Федосов толкнул Гришу.— У нас в Костромской в студень кладут чесноку да яйца — это да, получается!..

Первым, кого на другой день Варенцов встретил в поселке, возвращаясь с работы, был Федосов. Лицо его было недобвольное, брови насулены.

— Плакал мой студень! Мы, плотники, носом не вышли мясо есть! Оно для таких верблюдов, как ты. Тяжелая, вишь, работа у него! У нас, плотников, легкая она, что ли?

На двери конторы висело объявление, написанное на толстом белом листе из старой конторской книги: «Рабочим, занятым только на тяжелых работах — бурильщикам, землекопам, плитоломам, кузнецам, носильщикам и тачковозам,— будет выдаваться по одному фунту мяса по талону № 12»...

В коридоре конторы толпились рабочие. Они были тихи. В комнате громко разговаривали. Гриша узнал голос Зои Сергеевны. Он плечом протолкнулся сквозь толпу и втиснулся в комнатку, полную людей и махорочного дыма. Зоя Сергеевна стояла бледная, подняв кулачки, будто от кого-то защищалась. Напротив нее хмуро сидел председатель рабочкома Омупев и, не подымая головы и не глядя на людей, говорил:

— Правда ваша, товарищ Карманова. Неужто не понимаем мы, что у вас за детишки, и не знаем, как они живут?.. Ну рады бы им помочь, от себя готовы отнять, так ведь это не простое мясо, не для всех, а целевое — вот так и написано: це-ле-во-е. Значит, для точной цели, для производства!

— Григорий Степанович! Ведь они маленькие, доктор говорит, что не могут они расти без мяса, без молока, без сахара. Ну хоть немножко их подкормить, не всех, самых маленьких, самых слабых...

В голосе Зои Сергеевны уже не было никакой надежды, одна только тоска и отчаянная вера в то, что вот немного мяса — и выправятся у ее детей кривые ножки, окрепнут тонкие шейки, появится в глазенках живой блеск...

— Не имеем права! Даем это мясо только тем, у **кого** из рук тачка да кувалда валяются. Ведь не могут они на такой адовой работе на одном куске хлеба да на капусте, поймите это, товарищ мой дорогой!

Омупев поднял голову, как бы невидящий его взгляд уставился в Гришу и оживился.

— Вот, видели Варенцова? Молодой еще парень, хороший наш бурильщик, активист, одним словом, а ведь идет с работы — шатается! Я разве не вижу? У меня что — душа не болит за него, за его работу? Не отбурят шпуров, не нарвем сколько надо камня — не сумеем, значит, ряжи опустить. Ну, Варенцов, скажи ты хоть!..

Застывший от волнения Гриша встрепенулся:

— Я... я сейчас, Григорий Степанович...

Гриша нырнул в расступившуюся толпу, выскользнул из тесного коридорчика и, забыв про свою хромоту, побежал по темной уже улице. В бараке рабочие раздевались, снимали портянки, рассматривали лопнувшие солдатские ботинки... Федосов, сидя на койке, как бы продолжал свой разговор с Гришкой:

— Да, а без плотников ни ряжей, ни бетонных работ — ничего нет. Как бараки рубить, как мостки делать, днем ли, ночью ли,— так, пожалуйста, товарищи хорошие, к плотникам идут, а как мясо давать — так уж и все забыли...

Гриша подбежал к своему шкафчику, рванул дверцу. Новенькая, как бы еще и не тронутая, карточка лежала в углу на верхней полочке. Гриша схватил карточку в руки, повернулся

и, не отзываясь на вопросительные взгляды, побежал к выходу.

В конторе Зоя Сергеевна уже не стояла, а сидела у стола на табуретке — усталая и притихшая, будто из нее, как из футбольной камеры, весь воздух выпустили... Омuleв молча сворачивал огромную, с палец, самокрутку. С трудом переводя дух, Гриша развернул карточку, оторвал двенадцатый талон и положил его перед председателем рабочкома.

— Вот, Григорий Степанович...

— Что это ты? Зачем мне даешь?

— Мясо, значит, которое мне положено. Пусть детям детдомовским. Я что ж... Я поработаю и так. Я сильный... А они, дети то есть, они не могут! Они ведь расти не будут!!!

Тихо стало в коридоре. Омuleв отложил сигарку, бережно взял талон, расправил его заскорузлыми пальцами, задумался на секунду и положил возле Зои Сергеевны.

— Спасибо тебе, товарищ Варенцов... Жалко, что не могу я свой талон отдать — не положено мне его...

И Евстигнейч, вдруг неизвестно откуда появившийся, протиснулся к столу, не спеша вытащил из куртки завернутые в кусок брезента какие-то бумажки, не спеша достал мятую свою карточку, не спеша оторвал двенадцатый талон, не сказав ни слова, положил его на Гришкин талон и застенчиво отошел...

Григорий не видел людей. Он не сводил глаз с кусочка стола возле Зои Сергеевны. Там уже не один, не два талона лежали — кучка их росла и росла. Рабочие молча протискивались к столу и один за другим клали на стол талоны... Григорий Степанович облокотился на стол рукой, державшей все еще не зажженную сигарку. Он слегка покачивался, думая свою какую-то думу. Глаза у него стали светлые, веселые. Уверенные глаза. Будто этой вот кучкой талонов на верблюжье мясо он всех накормит, все сделает. И дети будут расти, и станцию построят, и Гриша Варенцов не будет шататься от слабости, и всем, всем станет хорошо...

А может, так и будет?

Екатеринослав — город железный

На мертвом якоре

Стройка умирала. На взгляд человека свежего и неопытного, все, казалось бы, шло обычно. Утром из бараков выходили рабочие, шли к инструменталке, разбирали инструмент и отправлялись по своим местам. Конторские служащие рассаживались за свои столы, начинали стучать костяшки счетов, и шум разговоров перекрывал пулеметный треск пишущей машинки. Из трубы столовой тянул тонкий дымок, и прелый запах обещал на сегодня все тот же обычный капустный суп. Все, казалось, было как всегда. И все же стройка умирала...

Каждое утро, обходя все строительные площадки, Графтио приходил в свой кабинет и с отчаянием перебирал в уме все новые приметы умирания строительства. Перестали строить бараки номер тринадцатый и номер пятнадцатый — еще одна артель плотников снялась со строительства и ушла искать работу повыгоднее... На отсыпке ряжей тачек стало еще меньше — тачки ломаются, а колес к ним нет... А главное — даже тем немногим людям, которые еще остались на Волховстройке, нечего делать... Рабочие сидят, сворачивают махорочные цигарки и, когда к ним подходит главный инженер, не поднимаются к своим местам, а сумрачно и вопросительно смотрят на начальство... А что ж начальство! Оно не может им дать ни железа, ни инструмента, ни проволоки, ни моторов... Ничего этого нет. Вот так крутится по инерции огромный и тяжелый маховик. Еще продолжается бешеный бег колеса, еще невоз-

можно разглядеть спицы, но уже ушла из маховика живая сила, приводящая его в движение, и опытный глаз инженера видит незаметное еще другим, постепенное замедление бега...

Почти окончены подготовительные работы, надо приступить к основным. Надо начинать строительство плотины, но ведь нет ни кессонов, ни компрессоров... Нет моторов для бетономешалки, нет нужных марок цемента. И нет железа для арматуры, нет даже простой железной проволоки! Чего там проволоки — нет и гвоздей для того, чтобы опалубку делать, нет кирок, лопат...

И нет сил и права упрекать людей, каждый день по одному, по два, по десятку уходящих со строительства... После дня тяжелого труда рабочие получают в столовой миску супа из капустных листьев. Большая часть бараков не закончена, а в тех, где живут, — грязь, теснота, ни столов, ни табуреток... Околачиваются вокруг стройки десятки никому не нужных служащих, приткнувшихся к Волхову, чтобы укрыться от мобилизации в армию, чтобы получить инженерный паек. Недаром этих молодчиков кличут «панамми»... На столе главного инженера давно лежит серый и ломкий листок газеты «Новоладожская коммуна». Там какой-то свой, волховский, подписавшийся «Рабочий», написал хлесткий и невеселый раешник...

«...Ребятюшки, здорво! — вам мое слово. Слышно, что у вас, ребята, дело идет слабовато... Дисциплинки, говорят, трудовой мало или, проще говоря, совсем не бывало...

Посматривайте со стороны, чтобы работали у вас и паны. А то у них проделки ловки, катаются за молоком в командировки. И слышал я, что они вам сладко поют, а сами устроили в Дубовиках дворянский приют.

У вас, у рабочих, бараки — благодать... Все удобства там есть, только, кроме нар, негде сесть. А спать кладут по пятнадцать в ряд, как поросят... Ну, ребятки, мужайтесь и не дюже панов пугайтесь. Гните свою линию смело, чтобы вперед подавалось наше рабочее дело...»

«Вперед подавалось!».. Этим «панам», о которых пишет в газете рабочий, конечно, все равно, лишь бы выжить и выждать... А большевики понимают, что только электричество, только такие станции, как Волховская, могут создать индустрию, воскресить страну, сделать ее крепкой... Графтио собирал всех технических работников и рассказывал им о плане, великом плане, предложенном самим Лениным... О том, что будет строиться не одна, а тридцать станций... Одних гидростанций должно быть десять, а их, Волховская, — самая первая! На ней будут учиться строить советские станции, отсюда пойдут строители на Свирь, на Днепр, на Волгу...

Когда Графтио рассказывал это, он видел перед собой радостные, светлые глаза своих помощников, соратников —

Пуговкина, Кандалова, молодых инженеров, так же страстно и убежденно верящих в будущее, как и он сам. Но он видел и других — откровенно зевающих, прячущих улыбку, презрительно перешептывающихся... Это и есть они — «паны»... Это они называют план электрификации «электрофикцией» и, сидя в конторе, подхихикивают над большевиками, задумавшими то, что было не под силу даже их старым, уверенным в себе хозяевам.

Но что говорить об этих ничтожествах! Ведь и в Москве и в Петрограде он все время наталкивается на «панов»!.. Нет, конечно, они не смеют говорить об «электрофикции», ведь они крупные специалисты, ответственные работники, занимают большое положение, получают пайки — академические, специальные, инженерные, — получают больше, нежели наркомы, чем сам Ленин!.. Графтио их всех хорошо и давно знает — с некоторыми вместе учился, встречался на научных конференциях, на заседаниях... Они принимают его ласково-снисходительно, выслушивают со скупающе-внимательными лицами, разводят руками, удивляясь, как их коллега — сам инженер! — не понимает, что смешно при такой разрухе мечтать о строительстве станции, какой даже «у них» в Европе нет! Вот что, голубчик, значит стать провинциальным инженером и променять инженерную трезвость на этот... гм... необоснованный энтузиазм... И, прощаясь с Графтио, они вежливо встают, выходят из-за стола, провожают до дверей и предупредительно, с поклоном ее открывают... Как, наверно, они смеются, закрывши эту дверь!..

И Генрих Осипович вспоминает, как больше трех лет назад, в первые месяцы Советской власти, его вызвал в Смольный Петр Гермогенович Смидович и от имени Ленина поручил начать осуществление его, Графтио, проекта строительства Волховской станции... Проекта, который безнадежно валялся в канцеляриях акционерных обществ и министерств царя, Керенского...

И ведь все годы гражданской войны, когда был так дорог каждый штык, каждая пайка овсяного хлеба, посылали людей на строительство, не брали их на фронт, кормили последним, отказывая в крохах продовольствия красноармейцам, женщинам, детям... А теперь, когда закончена страшная и кровавая война, когда вся страна лежит в развалинах и только электричество может вдохнуть жизнь в мертвые заводы и фабрики, эти «паны» убивают стройку! На что они надеются? Что предлагают? Обратиться туда, на Запад, к капиталистам! Просить их строить устаревшие тепловые станции, платить за это последним золотом! Эти инженерные сановники предвкушают поездки за границу, завтраки и обеды у хозяев фирм, может быть, и небрежно сунутые комиссионные...

Письмо Ленину

Поздней августовской ночью Генрих Осипович Графтио пишет письмо. Да, он знает, кому надо написать!.. Он напишет ему все, всю правду о том, что же делается со стройкой. Пусть об этом узнает Владимир Ильич, только ему может поверить Графтио, что нет у страны сил и возможности построить станцию! Графтио пишет письмо, не выбирая слов, не обдумывая каждую фразу... Ведь он не знает, что настанет время, когда это письмо прочтут многие тысячи людей, что его напечатают в сотнях книг и что оно будет лежать под стеклом в музее...

«...Вы можете усмотреть, в каких невероятных условиях бюрократической безответственной неразберихи, а подчас и умышленного противодействия приходится вести дело осуществления Волховской гидроэлектрической силовой установки, начало коему было положено Вами, через товарища Смидовича, три года тому назад...»

Меньше чем через три года, в страшные дни конца января, через несколько дней после того, как тело Ленина внесут в маленький фанерный мавзолей и опустят в склеп, вырытый взрывами в окаменевшей от страшного холода земле, нахвалившийся, с глубоко запавшими глазами Графтио будет рассказывать своим близким, своим товарищам по работе о том, как он писал Ленину письмо и как его, старого инженера, вызвали в Кремль... Медленно, останавливаясь после каждого слова, с трудом переводя дыхание, он будет вспоминать, как шел по длинному коридору, как остановился около часового, заставшего у двери, как вошел в небольшой кабинет, полный книг, и налево из-за письменного стола встал ему навстречу Владимир Ильич... Осенний день подходил к концу, темнело, в стекла ленинского кабинета стучал дождь, и уже горело электричество. Лампочки светили тускло — вполне накала, профессионально отметил инженер Графтио... Да, это была деловая, вполне деловая беседа... Ленин расспрашивал Графтио, сколько нужно арматуры, цемента, какой мощности и какого типа будут стоять генераторы, где лучше заказывать турбины, сколько требуется рабочей силы и каковы возможные предельные сроки окончания строительства... Время от времени Ленин наклонялся и делал какие-то быстрые пометки в большом блокноте. Конечно, это была деловая беседа, одно из очень многих и важных дел, какие приходилось обсуждать и решать Председателю Совнаркома... Но никогда Графтио не забудет глаз Ленина на усталом лице, когда он слушал рассказ автора проекта о том, какой будет станция!.. Ленин перебивал Графтио, требуя точных подробностей. Лицо его засветилось, когда он услышал, сколько петроградских заводов можно будет

перевести на электроэнергию и сколько высвободится вагонов угля... И невозможно забыть лицо Ленина, когда Графтио ему показывал документы, ответы на его заявления и просьбы — ответы холодные, равнодушные, тонкоиздевательские... Владимир Ильич встал. Он стоял, легонько потирая кончиками пальцев побледневший висок, из посуровевших глаз исчез прежний живой и ласковый блеск...

Потом Графтио покажут копию записки, которую Ленин после беседы с ним послал наркому юстиции Дмитрию Ивановичу Курскому:

«Я направил к Вам через управделами СНКома заявление проф. Графтио с поразительными документами волокиты.

Волокита эта особенно в московских и центральных учреждениях самая обычная. Но тем более внимания надо обратить на борьбу с ней... Надо:

1. Поставить это дело на суд.

2. Добиться ошельмования виновных и в прессе и строгим наказанием...»

Надо «...научиться травить волокиту», с гневом и отвращением писал Ленин.

Какие это были утомительные и радостные дни для Графтио — дни после посещения Ленина! Уже не ухмылка пренебрежения, а страх и угодливость виднелись в глазах «панов» из важных учреждений!.. Они уже соглашались со всем, что им говорил главный инженер Волховского строительства, они находили и законсервированные фонды цемента, и остатки арматуры... Совет Труда и Оборона принял специальное постановление о сроках строительства. Волховстройке было выделено пять тысяч пайков. Пять тысяч пайков!.. Графтио хорошо понимал, что это значит — дать пять тысяч пайков, когда в Поволжье страшный, невероятный голод, когда он убивает тысячи людей, когда в самой Москве маленький кусочек хлеба является редким лакомством... Да, теперь открылись все двери, теперь перед Графтио лежат прежде ему недоступные документы, в которых сказано, сколько лопат, кирок, провода, железа находится на складах Москвы и Петрограда. Пожалуйста, можете брать! Но брать-то нечего!

— Вы, товарищ Графтио, вы все, кто строите станцию, — не приказчики на строительстве, а хозяева... — сказал ему в Кремле один из помощников Ленина.— Так не будет, что вы попросите все нужное, а мы дадим!.. Нет этого у нас! Вы просите железные понтоны, компрессоры, моторы, железо разных профилей — ничего этого на складах нет. И не найдете! Надо самим ехать по стране и собирать, что где есть... Вот так, как рабочие ездят из Москвы и Петрограда добывать хлеб, чтобы прокормить себя, своих товарищей, свои семьи... Людей, которые скрывали от вас то, что лежит на складах, накажем, так

накажем, что неповадно им будет. Но больше, чем у них есть, они вам не дадут. Надо обратиться к рабочим, к тем, кто бережет наши заводы, не дает их растащить. Они понимают, что вы делаете, для кого... Они знают, что Владимир Ильич сказал о плане электрификации. И они помогут! От себя оторвут, а вам дадут... Вы на них надейтесь, надейтесь больше, чем на этих, как вы их называете, «панов» из больших и малых учреждений...

Саша Точилин

Когда Графтио вернулся на стройку, там уже всё знали. Совсем немного времени прошло, а стройка была другая. Так же, как прежде, с утра артели рабочих направлялись по своим местам, так же не хватало материалов, но уже и у рабочих и у инженеров были другие глаза — не потухшие, а веселые, оживленные, требующие... Дистраивались бараки, закладывали новые, начали строить клуб. Колесо стройки крутилось так же, как прежде, но в этом движении уже была не сила инерции, а настоящая, нарастающая сила заработавшего двигателя.

А в комячейке и рабочкоме до поздней ночи толпился народ. Надо ехать собирать оборудование! Надо ехать далеко, туда, на юг, где еще совсем недавно шли бои. Каждого кандидата обсуждали подробно и откровенно. Омужева отпустить нельзя, он председатель рабочкома, начнут сейчас люди прибывать, их надо устраивать. Ближайших помощников главного инженера — Пуговкина, Кандалова, прорабов участков — тоже нельзя со стройки отпускать: ведь новые рабочие сразу же должны включаться в работу... Григорьев — подходящий мужик и умеет разговаривать, но ведь жена в больнице, а на руках трое малых детей... Петр Куканов — этот подойдет! Серьезный человек и побывал в этих местах, в Конной Буденного служил... И Гольдман годится, и Иванов Сергей, и Степан Суховцев... Что, и комсомольцы просят? Нет, Варенцов, пожалуй, не подходит. Ну что из того, что активный парень и из Тихвина добровольцем пришел на стройку! Только что в бюро выбрали, еще не осмотрелся, да и нога у него, кажется, поврежденная... Точилин? А пожалуй, этот годится!.. Да ничего, что молод. Сколько ему? Ну вот — девятнадцать, это уж вовсе взрослый человек! Опять же не грабарь, а слесарь, разряд имеет и на митингах горазд выступать... Ну что, товарищи, пошлем Точилина?

Саша Точилин стоял у самой двери, где-то позади толпы, плотно обступившей стол председателя рабочкома. Когда выкрикнули его фамилию, он, не веря еще, вздрогнул и стал

пробиваться к столу Омужева. Говорить ему за себя? Сказать, что он, Точилин, единственный из ребят имеющий разряд?.. Что он все достанет, уговорит всех тамошних комсомольцев, что он и на гармошке играет, и в ЧОНе служил?.. И неужели вправду все согласились и он поедет на далекий юг, туда, на Украину, добывать стройке машины, оборудование, инструменты?!

Саша Точилин был из Новой Ладogi. Там родился, там учился в церковноприходской, там помогал отцу слесарить в механической мастерской Португалова, там бегал на митинги и расклеивал листки, призывающие голосовать на выборах в Учредительное собрание за «Список № 5» — за большевиков... Там вступил в комсомол, маршировал в комсомольском взводе ЧОНа, выезжал в уезд ловить бандитов. Оттуда поехал на Волхов строить станцию... Нет, Саша не мог пожаловаться на то, что у него была скучная, неинтересная жизнь! Немало он пожил — уже девятнадцать лет! — и за это время много увидел и многое успел... И ничего, что он никогда не выезжал из своего уезда и железную дорогу увидел только тогда, когда приехал на Волховстройку... И хотя Саше, конечно, очень хотелось посмотреть новые, невиданные места, но не от этого у него так внезапно закружилась голова. Саша Точилин был совершенно уверен, что ему удастся все сделать! Как у себя в уезде, он соберет тамошних комсомольцев, расскажет им про свою стройку, споет с ними песни, сыграет на гармошке... И ребята найдут все, что нужно, и он придет к мрачноватому этому Куканову и небрежно ему скажет: «Вот, есть что искали, завтра грузить будем... Комсомольскими силами...»

Выезжать надо было через три дня. Все эти дни Саша жил в горячке какой-то... Все его учили, не было на стройке, наверно, ни одного человека, который бы не давал ему советов. Даже собственная его бабка в Новой Ладoge, куда он сбегал попрощаться с родными, дала ему мешочек с высушенной полынью и приказала носить на шее — от вшей, чтобы не заболел сыпняком. Мешочек этот Саша хотел немедленно же выбросить — еще подумают, что он ладанку освященную носит! — но потом сунул все же в карман — полынь, может, она и пригодится! Зато свой мешок он набил стихами Демьяна Бедного, положил туда свои плоскогубцы, каких ни у кого не было — с резиновыми ручками, — две отвертки, французский гаечный ключ — пригодятся! И гармошку взял, хотя Петр Иванович Куканов поморщился и недовольно сказал:

— Ты что, на посиделки собрался, что ли?

Длинной дорогой

Поезд вползал в город медленно, натруженно, как бы для того, чтобы Саша Точилин мог получше рассмотреть все, что ему надо было оживить, во что необходимо было скорее, как можно скорее вдохнуть жизнь! За окном вагона бесконечно тянулись красные кирпичные корпуса заводов. Наступали сумерки, становилось темно, и в вагоне зажгли керосиновый фонарь. Но огромные окна заводов были темны. Перед запертыми проходными росла трава, людей не было видно. Трубы были везде, они стояли как лес — толстые и тонкие, кирпичные и железные. Но ни один дымок не тянулся из них.

Волховстроевцы вышли на большую сумрачную площадь. Напротив вокзала, в грязном скверике, могучий бронзовый конь осел под тяжестью грузного седока с густой бородой, в такой же небольшой меховой шапочке, какую носили когда-то полицейские... Царь! Его портреты висели у них в церковноприходской школе, и Сашу учили, что он назывался «мироворец», а папаша его — «освободитель»... Саша подошел ближе и на железной доске прочитал:

Мой сын и мой отец при жизни казнены.
А я пожал удел посмертного бесславья.
Торчу здесь пугалом чугуном для страны,
Навеки сбросившей ярмо самодержавья...

Налево уходила широкая и бесконечная улица, терявшаяся в вечерней дымке. Множество людей спешили по каким-то своим делам. Солдатские шинели, кожаные куртки, изредка широкополая шляпа и барское пальто... Со звоном проезжали редкие трамваи, увешанные гроздьями людей. Волховстроевцы тоже пытались влезть в трамвай, но потом не выдержали и пошли пешком — куда-то по боковым, но все же очень богатым улицам. Дома были облезлые, с осыпавшейся штукатуркой на фасаде, но красивые и большие. Саша с товарищами шли долго, пока не пришли к зданию, название которого так часто слышал Саша в разговорах в комячейке: «В Смольном сказали...», «Есть приказ из самого Смольного...», «Напишем в Смольный, если что...».

Смольный теперь был перед ним — такой точно, как на картинках: широкая лестница, колонны, часовые у ворот...

Саша не принимал участия в разговорах, которые вели в Смольном и в других каких-то учреждениях Куканов и иные волховстроевцы. Его оставили в общежитии, где они поместились, и сказали: «Побегай, посмотри Питер, когда еще увидишь его!»

И Саша несколько дней ходил по осеннему Петрограду, не

боясь ни пронзительного ветра с дождем, ни голода. Как он был красив, этот ни на что не похожий город! Его не портило то, что дворцы облупились, а площади заросли травой и что мостовая перед некоторыми зданиями была покрыта семечной шелухой — почти так же, как у них перед крыльцом конторы... В каналах темнела грязная вода, сады и скверы усыпаны мокрыми листьями, мрачные, не улыбочивые цари торчали на конях. Но больше, чем памятникам, огромным храмам и необыкновенным домам, Саша поражался и радовался другому: огромным афишам о митингах-концертах, ярким плакатам, молодым ребятам и девочкам, которые разгружали с баржи дрова, хохотали и пели те же самые песни, какие пели они и в Новой Ладогe, и перед крыльцом волховстроевского клуба. Он провожал глазами огромные автомобили с брезентовым верхом, пронесившиеся по улице: рядом с шофером сидит человек в кожаной куртке, кожаной фуражке — комиссар!.. В столовой партийного общежития кормили почти точно так же, как у них в волховской столовке, даже чуть похуже... Жизнь в Питере была такая же суровая и трудная, как и у них, и это не печалило Сашу Точилина, а как-то объединяло его с ребятами, разгружавшими дрова, с комиссаром в кожаной фуражке, со всеми, кто, как и он, были коммунистами или комсомольцами.

Накануне отъезда Саша даже побывал в Петропавловской крепости. Он прошел по всем коридорам страшной пустой тюрьмы. Двери камер были открыты, в темной глубине наверху синело зарешеченное оконце. Железная койка, маленький железный столик, казалось, еще хранили следы людей, которые тут томились годами. Здесь они в долгие дни и ночи ходили по камере — пять шагов в одну сторону, три в другую... Отсюда их выводили вниз, надевали на них кандалы и увозили... туда... на казнь... Саша представил себе бесконечный поток людей, прошедших через это здание... Где они, эти люди? Живы ли? Вспоминают ли этот неживой тюремный запах, эти серые стены, пыльные решетки?..

И, когда он вышел из ворот крепости, сладким показался Точилину холодный петроградский воздух, пахнущий дымком, и радостны улицы, по которым свободно шли свободные люди... Саша через широкий и длинный мост вышел на необозримо большую площадь. Голые деревья парков маячили далеко, как лес на горизонте. Небольшой полуголый бронзовый человек стоял в начале площади на невысокой колонне и протягивал вперед руку. «Суворов», — прочитал на памятнике Саша и даже не удивился странному его виду. Ему было совсем не до Суворова. Подстриженный кустарник и молодые деревца занимали центр площади. В запущенном городе этот кусок земли выделялся своей чистотой и прибранностью. Остатки летних

цветов краснели на аккуратных клумбах, разбитых вокруг серых гранитных камней. Саша подошел ближе и прочитал глубоко выбитые в камне слова:

Не жертвы — герои лежат под этой могилой.
Не горе, а зависть рождает судьба ваша
В сердцах благородных потомков.
В красные страшные дни
Славно вы жили
И умирали прекрасно.

Он медленно обходил эти серые камни, поражаясь, как правильно, как точно знал человек, написавший слова на камне, что сейчас думает он, волховский комсомолец Саша Точилин...

Потом была Москва — другая, очень шумная, торопящаяся, набитая, как показалось Саше, множеством очень спешащих людей. Но в Москве они пробыли совсем недолго и спали на вокзале вместе с другими, лежащими вповалку на каменном полу. Саша только успел один раз походить по городу. Он пришел на Красную площадь и долго смотрел на Кремль. Он очень устал, от голода подташнивало, куртка его, сшитая из старой шинели, промокла от дождя, но долго Саша стоял около памятника напротив Кремля и не сводил глаз с ворот Спасской башни. Оттуда изредка выезжали автомобили, и Саша всматривался до рези в глазах — не увидит ли он рядом с шофером или в глубине машины огромный лоб и небольшую бородку... Там, за этой стеной, жил и работал Ленин, и Саше казалось немыслимым, что он приедет на Волхов, станет рассказывать про Москву и не сможет ответить на первый и главный вопрос: а Ленина ты видел?..

Ленина Саша так и не увидел. Но Ленин был постоянно с ними и помогал им во всем. Если бы не он, их не посадили бы в первый же поезд, идущий на юг. Если бы не он, им бы не выдали специальный паек — как командированным по государственному делу... И ехали они в неизвестность, надеясь на Ленина, на слова Ленина, что Волховскую станцию должны строить все. И из последних сил!..

Сашу Точилина недаром выдвинули от комсомола для поездки. Он был одним из самых грамотных и сознательных комсомольцев и в Новой Ладоге и на стройке. Он читал все газеты и так рассказывал ребятам про разруху, про то, что победить ее так же важно, как победить в войне, что ни один человек не отказывался от ночной разгрузки леса, от воскресника... Но никогда Саша не знал, что эта разруха, о которой он столько говорил, так страшно выглядит... То, что видел Саша, перевертывало душу! Поезд, набитый людьми, стоявшими, сидевшими, лежавшими в проходах, в тамбурах, на

площадках, тащился медленно. На каждой станции он подолгу стоял, и, выбравшись из вагона, Саша молча перешагивал через людей, лежавших на полу станции, на асфальтовом перроне, и бежал к длинной очереди у крана с кипятком или же проталкивался в набитую и накуренную комнату агитпункта и получал там свежую газету, а то и парочку новых брошюр.

Через всю страницу газеты тянулись кричащие, тревожные заголовки: «Все на борьбу с голодом!», «Все на борьбу с разрухой!»... И шли страшные телеграммы о том, как в Поволжье гибнут люди, как сечет их сыпняк... Но увиденное Сашей было намного страшнее того, что он читал... Голодающие были здесь, рядом, их сразу можно было узнать по неживому, землистому цвету отечных лиц, по тусклым и безнадежным глазам... Среди толпы ходили с носилками санитары, они подбирали самых страшных и уносили в больницы. У барака с надписью «Помгол» стояли, сидели и лежали голодающие. Их там кормили, и они были так слабы, что у них не было даже сил спорить из-за очереди, ссориться, как это делается во всех очередях... Ребятишки ползали среди лежащих, и Саше казалось, что совершенно невозможно уже отличить мертвых от живых...

— Что же делать, Петр Иванович? — с отчаянием и слезами в голосе спрашивал Саша Куканова.

— Что делать?.. Кого еще можно на ноги поднять — подымать... Так ведь дело не только в этом! Нужно засеять поля, вырастить хлеб. Иначе снова будет такое...

— Так нужно послать людей, собрать их со всех мест, чтобы вспахали и посеяли!

— Пахать — значит, надобны плуги, бороны... Нужно, чтобы люди были одеты и обуты... Зипуна не соткешь и овчины не сошьешь — не из чего, скота не осталось... Видел в Питере — стоят заводы. Пока их не пустим, не победим голод! Построим нашу станцию — сразу закрутится знаешь сколько станков! Вот про это надобно будет и рассказывать екатеринославским комсомольцам, а не на гармошке им играть... Там, на Украине, песен-то побольше, чем у нас в Ладогe... Их гармошкой не удивишь!

Про Украину Саша только слышал. В школе когда-то читал стихи: «Ты знаешь край, где все обильем дышит, где реки льются чище серебра». И слышал, как на школьном вечере девочка с чувством читала: «Садок вишневый коло хаты, хрущи над вишнями гудуть...» И все ждал, когда он увидит реки, льющиеся серебром, и белые, нарядные домики среди вишневых садов... Но не было ни серебряных рек, ни вишневых садов, когда Саша узнал, что они уже едут по Украине. Была бескрайняя степь, и в ней мелькали не вишневые сады, а за-

коптелые заводские здания, высокие кирпичные трубы, а на горизонте цепочками тянулись аккуратные треугольные горы, как будто нарочно людьми сделанные... Они, как оказалось, и были сделаны людьми — горы пустой, выработанной породы, извлеченной оттуда, снизу, из-под земли, где шахтеры добывают уголь... И люди на станциях были такие же, как и во всей России: одетые в шинели, в рабочие ватные пиджаки, в жакеты фуражки. Такие же озабоченные и невеселые, как Куканов, как Суховцев... Разве что сытнее чуть-чуть становилось. На станциях продавали крынки молока с коричневой жирной пенкой. И можно было купить настоящий белый хлеб — Саша уже и забывать стал, как он выглядит! И все чаще в разговорах волховстроевцев звучало название города, куда они ехали: Екатеринослав.

Свой шумный, набитый людьми вагон они давно обжили. Притерпелись к местам, по ночам снимали с себя всю верхнюю одежду, подстилали ее, подкладывали под голову вещевого мешок и спали. Днем на станциях бегали за кипятком, по вечерам собирались вокруг большого жестяного чайника, грели на нем руки, пили кипяток с хлебом и слушали рассказы Гольдмана, который не раз бывал здесь и даже в самом Екатеринославе жил. Послушать его — это был самый железный город во всей Советской стране! Заводов в нем не меньше, чем в самом Питере, и все делают только железо и машины... Все рельсы, по которым идет их поезд, — из Екатеринослава. И моторы оттуда же, и даже пожарный насос на Волховстройке и тот из этого железного города. Так неужели в таком-то городе не найдется для Волховской стройки железа!

В железном городе

...Будет когда-нибудь время, и один из строителей Днепровской станции, профессор Александр Петрович Точилин, придет в город Днепропетровск, что когда-то звался Екатеринославом. Он проедет по всем улицам огромного индустриального города, побывает на новых колоссальных заводах, выросших за те самые годы, когда он сам превращался из слесаря четвертого разряда в профессора и доктора наук... Его собеседники с удивлением будут отмечать, что профессор необычно задумчив, что он часто прерывает разговор, как будто какие-то воспоминания вторгаются в чисто деловой спор о типах опор, размещении подстанций, выборе трансформаторов... А профессор никак не сможет уйти от воспоминаний о том, что в этом городе пережил много лет назад волховский комсомолец Саша Точилин.

Что может быть грустнее, тоскливее города, из которого

ушло то, что составляет его жизнь! Екатеринослав был городом, созданным для того, чтобы его жители плавил сталь, прокатывали рельсы, делали машины. И все это кончилось!.. Погасли домны, выплавлявшие чугун, покрылись пылью сталелитейные печи... Остановились екатеринославские заводы, и жизнь многих тысяч людей, живших в этом городе, утратила смысл...

Жизнь была только на базарах — крикливых, наполненных запахами украинской поздней осени. Иногда Саша Точилин ходил туда и обменивал пайковую селедку на необычные для него яства — кукурузу, которую грызли так, как шелушит еловую шишку белка. И сочные арбузы, сладкие, подернутые как бы изморозью. И помидоры, которых раньше Саша не ел. Рядом с продовольственным рынком шумела барахолка. На ней продавалось и покупалось все: разрозненные остатки сервизов, поношенные чиновничьи и офицерские мундиры, полусъеденные молью меха, расшитые деревенские рушники... Бывшие барыни в оборванных кружевах и невысшимых салопах, поникие пожилые мужчины в инженерских фуражках, красноносые молодцы бандитского вида... Смотреть на эту толпу было противно. Но особенно тягостно становилось Точилину, когда он среди этой толпы встречал других... Поношенная рабочая одежда, угрюмые худые лица, руки с неизгладимыми следами вьезшегося во все поры железа.

Они не кричат, предлагая свой товар, им неуютно, неудобно, стыдно на торжище. На земле лежит тряпица, а на ней разложены зажигалки, сделанные из старых патронов, самодельные замки, кружки, изготовленные из старых жестяных обрезков. А иногда — и это самое страшное! — среди нехитрых изделий старого слесаря лежат ножовка, гаечный ключ, плоскогубцы, напильники... До какой же степени отчаяния дошел рабочий человек, если он продает свой, личный, слесарный инструмент!

Точилин почти ежедневно бегал на левый берег, где раскинулся огромный металлургический завод, где были сортировочная станция и растянувшиеся на версты пакгаузы товарных складов. Заводы стояли. Но когда у Саши улеглась первая горечь от пустынных цехов, от заводских дворов, где начала пробиваться трава, от неприятной, не свойственной заводам тишины, он увидел, что и там была жизнь. У закрытых заводских ворот дремали сторожа. На огромных станках не было видно ржавчины и свежая смазка блестела, будто вот-вот придут к машинам сменщики.

Нет, не было так, как казалось волховстроевцам, когда они ехали сюда: не валялись на земле ржавые моторы, не мокли под дождем никому не нужные штабеля арматурного железа... Все было прибрано, все было под замком, и заводские боль-

шевики никому не позволили ничего растащить, снести на барахолку. И видно было, что нелегко им расставаться с каждым мотором, с каждой бухтой провода. Но расставались.

Когда Куканов начинал рассказывать, зачем приехали в Екатеринослав люди с далекой северной стройки, комната завкома набивалась рабочими. Синий махорочный дым плавал в воздухе густыми волнами. Положив перед собой на стол свои большие натруженные руки, Куканов не спеша, тихим своим баском говорил:

— Ежели мы это все сделаем, то наша станция заменит триста тысяч тонн угля в год... Чуете? Тут правильно говорят — Донбасс скоро начнет работать, шахты в первую очередь, конечно, пустят. Но ведь не для вас одних. Мы люди рабочие и грамотные, понимаем: железо, сталь — заглавные! Но ведь, товарищи, вам же надобно одеться, обуться, надобно делать оружие — куда мы без него? Надобно делать новые станки, я смотрел ваши — на них клейма Балтийского, Парвиейнена, «Электросилы» — все из Питера... Без питерских заводов и фабрик не обойтись. Значит, надобно туда гнать уголь. А чем? Вагонов-то почти не осталось! Пока довезем уголь до Петрограда, половину сожжем в паровозах... Вот и выходит — наша станция не для Питера одного только.

— Мы свою водяную станцию построим! Днепр-то не меньше Волхова!

— Правильно. Построите. Только не вы, екатеринославцы, а мы все. Ведь станция — не зажигалка, взял да смастерил... В одну нашу станцию надобно вложить шестнадцать тысяч тонн железа, да еще восемьдесят тысяч тонн цемента, да пять миллионов штук кирпича. А она самая первая, самая малая из всех, что по ленинскому плану будут строиться... Наш главный инженер не кто-нибудь, а самый наикрупнейший спец — профессор! Графтию ему фамилия. Так вот он говорит, что таких станций в России никогда не было. Наша, Волховская, — самая первая. На ней учиться будут, как гирдо... гидра... гидроэлектрические станции строить. А пока нашу не построим, кто же вам, друзья-товарищи, будет на Днепре строить? Некому. Куда ни кинь, а Волховскую станцию всем миром строить нужно. И вы не жалейте моторов своих! Построим станцию, пустим питерские заводы — вернутся к вам моторы. Только будут они новенькие, наши, советские! И чего ради, думаете, нас сюда Ленин послал? Ну да, сам Ленин сказал — поезжайте к товарищам рабочим, они помогут! Ленин — он что, питерский разве? За Петроград только? Ленин — он за всю Россию, за всю Советскую Республику. За вас же, товарищи!

Никогда Саша не думал, что тихий, сумрачный машинист Петр Иванович Куканов умеет так здорово агитировать! Лучше ораторов, приезжавших на Волховстройку из самого

Питера! Он не забрасывал назад голову и не простирал вперед правую руку... И словом не обмолвился об Антанте и ни разу не вспомнил ни Клемансо, ни Ллойд-Джорджа, никаких других акул империализма... Петр Иванович говорил, как бы раздумывая про себя, как бы советуясь со своими товарищами, точно так, как это он делал у них в рабочкоме, когда обсуждали, каким артелям в воскресенье выходить на работу, а каким отдыхать... Да и чего агитировать! Против них сидели такие же рабочие, как и они сами, согласные в самом главном для всех: надо вылезать из разрухи. Надобно пораскинуть мозгами: что и как в первую очередь делать. Редко какой из екатеринославских выкрикнет:

— Ну да, вот так и отдай свое! А нам, как затопят котельную, ни с чем, значит, оставаться!

Но его, крикуна, тотчас же обрывали:

— Засохни! Что ты, как полтавский куркуль какой! Или свою, екатеринославскую, республику сделаешь? У нас дела общие. И Ленин у нас общий. Не московский, не питерский, а общий! Понял?

Давали. Все, что могли, давали. Обходили закопченные склады и подбирали нужное железо — арматуру, швеллерные балки, рельсы, проволоку, тонкую, как струна, и толстую, в человеческий палец. И моторы дали. И цемент какой-то особый, что в воде должен лежать, и его дали. И вагоны помогли достать. А уж насчет погрузки этих вагонов — тут Саша Точилин доказывал, что не зря его посылали волховстроевские комсомольцы!

Рабочие — те все, конечно, хотя и похожи друг на друга, а все-таки разные... А вот комсомольцы — они одинаковые! В этом Саша убедился сразу же, как приехал в Екатеринослав, как сбегал в губком и познакомился с заводскими ребятами! Они так же спорили и шумели, как комсомольцы в Ладоге или на Волхове. Пели те же песни, что и они, что и петроградские комсомольцы, разгружавшие баржи. Так же бросали все свои дела и дружно отправлялись грузить вагоны с железом на Волховскую стройку. Грузили весело, с песнями. И гармошка Саши пригодилась, и много новых песен выучился на ней играть Саша Точилин. И когда через несколько лет на Волховском проспекте летним вечером будут раздаваться веселые украинские «Распрягайте, хлопцы, коней» и «Як була я ще маленька, колысала мэнэ ненька», никто уже не будет помнить, что их привез на берег Волхова Саша Точилин...

За подводным кладом

...Наверно, у нас на Волхове уже зима! И Волхов выше порогов стал, и снегу полно на улицах, и из множества труб на домах, бараках, землянках по утрам встают сотни дымных столбов... А здесь, на Украине, еще по-осеннему тепло и на погрузке вагонов ребята и девочки работают без пиджаков и фуфаяк. Когда заканчивалась погрузка и составитель поезда начинал писать мелом на вагоне: «Станция Званка Северной ж. д., Волховстрою», Саша стоял рядом, и ему казалось, что он отправляет ребятам, стройке свое, Сашино, письмо... Его подмывало что-нибудь приписать к этим сухим, официальным словам... И однажды он не утерпел и на углу вагона, около буфера, быстренько нацарапал куском мела: «Привет, ребята, от екатеринославских комсомольцев! Саша».

И Саше виделось, как прибывает этот вагон на Званку и приходят туда ребята из ячейки на разгрузку. Как Петька Столбов с треском отрывает пломбу на широкой двери вагона, как с визгом и криком устанавливают покати и тяжелый мотор начинает скользить вниз... Как хромой Гриша Варенцов бережно принимает этот мотор внизу, а в это время кто-то кричит: «Ребята, а тут привет написан от нашего Саши Точилина!..»

И все-таки дела были не так хороши, как хотелось. Компрессоров в Екатеринославе так и не нашли. А нужны были и компрессоры, а главное — нужны были понтоны для кессонных работ. В Екатеринославском губкоме волховстроевцы долго сидели и разыскивали следы этих самых понтонов. Оказывается, искать их надобно было там, где когда-то строились мосты, да так и остались недостроенными. На большом губкомовском столе лежала карта, вокруг нее столпились люди, они рассматривали ее, и звучали названия рек и мест, которые Саша еще помнил потому, что каких-нибудь два-три года назад про них говорилось в ежедневных военных сводках. Реки со странными названиями — Орель, Базавлук, Ингулец, Мокрая Сура... Станции, по-смешному называвшиеся — Зачепиловка, Перещипино...

След нашелся... Надобно было ехать на Черниговщину и там, на реке Десне, около города Остер, искать компрессоры и понтоны. Ехать туда было совсем не просто — пожалуй, труднее, чем из Петрограда в Екатеринослав. Правда, им дали вагон — целую отдельную теплушку. И с ними поехали екатеринославские товарищи. И среди них не кто-нибудь, а водолаз... Водолаз был еще молодой парень, белобрысый, не похожий на чернявых украинцев. Его тоже звали Сашей, и, чтобы не путать с Сашей Точилиным, звали его Саша-водолаз. Из вагона Саша-водолаз почти не выходил: или спал, при-

ткнувшись к своему большому медному шлему, или же сидел около чугунной печурки и рассказывал необыкновенные байки про свои приключения на морском дне. На него нападали акулы, он боролся со спрутами, и утопленники хватались за него ледяными пальцами, когда Саша-водолаз пробирался по палубам затонувших кораблей... Очень скоро выяснилось, что Саша-водолаз никогда и не был на море и что опускался он под воду только в реках, при починке мостов, а все свои истории вычитал из книг. Но все равно слушать его было интересно, и каждый вечер Саше-водолазу очищали место около печурки и говорили: «Давай, Саша! Про сокровища на затонувшем пароходе «Орел!»» И Саша-водолаз начинал жуткий рассказ про то, как он нашел несметные сокровища, охраняемые целым стадом морских чудовищ...

А теплушка больше стояла на станциях, чем двигалась по дороге. По многу часов Петр Куканов ругался со станционными начальниками, размахивал мандатами и грозил немедленно телеграфировать Орточека, самому Дзержинскому, а то и Ленину... Железнодорожники были до того усталы, что уже ничего не боялись, самого Дзержинского не боялись. Только когда Куканов, выбившись из сил, охрипнув, начинал тихо их спрашивать: «Ну чего мы Ленину, чего мы Владимиру Ильичу ответим? Ведь послал нас, понадеявшись на вас, товарищи, что поможете вы нам! Ну, станет Десна — значит, почитай, все пропало! Припухать нам до самой весны, а на стройке тысячи людей без дела будут стоять, понимаете вы это?!» — только тогда они начинали звонить по всем соседним станциям, ругаться по телефону с какими-то соседями, и, глядишь, через час-другой прицеплялся вагон к пассажирскому поезду.

Доехали-таки! Десна была куда поменьше и Невы, и Волхова, и Днепра. Ну, а все-таки была порядочная, а главное — опасная река. Глубокая, капризная, со множеством ям и круговоротов. Каменные опоры недостроенного моста, как островки, торчали из воды. На берегу в дощатом амбарчике стояли какие-то машины, и по радостному крику Гольдмана: «Вот они! Есть!» — Саша понял, что нашли компрессоры... И понтоны были где-то тут, под водой, затопленные...

Два дня возились с компрессорами. Разбирали и собирали, смазывали. Тут-то Саша Точилин доказал всем, что он не только умеет грузить и на гармошку играть. И что четвертый слесарный разряд не за гармошку дают. И что не зря возил он с собой особый, лучший инструмент. Саша отвертывал заржавевшие гайки, пилил, смазывал...

А тетка Точилина, Саша-водолаз, тоже доказал, что он не одни только байки умеет рассказывать. Он быстро собрал свое нехитрое водолазное хозяйство — воздушную помпу, шланги, грузила, неуклюжую резиновую одежду. Уже на другой день

целая толпа людей, своих и местных, стояла на берегу и смотрела, как водолаз тихонько, как пловец, боящийся холодной воды, входит в Десну. А вода действительно была очень холодной, Саша Точилин ее попробовал не только рукой, но и разулся специально... Но Саша-водолаз был одет тепло и не боялся холода. С замиранием сердца Точилин смотрел, как ушел под воду красный медный шлем и только пузырьки воздуха бежали по реке, обозначая путь водолаза.

Понтоны были здесь! Железными ржавыми громадами они лежали на дне, и их надобно было только поднять. Только! Саша и не представлял себе, как это можно сделать. Но недаром Куканов в ответ на Сашин вопрос потер руки, хмыкнул и сказал:

— Глаза боятся, а руки делают! Вот так-то, брат...

Запустили компрессор. Он зачихал, завздыхал и начал качать воздух в резиновый шланг, уходящий в воду. Под воду уходил и трос, который Саша-водолаз привязал к затопленному понтону. Компрессор пыхтел изо всех сил, люди стояли у лебедок и всматривались в середину реки. Саша-водолаз вылез из воды и стоял на берегу. Шлем был отвинчен и лежал на земле, белобрый голова водолаза странно торчала из великаньей одежды... Вода в реке вдруг стала грязной, мутные струи отплясывали в ней, и среди них показался илистый, ржавый угол понтона. Еще несколько минут — и он весь всплыл, огромный и неуклюжий, как кит на картинках. Понтон легко качался на небольшой речной волне.

— Ах!.. — раздалось на берегу.

Трос отвязался от крюка на понтоне, он повис и вот-вот соскользнет в воду... К Саше-водолазу бросились Куканов и Вострецов, они схватили водолазный шлем и стали надевать его на Сашу... Но Точилин опередил их: стянул сапоги, быстро разделся и кинулся в воду.

— Ай, застынет! — крикнула отчаянно на берегу какая-то женщина.

Вода обожгла Сашу, но недаром он был волховским парнем и до самой зимы купался в неласковой и суровой северной реке... Саженками, как на спор с ребятами, он подплыл к понтону. Скользкое и грязное железо уходило из-под его рук, железная заусеница до крови расцарапала кожу. Но Саша взобрался на понтон, схватил трос и стал закручивать его конец вокруг крюка. Он сделал это быстро и умело — по-слесарски...

Потом он тяжело плюхнулся в воду. Плыть обратно было тяжелее. Разгоряченное тело оледенело, как будто тысячи иголок кололи грудь... Десятки рук с берега тянулись к Саше. Он вылез и услышал громкую команду Куканова:

— В сарай! Бегом! Бегом! Марш! Маши руками!

Неуклюже размахивая руками, Саша добежал до сарайчика. Чьи-то руки его раздевали, вытирали, кутали в промас-

ленную, кисло пахнущую овчину. Он услышал голос Саши-водолаза:

— Сейчас мы его вылечим! По-водолазному, как моряка! Вот только достану заветную...

В стучащие Сашины зубы ткнулось горлышко бутылки.

— Ну, пей! Что ты как барышня на именинах! Глотай смелей!..

Нестерпимо вонючая жидкость обожгла Сашины внутренности. Самогон! Сашина голова закружилась, и все поплыло перед глазами... И он уже не слышал, как его уложили, навалили на него целую гору одежды и оставили. Надо было подымать следующий понтон.

Саша проснулся вечером. Все было хорошо, только трещала голова и подташнивало. Он оделся и вышел из сарая. Понтоны уже лежали на берегу. Вокруг них ходил Куканов и постукивал ключом по железным бокам понтонов.

— Проснулся, пьянчуга? — спросил довольным голосом Куканов. — Вот расскажу комсомольцам, как приедем, что ты тут самогон ухлестывал за милую душу! Они тебя пропесочат! Ну, а все-таки молодец! За такое не только этот вонючий самогон — белую головку не жалко бы... Волховские — они ни огня, ни воды не боятся! Завтра, Саша, собираться будем. Пора. Ждут нас на Волховстройке не дождутся!..

И назавтра они уехали. Понтоны лежали на платформах, увязанные тросами. В теплушке трещала печурка, и Саша-водолаз разводил широко руками, показывая размеры пасти напавшей на него акулы... Но его слушали уже без ухмылки. Валяй, Саша! Ты ведь не только это умеешь!..

Снежная крупка стучала по крыше теплушки. Колеса отсчитывали версту за верстой. Они ехали обратно, на север, туда, к себе, к Волхову, к Гришке Варенцову, к Петьке Столбову, ко всем волховским ребятам... Прощай, Екатеринослав — город железный! Мы еще к тебе приедем! Вот построим нашу станцию да и приедем... И тебе построим станцию. На Днепре! Жди нас!..

Наперекор чуду

Богородицны слезки

Чудо произошло утром десятого мая тысяча девятьсот двадцать второго года от рождества Христова. Конечно, десятого мая по старому стилю, потому что по новому, большевистскому, календарю никакое божественное чудо произойти не может. Старший делопроизводитель конторы Степан Савватеевич, выслушав первое сообщение о чуде, авторитетно это объяснил. Вынув из ящика ручку с особо редким пером «рондо», он красивым почерком с завитушками записал это событие в толстую конторскую книгу, куда заносил все замечательное, что происходило в его жизни.

Два инженера в конторе продолжали вместе с машинисткой Аглаей Петровной, двумя счетоводами и сбежавшимися уборщицами слушать потрясающий рассказ курьерши тети Дуси.

— Раненько, к заутрене, идет мимо этой часовенки отец Ананий и видит: из-под двери часовенки, стало быть, свет идет. А в часовню-то, почитай, год никто не заходил. Как заперли ее бог знает когда, так она и стояла запертой. Глядь — дверь на замке, замок нетронутый. Испугался недоброго отец Ананий. Домой побежал, ключ взял, позвал отца дьякона, да Пелагею с Дальних Двориков, да Митрича, что старостой был, да других людей, какие попались... Подходят к часовне, со страхом-то отчиняют дверь — и господи ты, твоя воля! — что же видят! Икона-то божьей матери Одигитрии, что теменькая такая была, божьего личика не видать было, вся обновилась! Стоит, голубка, светлая-светлая и плачет!..

— Да как же так плачет?

— Вот так и плачет, родимые! Из пречистых ее глазок так и текут слезки... Как увидели это люди, попадали на колени и давай реветь. Ведь это ж что такое — плачет сама божья мать, слезки так и текут, так и текут... А отец Ананий вознес руки горé и говорит: «Люди! Чудо великое господь сотворил! Это божий знак, божеское явление! Яв-ле-ни-е! И, стало быть, это надо понимать, что господь — он предупреждает... За грехи наши!..» Вот, господи, какие дела — уже и не людей, божью мать до слез довели!.. Ну, вы как хотите, а я уж побегу. Подождут ваши конторские, чудо-то какое произошло...

Тетя Дуся в который уж раз всплеснула худенькими руками и захлопнула за собой дверь. На улице, под окном, снова раздался ее тоненький голосок:

— Господи! Да вы тут ничего не знаете, а в часовенке, что у Михаила Архангела...

Конторские медленно расселись за своими столами. Степан Савватеевич вынул из кармашка часы, посмотрел и деловито сказал:

— Ах, забыл! Надо ведь на склад за накладными!.. — Потом он вскочил и выбежал за дверь.

Так началось чудо на Волхове.

К двенадцати часам дня весть о нем дошла и до партийной ячейки. Секретаря не было, он в Питер уехал, и за его столом сидел Омuleв из рабочкома. Работавшая на складе комсомолка Ксения Кузнецова, всплескивая руками и захлебываясь от смеха, рассказывала о чуде в часовенке:

— И, говорят, плачет!.. Ну не просто плачет, а как белуга ревет... И слезы эти в бутылочки собирают, аж дерутся за них. Там, Григорий Степанович, такое делается, такое делается — как в цирке, даже интереснее.

Но Омuleв вовсе не смеялся. Он выслушал рассказ Ксении, сердито морщась каждый раз, когда Кузнецова начинала задыхаться от хохота, и неожиданно тихим голосом сказал:

— Я ж говорил, что будет чудо! Обязательно будет чудо. Как в воду глядел! Это ж быть того не может, чтобы они золото свое покойненько отдали... — И, вздохнув, вдруг по-деревенски устало произнес: — О господи!.. Сбегай-ка ты, Ксюша, за своим Точилиным. Пусть придет ко мне. А по дороге зайдешь к Столбову. Пусть Петр тоже идет до ячейки. Да сама-то меньше болтай об этом чуде. Мы еще с ним хлебнем лиха...

Оставшись один, Омuleв еще раз вздохнул, вынул из кармана аккуратно сложенную газету, оторвал от нее ровный кусок, привычно запустил руку в карман и взял щепотку махорки. Он скручивал сигарку не глядя, лоб его наморщился. Надо было что-то придумывать. И главное — быстро.

Григорий Степанович действительно все время ждал чуда.

Не этого, так другого. Не богоматерь обновится, так Николай-угодник. Не Одигитрия заплачет, так еще какой-нибудь святой заревет... Он ждал этого чуда с того самого дня, когда вышел декрет об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих. Когда они в ячейке читали вслух этот декрет, все казалось ясным. Даже легким. Редкая по лютоści беда рухнула на Поволжье. Сгорело от засухи все. И хлебá, и картошка, и любой овощ. Миллионы людей голодают, мрут у себя в избах, на дорогах. Детские трупы валяются в канавах. Пропал весь скот, избы стоят голые, без крыш — всю солому с крыш съели. А Россия советская — нищая и разоренная. Хлеба — поддержать голодающих, спасти людей от верной смерти — нету. Нет даже семян, и, если не посеять, значит, и на будущий год жди такого же горя. Хлеб придется покупать у капиталистов — за границей. Конечно, за золото — не за советские же они будут продавать. И надобно этого золота наскрести где угодно! А его и искать не надо. Вот оно — у всех на виду, во всех городах и селах. Деньги, которые так нужны, светятся драгоценным золотым блеском на тысячах икон, переливаются в бесчисленных драгоценных камнях, густо наклепленных на окладах, наперсных крестах, всяких там митрах и посохах, покровках и плащаницах. Многопудовые серебряные подсвечники, дарохранительницы, мироварницы, всякая всячина, за века награбленная, взятая у народа и подаренная церквам купцами да помещиками... И все это богатство без всякой пользы коптится в ненужных церквах, соборах, монастырях. А люди мрут ежедневно от голода, и спасти их может вот этот золотой да серебряный хлам...

Так все казалось простым, понятным, никому и не приходило в голову, что попы откажутся отдать золото, будут сопротивляться Советской власти.

— Да они что, совсем глупые? — сказал взрывник Макеев. — Ведь им что самое важное? Люди. От людей они кормятся, их темнотой они живут! Не будет людей, перемрут они от голода — и попам хана! Никто им ни маслица, ни яичек, ни куренка не принесет. Что же они, подсвечники серебряные обглаживать будут, что ли? Нет, поскрипят, конечно, зубами, а отдадут. Без звука отдадут! А потом, наши церкви ведь не у царя Гороха... Небось под боком у Питера, Волховстройка здесь, пролетариат, значит...

И вот тогда Григорий Степанович-то и сказал:

— В топоры, конечно, попы наши не пойдут, пулеметы на колокольни не потащат. Это время прошло. А вот темных людей мутить будут. И для этого выкинут какое-нибудь такое чудо. Помяните мое слово...

И как в воду глядел! В Москве патриарх Тихон стал сыпать проклятиями, призвал не отдавать церковных ценностей. Ну,

а кто не такой важный, кто побоязливей, этим осталось только чудеса придумывать... И до них дошло, до Волхова.

В коридоре послышались веселые голоса Точилина и Столбова. Им-то, комсомольцам, весело! Недавно на партийной ячейке драили их за то, что с попами не борются, что молодежь свадьбы в церквах крутит, — только похохатывали: дескать, ребят-комсомольцев на всех девчат не хватит! Кое-кто и за верующего выскочит!.. Им и сейчас смешки: как же — чудо!

— Ну, садитесь. Я вижу, что Ксения вас больно уж развеселила.

— Так, Григорий Степанович, ведь умора! Богородица-то ревет! И слезы — кап-кап-кап... Вот придумали, длинногровые, курям на смех!

— Так не курям на смех, а таким только пацанам, как вы. Ну чего смешного? Только в уезде организовали специальную комиссию по изъятию церковных ценностей, а уже богоматерь реветь начала... Вы думаете что: попы перед церквами станут и золото свое грудью защищать будут? Да они поумнее вас. Они будут в сторонке. И в церковь-то не пойдут. А вот народ обманутый станет перед церковью — как же, богородица плачет, кадила ей серебряного жалко. Сегодня плачет, а завтра мор на людей найдет. Или еще какую холеру... А комсомольцы, что должны с темнотой бороться, объяснять людям про поповский обман, они мяч этот кожаный будут гонять за огородами да со своими девчатами песни петь про то, как моряк красив сам собою...

Саша и Петя первый раз видели своего председателя рабочкома таким злым. Омулев любил комсомольцев. И уж на что был прижимист насчет денег, а футбольный мяч, каким их укоряет, сам привез из Петрограда...

— Так что ж делать, Григорий Степанович? Соберем ребят, пойдем к этой часовне, объясним этим теткам, для чего церковное золото нужно...

— Ну да. Вы им Демьяна Бедного басни читать будете, а богородица будет плакать да плакать... И что же вы против ейных слез сказать сможете? Нет, ребята, вы пойдите-ка туда да посмотрите — как же она плачет это? Может, врут? Пойдите, а к вечерку придете сюда, и подумаем, как дальше быть. Да ведите себя тихонько. С глупостью только дураки дубьем борются. Вот так-то...

Часовня Михаила Архангела

Комсомольцы зашагали к селу Михаила Архангела. Идти было недалеко. И очень скоро веселое их настроение стало портиться. Нет, видно, Степаныч был прав, и чудо становится

все менее смешным. По дороге и по тропкам к селу шло множество людей. Ковыляли невесты откуда-то взявшиеся богомолки в черных платках, шли ветхие старушонки, бежали детишки, спешили мужики. Да что говорить — встретили даже двух рабочих с Волховстройки... Видно, после обеда не вернулись в артель...

Часовенка у Михаила Архангела была знакома комсомольцам. Не однажды днем пробегали мимо, по вечерам гуляли с девчатами. Никто и внимания не обращал на ветхую часовушку с криво навешенной дверью. Одинокая, никому не нужная, она торчала на бугорочке, как старый сгнивший гриб, которому уже не нужно скрываться...

Теперь разглядеть часовню было невозможно. Густая, черная шевелящаяся толпа людей скрывала ее. Время от времени люди падали на колени — и тогда крест часовенки вырастал. Потом люди подымались, и крестик снова опускался вниз. Неумолчное жужжание голосов прорывалось иступленными женскими криками: «Голубушка наша!.. Матерь божья, угодница!.. Спаси нас и помилуй!..»

Ребята остановились и переглянулись. Все это было страшно и непонятно. Ну, было вокруг Волховстройки несколько церквей. Молодежь ходила туда редко, разве что на престольные праздники — себя показать и других посмотреть — или если невеста очень крепко потребует свадьбы «по-настоящему»... Около этих церквей шатались лишь какие-то старушенции, униженно кланялись нескольким жалким попикам, что были в округе... А тут — тут был народ... И серьезные мужики, и деревенские парни, и даже рабочие со строительства. Вот тебе и попки!..

Точилин и Столбов осторожно, бочком пробивались через толпу. Кепки свои они спрятали в карманах, и, когда молящиеся вокруг становились на колени, они присаживались на корточки, как во время какой-то далекой детской игры. Маленькая криница перед часовенкой, где всегда играл чистенький родничок, превратилась в грязную яму с липкими, растоптанными краями. На животе, ползком какие-то люди подбирались к яме и пили из нее — не по-человечески, по-собачьи... Тетка в аккуратном салопе деловито черпала воду ковшиком и сливала в большую бутыл. А на краю сидела женщина и, опустив в холодную воду костлявые, немощные ноги, иступленно и непрерывно крестилась...

Чудотворная икона была уже не в часовне, а стояла перед ее дверьми, на чистых полотенцах. Десятки свечей — желтых, белых, тоненьких и толстых — горели вокруг. Их держали в руках старики и женщины, они были воткнуты прямо в землю перед входом в часовню. Рядом с иконой, в полном своем облачении, стоял отец Ананий. Теперь это уже не был тот попик,

маленький и жалкий, каким его видели, когда он пробирался по Волховскому проспекту к какому-нибудь своему клиенту. Казалось, он стал выше ростом, глаза его горели таким же огнем, как свечи перед иконой. Он размахивал пустым кадиллом, изо рта его, как из граммофона, лился нескончаемый поток звуков. Слов разобрать было нельзя, и только по тому, что голос его то поднимался до крика, то опускался до шепота, толпа понимала, когда ей падать на колени, когда вставать... Возле иконы бывший староста Митрич и какие-то добровольцы выстраивали в цепочку людей, подползавших на коленях, чтобы приложиться к богоматериной ручке.

Зажатые толпой со всех сторон, Саша и Петя уже без всякого смеха рассматривали икону. Она была небольшая и действительно светлая и чистая. По краям ее были видны темные разводья,— видно, там обновление проходило менее успешно. А плакать икона действительно плакала, и это было самым удивительным и непонятым. От темных и длинненьких глаз богородицы вниз шли две тоненькие влажные дорожки. Время от времени в глазах иконы возникали маленькие капельки и медленно скользили вниз... И тогда те, кто толпился возле иконы, поднимали крик: «Пла-а-чет! Родимые, пла-а-ает, голубушка!..» И буря криков, вздохов и стенаний пронеслась по толпе.

Комсомольцы, выбравшись на дорогу, молча и хмуро счищали с одежды пыль и грязь. Не переговариваясь, они дружно зашагали в поселок. Через несколько минут они нагнали знакомого — плотника Федосова.

— И ты, Федосыч, подался сюда! А еще рабочий человек! Побежал к иконе прикладываться?

— А как же, ребята! Чудо ведь, это и рабочему человеку интересно. Приложился к чудотворной, а как же... Портач работал там, не мастер, нет... Дело-то нехитрое. Купорос, скипидар да олифа. Ну, а освежить не сумел. Торопился, что ли?.. Надобно было верхний оклад снять, протереть, потом чистой олифой хорошенько смазать, а уж потом обратно оклад надевать. Вот тогда бы ничего... А уж как слезки сделаны, не знаю. Смотрел — дырки-то не видать, не видать, нет...

Секрет Сени Соковнина

Комсомольского собрания сегодня не объявляли, но комната ячейки была набита ребятами. Гриша Варенцов, только что пришедший из партячейки, постукивая кулаком по столу, говорил:

— Не иначе как у них кто-то в уезде есть, все им докладывает. Ведь послезавтра комиссия должна была начать в церкви

Михаила Архангела описывать ценности. И про это никто не знал, только несколько человек. А уже попам доложили, и они поторопились с чудом! А теперь нам надо решать, как быть, как это самое чудо разоблачить...

— А чего там обсуждать да голову ломать! — сердито перебил его Саша Точилин. — Соберем всех ребят, всех комсомольцев да беспартийных, построимся, рванем песню «Вперед заре навстречу, товарищи, вперед! Долой Христа, Предтечу и всякий прочий сброд...» — и пусть попы да старосты попробуют помешать комиссии ценности забирать!..

— И то, ребята! — выскочила на середину Ксения Кузнецова.

Глаза ее горели, красная косынка сбилась...

— Нарисуем плакаты, маскарад устроим, такой комсомольский молебен закатим, что от этой богородицы все попы разбегутся!.. — Она топнула ногой и запела:

Пароход бежал по морю,
Волны бились кольцами.
Все святые недовольны
Нами, комсомольцами...

— Хватит, Ксюшка, — махнул на нее рукой Столбов. — Ты будешь частушки распевать, а богородица будет плакать, и ничего ты против нее не выпоешь. Только по шее заработаешь! И от мужиков и от Омужева. Нет, узнать бы, почему она плачет, как эта «хитрая» механика устроена, да и показать всем, что это чистый обман, и ничего больше. Так и Омужев говорит, и приезжие из Ладоги. А вот как это сделать? Как?

Сеня Соковнин не вмешивался в спор. Спорили старые, всей стройке известные комсомольцы. Которые еще в ЧОНе были, с винтовками против белых шли. А он, Сеня, только два месяца назад в комсомол вступил, самый молодой в ячейке, и хотя он настоящий рабочий — ученик слесаря, — а из-за своих пятнадцати лет мучается бог знает как! Та же Ксюшка Кузнецова никогда мимо не пройдет, чтобы не погладить по голове и противно-сладко так сказать: «Ух ты, мой комсомольчик!» Ей бы только частушки кричать! Правильно Петя Столбов говорит: надо икону эту достать да обман разоблачить! И это сделает не кто-нибудь, не эта Ксения и даже не Точилин и Столбов, а он, Сеня Соковнин...

Мысль эта гложет Сеню уже с самого вечера. Икону сегодня перенесли в церковь, и он знает такой секрет, какого никто в округе не знает... Большое окно, что выходит в алтарь, забрано железными стрелками. Они высокие, доходят почти до самого верха, и три из них, которые справа, вынимаются. Надо только тихонечко их потянуть вверх, и тогда можно открыть окно и залезть в церковь. И он, пока не стал взрослым

и сознательным парнем, со своим приятелем Ванькой Ерофеевым не один раз в церковь залезал по ночам. Несколько раз прятались там, когда в Соловья-разбойника играли, а однажды — хоть и стыдно это вспоминать! — из большого блюда просвинок четыре просвирки взяли... Конечно, он всегда в церковь лазил вместе с Ванюшкой. Одному-то страшно... Но Ванька остался в деревне, он не комсомолец, и комсомольскую тайну доверять ему нельзя. Да и времени нет...

Сеня подался к двери, открыл ее и вышел из клуба. Ночи уже светлые, это плохо. Правда, сегодня луны нет, небо в тучах и дождик накрапывает... Он оглянулся и побежал к селу. Церковь темнела среди светлой зелени, окружавшей ее. Сеня подошел к ограде. Окованная железом зеленая дверь была заперта большим замком. На паперти, укрывшись под железным навесом от дождя, съезжились какие-то фигуры, закутанные в тряпье. В окне церкви еле был виден скудный огонек.

Сеня тихонько обогнул ограду, пробрался к тому месту, где она была немного выщерблена, и привычно перемахнул через нее. Полукруглую стену алтаря окружали темные кусты сирени. Под окном лежали — с тех самых пор, как их когда-то положили они с Ванюшкой, — три кирпича. Сеня взобрался на них. Сердце его билось отчаянно, он слышал этот стук так ясно, что оглянулся: не слышит ли его еще кто? Сеня взялся за правую стрелку и потянул вверх. Стрелка поддалась, он ее вынул, поставил в угол окна. Вынул вторую и третью. Осторожно нажал на створку окна, она скрипнула и отошла назад.

Сеня боком стал пробираться в темноту. Всего лишь два года назад он туда рыбкай проскальзывал. А теперь продирался с трудом, рубашка на нем трещала, известка и еще какая-то дрянь сыпалась на голову и руки. В алтаре было совсем темно, только из-за иконостаса пробивался слабый свет. Сеня повернулся животом и начал сползать на пол. Эта церковь была знакома ему до самого последнего камешка. Еще тогда, когда они с Ванькой не нашли секрета алтарного окна, он в ней бывал каждое воскресенье, а частенько и в будние дни. В этой деревне Сеня родился, вырос, и, с тех пор как он себя помнил, мать его водила сюда на заутрени, всенощные, молебны, панихиды. Водила, но и бог и молитвы ей не помогли, и умерла она от злой чухотки, оставив двух сыновей забитому работой и нищетой Сенькиному отцу...

Ощупывая руками темноту, угадывая под ногами ступеньки, Сеня подошел к иконостасу и приник глазами к прорези. Церковь была пуста. В темноте она казалась огромной, чужой. Перед царскими вратами, на аналое, покрытом куском парчи, стояла та самая чудотворная... В большом металлическом подсвечнике две восковые свечки чуть потрескивали крошечными огоньками. Икона была небольшая и ничуть не страшная.

Совсем как дверка в маленьком шкафу в амбулатории, куда Сеню водили оспу прививать... Сеня вышел из-за иконостаса, подошел к иконе и снял ее с аналая. Хотел посмотреть, как она плачет, да темно, ничего разглядеть нельзя было.

Держа в вытянутой руке икону, Сеня прошел в алтарь к светлевшему окну и, положив икону на подоконник, стал вылезать из церкви. Дождь усилился, и стало темнее. Сеня спрятал икону под рубашку и не стал лезть через ограду, а подошел к церковной калитке. На паперти было по-прежнему тихо, темные фигуры вовсе сжались в комочки. Спят.

Чудесная механика

Под холодным дождем, не чуя под собой ни ног, ни дороги, Сеня бежал в поселок. Сколько же времени прошло? Клуб все еще был освещен, и в ячейке по-прежнему кричали и спорили.

— Мы тут ничего не докажем! — яростно говорил Петя Столбов. — Надо, чтобы приехали из Питера самые ученые специалисты, приехали и сказали этим дуракам: «Пусть Ананий нам ее даст в руки, пусть покажет, если действительно чудо!»

— Ну да, так они и дадут, держи карман шире! Что они, полоумные, чтобы опозориться перед всеми? Как услышат, что специалисты едут, так сейчас же икону спрячут и потайные молебны служить станут. Да еще и такое придумают, что богородица не только реветь будет, а речи контриковые начнет выдывать...

— Вот она, богородица-то...

Сеня стоял у самой двери, в руке его дрожала икона...

— Да ты что? Что у тебя за икона? Откуда?

— Та самая. Чудесная которая. Из церкви взял...

— Мамочки!.. — послышался восторженно-испуганный голос Ксении. — Украл Сенька икону! Спер чудотворную!.. Вот так Сеня-комсомольчик! А вы тут без питерских справиться не можете! Да иди сюда!..

Но Столбов уже подскочил к Сене. Не надо было спрашивать, откуда Сенька взял икону. Сенькина рубаха была изорвана и грязна. Сеня дрожал от волнения, от быстрого бега. Весь его вид показывал: человек совершил подвиг и подвиг этот достался ему нелегко...

Одного лишь взгляда было достаточно: она!.. Петя Столбов схватил одной рукой икону, другой ухватился за скользкую, дрожащую руку Сени:

— Пойдем!

Вместе с Сеней он вбежал в партячейку. За ним валом валили комсомольцы. Вокруг Омулева сидели все свои и еще

какие-то чужие — видно, из уезда. Столбов толкнул вперед Сеню и, положив на стол икону, отчаянно выдохнул:

— Сенька-то Соковнин чудотворную из церкви вытащил! Вот она!

Позади тревожно и восторженно кричали ребята. Коммунисты повскакали с табуреток. Омудев положил руку на икону — совсем как на протокол собрания — и крикнул:

— Тихо! — И, обратившись к Сене, удивленно сказал: — Ты что, парень, ума лишился? Тебя кто научил?

— Никто меня не учил, — сказал Сеня; зубы его постукивали, ноги стали противно ватными, как когда-то, когда из совхозного сада привел его к учительнице сторож. — Никто меня не учил... а мы что ж, будем смотреть, как эти попы обманывают, да? А мы посмотрим, как она плачет, да и всем расскажем... А не то наколем из иконы лучинок — и в печку, как мой папаня сделал апосля того, как мамка померла... Пусть потом ищут свою чудесную!

— Пра-а-а-вильно! Молодец Сенька! Вот это по-комсомольски! — закричали позади ребята.

— Да тише вы, огольцы! Ну хорошо, Соковнин, украл ты эту чудотворную, думал, комсомольский подвиг совершил... А того не подумал, что попам от этого только выгода. Если ты ее на лучинки и в печку, они скажут, что вознеслась чудотворная на небо — не вытерпела, дескать, богородица большевистского безобразия... А узнают, кто это сделал, так ведь дураков с дубьем начнут на нас натравливать. Как же — осквернили, безбожники, охальники. Вот ведь как ты с богоматерью-то невежливо обращался — грязная да мокрая...

Саша Точилин решительно выступил вперед:

— Нет, Степан Григорьевич! Соковнин это не от несознательности сделал, а вовсе от сознательности комсомольской. Никто его не учил этому. А правильно парень рассудил! Мы с этой самой иконой пойдем к верующим и все подробненько разъясним — вот как длинногривые вас, дураков, путают!..

— Умным объяснять не надо, а дураки вас слушать не будут. А Ананий и вся эта братия скажут, что коммунисты всё сами подделали или икону подменили... Нет, товарищи! Это они, попы, с нами борются нечестными способами, а нам с ними надо бороться в открытую, честно, чтобы люди нам верили. Доказать, убедить надо людей, заставить этого Анания, чтобы он икону показал верующим. А уж нам надо смотреть, чтобы все было без обмана. Вот как надо делать! И ты, Сеня, пока никто не спохватился, тикай назад и ставь эту свою богородицу на место. И не дрожи. Да ты, никак, плакать вздумал! Ты что! Комсомолец ты хороший, настоящий наш парень, горячий — так и надо! Ну, а что чересчур погорячился — это бывает. Вот ты

тихонечко иди обратно и приладь икону. И возвращайся... Вместе подумаем, как быть с ней, с этой чудотворной...

Сеня вовсе не плакал, он только сам не знал, как так получилось, — всхлипнул два раза, оттого что не получился подвиг, что Омuleв не хлопнул его по плечу, не поставил в пример всем ребятам, что не выйдет он завтра на работу спокойный и гордый и не будет слышать, как за его спиной все почтительно говорят: «Это тот самый Семен Соковнин, который попов разоблачил!» И Омuleв и другие люди расплывались в Сениных глазах радужной пленкой. Сеня протянул руку за иконой, но тут ее взял в руки Куканов. Человек молчаливый, не улыбающийся, серьезный.

— До чего ты, Степаныч, правильный — страх! Все рассудил верно. А о главном не подумал. Парень ведь хотел посмотреть, как попы людей охмуряют. А ты ему эту чудотворную назад в руки — и пожалуйста, клади на место... Не для того же ты, Соковнин, ее брал, да с таким небось страхом? Верно? Раз уж чудо нам в руки попало, так надобно посмотреть, как это чудо делается. Все же мы мастеровые, нам это занятно...

Куканов взял икону, повернул ее к свету и стал внимательно рассматривать. Его грубые руки слесаря ощупывали икону осторожно, нежно, настойчиво. Он умело отогнул скобки, поднес доску совсем близко к глазам...

— Так, так... Это, значит, здесь должно быть... А, вот оно! Ишь как здорово придумали! Сейчас мы эту штуку снимем и посмотрим... Ах, вот как это они придумали! Ну, молодцы! Нет, товарищи, тут не дуролом работал, у этого прохвоста золотые руки! Как, мошенник, приспособил! Да иди сюда, Точилин, глянь! Ты лебеду паровую за два дня собрать не мог, а здесь мастер на жульничество талант свой тратит. Его б к нам — лебедки собирать!..

В комнате стояла такая тишина, какая бывает в классе на интересном уроке. Все столпились вокруг Куканова, комсомольцы даже взгромоздились на табуретки, на подоконники, маленькая Ксюша Кузнецова не постеснялась на стол залезть. Все не сводили глаз с ловких и быстрых рук Петра Куканова. Вот он нащупал какой-то бугорочек на доске иконы, полез в карман, вынул складной ножик, раскрыл и осторожно лезвием залез в неприметную щелку. Вынул маленькую дощечку, отвинтил два винтика, снял еще одну дощечку, побольше, и весь хитрый плачущий аппарат богородицы предстал перед ними. Богородица могла еще плакать долго — стеклянная пробирка на две трети была наполнена слезами. Пробирку закрывал хорошо притертый поршень. Тонкими металлическими тяжами он соединялся с крошечной педалью, приспособленной у богородицыной руки — той, к которой прикладывались преисполненные верой люди. Легкого нажима было достаточно,

чтобы поршень чуточку подавался вперед и пузырек воздуха, гонимый им, нажимал на жидкость. Из пробирки шла тоненькая резиновая трубка в глубь доски.

— Правильно! Здесь и должен быть сальник, то есть, значит, ватка. Иначе слезки назад потекут... Вот мы эту ватку выйдем, а здесь... Ох, жулябия! Видите — дырочки они не провернули, а прожгли тоненькой иглой. Сейчас мы это обратно положим... Ну, Степаныч, прикладывайся к чудотворной! Не хочешь? Ну, я вроде приложусь. Пальцем.

— Пла-а-ачет! Ребята, плачет! О черт! — Позади комсомольцы визжали от восторга, Ксюша от смеха чуть не свалилась со стола.

— Ну, хватит! Представление окончено! Сейчас мы это обратненько закроем... Вот этак. Завинтим. Сейчас мы эту дощечку назад приспособим... Готова к работе! Конечно, золотник на паровозе помудрее сделан, да и эта работа неплоха. Достались, видно, подлецу толковая голова да умные руки. Жалко! Нá, Сеня, бери свою чудотворную и неси ее в церковь. А ежели уронишь — знаешь уже, как ее чинить. Ты теперь вроде как Иисус Христос — сам можешь чуда делать...

Перед обманщиками и обманутыми

Соковнин схватил икону и решительно засунул ее под рубаху. Он подбежал к двери, оглянулся на Точилина и потянул его в коридор.

— Саш, ножик у тебя есть? Ну, перочинный!

— Зачем тебе?

— Надо. Дай. Отдам ведь.

— Ну, бери. Ты только, Сеня, не вздумай чего делать!

— Да ничего я делать не буду. Так, на всякий случай...

Сеня выбежал на улицу. Дождь все шел, мелкий и непрерывный. Стало холоднее. Но Сеня уже не дрожал, и глаза его были сухи. Он теперь знал, что ему надо делать. Правильно Григорий Степанович говорит: надо по-честному разоблачить поповский обман. Чтобы все увидели! Чтобы Ананию некуда было податься! И он, Сеня, это сделает!

До церкви он добежал быстро. Не подходя к церковным воротам, он напрямик направился к знакомому месту стены, перелез и подбежал к окну. Все было на месте, и вынутые железные стрелы, как были им поставлены в угол, так и стояли. Забыл тогда, в спешке, поставить назад. Сеня, теперь уже умеючи, пролез в отверстие, стал на подоконник и спустился в алтарь. В церкви было по-прежнему тихо, огонек позади иконостаса еле мерцал. Спокойно, как у себя дома, Сеня подошел к аналою, поставил икону на место, поправил золотой

кусок материи, оглядел, так ли все, и на цыпочках побежал назад. Он выбрался наружу, закрыл за собой окно, спокойно, не торопясь поставил на свои места стрелы из решетки, прыгнул с кирпичей и оттащил их в кусты. Что делать дальше, Сеня уже знал. Он подошел к церковной паперти. Богомольцы спали тяжелым, нездоровым сном уставших и бездомных людей. Изредка кто-нибудь из них стонал во сне и пытался натянуть на себя кусок рваной дерюжки. Ежась от холода и отвращения, Сеня подполз к краю человеческого клубка, лег на холодные каменные плиты и прижался к какому-то старику. Все же человеческое тепло шло от этих жалких, бедных, обманутых людей. Они мокнут под дождем, чтобы первыми приложиться к этой самой богородице, а Ананий небось спит под пуховиком, спит и сны видит, как он с утра начнет людей охмурять, деньги с них собирать, натравливать их на коммунистов... И не знает, что песенка его слета! Что завтра утром комсомолец Семен Соковнин его разоблачит и опозорит на весь свет... Сладостные мысли в Сениной голове стали летучими, веки стало прижимать неодолимой тяжестью, и Сеня заснул. Заснул так же крепко, как будто спал дома, на теплых кирпичях большой печки.

Проснулся он не то от пронизывающего холода, не то от голосов. Было совсем светло, дождь перестал, и только крупные капли на деревьях и кустах напоминали о мокрой и тревожной ночи. Богомольцы на паперти уже встали. Они ежились, почесывались, шептали молитвы, кланялись большому замку на церковной двери и мелко, часто крестились. Были здесь и немощные старухи, и еще крепкие старики, и две заплаканные молодайки, и несколько пацанов. И никто не удивлялся, что был среди них еще один мальчишка, с нечесаными ржавыми волосами.

Солнце уже подымалось, в кустах неистово пели птицы, с Волхова тянулся туман, когда к церкви подошли люди. Отца Анания сопровождали дьякон, псаломщик, которого на селе звали по-странному — Каледий, Митрич, старушки и старики. Многих из них Сеня знал с самых ранних своих лет. Богомольцы на паперти разобрались в две кучки, давая дорогу начальству. Молодайки упали на колени и смотрели на Анания так жалостно, будто от него и зависело все их неведомое Сене счастье. Священник задрал рясу, вынул из кармана подрясника большой ключ и стал отпирать церковь. Митрич вполголоса ругался и отдирал от двери руки богомольцев. Потом они зашли в церковь и закрыли за собой дверь.

Прошло добрых полчаса, пока Митрич снова открыл дверь и уже пополнившаяся толпа верующих, крестясь и причитая молитвы, вошла в церковь. Перед иконами горели лампадки, чудотворная была обставлена цветами, и десятки восковых свечек горели перед ней. Лицо Анания уже не было заспанным,

а было торжественным и деловым. В парадном облачении он размахивал кадильницей и откашливался. Одна из молодых оказалась самой проворной. Она первая на коленях подползла к иконе и со стоном потянулась вперед губами.

— К ручке!..— громким шепотом прошипел Митрич.

«Сейчас заплачет!» — злорадно подумал Сеня, стоявший на коленях возле самой иконы.

Действительно, когда молодушка оторвала свои губы от богородицыной руки, две капли слез появились в грустных богородицыных глазах и тихонько поползли вниз... Женщина всхлипнула, снова потянулась к иконе и языком слизнула влажный след. С громким воплем она ударилась головой об пол.

— Плачет, пречистая! Соленькими слезками плачет, родимая наша! Заступница, мать божия! Помилуй нас, помоги, заступи от злых людей, от ворогов лютых, от болестей скорбных!

Она вопила во весь голос, нараспев, как воят женщины на похоронах. Крик ее подхватили другие женщины, стоны и плач наполнили церковь. Стоя на коленях в углу около иконы, Сеня видел, как в настезь раскрытые двери церкви шли люди. Одни тут же падали на колени, бились головой об пол, другие входили с опаской и любопытством и, наскоро крестясь, прижимались к стенам, не отрывая глаз от чудотворной. Здесь были знакомые и незнакомые, деревенские и поселковые. Степан Глотов из конторы торжественно стоял под самой большой иконой Михаила Архангела и время от времени частым и мелким крестом крестил свой френч с огромными накладными карманами в складках...

Отец Ананий размахивал кадильницей и беззвучно открывал рот. Слов его в шуме и криках не было слышно. Потом он оглянулся, отдал кадильницу дьякону и поднял кверху руку.

— Тихо! — пронзительным голосом, перекрывшим шум, крикнул Митрич.

Толпа замолкла, только продолжали еще всхлипывать несколько женщин.

— Православные! — начал Ананий.— Чудо великое и неисповедимое сотворил господь. Повелел он — и святая икона пречистой божьей матери Одигитрии обновилась, божеское сияние снизошло, и, глядя на горести наши, на беды людские, заплакала она, искупительница наша. Се — чудо божественное, се — знак господень, и понимать его надо...— Ананий поднял палец вверх.— Тяжкие времена послал господь за грехи наши, православные! Последнее, что имеем,— храмы божьи и те предаются разграблению. Как басурмане некогда, посягнули безбожные люди на достояние божеское. Ввергнут в узилище святой отец, наш патриарх Тихон. Помолимся же, православные, чтобы послал господь силы устоять против сатаны и аг-

гелов его. Омоем слезами грехи наши, восплачем, как плачет за нас пречистая божья мать...

— И все ты врешь и людей обманываешь! — пронзительно, срывающимся голосом крикнул Сеня. Он вскочил с колен, кинулся к аналою, на котором стояла икона, и, захлебываясь, глотая от волнения слова, стал выкрикивать: — Не верьте, не верьте, товарищи!.. Обманывают вас... Они просто жулики... Тут позади богородицы склянка с водой. И трубочки... Я сам видел... Вот сейчас отвинчу два винтика, и сами всё увидите... Мошенство это, а не чудо вовсе... Вот сейчас я вам все объясню...

Сеня стал шарить в карманах, отыскивая перочинный ножик. Нашел, вытащил и протянул руку к иконе... В наступившей гулкой тишине он слышал шум в дверях, и протяжные, не могущие остановиться всхлипы женщины, и отчаянный стук своего сердца... Как в кинематографе, он видел перед собой остановившиеся глаза молящихся, испуганно вытянутое лицо Глотова, отчаянно любопытствующие глаза какого-то подростка, искаженный яростью рот Митрича...

— Пашенок проклятый! Комсомольское отродье! Бей его, супостата!... — Услышал Сеня не крик — выдох Митрича...

Чья-то сильная рука рванула Сеню в сторону, церковь завертелась перед его глазами, сильный удар сбил его с ног, и, теряя сознание, Сеня увидел, как с купола церкви одобрительно-зло смотрит бородатый бог на то, как убивают комсомольца Семена Соковнина...

Цена золота

— Григорий Степанович! Сеньки-то Соковнина в общезнания нету, и не ночевал он там, и никто его из ребят не видел... Боюсь я... Упрямый он парень и скрытный. Может, погорел он со своей иконой или учудил что...

Петя Столбов утратил свое обычное спокойствие. Вид у него был такой встревоженный, что и Омилеву на какую-то минуту стало не по себе.

— Да... Скрытный... Приняли хорошего парнишку в комсомол, и ходит он только на ваши собрания. А чтобы поближе его к себе, так вас тут нет!.. Ростом да годами не вышел... Пойдем-ка побыстрее в эту чертову церковь!.. Погоди минуточку!..

Омилев отпер ящик стола, достал оттуда наган и положил его в карман куртки. Потом подумал и из другого ящика взял какую-то темную палочку и печать.

— Пошли!..

Они почти бежали по грязной улице поселка. Их окликнул веселый бас взрывника, идущего на работу.

— Куда бежишь, Степаныч? Прикладываться, что ли, к

чудотворной? И Петьку Столбова к божескому делу причаешь!.. — И Макенч гулко захохотал, довольный своей шуткой.

Рядом с ним залился смехом Гриша Варенцов.

— Шутковать, Макенч, некогда... Вот боимся, что с нашим Сенькой неладное приключилось. Пошли с нами!

Теперь они бежали вчетвером. Гриша Варенцов подпрыгивал на своей хромой ноге. По размытой дороге они сбежали вниз и увидели церковь. И у Омалева сразу же ёкнуло и забилось сердце: что-то действительно случилось... Гулкие крики и неистовый шум вырывались изо всех окон церкви. На паперти люди, не сумевшие войти в переполненную церковь, вытягивались, становились на цыпочки, чтобы разглядеть что-то происходившее внутри... Омалев и его товарищи подбежали к двери. Они расшвыривали и оттаскивали людей, вид у них был такой, что перед ними все расступались. Работая руками и локтями, они пробирались к алтарю, где слышались глухие удары, злобное сопение, дикие выкрики...

По знакомой разорванной и окровавленной рубашке, по ржавым волосам узнал Столбов Сенью в том окровавленном комке, что валялся на полу... Нагнувшись, бывший староста Митрич бил этот комок ногами, обутыми в тяжелые, добротные сапоги... При каждом ударе он хакал, как мясник, разрубаящий мясо... Взрывник схватил его за шею и железной рукой пригнул книзу.

— Стой!.. Убийцы!.. Или уже Советской власти нет, что вы тут, гады, детей убиваете! А ну, выходи все из церкви! Быстро! Быстро! А ты, батюшка, куда торопишься? погоди, со мной выйдешь. Ребята, берите Сеньку — и в больницу. Глотов! Ты это куда выбираешься? Давай помоги тащить парня. Стоял тут, смотрел, как ребятенка убивают, гнида! И ты, паразит царский, подымайся, туши свечи да выходи со мной...

Омалев стоял перед царскими воротами, широко расставив ноги. Правая его рука была слегка засунута за пазуху, она как бы срослась с рукояткой нагана. Рядом с ним стоял взрывник, черные его усы встали торчком, руки были сжаты в кулаки... Толпа вывалилась из церкви — притихшая, остывающая... Омалев с попом и старостой вышли последними. Омалев обернулся к Ананию:

— Доставай ключ. Запирай церковь. Давай, давай, слуга божий! Вот так. Ну, а теперь и я для крепости приложусь...

Он вынул из кармана палочку сургуча, пошарил по карманам, вынул сложенную газету, что всегда курил, обернул замок, зажег спичку и стал капать расплавленным сургучом на бумагу. Потом достал медную печать, дыхнул на нее и приложил к сургучу. Повернулся и подошел к краю паперти. Перед ним стояла толпа людей — молчаливая, ждущая...

— Ну вот... да неужто в этом вашем святом писании написано, чтобы детей убивали... И где? В храме божьем! Ему же, Сеньке-то Соковнину, пятнадцать лет всего... Да вы же его все знаете. Он же здешний... Да у вас самих дети есть, а стояли и смотрели, как эта контра царская его сапожищами глушит!.. Совесть ваша где, люди? А не прав он — докажите! Не кулаками да сапожищами, а докажите, если правда ваша! А я скажу вам, за что парня убить хотели. Ведь знаете, вышел декрет от Советской власти — изымать из церквей ненужное золото да серебро, чтобы хлеба купить, людей спасти от неминуемой голодной смерти в Поволжье. Кто по-настоящему верует, хоть пусть по темноте своей заблуждается, тот с охотой эти камешки да золото отдаст. Ну, иконы там святые, а ведь подсвечник да кадило — они какой же святостью покрыты? И, кажись, идут они на самое богоугодное дело — людей спасать! Так нет! Потому что для этих вот золото сильнее веры. Я так скажу: золото — это ихняя вера! И за него глотку готовы каждому порвать. Ты, отец Ананий, молчи уж, это я про тебя говорю! Ты же придумал это чудо — богородица, видишь, плакать начала! Твоего серебра да золота ей жалко стало! Ну, вот что... Кто из вас хочет сам, своими глазами, посмотреть, кто прав: парень этот или отец Ананий со старостой, ждите нас. Через два часа придем с комиссией из уезда, с людьми от Советской власти. С вами вместе распечатаем церковь, вместе войдем, и пусть выбранные вами осмотрят чудотворную. Мы и прикасаться не будем — только скажем, что и как делать... И если чудо настоящее и натурально плачет богородица, уйдем, все оставим как есть... Ну, а если жульничество чистое, тогда не взыщите! Иконы и все прочее останется на месте — молитесь, если вам так хочется, а ценности, как предписано декретом, возьмем. А заодно и тех, кто вас обманывает, кто убийствами в храме божьем занимается! Вот так!.. Пошли, батюшка, в Совет. Да не дрожи, не дрожи... Через пару часов вернемся вместе назад. И, ежели ты праведник, бог тебя в обиду не даст, защитит! Правильно я говорю? Ну, и ты иди, защитничек престола... Раньше царский престол защищал, теперь, вишь, божий... За парня ты ответишь!..

*

— ...Сень!.. На газету, погляди... Что ж это — про золото и серебро прописали, а про твой геройский подвиг ничего! А ты у нас самый геройский комсомольчик! Я так своему Сашке Точилину и сказала: вот выйдет Сенечка из больницы — я только с ним буду плясать и частушки петь! А?

— Да ну тебя, Ксюшка!.. — недовольно пробурчал Сеня.

Он стоял у раскрытого окна волховстроевской больницы.

Было уже совсем по-летнему тепло, на улице хохотали ребята. И Саша Точилин, и Петя Столбов, и хромой Варенцов — все были тут... Сеня развернул серый листок газеты «Вестник Новолодожского уисполкома»... Вот тут, внизу, напечатано: «Изъятие церковных ценностей для помощи голодающим Поволжья. Изъято золота 1 фунт 10 золотников 86 долей. Серебра — 33 пуда 9 фунтов 60 золотников 69 долей...»

Ух ты, сколько! Тридцать три пуда! А жалко, что золота только фунт с небольшим... Это сколько же хлеба у капиталистов можно на это золото и серебро купить? Небось все же много — ведь тридцать три пуда!.. Конечно, хорошо бы, если бы было еще дальше пропечатано: «А помог забрать это золото и серебро волховстроевский комсомолец Семен Соковнин, который начисто разоблачил поповский обман с иконой, которая плачет... И даже пострадал за это от руки контры...» Ну, да все равно — все здесь знают теперь, что он, Семен Соковнин, свой комсомольский долг выполнил! И пусть эта сорока Ксюша Кузнецова над ним не посмеивается... Ему так сам Омурев и сказал: ты, Семен, свой комсомольский долг выполнил и в глаза людям должен смотреть прямо и гордо... Ну, а что он потом его отругал, так ведь это никто не слышал...

Год жизни Юрия Кастрицына

Профессорский сын

Много времени спустя, перебирая в памяти все события этого трудного года, Юрий Кастрицын отчетливо помнил день, когда это все началось. Это был мартовский день. И начался он так же славно и весело, как все предыдущие девяносто три дня, прожитые Юрой на Волховской стройке. Казалось, все трудное и сложное, что было раньше в жизни Кастрицына, уже осталось позади. Остался позади мучительный разрыв с семьей. Семнадцать лет он был радостью своей милой и хорошей мамы, гордостью и надеждой своего знаменитого отца... Большая профессорская квартира, которую Юра помнил с первых лет своей жизни, только числилась отцовской. Правда, на двери висела всегда вычищенная медная дощечка, на которой славянской вязью было написано: «Профессор А. Е. Кастрицын». И в квартире этой всё — книги, картины, сувениры — напоминало о том, что живет в ней известный профессор-биолог Александр Егорович Кастрицын. Но в действительности полным хозяином в ней всегда был рыжий Юрочка. Библиотека существовала для того, чтобы из толстых книг в кожаных переплетах строить дома... Из отцовских микроскопов выходили превосходные секстанты и подзорные трубы, необходимые для игры в пиратов... А высушенные морские чудовища отлично выполняли свое прямое назначение, когда Юра становился капитаном Немо и с кортиком в руке осторожно пробирался по бывшей гостиной, ставшей морским дном...

Юра мог всем распоряжаться в этой квартире, потому что он был не только сыном профессора Кастрицына, но и будущим профессором Кастрицыным, будущим знаменитым ученым, может быть, не только профессором, но и академиком, человеком, который обязательно совершит великий переворот в науке, станет вторым Дарвином, Тимирязевым... В это верили не только Юрины родители, в это верил и сам Юра. Верил до тех пор, пока не понял, что и отцовская наука, и их маленькая и дружная семья, и он сам, очень талантливый мальчик Юра Кастрицын, так мало значат перед тем огромным, великим, что происходит рядом и что открылось ему с необыкновенной силой.

Нет, отец не был против Советской власти, он никогда не был саботажником. С презрением и отвращением относился он к тем своим коллегам, которые, поедая академические пайки, бездельничали, юродствовали и со вздохом вспоминали, что они когда-то были «действительными статскими советниками», «тайными советниками», что на конвертах им писали: «Его превосходительству». И когда Юра в своей школе стал председателем учкома, и когда его приняли в комсомол, профессор Кастрицын против этого не возражал. Он даже не морщился, когда Юра пропускал уроки, чтобы бежать на вокзал встречать делегатов конгресса Коминтерна, когда он все воскресные дни вместе со всеми городскими комсомольцами разгружал баржи с дровами у Охтинского моста.

«Жить надо, Юрочка, со всей страной, все хорошее и все плохое делить вместе...» — говорил он.

И Юра Кастрицын очень гордился своим отцом, хотя небрежно, в разговоре с ребятами, называл его «мой старик».

Но так было только до тех пор, пока Юра не окончил школу второй ступени. И наотрез отказался поступать в университет. В тот самый университет, где его ждали, где он должен был — обязан! — совершить переворот в науке. Юра Кастрицын вовсе не был ни против университета, ни против науки. Но ему казалось чудовищным, что можно копать во внутренностях голотурий и медуз, изучать бесчисленные виды ракообразных сейчас, в такое время! Юре и так не повезло: он родился на каких-то три-четыре года позже и все великое прошло рядом, не затронув его. Он не штурмовал Зимний, не стоял в карауле у Смольного, в маскировочном белом халате не пробирался по треснувшему льду к мятежному Кронштадту. Все это происходило в знакомых с детства местах, и все это прошло мимо!.. А сейчас им, только-только подросткам, оставалось одно — разруха... Она была таким же врагом, как Колчак и Юденич, как Деникин и Врангель... Надо было вдохнуть жизнь в заледеневшие, мертвые заводы, надо, чтобы снова загорелись фонари на улицах, чтобы исчезли серые

тоскливые очереди у булочных... А голотурии — они могут подождать!

Это было так ясно Юре, это было так понятно любому школьнику, что невозможно было себе представить, что этого не понимает Юрин умный и добрый отец, профессор, «совдеповский профессор», как его тайком называли некоторые знакомые. Но он этого не только не понял — он мгновенно утратил все свое благосклонное отношение к Юриным интересам, как только сын ему объявил, что по путевке губкома он уезжает строить Волховскую станцию...

— А кем ты там будешь, на этой на станции?

— Не знаю. Слесарем. Или бетонщиком. Всему научусь!

— И ради того, чтобы ты возил тачку с бетоном, тебя учили столько лет! Учили твоих учителей, учили тебя, чтобы Юрий Кастрицын делал то, что может делать — еще лучше сделает! — любой деревенский парень! Что ж, при твоём социализме не будет никаких распределений обязанностей? По способностям? По призванию? По мере знаний?

— Будет, папа. Все будет. Только социализм надо еще построить! А так как он мой, то я и должен его строить! Вместе со всеми. С этими деревенскими парнями. Ты и голотурий мог своих резать только потому, что эти, как ты их называешь, деревенские парни тебя защищали. И вообще, отец, не будем спорить. Словесной не место кляузе.

— Мальчишка!

Да, все было. И бешеные крики отца. И тихие слезы матери. И это противное, отвратительное чувство отчужденности, когда три самых близких человека собираются вместе за столом и враждебно молчат... Юра спешил. Надо было скорее уезжать из дома, вдруг ставшего не только чужим — враждебным... И отец не вышел из кабинета, не попрощался... Юра неуклюже обнял мать и со щемящей жалостью увидел ее совсем побелевшие волосы, морщины на лице...

— Юрочка, квартиру сними у хороших людей... С хозяйкой договорись, что она тебе будет стирать и каждое утро будет давать завтрак... Не смей уходить на работу натошак! Не забывая закрывать шею... Помни про свои гланды!..

— Да, да мамочка... Я обязательно буду утром пить чай и завтракать. И буду помнить про свои гланды... Только ты не волнуйся и не беспокойся за меня... Все будет очень хорошо!..

Бедная, смешная мамочка!.. Она постоянно беспокоилась о Юриных гландах, об этих проклятых гландах, которые имеют только у профессорских детей!.. Она даже и не представляла себе, что на стройке ее Юрочка будет работать и без завтрака, а иногда и без обеда, что он будет часами стоять

в холодной воде и цеплять багром скользкие и тяжелые бревна... И что Юра плевать хотел на эти гланды, а когда у него и заболит горло, то он нарочно не будет ходить в больничку, чтобы не слышать этого мерзкого, надоевшего, насквозь буржуазного слова — гланды!..

Первые месяцы Юриной жизни на стройке были наполнены радостью свободы и первым в жизни ощущением, что то, что он делает, всем нужно. Юра пришел на стройку в авральное время. Река скоро должна была стать, по ней уже шла шуга. Пришел большой плот леса, и его надо было разобрать и вытащить на берег, пока он не вмерз в лед... Все были мобилизованы — на аврал и до самой глубокой темноты работали на берегу. Юра со всеми ребятами таскал бревна, выкатывал их на берег и укладывал в штабеля. Катать приходилось высоко, чтобы весенний разлив не разнес штабеля. Брезентовые рукавицы превращались в клочья через несколько дней, а новые давали только через месяц. Руки у Юры были покрыты волдырями кровавых мозолей, их разъедала холодная вода. Но Юра оставался всегда веселым, его огненная шевелюра выбивалась из-под шапки, как флаг, и его крик «словесной не место кляузе» раздавался как слово команды. И Юра узнал, что он вовсе не изнеженный профессорский сынок, а здоровый парень. И он никогда не старался становиться под легкую вершину бревна, и его уже все звали «комлевиком», потому что Юра Кастрицын всегда катал толстую, комлистую часть бревна. И всем ребятам в высшей степени было наплевать на то, что Юра когда-то строил домики из книг отца и любил играть в пиратов... И сам Юра вспоминал об этом, как о чем-то очень далеком и чужом... Каждый вечер, уходя с катища, Юра видел стройные штабеля леса. Им вытащенные из воды, им укатанные!

Жил Юра ни у какой не у хозяйки, а вместе со всеми ребятами спал в большом и грязном бараке. В столовой кормили только обедом, а утром Юра наспех выпивал кружку кипятка с куском черного хлеба. А бывало, что съедал он этот кусок и без кипятка... А по вечерам, переодевшись в сухое, бежал в ячейку, и там допоздна комсомольцы репетировали «живую газету», спорили о том, кто хуже — капиталисты или же социалпредатели, пели песни... Юрку быстро полюбили ребята. За то, что он был всегда веселый, за то, что не боялся работы, за то, что он был такой рыжий, каких, наверно, и на свете нет... За то, что он пел громче всех и, выкидывая вперед руку, читал стихи, хоть и не очень понятные, но уж зато боевые:

Р-р-разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер!

И уже становилось все понятным, когда Юра выкрикивал:

Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Да, это была славная и хорошая жизнь! И Юра понимал, что социализм строить не только надо,— строить его весело и интересно!.. К середине зимы, когда весь лес вытащили, а ребят распределили по разным работам, Юру, как парня грамотного, толкового и себя показавшего, послали на экскаватор. «Помощник машиниста экскаватора»,— небрежно отвечал Юра на вопрос о том, кем он работает... Не стоило им рассказывать, что «помощник машиниста» целый день обыкновенной лопатой очищает ковш экскаватора от налипшей земли или же оттаскивает от ковша большие валуны... Неразговорчивый экскаваторщик Юстус был им доволен. Когда шел сухой грунт и проклятая грязь не липла к ковшу, он пускал его в будку, и Юра часами смотрел, как работают ловкие и быстрые руки машиниста. А однажды Юстус сказал Юре: «Садись, перекурю!» — как будто он когда-либо и выпускал изо рта коротенькую трубку... У Юры мгновенно вспотели ладони... Но он сел за рычаги... А еще через некоторое время на экскаватор пришел новый парень и взялся за лопату, а Юра насовсем перебрался в будку экскаватора — почти такую же, как капитанский мостик на корабле...

Черный мартовский день

Станция строилась! Теперь это было видно всем, даже тем, кто здесь жил уже давно и к строительной суете привык. Когда Юра с ребятами еще затемно выходили из барака, они вливались в толпу людей, идущих по Волховскому проспекту. А когда совсем рассветало, то, если взобраться на горку, что справа от конторы, становилась видна вся панорама стройки: с тысячами людей, копающих землю, рубящих ряжи, возящих бетон, грунт... Были видны дымы костров, белые струйки пара локомотива, были слышны свистки паровозика и путиловского экскаватора, глухие удары взрывов динамита, откалывающего камень, слышно звонкое тюканье топоров, уханье ломов...

Станция строилась! И когда изготовили первый кессон и на митинге сочиняли об этом телеграмму товарищу Ленину, то Гриша Варенцов предложил написать Ильичу, что через два

года — а может, раньше, а? — Волховская гидроэлектрическая станция даст Петрограду ток!

— Не торопись, сынок, поперед батьки!..— ответил ему Омурев.— А то вот наобещаем Ильичу, а не сделаем — какими глазами на него смотреть будем?

И Кастрицын мгновенно увидел перед собой глаза Ленина, как на портрете в клубе, — чуть прищуренные, все видящие, не терпящие хвастовства...

Ему-то понятно нетерпение Гришки Варенцова. Да и все это понимают! Ведь как построят станцию — приедет сюда Ленин! Конечно, приедет! Станция-то ленинская! И назовут ее — имени Ленина! И она — самая первая из всех электрических советских станций! Уже давно у комсомольцев обговорено: что они скажут Ильичу, куда поведут, что покажут... И у Юры Кастрицына замирало сердце, когда он представлял себе, как Ленин идет по Волховскому проспекту... А проспект надо замостить камнем. Или же выложить деревянными шашками — как Невский! Вот он идет и заметит Юру — конечно, его заметит! Тут уж помогут его волосы! И спросит: «А вы, товарищ, кем здесь работали?» И Юра уж не соврет, когда спокойно так, очень спокойно ответит: «Помощником машиниста экскаватора, Владимир Ильич...»

Вот так все шло хорошо до этого самого мартовского дня. Много всяких дней после этого пережил Юрий Кастрицын. И бывали еще хуже, еще труднее. Но никогда ему не забыть толчка в сердце, когда вечером у конторы он увидел около какого-то объявления толпу людей и, подходя к ней, рассмотрел лицо Гришки Варенцова — побелевшее, как бы с остановившимися глазами.

...С Волхова дул сырой и пронзительный ветер. Мокрые клочья снега залепляли глаза. Юра расталкивал плечом людей, они расступались молча и сочувственно, как перед человеком, который еще не знает о случившейся беде и должен сейчас, здесь все узнать... На стене была приклеена газета, и, несмотря на серую темень и слепящий снег, Юра мгновенно увидел то, что уже прочитали другие. «Бюллетень о состоянии здоровья тов. Ленина»... Юра тяжело перевел дух. «...За последние дни в состоянии здоровья Владимира Ильича произошло некоторое ухудшение: наблюдаются ослабление двигательных функций правой руки и правой ноги...»

— Юрка! — хрипло спросил его Варенцов.— Двигательная функция — это что, очень опасно? Ты должен знать — у тебя батька профессор!

Ну что ж, что профессор! всю жизнь занимался медузами, голотуриями и ракообразными, вместо того чтобы стать настоящим профессором и лечить людей! Ведь при его таланте, уме, доброте он мог бы вылечить Ленина, спасти его для людей!

А он, его отец, Александр Егорович, он всю жизнь убил на всякую чепуху! Юру охватило какое-то дикое, глупое отчаяние, как будто он, его отец, виноват в том, что случилось несчастье с Лениным и неизвестно было, помогут ли ему те, кто его лечит...

— Насчет двигательных функций — это паралич. Понимаешь, паралич... Но он не настоящий. Видишь, тут же написано — ослабление функций! У нас был знакомый, профессор Ястрежембский, так он всегда немного ногу волочил. А у него был полный паралич, мне мама рассказывала. И ничего! Только ногу немного волочил, а так был как все. Даже хуже — вредный был и всегда спорил со всеми...

Юра вздохнул и рассказывал о злом и желчном профессоре Ястрежембском, как будто это могло утешить его, утешить Гришу Варенцова, всех людей, молча стоявших у газеты и не расходившихся — вместе как-то легче.

Назавтра Юра два раза уронил ковш экскаватора, но Юстус на него не кричал, а молча сел вместо него за рычаги. А перед концом работы, не вынимая трубки изо рта, сказал:

— Пойди к конторе. Может, там что-нибудь новое повесили?

Как будто Юре надо было говорить! К конторе по вечерам бежали все. И если не было еще газеты, стояли долго под секущим мокрым снегом и ждали: может, еще привезут... И Юра стоял ближе всех и дольше всех, и дожидался газеты, и громко читал, а позади слышалось:

— Да тише! Читай громче!

Юра читал громко, насколько только можно:

— «Движение в руке и ноге увеличивается. Расстройство речи еще в том же положении. Общее состояние продолжает быть хорошим. И подписи: профессор Миньковский, профессор Фестер, профессор Крамер, приват-доцент Кожевников, наркомздрав Семашко...»

— Юра, ты их, этих профессоров, знаешь? Может, встречал где, у отца? А приват-доцент — это повыше профессора, да?

— Нет, поменьше. Это вроде помощника, что ли, профессора. А этих я не знаю, отец-то у меня не медик, а биолог... Но, уж конечно, это самые лучшие профессора! Самые большие спецы, какие только есть!

— А спецы эти не залечат Ильича? Ведь спецы — они бывают разные...

— Ну, а читал, ведь с ними все время наркомздрав Семашко! Он с них глаз не спускает! И он сам доктор — сразу же увидит, чуть что не так...

Профессорский сын Юрий Кастрицын должен был отвечать ребятам на десятки вопросов — он же был на стройке самым образованным...

— Пульс сто восемь, а дыхание восемьдесят... Юра, это что, хорошо или плохо? А «восстанавливается» — это как надо понимать, на поправку идет, да?

Шестьдесят комсомольцев было на стройке. И больше шестисот молодых ребят. И за эти дурные мартовские дни Юра узнал их больше, чем за предыдущие месяцы. Почему несчастье так сближает людей?

Уже прошло все страшное, тревожное. Бюллетени о здоровье Ленина выпускались все реже, они были все бодрее и бодрее. Потом объявили, что здоровье Владимира Ильича пошло на поправку и бюллетени больше не будут выпускаться. И только на каждом большом собрании всегда принимались телеграммы Ильичу с пожеланиями скорее выздороветь, скорее приступить к работе, скорее приехать к ним на Волхов посмотреть готовую ленинскую станцию... А они постараются поскорее ее построить!

Против Волховстроя

Да, казалось бы, все шло хорошо. И Ижорский завод, который строил баржи для кессонов, вместо трех месяцев построил их за полтора,— видно, и они тоже старались порадовать больного Ильича... Наладилось изготовление кессонов, и все больше прибавлялось на берегу серых чудищ из бетона... И стало тепло, работать можно было споро, и старенький Юркин экскаватор ломался меньше обычного...

А все-таки какая-то невидимая тень от этих дурных и зловещих мартовских дней ложилась на стройку. Заладили ездить комиссии. То никого не было из спецов, никто не приезжал, а теперь спецы начали ездить пачками. Они останавливались на том берегу, в доме, специально для приезжих построенном. В коммерческой столовой для них готовили какие-то особые блюда, а бывало, что для них внизу, пониже строящейся станции, ловили знаменитых волховских сивов... Ну и пусть жрут! Лишь бы стройке не навредили.

А слухи, что не зря зачастили на строительство комиссии, быстро растекались по всему Волхову. И когда, пробираясь между старыми опалубками и мешками с цементом, шли по площадке солидные дядьки, одетые в добротные, старого покроя пальто, с инженерскими фуражками на головах, с толстыми кожаными портфелями, их провожали тревожными и неласковыми взглядами... Наверно, народ не зря говорит! Вот и Графтио, который с ними ходит, стал совсем мрачный, не улыбается больше рабочим, не останавливается с ними поговорить... И даже всегда веселый и неугомонный инженер Иннокентий Иванович Кандалов перестал заниматься своим любимым дра-

матическим кружком, и по всему видно — не до театра ему... И товарищи из комячейки и рабочкома все чаще стали заседать и на эти заседания никого посторонних не пускали, даже комсомольского их секретаря не звали, как всегда...

Одна комиссия сменяла другую. Графтию часто и надолго уезжал, он и вовсе перестал ходить по стройке, появлялся редко и всегда с кем-нибудь из этих, приезжих... В конторе все чаще слышались разговоры: «Тепловики не допустят», «Профессор Горев — он сила в Промбюро...», «Сам Копелянский сказал — нерентабельно...». И, наконец, самый большой гад из конторских, Степан Глотов, блестя своими крагами и заложив волосатые руки в необъятные карманы френча, авторитетно сказал в клубе:

— Закроют! По всему видно — закроют! Это я вам точно говорю! — И, вздохнув, добавил: — Замахнулись, а кишка-то оказалась тонка... Вот теперь и мучайся, гражданин трудящийся... Становись в очередь на бирже труда, устраивайся...

Заречные кулаки-огородники — те просто расцвели... Недаром, значит, они писали прошения, ездили в Петроград, даже в Москву, посылали ходатаев, требуя запретить стройку... Ведь перегородят реку, подымется вода и зальет ухоженные огороды... Правда, им отвели другие земли под огороды, подсчитали, сколько заплатит за убытки, так ведь все равно невыгодно! Сейчас разрешили, слава богу, свободную торговлю, и смекалистому да оборотистому человеку нажить капитал — самое легкое дело... Особливо когда Питер под боком и знакомые хозяйчики на рынке...

Трудно кончалась волховская весна 1923 года, и еще труднее начиналось лето... На майские дни Юра съездил к своим в Петроград. Не хотелось бросать на это время ребят, не участвовать в демонстрации, которую так весело готовили. Но жалко было мать. Письма ее были такие тревожные, и в них проскальзывали несвойственные маме жалобы.

Конечно, в Петрограде тоже было хорошо! Он показывал маме свои затвердевшие мускулы, она гладила его по обветренному и уже загорелому лицу, как бы желая убедиться, что страшные гланды ничего не сумели сделать с ее Юрочкой... Отец его встретил холодно, но как будто и не было между ними прежнего дикого озлобления... И даже желчному профессору Ястрежембскому обрадовался Юра, когда тот пришел «с визитом»... Юра с удовольствием слушал его язвительные речи и смотрел, как он ходит по гостиной, волоча парализованную ногу. И не так уж страшен паралич, если он несколько не убавил от профессора его живости и ума... А нога, нога — это не страшно...

А на первомайскую демонстрацию Юра ходил со своим районом, и ребята из райкома поставили его впереди колонны,

и все его расспрашивали про Волховскую стройку и обещали летом приехать на Волхов и взять шефство над клубом и комсомольской ячейкой... И Юра разговаривал басом, солидно, как и надлежит разговаривать пролетарию, помощнику машиниста экскаватора.

...На Волховстройке неделя после праздника пролетела незаметно. Солнце грело, оттаявший грунт хорошо разрабатывался, Юру поместили на Красную доску, и впервые он был назван не Юркой Кастрицыным, а Кастрицыным Георгием Александровичем... А в начале следующей недели развернулись бурные события.

Что где-то рядом существует капиталистический мир, знали все. Для не дравшихся с ним, для таких, как Юра, Гриша Варенцов, Петя Столбов, он уже был как бы в прошлом. Выступил против нас, был разбит, а теперь разлагается в своей берлоге, скрипит, расшатываемый революционным напором рабочих, которые не сегодня завтра скинут капитализм и последуют примеру советских товарищей... С ним, с этим миром, мы даже торговали, и на стройке все знали, что турбины и другие машины для станции делаются в Швеции. И вдруг этот ослабевший зверь показал свои когти...

— Убили! Воровского убили! В Швейцарии! Какой-то белый гад! — крикнул Юре издали Варенцов.

Как тогда, в марте, рабочие стояли около конторы у газеты, обведенной черной каймой. Со страницы газеты смотрело доброе и задумчивое лицо большевистского посла...

После этого все и началось.

Через неделю-полторы скрипучее имя лорда Керзона было главным, о чем разговаривали и писали... Английский министр предъявил Советской стране наглый ультиматум. Угрозами капиталисты думали добиться того, чего не добились силой...

Керзону-лорду — в морду,
А Ленину — привет!..—

орали комсомольцы на демонстрации... Тысячи людей кричащей и бурлящей толпой шли по Волховскому проспекту к зданию клуба, где должен был быть митинг. Над головами раскачивались бумажные и кумачовые плакаты. Проклятый лорд в цилиндре, с моноклем в глазу кривлялся и размахивал руками, когда Юра дергал за веревочки...

— Они думают, что мы, разоренные гражданской войной и интервенцией, не оправившиеся после голода, испугаемся их угроз! — говорил с крыльца клуба приехавший из Петрограда старый большевик Позерн. — Они спешат! Они спешат, пока мы еще не покончили с разрухой, не пустили заводы, не вырастили

новый урожай... Но мы, большевики, мы, рабочие и крестьяне Советской Республики, прошли через такие испытания, что нам не страшны угрозы английских лордов, не страшны угрозы Антанты — мы же с ней встречались, мы ее выкинули из нашей земли! Но ультиматум Керзона для нас сигнал и предупреждение! Скорее пустить шахты, скорее запустить на полный ход все фабрики и заводы! А для этого надо с большей силой, скорее строить вашу станцию. Помните, товарищи, что питерские рабочие ждут не дождутся, чтобы электрический ток с берегов Волхова начал крутить станки на питерских фабриках и заводах...

Казалось бы, то, что говорили на митинге Позерн, и Омулев, и Кандалов, и взрывник Макеич, было столь ясным, столь понятным, что никто не мог думать иначе... А все-таки слухи, зловещие слухи продолжали жить на стройке. Жить, разрастаться, ползти дальше, шире...

Режиссер Юрий Кастрицын

Теперь уже ни для кого не было секретом, зачем ездят на Волхов комиссия за комиссией. Где-то наверху, в высоких и грозных учреждениях, именуемых ВСНХ, Промбюро и еще как-то, идут споры между спецами. Что строить: гидроэлектрические станции, такие, как их Волховская, или же тепловые, на угле? Конечно, все понимают, что выгоднее станция, которая не требует тяжелого труда шахтеров, множества вагонов для перевозки угля, — словом, труда многих тысяч людей... Но противники Волховской станции упирали на одно: дорого! Непосильно для такого бедного государства, как Советская Россия, строить станцию, какой во всей Европе, капиталистической Европе, нет!

Где-то родилось, прибыло на берег Волхова и стало раздаваться, сначала тихо, потом все громче и громче, отвратительное, как червяк, наукообразное слово «консервация»...

Консервация — это значит: исчезнут шум, веселье, работа, исчезнет жизнь на берегах Волхова. Заколотят бараки, дома, клуб. В неопущенных бетонных кессонах станут жить бродячие собаки. Ржавая арматура будет торчать из стен недостроенного шлюза. К старым волховским порогам прибавятся новые — ледозащитные бычки, незаконченные опоры... И торжествующие огородники будут показывать это все приехавшим из Петрограда нэпманам-дачникам и, ослабившись, рассказывать, как большевики задумали построить станцию... «Да где уж им там!»

Когда Юра Кастрицын об этом думал, у него от злости перехватывало дыхание... А времени, чтобы об этом думать,

стало прибавляться. Эскаватор, на котором работал Юра, кончил один забой, а на новый его не поставили — ждали указаний о новом графике работ... Из механической мастерской, куда только совсем недавно привезли два токарных станка, забрали рабочих на другие работы. Целыми днями Кастрицын возился возле своего замершего старенького «Мариона» — «красоту наводил», как сказал об этом Юстус... Он подкручивал болты, смазывал подшипники, по несколько раз протирал весь механизм от пыли и песка. Когда ему осточертевала эта бесполезная работа, Юра сдирал рубаху и ложился у экскаватора, подставляя спину и бока солнцу.

— Курорт! — мрачно сказал он подсевшему к нему слесарю Саше Точилину. — Мы стоим. Путиловец тоже стоит. В вашей мастерской уже, верно, мыши завелись... Вот еще остановить бетономешалку и локомотив, и тогда из всех машинистов можно сбить артель грабарей... Лошадок помирней подберем, бородки поотпустим, прямо-таки вологодские мужички будем...

— Ну чего ты, Юрка, бузишь! — примирительно сказал Точилин. — Все закрутится! Скоро будем собирать порталные краны, начнем кессоны опускать, работы для нас знаешь сколько! А ты в грабарни, чудак, собрался...

Кастрицын промолчал. Он глядел на человека, озабоченно спешившего к ним. Кандалов, ведавший строительными работами, был мрачен. Он остановился около ребят, посмотрел на замерший экскаватор и сморщился:

— Тэж-с... Полное припухание! Что ж делать-то?..

— Иннокентий Иванович! Ну сколько будет тянуться эта вольнка? И работать не работаем, и от работы не бегаем... — начал разговор с начальством Юра.

— Пойдите, Кастрицын! Я все знаю... Тут, видите ли, приехали из Петрограда...

— Опять комиссия?

— Они. На этот раз механизацию проверять. Сами не дают нам разворачивать фронт работ, а нагрянули, чтобы акт составить: механизмы стоят... И ведь вправду стоят — экскаватор стоит, в механической никого нет. Вот актик и готов!

— А где они?

— Обедать изволят в Доме приезжих, откушают, отдохнут и придут, черти драповые!..

Юрка вскочил с земли и быстро стал натягивать рубаху.

— Иннокентий Иванович! Давайте запустим экскаватор!

— А для чего? Что он делать будет?

— А мы его выведем вон туда, на ровное место. И начнем копать.

— Что копать?

— Ну, канаву. А все равно! Работает экскаватор? Работает!

— Гм!.. Так Юстуса нет. И бригады экскаваторной нет.

— Иннокентий Иванович! Я выведу экскаватор на площадку. Уже выводил не раз! Ребят сейчас кликнем с лопатами... Ну, давайте! Если они нас — то и мы их! Для дела ведь! Вы только подзадержите их за обедом...

Кандалов посмотрел на разгоряченные лица комсомольцев:

— Ладно! И я вас не видел, и вы меня не видели. Через часа два приду с комиссией.

Никогда так быстро не удавалось Кастрицыну заводить свою машину! Как будто она чувствовала, что грозит ей, что грозит всей стройке... Точилин немедленно привел восемь парней с лопатами. Подпихивая машину толстыми слегами, они помогали Юре устанавливать «Маршон». Ковш экскаватора дрогнул и с силой врезался в землю. Ребята дружно отделяли бровку траншеи. Работа была в разгаре, когда появилось начальство. Четырех приезжих сопровождало несколько волховстроевских прорабов. Увидев начатую траншею, Кандалов сделал каменное лицо. Экскаватор работал во все свои лошадиные силы. Его ковш зачерпывал четверть куба грунта, стрела поворачивалась, и земля с шумом обрушивалась на бровку. Ребята без ругань испуганно, не поднимая головы, старательно, ювелирно отделяли бесполезную бровку. Члены комиссии подошли поближе и молча смотрели, как быстро Юра ворочает рычагами, как ладно блестят хорошо смазанные части механизма. Кандалов деловито что-то им объяснял, наиболее дотошный член комиссии исчеркивал карандашом свой блокнот.

— Ну вот. А теперь зайдем в инструментальный склад. Я вам покажу, что у нас есть из запасных частей, а потом пройдем в механическую мастерскую.— Кандалов поискал взором Кастрицына, нашел его, глаза у него сделались на мгновение узенькими, веки дрогнули...

Комиссия двинулась к складу. Когда последний из комиссии скрылся за бревенчатой стеной склада, Юра выключил экскаватор и выпрыгнул из будки.

— Сашка! Дует бегом в мастерскую! Запустим станки, станем к тискам! Мастерская должна работать! Понятно?!

— А они догадуются! Увидят — ведь те же люди!

— Да ничего они не догадуются! Думаешь, они что, разглядывали нас? Очень им надо на твой курносый нос любоваться! Пошли!

— Ну уж тебя-то они разглядели! Таких рыжих и в Петрограде больше не осталось после тебя! Нет, ты уж будь здесь. И закрути свою старуху! Пусть шумит побольше...

Побросав лопаты, ребята побежали к мастерской. Скоро из

трубы на крыше мастерской вылетело кольцо дыма, движок зачихал, затем ровно загудел.

Подходя с комиссией к механической, Кандалов услышал ровный рабочий гул. Он открыл дверь мастерской и впустил членов комиссии. Мастерская работала. Движок стучал так, как будто он уже устал от долгой и непосильной работы на том отвратительном и нечистом горючем, которое было на стройке. Оба токарных станка работали. На одном из них Саша Точилин обдирал какой-то прут, у другого неизвестный Кандалову парень внимательно разглядывал чертеж детали к порталному крану.

У, черт! Держит чертеж вниз головой!..

Все шесть тисков были заняты, и скрежещущий звук напильников в неумелых руках наполнял мастерскую. Кандалов посмотрел на заведующего мастерской, растерянно стоявшего в глубине. Тот опустил глаза, слегка развел руками...

«Н-да-а! Такой спектакль и Станиславский бы не сумел поставить», — уважительно подумал Кандалов.

Он деликатно выпроваживал комиссию из механической мастерской, пока еще они не успели как следует разглядеть детали лучшей постановки Юры Кастрицына...

Вечером Юру остановил у клуба Омурев:

— Ты, я слышал, Кастрицын, не только в «живой газете» играешь?

— Так что ж делать, Григорий Степанович! Если мы их не объедем, то они нас объедут!.. Они же поверили! Ни черта, видно, в своем деле не смыслят...

— Э, не думай! Они-то знают свое дело, знают, зачем их сюда послали. Обман тут не поможет. Что ж, станцию из дерева, что ли, выстроить, как на постановке? Фанерную плотину через реку протянуть? Как деревни у этого, у екатерининского Потемкина... Нет, тут не потемкинскую станцию надобно построить, а настоящую — чтобы отступить было некуда... Ну, гуляй, Кастрицын! Да помалкивай, раз уж согрешил...

Катастрофа

Но радости от Юркиной выдумки хватило ненадолго. Видно, Омурев был прав и комиссии всегда находили то, что искали. Контора стала главным источником всех темных слухов. Машинистка Аглая Петровна перепечатывала все злокозненные акты комиссий, и старший делопроизводитель Степан Савватеевич Глотов каждый вечер, выходя на «пяточок», где собирались все сплетники стройки, «по секрету» предсказывал:

— А все потому, что своими силами захотели!.. Ну, а сил

то — какие уж там силенки!.. Вместо того чтобы попросить по бедности у англичан, у шведов, задумали всё сами... Попутал их Генрих Осипович — он же с этой станцией своей как полоумный. А те поверили! Ну, а как посмотрели настоящие инженеры, старой выучки, как посмотрели — сказали: не выдюжите, господа товарищи! Надо закрывать эту лавочку, и — как в истории сказано про русских и варягов — придите, володейте... А здесь что — здесь будет кон-сер-ва-ци-я! Вот что здесь будет!

Ну, а пока ездили комиссии, переписывала их акты Аглая Петровна, зло шипел Глотов, станция строилась. Каждое утро тысячи людей становились по своим местам и отдавали ей свой труд, свои силы. А иногда и жизнь...

Экскаватор Юстуса и Кастрицына работал на самом берегу. Юра показывал новичкам из экскаваторной бригады, куда отбрасывать грунт. Вдруг ковш экскаватора, наполненный землей, вместо того чтобы повернуться к отвалу, рухнул в забой. Юра услышал сдавленный крик Юстуса:

— А! Черт! Задний! Не то потонет!..

На реке что-то случилось. Маленький пароход «Свобода», тянувший через реку трос для канатной дороги, странно накренился... Кастрицын бросился к реке. Он вбежал в воду, плюхнулся в отплывавшую лодку. Деревянным черпаком он помогал гребцам. Пароходик лежал на боку, из его длинной трубы тянулся узкий хвост белого дыма... Было видно, что пароходик за что-то зацепился и его силой инерции стало переворачивать... На палубе растерянно металось несколько человек команды.

— Задний! Давай задний ход! — отчаянно кричал Юра.

Но уж никакой задний ход не мог помочь обреченному пароходу. Когда совсем немного до него осталось, он, как показалось Кастрицыну, совершенно беззвучно перевернулся и ушел в воду...

Даже в лодке был слышен страшный «А-а-ах!» толпы, стоявшей на берегу... Юра наклонился и схватил за рубашку барахтавшегося в воде человека... Множество лодок подплывало к месту катастрофы. Трех человек так и не нашли... Только спустя месяц подобрали их трупы рыбаки, промышлявшие волховского сига...

Все было одно к одному... Комиссии, гибель людей, слухи, «консервация»... Никогда еще Юра не испытывал такой душевной тяжести, такой непонятной тоски. А лето и осень в этом тяжелом году были теплые, недождливые, безветренные. По вечерам девчата и ребята ходили стайкой по краю болота, задами Волховского проспекта и пели грустные украинские песни, неведомо как попавшие на берег северной реки... Возле клуба сидели люди и вели «саратовский разговор» — лузгали

семечки. Шелуха от этих семечек покрывала землю толстым ковром, ее заносили в клуб, в контору, и она противно потрескивала под ногами. В комсомольской ячейке ребята сидели невесело — не шумели, не спорили, не клеили стенгазету, не репетировали... Ничего этого не хотелось делать — к чему, если действительно закроют стройку, если наступит эта самая консервация...

— Ребята! А если Ильичу написать? Да не может быть, чтобы Ильич дал закрыть стройку!..— У Петьки Столбова был вид, будто он придумал такое, что до него никому не приходило в голову.

— Будто не знаешь, что Ильич еще болен и к нему ни с какими делами и не пускают никого. Принесут ему письмо, что его станцию прихлопнули,— знаешь как разволнуется!.. Да и что, до тебя никто об этом не подумал?

Да, к Ленину обратиться было невозможно. Он вызвал к жизни вот это все: дома, бетонные громады кессонов, веселый и радостный шум стройки... Имя Ленина им помогало во всем, все ребята на стройке наизусть знали рассказы Саши Точилина, как ездили на Украину и как имя Ленина открывало склады, открывало сердца рабочих, комсомольцев... А вот теперь, когда стройке угрожает такая опасность — просто смерть угрожает,— болен Ленин и не знает, что может здесь, у Волхова, приключиться с его станцией...

Встречный план

— Секретарь! Точилин! — В дверях стоял взрывник Макенч, член бюро комячейки.— Давай идем! А вы, ребята, не расходитесь. Сидите тут и ждите Точилина.

Взрывник был человеком насмешливым и неунывающим. Но сейчас он не улыбался, никого из ребят не подкалывал, и видно по нему было, что вот наступило что-то очень серьезное...

Комсомольский секретарь кинулся к столу, открыл ящик и стал зачем-то вытаскивать тетрадь с протоколами.

— Да не бери ты свою канцелярию! — досадливо крикнул Макенч.— Пошли скорее, ждут же нас!..

Кинувшийся за ними Столбов вбежал через минуту обратно.

— Там сам Графтио! И Кандалов. И весь рабочком! Ох, ребята, что-то неладное! Ну, если дорого, давайте без денег, за одну кормежку будем работать! Всех сагилируем, а?!

...Ох, и тяжело же ждать! Да еще когда ничего хорошего не ждешь!.. Саши Точилина, наверное, не было с час. Ну, может, немногим побольше. Но Кастрицыну этот час, когда даже

Петька Столбов замолк и не придумывал новых и неожиданных проектов, показался целым днем... В коридоре послышались голоса, закрипели двери, и все комсомольцы повскакали со своих мест...

В комнату вошли Точилин, Омудев, Макеич и еще несколько коммунистов. По лицу Саши Точилина можно было догадаться: стройка не закрывается, а предстоит что-то невероятное, огромное... Может быть, Владимир Ильич выздоровел и едет сам к ним, может, еще что-либо такое... Тревога, восторг, озабоченность, радость — все одновременно было написано на лице комсомольского секретаря...

— Давайте, ребята, поближе и слушайте внимательно,— сказал Омудев, присаживаясь к краю большого дощатого стола.— Значит, так. От вас, комсомольцев, скрывать нечего: дела с Волховстройкой плохи. В Промбюро считают, что стройку нам сейчас не дотянуть... Дорого, и прочее такое... Как будто дешевле будет поставить крест на то, что народ уже вложил в строительство! Ну, да не об этом сейчас речь. Потом разберемся со всеми теми, кто в рабочий класс не верит! А теперь дело такое. Должна приехать особая комиссия. Из самой Москвы. И должна она все посмотреть и доложить правительству, самому Совнаркому: послушать ли спецов и закрывать стройку или же ее закончить... Ну так вот: у нас одиннадцать готовых кессонов стоят на эстакадах на берегу. По графику работ надобно три месяца, чтобы их опустить в реку. Нет у нас этих месяцев... Надо опустить кессоны и перегородить реку до приезда комиссии. Чтобы уж и решать нечего было... Не будем же кессоны назад из воды таскать! Понятно? Дело не то что серьезно — сверх того! За несколько недель надо успеть сделать то, на что месяцы требуются. И не просто так, взять да потопить кессоны, а спустить по всей форме, по всем техническим правилам, ведь плотина навечно ляжет в реку... Понятна задача? Кессоны у нас опускает артель Рудкина. А артель Крылова делает перемычки между кессонами. Народ в этих артелях подходящий, рабочие серьезные. Но им одним не справиться. Значит, надо подобрать людей им в помощь. Молодых, здоровых, толковых... Чтоб ни один бракодел к этим делам и близко не подходил! И опять же — не шкурников. Потому что работать будем сколько влезет, сколько сил будет. Да и не кричите вы так! Ну, знаю — все хотите, удивили чем! Ведь к комсомольцам пришли, не куда-нибудь еще!.. Сбить новые артели надо с умом и спокойненько... Чтобы одно подпирало другое и нигде ничего не зацеплялось! А главное — молодых ребят на стройке тыща, а вас, комсомольцев, сотня. Не только самим бросаться, а за собой всех повести — вот что вам, ребята, делать надо!

Все, что происходило на Волховской стройке в следующие

дни и недели, навсегда врезалось в память Юрия Кастрицына, да и не одного его.

Погода испортилась сразу, как будто она только и дожидалась этих авральных дней... С Ладоги дул сырой и резкий ветер. Он приносил дожди — то обильные, ливневые, то морозящие и нескончаемые... Темнеть стало рано, и уже в шесть часов вечера поселок погружался в темноту. Свет во всех домах и бараках выключили. Мощности маленькой электростанции хватало только на одно — на реку... Зато она уж была освещена! На берегу, у эстакад с кессонами, около причалов, где грузились на баржи кессоны, было светло как днем! Проекторы, наведенные на Волхов, выхватывали из темноты тревожную зыбь воды, громаду порталного крана, баржи и бетонные ящики кессонов... На всю реку, на всю стройку отчаянно, задыхаясь, пыхтели компрессоры...

Ни днем ни ночью не прекращались работы. И для Юры Кастрицына, для Саши Точилина, для Петра Столбова — для всех комсомольцев исчезла граница между ночами и днями. В самое разное время они прибегали в свой барак, стаскивали мокрую одежду. Они не слышали, как товарищи по бараку укрывали их, развешивали у печки сушиться мокрые брезентовые куртки, брюки... Мгновенно засыпали непрочным и тревожным сном, а через три-четыре часа просыпались, передевались, наспех что-то жевали и снова кидались к реке.

Теперь вся жизнь стройки сосредоточилась здесь, на реке. Бетонные громады кессонов были полностью готовы. Огромный порталный кран, смонтированный на двух баржах, осторожно подходил к причалу. Толстые металлические тросы зацепляли кессон, кран подымал громоздкий бетонный ящик, и пароходик начинал тянуть баржи к середине реки. Через Волхов была переброшена канатная дорога, под ней висела гирлянда электрических фонарей. Слегка изогнутая дуга фонарей уже была похожа на контур будущей плотины, и, если поглядеть сверху, издали, казалось, что плотина уже построена... Кессоны опускались в реку с тихим плеском. В резиновые шланги, уходящие внутрь кессона, компрессоры с шипением качали воздух. Миллионы белых пузырьков кипели на поверхности воды, указывая место, где только что лег новый кессон. Свистки пароходиков, шум компрессоров, удары ломов, казалось бы, должны были заглушать все другие звуки. Но Графтио, не уходивший со своего командного места на берегу, отдавая приказания, не повышал голоса. Когда спал Графтио и спал ли он, было непонятно и неизвестно. Но он был так же аккуратно одет, как всегда, так же чисто выбрит, так же разговаривал негромким и спокойным голосом. Высокий, немного сутулящийся, он стоял под дождем, как капитан на своем мостике

во время урагана или тайфуна. Так казалось Юре Кастрицыну, когда он оказывался около главного инженера. И вдохновенный, сладостный холодок победы пробежал по его спине...

Да, победа была близка! И это чувствовали все. Сразу же исчезли на стройке все слухи, все сплетни, и Степан Готов смиренно сидел за своим канцелярским столом и не выходил на конторский «пяточок», чтобы злорадно предсказывать скорую гибель Волховстройки...

Приехал из Москвы сам Демьян Бедный... Все свободные от работы люди набились в клуб. Юра отказался от своего короткого отдыха, чтобы посмотреть хоть одним глазом на человека, сочинившего те самые басни и стихи, которые он читал с эстрады клуба, те песни, которые они пели по вечерам... Конечно, как и думал Юра, ничего вот этого, «поэтического», не было в Демьяне Бедном — мужике вредном... Плотный и коренастый человек во френче ходил по сцене клуба и неторопливым баском вел беседу с людьми в зале. Он зло вышучивал тех, кто не верит, что рабочий класс может построить Волховскую станцию, пустить заводы, создать на этой своей земле новую и хорошую жизнь... Шутки его были солены, словечки язвительны и метки, и зал на них отвечал громовым смехом и неистовыми рукоплесканиями... «Нет, не дадим погибнуть Волховской стройке!» — подняв кулак, кричал Демьян Бедный, и Юра, не чувствуя боли, стучал израненными в волдырях ладонями и победоносно осматривался: кто здесь есть, кто не верит, что мы победим! Но вокруг таких не было. Были только свои, те, кто строят и построят станцию! И когда Демьян Бедный затих, задумался и ставшим вдруг добрым голосом сказал: «Порадуем товарища Ленина, порадуем нашего Ильича тем, что станция хорошо, по-советски, строится», — волна восторга прошла по залу...

Кастрицын больше не мог оставаться в клубе. Он пробился сквозь толпу и побежал к реке, не чувствуя дождя и холода, улыбаясь своим мыслям, пересказывая себе слова Демьяна, чтобы не забыть их, в точности передать ребятам на реке, тем, кто не мог уйти со своей вахты.

...Был уже почти совсем зимний день, когда на Волхов приехала наконец большая, ответственная комиссия. Та самая... Прямо со Званки она проехала, не заезжая в Дом приезжих, на строительство. Берег был пустой. Плотники неторопливо разбирали деревянную эстакаду, на которой еще недавно стояли кессоны. Выпавший накануне небольшой снежок покрыл строящуюся перемычку, и дуга будущей плотины вырисовывалась четко, как на чертеже проекта... Да она уже и не была будущей. Она прочно, навсегда улеглась на дно Волхова, и все остальное было только вопросом недолгого времени.

Река была перекрыта!.. Стройка шумела спокойно и деловито.

Члены комиссии топтались на берегу, похлопывая озябшими руками...

— Пойдемте, товарищи, чай пить,— деловито сказал им Графтио, будто этот чай и был тем единственным, ради чего они сюда приехали из самой Москвы.

И в провожавших их взглядах рабочих не было уже ни затаенной тревоги, ни даже простого любопытства... Много их ездит, а нам надо строить! И закончить!

Не забудем

Начало зимы было необычно теплым. Встречали Новый, 1924 год при открытых форточках и даже окнах. Новогодний вечер в клубе затянулся до самого утра. Показали специальный номер «живой газеты», в которой было прошлое, настоящее и будущее Волховской стройки. Лорд Керзон выбрасывал вперед ноги, но не поворачивался к публике спиной, чтобы не было видно, что бумажные фалды фрака прикреплены к черному пиджаку английскими булавками. Лорд поминутно вставлял в глаз монокль, из-под его высокого картонного цилиндра выбивались необыкновенно рыжего цвета, хорошо знакомые всей стройке кудри... Гриша Варенцов в настоящем котелке и настоящих очках, которые он время от времени приподымал, чтобы что-нибудь рассмотреть, изображал социалпредателя так смешно, что публика зашлась от хохота... Керзон вместе с меньшевиком чинили Советской Республике разные нехитрые козни, пока из-за кулис не вышел одетый в синий комбинезон Петька Столбов. Грудь его опоясывала бумажная лента с надписью: «Волховстройка». Он с трудом поднял настоящую кувалду, которой били шпур, и очень осторожно стукнул ею Керзона по цилиндру, а меньшевика — по котелку. Лорд и меньшевик мгновенно растянулись на полу. Петька — уже без всякой осторожности — наступил одной ногой на Керзона, который повернулся поудобней и прошептал что-то неразборчивое, но сердитое, что, конечно, было естественно для лорда, ненавидящего стройку... Петька победоносно взглянул на поверженных рыжие вихры и неторопливо в стихах, им самим написанных, объяснил, что значит Волховская станция для всех врагов Советской России... Занавес сдвинулся под бурные аплодисменты...

Вообще за последнее время комсомольцы развили бурную театральную деятельность. Только-только Новый год встретили постановкой, а уже висели большие афиши о том, что 22 января 1924 года в клубе Волховстройки будет большой вечер, по-

священный годовщине Девятого января 1905 года. Будет постановка, выступит хор, будет проведена политлотерея и устроены политтиры.

В этот день утром Юра Кастрицын побежал в клуб. Неправду говорят, что беду заранее чувствуешь! Юра не только не ощущал никакой близкой беды — наоборот, давно уже у него не было такого веселого настроения!.. Было тепло, все было хорошо, грунт не замерз, и бетонные работы шли еще без тепляков, и экскаватор работал с почти такой же производительностью, как летом, и за одну лишь последнюю неделю восемь хороших ребят подали заявление в ячейку с просьбой принять их в комсомол...

На конторе и клубе висели траурные флаги — красные с черной каймой. Вчера вечером Юра их вешал — по случаю сегодняшнего траурного дня, памяти жертв расстрела у Зимнего дворца.

В комсомольской ячейке было полно людей и стояла страшная, неживая тишина. Только Ксения Кузнецова стояла у окна и, закрыв лицо руками, всхлипывала отрывисто и длинно, как ребенок... На полу лежал огромный лист бумаги, на котором свежей краской чернела широкая траурная рамка. Петька Столбов, стоя на корточках, обмакивал кисточку в жестянку с краской и писал третью или четвертую строчку. Он даже не обернулся к Юре и дышал с трудом, как будто делал что-то невообразимо тяжелое...

От самой двери, издалека, Юра увидел первые, уже написанные строчки...

«Вчера, 21 января 1924 года, в 6 часов 50 минут...»

Юра повернулся и стремительно выбежал из комнаты. Он мчался по коридору клуба, не видя ничего перед собою. Потом он дернул какую-то дверь и очутился на хорошо ему знакомой сцене. Он ничего не видел, он как будто ослеп... Пробежав в самый конец сцены, Юра уткнулся лицом в пыльный, остро пахнущий краской задник и заплакал громко, кашляюще. Он задыхался, ему казалось, что вот-вот у него остановится дыхание... Потом у него брызнули слезы, и стало легче дышать. Обрывки мыслей, невнятные, неосознанные, проносились у него в голове.

...Почему говорят — «славная смерть»?.. Нет, она подлая, гнусная! Как она могла убить Ленина! Сейчас, когда все страшное уже позади, когда все налаживается... Он не увидит их станцию, не приедет на Волхов, не спросит у Юрия Кастрицына, где он работает... Они больше никогда не станут посылать ему приветствия, не будут кричать на демонстрациях «Ленину привет!».

Платком, ставшим сейчас же мокрым и грязным, Юра вытер лицо. Он медленно пошел в ячейку. Только по тому, что Столбов

заканчивал писать, Юра понял, сколько времени он отсутствовал. По-прежнему никто не разговаривал друг с другом, только Омудев вполголоса что-то говорил Точилину. Лицо у Омудева было смертельно усталое, будто он не спал много ночей или же только что пришел после долгой и тяжелой рабочей смены.

Объявление уже вывесили, множество народа толпилось перед клубом, и сквозь гул голосов было слышно, как плачут женщины. Начинались какие-то хлопоты, в комячейке составляли список делегации, которая поедет в Москву на похороны. Похороны Ленина... Заведующий клубом озабоченно писал требование на красную и черную материю и советовался со всеми, сколько же аршин нужно...

И были после этого призрачные, какие-то вроде приснившиеся дни и ночи. Во всей жизни — и Юриной, и всех ребят, и всех людей на Волхове, — во всей стране и во всем мире наступил перелом. И в природе тоже. Страшные, невероятные по силе морозы свалились на стройку. Воздух заledenел и обжигал горло. Земля сразу же стала как камень, и не только экскаватор — шпурный бур ее не брал. Прекратили бетонные работы — бетон замерзал, как только выходил из бетономешалки. Везде горели костры, дым от них подымался недвижимыми столбами в белесое небо, на котором висело негреющее солнце.

27 января Юра Кастрицын стоял со всеми в огромной толпе перед клубом. Какая-то изморозь падала на застывшие лица. В четыре часа завыли гудки. Они ревели натужно и тревожно: тоненько — катера на причале, пронзительно — паровозики на узкоколейке, глухо — на электростанции. Со стороны Званки доносился неистовый рев паровозных гудков.

— «Вы жертвою пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу...» — пели рядом с ним взрывник Макеич, Гриша Варенцов, множество людей, все почти, кого знал Кастрицын.

Он пел вместе с ними знакомые слова скорбной и торжественной песни, он знал, что в эту минуту в Москве опускают в землю тело Ленина.

В надвинувшихся сумерках перед Юрой Кастрицыным лежала река, а на ней — полукруг плотины, справа в лесах виднелось здание электростанции, к ней примыкали серые и голые стены шлюза. Все это было построено ими — этими людьми, им, Юрой Кастрицыным. Здесь будут стоять великая станция, и заводы, и новый город с большими, красивыми домами, полными цветов и детей. Ленин этого уже никогда не увидит. А может быть, не увидит и он, Юрий Кастрицын... Но это не имеет значения! Все равно — после Ленина и после него, после всех это останется. После них, после вот этих стоящих

рядом коммунистов и комсомольцев, останется новая жизнь, построенная для людей... И как не забудут никогда Ленина, так и не забудут и их, ленинцев. Погибнут ли они в бою, перевернутся ли на маленьком пароходике посреди реки, сорвутся ли с люльки канатной дороги или же просто умрут от старости или болезни в своей постели... Важно прожить жизнь так, чтобы от тебя осталось что-то настоящее.

«...Прощай же, товарищ! Ты честно прошел свой доблестный путь, благородный...»

Клавочка

Песенка

До того времени, как Клава не услышала противную песенку про противную совбарышню, она не имела ничего против того, чтобы ее звали Клавочкой. Так ее звали все восемнадцать лет жизни. Звали дома в детстве, звали так в школе. И когда Клава кончила в Новой Ладоге школу второй ступени и отец ее, Сергей Петрович, переехал на Волховстройку бухгалтером, все новые соседи с первого же дня стали ее звать Клавочкой... И когда отец после больших хлопот, после долгих уговоров биржи труда устроил ее делопроизводителем в конторе и привел на работу, он тем заискивающим голосом, который так не любила в своем отце Клава, сказал:

— Ну вот, товарищи-граждане, моя Клавочка... Вы ее не обижайте, она у меня хорошая девочка, всегда была примерной и послушной. Я на вас надеюсь...

Но Клаву и без его просьб в конторе все сразу же полюбили и все сразу же стали звать Клавочкой. Да и трудно было ее не полюбить. Отец про нее говорил правду. Клава действительно была в Новолadoжской школе второй ступени самой послушной и примерной ученицей. Учились в школе очень шумные и совершенно не расположенные слушать учителей мальчики и девочки. Все они состояли во множестве кружков и ячеек. Была ячейка МОПР, ячейка безбожников, ячейка «Друг детей» и даже ячейка «Руки прочь от Бессарабии»... Уж не говоря о комсомольской ячейке, куда входили самые старшие ребята — некоторые из них даже в ЧОНе состояли и лихо приходили на уроки перетянутые красноармейским поясом, с подсумками

на ремне... Уроки для них были досадным дополнением к главному: кипучей работе во всех этих ячейках, к спектаклям, лекциям, вылазкам, заседаниям, спорам, воскресникам, демонстрациям... Любимым словом Клавочкиных школьных товарищей было: «Буза!» Этим непонятным словом обозначалось все. Бузить — значило спорить до изнеможения, устраивать подвохи нелюбимым учителям, подкапываться под учком, не соглашаться... «Все это буза! Все ваши короли никому не нужны, и нечего их зубрить!» — заявил учительнице истории Игорь Зубков, главный коновод в Клавочкином классе.

Мудрено ли, что учителя не могли нарадоваться на Клавочку! Она приходила в школу всегда чистенькая, в аккуратненьком коричневом платьице — ну конечно, не гимназической форме, но так на нее похожей... Клавочка всегда подымала руку, прежде чем что-либо спросить у учителя; она всегда знала урок и отвечала его тихоньким голоском — «так сладко, чуть дыша», как говорили про Клавочку ее завистливые подруги. Они даже утверждали, что Клавочка, прощаясь с учителями, приседает и делает реверанс!.. Ну, это они врал! Клавочка реверансов не делала. Но она была очень послушной девочкой, и не было такого дня, когда бы дома Сергей Петрович, ее отец, не высказывал сожаления, что нет сейчас больше ни гимназий ни прогимназий, ни, на худой конец, епархиальных училищ, где его Клавочка могла бы получить достойное воспитание, чтобы «выйти в люди»... И Клавочка старалась, она очень хотела выйти в люди, и учителя, провожая глазами вежливую и примерную Клавочку, удовлетворенно говорили: «Сразу видно, что из хорошей семьи!»

А Клавочка не знала, что это значит — «хорошая семья». Отец ее до революции был приказчиком у богатых купцов Бугримовых — им принадлежали все мельницы в округе. И жили они не так чтобы богато, но старательно. Очень отец старался, чтобы у них все было «как у людей». И чтобы его единственная Клавочка была во всем похожа на дочерей его хозяев, на дочерей уважаемых в городе личностей: нотариуса, податного инспектора, исправника, законоучителя... И очень гордился, что, несмотря на неурядицы революционного времени, по его дочери сразу же видно, что она из «хорошей семьи», а не из семьи какого-то приказчика.

В волховстроевской конторе тоже дружно решили, что Клавочка «из хорошей семьи». Даже машинистка Аглая Петровна, таинственно намекавшая на свою принадлежность к «высшим кругам общества» и очень сведущая в чем-то сложном и неопределенном, что она звала «хорошим тоном», даже она благосклонно относилась к Клавочке. Через несколько дней после поступления Клавочки на работу она ее осмотрела внимательно-снижительно с ног до головы и сказала:

— Голубушка, так нельзя одеваться! Вы ведь не из этих, вы из хорошей семьи, уже барышня, и надо, чтобы ваша внешность соответствовала хорошему тону... Ну кто же, кроме фабричных, носит такие длинные платья? В цветах! Это надо перешить. Вот здесь убрать, тут вот сделать оборочку, а здесь хорош был бы бантик из цветного батиста. Если у вас нет, милочка, я вам принесу...

Клавочка вспыхнула и смущенно поблагодарила. Но не только Аглая Петровна — все в конторе были благосклонны к новому делопроизводителю. И начальство ее — старший делопроизводитель Степан Савватеевич Глотов довольно говорил Клавиному отцу: «Мы из твоей Клавочки, Петрович, настоящую барышню сделаем!» И, объясняя Клаве, куда надобно вписывать «исходящие» бумаги, а куда «входящие», умильно заглядывал ей в глаза и со вздохом говорил: «Да разве раньше такую барышню кто пустил бы служить!» И с укором подымал глаза к потолку.

У Глотова было не только странное отчество, он и весь был не похож на других. Ни у кого не было такого френча — с огромными накладными, в складках, карманами. Никто на стройке, кроме него, не носил блестящих краг — в ремнях, со множеством медных крючков. Никто, кроме него, в конторе не ходил в ресторан «Нерыдай» и утром не сравнивал новые ресторанные порядки с теми, какие были в старых петербургских ресторанах со странными названиями «Донон», «Кюба»... Глотов был противен Клаве до тошноты, но она помнила отцовский наказ: быть со своим начальством примерной и послушной.

Словом, все было хорошо, пока не появился рыжий Юрка. К конторе, собственно, Юрка никакого отношения не имел. Он работал на экскаваторе помощником машиниста и в контору приходил раз или два в неделю выписывать сведения на комсомольцев — кто сколько выработал... Но Юра был очень заметным парнем на стройке. Не только потому, что таких огненно-рыжих волос ни у кого на Волхове не было, — Юрка был парнем из Питера и самым главным заводилой у комсомольцев да и у всех ребят на стройке.

Клава никуда из конторы не уходила и свято выполняла отцовский наказ: «держаться своей компании»... Но на стройке все всё знали про всех. И Клавочка знала, конечно, всех главных комсомольцев. И секретаря ячейки — хромого взрывника Григория Варенцова, и главного комсомольского оратора, выступавшего на всех митингах, — Петра Столбова, и табельщицу из инструменталки — задорную Ксению Кузнецову, хотушку в красном платочке.

Ну, а все-таки самым заметным комсомольцем был Юра Кастрицын. На всех собраниях, митингах, воскресниках, де-

монстрациях, на работе, в клубе — всюду мелькала его огненная голова и слышались любимые Юрины слова, употребляемые им во всех случаях жизни: «Словесной не место кляузе».

Увидев в конторе Клаву, он весело воскликнул:

— О! Конторская армия получила молодое пополнение! И как вас зовут, молодое пополнение?

— Клавочка... То есть Клавдия Попова,— смущенно ответила Клавочка.

— И вам не скучно, Клавочка Попова, совбарышней тут служить?

— Молодой человек! — скрипучим голосом вмешался в разговор Глотов.— Вам никто не позволит оскорблять советскую служащую товарища Попову и обзывать ее совбарышней! И вообще, товарищ Егор Кастрицын, сведения вам надлежит выписывать у товарища Лебедевой, товарищ же Попова к ним отношения не имеет!..

— Словесной не место кляузе! Когда меня попы чуть не утопили в купели, пользуясь моим малолетством, они меня окрестили Георгием, а не Егором. Это — раз! А в-седьмых, товарищ Глотов, не мешайте мне проводить массово-воспитательную работу среди беспартийной молодежи! Клавочка! Он уже вам рассказывал, что краги у него точно такие же, как у Керенского? И что в ресторане «Донон» ему подавали лангустов и осетрину по-монастырски?

Но Клавочка, робко оглянувшись на побагровевшего Степана Савватеевича, ничего не ответила веселому рыжему комсомольцу. Она уткнулась в свои «исходящие» и сделала такое же каменное лицо, какое делала Аглая Петровна, когда в контору приходили не любимые ею рабочкомовцы. И в другие дни, когда приходил Юра и пробовал с ней разговаривать, она опасливо смотрела на старшего счетовода и не отвечала на веселое Юрино приветствие: «Привет конторе! Словесной не место кляузе!..»

И тогда все началось. Переписывая свои сведения, Юра начинал, сначала тихонько, а затем все громче петь назойливую песенку:

Клавочка служила в Упека.
Клавочка работала слегка,
Юбочка недетская, барышня советская,
Получила карточку литер «А»...

— Невежда! Ком-со-мол! Вот такие сейчас хозяева положения! Их бы раньше к порядочному обществу близко не подпустили! — утешал Клавочку Глотов, когда за Кастрицыным закрывалась дверь (при Юре он боялся высказываться так категорически).

Но Степан Савватеевич не мог утешить Клабочку. Она задышалась от обиды, от злости на рыжего Юру. И ни в какой Упека она не служит, и никакой литерной карточки она не получает, и вообще, что это за глупое название — советская барышня! Она записывала все, и даже самые важные бумаги, приходящие на стройку! И один раз даже сам Графтио пришел к ней и по ее «входящей» книге посмотрел, когда пришла одна очень важная бумага из Промбюро!.. И вместе с ней работают «очень, очень ин-тел-лигент-ные люди», как сказала про них Аглая Петровна.

Но противный рыжий Юрка этого понять не мог. И каждый раз, сидя за большим столом в углу и быстро записывая фамилии и цифры, рыжий парень нет-нет да поглядит на старательно склонившуюся голову Клабочки и тихонечко начинает мурлыкать ненавистный Клабочке мотив!.. И все громче звучат обидные слова нелепой песенки:

Все любят Клабочку, все просят справочку.
На «исходящих» Клабочка сидит.
С утра до вечера ей делать нечего,
И стул под Клабочкой так жалобно скрипит.

И с этим уже ничего нельзя было поделать... Самое обидное во всей этой истории было то, что в песенке все было почти правдой... И не в том дело, что все в конторе любили Клабочку и все у нее просили справочку... И не то, что она и вправду клала на стул толстую книгу «исходящих» — ведь стул был низкий и неудобный, — беда была в том, что, если уж говорить правду, Клабочка работала очень слегка... Конечно, это вранье про нее, что с утра до вечера ей делать нечего... Клабочка очень добросовестно вписывала в свои книги всю почту, писала медленно, старательным и красивым почерком, за который она получала самые лучшие отметки в классе. Но она могла бы это делать и в пять раз скорее. Только бессмысленно было торопиться, потому что остальное время некуда было девать... Ее начальник, Степан Савватеевич, мог бы и сам это делать — старший делопроизводитель большую часть дня читал газеты, разговаривал с сослуживцами или же приносил с собой романы графа Салиаса и озабоченно, с крайне деловым видом читал их.

Дни нашей жизни

Иногда Клабочке поручали отнести важную бумагу на подпись Графтио. И она шла через всю стройку, через реку в зеленый двухэтажный домик, где жил главный инженер. Как

весело, оказывается, за стенами конторы! Стройка напоминала большой муравейник в лесу. На Волховском проспекте плотники рубили большие двухэтажные дома; около шлюза по длинным узким мосткам быстро катили тачки с бетоном; на перемычке, перегородившей реку, десятки маленьких человечков весело отплясывали, топчась на одном месте,— Клабочка уже знала, что они не танцуют, а бетон утрамбовывают; через реку по толстым канатам скользили вагонетки... На горизонте выстреливал черный дымок экскаватора, и ковш его, как в детской игрушке, то наклонялся к земле, то взмывал вверх. Там, наверно, противный рыжий Юра работает?.. Немолчный, слитный гул человеческих голосов, стука топоров, свистков экскаватора, далеких взрывов стоял над Волховстройкой. Но было веселье не только в этом ровном шуме работы. Все люди, которых встречала на своем пути Клабочка, были совсем не похожи на конторских: они оживленно говорили о своем деле, они спорили, иногда ругались... Всем им было важно и интересно то, чем они занимались...

И то, что они делали, становилось с каждым днем все заметнее, все виднее. А вся Клабочкина работа умещалась в двух толстых книгах. Они были такие толстые, а бумажек, номера которых Клава вписывала, было так мало, что этих книг Клаве хватит не только на теперешний, 1925 год, но и на двадцать шестой и двадцать седьмой... И ничего после Клабочкиной работы не останется, кроме двух конторских книг. Когда она их испишет, возьмет их толстая Лебедева, наклеит архивный номер и положит в шкаф. И никто больше на них и не взглянет!.. А те, кто работали, шумели, спорили на стройке, делали такое, что будет видно всем и всегда! Вот огромное, в лесах здание станции... И шлюзы скоро будут готовы... И через плотину, как водопад на картинке в учебнике географии, бежит вода... И люди на стройке совсем не были похожи на тех рабочих бугримовских мельниц, которых видела Клабочка в детстве. Те снимали шапки, когда во двор мельницы вкатывала хозяйская пролетка, а волховстроевцы были такие же веселые и спокойные, как сам Бугримов!.. Такими они были на больших собраниях в клубе, когда за длинным столом на сцене появлялись озабоченный Графтио, и веселый прораб инженер Кандалов, и спокойный Омурев, и хромой Гриша Варенцов, а позади где-то мелькала огненная шевелюра Юры Кастрицына... Они были хо-зя-е-ва!!! А вот Степан Савватеевич со своим френчем и крагами — он был приказчик, как ее отец до революции. И хотя Глотов, сидя в клубе рядом с Клабочкой, презрительно кривил рот и шептал Клабочке: «Хозяева положения!» — он, разговаривая с Омуревым или Варенцовым, делался приторно предупредительным, заискивающим — как ее отец, когда разговаривал со своим хозяином...

Ах, как Клаве становилась противна ее приказчиья должность! А может быть, не в должности тут дело? Вот ведь Ксения Кузнецова — тоже не машинист на экскаваторе, а просто табельщица в инструменталке. А почему же она ведет себя как хозяйка? Она бегает на воскресники, шумит в клубе, не боится наскочить на начальство и требовать накладную на какой-то нужный инструмент!..

Однажды Клавочка около дома Графтио столкнулась с целой ватагой комсомольцев: наверно, шли к главному инженеру. Они шли, размахивая руками, о чем-то переругиваясь. Были слышны слова, произносимые высоким, знакомым голосом:

— Вот так ему и скажи — с этими сроками мы не согласны. И никаких гвоздей! Словесной не место кляузе! — И красные волосы вскидывались вверх, как флаг...

Клавочка замерла: сейчас он при всех ей что-нибудь обидное скажет... Или песенку запоет ту самую.

— А, Клавочка! Не надоело еще на стуле скрипеть? И такая, ребята, хорошая дивчина, а сидит с этой гримзой Аглаей и этим... как его... в крагах керенских!..

— Да брось, Юрка, надсмехаться над дивчиной!.. — остановил Кастрицына Гриша Варенцов. — Что она, виновата, что у нее работа такая? Ей, видать, самой невесело, целый день слушать байки Глотова... Слушай, Попова, приходи к нам в клуб в кружок или в «живую газету», что тебе на отшибе-то быть! Ведь у нас веселее!

— Спасибо! — нелепо прошептала Клавочка, как будто с учителем разговаривала, и быстро пошла дальше, подставляя ветру вдруг запылавшее лицо.

Она так была благодарна Варенцову, и ей нестерпимо захотелось идти с ними, вот так же свободно смеяться, спорить и добиваться каких-то ей неизвестных, но, видно, очень важных сроков...

А в клубе Клавочка бывала сейчас часто, и только хлопотливый Варенцов ее не замечал там... А она всех видела и тайком даже подглядывала в комнату, где репетировалась «живая газета» «Синяя блуза». А сама Клава была в другой комнате клуба, на репетициях драматического кружка, куда водила ее Аглая Петровна.

В драматическом кружке участвовали, как говорила Аглая, только «люди хорошего тона» — инженеры, конторские... Режиссером там был сам старший прораб строительства — Иннокентий Иванович Кандалов, такой страстный любитель театра, что нельзя было понять, когда он отдыхает... Прямо с плотины, забрызганный бетоном, в испачканных сапогах, он прибежал на репетицию и тем же громким голосом, каким кричал на строительстве шлюза, начинал командовать: «Действие

третье, сцена вторая! Глуховцев становится вот сюда в угол, Оль-Оль сидит около него на скамейке»...

Кружок репетировал пьесу Леонида Андреева «Дни нашей жизни». Пьеса была про жизнь, совсем не похожую на ту, что была у них в Ладого. В ней были милые и смешные студенты, очень симпатичный офицер и бедная, замученная девушка Оль-Оль, которую унизила омерзительная мамаша... Там были непонятные Клавочке споры, удивительные слова и трогательные страсти. Аглая Петровна, игравшая самую главную роль, эту вот беззащитную Ольгу Николаевну, Оль-Оль, разговаривала на сцене громким, ненатуральным шепотом, заламывала руки и закатывала глаза... Она бросалась на колени перед обидевшим ее студентом, билась головой об пол, пронзительно кричала на весь клуб: «Голубчик ты мой! Жизнь ты моя!..» — и рыдала так, как никогда не рыдают по-всамделишному... А студенты не обращали на нее никакого внимания и медленно пели грустную песню:

Умрешь — похоронят, как не жил на свете.
Уж снова не встанешь к веселью друзей...

Вообще в этой пьесе очень много пели. Но песни эти были все заунывные и печальные... «Не осенний мелкий дождичек...» — жалостливо пели студенты. А славная студенточка Анна Ивановна выводила тонюсеньким голоском:

И ночь, и любовь, и луна,
И темный развесистый сад...

Играла эту студенточку толстая и красная Лебедева из их конторы, и когда она с придыханием выпевала:

И на измученную грудь
Тяжело пало жизни бремя...—

поверить в это было невозможно. А Аглая Петровна накидывала на плечи шаль, подымала кверху глаза и, очевидно очень страдающая, свистящим шепотом пела:

Ни слова, о друг мой, ни вздоха...
Мы будем с тобой молчаливы,
Ведь молча над камнем, над камнем могилы
Склоняются грустные ивы...—

и при этом так вздыхала, что Кандалов не выдерживал и кричал ей:

— Так, Аглая Петровна, коровы в стойле вздыхают, а не люди, тем более девушки!..

Все это было из какого-то другого и навсегда конченного мира. И девушка Оль-Оль, и благородный офицер Григорий Иванович, и студенты — все они ничем не отличались от героев «Князя Серебряного», хотя там было про Ивана Грозного, а не про студентов. Все равно что-то очень древнее и незнакомое... Клавочка тоже играла в пьесе — внучку старого генерала; она должна была только выходить на сцену, а слов у нее почти никаких не было. Когда Клаве становилось скучно от шепота Аглаи Петровны, она выходила в коридор и прислушивалась к песням, вылетавшим из комнаты, где репетировалась «Синяя блуза».

Эти песни она слышала и в клубе, и на улице, и на воскресниках. Чаще всего они распевались вечерами на крыльце клуба, куда собирались волховстроевские комсомольцы петь, спорить, перекидывать друг друга и снова петь:

Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет...

Или:

Так пусть же Красная
Сжимает властно
Свой штык мозолистой рукой,
И все должны мы неустойчиво
Идти в последний, смертный бой!..

Ах, какие там были славные и гордые слова!

Мы раздуем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сровняем с землей!
Ведь от тайги до британских морей
Красная Армия всех сильнее!

Прислонившись к стенке коридора, Клава слушала, как в комсомольской комнате над чем-то смеялись так дружно, что у нее ныло сердце от зависти к этим ребятам и девочкам, которым совершенно не хотелось жаловаться на то, что на их «измученную грудь тяжело пало бремя жизни»... Это была совсем другая жизнь — отличная не только от той, которую Клавин драмкружок изображал в пьесе, но и от той, что вела сама Клавочка.

В драмкружке сорвалась репетиция. Кандалова срочно вызвали в Ленинград, инженер Петровский на Званке принимал вагоны с оборудованием, репетицию пришлось отложить.

— Фу, как здесь шумно! — недовольно сказала Аглая Петровна. — Уйдемте отсюда, милочка!

— Я еще немножко побуду, — внезапно для себя ответила ей Клавочка, впервые осмелившись возразить Аглае.

И Клавочка осталась в клубе один на один с той, другой

жизнью, заливавшейся смехом в комсомольской комнате. Она стояла нерешительно, не зная, что ей делать. «Надо уйти! — думала она. — Уйти, пока оттуда никто не вышел...» Но дверь уже открылась, и, отмахиваясь от кого-то, из комнаты вывалился Гриша Варенцов. Как бы продолжая с кем-то начатый разговор, комсомольский секретарь протянул Клаве руку и сказал:

— Вот и Попова здесь, а вы говорите, что девчат не хватает! Мне, что ли, хромоногому, быть синеблузницей! Пошли, Попова. Тебя как зовут — Клавой?

Варенцов легонько подтолкнул Клавочку в открытую дверь. И Клава вошла в большую комнату, полную парней и девушек, и с отчаянием увидела первое, что ей бросилось в глаза, — рыжие волосы насмешника Юры Кастрицына... Но Юра и не подумал над ней насмешничать. Ксения Кузнецова, сидевшая на подоконнике, подвинулась и крикнула:

— Клава, давай сюда!

И, пока клуб не закрылся, Клава сидела на репетиции «Синей блузы» и смотрела, слушала, вместе с другими смеялась, вместе со всеми пела... В том, что играли комсомольцы, ничего не было похожего на драмкружковский спектакль. Все было совершенно необычно и не похоже на театр.

Ребята и девочки выстроились в ряд. Они быстро переглянулись между собой, и стоявший с краю Петя Столбов громко крикнул:

— Чего вы ждете?

— Ждем сигнала! — ответила шеренга.

— Даешь свисток! — Петя пронзительно свистнул. — Даешь начало!

И зашагали по комнате, размахивая руками и выкрикивая слова новой веселой песни:

Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
Нам все известно обо всем.
Мы вдаль по миру
Свою сатиру,
Как факел огненный, несем!..

В том, что делали комсомольцы, удивительно было вот что: там, в драмкружке, все старались, чтобы на сцене было как по-настоящему... И настоящие студенческие куртки, и царский офицерский мундир, и шашка настоящая, и даже луну Кандалов делал сам, и она была как настоящая. Но тем не менее, кроме луны, ничего похожего на настоящее в их спектакле не было! А у комсомольцев все, казалось, было понарошку: Петя Столбов вешал себе на грудь бумажную ленту с надписью «капиталист» — и был капиталистом... Рыжий Юрка меньше

всех людей на свете напоминал священника, но он вешал себе на грудь надпись «поп» — и становился попом.

И все, что синеглазники изображали в своей «живой газете», — все было не про далекое и чужое, а про свое, про то, что делалось сейчас во всем мире, в Советской стране, у них на Волховстройке... И рыжий Юра был похож на гостинопольского попа, и Миша Куканов, хотя и не носил рыжей бороды, как две капли воды смахивал на Тараканова, владельца «Магазина бакалейных и колониальных товаров»... И когда Столбов, одетый в огромный, с чужого плеча френч, расправил грудь и запел на мотив «Мой костер в тумане светит» песенку, Клава вздрогнула — она увидела перед собой Степана Савватеевича...

Чту всегда родство и дружбу,—

пел, изгибаясь, Петя,—

Всем статьям наперекор,
Я устроил здесь на службу
Дядю, тещу, семь сестер...
Отрастил себе я пузо...
И живу, как сом в воде...
Мне начхать на профсоюзы
И на кодекс о труде...

«Вот ведь и я...— думала Клава, не в силах смеяться вместе со всеми.— И я тоже с помощью отца, через Глотова, по знакомству, по этой отвратительной «дружбе» поступила на работу...» И сейчас об этом догадаются все! И с позором выгонят! И больше она никогда не сможет сюда прийти и навсегда останется в драмкружке играть генеральскую внучку в пьесе «Дни нашей жизни»!. И Клава Попова вдруг ясно поняла, что это были дни совсем для нее чужой жизни. А настоящие дни нашей жизни были вот здесь, и их весело и по-настоящему изображали ее новые товарищи!

На всю жизнь

Но никому не пришло в голову в чем-то нехорошем, нечестном обвинить Клаву. И допоздна она была на репетиции «Синей блузы» и под конец сама расхаживала в шеренге ребят, размахивала руками и пела: «Мы синеглазники, мы профсоюзники...» И после репетиции вместе со всеми шла по улице и пела песню про моряка, который был красивый сам собою и которому было двадцать лет... Всего на два года больше, чем Клавочке, и так уж много он успел увидеть и пережить...

На другой день Юра Кастрицын, как всегда по средам, забежал в контору. Он выкрикнул с порога свое обычное приветствие, но, вместо того чтобы усесться за стол и начать высвистывать обидную песенку, подошел к Клавочке:

— Клава! Мы хотим выпустить наш новый номер на неделю раньше и репетировать будем каждый день. Приходи сегодня в клуб...

Когда он ушел, Аглая Петровна проводила Юру долгим взглядом и хорошо знакомым Клавочке громким, театральным голосом спросила:

— Милочка! Вы что, с этими, с комсомольцами, репетируете? В их балагане? Ведь завтра приезжает Иннокентий Иванович, и у нас будет репетиция!

— Я... я у них буду играть... — прошептала Клавочка. — Ну что же, я генеральской внучкой буду? Я и генералов-то живых никогда не видела. И весело с ними... Мне хорошо с ними, — уже совсем твердо сказала Клавочка.

— О, голубушка! Я понимаю, что такому молодому существу, как вы, хочется смеха, веселья, света, но вы подумайте о пропасти, на краю которой вы становитесь!..

«Действие третье, сцена седьмая!» — зло подумала Клавочка, не подымая головы.

— Я полагаю, что и Сергей Петрович не будет обрадован тем, что его дочь попадет в компанию людей самого плохого тона... Как вы считаете, Степан Савватеевич?

И Глотов, противный Глотов, от которого несло мерзким водочным перегаром, он тоже считал, что Клавочке угрожают неведомые и страшные опасности от таких, как этот Егор Кастрицын...

Какие это были тяжелые для Клавы дни! И слезы матери, и крики отца о том, что «он ничего не жалел для дочери, лишь бы в люди ее вывести»... А днем презрительное молчание Аглаи и Лебедевой, хихикающие шуточки Глотова: «Ну-с, что наша комсомолка скажет? Дуня, Дуня я, Дуня ягодка моя!»

Но все равно каждый вечер Клава бежала в клуб, в комсомольскую ячейку, репетировала дотемна, до ночи, а потом шла со всеми ребятами по темной волховстроевской улице и вместе со всеми пела старую и грозную песню:

Вот рвутся снаряды, трещат пулеметы,
Но их не боятся красные роты!

И, только подходя ближе к своему дому, чувствовала, как сжимается у нее сердце, и представляла себе умоляющие глаза мамы и крик отца...

— Что, Клава, плохо у тебя дома? — спросила ее Ксения Кузнецова. — Отец, верно, по старинке думает, что он из тебя

барышню сделает! Хоть советскую барышню, а все-таки барышню! Так, что ли?

Клава, внезапно всхлипнув, кивнула головой.

— Ну, подумаешь! Вот Юрка — тот вовсе от родителей из самого Питера убежал. А отец его знаешь кто? Какой-то профессор, а не то и поважнее кто-то... Ты это знала?

Нет, Клава этого не знала, и ей вдруг стало легче при мысли, что рывкий Юрка ради нового и веселого бросил не дощатую и уютную комнату в бараке, а столичную квартиру, полную книг и тяжелой резной мебели — такой, какая стояла в доме Бугримовых, куда Клаву один раз водили на елку...

— Ты вот что, Клавка! Надо тебе бросать свою контору! Ну что тебе целый день смотреть на крашеную Аглаю и бумажки в книжку переписывать! Давай на производство к нам!

— А куда же — на производство?

— А к монтажникам! Ведь есть закон — на всех работах брать учеников, в счет ученической брони. Я сама хотела пойти, так меня не возьмут, мало во мне грамотности. А ты вторую ступень кончила, тут они куда не денутся. С Гришкой Варенцовым поговорим, к Омuleву пойдем, надо будет — до самого Графтио дойдем, а добьемся, чтобы монтажники взяли ученицу!

У Клавы даже голова закружилась. Она сразу же увидела огромный машинный зал, разноцветные провода, множество непонятных приборов и машин, возле которых ходили люди в синих комбинезонах, строгие, недоступные, — самые главные люди сейчас на стройке... И она, Клава Попова, может быть среди них! И когда станцию построят, то после Клавиной работы не две конторские книги останутся, а могучие машины, которые она сама соберет!..

И ведь все было, как говорила Ксения! И Гриша Варенцов ходил к Омuleву, и долго за дверью рабочкома был слышен его настырный, очень убедительный и авторитетный голос... А Клава стояла у двери и непривычно для себя думала, что, если откажут, напишет в Ленинград, в Москву напишет, самому Калинину напишет. Не может такого быть, чтобы нарушали советские законы и ее, Клаву Попову, не принимали в ученики к слесарям, чтобы ее оставили на всю жизнь с Аглаей и Глотовым, оставили совбарышней, Клавочкой из обидной и справедливой песенки!..

Но, выйдя из рабочкома, Гриша так весело подмигнул Клаве, что она поняла — нет, не оставят ее с Аглаей! И правда, сам Омuleв ходил к Графтио, сам Омuleв привел ее к монтажникам и сказал:

— А вы еще жаловались — учить некого! Вот вам дивчина, вторую ступень кончила, она еще вас научит кой-чему! И помните, товарищи: первая женщина-монтажница на Вол-

ховстройке будет у вас. Только чтоб без шуточек этих всяких! И учить по-настоящему! Сам проверять буду!

И, когда Клава надела синий комбинезон и красный пла-точек и первый раз в таком виде пришла с работы на репетицию «Синей блузы», рыжий Юрка свистнул и, всплеснув руками, сказал:

— Вот так наша Клабочка! Вот тебе и юбочка недетская, барышня советская! Словесной не место кляузе! Падаю!..

А Варенцов сердито крикнул на Юру:

— Да хватит тебе спектакль устраивать! Подумаешь, не видел никогда ученицу слесаря! — И, обернувшись к Клаве, сказал ей тем самым голосом те самые слова, которые Клава так от него ждала: — Как репетиция кончится, зайди, Попова, ко мне в ячейку.

И там, в ячейке, стоя на табуретке и копаясь в шкафу с бумагами, спросил:

— А как, Клава, дома? Еще ругаются, что ты контору бросила и в слесаря ушла, с комсомольцами стала дружить?

— Еще ругаются... Только уже немножко...

— Ну, а если много будут ругаться? А не будет так, что скажут тебе: выбирай — или они, или мы!.. Что ты тогда выберешь?

— Так я уже выбрала...

— Насовсем?

— Насовсем.

— На всю жизнь?

— На всю жизнь.

Варенцов неуклюже спрыгнул с табуретки на пол. Он сел на табуретку, весь повернулся к Клаве, лицо его стало серьезным и хорошим и таким красивым, каким его никогда Клава раньше не видела.

— Ну, если на всю жизнь, тогда вступай в комсомол. И я тебе рекомендацию дам, и Ксения тебе даст, да любой из наших комсомольцев за тебя сейчас поручится... Только запомни, Клава: становишься комсомолкой, коммунистом, зна-чит... И это уже на всю жизнь!

Семнадцать метров в секунду

На пороге ночи

— Ну, вот и все твое хозяйство... Дело, видишь, не хитрое, но серьезное. Ты, Семен, не сторож, а часовой, даже побольше... Только помни: записывать надо аккуратно каждый час. Как дойдет до отметки четыре с половиной — замеряй каждые полчаса.

— Василий Иванович! А когда опасно будет?

— Как дойдет до отметки пять метров — дело пахнет керосином... Да до утра, думаю, не дойдет! Ну, а если что — стучи в рельс... Посылай за мной, за Кандаловым, вообще — распоряжайся! Ты же парень бедовый! С попами и богородицей справился, неужто реку не одолеешь! Стало быть, я пошел, а ты командуй. Пока!

Сеня Соковнин посмотрел вслед начальнику работ Пуговкину и, когда коренастая фигура его растворилась в темноте, повернулся к своему хозяйству. Оно действительно было несложным: в сбитой из досок будочке на неотесанном столике лежали журнал, карандаш и стоял зажженный фонарь «летучая мышь» — на случай, если с электричеством что случится. Самый главный инструмент был привязан шнурком к пуговице и лежал в кармане куртки — часы... Сеня их вынимал поминутно. Первый раз в жизни он держал в руках часы, и их тиканье, спокойное и неторопливое, его успокаивало.

Семен вышел из будочки и зажмурился от резкого, ледяного ветра, дувшего с Ладоги. По шатким мосткам он подошел к мерной рейке, укрепленной к крайнему рязу, и, хотя только

что с начальником работ был здесь, снова посмотрел: вода стояла на отметке 3,4... А в журнале они только что вписали первую запись — 3,3... Новая Сенина работа называлась «водомерный пост». В конторе старший делопроизводитель Готов пренебрежительно сказал: «Что ж тебя, такого героя, из рабочих в сторожа производят? И заработок на полтора червонца меньше... Ты потом в контору жаловаться не приходи! По своей воле...» Но от слов Глотова радостно-тревожное настроение Сени не испортилось. Он знал: от него и его расторопности зависит судьба всего сделанного за все эти годы... И он даже вздрогнул от страшной мысли, что река, которую они укрощали, может взбунтоваться и раскидать все — вот этот полукруг плотины, множество ряжей, ледозащитные стенки, баржи и огромное, в лесах, здание станции.

Сеня подошел к журналу и — в который уже раз! — стал его рассматривать. В толстой конторской книге, неохотно ему выданной Гловым, была только одна запись: «13 апреля 1925 года. 10 ч. 30 м. вечера. Верхняя отметка воды 3,3 метра». А теперь уже больше. Надо записывать? Нет, надо ждать!.. А осталось сколько? Сорок три минуты... Как противно ждать!..

Ночь была полна звуков, странных и тревожных. Сквозь шум ветра пробивались какие-то далекие и глухие раскаты — будто где-то гроза идет. Громко и неприятно шуршали льдинки у края ледозащитной стенки. Изредка с шумом выстрела лопалась какая-то доска.

Нет, в будке ждать еще хуже... Сеня подошел к мосткам. Под яркой электрической лампой, висевшей над мерной рейкой, был виден большой кусок ледяного поля замерзшей реки. Узенькую желтую тропку, по которой они бежали всю зиму, пересекала косая трещина. Свободное пространство чистой воды перед ряжевой перемычкой стало совсем маленьким, и было ясно, что лед надвигается на стенку незаметно, но неотвратимо — как большая стрелка на его часах. Вода подошла уже к отметке 3,6... А записывать еще рано — осталось десять минут... Семен с трудом, поминутно глядя на часы, дождался, когда они прошли, потом побежал в будку и сделал следующую запись: «11 часов 30 минут вечера. Верхняя отметка воды — 3,7 метра».

«Вот не буду, целых полчаса не буду выходить из будки», — уговаривал себя Соковнин. И выдержал, хотя это было ему очень, очень трудно. А в двенадцать часов вода стояла на 4 метрах... И никакой уже чистой воды у стенки не было. Лед подошел, уперся в стенку, и она слегка потрескивала.

Может ли понять какой-нибудь такой, как этот Готов, каково ему, Семену Соковнину, здесь одному против грозной реки? Поселок наверху спал. Сеня угадывал в темноте квадраты

окон, за которыми были ночной покой, тепло... Все спят, и никто не знает, что ему, Сене, предстоит решать: быть тревоге, шуму — вызывать их всех, будить этих спящих людей или оставить их и дальше спать спокойно... Каждые несколько минут Соковнин бежал на мостки. 3,81... 3,87... 3,94... Теперь надобно записывать каждые полчаса... Эх, надо бы чаще — как же Василий Иванович так спокойно отнесся к этой реке! Уже четвертая запись — 4,23...

Река больше не притворялась. Она трещала и гудела. Она уже набрала силы и примерялась, как ей лучше сокрушить вставшую на пути преграду. Доски теперь лопались оглушительно каждую минуту, и, хотя Семен знал, что за ними — толстые бревна ряжей, набитые землей и щебнем, все равно было страшно. Наверно, как в бою... А вода неумолимо ползет вверх. 4,40... 4,52... 4,61... 4,70...

Уже рассветало. Теперь Сеня бегал в будку только каждые полчаса, чтобы застывшими, непослушными пальцами записывать цифры, становившиеся все более и более тревожными. Он не сходил с дрожащих под ним мостков, и в сером, неуверенном свете раннего утра не сводил глаз с реки. Лед на ней почернел и вздулся. И широкая дорога, шедшая через нее, и множество желтых троп, проложенных мальчишками, были перерезаны, сдвинуты... У ряжевой стенки льды налезали друг на друга. Они ползли вверх с шумом, уверенные в своей силе. От ледозащитных бычков, совсем недавно поставленных, к берегу шли толстые смолистые канаты. Некоторые из них были накрепко привязаны к стволам редких сосен, некоторые уходили в землю — к закопанным толстым бревнам, которые назывались страшно и похоже — мертвяки...

Сеня опасно потрогал канаты — они стали похожи на железные балки...

Вдруг странный звук раздался совсем неподалеку от Семена, где-то внизу, в земле. Сеня обернулся и увидел, как медленно, в нескольких саженях от него, там, где уходил в землю канат, начинает вспухать земля. Она подымалась горбом, сама по себе, как будто из могилы, как в страшной книге, сейчас встанет мертвец... И потом из этой разверзшейся на глазах у Сени могилы с оглушительным воем вылетело что-то огромное, черное... Вылетело и трахнулось в лед у самого берега... И сейчас же с грохотом пушечного выстрела лопнул, как будто его топором перерубили, рядом канат. Мостки под Сеней заколыхало, и он совершенно явственно увидел, как дрогнул соседний ряж, как выскакивают из пазов бревна и с щорохом стала сыпаться земля...

Дело пахнет керосином

Соковнин подбежал к рейке. 4,92... Вот оно, начинается! Скользя по глинистой тропке, Сеня подбежал к висевшему на дереве рельсу. Он схватил еще с вечера приготовленный большой болт, и гулкие, тревожные звуки развеяли его тревогу и неуверенность. Сверху кто-то незнакомый скатился:

— Чего такое? Что, стенку рвет? Ух ты, что делается! Давай беги за Пуговкиным, за Кандаловым! Зови всех!

Но Пуговкина уже не надо было звать. Он бежал к берегу — свежий, не сонный, будто был здесь рядом, за кустами и только дожидался, чтобы его вызвал Соковнин.

— Дело пахнет керосином, Василий Иванович! Мертвяки летают! И вот тот ряд подался! А вон видите — лед-то, лед сейчас через плотину ползет!..

— Это пусть лезет... Бей, бей в рельс, не жалея его!.. А ты давай в контору! Скажешь — вчерашняя разнарядка отменяется. Все артели сюда. Пусть позвонят на конный двор — всех грабарей на берег, к плотине! И пусть берут со склада все, что есть, — кирки, лопаты. Макеича, взрывника, разыскать — и ко мне сюда! А ты, Семен, — на пост! Что бы тут ни было — каждые пятнадцать минут записывай подъем воды. Вот это твоё дело, в другие не лезь!

Пуговкин распоряжался спокойно, уверенно. И от этого у Сени стала проходить бившая его дрожь. Он вернулся в свою будочку, которая уже была набита людьми. В одно мгновение все изменилось на только что одиноком, пустынном берегу, где был он, Сеня, один на один с рекой... 5,18... 5,23... Ого! 5,30... Лезет, лезет! Волхов идет на штурм плотины!

Но теперь против Волхова стоял уже не один Семен Соковнин — теперь с ним были все, вся Волховстройка! Бежали вниз десятки, сотни людей. Бежали плотники, плитоломы, грабари, монтажники, бетонщики, такелажники, взрывники, бежали слесаря, бежали пожарники и конторские, бежали все, все, кто строил эту станцию... Наверху и внизу было черно от людей. Лошади, храпя и оседая на задние ноги, свозили грабарки, куда были кинуты инструменты, канаты, тачки. Кандалов в своей застегнутой наглухо инженерской куртке, в инженерской фуражке расставлял людей на места работы. Рыжий экскаваторщик Юра Кастрицын уже бил киркой по каменной земле и пронзительно кричал ребятам из ячейки:

— Давай, давай, словесной не место кляузе! Бей сильней!

Стоя у своей будки, Семен мог видеть всю картину сражения людей со взбесившейся рекой. Ожесточенно копали землю и укладывали в глубокие ямы мертвяки, обмотанные канатами; по доскам, уложенным поверх ряжей, тачками возили и ссыпали

щебень и землю: плотники сбивали толстые четырехбрусенные бобы.

— Смотри, отчаянные какие! По льду бегут! Сейчас ухнут!

Две черные фигурки, перескакивая через трещины, бежали по реке. По подпрыгивающей походке того, что был пониже, Сенька узнал Гришку Варенцова. Взрывать будут!.. Взрывники остановились посредине ледяного поля. Гришка опустил на лед маленький ящик и вместе с товарищем — Макеич это, что ли? — стал долбить лед пешней. Даже издали было видно, как летят брызги льда... Вот они наклонились, уложили ящик, протянули к нему что-то длинное и побежали назад. У берега Макеич остановился, нагнулся, а потом взрывники полезли в гору. Через несколько минут ухнуло, столб мелкого льда и воды поднялся вверх. Даже до Семена долетели брызги. Ледяное поле вокруг места взрыва пошло трещинами, как оконное стекло, когда в него с силой кинули камень...

Но ничего не изменилось. По-прежнему вся неподвижная, нетронутая масса льда упорно, всей своей чудовищной силой жала на плотину. Сеня исписывал третью страницу журнала: 5,62... 5,84... 5,90... 6,07... Теперь река уже не издавала отдельных тревожных звуки. Она ревела, стонала, трещала... Через водосброс она свергалась вниз водопадом, рассыпалась желтым кружевом, подымалась вверх плотным туманом брызг... Лыдины вздыбливались друг на друга, они отрывались от массы льда и переползали через плотину, срывая доски и бревна, сгибая защитные железные балки... Уже несколько бычков ледозащитной стенки были сдвинуты со своих мест, накренились, вот-вот они рухнут, и вода со льдом их сомнет, кинет вниз, разделается с ними со всей своей яростью и жестокостью... И Семену уже нечего было делать. Водомерная рейка ушла вся под воду, торчал лишь никому не нужный ее кончик, и никому уже не нужны были Сенькины записи, и его работа, такая прежде важная и нужная, стала казаться ему бесцельной.

Выдержит или не выдержит? Наверно, об этом думали и те, кто были только зрителями, стояли наверху, на высоком берегу. Среди множества женщин и детей, сбившихся плотной толпой, выделялось несколько человек, одетых не по-нашему, в аккуратненьких костюмах, светлых плащах, при галстуках... Это шведы... Совсем недавно они приехали монтировать машины и вот вышли из чистенького и уютного домика, специально для них построенного, и пришли смотреть: справятся большевики или же не справятся? А рядом стоит этот гад, Готов, в своем френче и размахивает руками, как будто он по-шведски умеет!

Так что ж, ему, комсомольцу Семену Соковину, теперь быть с ними, со шведами, с Готовым, с женщинами да пацанами! Стоять у своей никому не нужной будки да глазеть, как его

товарищи, мокрые и грязные, с рекой воюют! Сеня вбежал в будку, подвел под своими записями жирную черту, захлопнул журнал и спрятал в углу под столиком. Потом подумал мгновение, вынул из кармана часы, в последний раз приложил их к уху, наслаждался тиканьем и положил часы на журнал. Он еще раз оглянулся, увидел, что продолжает гореть фонарь, дунул на него и решительно выбежал из будки.

«К ребятам побегу мертвяки закапывать»,— решил было Семен. Но не успел. Первым, кого он увидел, был Пуговкин, который призывно махнул ему рукой.

— Сюда, Семен! А ну-ка, беги как можешь быстрее в контору, там Кандалов, спроси — разыскал ли он Графтио и разрешает ли он опускать щиты... И сейчас же назад! Как на салках!

Когда Семен добежал до конторы, у него выскакивало сердце, он задышался, в глазах потемнело. В почти пустой конторе несколько женщин на него зашикали:

— Да тише! Не кричи! Иннокентий Иванович с Питером разговаривает...

Дверь в кабинет Графтио была открыта, и Сеня — впервые и без всякого разрешения — вбежал туда. У стены, около большого деревянного телефона, стоял Кандалов и кричал в телефонную трубку:

— Не пойму... Не слышу!.. Барышня, соедините меня снова с Ленинградом!..— Он начинал отчаянно вертеть ручку сбоку.— Генрих Осипович, я вас снова слышу! Говорите!.. Да, вода на предельной отметке... Крайние рязи правого берега сдвинуты, но держатся. Сломано два бычка. Плотина в порядке, но балки перекрытия деформируются! Василий Иванович предлагает перекрыть водоспуск, чтобы поднять уровень, сломать поле и пропустить лед поверху... Нет, не знаю! Да это мы замерим!.. Щиты в готовности! Буду звонить через час...

Кандалов оторвался от телефона, перевел дух и только теперь увидел Соковнина.

— Василий Иванович велел спросить...

— Да, да... Беги назад, скажи Пуговкину, что Графтио приказал сначала замерить скорость движения воды... Если есть пятнадцать метров в секунду — опускать щиты Стоunea. Если меньше — ждать! Через час Графтио снова будет на проводе. Я сейчас тоже иду...

Расталкивая зевак, Семен по скользкой тропинке скатывался вниз к реке. Он проскользнул между лопатавшими по-своему шведами, грубо толкнул локтем Глотова — ух, паразит! Нет того, чтобы за кирку взяться! — и мгновенно ра-

зыскал Пуговкина. Тот заставил его два раза пересказать, что говорил Кандалов, и сказал:

— Пошли со мной! Эй, Семен Петрович! Давайте сюда вертушку!

Они побежали к плотине. Кто-то сунул Пуговкину палку, на конце которой была почти игрушечная штука: загнутые металлические лопасти были насажены на стержень, на верхнем конце — циферблат, как на Сенькиных часах... Почти такие же вертушки они в деревне делали из дерева и играли в мельницы... Пуговкин передал Сене эту игрушку, и он стал пробираться за начальником работ по гребню плотины.

Вот где было страшно! Только отсюда, сверху, становилось видно, какая невероятная сила в этой реке! Безбрежное ледяное поле напирало на плотину, и Сеня всем телом чувствовал, как она трясется под ударами льдин, как непрочны все содеянное людьми перед громадой воды и льда... Но думать об этом было некогда. Пуговкин смело перепрыгивал через покореженные доски, гнутую арматуру, через быстрые потоки воды, прорывающиеся там, где льдины особенно высоко вздыбились.

Пуговкин остановился перед самым большим потоком, он стал на четвереньки и осторожно сунул в воду нехитрую свою игрушку. Он двигал ее то ближе, то дальше, всматриваясь в циферблат.

— Ох, стар становлюсь, глаза надо менять!.. Сеня, гляди, где стрелка! Гляди внимательно, без выдумки!

Но Семену не надо было ничего выдумывать. Он совершенно отчетливо видел, что каждый раз, когда вертушка опускалась в воду, стрелка сразу же резко подавалась направо и оставалась около цифры «17».

— Семнадцать, Василий Иванович!

— Ну, семнадцать так семнадцать! Теперь уже не имеет значения! Держи вертушку и давай вертаться! Да осторожно ставь ноги, раззява! Нырнешь рыбкай вниз — тебя все пожарники в округе не сыщут!

Да нет, Сеня совершенно не боялся, и слова Василия Ивановича его не испугали. И только по почтительно-удивленным глазам людей, стоявших на берегу, по тому, как предупредительно протягивали им руки, когда они сходили с плотины, Соковнин догадался, что все же не простое это дело — бегать по плотине сейчас...

Уже не спрашивая начальника, Сеня побежал вслед за Пуговкиным к водосбросу. У его могучих бетонных стен, возле железных ворот, стояли инженеры, рабочие, курил папиросу невозмутимый Кандалов.

— Ну как? Семнадцать метров в секунду? Больше ждать нельзя ни одной минуты! Опускайте щиты Стоннея!..

Щиты Стоннея — это огромные, толстые стальные ворота.

Почему они так не по-русски называются, непонятно. Их делали не в какой-нибудь Швеции, а в Питере, привезли сюда, и Сеня не однажды бегал смотреть, как эти железные громады устанавливаются на каких-то особых цепях, как ловко они ходят в стальных пазах бетонных стенок.

Рабочие бросились к огромным колесам с железными ручками и завертели их. Створки стали сдвигаться и опускаться туда, вниз, к водяному потоку, желтому кипению... Вот они уже достигли воды, с силой раздвигают ее, перекрывают водопад, сразу же ставший бессильным, маленьким. Щиты опущены, и только жалкие ручейки воды, текущие вниз по черному железу, напоминают о том буйстве, что было здесь всего лишь несколько минут назад.

Что будет дальше? Вода поднималась быстро, это можно было видеть по тому, как люди отбегали от берега. Они тащили вверх канаты, инструменты, какие-то доски, а вода шла за ними, настигала, хватала за ноги, кружилась в затапливаемых кустах, забирала брошенные бревна, щепки, забытую лодку... Теперь уже все на берегу были только публикой, только зрителями. И Сеня вместе с ними стоял, ничего не делал, не отводил глаз от того, что творилось на реке.

Вот где было буйство! Льды у самой плотины ломались, взбирались друг на друга. Они переползали через плотину и со страшным шумом рушились вниз, срывая бревна, доски, щебень... Толстые бревна ломались, как спички, их подбрасывало вверх, потом они беззвучно падали в хаос льда и воды... Выдержит или снесет?!

Вдруг раздался такой треск, что на какое-то мгновение он заглушил все другие страшные шумы. Ледяное поле разломалось на несколько огромных кусков. Оно двинулось на плотину, нависло над ее гребнем и стало рушиться вниз с грохотом, который, казалось, в самом Питере можно было услышать...

— Пошла! Пошла! — отчаянно кричали вокруг Семена.

И он кричал вместе с ними. Кричал, крепко вцепившись в чей-то рукав. И только через несколько минут увидел, что это рукав начальника работ, что рядом с ним стоит Пуговкин и так же, как он, как другие, кричит:

— Пошла! Пошла!..

Потом Пуговкин всмотрелся в Соковнина и, ничему не удивляясь, спокойно, как будто на собрании в клубе, сказал:

— Вот так-то, брат Семен! Однако надо посмотреть, что же там, на плотине, делается... А? И как же нам это сделать? Пролететь над рекой как?

— Аэроплан из Питера, Василий Иванович!

— Ха! Что придумал! Зачем нам питерский аэроплан? У нас свой, волховстроевский, найдется! Пролетим не хуже, чем на питерском!..

И, расталкивая людей, Пуговкин зашагал в сторону. Не раздумывая, Сеня двинулся за ним. Как же он, все здесь знавший, не пропустивший ничего интересного, что делалось на стройке, не знал, что под боком у него есть настоящий, свой, волховстроевский, аэроплан! И где же начальники его ловко так прятали, что ни он и никто из ребят-комсомольцев про это не знали? В позапрошлом году, когда они ходили по улицам поселка и кричали «Керзону лорду — в морду», они собирали деньги на Доброфлот, на советские самолеты... Может, на эти деньги и построили свой, волховский, самолет да и спрятали его так надежно, что никто про это не узнал?.. И где же тут у них настоящий аэродром и эти... ну, где аэропланы стоят... ангары?..

Над рекой

Но Пуговкин шагал не к спрятанным где-то ангарам, а просто шел к бетонному заводу. По дороге он взял за рукав Кандалова, что-то ему сказал, и вот уже они шли вдвоем, а Сенька как привязанный шел позади. Бетонный завод стоял не у самой воды, а приткнулся к высокому гористому берегу. Около его зданий и высокой башни, засыпанных цементной пылью, вросли в землю толстые железные опоры канатной дороги. Отсюда вагонетки с бетоном скользили на колесиках по толстому тросу, они бежали через всю реку и по невидимой и неслышной команде останавливались на нужном месте, опускались вниз и вываливали свой груз в тело плотины. Десятки раз Семен, один и с ребятами, прибегал на берег глядеть, как красиво летят вагонетки через реку, как гудят натянутые тросы, и всегда ему приходила в голову сладкая и страшная мысль — вот покататься бы!..

И вдруг Сеня сразу же догадался: вот он, этот волховстроевский аэроплан! Полетит Василий Иванович! Сядет в вагонетку и полетит через всю реку, и все увидит, как на аэроплане... нет, даже лучше — ведь никакой аэроплан не может остановиться посреди реки, чтобы можно было разглядеть, что там, на плотине, делается!

А Пуговкин уже толковал с мастером канатной дороги и сердито ему говорил:

— Да знаю, знаю, что не полагается... И что ты начальник, тоже знаю... Так ведь и я тут, на Волховстройке, не подсобник! Так что снаряжай, брат, вагонетку... Кстати, и безопасность, про которую ты толкуешь, проверим... Подавай свой шарaban!

Рабочие подкатили вагонетку. Железные борта ее были облеплены застывшим бетоном, и была она совсем не такой нарядной и легкой, какой казалась снизу, когда смотришь на

нее плывущую в синеве неба... Кандалов взял Василия Ивановича за руку, отвел в сторону и начал что-то ему горячо доказывать. Пуговкин досадливо отмахивался...

— Да нет, Иннокентий Иванович! Нечего нам вдвоем там делать! Ничего не случится, пустяки это, а все же одному из нас надобно быть внизу. Вдруг застрянет вагонетка, и будем мы болтаться час-два, как обезьяна на проволоке... А на берегу кто распоряжаться будет? Ну, еще кого-нибудь возьму!

Подхваченный дрожью необыкновенного, что сейчас может с ним случиться, Семен подбежал к Пуговкину:

— Я, Василий Иванович, я... Я полечу! Возьмите меня, Василий Иванович!

— Ха! Не отстал, значит, от меня Соковнин!.. Прямо как адъютант!.. Не боишься, значит? Правильно, и не надо бояться техники! Вот, Иннокентий Иванович, возьму с собой Соковнина. Человек испытанный, известный богоборец, специалист по небесам... Мне с ним нигде страшно не будет!.. Ну, Сеня, залазь в карету!

Пуговкин и Семен перелезли через борт и очутились в вагонетке. Ничем она не напоминала карету, была грязная, скользкая и совсем не солидная. И она противно раскачивалась на весу, и легкая тошнота подступала к Сенькиному горлу, и сердце его стремительно стало со своего места уходить книзу...

— Пускай!

Что-то щелкнуло, вагонетка подумала мгновение и медленно покатила по тросу. Земля, только что бывшая здесь, под ногами, стала уплывать, и вот уже внизу, под ними, и Кандалов, и мастер, и рабочие... Они пролетают над толпой людей, задрывших к ним вверх головы, позади остается берег, заливаемый пенистой водой, и уже под ними широченная река, по которой несутся льдины, куски досок, бревна, кучи навоза, опрокинутые лодки, какие-то сорванные ворота... Все это несло стремительно, мелькало в глазах, и все рушилось через плотину.

Пуговкин и Сеня сидели на корточках, вцепившись в борта вагонетки, которая раскачивалась из стороны в сторону. Наверху свистели колесики, и этот свист был слышен, несмотря на рев воды, треск ломаемых бревен, громовое уханье падающих с плотины льдин. На самой середине реки вагонетка дрогнула, остановилась и начала, как показалось Семену, падать вниз... Сеня оторвал руку от борта вагонетки и вцепился в куртку Пуговкина... Тот понимающе взглянул на Семена, наклонился к нему и, перекрывая грохот половодья, крикнул:

— Ничего, ничего, Семен! Мы сильнее! Ты гляди — стоит, голубка! Ничего с ней река сделать не может!

Вот здесь, над самой плотиной, было видно, что яростный Волхов действительно ничего не может сделать с плотиной.

Через ее гребень неслась масса воды и льда. Время от времени какая-нибудь большая льдина срывала несколько бревен, в кипении пены была видна изогнутая железная балка. Но тело плотины стояло твердо и непоколебимо. Она была построена на века, и не было на свете такой силы, что могла бы убрать с дороги реки вот это — сделанное ими всеми, волховстроевцами... Вот так на них насакивают белые, капиталисты, с таким же ожесточением бьют они в плотину Советской власти, и так же ничего у них не получается, так же в бессильной злобе разбиваются они о сталь и бетон и со скрежетом падают вниз, в реку, уносящую их куда-то далеко, навсегда...

— Василий Иванович! Как на войне!..

— Война и есть, Сенечка! «Так громче, музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, бежит, бежит...» — вдруг неожиданно запел Пуговкин.

— «Так за Совет Народных Комиссаров мы грянем громкое ура, ура, ура!..» — подхватил Семен.

Вагонетка уже катилась назад, к толпе товарищей, друзей, подбрасывающих вверх шапки, пританцовывающих, орущих... А старый инженер Василий Иванович Пуговкин и молоденький комсомолец Семен Соковнин, сидя на корточках в грязной, раскачивающейся вагонетке, не пели — кричали ту самую, старую боевую:

И враг бежит, бежит, бежит!..

Ближкие холмы

Стенка

— Бе-е-е-й!

— Лупи гужеедов! Гони их в реку!

— Евсейка! Круши! Бей в печенку! Смотри, слева заходят!..

Прижавшись к саням, Миша и Роман смотрели на редкостную драку. И у них, на Волховстройке, хватало потасовок, не раз им приходилось расталкивать подравшихся парней, заламывать руки за спину гастролерам с Лиговки. Но здесь происходило что-то совсем другое.

На широкой заснеженной поляне у самого въезда в деревню с криком, воем, гиканьем билось десятка три людей. Это были ребята разных возрастов — у некоторых усы уже чернели, другие вовсе выглядели мальцами. Две шеренги драчунов сходились, загибались, снова расходились... Дрались всерьез: озверело блестели глаза, яростно закушены губы. Кровь из расквашенных носов заливала лица и делала их страшными. Между дерущимися парнями бесстрашно с визгом бегали совсем малые дети. А поодаль стояла густая толпа — чуть ли не вся деревня сбежалась. Мужики поощрительно орали, позади них женщины сочувственно всплескивали руками и зажимуривались при ожесточенной схватке.

Возница, привезший Михаила и Романа из Дальних Холмов, от них сбежал. Его старая буденовка мелькала в толпе дерущихся. Миша опасливо посмотрел на заботливо увязанные ящики с волшебным фонарем и связки книг: как все это спасти, если драка докатится до них?..

— Ромка! Это что, всплеск классовой борьбы? И какую позицию должны занять мы — представители пролетариата?

— Это всплеск дурачества. И называется это — стенка. К какой бы стороне мы ни примкнули — будем дураками и получим по шее...

— Значит, вроде кулачных боев на Москве-реке при Иване Васильевиче? Кирибейч, Калашников...

— Ага. Как при царе Горохе... Только тогда комсомольцев не было. А тут ведь есть... В укоме сказали — одна из активнейших ячеек. Уж куда активнее...

Странно завершалась поездка Михаила Дайлера и Романа Липатова. Когда в ячейке у них решалось, над какой деревней будут шефствовать волховстроевские комсомольцы, уком предложил деревню далекую, верст сорок от станции, деревню большую, но зато с настоящей, активной, здорово работающей комсомольской ячейкой... Таких ячеек на селе раз, два — и обчелся. Вот в Далеких Холмах, хоть и ближе эта деревня к Званке, — там до сих пор нет комсомольской ячейки. А в Близких Холмах — пусть и в глубинке, а ячейка есть, и клуб настоящий, и антирелигиозная работа на ять!

Знакомство Миши Дайлера с сельской жизнью было небогатым. Бурная жизнь московского комсомольца иногда заносила его в места, называвшиеся селами. Село Алексеевское, село Черкизовское... Но села эти были обыкновенными деревянными улицами окраинной Москвы, и только палисадники, где буйно росли мальвы и крупноголовые подсолнухи, немного напоминали о деревенском происхождении этих улиц. В Близкие Холмы Дайлер попал не случайно. На Волховстройке Миша считался крупнейшим специалистом по политмассовой работе. И юнсекция в волховстроевском клубе была делом рук Миши, и ни одна политлотерея, ни один вечер вопросов и ответов не обходился без Мишиного участия. Даже всезнающий Юрка Кастрицын никогда не мог обогнать в политтире дотошного Мишу, которому ничего не стоило назвать всех членов группы «Освобождения труда», объяснить, что это за уклон — «Дунаевщина», а о разных Штреземанах, Брианах и Макдональдах рассказывать так, как будто это хулиганы с Нижних Котлов, с которыми они схватывались на Серпуховке, у кинотеатра «Великан». Когда их на бюро выделяли, ехидный Юра спросил: «Миш, а ты не скажешь, там что, булки на дереве растут?» Варенцов грозно покосился на рыжие лохмы Кастрицына и пробормотал, что, дескать, и Юрка больше знает про прерии и саванны, чем про поля и огороды... Конечно, честно говоря, Миша рожь от пшеницы может отличить только в выпеченном хлебе. Но зато второй посланец ячейки Роман Липатов — сам из ярославской деревни и до того, как стать плотником и уйти на далекую стройку, вел хозяйство в деревне не хуже других.

К первой поездке в подшефную деревню волховстроевские комсомольцы готовились тщательно. Насобирали книг, пионеры изготовили два десятка красных галстуков для будущего отряда, Миша съездил в Питер и под поручительство рабочкома получил на прокат волшебный фонарь и серию туманных картин «Кровавое воскресенье — 9-е Января». За один день не добрались, заночевали в Далеких Холмах. Председатель сельсовета с трудом — крещение ведь! — достал возчика. Правда, когда его Ромка спросил, почему ребят не видно, сказал, что, наверное, пошли в Близкие. А на вопрос: «В клуб к ребятам?» — как-то странно посмотрел и утвердительно хмыкнул...

И вот они на месте, в деревне Близкие Холмы, где должны — как это им казалось — встретить веселых комсомольцев с гармошкой, бойких девчат в расписных платках... Про такую встречу им и не думалось...

А сражение подходило к концу. Перевес явно клонился в сторону ближнехолмцев. Подбадриваемые криками односельчан, они обходили противника, теснили его к краю поля, пока парни не смешались и не пустились вдруг бежать вниз к реке. За ними неслось улюлюканье толпы. Несколько малышей в огромных валенках бежали за побежденными, провожая их обидными словами. Победители, сбившись в кучу, приводили себя в порядок и оживленно обсуждали подробности боя.

К саням подбежал возница, вытирая буденовкой лицо.

— Эх, промашка вышла... Не знали ребята, что Евсейка из города вернулся. А против него одного нужно парней пять...

— А из-за чего дрались-то? И кто дрался?

— Ну, дрались наши, с Дальних Холмов... Здешние ребята гордые, шибко образованные, клуб у них и все такое — не пускают наших на посиделки. Вот и решили схлестнуться, все одно — крещение, вроде как бы и положено... Про Евсейку-то не спознались, что возвратился... Ну, куда везти вас, вона и идут к вам...

К волховстроевцам подошло несколько человек. Это были молодые ребята, у которых еще не прошло оживление боя. Зато на главном из них никаких следов участия в драке не было. А что он главный — чувствовалось во всем. И в ладной бекеше, перешитой по фигуре, и в новых валенках, а самое главное — в зеленой папке из дивного сафьяна, на которой была вытеснена золотая лира и нерусскими буквами написано: «Мюзик»... Он решительно подошел к саням, вопросительно взглянул на приезжих и произнес:

— С кем имею честь?

— Мы с Волховстройки, — медленно ответил Роман. — Приехали к вам как шефы...

— Очень приятно познакомиться. Заведующий ближнехолмским опорным сельским клубом Твердислав Макаров.

— Что же это у вас такое тут было?

— Ну, невежество полное и влияние опиума по случаю святого крещенья. Делаешь, для них, халдеев, все, последние силы кладешь на культуру, а в клуб их гнать палкой надобно. Вот как на кулачки — они тут как тут! А ведь еще Карл Маркс говорил — ученье свет, а неученье тьма...

— Наверное, трудно вам, марксистам, здесь? — сочувственно спросил Миша.

— Ах, не говорите, дорогие товарищи шефы! Уж до чего с ними трудно — это сказать невозможно!

Деревенские ребята поперхнулись от хохота. Они бесцеремонно хватали заведующего опорным клубом за красивую бекешу, толкали его и со смехом кричали:

— Ох, Славка — артист! Ну, представляет!..

Как видно, деятель со столь странным именем был не самым авторитетным человеком на селе. Он покраснел, подобрал свою сафьяновую папку и сердито сказал:

— Вот, товарищи шефы, видите, что за народ, на кого силы тратим! Поедьте в клуб.

По времени полагалось быть злым крещенским морозам, но день был светлый, теплый, какой бывает в самом начале марта. Полураздетые ребятишки выбегали из домов, в которых шло деревенское веселье. Девушки в оранжевых овчинных шубах провожали глазами незнакомых, городского вида ребят.

Клуб помещался в длинном и приземистом кирпичном доме. Когда-то его построил созревающий деревенский капиталист для веревочной фабрики. Но революция так и не дала ему созреть, и нелепый нежилой дом приспособили под клуб. Кирпичная нештукатуренная печь, приткнувшаяся в углу несоразмерно вытянутого зала, не могла согреть эту махину. Клуб просмерз до того, что внутри его кирпичные стены покрывал толстый и пушистый слой инея. О том, что здесь клуб, можно было догадаться только потому, что в одном конце зала был небольшой помост с неожиданно высокой суфлерской будкой. Да еще на стенах висели написанные на узких кусках обоев лозунги, озадачившие даже все выдавшего Мишу Дайлера. На одном плакате говорилось категорически: «Хлеб-соль ешь, а политграмоту режь!»

А другой советовал: «Чем грызть подсолнухи в клубе от скуки, грызите зубами гранит науки!» Очевидно, скуки в клубе было немало, потому что возле печки, у сдвинутых неоструганных скамеек, лежала волнами шелуха подсолнухов.

Деревенские ребята в клуб не пошли. Макаров и возница помогли Дайлеру и Липатову занести книги, волшебный фонарь. Заведующий клубом осторожно снял свою бекешу, принес дрова и неожиданно ловко разжег печку. Роман достал из

кармана пачку папирос, закурил и вытянул к огню промерзшие ноги.

— Значит, так, товарищ Макаров... Тебя как звать?

— Твердислав Родионович. Ну тут, в деревне, конечно, попросту зовут — Славой...

— Комсомолец?

— Ответственный секретарь ячейки, начальник антирелигиозной дружины, депутат Всеуездной конференции комсомола... Ну еще много другого приходится делать. Деревня! Вы, товарищи, люди городские, заводской промышленный пролетариат и про нашу жизнь понятия не имеете. А что такое деревенская жизнь? Как правильно сказал Карл Маркс — полное идиотство и ничего больше! Ни тебе кинотеатра, ни оперы, на политзанятия комсомольцев палкой надо гнать. Устроил политпосиделки, а нет — все равно прутся к Зотихе на эти, на необразованные посиделки... И все одному приходится, ни от кого никакой помощи!

— Как же это вот никакой? У тебя есть ячейка целая, есть бюро ячейки... Комсомольцев-то много вас?

— Э, так штук десять, пожалуй, есть... Ну, да что там за комсомольцы, что там за бюро! Видите ли, дорогие товарищи, я хоша и родом из деревни, но уже, значит, переварился: в Тихвине служил, курсы даже политические кончал — мы с вами представители передового класса и глаза наши все в светлом будущем... А они, эти ребята, народ вовсе темный и деревенский... Уткнулись в свой навоз носом и никуда! Я их в антирелигиозную дружину, я их в политлото, я их на вечер вопросов и ответов! А они все обо одном: трехполка, многополка, плуг, борона, жнейка, лобогрейка, тьфу! Все о хозяйстве своем пекутся! А что такое хозяйство? Как говорил Карл Маркс — мелкобуржуазный капитализм, и ничего больше... Вот и приходится опираться на сознательных беспартийных товарищей. Которые на хозяйство плевать хотели, а больше агитацией интересуются.

— А кто же это такие?

— Ну, хотя бы товарищ Суходолин Евсей... Хотя он на Званке больше бывает, а тут очень помогает. Да и другие есть.

— Это который же Евсей? Кулачный боец, что сейчас разогнал ребят из Дальних Холмов?

— Так там все беспартийные! Думают, что если крещение, так тут можно пожить на дармовщинку... Как посиделки — они тут как тут. Деревенщина! Ну да сами увидите... Так куда же вас поместить? А если в сельсовет?..

— Слушай, Слава! — прервал Макарова Миша Дайлер. — Ты, я вижу, выдающийся марксист-аграрник. Так скажи, друг: если с помощью Евсейки и других сознательных товарищей мы отвернем крестьян от сельского хозяйства и других признаков

мелкобуржуазного капитализма, то что же вы жрать будете? Ну вы еще семечками прокормитесь, а рабочие что же? Они откуда возьмут?

— М-м... Так ведь в светлом будущем не будет такой темноты... Все будут сознательные и при помощи высокопроизводительной техники, как говорил Карл Маркс...

— Ладно! Хватит вам тут теории разводить и дискуссии устраивать! — Липатов решительно встал.— До вечера еще далеко, будет видно, где ночевать, не пропадем! Давай все оставим здесь, пойдем на улицу, с ребятами встретимся и познакомимся. Пошли, что ли...

На улице послеобеденное праздничное гулянье было в самом разгаре. Отдельными стайками шли пестро и разно одетые парни и девчата в больших цветных платках. В конце деревенского порядка, у красной кирпичной церкви, слышна была гармошка. Раскрасневшиеся мужики, обутые в красивые, расписные валенки, стояли у своих домов и с интересом смотрели на появившихся в деревне незнакомых людей.

На Мишу, Романа и шедшего впереди них Твердислава Макарова с сафьяновой музыкальной папкой под мышкой еще больше внимания обращали деревенские девчата. Они смеялись и перешептывались, то и дело прыская в углы своих цветастых платков. Девушка в плисовом жакете и подшитых валенках обернулась к ребятам и, стыдливо полузакрывшись платком, жалостливо сказала нараспев:

— Что же ты, Славка, меня, бедную, бросил? Перестал меня охватывать, на лото политическое звать? Аль любить перестал? А еще Карлом Марксом божился... Хоть городских-то постыдился...

Твердислав побледнел от злости:

— Ох и трепуха ты, Дарья! Идешь на поводу у отсталых элементов! Только и занимаешься тем, что льешь воду на ихнюю мельницу!

Девчата дружно захохотали. Дарья, горестно разводя руками, запела высоким голосом:

Мой миленок комсомолец,
А я беспартийная.
Потому любовь у нас
Такая канительная...

— Видели, товарищи, как приходится вести политическую работу? В каких кошмарных условиях!..

Все ребята при работе,
Мой миленок — депутат,
Все ребята как ребята,
Мой миленок ходит так,—

разливалась несознательная и неохваченная Дарья.

Она бросила петь и, давась от хохота, начала кричать Макарову:

— Нет, ты расскажи городским-то, как мы деньги на политику зарабатывали... А? Как вы там по избам голосили: «Дева днесь присушественного рождает и земли вертеп неприступному при-и-и-но-сит!..»

Девушки дружно подхватили:

— «Христос с неба зрищите, сла-а-авь-те!..»

— Про что это они? — мрачно спросил Роман.

— Эх, не слушайте вы этих классово несознательных девок! Разве они в политике смыслят! Ну, хитростью заработали, а потом этими же деньгами да по опиуму и бескультурью... Знаете, какая у нас антирелигиозная дружина? Единственная в уезде, на всеуездной конференции, где я был как делегат, хвалили — во! Мы так и на МОПР можем собрать знаете сколько? Так ведь не захотели! Потому что это настоящие деревенские уклонисты... Вот уткнулись в эту мопровскую полосу, навозу возили на нее со всей деревни. Ну какой может быть авторитет у международной революции, когда тут навоз да навоз?..

— А где же они, уклонисты эти?

— Да вот стоят там... Сейчас я их вызову...

— Начальник какой! Вызову!!! Давай пойдем к ребятам.

Уклонисты

У ребят, стоявших у деревенского плетня и молча-выжидательно глядевших на Михаила и Романа, вид был не самый праздничный. Не были они обуты в расписные валенки, не были одеты в новенькие, свежепокрашенные полушубки. Старая шубейка, куртка, перешитая из шинели, плешивая ушанка... С волховстроевцами они здоровались настороженно. Но Миша и Роман были так искренне рады встрече с ними, что быстро растаяло недоверие к приезжим. Комсомольцы стояли тесной кучкой, разговаривали, перебивая друг друга, и странным бы показался этот разговор стороннему человеку.

— А как у вас на Волховстройке? Когда вершать будете? Ребята, а вы тоже дрались? Нас в драку не принимают, там только актив беспартийный, а мы жуки навозные... Это как же? Вы у Славки спросите. Наш секретарь вам все растолкует... А электричество откуда браться будет? Почему девчата с вами не ходят? Вы их обижаете? Хо-хо-хо... Вы Дарьюху слышали? От наших девчат Славка в подпол прячется! Славка!.. А сам где прячешься? К нам надолго ли? А книги привезли какие? А постановка будет? Где жить-то будете?

— Да, вот это и вправду надо решить! — Роман обвел

взглядом деревенских комсомольцев.— Макаров предлагает в сельсовете поселиться. А что мы там делать будем? Ведь не на день приехали.

— Заговорят они вас — секретарь ячейки да секретарь сельсовета... Через два дня сбежите вы обратно на Волховстройку... Давайте уж лучше ко мне, что ли... Если не зазорно городским на печке спать... — Невысокий парнишка с кривоватым носом, придававшим ему насмешливый вид, вопросительно на них глядел.

— Хо! Я, конечно, привык только в «Гранд-отеле» жить, ну, а только надоело мне там, и я согласен на печку... Ромка, айда к нему! Будем у комсомольца лучше жить, чем в конторе.— Миша Дайлер умоляюще посмотрел на Липатова.

— Мне-то и вовсе привычней на печке... А мы вас не стесним? Родители будут согласны? А звать как тебя?

— Дивов... Иван. Живу я с матерью, нас всего-то двое в избе, чего же ей противиться... Так давайте пойдем, что ли... И поедите с дороги чего-нибудь горяченького.

— Лады! Сейчас зайдем в клуб за вещичками...

— Иди, Дивов, к себе, я товарищей шефов приведу,— вмешался Макаров,— нужно кое-что обсудить по линии агитации.

В клубе, прислонившись к успевшей уже остыть печке, секретарь ячейки решительно сказал:

— Товарищи, предупреждаю: идете в самое что ни на есть гнездо деревенского уклона. Иван самый отъявленный супротивник всех наших передовых мероприятий по линии агитации и пропаганды. И против антирелигиозной дружины, и против много чего...

Миша Дайлер его нетерпеливо прервал:

— Не пойму, что это у вас за уклон такой — деревенский? Вы же в деревне живете... Ну, а комсомольская работа у вас есть? Ячейка работает? Или только эта антирелигиозная дружина ваша?

— А вы что думали?! — обиделся Макаров.— Ячейка ~~ваша~~ во всем уезде одна из первейших! А комсомольская ~~работа~~ — вот она, вся тут.— Он протянул зеленую сафьяновую папку с золотой лирой и надписью: «Мюзик».

Дайлер раскрыл папку. В ней лежала картонная обложка, в которой жестяным скоросшивателем были аккуратно скреплены множество листов, вырезанных из какой-то амбарной книги. Каждый лист был озаглавлен «ПРОТОКОЛ» и аккуратно разделен на две половины вертикальной чертой. Слева наверху было написано «Слушали», справа — «Постановили».

Миша полистал протоколы. Один был протоколом комсомольского собрания. «Присутствовало на закрытом собрании 12 человек. Председатель — т. Макаров. Повестка дня:

1. Международное и внутреннее положение — докладчик т. Макаров.
2. XI Международный юношеский день — докладчик т. Макаров.
3. О значении XI Международного юношеского дня — докладчик т. Макаров.
4. История РЛКСМ — докладчик т. Макаров.
5. Политика Советской власти — докладчик т. Макаров.
6. Текущие дела — докладчик т. Макаров».

Против каждого пункта повестки дня в графе «*Постановили*» было записано: «Принять к сведению».

Среди других протоколов Мише бросился в глаза протокол сельского схода. В «*Слушали*» обсуждалось: «Есть ли бог — докладчик т. Макаров». В «*Постановили*» категорически утверждалось: «Бога нет...»

— М-да...— пробормотал Миша.— Ясненько, ясненько... А мы-то, дураки, на Волховстройке бьемся, бьемся... А надобно было принять постановление, записать в протокол — и вся недолга!.. Роман, нашего Гришу Варенцова сюда прислать бы поучиться, как все вопросы можно быстро решать, а?

Но Роман все больше хмурился, на Мишины шутки он никак не отзывался. И сафьяновую папку смотреть не захотел. А Макаров, провожая их до избы Дивова, зачем-то заглянул в свою папку и озабоченно сказал:

— Сегодня, товарищи, по плану работы — в клубе политлото... Прошу, товарищи шефы, принять участие в нашей агитации и пропаганде.

У Дивова в избе вкусно пахло мясными шами, за столом сидели несколько деревенских комсомольцев. Ждали гостей. Секретарь ячейки не зашел к Дивову — очень торопился по неотложным делам. Но комсомольцев это и не очень огорчило. Пока Дайлер и Липатов ели, они перебрасывались шуточками насчет своего секретаря. Насытившийся Роман отодвинул пустую миску и решительно вмешался в разговор:

— Слушайте, ребята, ваш этот Твердыйсплав — он что, балаболка, что ли? Или бюрократ комсомольский? Так на кой же ляд вы его выбирали, чтобы смеяться, что ли? И что это за история с мопровской полосой?

Иван Дивов посмотрел на ребят со стройки. Казалось, что его и без того кривой нос стал еще кривее...

— Да он в укоме в авторитете, на кажных перевыборах представитель укома за него разбивается, да и нам другого выбирать некого: мы-то все при деле, у всех хозяйство... Когда это мы будем в уезд ездить да собрания проводить и эти — мероприятия... А Слава — он человек свободный. Хозяйства не имеет, за клуб ему жалованье выдают, письмо или прошение

какое напишет — куренка принесут... И все было бы с ним неплохо, если бы не был таким дурным да суматошным. Организовал, значит, антирелигиозную дружину вместе с Евсейкой Суходолиным. А Евсейка известный по всей округе шалопут. На Званке день работает, пять гуляет; здесь, на деревне, ничего не делает, ходит только по гостям, водку пьет, силу свою показывает: носит на коромыслах десяток мужиков, бычка подымет — ну как предстание какое... И еще с ним такие гулящие ребята. И из богатеньких есть — у некоторых на отцов батраки работают, так чего не гулять. Батраки работают, а сынки по гулянкам... Славка начал с того, чтобы дружина с богом боролась, а кончили тем, что Христа славить начали...

— Так как же это так — Христа славить?!

— Видишь ли, Евсейка этот на селе издавна считается главным по всяким там игрищам, потехам... И еще мальчонкой всегда был христомаслом. Тот пятиалтынный, тот и полтинник отвалит, ну, а пироги — это завсегда... Ну и уговорил Славку — будто смеха ради — вырядиться и пойти христомасловать. А тот, дурной, на Евсейку молится прямо... Собрали семерых ребят, которым не стыдно, намазали морды, оделись в вывернутые шубы и пошли по избам Христа славить. Меньше полтинника никто не дает: как же, комсомольцы пришли, а Леонтий, у которого крупорушка, пять рублей отвалил... Кончилось рождество, Евсейка ходит и пьян и нос в табаке, а Славка собирает собрание комсомольское и говорит: «Нас в укоме похвалили за комсомольское рождество, давайте внесем в МОПР не по пятаку, как все, а по гривеннику и скажем, что предлагаем во всероссийском масштабе переделать мопровский пятак на мопровский гривенник... Напишем в газету, в Москву, от имени комсомольцев из Близких Холмов...»

— Да вы что, ребята, ополоумели, что ль?

— Да перестань! Что ты нас, за дурачков считаешь? Деревенские, мол... Славка прославиться хочет, ума немного, совести еще сколько надо не нажил... Ну, а мы ему сказали, что не допустим, чтобы на революционеров шли деньги, собранные у темноты да кулаков. А еще осенью, в международный день, порешили мы запахать мопровскую полосу. Сход нам выделил кусок бесхозной земли — есть у нас такая, и решили мы ее засеять льном. самая выгодная штука! Как снег выпал, навоз начали возить, обещали нам достать семян долгунца. Повозимся мы с ним, конечно, не без того, зато денег выручим много, и пойдут они на хорошее дело чистыми, не пьяными полтинниками. А Славка нас за это и деревенщиной, и уклонистами, и этими — оппортунистами, что ли! Конечно, это лен, надобно ждать долго, а ему не терпится, чужой он для земли, не понимает ничего... А на нас деревня смотрит — сумеем лен

вырастить аль нет? Тут ведь его разводят мало, с ним дел не оберешься...

— Ладно! Всех дел не обговоришь! Пошли, что ль, на улицу, пока светло...— Нетерпеливый Миша вскочил из-за стола.

Роман на него досадливо покосился: вот уж кто деревенщина, так это городские! Хозяин еще сам из-за стола не встал, а гость уже вскакивает...

Ребята оделись и шумной стайкой вывалились на улицу. Красное солнце уходило за длинные и мягкие сугробы, близкие сумерки напоздали на праздничную деревню. У ограды красной кирпичной церкви стояли ребята и громко смеялись чьему-то рассказу.

Поодаль от них стояли и пересмеивались девушки. Где-то неподалеку кто-то на гармошке повторял все время один и тот же отрывок мотива: «Ах, зачем эта ночь...»

Завидев приезжих, деревенские ребята замолкли. На Романа и Мишу вопросительно и затаенно смотрели. От ограды отделился человек и подошел к приезжим. Догадаться, кто он, было волхвостроевцам нетрудно. На огромном и могучем торсе торчала маленькая голова с приплюснутым крошечным носиком и узенькими смеющимися глазами. Длинные руки как-то беспомощно свисали вдоль туловища.

— Ну вот и хорошо, что приехали на праздник,— весело сказал Евсейка.— Хошь погуляем вместе. Всех дел все равно не перевернешь, вам дали отпуск от работы, давайте, что ли, погуляем? А то Иван как старый хрыч сурьезный. А когда же погулять, как не по молодости? Вы это как считаете? А у нас сегодня вечером меро-меро-меро-приятие, вот!

— А как же! — засмеялся не отстававший от Дивова русский парень.— Славкино политлото! Всем приказано быть в клубе!

— Эге,— подтвердил Евсейка.— А потом — к Зотихе...

Вечером и днем

Недаром вечером с ребятами не было Твердислава Макарова! Опорный клуб села Близкие Холмы был настолько прибран и чист, насколько только это было возможно для безнадёжно грязного и холодного сарая. На подметенном полу не было больше груды подсолнечной шелухи, от раскаленной печки шло тепло, длинный и кривой стол накрыт мятым кумачом. Твердислав в расстегнутой бекешке сидел во главе стола. Перед ним лежала большая расчерченная картонка и кучка криво нарезанных, грязных картонных фишек. Вокруг стола сидели комсомольцы, в дверях, заложив длинные руки за спину, стоял Евсей Суходолин и переговаривался с девушками. Ни одна из

них не переступала порога клуба, ни девушки, ни Евсейка не обращали внимания на то, что делается за столом.

Макаров заглянул в лежащую перед ним бумажку и закричал:

— Вопрос девятый! За что борется Коммунистический интернационал? Ну? Что же вы? Васюня, давай ты!

— За революцию, конечно... — неуверенно ответил тот самый русский парень, который недавно легкомысленно отнесся к удивительной игре комсомольского секретаря.

— Неверно! Кто еще?

— За свержение буржуазии... — слышались нестройные голоса. — За диктатуру пролетариата... За коммунизм...

— Ничего подобного! — укоризненно покачал головой Макаров. — За интересы пролетариата, вот как! Читать надобно политлитературу!

Макаров всмотрелся в картонку, нашел нужный номер и удовлетворенно положил фишку. Затем он вытащил другую, посмотрел снова в бумажку и торжественно провозгласил:

— Вопрос тринадцатый! Кто был Фома Кампанелла? Давай, давай, ребята! И чтобы правильно было!..

На этот раз комсомольцы долго молчали, прежде чем слышались робкие ответы.

— Китайский генерал... Вождь итальянской молодежи...

— Английский король! — радостно выкрикнул кто-то.

Макаров недовольным помахиванием руки отводил неудачные ответы. Наконец, очевидно потеряв надежду на то, что ближнехолмские комсомольцы не ударят лицом в грязь перед гостями, он встал и, заложив руки за спину — наверное, так кто-то делал в укоме, — сказал:

— Как же это не знать про такого исторического товарища!.. Защитник трудящихся — вот кто был Фома Кампанелла!..

Миша Дайлер вдруг стремительно встал из-за стола, злобно толкнул ногой табуретку и побежал к двери. Все обернулись ему вслед. Роман тихо встал, аккуратно отодвинул табурет и неторопливо вышел на улицу. Миша стоял, уткнувшись лбом в стену, бил ногой по слезавшемуся сугробу и мычал от ярости. Он быстро повернулся к Роману:

— Сейчас я этому идиоту двину в глаз! Я не могу больше слышать и видеть это! Он что, не только дурак, но и нанят, что ли, дураками? А может, не только дураками? А?

— Давай, давай, бей его! Вот будет смычка города с деревней! Жаль, ребята не увидят такое, только в газете прочтут... А это уж не то! А что ты, Миш, уж так красиво показываешь, что все деревенские комсомольцы дураки безграмотные, а мы с тобой такие, дескать, умные, грамотные, нам на вас и смотреть даже противно... и презираем мы вас, темных...

— Так я ведь не ребят презираю, а дурака этого в бекешке.

— Нет, Мишка, ты их не уважил, показываешь, что не ровня им: они, дескать, терпят по своей малограмотности, а я так не могу. А они не глупее нас. Ну, знают, конечно, поменьше. Так не в этом же дело. Мы им приехали помочь как товарищи, как равные, понимаешь...

— Ах, да понимаю я, Ромка, все! И стыдно, что не стерпел, но и терпеть тоже невозможно! Давай сегодня после этого цирка устроим собрание...

— А какие у тебя права есть собрания устраивать? Мы же не из укома, а гости, шефы, значит. Нам с ребятами надо поговорить, тут, по-моему, ха-а-арошние ребята есть, вот как Ваня Дивов. А потом, мне кажется, что представление сегодня не кончится на политлото. Ты же слышал, что Евсейка говорил про Зотиху... Наверное, после такой скукоты все туда и повалят...

— Правильно, и пойдут все, да и вы, городские, туда же пойдете, и притворяться нечего вам... Тоже небось хлебом не корми, а дай погубошлепить...

Волховстроевцы обернулись. Возле них стояла та самая смешливая девушка в плисовом жакете, что сегодня днем так ославила бедного Твердислава. Она с интересом слушала спор Миши и Романа, а потом, видно, не выдержала и вмешалась...

— Тебя Дашей зовут? — с внезапным оживлением спросил Миша.

— Ну, Дарьей, да!

— А ты чего стоишь у дверей и не идешь в клуб?

— Нужно мне очень слушать, как Славка ребят мурыжит своим лото! Да если я зайду, у Славки и вовсе все из головы вылетит, а там и так небогато...

— А ты, Даша, не комсомолка? Чего же так? Такая смелая дивчина, никого не боишься, ни бога, ни черта, ни Славы, ни нас с Романом, а в комсомол, наверное, боишься... Мол, что скажут, и все такое?

— Да уж есть кого бояться! Меня Макаров как улещивал — в уезд отвезу, на конференцию... Очень надо, если там все такие, как он!

— А кроме Макарова, тут нет, что ли, парней хороших, комсомольцев?

— Ну, есть серьезные ребята... Так они ведь тихие, а коноводит Евсейка — и вовсе не комсомолец даже, а так, прости господи!..

— Слушай, Дарья,— вмешался Роман в беседу Михаила с Дашей.— Это у Зотихи посиделки, значит? Снимаете небось хату у нее?

— Ну да, снимаем. Приходите посмотрите, как веселятся деревенские...

— А сколько берет с вас? Рубль или полтинник?

— Ну, уж рубль! Полтинник за такую хату красная цена...

— А складчина на этот полтинник только у девушек?

— Ага. А ты откуда это знаешь? Иль у вас тоже так?

— Ну, я же, Даша, не питерский, сам в деревне вырос — знаю я все эти штуки не хуже ваших... Значит, собираетесь, бутылочку пустую по полу крутите, девчата — хочешь не хочешь, нравится не нравится, а со всеми парнями целоваться должны?

— Ну да, аж противно лизаться, больно надо! А с таким, как Евсейка, так лучше со свиньей — все чище!.. Слушайте, ребята, а наш Твердислав привез из уезда новую такую игру — флирт цветов называется, не слыхали?

— Ну как не слыхать! — обрадовался Миша. — Действительно самоновейшая! Я колоду с этой игрой у своей бабки стащил — она в молодости играла в эту самую новую...

Политлото кончилось... Обрадованные этим комсомольцы выходили из клуба. Синий махорочный дым валил из открытых дверей. Неугомонный Евсейка переходил от ребят к девушкам, сколачивая компанию. Роман, Михаил, Иван Дивов и еще несколько комсомольцев молча шли по уже темной улице. В избах зажглись огоньки, гармошка у церкви тихо и безостановочно жалобно твердила все то же: «Ах, зачем эта ночь...»

— Слушайте, ребята! — Мрачно молчавший Роман внезапно остановился и с силой спросил: — Слушайте, ребята! Вот вы, комсомольцы, такие же точно, как Мишка, как я, как все наши ребята на Волховстройке. Но за-ради чего мы поступили в коммунисты?! Быть же того не может, чтобы только в политлото играть, собрания устраивать, политграмоту Коваленко читать!.. Мне этот Евсейка и то как-то более понятный... Как бы погулять, как бы повеселее день убить... День да ночь — сутки прочь! И в комсомол ему записываться незачем — повеселиться можно и без этого. Да я бы...

— Ну, а ты, ты зачем в комсомол поступил? — столь же мрачно спросил Романа Дивов. — Мы, значит, чтобы повеселиться, а ты зачем? Вы все на стройке сознательные, а мы, значит, лаптем ши хлебаем?..

— Не лезь в бутылку, Иван! У нас в деревне все идет в отход плотничать да столярничать. Уходят на полгода, посмотрятся на разные города, денег приносят мешок, пей да гуляй, дом себе строй, чтобы был как дворец... А я не пошел в отход, расплевался с дядьми, ушел на стройку — хочу, чтобы для людей строить, а не для себя. Вы бы посмотрели наших ребят на стройке — не от бедности только к нам приходят, богатство бросают. Ведь для общего дела это!

— Значит, как монахи — о душе думают, да?

— Правильно, о душе! И монахи тут ни при чем. Если есть

у тебя душа, а не пар собачий, думай о других, думай обо всех... Вот вы мопровскую полосу будете засеивать — хорошо это! Но ведь есть люди и тут, которым помощь нужна,— бедные, батраки, малограмотные. Вот им как помочь?! Неужто вы с вашим Твердиславом ни разу об этом не толковали промеж себя? На черта же тогда все ваши собрания!

— Ну ладно. Так что же мы должны делать?

— А я откуда знаю? На Волховстройке я знаю, что мне делать. А вы же здесь живете, вам и знать это надобно... Давайте вместе думать...

Незаметно ребята подошли к церкви. У ограды уже никого не было, все разошлись, и голос гармошки слышался где-то далеко-далеко, у самой речки. Как бы по привычке, все остановились на том вытоптанном месте, где, наверное, всегда было сборное место деревенских парней и девушек. Вслушиваясь в жалостливые всхлипы гармоники, Миша тихонько, как бы про себя, пел:

Льется кровь из свежей раны
На истоптанный песок.
Над ним вьется черный ворон,
Чуя лакомый кусок.

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.
Ты добычи не добьешься —
Я солдат еще живой...

И вдруг, как бы отвечая на только что заданный вопрос, Миша Дайлер стал рассказывать деревенским ребятам про Москву, про себя, про своих друзей. Он вспоминал замоскворецкие переулки у завода Михельсона; крошечный сквер у заводской столовой, где стоит камень на месте, где стреляли в Ильича; он вспоминал огромный плац у Павловских казарм, на котором обучаются молодые красноармейцы; и как они ходили разгружать дрова на Москву-реку; и как весело в холодное и бодрое ноябрьское утро собираться в ячейке на демонстрацию; и как они такой тесной толпой, что нельзя было проткнуться ни одному человеку, шли по Поварской к английскому посольству протестовать против Керзона; и как они упирались во влажные крупы лошадей конной милиции, а милиционеры им сверху жалобно кричали: «Ребята, да не лезьте же, коней помнете!..»

Впервые Миша почувствовал, что эти деревенские ребята такие же, как и те, кого он оставил в Москве ради стройки на Волхове, как и те — Варенцов, Кастрицын, Точилин, Моргунов,— что стали ему такими родными и близкими, как и ребята своей московской ячейки...

И помягчел Иван Дивов и его друзья, и исчезла та то-

ненькая, но прочная перегородка, что незримо стояла между ними весь этот день, с того самого часа, как увидели они драку на бугре...

— Ну что ж! — встрепенулся Липатов. — Не будем отрываться от масс... Пошли, что ли, к вашей Зотихе на посиделки, посмотрим, как веселятся в Близких Холмах!

— Давай! Пошли, что ли!

По узкой тропинке, протоптанной в снегу, комсомольцы спустились вниз. Неподалеку от белевшей в темноте реки светились два окошка маленькой скособоченной избы. Из низкой, неплотно прикрытой двери струйкой выбивался махорочный дымок и слышны были взрывы хохота. Ребята протиснулись в тесную комнату, синюю от дыма. Вокруг стояли лавки. На них, тесня друг друга, отдельно сидели парни и девушки. Почти каждый держал в руках картонку или листок бумаги. Слава Макаров негромко и со значением обратился к Даше:

— Гелиотроп... Только, чур, про себя...

— Дашка! Читай вслух! Читай погромче, как все! — закричали со всех сторон.

Дашка отмахнулась, стала искать в своем листке и, найдя, вскочила и с чувством прочитала:

Дева, дева дорогая,
Я люблю, люблю тебя,
Ночью я не сплю, вздыхая,
Мне забыть тебя нельзя...

Кругом загрохотали. Макаров густо покраснел, хотел что-то объяснить, но никто его не слушал, он махнул рукой и сел на место. Какая-то девушка посмелее крикнула:

— Вася! Это тебе — Анемон!

Вася откашлялся и начал читать:

— «Анемон. Под вашими красивыми лепестками таится горечь коварства и обман чувств...» Это ж кого я обманывать стал?!

— Давай пойдем в сени, покурим, здесь уж вовсе дышать нечем. — Роман вышел в сени.

За ним последовали Миша, Иван Дивов и еще несколько человек. Роман достал из кармана пачку «Червонца» и протянул ребятам. Папиросный дым показался сладким в махорочном чаду.

— Из огня да в полымя, — меланхолично сказал Липатов. — Из политлото да во флирт цветов... Что в лоб, что по лбу... Неужто, ребята, что-то в этом есть веселое? И чего ради для этого надобно собираться здесь да чтоб девчата Зотихе полтинник платили? Можно клуб протопить получше и там

разводить все эти гелиотропы — дескать, ночью я вздыхаю и мне забыть тебя нельзя... Чушь собачья какая-то!

— Э, Роман, человек ты не политичный, нашего Славку вовсе не понимаешь! Сейчас тут покончат с этой цветочной мурой, зачнут бутылочку крутить да губошлепничать! Кто-нибудь бражки принесет, частушки можно орать позабористее... А клуб — он всегда чистый, в нем одна голая политика, начальство из уезда нашего Славку почитает как самого передового... Вот и выходит, что он свой. Маток-то много, а ласковый теля — он один...

С улицы в сени Зотихиной избы просунулся немного хмельной парнишка. Из-под старой папахи выбивался черный чуб, на плече висела гармоника. Роман внимательно посмотрел на него и, увидев его вопросительный взгляд, протянул ему пачку папирос. Парень закурил, взял в руки гармонику и осторожно сдвинул мехи. «Ах, зачем эта ночь...» — сладко и жалобно пропела гармоника.

— А ты другое можешь? — спросил его Роман. — Дай-ка мне, давно не играл — с самой, почитай, деревни. А двухрядка у тебя хороша!

Он взял гармошку, приладил ремень и тронул кнопки. Отбросив папиросу, он взял аккорд и, негромко подыгрывая себе, запел неожиданно сильным и глубоким тенором:

Кари глазки, где ж вы скрылись?
Мне вас больше не видать...

Хозяин гармошки смотрел на Романа восхищенно и завистливо.

— О! Как играет-то! А еще можешь?

— А то! Только давай на улицу выйдем — дымно тут. — Роман шагнул на улицу, рванул мехи гармошки и запел громко и уверенно:

Ты, моряк, красивый сам собою,
Тебе от роду двадцать лет,
Полюби меня, моряк, душою,
Что ты скажешь мне в ответ?

По морям, по волнам,—

подхватили ребята.—

Нынче здесь, завтра там,
По морям, морям, морям, эх!..

Мишка заложил четыре пальца в рот и разбойно свистнул.

Нынче здесь, а завтра там!

Стоя под окнами Зотихиной избушки, ребята пели дружно и весело. В руках Романа гармошка не пищала, а красиво и басовито вторила молодым голосам. По одному, по два из избы выходили участники посиделок. Голоса девушек робко и неуверенно присоединялись к хору парней. Роман тихонько двинулся вверх по тропинке, за ним потянулись и другие.

Из избы, растерянно застегивая бекешку и прижимая к боку зеленую папку, выскочил Макаров. Он посмотрел вслед уходящим ребятам, сделал несколько шагов и остановился. Вышедший за ним Евсейка подошел к нему и тронул за плечо: — Куда ты? Пускай идут, дурни! Сейчас Николай придет, у его отца бражки до черта, ведро цельное принесет... Тебе чего, детей крестить с этими приезжими, что ли?!

На лице Твердислава было написано страдание.

— Ах, не понимаешь ты, Евсей, никакой политики! Не можно мне тут оставаться, должен я быть со своей комсомольской массой. Накрутят их эти!..

Он сорвался и побежал туда, где ладно, под гармонь пели:

А я буду плакать и рыдать,
Тебя, моряк мой, вспоминать!

Хлопотен и труден был для приезжих следующий день. Пришли они в дом к Ивану Дивову поздно ночью, досыта наоравшись, напевшись — совсем как у себя на Волховстройке в праздничный вечер. Павел — так звали парня с гармошкой — был начисто покорен тем, как Роман умел на ней подыгрывать всем песням, какие только знали деревенские ребята. Они пели про Красную Армию и черного барона, и про то, как при веселом табуне конь гулял по воле, и веселые частушки. И даже когда Настя Антипова после самой веселой песни затянула грустную историю о том,

Я ли у матушки не дочка была,
Я ли у матушки не хорошая росла,
Взяли меня повенчали
И свет божий завязали...

Роман ей подыгрывал на гармошке так тихо и грустно, что замолкли самые отчаянные голоса. Словом, был это очень славный вечер, его не портило и то, что Твердислав от них не отставал, хотя и был невесело задумчив.

Но не петь приехали в деревню Близкие Холмы два комсомольца с Волховской стройки. На следующий день после крещенья, после угарного дня коллективного побоища, после политлото и посиделок, после ночной прогулки предстояло первое выступление приезжих перед жителями деревни. И об этом сообщало большое объявление, вывешенное Макаровым

у входа в клуб. Он не пожалел для этого и запаса обоев, на которых писал обычно свои лозунги. Крупными фиолетовыми буквами сообщалось, что в опорном клубе села Близкие Холмы вечером с докладом о Кровавом воскресенье 9-го Января 1905 года выступит представитель с Волховской стройки товарищ Михаил Дайлер. Доклад будет сопровождаться туманными картинками при посредстве волшебного фонаря. Для всех жителей села Близкие Холмы — вход свободный, явка комсомольцев — обязательна...

Да, Слава Макаров немало сделал для успеха первого выступления шефов. И все же его труды остались недостаточно оцененными. Мало того, с утра пришлось ему схватиться с приезжими за правильную и боевую политическую линию. Он пришел к Ивану Дивову, где ночевали Липатов и Дайлер, не снимая своей бекешки, присел к столу, раскрыл музыкальную папку, вынул оттуда листок бумаги и, дождавшись, когда ребята перестали разговаривать, неторопливо сказал:

— Значит, так... Изберем президиум. Списочек я согласовал с секретарем сельского Совета. Потом, после того как я набросаю картину международного и внутреннего положения и поставлю задачи, выступит представитель антирелигиозной дружины Пашка Евстигнеев и продекламирует острый и боевой материал. Я его сочинил... Потом, натурально, примем резолюцию и перейдем к Кровавому воскресенью...

— А что это за боевой материал? — спросил Роман.

— Давай прочту! — обрадованно сказал Слава. Он приосанился, оглядел присутствующих и начал читать наизусть — видно, не впервые он это делал: — «Долой всякую напасть и да здравствует Советская власть! Старая власть у нас на пупе, а теперь речь пойдет о нашем попе. Ваш, бабы, поп Семен хитер и умен. От своих треб ест белый хлеб с пенкой. Нельзя ли его под мягкое место коленкой?.. Старый мир все тащится волоком, а у нас все еще висит церковный колокол. Нельзя ли его на литейный завод сбить да на эти деньги сельский кооператив открыть?..»

— Почем колокол? — прервал Роман Макарова.

— Что-что?

— Ну, сколько вам дадут за церковный колокол? И сколько нужно денег, чтобы открыть кооператив?

— Да я почем знаю? Это я так — для агитации...

— Во, во... Если для агитации — значит, просто так. Для чистого трепа. А потом говорим, что народ у нас темный: мы его агитируем, а он смеется... А народ вовсе не темный, а умный и знает, что это все буза и трепотня...

— Как это так: антирелигиозная агитация — буза и трепотня!

— Агитировать, Слава, надо делом, а не бузой! Над вашей

этой дружиной и поп Семен смеется, верно, и хозяин вашей лавки, и хозяева мельницы да крупорушки — чем это вы им можете досадить? Гречиху и просо надо ободрать, рожь смолоть надо, соль да сахар купить надо — к ним пойдут все равно, а не к вам. Потому что, кроме слов, ничегошеньки у вас нету. А значит, и никому вы не страшны, и всей такой агитации — грош цена!

— Вы, стало быть, оторваны у себя, никаких местных условий не знаете, а про наш быт и вовсе. А как говорил Карл Маркс: быт — это главное, и от него идет все сознание!..

— Да не трогай ты Маркса, господи боже ты мой! А я, Слава, сам деревенский, и ты мне Марксом глаза не залепляй... А если мы устраиваем доклад про Девятое января, так не надобно ни президиума избирать, ни про международное и внутреннее, ни раешник этот про колокол... Мишка доклад сделает, я туманные картины покажу, понравится это людям — еще такую лекцию сделаем... Давай лучше пойдем в клуб, подметем его да приберем, натопим — вот уже и сделаем какое ни на есть дело...

В клуб шли молча. Макаров твердо сжимал свою папку и ни на кого не глядел.

Роман примирительно сказал:

— Ну будет дуться, как мышь на крупу... Зайдем в лавку, купим папирос, что ли...

Небольшое помещение лавки было набито женщинами. Роман удержал Макарова, хотевшего пробиться к прилавку, и они остановились, глядя, как ловко и быстро работал лавочник.

— Дай-ка мне два фунта пряников, — попросила лавочника немолодая женщина.

— Фунтами не отпускаем — запрещено по закону, — ответил лавочник и скосяил глаза на незнакомых людей, появившихся в лавке. — Пожалуйста, восемьсот граммов как одна копейка!

— А что мне твои граммы эти, — беспомощно сказала женщина. — На кой они мне? Ты мне дай два фунта...

— Даю, как положено правительством, в метрических мерах! И ты, Матрена, забудь про свои фунты да пуды — сколько положено, столько тебе и дадено...

Женщина неуверенно взяла в руки кулек с пряниками, взвесила его в руке, хотела что-то сказать, да махнула рукой и протиснулась к двери.

Выйдя из лавки, Роман распечатал пачку «Трезора», ребята закурили, и тогда Липатов сказал:

— Видел, Твердислав, как лавочник крутит и вертит, как он пользуется, что мужики еще не смыслят, сколько это — килограмм, да метр, да литр... Он свободно и обвешивает

и обмеряет, и никто его не проверит, дома у мужиков одни лишь безмены, на которых при царе Горохе взвешивали... А что бы комсомольцам взять да плакат сделать — сколько фунтов в килограмме, аршин в метре... Или кто хочет, может прийти в клуб к комсомольцам, и они объяснят. Конечно, дело это маленькое и не мирового масштаба, да ведь какая ни на есть польза людям. Одной твоей агитацией авторитет, Слава, не завоеешь...

— Знаешь, Роман,— решительно сказал Макаров,— тебе надули в уши те, что сторонятся политики и больше о мелком всяком думают, вот ты и говоришь. А мы что, про фунты и метры будем говорить с народом или же о серьезном и политическом?.. Вот как сегодня вдруг вы перед народом, что соберется послушать про зверства царизма, зачнете про навоз да соху рассказывать... Как это будет выглядеть? Кому нужны такие мелкобуржуазные рассуждения? К вам на Волховстройку из Ленинграда ездят агитаторы с чем? С докладами и лекциями про мировую революцию, положение трудящихся при капитализме и таки далее...

...Только потом, когда прошел этот необыкновенный и тяжкий вечер, вспомнили Роман и Миша этот ехидный вопрос Макарова: «Как это будет выглядеть?..» А выглядело это так...

Первый блин

В селе Близкие Холмы никогда туманных картин не показывали и никто не видел волшебного фонаря... Даже старики, говорившие, что им всё известно и всё они уже видели в уезде, а не то в самом Питере, и те были растрожены этой невиданной еще техникой. И в клуб народ набился задолго до начала лекции. Комсомольцы подмели длинный зал, убрали наиболее заметную пыль, снесли со всего села длинные лавки, протопили печку, отогнали назад самых малых ребятишек, освободив место для взрослых. Впрочем, девчонки и мальчишки — набралось их видимо-невидимо — и не собирались сидеть на одном месте. Им было интересно побегать в том конце, где стоял длинный стол, покрытый кумачовой скатертью, а рядом со столом, немного сбоку, висела большая белая простыня. Но еще интереснее было там, где между скамейками на деревянном ящике стояло что-то действительно волшебное, возле которого возился Роман Липатов. Вокруг него стояла, пожалуй, половина публики, и только старики в первых рядах сидели на месте, делая вид, что им неуместно вести себя так же, как и молодым ребятам...

Волновались даже Роман и Михаил, хотя этот волшебный

фонарь был им хорошо знаком, не раз они пускали его в ход, да и техника эта не казалась уж такой сложной волховстроевцам, видевшим машины и посложнее... Роман осторожно налил спирт в резервуар вокруг белого, как бы из плотной мешковины, колпачка. Он зажег спирт, по клубу разнесся терпкий запах горящего денатурата. Когда спирт выгорел, Роман начал качать насосом. Колпачок вспыхнул ослепительным, никогда не виданным белым светом. Роман осторожно задвинул раскаленную горелку в корпус фонаря, подкрутил какой-то винтик. Из трубы волшебного фонаря вырвался длинный и узкий белый луч света, в котором кружились бесчисленные пылинки. Простыня стала сиять, как поповская риза под солнцем. Миша Дайлер склонился над коробкой, где стояли маленькие, обклеенные бумагой стекла, и сказал:

— Значит, как Макаров объявит, дай первый диапозитив с заголовком... И тогда я начну...

Он пошел к столу, за которым уже стоял и нетерпеливо смотрел в их сторону Слава Макаров. На этот раз заведующий опорным клубом, секретарь ячейки и делегат конференции был немногословен. Он быстро заклеил царизм, прошелся чуток по империализму и предоставил слово представителю шефов, делегату пролетариата Волховской стройки, активному члену комсомола товарищу Михаилу Дайлеру.

Делегат пролетариата подошел к сияющей светом простыне и вопрошающе посмотрел в темный зал. На простыне появились мутные цветные пятна, они начали шевелиться, сливаться и вдруг образовали красивую разноцветную рамку из плугов и борон, из желтеющей ржи и кроваво-красного клевера. И в этой рамке самыми красивыми буквами, какие только можно себе представить, было написано: «Серия IX. От трехполюя к многополюю»... Михаил ошарашенно смотрел на заголовок... Он мгновенно вспомнил, как сам в Ленинграде в городском складе диапозитивов брал эту небольшую тяжелую коробку... Кто ж это перепутал? И вообще, что же делать?

А в зале уже десятки голосов медленно, по складам вслух повторяли заголовок лекции, которую неожиданно для себя должен был читать Миша... Но читать ее он не мог, при всем своем опыте агитатора, которого никогда и ничто не могло смутить. Он посмотрел на растерявшегося Макарова, вышел вперед и негромко сказал:

— Товарищи! Видите, какая получилась ошибка... Вместо одной серии туманных картин дали другую... О Девятом январе я вам расскажу в любое время. А картины, может быть, и посмотрим — вам ведь это интересно...

Из темноты зала послышался голос Романа:

— Миша! Пойди сюда!

Миша вошел в темноту, перед ним расступались, он подошел к фонарю, из которого продолжал выходить узкий светлый луч.

— Ну-ка, займись этой техникой, а я пойду туда,— сказал ему Роман,— сейчас придумаем что-нибудь... А ты не хватайся за волосы — в другой раз будешь смотреть лучше, что дают!

Роман быстро прошел к столу и подошел к красивому заголовку несостоявшейся Мишиной лекции.

— Вот, товарищи, что получается, ежели вовремя не посмотреть да не проверить... А может, оно и к лучшему? О Девятом января вам товарищ Дайлер расскажет в любой вечер, всем, кому интересно, а сейчас давайте посмотрим туманные картины про то, что для всех нас — вас и нас, рабочих,— самое что ни на есть главное. Каждый здесь наверняка помнит, как жилось, когда не было хлеба, когда шла война. Да и мне самому хочется посмотреть. Скажу вам про себя. Фамилия моя Липатов, зовут меня Романом. Конечно, я рабочий — столяр на Волховском строительстве. Но сам я из деревни Брюхово, Даниловского уезда, Ярославской губернии. Конечно, у нас полсела плотники да столяры и работают в отход. А все же и хозяйство у всех есть, и крестьянствуют все, почитай. Есть у нас такие мужики, что перешли на пять да семь полей, а много и таких, что по-прежнему хозяйство ведут, как сто лет назад. Сначала озимую рожь, на следующий год яровые или картошку больше, а на третий год, конечно, пары. Не буду вам, товарищи, хвастаться, что я ученый больно и сильно понимаю в сельском хозяйстве — потому что с малолетства занимался плотницким да столярным делом больше, но скажу вот что: кто посмелее да перешел на многополю, у того урожай намного лучше, тот завсегда с хлебом, у него корова на клеверном сене ведро молока дает — не меньше, у него хозяйство лучше намного. Но ничего не скажешь — не в одном многополье тут дело.

Гул выкриков несся из зала.

— Ну-ну, скажи, парень, в чем же там у вас дело-то? Это кто же на многополку перешел? Ладно! Давай туманные картины! Дайте человеку про хозяйство сказать!..

Роман поднял руку, подождал, пока народ утихнет, и сказал:

— И правда, давайте посмотрим картинки, там будет все написано, я читать буду вслух, а что непонятно, скажу, если знаю. А не знаю, запишу, потом узнаю и расскажу. Ну, только тихо! Миша, давай следующую...

На ослепительно белой простыне, сменяясь, возникали дивные яркие картинки: густые поля клевера и ржи, необъятные стога сена, чахлые колосья рядом с другими — могучими; столбики, диаграммы, показывающие преимущество многополки перед трехполкой; плуги и бороны, каких еще не видели

здесь... Под каждой картинкой была подпись. Роман ее читал вслух, а иногда и добавлял свое, и это — не написанное, а сказанное невысоким чужим ярославцем — было интереснее самой картинки...

— На десятину земли высевается смесь из 30 фунтов клевера и 10 фунтов тимофеевки. Что-то многовато... У нас тимофеевки не так уж и много, многие мужики сеют клевер пополам с викой. А семена вики у нас никто и не покупает, ее легко осенью наберет каждый, кто отведет себе деляночку под семена... Ну, давай, Миша, следующую! Вот разницу между семенами клевера я не скажу — не знаю. У нас в деревне на семена не сеют. Семена покупают в уезде, а то и где подальше. А я знаю, что разница по качеству большая,— это я по цене сужу. Тут на картинке не сказано, но я знаю, что семена очень урожайного клевера стоят дорого — двадцать, а то и двадцать пять рублей пуд. Ну, что ох!.. Посчитайте сами: пуд семян хватит на две с половиной, а то и три десятины, если клевер сеять с тимофеевкой да викой, а выгода-то!..

Кончились туманные картины в общем шуме вопросов, выкриков, разговоров людей, столпившихся вокруг Романа. Уже зажгли на столе лампу-молнию, и погас волшебный фонарь, и Миша Дайлер его запаковал в ящик, и убежали из клуба ребяташки, а все еще народ не расходился. За столом сидел один-одинешенек Твердислав Макаров и мрачно комкал угол кумачовой скатерти. Друг его Евсейка Суходолин ушел, наскучившись ненужным ему разговором о хозяйстве; ушли и девушки; только комсомольцы стояли около Романа и слушали, как он отвечал на вопросы мужиков.

— Так молодые хозяйствовать умеют, наверное, и не хуже вас! А что? У нас на Волховстройке силами одной молодежи построили детский сад. Я сам с товарищами рубил сруб, делал двери да рамы оконные. ...А чего мне не делать — у меня столярный разряд пятый, да у ребят, плотников, не меньший. Так что же, молодые не справятся, что ли? Иван, ты как думаешь?

Иван Дивов помедлил с ответом.

— А чего не суметь? Каждый из нас умеет хозяйствовать, была бы у нас своя комсомольская земля, мы бы показали, как с трехполкой можно разделиться... Так земли же такой нету, нам ее никто не даст...

— Ишь, земли захотели? — вмешался в разговор какой-то старик.— Кто же вам свою землю отдаст! Да и не велико дело — на старой да ухоженной земле посеять и урожай собрать... А бросовую землю попросите у схода, дадут вам, чего и не дать, раз не лес, не луг, не пашня... Возьмите вот Поганое болото, коли охота такая есть... Не откажут — берите запросто!

- Это что же за болото? — спросил Роман Дивова.
- Да внизу, у ручья...
- Ну ладно! Потом поговорим...

Поганое болото

Разговор этот начался немедленно, как только из клуба ушли мужики, бабы, когда вокруг стола, за которым по-прежнему безучастно сидел секретарь комсомольской ячейки, медленно сгрудились комсомольцы.

— Ну, ребята! На черта нам хозяйство?

— То есть как на черта? Клуб у нас обдрипанный, на поездку в уезд денег никогда не бывает, книг в ячейке нету, занять людей нечем... Жалуемся, что девчата к нам не ходят,— и правильно делают! От скукоты сдохнешь! А когда свое хозяйство заведем — и библиотеку заведем, и даже в Питер съездить можно будет, и беднякам же опять-таки можно будет помочь. Есть ведь на селе у нас такая бедность, что сердце стынет, когда видишь. Вот хоть тетка Василиса с четырьмя детьми, без мужа да, почитай, без земли — не она на ней работает...

Никто раньше и не знал, что Иван Дивов умеет так зажигаться, так здорово говорить. Был всегда в ячейке одним из самых тихих, любил иногда только вставить ехидное словечко. А теперь его и остановить нельзя было...

— И не такое уж и поганое это болото! И вовсе оно не болото. Только по весне заливают, ну и потом между кочками лужи остаются. А землю видели на нем?.. Черная-пречерная! На ней все что хочешь расти будет! Пару канав прокопаем, кочки скovyрнем, вот тебе и комсомольское поле!..

— А что ж ты на этом Поганом болоте сеять будешь? Окстись, Иван! Овес — вымокнет. Рожь — ну сколько ты ее соберешь и кому за сколько продашь? Ведь не для комсомольского же пропитания мы это болото распашем, а для денег, чтобы были у ячейки деньги, чтобы Евсейка не говорил, что он христославит для нас... Что же там можно посеять?

— Лук!

Это сказал Роман, который до этого времени сидел молча, как будто и не он заварил весь этот разговор.

— Ну что вы на меня смотрите? У нас в губернии — самая выгодная штука. Труда большого не забирает — это вам не лен. А собрал урожай, его с руками оторвут где хочешь: хоть и в уезде, хоть на станции, а то и у нас, на Волховстройке,— без лука нет, значит, пищи. А я собираюсь на недельку домой. Могу махнуть в Ростовский уезд, взять там сеянца. А если вам и огурцы посадить? Парники сделать? Вот тут мы, шефы,

значит, можем помочь. Я могу рамы связать, стекла попросим на стройке — им легче достать...

Пар-ни-ки... Не одному из ребят почудилось черное ухоженное поле со стрелками зелени, стеклянным блеском парников. Комсомольское поле. Оно даст комсомольцам и авторитет, и средства и наполнит их жизнь делом... И только Твердиславу Родионовичу Макарову ничего хорошего не выдилось в том будущем, о котором размечтались его комсомольцы. Никто не обращал на него внимания, он сидел, оттертый в сторону, даже не пытаясь вставить слова в чужой и неинтересный ему спор о преимуществах огурцов перед луком и чесноком... Ему было ясно: приехали под видом делегатов пролетариата представители мелкобуржуазной стихии и увели всех, почитай, комсомольцев села Близкие Холмы в самый страшный деревенский уклон, против которого он всегда боролся... Как это бывало раньше, он хотел прикрикнуть на ребят, призвать к порядку, закрыть собрание, вызвать на бюро, пригрозить укомом, но он уже понимал, что на него теперь и внимания не обратят, и угроз его никто не побоятся. Твердислав встал, взял свою папку, застегнул бекешу и направился к двери. И никто даже не заметил, что идет в клубе самое настоящее комсомольское собрание без секретаря ячейки, без протокола и без двух малопонятных слов — кворум и регламент, — которыми обычно Макаров начинал все собрания...

Как выглядит Поганое болото, когда оно освободится от снега, Роман Липатов, конечно, не знал. Но утром волховстроевские и ближнехолмские комсомольцы облазили это болото вдоль и поперек. Это большое, немного спускающееся вниз поле ничем не походило на маленькую и узенькую мопровскую полосу, на которой они посеяли лен. Миша Дайлер меньше всех понимал в горячих разговорах ребят о том, как же следует вести настоящее культурное комсомольское хозяйство. Ему не было скучно, он, как и все, был захвачен всеобщим волнением и радостными предчувствиями. Как и все, он обтапывал направление будущих канав, вместе со всеми обсуждал, надобно ли комсомольское хозяйство огораживать забором, но все время его томили вопросы, на которые, как он понимал, ему не могли ответить те книги, в которых он обычно находил любые ответы... Когда усталые ребята вышли на дорогу и закурили, Миша отвел в сторону Дивова.

— Иван! Ты хозяйство ведешь?

— А как же! Мне жалованье не платят. Я должен прокормить мать и себя, одеться... Обязательно веду хозяйство. Корова у нас есть...

— Могу я тебя уговорить, например, перейти на многополье?

— Нет, Миш, не сумеешь. У меня надел на два человека — самый, почитай, малый надел на селе. Как я его буду разбивать на семь полей? Да два года, пока порядок не наведу, чем жить буду? Это вот многосемейным, у которых большие наделы, да кулакам, наверное, проще — словом, когда земли много.

— Выходит, что если бы я и разбирался в многополье, то агитация моя была бы ни к чему?

— А вот, Михаил, ежели бы вся земля в нашей деревне была общей, вот когда бы ввести такое новое хозяйство. Никаких тебе межей, весь клин деревни разделен на семь полей — хозяйство общее, работают все вместе, потом всё делят. Вот это бы было настоящее многополье!

— Коммуна, выходит? Так есть же такие коммуны!

— Нет, у нас в округе коммун и в заводе нет. И там, говорят, не только работают — живут вместе все, никакого своего хозяйства вовсе и нету. Так у нас сразу, пожалуй, и не получится... А вот чтобы земля была общей и работа общая — вот это да! Вот когда хозяйство можно было бы вести!

— Слушай, Вань, эта ваша балаболка твердосплавная думает, что агитация — значит, только языком махать. Агитировать-то надо делом! Об этом как раз Ильич и говорил — делом чтобы агитировать. Не в деньгах, что можно заработать от урожая на Поганом болоте. Если взяться да дружно превратить болото в настоящее хозяйство — это и значит агитировать за хозяйство общее, без межей, с общим трудом и общим распределением... Агитировать делом, трудом, чтобы приходили, смотрели, затылки чесали... Вот это агитация! Тут и мы — рабочие шефы — могли бы помочь. Тоже делом, а не только туманными картинками. Ведь можем помочь для парников рамы сделать, поможем стеклом, семена достать. Далековато, конечно, до вас, а все же смогли бы приехать с народом, чтобы всем навалиться...

*

Собственно, в этот день и началась история знаменитого по всей округе комсомольского коллективного хозяйства. История эта была долгой и разной. Были в ней дни горестные — когда кулацкие сынки в морозную ночь ранней весны переломали парники и погубили всю рассаду; были дни и ночи труда, веселья, разочарования, надежд... Здесь, у этого клочка ухоженной и благодатной земли, которая, непонятно для новых поколений, продолжала называться Поганим болотом, — здесь начинались судьбы многих людей из села Близкие Холмы... Если была бы написана история знаменитого в Ленинградской области колхоза «Волховстровец», то первая ее глава начиналась

бы с коллективного комсомольского хозяйства, созданного на Поганом болоте...

Но история колхоза так и осталась ненаписанной, и только ее многолетний председатель, Герой Социалистического Труда Иван Дивов, когда приезжая делегация расспрашивала его о том, как возник их колхоз, начинал всегда с той новой жизни, что возникла на Поганом болоте. Да еще любила вспоминать об этом болоте бывший секретарь комсомольской ячейки села Близкие Холмы профессор медицинского института в Ленинграде Дарья Васильевна Дайлер... Она даже показывала его своим внукам, когда привозила их как-то летом в деревню, откуда она была родом. Но два ленинградских пионера без всякого интереса, из одной только вежливости рассматривали пустые парники, вросшую в землю тепличку, дощатый сарай, когда-то бывший центром комсомольской жизни на селе. Они ведь уже видели огромные совхозы под своим городом, и им было непонятно волнение, с каким бабушка рассказывала об этом клочке земли...

А профессору вовсе не о парниках хотелось рассказывать. Ей хотелось рассказывать о том, как приезжали к ним ребята с Волховской стройки, как они — деревенские комсомольцы — ездили на берег Волхова, какие там были прекрасные и красивые люди, из которых уже почти никого не осталось. Она смотрела на ручей у Поганого болота и вспоминала, вспоминала, вспоминала Михаила Куканова, доброго Гришу Варенцова, отважного Семена Соковнина, Сашу Точилина, профессора где-то в Москве, и своего мужа Мишу Дайлера, не вернувшегося с войны...

Но рассказывать ей про это было трудно, ей казалось, что она этого и не сумеет сделать, и с грустью и жалостью она смотрела на своих внука и внучку, которые так и не узнают о том далеком и прекрасном времени, о тех навсегда оставшихся близкими прекрасных людях...

Сын Крокодила

Первое дело Экправа Морковкина

Морковкин снова открыл папку и опять стал перебирать лежащие в ней листки бумаги. Бумага была чистая, только что взятая у Гришки Варенцова. И папка была чистая, вчера им заведенная. И строгая надпись на папке «Экправ ячейки ВЛКСМ Волховстроя» была им только вчера сделана. И вчера же, на другой день после комсомольского собрания, на котором Степана Морковкина избрали членом бюро и сделали экправом, он, по совету секретаря Варенцова, повесил на дверях ячейки объявление: «Член бюро ячейки по защите экономических прав рабочей молодежи С. Т. Морковкин бывает в ячейке каждый день после работы»...

Гришка посмотрел на объявление, хмыкнул, зачеркнул в слове «каждый» букву «н» и сверху надписал «д», а потом хотел еще зачеркнуть букву «Т», что означало отчество Морковкина — Тимофеевич... Но потом Варенцов все же оставил эту букву и сказал:

— Ты, Степка, только не забюрократься, раз уж стал Степан Тимофеевичем... И главное — без волынки! Обещался каждый день тут сидеть — сиди! А только не жди, что к тебе ребята на прием приходиться будут. А то ты еще повесишь плакатик: «Без доклада не входить»... Ты должен знать, как кто живет на стройке, кого обижают, кто в чем нуждается. И первым идти на помощь. Вот это будет по-комсомольски!

И вот он — на другой же день, — первый посетитель. Зеленый, тощий, нестираная рубашка, видно, не менялась никогда, и под рубашкой ничего не видать... А на ногах опорки

какие-то... Сколько же этому шкету лет? Наверное, четырнадцать... Или пятнадцать?

— Дяденька, возьмите работать на стройку!..

— Да какой я тебе дяденька! Скажешь тоже! И я не контора, не отдел найма... А чего ты стоишь и мнешься? Садись вот на табуретку, спешить тебе некуда, давай поговорим.

— Ни... Я с работы убежал... Узнают — вздрючка будет.

— Тю! Какая такая работа, когда все уже пошабили? И где же ты, пацан, работаешь? Тоже мне рабочий класс! А ну, покажь руки!

Ничего еще не понимая, парнишка протянул вперед худые и грязные руки подростка. Изрезанные ладони были покрыты желтыми плашками мозолей. Такими руками не таскают на базаре лепешки у зазевавшейся торговки, не залезают в чужой карман, не отстукивают на деревянных ложках «Цыпленок жареный». Это были руки пролетария. И столько недетского было в глазах этого полуробенка, что стало стыдно Степану за свой важный голос, за начальственные нотки в нем.

— Как звать тебя?

— Чичигов. Петр...

— Садись, товарищ Чичигов! И рассказывай мне, Петро, где же так рабочих держат. Работаешь где?

— У Масюка... Ивана Николаевича. Работаем, работаем, а ничего не платит. Утром фунт хлеба да вечером фунт хлеба кухарка даст, и всё... А обещался! И деньги, говорил, буду давать, и кормить буду, и под забором спать не будешь... А спим все равно на улице, потому тесно и клопы заели. А кроме хлеба, ничего... Меня ребята послали — пойдти к комсомольцам в ячейку, попросись — пусть примут на стройку. Мы будем стараться... Возьмите, дяденька!..

— Масюк, Масюк... Это что за капиталист такой?

— Он «Всестрой» называется. Мы, говорит, на государство работаем, и кто бузить будет — так сразу в Гепеу... Мне, говорит, стоит только комиссару товарищу Налетову мигнуть, и тебя сразу же, как малолетнего преступника, в тюрьму, за решетку... Дяденька, возьмите! А мне бежать надобно. От Иван Николаевича достанется...

— Никуда ты, Чичигов, не пойдешь! И плевали мы с тобой на этого Масюка!.. Вот капитализму развели! До чего пацанов запугали! Садись поближе да и расскажи по порядку...

...Вот так и влез экправ ячейки Волховстроя Морковкин С. Т. в классовую борьбу с капиталистами, которые, оказывается, у них под самым боком находились... А вместе с ним и вся ячейка, а потом и рабочком, и партячейка, и вся Волховстройка...

«Всестрой» — это простая деревенская хата, налево от моста через Волхов, позади шумной и грязной дороги. От других

нескольких деревенских изб, что еще остались на стройке, она отличается только тем, что вокруг нее лежат целые горы обрезков жести, деревянной щепы, кожаных лоскутов, разбитых ящиков. И у двери есть вывеска большими буквами: «ВСЕ-СТРОЙ». А пониже совсем маленькими: «Артель на паях — Масюк И. Н., Сабуров С. Е. и К°». Морковкин долго рассматривал вывеску. Как же это он раньше не замечал ее?! «...и К°». Это значит компания?.. Интересно посмотреть на эту компанию! Степан решительно подошел к двери, с силой открыл ее и вошел в избу.

Он на мгновение задохся от резкой вони гнилой кожи, столярного клея, кислоты, плохой махорки. Изба была полна людей. Впрочем, не рабочих, а ребяташек, скорее. Худые, грязные, некоторые с сигаркой в зубах, они сидели на маленьких табуретках и что-то делали с жостью, чинили рваные ботинки, сколачивали какие-то кадушки... В углу сидел вчерашний знакомый — Петр Чичигов. Увидев Морковкина, он залился мучительной краской страха и еще ниже опустил голову.

— Здравсте, товарищи!

Ему не ответили. На него глядело множество глаз, в которых было неизвестно чего больше: усталости, любопытства или надежды.

— Чем могу служить, гражданин?

Из-за печки вышел плотненький человечек средних лет, в железных очках, с лысинкой, с услужливой улыбочкой.

— Вот интересуюсь, как и что... Что тут парнишки эти делают? И соблюдают ли советские законы?

— Это какие же законы?

— А которые, гражданин и К°, защищают рабочую молодежь от всяких там эксплуататоров!..

— А с кем имею честь?

— А имеете вы честь толковать с представителем комсомола. А я есть экправ ячейки Морковкин и интересуюсь положением рабочей молодежи.

— Интересуйтесь, гражданин Петрушкин, на здоровье...

— Не Петрушкин, а Морковкин... Но это все равно. Я тебя, гада, эксплуататора малолетних, выведу на чистую воду! Голодом ребят моришь! Где зарплата? Где спецодежда? Где тут у вас охрана труда? Капитализм тут развели! Как при Николае! — Степан сорвался на крик.

Он забыл все наставления Гришки Варенцова, весь точно разработанный план разоблачения этих буржуев, эксплуататорщиков... Он задышался от нахлынувшей злобы. Еще немного, и он схватил бы за горло этого лысенького паразита со сладкой улыбкой и железными кулаками... Но Масюк был совершенно невозмутим...

— За оскорбление ответите перед советским судом, гражданин Морковкин! Прошло это время — травить честных негодяев! Здесь все по закону делается! Работаем согласно патента и генерального договора с государственной организацией по строительству гидроэлектрической станции. И прошу не срывать выполнение указанного договора!

— Ты тут рабочих начисто приморил!..

— Это я рабочий. Да-с... А эти вот — это ученики, а не рабочие. И учатся профессии согласно их личной просьбы и письменной договоренности с артелью «Всестрой», зарегистрированной в уездном исполкоме... Вынужден буду обратиться к полномочному представителю договорной организации, к смотрителю зданий товарищу Налетову с требованием пресечь ваши незаконные выступления, товарищ Петрушкин! И прошу-с очистить помещение артели. Пожалуйста, выход прямо!..

Захлопывая за собой дверь, Морковкин напоследок еще раз взглянул на спокойно-наглое лицо Масюка. Кулаки Степана сжмались, он тяжело дышал... Ах, буржуйский пес! Еще на советские законы кивает! Но и он, экзправ, хорош! Раскричался, как пацан какой! Ну, да ничего, свое возьмем! А этот смотритель зданий, Налетов этот, — кто ж такой? А?

И вдруг он отчетливо вспомнил Налетова, его гладкое, млажавое лицо, прилизанные черные волосы с прямой ниточкой пробора, белые, какие-то немужские маленькие руки, постукивающие папирасой по коробке дорогих «Посольских»... Ну как же, есть такой! Еще выступал недавно на заседании рабочкома и жаловался, что «недисциплинированная молодежь громким распеванием песен после отхода рабочих ко сну дезорганизует внутренний распорядок в рабочих общежитиях и этим в известной мере снижает производительность труда, каковая является главной на данном этапе...». Еще Гришка Варенцов его тогда спросил: «А что, товарищ Налетов, больше дезорганизует: распевание песен или распивание самогона? И откуда берется самогон?» Налетов тогда сверкнул глазами на Гришку и спокойно ответил: «Самогон никогда не употреблял, и не употребляю, и им не интересуюсь». А Ксения Кузнецова еще сзади крикнула: «Ну да, зачем ему самогон! Он в «Нерыдае» мадеру пьет! С нэпманами!..» Так вот этот-то Налетов, значит, и подписал с этим Масюком договор? Эх, пощупать бы этого смотрителя зданий!..

Варенцов не согласился со Степаном. А у того был план простой и решительный: пойти с председателем рабочкома Омудевым в эту самую артель «Всестрой», разогнать всю эту буржуйскую банду, запечатать избу, мальчишек в Ладожский детский дом, а Масюка и К⁰ — в милицию, как эксплуататоров. А Налетова потянуть за халатность! И вся недолга!..

— Тебе не экправом быть, а ротой командовать! — недовольно сказал Гриша Варенцов. — Рабочком не может вот так, с бухты-баракты, запечатывать разрешенную артель. Тебя Григорий Степанович обсмеет за такое... И ребят в детский дом нельзя — они уже большие, небось по пятнадцати лет. Разбегутся ребята, станут беспризорничать, а Масюк чистым выйдет. И ничего не докажешь. А Налетов — это гад, точно я тебе скажу, — он тут всему делу голова, и с ним нужно осторожненько и с умом! Ты Клаву Попову ведь знаешь?

— Монтажницу?

— Ну да.

— А чего ее не знать? Знаю. А она при чем?

— У нее отец бухгалтер. Да и она раньше в конторе работала. Пусть через отца — чтобы без шума! — разузнает: что это у Налетова за договор такой с этими нэпманами... Чтоб нам без времени не вспугнуть...

— Да ведь она с отцом в контрах... Или помирилась?

— Ох, Степан, оторвался ты, я вижу, от масс! Про своих же комсомольцев ничего не знаешь! Да помирилась она, из общежития переехала. Отец-то ведь ее ничего, только когда-то хозяева ему голову забили. Так вот: действуй через Клаву.

Нэпманы и короли

И тихонькая Клава Попова все разузнала. Да, смотритель зданий заключил договор с частной артелью «Всестрой» на изготовление и поставку строительству кадушек, ведер, чайников, кружек... На починку спецодежды... На какие-то жестяные трубы для бараков. И не просто это все разузнала, а еще и сказала: по договору с Волховстройкой Налетов дает артели материал — белую жесь, кожу, гвозди, всякую всячину. А отец ей намекнул, что этого всего столько дано «Всестрою», что во всех бараках на каждого рабочего должно приходиться по одному чайнику и по несколько кружек. А сколько их на самом деле?..

Когда через несколько дней Морковкин с инспектором по охране труда пришел в артель «Всестрой», он сразу же застонал про себя: «Ох, дурень я! Вспугнул прохвоста! Все испортил!..» Ребят в артели было вдвое меньше. Самых маленьких и не видать было. Сидели какие-то взрослые дядьки и лениво, неумеючи колотили молотками. Масюк не удивился приходу Степана и инспектора. Он быстро выложил на стол все бумаги, и в этих бумагах все было в полном порядке. Артель зарегистрирована — вот патент. Ученики взяты по закону — вот их заявления... И зарплата им выдается по закону — вот ведо-

мости... Видите — расписки везде, кто сам подписался, ну, а кто по малограмотности, натурально, крестик поставил своей, значит, ручкой... Вызывали ребят, спрашивали... И каждый, теребя рукой новенький, только что надетый фартук (и спец-одежда у каждого — как же, все по закону!) и не подымая головы, подтверждал: да, все правильно. И зарплату выдают. И кормят. И спать есть где... А вечерами работают, потому что всем места не хватает. Некоторые, значит, днем работают, а некоторые вечером...

Масюк разговаривал только с инспектором. На Степана он не обращал никакого внимания, как будто его и не было. Масюк захлопнул папку с бумагами, протянул инспектору руку лопаточкой, выскочил вперед и с поклоном открыл дверь...

— Ну вот, товарищ Морковкин! — недовольно сказал инспектор.— А ты панику разводил. «Эксплуататор! Эксплуататор!»! А тут все по закону... Да и вообще, не мое это дело за артелями следить. Мне и на стройке дел хватает!

— Хватает! То-то я вас два дня с огнем искал — не мог найти! И ни один рабочий на стройке вас в лицо не знает... Инспектор! Едите советский хлеб, а за что — неизвестно!..

— Я вас попрошу, товарищ Морковкин...

— Проси, проси... Да посильнее! Ты еще, видно, с комсомольцами дела не имел, думаешь, что их упросить можно... Еще нас попомнишь!..

...Вечером, когда стемнело, Степан подошел к «Всестрою». Он подождал, когда по нужде выскочил из избы какой-то парнишка, и кликнул его.

— Петьку Чичигова знаешь?

— Петьку Косого, что ли?

— Ну, пусть косога... Шепни ему тихонько — пусть выйдет... Да чтоб этот ваш Масюк не слышал.

— А его нету. В «Нерыдай» гулять пошел Иван Николаевич.

— Пусть пока гуляет... Зови Петьку-то.

Ну что взять с этого парнишки! Да и с других... Конечно, их Масюк до смерти запугал. Сказал, что, ежели кто пикнет, выбьет из него весь хлеб, что поел... а потом — в ГПУ и в тюрьму... Ведь про всех все знает — кто когда стибрил на базаре, кто из детдома сбежал... Куда от него денешься!.. Только и вздохнешь полегче, когда вечером уходит в «Нерыдай». Почитай, на всю ночь... А сегодня придет пораньше — забирать баки и змейки...

— Это какие змейки?

— Такие. Из жести делаются.

— И часто вы их делаете?

— Да бывает, что часто. Он их всегда ночью забирает.

— Ты-то, парень, знаешь, для чего эти баки да змейки делаются?

— А чего не знать? Для самогона.

— А кто их забирает? Ну, которые с Масюком приходят?

Петя молчал. Все оживление, с которым он рассказывал Морковкину про то, как работают они по двенадцать часов, как спят по очереди на лавках и составленных табуретках, с него слетело. Он почесывал свою босую ногу другой ногой, переминался и вздыхал.

— Про этих нельзя говорить... Как скажешь — амба. Убьют и скинут за плотину... Короли...

— Это которые, бубновые?

— Они самые.

Час от часу не легче! «Бубновыми королями» звали себя на Волховстройке воры да бандиты, слетевшиеся сюда, где милиции поменьше, людей побольше... Это они несколько недель назад у плотников получку забрали, это они пьяные драки устраивают, раздевают выпивших. Вот в какой узелок попал ты, экправ! Ну, он им покажет, что значит Морковкин! Стало быть, этот Масюк из государственной жести делает еще и самогонные аппараты да и сбывает их через бандитов! А дает им эту жесь Налетов, смотритель зданий!.. Хорош гусь! За производительность труда воюет!

В ячейке Гришки Варенцова не оказалось, и на этот раз Степан свои стремительные планы осуществлял без всяких препон. Милиционер, которого не без труда разыскал Степа, выразил готовность ничего не откладывать и преступников застигнуть на месте. Он поправил портупею, надел смушковую шапку с красным верхом, кликнул своего товарища, и они быстро пошли в сторону моста. По дороге встретили Сеню Соковнина из механической, и, когда он узнал от Степана, на какое дело идут, глаза у него засверкали, и он сразу присоединился к Морковкину и милиционерам. Вчетвером они подошли к избе «Всестроя» и вошли в помещение.

— Легавых-то зачем!? — с отчаянием шепнул Морковкину Петя.

Масюка в избе не было. Вскочив со своих мест и сгрудившись в угол, мальчишки с любопытством и страхом смотрели, как милиционеры шарят по избе. Да шарить особенно не пришлось. Три аккуратно сделанных бачка стояли в углу. А за печкой лежали змеевики, да два недоделанных еще только паялись...

— Ведра на полтора, — с удовлетворением сказал милиционер, встряхивая бачок. — Ну, где же хозяин? Сейчас протокол будем составлять.

Хозяина все не было и не было. А Морковкину не терпелось скорее увидеть Масюка. И сколько же можно ждать этого гада? Тем более, что известно, где он находится...

— Масюк в «Нерыдае». И, по-моему, надо туда пойти

и прямо на месте взять его. Со всей компанией... И сюда привести — носом ткнуть в его производство, — предложил Степан милиционеру.

Милиционеру тоже скучно было сидеть в вонючей избе, и он охотно согласился с Морковкиным. Во «Всестрое» оставили другого милиционера с Сеней Соковниным, а Степан со старшим пошел за Масюком.

Никогда раньше Степан Морковкин да и любой из комсомольцев не бывали в этом заведении. Некоторое время назад приехали из Питера какие-то жучки, сняли на окраине двухэтажный деревянный дом, наняли плотников, и они им быстренько сломали внутри дома перегородки, внизу сделали пивную с буфетом, а наверху, в большой горнице, наставили столы, сколотили стойку, соорудили вроде большого крыльца в углу — для гармонистов и тех, кто чечетку пляшет... У дверей повесили два больших фонаря и вывеску: «Ресторан «Нерыдай»... И пошло!.. Смекнули эппманы, что на Волховстройке тысяч пятнадцать человек, что заработки большие: по сто — полтораста в месяц получают плотники, а другие и побольше, что слетались на стройку разные людишки: и клёшные ребята, которым на Лиговке в Ленинграде неуютно стало, и кулачки из дальних деревень... Всю ночь горят огнем окна этого кабака со странным названием, всю ночь несутся оттуда пьяные крики, вой гармоники, треск чечетки... А после полудня стоят возле «Нерыдая» женщины и ловят своих загулявших мужей.

Степан с милиционером подымался по грязной лестнице. Ему было и противно и любопытно... Что же это за ресторан такой? В дымящем, накуренном зале было тесно. За столиками сидели люди с красными, потными лицами, с остекленевшими глазами. Между ними пробегали половые — юркие мужички в белых передниках, с грязными полотенцами через левую руку. Ни одного знакомого лица! Ни одного из тех, кто делал бетон, взрывал камни, монтировал машины... Это были всё чужие, и он был чужой среди них, и это было приятно и немного жутковато.

Но вот и знакомое лицо!.. Даже не одно... За дальним столиком в углу сидел смотритель зданий Волховской стройки. Видно было, что он очень пьян, но лицо его оставалось, как всегда, бледным и неподвижным. Он по-хозяйски, не глядя, тушил папиросу в тарелке с остывшим мясом и что-то говорил людям, с которыми сидел за столом. Среди них Морковкин увидел и мясистое лицо с наглыми глазами за стеклами железных очков. Вот он, Масюк! Недаром, значит, Ксения про Налетова и «Нерыдай» говорила!..

Конечно, что говорил Налетов, нельзя было услышать. Да и вообще ничего нельзя было услышать в пьяном шуме «Нерыдая». На эстраде женщина, одетая под цыганку, размахивала

широченными юбками, отчаянно дергала плечами и, разводя в сторону давно не мытые руки, визгливо пела:

Стаканчики граненые
Упали со стола.
Упали и разбились...
Разбита жизнь моя!

Три слепых гармониста позади нее равнодушно растягивали мехи своих инструментов и смотрели на зал немигающими, незрячими глазами. В зале пели, кричали, ругались, и никто не обращал внимания на Морковкина и милиционера. Нет, заметили! Людей возле Налетова как ветром сдуло!.. И Масюк приподнялся, но Степан протянул руку, и Масюк снова опустился на место.

— Спокойно, гражданин Масюк! Вот он, товарищ милиционер! Эксплуататор и фабрикант самогона! А этот, видно, тоже замазан, и его надобно тоже прихватить!..

Но Налетов не смутился. Лицо его оставалось, как всегда, спокойным, уверенным. Он лениво сказал милиционеру:

— Возьмите этого гражданина и выясните обоснованность обвинения. А завтра я лично позвоню начальнику уездной милиции. Меня вы знаете?

Милиционер знал. И Налетова не прихватил. Масюк покорно пошел за милиционером. Он шел, не обращая внимания на торжествующее горячее дыхание Морковкина, не замечая его; он ковырял в зубах спичкой и даже напевал какую-то песенку. И только в своей артели, когда он увидел чужих людей и самогонные аппараты, разложенные на верстаках, он раскричался, буйно топя ногами, сжимая кулаки:

— Байстрюки, шпана проклятая! Я их пожалел, из-под заборов взял, я их на мастеров учил, сил своих не жалел, а они, негодяи, вот что стали делать!! Я, значит, ухожу, верю им, а они самогонные штуки делают! Да еще из государственного, значит, сырья! И продают их невесть кому! Вот благодарность-то, товарищ милиционер! Помогай им после этого! Учи! Корми! Выводи в люди! Составляйте сразу же протокол! Не жалейте их, подлецов! В тюрьму их за такое!..

Всего ждал от Масюка Морковкин, но не такого! А главное — ничего он с этим наглым враньем не мог поделать. Милиционеры вызывали мальчишек, и они, уткнувшись глазами в пол, бубнили, что не знают людей, которые просили их делать баки да змейки... И не знают они, для чего их делали... А Иван Николаевич и не ведал про эти штуки... А им — да, обещали денег на папироски и ириски... И Петька, Петька Чичигов, он тоже что-то мямлил и не сказал правды. И милиционеры составили большой протокол, подписанный детскими закорючками и крестами и размашистой фамилией

Масюка. А Морковкин отказался подписывать протокол. И Себе Соковнину запретил.

— Комсомольцы под липой не подписываются! И вы, товарищи, представители Советской власти, зря уши развесили... Тебе, Масюк, сухим из воды не выйти! Это я тебе, экплав Морковкин, говорю! Ладно! Забирайте это масюковское изделие и айда! Не жди добра, нэпман проклятый! Тебе от нас жизни все равно не будет! И Налетову твоему тоже не будет!..

На вилы!

...Ах, как же нехорошо было Степану на другой день! Сидя напротив Омалева и Варенцова, он себя чувствовал, как те мальчишки, что вчера...

— Вонитель! Все сам, все сам! Наполеон какой нашелся! За тобой весь комсомол, вся партячейка, весь рабочий класс волховстроевский, а он, видишь ли, один все хочет сделать! Милиционеров взял, построил — и вперед на крепость капитализма!.. Плохо, Варенцов, учите комсомольцев! Ну, чего, чего мальчишек этих в милицию вызывать? Уже ходили сегодня в артель эту, никого уже нет, ни одного! Напугал их этот Масюк, шеи им накостылял да и разогнал... И прячутся, бедняги, кто где — тюрьмы, видишь, боятся... А ты, Морковкин, не помог им, а только нашумел, и нет тебя! Про все непорядки надо рабочим рассказывать, и тогда за тобой сила будет! И Налетова за ушко сразу же вытащат, и ребятам помогут, и кабак этот — «Нерыдай» — закروют... Не ты, Морковкин, с милиционером, а рабочие это должны сделать... Видел, как у нас на стройке «Крокодил» читают? Как приходят к нам в рабочком люди да и говорят: «Пора, дескать, таким-то и таким — вилами в бок!» Вот и вы, комсомольцы, беритесь за вилы, а не за наган. Каждому свое!

Когда сердитый Омалев ушел, Гриша Варенцов сказал:

— Ну, давай писать!

— Куда?

— Не куда, а что! Давай напишем все как есть. И про Масюка и его эксплуататорство, и про пацанов этих запуганных, и про то, как из государственной жести самогонные аппараты делают! И про королей бубновых, что при белом свете орудуют! И про этого гада — про Налетова! И вывесим — пусть все читают! Юрка Кастрицын нам нарисует не хуже, чем в «Крокодиле»... А наверху напишем: «Вилы в бок!»

Два дня в комсомольской ячейке можно было только стоять у дверей или у стен. Стол и табуретки были сдвинуты в угол, и на полу вокруг разложенных на нем листов бумаги работали

ребята. Да, там было все. И про Масюка и его малолетних рабочих. И про «Нерыдай». И про то, как делаются самогонные аппараты. И про Налетова.

Юрка с Петей Столбовым рисовали, и, глядя на их рисунки, невозможно было не смеяться... До чего же был похож Налетов с папиросой в тонких губах! У него, у нарисованного Налетова, было десяток рук, и каждая занималась делом: одна таскала со склада жечь, другая держала самогонный аппарат, третья получала деньги от бандита в лихой кепке, с ножом в руках, четвертая размахивала бутылкой вина... И Масюк нарисован был в виде паука, с очками на маленьких змеиных глазках. Он сидел в центре паутины, в которой запутались оборванные детишки. И как же смешно выглядели милиционеры на тонких заячьих лапках, с красно-серыми своими шапками, похожими на длинные уши трусливого зверька!.. И инспектор по охране труда с завязанными глазами играл в салки, и ему злорадно показывал кукиш все тот же Масюк... Словом, много было интересного нарисовано на этих листах бумаги. А из фанеры выпилили большого крокодила, разрисовали его зеленой краской и сунули ему в руки вилы, на которых болтались всякие там пьяницы, спекулянты и прочая нечисть.

— Как подписывать будем? — спросил Юра Кастрицын, задумчиво почесывая концом кисточки голову.

— «Боевой крокодильский отряд!» — предложил Степан.

— Опять отряд! Все ему по-военному! Мы ведь разборы... Ну, не разборы, а юнкоры — это все равно. И давайте мы подпишемся вот так: «Сын Крокодила». А?

И предложение Гриши Варенцова было всеми принято.

И днем и вечером стояли люди у клуба, перед новой комсомольской газетой. Читали и смеялись рабочие, укоризненно качали головами женщины в платках, внимательно рассматривали рисунки инженеры и техники. И шведы стойкой пришли посмотреть, и переводчик им говорил, что там написано, и шведы громко хохотали и хлопали друг друга по плечу. И пришел сам Графтио и читал про себя, брезгливо шевеля губами. А потом обернулся к стоящему рядом начальнику работ и с отвращением сказал Пуговкину:

— Гнать, гнать всю эту шваль со стройки надо, Василий Иванович!..

И мелькнуло в толпе белое лицо Налетова, и люди его сторонились, как бы не желая замараться.

А через два дня, когда Степан поздно вечером выходил из ячейки, в коридоре его остановил терпеливо ожидающий парнишка, босой, с нечесаными волосами.

— Ха! Чичигов Петька!..

— Ага, я...

— Ты откуда взялся? А другие ребята где? Здесь, с тобой?

— Нет, в Дубовиках да в Гостинополье прячутся... Иван Николаевич сказал: увижу здесь — убью! Возьмите нас на стройку!.. Чтобы как все...

— А что, и возьмем! Броню на подростков получили сегодня. Кому шестнадцать есть, возьмем! По шесть часов будете работать. И учиться будете. И общежитие дадим. Вы, ребята, не думайте — мы вас из капитализма вырвем!

Они шли по темной улочке, выползающей из широкого Волховского проспекта. От забора отделилась какая-то темная фигура. Другая маячила позади...

— Ты, что ли, сын Крокодила?..

Морковкин не успел ответить. Он увидел над собой занесенную руку и привычно бросился в ноги нападающему. Тот тяжело грохнулся через него. Степан вынырнул, ткнул головой в живот другого бандита и бросился бежать. Далеко впереди себя он слышал обезумелый топот босых Петькиных ног и его истошный крик: «Дяденьки! Убивают!..» Морковкин слышал сопенье догоняющих его «королей»... Он перескочил через низенький забор инструменталки и увидел, как из дверей мастерской вышел машинист Куканов и раздвинул руки, как бы желая обнять бегущих по улице парней. И он их обнял... Да, видно, не просто, потому что те рухнули на землю... Степан сразу же бросился к ним, схватил своего противника за руку и с силой завернул ее за спину... Морковкина не учить было драться, он это дело проходил на самой буйной окраине Новгорода и знал, что главное в драке — не давать врагу подняться...

Но вокруг уже были какие-то люди и звучали знакомые голоса, и когда Степан поднялся с земли, то ему показалось, что вся ячейка здесь... Ну, не вся ячейка, а достаточно ребят, чтобы свести двух бандитов в милицию...

В коридоре милиции маленькая горячая рука схватила Степана и потащила в сторону.

— Дяденька! Иван Николаевич здесь!

— Где?

Петя Чичигов повел его вправо... Дверь кабинета начальника была открыта, и Морковкин увидел, кого там допрашивают. Масюк был без пояса и без очков, маленькие его глаза настойчиво следили за рукой начальника, быстро бегавшей по бумаге. А напротив Масюка, опустив на колени руки, сидел сам смотритель зданий. Лицо Налетова было блее обычного, и мелкие зубы блестели в узенькой щелке губ.

...А суд был громкий. Не где-нибудь, а в самом клубе. Набилось человек семьсот... И рассказывали на суде про то, как ребят морили голодом, и как для всей округи Масюк делал самогонные аппараты, и сколько денег Налетов получал от спекулянтов, и как эта шайка с бубновыми королями стакну-

лась,— про все рассказывалось в длинном зале волховстроевского клуба.

А когда суд кончился и милиционеры с наганами в руках увели из суда Масюка, Налетова и всех других, которых судили, Омулев подошел к комсомольцам и хлопнул экправа ячейки по плечу:

— Ну, крокодилские дети, что же это пылится ваш «Крокодил»? И вилы пустые! Или на стройке беспорядков больше нет? Думаете, что если несколько человек шпаны забрали и «Нерыдай» закрыли, стало быть, вам уже и делать нечего? А что в рабкоопе женщины чуть ли не на кулаках продавца вынесли, не слыхали? А за что? А правда, что в нашей школе ребятишки на газетах пишут? Не слыхали? Что же вы? Давайте, раз взялись!

На окраине, где-то в горюде...

Почем фунт лиха?

Ни к одному человеку кличка не приставала так быстро и прочно, как к ученику слесарной мастерской Антону Перегудову! Чуть ли не на второй день появления его в ячейке рыжий насмешник Юрка Кастрицын почему-то прозвал его Антоном-горемыкой... Потом выяснилось, что есть книга такая про мужика при царизме. Антон Перегудов горемыкой не был, и никто его таким не считал. Наоборот, был он счастливый из счастливых. В счет ученической брони попал не куда-нибудь, а в слесарную мастерскую, где его обучал не какой-то хлюст вроде этого Юрка, а самый известный и опытный на всей Волховстройке слесарь и машинист. Петр Иванович Куканов был человеком суровым, и зря слова на ветер не бросал. А сказал, что из Антона выйдет толк, то есть настоящий слесарь.

Беда была только в том, что он сказал не Антон Перегудов, а Антон-горемыка... Потому что все без исключения стали его так звать. А однажды в списке на получение прозодежды было написано: «Антон Горемыкин». Кладовщик не хотел выдавать Антону брезентовый фартук потому, что Антон упрямо твердил, что он не Горемыкин, и что он будет жаловаться самому Омутеву на безобразие, и что еще про это напишет в Москву в «Комсомольскую правду»... Кладовщик фартук выдал, но сказал, что такой упрямый пацан, как этот Антон-горемыка, еще узнает, почем фунт лиха!..

И действительно, через некоторое время Антон вдруг понял, что знакомства с фунтом лиха ему не избежать.

После жизни в Дубовиках, где он никогда не видел на руках у отца больше пяти рублей, он, Антон, стал получать целых двадцать два рубля в месяц! Это были деньги огромные, неслыханные, невиданные. В первую получку он даже не понял, что же с ними делать и куда эту прорву денег девать! Тем более, что и за квартиру платить не надо было: в общежитии он, как ученик, ничего не платил и еще бесплатно было ему выдано одеяло, две простыни и наволочка, которую он набил тонкой претонкой стружкой. И за все это — ни одной копейки из своих двадцати двух рублей!

Антон не переставал радоваться за себя и товарищей, и, когда в ячейке возникла большая буза с конторой насчет сдельщины, он насмерть и почти на всю жизнь поссорился со своим товарищем Пашкой Кореневым. Но тут надо объяснить, что это была за буза и кто такой был Пашка Коренев.

Учеников в слесарной мастерской было девять ребят. Конечно, были ученики и в столярке, и на бетоне, и на монтаже — везде действовал закон: обязаны брать учеников, учить их и еще платить им за это деньги. Целых двадцать два рубля — больше двух червонцев!.. Настоящий слесарь с разрядом — тот зарабатывал и пятьдесят и шестьдесят, а то и больше рублей. Кто сколько выработает, потому что они работают на сдельщине, а ученики на ставке. Двадцать два — сколько бы ни сделал. И вот контора задумала ребят перевести на сдельщину. Конечно, Антон свои двадцать два рубля может выработать запросто. И не двадцать два, а поболее. А вот Пашка Коренев и без разряда мог бы выколачивать все тридцать. А то и сорок... Ничего не скажешь — самый лучший ученик Пашка! И руки у него золотые! Только душа жадная... Ведь остальные-то ученики — и Степка, и Федя, и Гриша, и другие ребята, — им-то свои двадцать два рубля никогда не выколотить! Только-только научились напильник и молоток держать в руках, куда им!.. И справедливо, что держат учеников на ставке. Ячейка подняла бузу против конторы. Сначала в самой ячейке бузили. Пашка и еще несколько ребят выступали за сдельщину — дескать, скорее научатся, за деньгами будут тянуться, и государству выгоднее. Режим экономии это называется... Но экправ Степа Морковкин доказал, что никакой это не режим экономии, а зажим молодежи. Кто же пойдет учиться на девять рублей? Выходит, что кто пошибче, тот и будет сверху — как при капитализме!.. Нет, пусть будет у всех ставка, а как научатся, пожалуйста, сдавай пробу, получай разряд и зарабатывай себе на сдельщине, сколько навтыкал!..

Крик был в ячейке страшный. И не столько в ячейке, как потом, когда уходили с собрания. Антон на собрании не горазд выступать, только с места кричал. А когда кончилось собрание, сказал Пашке Кореневу, что он, Пашка, подлипала, подпевала

и во времена царизма таких оформотов, как он, на тачке с завода вывозили... На тачку — и в канаву с грязью! В ответ Пашка двинул ему в ухо... Ребята их растащили, и с тех пор они не разговаривают, хотя и живут рядом в общежитии и в мастерской тиски их рядом..

Но Гриша Варенцов и Степан Морковкин ходили в рабочком к Степану Григорьевичу. И Омурев сказал, что не допустят они нарушение советского закона. И пришла бумага из Ленинграда со строгим запретом нарушать закон. Плати ученику двадцать два рубля и давай ему бесплатно койку, и одеяло, и две простыни, и наволочку, потому что это молодой рабочий класс и он еще себя покажет!

Но вот получает Антон свои двадцать два рубля и вдруг начинает ловить себя на мысли — ужасной, шкурной и стыдной мысли, — что ему этих громадных денег не хватает!.. И не один, не два раза Антон на клочке бумаги начинает считать свои доходы и расходы.

Значит, так.

Больше всего денег уходит на обед — девять рублей и шестьдесят копеек в месяц. Завтрак и ужин это подешевле: восемь рублей и сорок копеек. В столовую уже не ходишь, перекусил колбасой или молоком или варенец на рынке купил, да булка еще теплая — и сыт всегда, и недорого это стоит. Теперь, в комсомол двадцать две копейки... И столько же в кассу взаимопомощи. Каждый месяц — на помощь безработным — пятьдесят одну копейку. Каждый может попасть в беду, стать безработным — тут тебе и помощь станут выдавать, не пропадешь с голоду, профсоюз не даст... Теперь в МОПР гривенник. Это святые деньги, идут на помощь тем революционерам, что в тюрьмах у капиталистов сидят. Антон на это не пожалел бы и больше, но членский взнос в МОПР одинаковый для всех — десять копеек. Еще Антон состоит членом Общества друзей воздушного флота — тоже девять копеек. На культурную жизнь — газеты, книги, кино — уходит у Антона целый рубль. Не надо думать, что это маленькие деньги! Нет! Библиотека в клубе на Волховстройке набита книгами. Антон читает там прямо собраниями сочинений. Прочел собрание сочинений Джека Лондона, прочел собрание сочинений еще такого заграничного интересного писателя Джозефа Конрада, начал читать собрание сочинений Свирского. Это наш писатель, но тоже пишет про необыкновенное: приключения там, тюрьмы и жизнь ну просто ужасную! И журналы в библиотеке берет — «Мир приключений», «Вокруг света».. Газет — полно! А «Комсомольская правда» и «Смена» так всегда в ячейке лежат. Конечно, когда кино в клубе — радобно платить гривенник. Но это когда как... Бывает частенько, что и так смотрит — есть такой у Антона секрет в клубе... В общем, рубль на все это вполне

хватает. Сколько же потрачено? Двадцать рублей. И остается еще два рубля. На «прочее»...

Вот это самое «прочее» и есть самое трудное. Оказывается, что человеку, которому вполне хватает денег на то, чтобы быть сытым, сознательным и культурным, ему еще требуются деньги! Антон не курит, так иногда стрельнет у кого... Но ведь он уже взрослый парень, все кругом курят по-настоящему, а он что — хуже других? А самые дешевые папиросы — «Трезор» или «Тары-бары» — шесть копеек пачка... Опять же два раза на маевку ездили. В складчину. Хотели с него, как с фабзайца, полтинник взять, но что он — бедный? Рубль дал, как все! Но самое главное в «прочем» — это одежда...

Антон — парень аккуратный. Работает в прозодежде, бережет ее, огорчается, если пятно поставит. Хотя как ты на работе уберешься от масла? Свою одежду сохраняет и бережет. Штанов, двух рубашек, ботинок ему хватает на год, а то и больше. Но опять же, не маленький он, а взрослый рабочий. Вечером с Лизой Сычуговой шли из клуба — смотрели новое кино «Минарет смерти», — и она спросила:

— Не холодно тебе, Антон, в рубашке одной?..

Спросила по-хорошему, это Антон точно знает. Но ожгло как огнем! Ведь она его только в синей сатиновой косоворотке и видит, никогда ни в чем другом. И решил Антон купить себе толстовку — быть человеком, как все...

Все «прочие» за четыре месяца да еще немало гривенников от завтраков и ужинов ушли у Антона на те тринадцать рублей, что он собрал на толстовку. И тут-то начались страдания Антона, и тут он начал понимать, сколько стоит фунт лиха. За двенадцать-тринадцать рублей толстовку купить можно. Но только у частника. А в государственном магазине толстовка, ну, конечно, получше, стоит ни мало ни много — целых двадцать рублей!.. Таких денег у Антона нет, а ждать ему еще три месяца, пока поднакопятся, невтерпеж!

А штука в том, что есть у комсомольцев закон — у частников ничего не покупать! Закон этот негласный, никто его в протокол не записывал, а все его держатся. Ни одной копейки капиталисту, пропади он пропадом! Покупать все только в госторговле! Потому что хоть и дороже, но зато вся прибыль идет рабочему государству на то, чтобы строить заводы и станции, такие, как их Волховская... А частнику хоть и меньше уплатишь, но на эти вот их копейки они, нэпманы, на рысках раскатывают и в ресторанах кутят... И Антону пришлось очень долго уговаривать свою комсомольскую совесть преступить через этот закон. Ведь действительно ночи сейчас холодные и простудиться очень даже просто. А простудится Антон — будет лежать дома, не работать, а деньги ему все равно идут, государство платит! А то и еще хуже — заболит всерьез, положат в больницу, что

недавно выстроили. Там он будет лежать на мягком, каждое утро ему манную кашу и коллеты на обед, и лекарства, и халат казенный... А вышел из больницы — ему опять незаработанные деньги. Месяц в больнице пролежал, наел на два десятка, а тебе еще и твои двадцать два рубля... Так не выгоднее ли для государства, если он, Антон, заплатит этому проклятому частнику его тринадцать рублей — на, давься! — возьмет у него толстовку и сохранит себе здоровье, а государству во-о-он сколько денег?

Оказывается, совесть можно уговорить!.. Словом, решил Антон покупать толстовку на рынке, у частника. Решил купить, а потом пойти в ячейку к Грише Варенцову и объяснить ему, из каких государственных, а не из каких-нибудь шкурных соображений купил он толстовку у частника, а не в госторговле. Быть того не может, чтобы Гриша его не понял!

Рынок на Волховстройке находился недалеко от наплавного моста. В два ряда стояли там палатки, на которых висели большие и маленькие, красивые и безобразные вывески самого разного содержания. Трудно было себе представить, сколько капитализма собралось здесь, на одном маленьком куске волховского берега!

«В. А. ПОПОВКИН — КОЛОНИАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ.»

«Всевозможные закуски у братьев Зайцевых.»

**«ЛУЧШИЕ АНГЛИЙСКИЕ И ЛОДЗИНСКИЕ СУКНА —
ШЕРСТОБИТОВ И К^о.»**

«Бакалея Григория Первенцева.»

«А. Парамацин — москательные товары.»

«Ешь шашлык из маладая барашка! — у Гоцеридзе!»

«Самая модная мужская одежда лучших портных! — Арк. Попов.»

И в этой пестрой россыпи капиталистических фамилий маленькими, но солидными и надежными островками: «ГОС-ТОРГ», «ТРЕСТ ГОСОДЕЖДА»...

Конечно, только в нашем советском тресте следует сознательному комсомольцу и закаленному пролетарию, почти слесарю, покупать себе толстовку... Антон робко, с какой-то надеждой прошел в крошечный магазин. Вот так и должно быть в их государственной торговле! Лежат на полках аккуратно сложенные, наверно, неизмеримо красивые толстовки и брюки... На плечиках висят пиджаки в большую такую клетку, застег-

нутые на все пуговицы, узенькие, в талию — ну как девчачье платье какое... И брюки к ним дудочкой, самые модные, такие носят только инженеры, когда в клубе бывают танцы. Народу в магазине — никого. За прилавком стоит приказчик и, хотя он не простой, а красный приказчик, но красного-то в нем маловато, на Антона только глазом повел и с места не стронулся...

— Мне требуется толстовка, ну такая, чтобы недорого... — сказал как можно солиднее Антон.

— Толстовок, молодой человек, нет для вас, — ровным и скучным голосом ответил ему красный приказчик. — Обратитесь рядом, к Попову...

Да, доверили пост красного приказчика какому-то обормоту, спелся, верно, с этим «Арк. Поповым»!. Но на сердце у Антона немного отлегло — ну, хотел ведь, хотел купить в госторговле.

И он пошел к ненавистному нэпману с омерзительным и странным именем — «Арк.»... Да, этот тип знал свое дело! Он не посмотрел, что покупатель одет в лоснящиеся штаны из чертовой кожи и выцветшую косоворотку. Он кинулся к Антону, как к лучшему своему другу, обнял за плечи и не переставал говорить:

— Прошу вас, прошу, молодой человек, вы сейчас будете одеты в самом лучше виде — дешево, красиво, на все сезоны, лучший покрой. Товар доставляется прямо из Лодзи и Москвы, сейчас смеряем объем талии, плечи, вот костюмчик на весну, лето, осень, зиму, сносу ему не будет, пожалуйста, цветик вам к лицу, от барышень отбоя не будет...

Антон с трудом перебил этот нескончаемый, облипающий и обволакивающий поток слов. Арк. Попов не стал гордым, узнав, что Антону требуется всего-навсего одна толстовка.

— Есть огромный выбор толстовок, будете выглядеть как ответственный работник, с такой толстовкой обеспечена успешная карьера, внушает доверие, сразу видно, что не шарлатан какой, а одевается в солидной фирме...

Но самая дешевая толстовка в этой солидной фирме стоила дикие деньги — семнадцать рублей!.. Антон несколько раз делал вид, что ему не по душе цвет и пояс на толстовке, он вежливо поворачивался и уходил. Но у самой двери его в два прыжка догонял Арк. Попов и понимающе шептал на ухо:

— Не подрывайте только коммерции и никому не говорите! Только для вас и по большому секрету — шестнадцать рублей! С условием соблюдения коммерческой тайны, только по чистой симпатии...

Симпатии Арк. Попова кончились на пятнадцати рублях. Узнав, что Антону по-прежнему продолжают не нравиться ни

покрой, ни пояс, он перестал его обнимать и рассказывать страстным шепотом про коммерческую тайну.

— Все, молодой человек!.. Разоряться не в состоянии. Одного налогу плачу столько, что работаю себе в убыток. Только скажу вам как брату: купите в другом месте — расползется товар через две недели. Вот так-с!

Антон остановился в дверях. В руке он сжимал туго сложенные, ставшие мокрыми тринадцать рублей. В голове его роились самые разные планы: конечно, у Пашки денег куры не клюют, и ему ничего не стоило бы одолжить до полочки два рубля, но пусть он лучше лопнет, жадина, — никогда к нему Антон не пойдет; можно еще к монтажнице Клаве Поповой обратиться, она простая и добрая дивчина, но не дай бог она проговорится еще Лизе Сычуговой, что у Антона денег на толстовку не хватило...

Тут Антона потянули за руку. Он обернулся. Цыганистого вида мужчина в картузе с ослепительным лаковым козырьком тянул его к выходу и понимающе моргал ему черным неискренним глазом...

— Минуточку! Одну минуточку, молодой человек, выйдем на одну минуточку... Тебе что, толстовка нужна? Пойдем, тут рядом. Таких толстовок ты и не видел — товар первый сорт! Тебе за сколько нужно-то?

— За тринадцать... — механически ответил ему Антон.

— Ну, за такие деньги ты у меня получишь такую, что в госодежде и тридцать отвалишь! Ну, не будь дурнем, айда за мной!

Антон пошел за чернявым. За палатками кишело людьми. На деревянных лотках лежал склизлый студень, деревянный банный ушат был полон желтыми, сморщенными пирожками. Какой-то дядя с осанистой, ровненько подстриженной бородой торговал длинными конфетами, завернутыми в цветастые полоски бумаги, и сахарными кофьками на деревянных палочках. Китаец в синем халате с длинной черной косой протискивался сквозь толпу. Он был обвешан радужной пестротой бумажных фонарей, ветряных мельниц, шаров, корабликов, сделанных из цветной бумаги. Под ногами вертелись черные как черти беспризорные в ватных лохмотьях.

Антон механически протискивался вслед за цыганистым человеком. Они дошли до какой-то палатки, завернули за угол. Чернявый оглянулся и стукнул три раза в дощатую стенку палатки. Дверь палатки открылась, оттуда высунулся человек, осмотрелся. Чернявый подошел к нему и что-то шепнул. Тот скрылся и вскоре вышел. Широкий его пиджак оттопыривался; не глядя, он быстро пошел вперед, чернявый и Антон двинулись за ним. Внезапно он остановился, повернулся к Антону, достал из-за пазухи сверток, развернул его, встряхнул, и перед Ан-

тоном оказалась толстовка. Темно-серая, солидная, с четырьмя карманами и поясом на хлястиках — такая точно, о какой много времени мечтал Антон.

— Ну как, годится?

Антон только смог кивнуть. Левой рукой — в правой у него были зажаты деньги — он с деловым видом пощупал материю: она солидно кололась, толстая, сделанная, видно, на совесть.

— Давай деньги, коль не шутишь!

Антон, не выпуская край толстовки, протянул разжатую правую руку. Чернявый мгновенно смахнул деньги и быстро их пересчитал.

...Фью-ю-ю-ю... Пронзительный свисток где-то неподалеку зазвенел в ушах. Мимо Антона пролетел парень с криком:

— Облава!!! Тикай взад, менты!!!

Антон вцепился в свою толстовку двумя руками. Продавец и чернявый бросились наутек. Антон прислонился к какой-то стенке и стоял, пропуская мимо себя бегущих торговцев мелким товаром, беспризорных, каких-то молодцов в цветных развевающих юбках, парня, обвешанного гиляндами розовых сушек, как матрос пулеметными лентами...

— Кто такой? Что продаешь? Где взял?

Перед Антоном стоял человек, которого он иногда издалека и с почтительным любопытством рассматривал. Серый плащ, фуражка с синим верхом и малиновым околышем — агент ГПУ на Волховстройке... За гепеушником стояли милиционеры.

Вот он, предсказанный когда-то фунт лиха! И не фунт, а потяжелее пуда!.. Антон мгновенно представил себе свое близкое, вот уже наступившее страшное будущее: связь с нэпманами, которые уголовники... Допрос, обвинение в предательстве комсомола: «Нет, ты из этой шайки, скажи, как ты пробрался в пролетариат?! Отвечай!..»

— Ку-купил... Толстовку купил. За тринадцать рублей... Я... я хотел в госторговле, но там нету, а у Арк. Попова семнадцать, а у меня только тринадцать, дяденька тут мне предложил...

— Фамилия? Где работаешь?

— Антон Перегудов я... В слесарной мастерской... Ученик...

— Документ какой есть?

— Нету у меня с собой ничего... Ну какой тут документ?

— Покажи руки!

Ничего не понимая, Антон протянул вперед почему-то сразу побелевшие руки. Агент ГПУ посмотрел на слегка дрожавшие Антоновы ладони — серые от взъевшихся, неотмывающихся стальных опилок, с горбами мозолей...

Внезапно агент ГПУ вскинул правую свою руку к фуражке:

— Можете идти!

Чувствуя спиной глаза милиционера, Антон тихонько вышел на опустевшую улочку между ларьками. Он почувствовал, что задыхается от нахлынувшей жары, сразу стал мокрым от пота. И толстовка перестала казаться Антону красной и желанной, она глупо висела у него на руке. «Еще подумают, что продаю!» — мелькнуло в голове у Антона.

По опустевшей толкучке он вышел к Волховскому проспекту, к общежитию. В комнате все кровати были пусты — воскресенье, разбежались ребята кто куда, — только у кровати Пашки Коренева сидели неожиданные гости: Гриша Варенцов да Миша Дайлер. Они вели какой-то, очевидно затянувшийся, спор и обрадовались приходу Антона.

«Коммуна мозолистов»

— Давай, давай, Антон, сюда. — Варенцов подвинулся, уступая ему кусок Пашкиной кровати. — Мы тут с Павлом спорим, никак не можем дотолкаться. Михаил агитирует комсомольцев устроить комсомольскую коммуну. Понимаешь, собрать ребят, вместе поселиться, чтобы все было общее! А то что получается: у одного две пары ботинок, у другого одна порванная. Отдашь починить, надеть нечего! А тут — взял спокойно у того, кому сейчас не нужно. Опять же: сдал деньги в общую кассу и знаешь — будет у тебя утром пошамать и на ужин... А вот Паша Коренев говорит, что не пойдут на это те, у кого по две пары ботинок. Видишь ли, собственники такие, что и не прошибешь... А ты, Антон, пошел бы в такую комсомольскую коммуноу?

— Он пойдет! — немедленно и нахально ответил за Антона Пашка Коренев. — Он пойдет, чего ему не пойти в коммуноу — у него, кроме двух рубах, и нету ничего! А был бы у него пиджак или толстовка, то подумал бы: для чего мне в коммуноу — у меня есть что надеть!..

— Вот она, толстовка... — Антон вынул из-за спины руку с висевшей на ней толстовкой и аккуратно повесил обновку на железную спинку кровати. — Новая. Только что купил. И хоть сейчас сдам ее в коммуноу... Кому надобно в кино идти или еще куда, пожалуйста! Что я, нэпман какой? Я комсомолец!

— Ну, с толстовкой или с другой одеждой дело проще, — вмешался в разговор Миша Дайлер. — Тут главная заставка в другом. Может все-таки статься, что выйдет такое постановление, чтобы перевести учеников на сдельщину. Ты, Антон, свои двадцать два выработаешь?

— Всегда выработаю! Да и пробу мне скоро сдавать, разряд получу. Не меньше третьего!

— Ну, а Петька Чичигов выработает ставку?

— Не! Петьке Косому больше двенадцати не вытянуть! Плохо у него идет, руки какие-то несподручные...

— Так согласишься ты вступить в коммуны, если Петька будет вносить в коммуны двенадцать рублей, а ты двадцать два, а то и все тридцать? Ведь в коммуне все будет по-ровну!

— Ну, а как же, раз я комсомолец!

— А ты, Мишка? Ты-то в коммуны вступишь или только за нее агитируешь?

Вопрос Паши Коренева был серьезным. На Волховстройку Дайлер приехал не просто, а с направлением какого-то очень ответственного учреждения как специалист по монтажу щита. Таких, как Миша, которые колдовали над дикой путаницей разноцветных проводов и лампочек, было всего-то пять или семь человек. И получал Миша Дайлер неслыханные деньги: больше ста рублей! И хотя Миша был настоящим комсомольцем, никогда не жался, всем одалживал и никогда долгов не спрашивал, но есть же разница: быть ли добрым при больших рублях или же все отдать и быть в коммуне на таких же правах, как Петька Чичигов!..

Дайлер расхохотался, а Варенцов внимательно посмотрел на Пашу.

— Ха-а-а-рошего же ты, Коренев, мнения о своем товарище! Коммуны — это предложение Михаила! Он первый за нее агитирует, первый собирается в нее вступить... Я еще сам не знаю, что из этого получится, а Михаил все уговаривает: давайте да давайте сколачивать комсомольскую коммуны. Туда, Павел, силком никого не тянут! Хочешь жить один — вот тебе твоя койка в общежитии, вот твой сундук под койкой, пожалуйста, комсомольский устав этому не препятствует! А ты, Антон, значит, согласен на коммуны?

— Ага! Вполне согласен! И давайте, давайте назовем ее...— Вдруг Антон вспомнил сегодняшнее утро на толкучке, страх перед агентом ГПУ, вспомнил, как показал он ему свои руки и как этот строгий, неулыбающийся человек вскинул руку и отдал честь его мозолям, как поверил им больше, чем документу.— И давайте мы назовем нашу коммуны «Коммуны мозолистов»!

— Чего-чего? Это почему же так — мозолистов? — переспросил его Варенцов.

Но Миша Дайлер сразу же понял Антона...

— Ох, Горемыка, правильно придумал! Мы в коммуны принимаем только тех, кто работает на общее дело, у кого руки в мозолях, кто не отлынивает от труда... Даешь «Коммуны мозолистов»!!

— Даешь!

И все завертелось...

Нет, не так уж было просто, и ничего нельзя было решить трехчасовым криком на бюро ячейки. Там только утвердили идею Миши Дайлера и выделили организационную тройку по созданию комсомольской бытовой коммуны. В тройку вошли авторитетнейшие комсомольцы: Миша Дайлер, Петр Столбов... А третьим, третьим в эту самую тройку вошел Антон Перегудов! И предложил его сам Гриша Варенцов. И все поддержали единогласно. Первый раз в жизни Антона Перегудова выбрали! Кто бы мог подумать, что так ужасно начавшийся воскресный день закончится так захватывающе славно!..

Первым и главным испытанием «тройки» было посещение Варгеса Ашотовича Атарьянца. С тех пор как исчез со стройки «смотритель зданий» Налетов, полным и настоящим хозяином всех домов общежитий, столовых, даже школы и детского сада стал этот грузноватый человек, с сединой в иссиня-черных волосах, с двумя кустиками усов под огромным носом, с настоящим боевым орденом Красного Знамени на синей гимнастерке. Ходили про него на стройке невероятные слухи: старый революционер, работал в подполье, вез пакет самому Ильичу, потом возвращался, попался белым, был расстрелян... Да выбрался полуживой из ямы, где захоронили красных, полз через пустыню с перебитой ногой... Сколько раз Варенцов его уговаривал на ячейке рассказать про гражданскую войну! Один раз уговорил, и Атарьянец на собрании комсомольцев делал доклад о Красной Армии. Народу набилось в клуб!.. А Атарьянец полчаса покричал про империализм и Антанту, и никто ничего не мог понять из этих гортанных выкриков... А когда после доклада Юра Кастрицын встал и сказал, что комсомольцы просят Варгеса Ашотовича рассказать, как он Ленину пакет вез, то Атарьянец на него покосился и сказал:

— Ва! Как это тебе интересно про всякие приключения слушать! Па-а-чему не спрашиваешь про подвиги Красной Армии, пачему тебе только про приключения? Письмо может доставить любой человек, если у него в галавэ не шурум-бурум, а мозги... А победить могла только наша непобедимая Красная Армия, вот!..

И еще Атарьянец был известен тем, что, выслушав любую просьбу, он первым делом говорил «нэт», а уж потом доставал из кармана гимнастерки толстый красный карандаш и записывал, о чем его просят. И все делал. С тех пор как на стройке появился Атарьянец, уборщицы стали подметать все общежития, в каждом бараке забулькала шведский кипятыльник, в столовых начали подавать суп в настоящих фарфоровых тарелках, а дрова еще с весны укладывались в поленницы за каждым домом. Но с чем Атарьянец не мог справиться — это с голодом на жилье. На стройке уже работало больше пятнадцати тысяч человек. Многие были семейные, и когда начинали строить

новый бревенчатый дом, вокруг него уже ходили и жадно поглядывали десятки кандидатов.

И надо ли удивляться, что, когда трое комсомольцев пришли в кабинет к Атарьянцу и рассказали ему, что хотят организовать коммуну, Варгес Ашотович сразу же налился кровью, выкатил глаза и, задыхаясь, прокричал:

— Нэ-э-т!

И тотчас вытащил красный карандаш и еще раз на бумажке крупно написал: «Нет!»

Антон от страха даже отсел подальше. Но Столбов и Дайлер, видно, хорошо знали, с кем они имеют дело. Петя Столбов пододвинулся поближе и умиротворенно, доверчивым, тихим голосом сказал:

— Ну, Варгес Ашотович, цвет нашей комсомолки будет жить в коммуне!.. Первая и единственная на стройке комсомольская коммуна! Московская «Правда» про нее писать будет! Слава про вас, товарищ Атарьянец, пойдет знаете какая? О!

— Пойдет, пойдет про мене слава! В глаза людям глядеть стыдно будет! Семэйные люди с дэтишками по углам живут, а я, старый дурак, уши развесил и маладым рэбятам целый дом отдал! Нэ-э-т! Кагда я был маладой, на бульваре на скамэйке жил! Ва! Что маладому надо?

— Молодому учиться надо, Варгес Ашотович...— вступил в разговор Миша Дайлер.— Ему нужно место, где заниматься, книги читать, с товарищами разговаривать... А самое главное — будут в нашей коммуне разные ребята, с разными заработками, характерами, они коммунизму будут учиться. И потом — уйдут они из общежитий, освободятся места. Мы же не просим что-то невысказанное...

— Рэбята,— вдруг спокойно и серьезно сказал Атарьянец,— я же знаю, что вы думаете про новый дом, что кончают строить около конторы. Так вот: туда посэлятся семэйные рабочие. С малэнкими детками. Нэльзя, товарищ Дайлер, учиться коммунизму за счет других! Понял? Нэ коммунизму так научишься, а тьфу — просто свинству! Ва! Дом, что около кирпичного завода, знаете?

— Так это же не дом, а халупа... Нежилая вовсе!

— Нэ халупа-малупа, а дом! Чэтыре стэны есть? Есть! Крыша есть? Есть! Пол есть? Есть! Чэго надо? Рэмонт надо. Вот сам рэмонтировать будэтэ. Дам доски, гвозди, желэзо дам, самые лучшие, самые вэселые краски дам! Сам с вами поработаю — пачему нэ помочь маладым товарищам! И у вас будэт: двэ балшие комнаты, и еще кухня балшая, и еще каридорчик балшой... Пальсадник сдэлаем, цвэты, стол паставим, скамэйки, чай пить будэм, харашо. Ва!

— Далековато... На самой на окраине...

— Ай-вай, как страшно! Чего боитесь? Пэсни будэтэ пэтэ — ныкому мэшать спатэ не будэтэ... Ва, как хорошо!

— Ладно, ребята,— закончил дискуссию Дайлер.— Спить тут не о чем, и прав товарищ Атарьянц, и на готовенькое стыдно лезть. Навалимся на эту «халупу-малупу» всей ячейкой...

Когда выходили из кабинета Атарьянца, Петя Столбов вдруг расхохотался.

— Ты чего? — удивленно спросил Дайлер.

— Ну, будем жить, как в песне: «На окраине, где-то в городе, где кирпич образует проход...»

— «Было трудно нам время первое,— подхватил песню Миша.— А потом, поработавши год, за веселый гул, за кирпичики полюбили мы этот завод...»

Прохожие с удивлением оглядывались на трех ребят, с песней вышедших из канцелярии Варгеса Атарьянца...

*

Слова песни о том, что «было трудно нам время первое», часто вспоминались членами первой комсомольской бытовой коммуны Волховстройки..

Потому что легко было отремонтировать дом у кирпичного завода. Ремонтировали его дружно, весело, с песнями. Белые ночи были в самом разгаре, работать можно было допоздна, жалко было расходиться по домам. Атарьянц, как обещал, давал на ремонт все самое лучшее, сам приходил работать, не побоялся со своим толстым животом и хромой ногой лезть на крышу красить ее... И Пуговкин прибегал смотреть и командовать, и Графтио приходил и с молчаливым одобрением смотрел на веселую суетню... Получился из полуразвалившейся «халупы-малупы» — как ее стали звать комсомольцы — веселый четырехоконный домик с железной крышей, выкрашенной зеленой краской, с ослепительно белыми наличниками. Сделали навес над крыльцом, и даже был вскопан и обнесен низким штакетником палисадник.

Да, с этим все было довольно просто. Совсем не просто оказалось скомплектовать коммуну. Начать с того, что отпало предложение некоторых энтузиастов, чтобы все комсомольцы стали коммунарами. В «халупе-малупе» было всего-навсего две комнаты. И в них влезало десять, от силы двенадцать «конодеек» — как странно назывались узкие железные кровати. Первые три члена коммуны — организационная тройка: Столбов, Дайлер и Антон. А заявлений от комсомольцев поступило несколько десятков. И надо было отбирать. Решали о членах коммуны на бюро ячейки.

Сразу же прикончили все заявления девчат.

— Что же я, каждый раз, чтобы на кухню пойти, штаны надевать буду? — спросил Петя Столбов.

И в дружном хохоте всех комсомольцев потонули крики девчат, что без них «халупа-малупа» за две недели превратится в гору грязи... Девчат отвергли. Всех ребят, живущих в семьях, вычеркнули. Долго разбирали заявления тех, кто жил в рабочих общежитиях. Никаких возражений не вызвал Юра Кастрицын. Да и странно было бы, чтобы первая комсомольская коммуна обошлась без веселого рыжеволосого парня — самого большого заводилы в ячейке! И к тому же единственного комсомольца — машиниста экскаватора... Так же дружно включили в коммуны Сеню Соковнина — всеобщего любимца, парня честного и открытого. Взяли в коммуны одного из лучших молодых рабочих столярки. Карпу Судакову с именем и фамилией не повезло еще больше, чем Антону... Каждый остроумец в ячейке называл его по-разному — от Сига Корюшкина до Воблы Стерлядкова... Но был Карп парень свойский, только иногда зазнаваться любил. Стали коммунарами электротехник Володя Давыдов и каменщик Федя Стоянов.

Больше всех споров вызвало обсуждение двух самых непохожих друг на друга ребят. То есть трудно было бы представить, чтобы в чем-нибудь сходились Амурхан Асланбеков и Павел Коренев! Как занесло Амурхана из далекой Осетии на Волховскую стройку, никто не знал. Приехал он уже комсомольцем, был горяч до того, что Юрка серьезным и очень убеждающим голосом советовал Гришке Варенцову не подпускать Амурхана к динамитному складу: «Ну всмотрись, Гришка, от Амурхана же искры летят, взлетишь вверх — этим и кончится!» Спорили ли о том, когда был Третий съезд партии, или о том, нужно ли брать девчат в Красную Армию, — лицо Амурхана принимало зверское выражение, а рука — по утверждению Юры — хваталась за кинжал! Но кинжала у Асланбекова не было, зверское выражение лица пугало только тех, кто его не знал. Потому что Амурхан был парнем невероятной доброты и правдивым до крайности. И если бы не его вспыльчивость, трудно представить лучшего товарища в коммуне. Тихому и застенчивому Антону Амурхан нравился необыкновенно. И был он обрадован, что станет с ним жить рядом, может, почти в одной комнате...

А вот что Пашка Коренев станет членом комсомольской коммуны, — вот этого Антон никогда не ожидал! Ведь Пашка был во всем общежитии самый что ни на есть собственник! Во всем бараке его сундучок был единственным с замком. Большим висячим замком! Хотя — все общежитие знало это! — ничего в этом сундучке, кроме тряпок, не было... Паша был еще учеником и работал на окладе, а у Куканыча больше всего

расспрашивал, как будет работаться на сдельщине, сколько какая работа стоит... И вот этот Паша, у которого зимой куса льда-то не допросишься, взял да и подал заявление в коммуну!

Но самое удивительное было, что Гриша Варенцов, который всех ребят насквозь знал, поддержал Пашку. И выступил против Антона. Чуть ли не впервые тихий, всегда заливающийся краской Антон выступил на бюро против Павла Коренева. Когда Варенцов зачитал заявление Коренева и спросил, кто что сказать о нем хочет, Антон протиснулся к столу и, задышав, сказал:

— Как же так получается? Пашка был первый против коммуны, а сейчас заявление подал! А зачем? Верно, посчитал, посчитал да решил, что ему это выгодно... А для чего нам те, которые из выгоды? А Пашка — он только и делает, что считает. Разве коммунары такие бывают?

— Правду говорит Горемыка! — закричали ребята. — Пашка, он точно все подсчитал!

И тут Гриша Варенцов всех и удивил. Он — самый бескорыстный парень в ячейке, всегда готовый рубашку с себя снять и отдать, — он вдруг сказал:

— Ну и правильно Павел сделал, что подсчитал. И что он вступает в коммуну — хорошо. Значит, коммуна наша выгодна! А для чего устраивать коммуну, если она невыгодна, если от нее нет никакой пользы? Ведь смысл коммуны в том, что она всем выгодна, всем своим членам приносит пользу. Чего ради бы мы ее устраивали, если бы от нее вред был... Значит, нам не надобно Пашку ругать за то, что он идет в коммуну, подсчитав ее пользу. Ну, я понимаю, что Павел парень не общественный. И крепко в нем сидит его крестьянство: все в свой дом, все, что только выгодно ему. Некрасиво это у него получается... Только вот что, ребята, у нас коммуна из одних ангелов коммунистических будет, что ли? Мы же ее и делаем для воспитания, чтобы в ней ребята жили вместе по-коммунистически, набирались коммунистического духа... Ну тогда Пашку надо принимать в коммуну первым! Уж ему-то коммунистического духа ох как не хватает! Давайте, давайте примем Павла, парень он толковый, руки золотые, голова тоже на месте, шарики в ней крутятся. Предлагаю, словом, Павла Коренева принять в комсомольскую бытовую коммуну. Кто «за»?

...Приняли Пашку... А через какое-то короткое время начал Антон думать, что был он не прав насчет Коренева.

«ХАЛУПА-МАЛУПА»

Получив в свое распоряжение настоящий целый дом, всей ячейкой называемый «халупой-малупой», коммунары обживали его со страстью и небывалой энергией. И первым из них был Пашка Коренев. Это он придумывал разные полочки и шкафчики, это по его предложению в палисаднике поставили стол и вкопали вокруг него скамейки, «чтобы приходящие ребята сидели в палисаднике, а не впирались с грязными ногами в комнаты», как он объяснил... Паша не поленился привезти несколько тачек битого кирпича с кирпичного завода и устроить вокруг дорожки, которым не была страшна непролазная грязь после затяжных дождей. Словом, Павел оказался справным и активным коммунаром. И его даже избрали в совет коммуны вместе с Петей Столбовым, который стал председателем коммуны, вместе с Мишей Дайлером. Сам Антон на собрании коммунаров больше всех распинаялся за Юрку Кастрицына. Но Юрка, хитро посмотрев на Дайлера, сказал, что ему по сердцу в коммуне другое дело. И прибавил, что пусть управляют другие, а он с Горемыкой устроит такое, что совет коммуны будет дрожать перед ними, тем более они уже всё отдали и терять им нечего! Конечно, кроме собственных цепей, как это уже указали Карл Маркс и Фридрих Энгельс...

Как скоро выяснилось, совет мог и не дрожать, потому что он никогда не собирался, не заседал и все вопросы решались на собрании коммуны с участием комсомольцев и комсомолок, которые никакого отношения к «халупе-малупе» не имели, кроме того, что торчали в ней все время, свободное от работы, заседаний и сна.

Впрочем, нельзя было понять, когда спали комсомольцы в эти теплые белые ночи. Клуб закрывался рано. После десяти вечера, под напором уборщицы и сторожа, из ячейки уходили наиболее упорные комсомольцы. Где же находятся ребята, можно было догадаться лишь по песням. На обрыве, возле бывшей инструменталки, тоненькие девчачьи голоса, поддерживаемые басом Саши Точилина, рассказывали жалобную историю о том, как казак «кохав, кохав дивчиненьку, кохав, тай не взяв...». «Ой, жаль, жаль!» — возмущался хор такой непорядочностью... По Волховскому проспекту всегда шли в ногу и пели новую, полюбившуюся песню:

В гавани, далекой гавани,
Пары подняли боевые корабли!..

Но, как правильно предсказал умный Варгес Ашотович Атарьянц, песенным центром стала «халупа-малупа». Почти до самого утра там звучали песни, и не было ни одного вечера,

когда бы под гармошку Ромки Липатова не распевали историю про любовь Сеньки на кирпичном заводе. Больше всех от этой песни страдал коммунар Сеня Соковнин, которого все девчата просто изводили этой песней и требованием, чтобы он им объяснил, кого же из них он полюбил... Вот так пели, пока коммунары один за другим не скрывались в дверях «халупы-малупы», пока не высывалась из раскрытого окна рыжая голова Юры Кастрицына и не раздавался его зычный крик:

«Словесной не место кляузе! Геть витсила, черти полосатые! Уже на работу скоро!..»

Цветы в палисаднике так и не развели, клумб перед крыльцом так и не разбили. Вместо клумб и газонов перед «халупой-малупой» ребята утанцевали площадку до состояния гранита. Даже сильный летний дождь ничего не мог сделать с этой плотной, утоптанной молодыми ногами землей. Площадка эта скоро стала местом страстной дискуссии и борьбы с «танцевальным уклоном».

Надо сказать, что «уклонов» тогда было чрезвычайно много. Был «ученический уклон», когда спорили о том, надобно ли комсомольцу ходить в школу учиться или же ему лучше работать на социалистической стройке и уже между прочим усваивать никому не нужные сведения о ведрах воды, перекачиваемой из бассейна в бассейн, и о персидском царе Кире... Был «галстучный уклон»: находились ребята, убежденные, что комсомолец, носящий галстук, отсекает себя от пролетариата и переходит на какие-то сомнительные рельсы, которые, как хорошо известно, до добра довести не могут...

И был «уклон танцевальный» — тот самый, спор о котором разбушевался под окнами комсомольской коммуны. Сначала ребята и не подозревали, как легко можно впасть в опаснейший «уклон». Когда теплым и сухим вечером являлся Роман Липатов с гармонью, всегда начинали танцевать. Танцевали старые, вполне идеологически выдержанные польку, падеспань и, конечно, несколько уклончивый, но обаятельный вальс. Никому в голову не приходило танцевать буржуазные фокстроты и танго, про которые они читали фельетоны в газетах. Мало ли до чего могла дойти разлагающаяся и загнивающая буржуазия?! Ходили слухи, что есть даже какой-то уж совершенно непристойный и из ряда вон выходящий танец чарльстон. Но это уже и вовсе было личным делом мировой буржуазии. Никто и не подозревал о близком родстве с этими страшными и подозрительными выдумками империализма той самой «цыганочки», которую самозабвенно отплясывала Ксения Кузнецова с Мишей Дайлером...

Но однажды у «халупы-малупы» появился, приведенный самим Омуревым, немолодой уже мужчина, лет этак за двадцать пять, представленный председателем рабочкома как «ин-

структор по общественно-массовой работе культсектора губернского комитета профсоюза электриков». Инструктор с нетерпением проводил глазами ушедшего Степаныча, подождал еще пять минут и после этого железным голосом предложил всем бросить свои самостийные и неорганизованные занятия, подойти к нему поближе и послушать, что он о них и их действиях думает. После получасового доклада инструктора стало ясно, что «цыганочка» «по своим ритмам и направленности мотивации» непосредственно примыкает к фокстроту, чарльстону и другим штукам, придуманным буржуазией для отвлечения пролетариата от классовой борьбы.

— Мы против фокстрота, «цыганочки», против танцев, несущих разврат и нездоровые инстинкты! — кричал инструктор, размахивая руками.

Выяснилось, кстати, что мирные дедушкино-бабушкины полька, падеспань и падекатр являются злостными пережитками позднего феодализма и раннего капитализма. И вальс, такой милый и пленительный вальс, в общем, ничем не отличался в своей глубоко зловредной сущности... Вместо этих вредностей и пережитков инструктор по общественно-массовой работе предлагал перейти на наши, пролетарские танцы, которые не только не вредны, но, напротив, вдохновляют пролетариат на созидательную деятельность, вселяют бодрость, «приводя конституциональный скелетно-мышечный аппарат в состояние подвижности»...

Главные положения доклада были немедленно подхвачены и поддержаны теми, кто танцевать не умел: Степой Морковкиным, Карпом Судаковым, Федей Стояновым... Они немедленно обвинили танцующих, и прежде всего Петю Столбова и Мишу Дайлера, в «танцевальном уклоне» и почти сознательном отвлечении пролетарской молодежи от главнейших задач момента... Крик у «халупы-малупы» стоял такой, что пришел Атарьянц, послушал, о чем кричат, так ничего не понял, сплюнул и сказал:

— Ва! Нэужели, кагда я был маладой, был такой же ишак? О чем кричите? Вот уж правду у нас гаварят, что лучше с умным камни таскать, чем с дураком пировать!.. Пачему плохо танцевать?! У нас на Кавказе гаварят, что ум бывает в голове, руках и ногах! Танцуй, пажалуйста! А нэ хатите — слушайте этого ишака!..

И ушел... А крик продолжался. Впрочем, докладчик, оказывается, вовсе не был узким теоретиком. Он обещал на следующий же день обучить пролетарскую молодежь пролетарским танцам.

На следующий день все с нетерпением ожидали прихода инструктора. Юра Кастрицын взгромоздился на скамейку в палисаднике и важно сказал:

— Как общественный заместитель инструктора по общественно-массовой работе предлагаю вам привести свой скелетно-мышечный аппарат в конституциональную готовность... Сейчас под идейным руководством Степана Тимофеевича Морковкина и при непосредственном участии Карпа Ершовича Судакова по-польски вы будете заряжаться бодростью духа...

Но тут все перестали слушать Юрин треп, потому что к «халупе-малупе» подошел сам инструктор. И не один. С ним был еще один человек, который нес в руке футляр невиданной формы с блестящими замками. Он осторожно раскрыл футляр и вынул невиданную, ослепительной красоты гармонию. У Романа, при всей его выдержке, механически открылся рот... Гармонист перекинул на плечо ремень и лениво пробежался по бесчисленному скоплению перламутровых кнопок. Певучий, многоголосый, отдаленно знакомый мотив выскользнул из глубины инструмента. Инструктор действовал загадочно. Он положил на скамейку кусок железа, затем достал из кармана два самых обыкновенных слесарных молотка. Даже самые иронически настроенные ребята затаив дыхание смотрели на проповедника пролетарских танцев.

А проповедник предложил всем танцующим, «не подразделяясь на полы», стать двумя шеренгами друг против друга. Ибо будет исполняться «танец машин». Инструктор долго и занудно объяснял, какие движения следует делать, чтобы было похоже на работу станка. Когда он будет стучать молотками, то все участники пролетарского танца должны стучать ладонями по ладоням товарища, стоящего напротив... После долгих объяснений гармонист заиграл «Мы кузнецы». Ребята стали изображать станки... Инструктор время от времени стучал молотками по куску железа, и все начинали с ожесточением хлопать по ладоням товарищей.

Юра Кастрицын первый вышел из шеренги и, отдуваясь, сел на скамейку. Сразу же рядом с ним сел Дайлер.

— Миша! — не глядя на Дайлера, спросил Кастрицын. — Тебе нравится «не подразделяться на полы»? Насколько я понимаю, из твоих частых наездов в подшефную деревню, ты все же признаешь деление полов... В частности, в танцах. А я не хочу танцевать, как машина! И пусть Степа меня изблещает в кошмарах оппортунизма и ревизионизма, но я люблю смотреть, как ты с Ксенькой откалываешь «цыганочку»... И чего ребята там мурыжатся?..

Но ребятам от «машинного» танца стало непроходимо скучно. На скамейку к Юре и Мише подседа Ксения Кузнецова и авторитетно подвела итог:

— Занудство!

И на этом, собственно, кончилась дискуссия о «танцеваль-

ном уклоне», и инструктор так же незаметно исчез, как и появился.

Новые ветры, штормы и ураганы пронеслись над комсомольской «халупой-малупой». Будущим ее историкам можно было бы узнать немного о ее жизни, если бы им удалось найти измазанные краской и чернилами листы, что время от времени появлялись в коридорчике «Общежития № 13», как значилась в бумагах Атарьянца комсомольская бытовая коммуна.

«Комсоглаз»

На другой день после выборов совета коммуны Юра Кастрицын подошел к Антону и сказал:

— Горемыка! Есть секретный деловой и ответственный разговор! Как ты думаешь: надо нам бороться с пережитками собственности у членов коммуны, с бюрократизмом нашего совета, а?

— Надо! — солидно согласился Антон, простив Юре свое прозвище.

— Правильно. А как бороться? С помощью такого острейшего оружия, как печать! Давай с тобой выпускать стенную газету, и там мы покажем всем этим феодалам, технократам и бюрократам силу общественного мнения!

— И, Юрка, назовем нашу газету «Комсоглаз»!

— Силен ты, Горемыка, на названия! Ну что ж, название вполне подходящее!..

Стенная газета комсомольской ячейки Волховстроя с боевым названием «Даешь ленинскую стройку!» тоже выходила при самом активном участии Юры. Но та газета была солидной и красивой. Статьи переписывались на пишущей машинке, которую для этого притаскивали из конторы. Юрка навострился стучать на ней почти так же быстро, как «мадам фря» — так неприязненно называли ребята машинистку Аглаю Петровну. Газета была обильно украшена рисунками, которые Юра вырезал из «Крокодила», «Бегемота», «Смехача», «Красного перца», «Прожектора» и еще других журналов. Да он сам рисовал карикатуры почти не хуже тех — журнальных...

«Комсоглаз» ничем не напоминал эту огромную цветную простыню. Писался он от руки на разноформатных листах бумаги, выданных из общей тетради, или же на обороте афиш, которые Юра утаскивал из клуба. Вместо красочного заголовка небрежная надпись наверху утверждала, что это действительно «Комсоглаз», в подтверждение чего в правом углу читателю подмаргивал хитрый, прищуренный глаз. Никаких сроков выхода не было. Иногда «Комсоглаз» не выходил по нескольким неделям, иногда же — в периоды острых внутрикommунных со-

бытий — выпускался чуть ли не ежедневно. Постоянными и главными авторами были члены редколлегии Юра и Антон. Впрочем, задетые читатели нередко выступали с язвительными ответами.

«Комсоглаз» пользовался успехом не только у жителей «халупы-малупы». Ребята и девчата из ячейки, приходя в коммуну, немедленно бежали в коридорчик посмотреть, висит ли свежая газета. И Гриша Варенцов, приходя к ребятам, спрашивал:

— Ну, что сегодня новенького в вашей подпольной газетенке?

Потому что действительно в каждом номере «Комсоглаза» можно было узнать, чем жили, интересовались, над чем смеялись комсомольцы на Волховстройке.

«ЕЩЕ РАЗ ПРО ДЕРЕВЕНСКИХ УКЛОНИСТОВ!»

В то время как весь сознательный молодой пролетариат напрягает свои силы на досрочный пуск станции, а некоторые (как тов. П. И. Столбов) даже не хотят тратить время на то, чтобы снимать ботинки, ложась отдыхать, другие, малосознательные товарищи, бросая ответственный монтаж, устремляются в подшефную деревню и там, в Близких Холмах, ведут массово-агитационную работу среди некоторой части деревенской молодежи. Сколько будет длиться этот деревенский уклон у отдельных представителей монтажа щита? Не пора ли осадить зарвавшихся уклонистов! Товарищ Варенцов, ау, откликнись!

«ВЫЗОВ!»

Вношу на строительство самолета «Рабочий Волховстрой» один рубль и вызываю товарищей Михаила Куканова, Михаила Дайлера, Павла Коренева, Амурхана Асланбекова, Семена Соковнина, Карпа Судакова.

Член комсомольской коммуны Петр Столбов.

«ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВ!»

Отвечая на вызов товарища Столбова, вносим на самолет «Рабочий Волховстрой»:

Михаил Дайлер — 3 рубля.
Семен Соковнин — 1 рубль.
Карп Судаков — 1 рубль 50 коп.
Амурхан Асланбеков — 2 рубля.

«ВЫЗЫВАЕМ!»

Вносим на самолет «Рабочий Волховстроя»:

Антон Перегудов — 1 рубль.

Юрий Кастрицын — 3 рубля.

Владимир Давыдов — 1 рубль

и вызываем последовать нашему примеру тов. Павла Коренева.

«ОТВЕЧАЕМ НА ВЫЗОВ!»

Отвечая на вызов, вношу на строительство самолета «Волховский рабочий» — 50 коп.

П. Корнев.

«НОВОСТИ АРХЕОЛОГИИ»

В комнате номер два, возле постели, что у стены, с помощью экскаватора «Марион» ведутся археологические раскопки. Под мощным слоем грязи ученые обнаружили скопление странных предметов, изготовленных из ниток, с одним большим отверстием в одном конце и многими разными отверстиями в другом. По предположению крупнейших палеонтологов и археологов эти предметы когда-то назывались носками и должны были надеваться на ноги. Дальнейшие исследования продолжаются.

Наблюдатель.

«КОНКУРС ТРЕПАЧЕЙ!»

В комсомольской коммуне состоится конкурс самых больших трепачей: Юрия Кастрицына и Антона Горемыки. Победитель получит большую медаль из картошки.

«НАБЛЮДАТЬ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЯМИ»

От редакции: предоставляя слово анонимному корреспонденту, редакция газеты «Комсоглаз» просит тов. В. Давыдова явиться в помещение редакции для получения своих носков, присланных из археологического музея. Во избежание гибели от испарений рекомендуем захватить и надеть противогаз.

«ДОЛОЙ МЕЩАНСТВО!»

В нашей коммуне среди некоторых товарищей наблюдается сильнейшее тяготение к мещанскому уюту. У тов. Коренева

появился коврик у кровати, тов. Соковнин неизвестно откуда и неизвестно от кого принес и поставил на окно какой-то мещанский цветок. А тов. Дайлер у своей кровати приколот картинку с барышней и цветочками! Куда могут завести нас эти проявления мещанства?! Может быть, еще и канарейку завести? Вот будет пример для всей рабочей молодежи, которая должна равняться на коммунаров!

Коммунар Ф. Стоянов.

«А Я — ЗА ЩЕГЛА!»

Ну и что плохого в птице? Пусть мелкие буржуи заводят себе канареек — это заграничная птица. А почему бы нам не завести себе щегла — это очень хорошая наша птица и поет не хуже канарейки. И вообще в птицах нет ничего плохого. И в цветах тоже. Вот мы вскопали палисадник, а в нем ничего не растет. А можно там посадить цветы, и будет очень полезно — от цветов идет кислород. А товарищ Федя Стоянов пусть последит за собой — никогда он не вытирает ноги. Позор разгильдяям!

Коммунар С. Соковнин.

«ВСЕ НА СУББОТНИК!»

Товарищи! Через три дня на Волховстройку приезжает экскурсия ленинградских комсомольцев. Примем достойно наших питерских товарищей! Объявляется завтра субботник. После работы все мобилизуются на уборку. Отстающие и отлынивающие будут награждены рогожным знаменем! Все, как один, на субботник!

Совет коммуны.

«ЧТО ТАКОЕ МЕЩАНСТВО!»

С легкой руки некоторых товарищей у нас началась могучая борьба с мещанством. Борцы с мещанством ложатся на постель в грязных сапогах: чистота — это мещанство! Они харкают на пол: гигиена — это мещанство! При девчатах выражаются так, что вянут уши: вежливость — мещанство! Курят в комнате, хотя некоторые не любят табачного дыма, — ну и плевать на них, на мещан!

А в действительности мещане — это те, кто думает только о себе и своих удобствах. Плует на пол, потому что ему лень выйти из комнаты; ходит грязный — лень мыться, лень снимать сапоги... И такому мещанину ничего не стоит отравить жизнь всем своим товарищам, лишь бы ему было удобно. Вот это

и есть мещанство, которое является проявлением мелкобуржуазной идеологии.

«ДОЛОЙ СКЛОКУ!»

Вот уже несколько дней, как теоретическая дискуссия о том, что такое мещанство, переросла в самую обыкновенную склоку. Уважаемые товарищи Судаков и Стоянов, вступая в беспринципный блок с товарищами Кореневым и Давыдовым, борются с теми, кто выступает за чистоту и порядок. Мы хотим напомнить, что наша коммуна — это штука добровольная и мы никого не заставляем насильно в ней жить. А если живешь, выполняй правила коммуны! И пусть совет коммуны выйдет из своей спячки и займет правильную позицию в борьбе со склокой!

Редколлегия «Комсоглаза».

«ЛУЧШЕГО НА РАБФАК!»

В счет брони губкома комсомола нашей коммуне выделено одно место в рабфак при Ленинградском политехническом училище. Учеба начинается осенью. Давайте выделим лучшего нашего товарища, который показывает пример комсомольской сознательности!

Со своей стороны предлагаем Федю Стоянова! Завтра на собрании коммуны будем решать. Подумайте, ребята, о нашем предложении.

Совет коммуны.

«КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КРАСНЫЙ МОРЯК!»

Мы осенью проводим на рабфак не только Федю Стоянова. Нам надо будет еще и послать на наш подшефный Балтийский флот двух комсомольцев от нашей ячейки. И, конечно, все глаза повернутся к нашей коммуне — где же искать лучших, как не в комсомольской коммуне! А подготовлены ли мы к тому, чтобы стать комсофлотцами? Красный моряк — образец дисциплины, аккуратности, чистоты. А у нас? Как мы выйдем в глазах всей нашей ячейки и беспартийной молодежи?

Ребята! Давайте сделаем нашу коммуну образцом дисциплины и чистоты!

П. Столбов.

Но не всегда веселый и проворный «Комсоглаз» мог передать все события, происходившие в жизни коммуны и оставившие глубокий след в памяти волховстроевских комсомольцев. Были события столь стремительные, что даже стенгазета не успевала их запечатлеть. Вот такой и была история с одним неожиданным и непрошеным гостем из Питера.

«Союз хулиганствующей молодежи»

Не у одного Антона Перегудова, по прозвищу Горемыка, вздрагивало сердце, когда к нему обращалась Лиза Сычугова. В ячейке было немало девчат, но даже боевая, никого не боявшаяся Ксюша Кузнецова тускнела перед Лизой. Когда Сычугова выходила на крыльцо клуба в ладной коричневой кожанке, клетчатой кепке с длинным козырьком, в высоких шнурованных ботинках, когда она затягивалась длинной папиросой, на нее оглядывались даже немолодые инженеры. Лиза была питерская, частенько ездила в город и всегда привозила оттуда что-нибудь новое.

В это лето Лиза приехала из города вовсе загадочная. Она таинственно шурила глаза, курила вовсе необыкновенные папиросы, губы ее были чуть-чуть краснее, чем это бывает в действительности, и она непрерывно читала стихи. Главным образом это были стихи о том, как плохо Лизкиной душе в городе.

Сумасшедшая улица опрокинулась, воеет и движется,
До рассвета над городом раздается набат площадей...—

с чувством декламировала Лиза. Но больше всего Лиза любила стихи про знаменитого питерского налетчика.

Ленька Пантелсев
Сыщиков гроза,
На руке браслетка,
Синие глаза.
Кто еще так ловок?
Посуди сама —

Сходят все девчонки
От него с ума.
Нараспашку ворот
В стужу и мороз.
Говорить не надо —
Видно, что матрос...

— Лизка, ты в Ленинграде, кроме Лиговки и бара в Европейке, где-нибудь бываешь? — спросил ее как-то Кастрицын.

Но Лизу не смутил вопрос знаменитого в ячейке насмешника. Она — как та девица, что играет в картине «Крест и маузер», — сначала низко опустила глаза, потом подняла их, посмотрела на Юрку так, будто только что увидела, потом отвернулась и тихо, но так, чтобы все услышали, прошептала:

— Там, где я бываю, ребята — не тебе чета!.. — И презрительно добавила: — Профессорский сынок...

Парень, которого Лиза однажды в ясный и светлый летний вечер привела в «халупу-малупу», действительно был не чета ни Юрке Кастрицыну, ни одному из волховстроевских комсомольцев. Если бы не знать, что знаменитого бандита ленинградские чекисты уже схватили, можно было подумать, что сам Ленька Пантелеев пожаловал в комсомольскую коммуну. Небрежно прислонясь к крыльцу, глубоко заложив руки в карманы невиданно расклешенных штанов, стоял парень, как будто выскочивший из любимого стихотворения Лизы: светлый чуб, под которым синели наглые глаза; тельняшка в широко распахнутом вороте; перстень на длинном пальце...

Мишка Дайлер, рассказывавший последние новости, услышанные в сделанном им радиоприемнике, замолчал, ребята вопрошающе взглянули на Лизу. Лиза затянулась, выпустила аккуратное кольцо светлого дыма и небрежно ответила:

— Это Адик из Питера. Может, на Волховстройке будет жить... Трави дальше, Мишка!..

Но Дайлеру не захотелось дальше вести свой рассказ под нагловатым взглядом синих глаз, под еле слышное насвистывание Адика. Он замолчал, сел на перила крыльца и мечтательно продекламировал:

Кто еще так ловок?
Посуди сама —
Сходят все девчонки
От него с ума...

— А, Лиз? Правда это?

Но за Лизу ответил Адик:

— Пойдем, Лизок. От этого политзанудства у меня сразу зубы стали ныть... А ты еще мне тискала, что здесь клевые ребята... Вшивые тут бобры живут...

Побелевший от злости Асланбеков скатился с крыльца:

— Тут нет бобер, тут комсомол есть, катись отсюда, раз тебе не нравится!..

— Ай, вай, — насмешливо закивал головой Адик. — На Кап-

казе есть гора, под горой малина... Чем резать будешь? Хинжалом?

Амурхан и впрямь хватался за пояс, будто на нем висел его родовой осетинский кинжал. Но спокойный Рома Липатов встал между ним и красавцем с Лиговки.

— Топай, топай, парень,— рассудительно сказал он.— Тут тебе не светит, мы в деревне таких, как ты, и свинопасами не брали... А уж на стройке и вовсе!

Не вынимая рук из карманов, Адик повернулся и спокойно ушел. Побледневшая Лиза растерянно посмотрела на посуровевших ребят и бросилась за ним.

— Мишка, ты ее зачем дразнил? — недовольно спросил Варенцов.— Она же с этим шпаненком не в ресторан пришла, а к своим ребятам, к комсомольцам. Может, ей захотелось, чтобы он другим стал, работать начал, человеком стал... И чего вы его испугались? Ты, Амурхан, чего его испугался?

— Как ты, Гриша, такое говорить можешь? Да я таких и на Владикавказе не боялся, и в Москве не боялся, и здесь не боялся! Я его без кинжала разорву!..

— «Разорву»! Тигр какой нашелся! Я не про то, что ты его забоялся вот так... А просто мы все здесь чистенькие и пачкаться не хотим. А кто же Сычуговой поможет, ежели что... Да и среди шпаны попадают всякие ребята, не пропадать ведь им навечно! Не знаю, ребята, не знаю, а кажется мне, что не так мы что-то делаем!..

— Знаешь, Гриш,— сказал Дайлер, на этот раз уже без всякой насмешки,— насчет Лизы ты прав. Жалко, может и пропасть девка, если связалась со шпаной. Только он пришел к нам искать не таких, как мы, а таких, как он... Все-таки, ребята, у нас гармошка, у нас клуб, и «халупа-малупа» наша... Он и думает найти себе союзничков — пьянку устроить, в картишки перекинуться, слабеньких запугать... Увидишь!

Питерскому Адик, видно, удалось найти подходящую компанию. Он ходил по берегу реки, окруженный заглядывавшими ему в глаза ребятами из бетонного цеха в подсобных мастерских. Папироска ловко торчала у него во рту и не мешала рассказывать. А рассказы, видно, были интересными, потому что их всегда сопровождал почтительный смех. Когда в клубе было кино или танцы, Адик и его «адьютанты» стояли у входа и комментировали проходящих девчат... Правда, делали они это, когда вблизи не было комсомольцев. А когда подходила комсомольская компания, Адик со своими новыми товарищами лениво и презрительно отходил от клуба, и они шли на обрывистый берег.

Амурхана, когда он видел Адика, начинала бить дрожь, он сжимал кулаки, ребятам приходилось оттирать его от питерского гастролера, с нахальной улыбкой шедшего впереди своей

компании. Да, у Адика уже была своя компания, и не его, а вот этих ребят внимательно и задумчиво провожал глазами Гриша Варенцов. Многие были ему знакомы — обыкновенные ребята, с которыми ходил на демонстрацию, на воскресники, сидел в клубе. Чего они пошли за этим хлюстом? Что в нем нашли интересного?

Правда, была в руках Адика притягательная и обволакивающая сила. Это была самая обыкновенная гитара. Та самая, которая — с нежным бантом на грифе — висела во многих комнатах волховстроевского городка. Жалкий и презираемый ребятами инструмент, символ мещанства, штука, приспособленная для всяких там романсиков... Никогда она не была конкурентом гармошке Романа Липатова, а гитарные песни и не пытались спорить с теми, с комсомольскими...

А вот тут, в руках у этого полублатного или блатного паренька, тихая и безобидная гитара стала совсем другой — дерзкой и опасной. Она была нахальной даже тогда, когда Адик извлекал из нее знакомый мотив «цыганочки» и бархатным голосом призывал семиструнную гитару поговорить с ним, потому что душа его чем-то полна, да и ночь лунная, и все такое прочее. И уж вовсе гитара становилась незнакомой, когда Адик пел свои любимые песни. Он в них представлялся отчаянным, ни на кого из волховстроевских ребят не похожим.

Ремеслом я выбрал кражу,
Из тюрьмы я не вылажу,
Исправдом скучает без меня...

Да, вот у него была такая судьба, и ничего в ней нет страшного, потому что не может страшить тюрьма такого человека, как он, Адик, — питерский лихой парень...

Где б, в какой тюрьме бы ни сидел,
Не было и часу, чтоб не пел,
Заложу я руки в брюки и хожу пою от скуки —
Что же делать, коли ты уж сел...

Вокруг Адика ходили самые обычные здешние ребята и как замороженные слушали эту муть, эту унижительную и глупую муть! Гриша Варенцов еще мог понять там глупых девчат — ну влюбились, как курицы какие, как бедняга Лиза Сычугова, в эти наглые синие глаза, в эту светлую челку... А вот что же в нем находят рабочие ребята?..

Однажды расстроенный Саша Точилин позвал комсомольского секретаря:

— Посмотри, Гришка, какие пакостники у нас появились!

Комсомольская стенгазета, висевшая в коридоре клуба, была перечеркнута жирной черной краской. Внизу той же краской была выведена таинственная надпись «СХМ».

— Фью-ть!.. Скажи на милость, на какой спор пошли! — пробормотал Варенцов, рассматривая испоганенную газету..

— Это вредительство! Это самая настоящая организация! Надо немедленно принять меры и сообщить в Гепеу! Пусть немедленно займутся!..

— Да, да, побегу в Гепеу, поплачусь, пожалюсь, что тебя обидели, пусть накажут, кто тебя обидел, маленького...

— Да послушай, это же политическое дело! Понимаешь — по-ли-ти-ческое!

— А мы, Саша, какая же организация — увеселительная, что ли? По-моему, мы и есть политическая организация. Конечно, это хулиганство какое-то не простое, что ли... Политическое хулиганство. Так ведь и мы политики, чего нам бояться, сами как-нибудь разберемся и справимся. Слушай, Точилин, скажи лучше: почему за этим Адиком ходят наши ребята? Смотри, всего десять дней назад его привела к нам Лизка Сычугова, а теперь у него во-он какая компания! И есть там неплохие ребята. Вот эти — Поводырев с бетонки, Крылов с подсобки да и другие. Ведь не хлюсты, не блатные, а самые рабочие ребята! Чем он их приманил? Неужто только гитарой да песней? Вот о чем нам, Сашок, думать надо, а не, наложив в штаны от страха, бежать в Гепеу жаловаться!

— Ну ты, Варенцов, и вовсе стал как Степаныч — умный как вутка... А я тебе скажу, что газета — это дело рук Адика. И если ты против, чтобы в Гепеу жаловаться, то надо нам собрать ребят, пойти на обрыв, набить ему морду так, чтобы он задрал хвост бежал обратно на Лиговку...

— А Поводыреву и Крылову тоже морду бить? Или как? Они ведь на Лиговку не убегут. Могут остаться с битой мордой... Мол, нас, беспартийных ребят, комсомольцы научили уму-разуму. Спасибо им...

— Опять ты со своими присказками! А что же, по-твоему, делать?

— Присмотреться к этим ребятам. Узнать, кто хулиганит, пакостит. Хулиганов унять, коли надо — сдать куда следует. А ребят чем-то занять, поинтереснее что-то придумать... Вот вы, Саша, с Михаилом все наукой занимаетесь, радио там придумываете, еще чего! Это хорошо! Только вы, ребята, накрепко думаете, что то, что нравится вам, обязательно должно нравиться и другим. А если человеку неинтересно сидеть и мотать проволоку на катушку для радио? И хочется ему другого — ну песню, может, книгу какую или что? Лиза Сычугова стишки эти любит и читает, а мы над ней смеемся... А ей эти стишки дороже твоего радио, твоей машины... Почему ты прав, а она не права? Я вот хожу и все об этом думаю. На бюро такой вопрос поставить — и не придумаешь, как назвать!..

А таинственные буквы «СХМ» продолжали появляться. То

чья-то рука выводила их на объявлении о собрании, то они появлялись самым обычным и скучным образом — мелом на стене или заборе... Саше Точилину уже и стыдно было признаться, что он когда-то хотел бежать в ГПУ... Гитара Адика продолжала торжествующе звенеть и стонать над обрывом Волхова. И казалось, что нет такой силы, что может оторвать ребят от этого белокурого красавца с гитарой...

В теплый августовский вечер компания Адика собралась на своем излюбленном месте у реки. Вечер только начинался. Было светло от не ушедшего еще дня, хотя огромная луна уже вылезала из-за дальнего леса.

Мы ушли от проклятой погони,
Перестань, моя крошка, рыдать...—

вполголоса, задумчиво пел Адик, осторожно перебирая струны. Лиза прислонилась к стволу березы и курила папиросу за папиросой. Человек шесть ребят слонялись рядом в том ожидании чего-то необычного, которое они испытывали возле этого ленинградского ни на кого не похожего парня. Не было только Вани Крылова, но он уже шел к ним из поселка. Не шел даже, а бежал. И когда добежал, то по его восторженно-возбужденному лицу сразу стало ясно, что он прибежал с чем-то необычным.

— На Луну, на Луну летят! Ей-богу! Там ребята толковище устроили — кого посылать!..

— Кого посылать? Кто летит на Луну?

— Ну, там в коммуне у комсомольцев газета висит! Летят на Луну! И наши, кажись, тоже! Вот кто-то из наших полетит!.. Понимаете — вот так на Луну и полетит!!! Я сейчас туда побегу! Вот это да!

Иван метнулся назад, за ним побежал Поводырев, а за Поводыревым и остальные. На обрыве остались Лиза и Адик, продолжавший перебирать струны гитары.

— Смотри-ка, Луна им личит, фраерам, — со злостью сказал Адик. — Ну, пойдем, Лизок, посмотрим, кто это на Луну собрался?

Он лениво двинулся к поселку. Лиза как тень не отставала от него.

Возле «халупы-малупы» было полно ребят. Даже у всегда спокойного Варенцова блестели глаза, он нетерпеливо покусывал палец, как будто хотел что-то выяснить для себя. А Миша Дайлер, тот размахивал руками и с ожесточением кричал:

— Да нет — вполне успеют! Осталось еще восемь дней, может, еще перенесут на недельку. Из Москвы самолетом до Кенигсберга, а там на пароходе — за полторы недели и доедут.

Сейчас пароходы как эсминцы почти ходят. А может, для такого дела из Балтфлота и эсминец дадут... Надо, ребята, по телефону связаться с Москвой, звонить прямо в «Комсомолку» и узнать — летит или не летит!

Позади Михаила висел свежий номер «Комсомольской правды», и какая-то статья в газете была обведена густой красной краской. Лиза Сычугова подошла к газете. Да, это была привычная комсомольцам любимая их газета. Очевидно, только что пришедшая на Волховстройку «Комсомольская правда» от 31 июля 1926 года. Лиза прочитала раз, потом еще прочитала, другой... Все было там обычно, и все было так необычно... Среди других сообщений о новостях у нас в стране и во всем мире была напечатана вот эта самая, как бы обыкновенная заметка:

Нашумевший по всему миру план полета на Луну в ракете, очевидно, близок к осуществлению. Строитель ракеты американец Годдард собирается вылететь на Луну 10 августа. В Нью-Йорке нашлось желающих полететь на Луну 62 человека, тогда как ракета берет всего лишь 11.

Наш советский писатель В. Веревкин, автор романа «АААЕ», желает лететь на Луну в качестве представителя СССР. Сейчас он ведет через Всесоюзное общество культурной связи переговоры с Америкой по этому вопросу. Намерение В. Веревкина поддерживается Высшим советом физической культуры.

Лиза подняла вверх глаза. На темно-синем вечернем небе ослепительно блеснул огромный диск Луны... Неясные тени на нем напомнили о том неведомом, непознаваемом, что так вот вдруг, сразу приблизилось к людям. Неужели же это может быть? И люди прилетят на Луну, где есть горы и, кажется, какие-то моря, а значит, похоже на Землю? И может быть, живут там какие-то существа, похожие на людей, и сейчас смотрят вверх на привычную планету и не знают, что к ним скоро прилетят люди с Земли... И как же они там будут? Лиза даже видела где-то фотографию этого писателя — В. Веревкина. Красивый парень в клетчатой рубашке и галстук бабочкой... Да неужели же он будет ходить по этой Луне?! И люди увидят что-то совсем другое — другое небо, другую жизнь... И сами станут другие, лучше, добрее...

И, как бы отвечая на эти затаенные Лизины мысли, рядом забренчала гитара и знакомый нагловатый голос на тот же знакомый надоевший мотив запел:

На Луне придется жить и мне.
Я готов всегда к такой беде,
Лунатикам набью я рожу,
Всех чертей перекорежу —
Почему нет водки на Луне!

— Это правда, это точно! — В голосе Миши Дайлера не было даже гнева, одно только удивление. — Где бы ты ни был, куда бы ни попал, тебе только одно: нахлестаться водки, покрасоваться перед теми, кто поглупее, набить морду тому, кто послабее... И нет такого места, которое бы ты не мог испакостить — конечно, если тебе позволить. Только здесь мы тебе этого не позволим!

— Это кто же такие — мы?

— Вот мы — Союз коммунистической молодежи...

— Плевали мы на твой союз! У нас тут свой союз — почище вашего занудного!

— Это ж какой?

— А вот такой!..

— Ха! Вождь! Организовал свой союз — союз хулиганствующей молодежи, дескать!.. Так ведь? Практическая работа — добывание водки за чужой счет... Агитация и пропаганда — три буквы на заборе. Дешевка же ты, Адик, как я посмотрю!..

— Да я тебя, гада, сейчас закомстромяю!..

— Попробуй!!! — С крыльца сорвался Амурхан, как иголка пролез сквозь толпу и встал перед Адиком. — Попробуй, паразитская душа! Вот я тут перед тобой, режь меня, ну режь, трус проклятый!

— Да не приставай ты к нему, Амурхан! Чем он тебя резать будет — гитарой, что ли? Он ведь карандаш зачинить, наверное, не может — боится порезаться перочинным ножиком... Так ведь, Анемподист, а?

Варенцов говорил, как всегда, спокойно, тихо и даже как-то без всякого волнения, с какой-то скучной усталостью.

— Какой Анемподист? — недоуменно спросил Асланбеков.

— Ну, вот этот самый — Анемподист Перчаткин, по прозвищу Адик. И прозвище он сам себе дал, и блатным сам себя нарисовал, выдает себя, дурачок, за какого-то Леньку Пантелеева. А сам — тихий да дурной мальчишка. Выгнали его из сорок второй ленинградской школы за то, что не учился, на уроки не ходил, — вот он и подался к нам. Можно не работать, дураки да дуры принесут поесть, принесут попить... Он им за это песенки попоет, сказок нараскажет, как он в хазе дрался с целой ротой милиционеров... Каждый зарабатывает на жизнь чем может. Этот самый свой союз хулиганствующей молодежи придумал. Ему надо все время придумывать что-то, иначе он надоест, и тогда перестанут его кормить и Витька Поводырев, и Ваня Крылов, да и Лиза, пожалуй... А есть хочется каждый день небось. Слушай, Перчаткин, бросай это дело, становись лучше на работу. Устроим мы тебя на бетонку — работа для здоровых, квалификации большой не требуется. Витя Поводырев тебя по старой памяти, как бывшего вождя — как это

у вас, как пахана, что ли,— научит бетон месить. Пойдешь? А не пойдешь — надо будет тебе менять место для гастролей. Тут на Волховстройке тебя детишки засмеют... А ты, Перчаткин, не бойся, плюнь на все, что будут говорить! Иди работать, через год забудут, что ты человеком не был... Правда. У каждого такое время наступает, когда ему выбирать надо. И себя определять... Решай!

Адик растерянно посмотрел кругом. Он увидел недоуменное, со следами погасшей ярости, лицо Асланбекова, насмешливые глаза Юры Кастрицына, покрасневшие лица Поводырева и Крылова, наполненные слезами стыда и жалости глаза Лизы Сычуговой... Он тихо повернулся, и все расступились перед ним, и он пошел тихо, потом быстрее, потом еще быстрее, потом почти побежал. Только в конце дорожки он оглянулся — никто за ним не шел...

— Ну вот, ушел, дурень. Красивый и здоровый парень, а какой оказался хлипкий внутри! Еще спохватится...

— Гриш, а как ты узнал про него, что он этот — Анемподист и все такое прочее?

— Ну, секрет какой! Если бы он был такой, каким себя выдавал, его бы уже давно замели... А Юрка, когда поехал в Питер, я его попросил узнать. Ну, он и узнал — даже в школе его побывал. Смеются там над ним. А им бы не смеяться, а пожалеть парня... Ну, хватит про него. Так давай дальше, Михаил. Ты взаправду думаешь, что можно долететь до Луны? А как на нее сесть? Я читал, что там и воздуха нет, значит, дышать там людям нечем — как же они? Тихо, ребята! А ты, Лизка, давай сюда, поближе!..

Предательство

Комсомольская коммуна вступала во второй год своей жизни. «Халупа-малупа» перестала быть чем-то новым, необычайным, она стала неотъемлемой частицей комсомольской жизни на стройке. И в самой коммуне исчезло чувство новизны и ощущение, что все на тебя смотрят... Жизнь шла налаженным ходом, без особых событий и происшествий. А Антон Перегудов каждое утро вставал с ощущением какого-то неблагополучия, происходящего у них в доме. В чем оно?

Антон неторопливо одевался, глядя, как это делают его товарищи по комнате — каждый по своему характеру. Петя Столбов спит до самой последней минуты. Потом вскакивает, молниеносно влезает в одежду, запихивает под подушку упавшую на пол книгу и убегает, не успев даже сказать напутствие дежурному по коммуне. Сеня Соковнин успевает обегать всю «халупу-малупу», узнать у ребят все новости и вне всякой

очереди подмести пол перед уходом. А Пашка Коренев... Вот в Пашке-то и все дело. И, рассматривая пустую койку Коренева, Антон начинает понимать, что источник его отравленного настроения он — Паша Коренев.

Койка Павла пуста. Но это не значит, что он не ночевал дома. Павел — не чета Мише Дайлеру, который чуть ли не каждое воскресенье уезжает в подшефную деревню и потом приходит сразу на работу. Дескать, какие-то срочные дела у него в Близких Холмах... Знаем мы эти срочные дела! Видели это «срочное дело», когда ездили всей ячейкой в деревню парники строить. Ничего, славная дивчина эта Даша... Ну, а вот за Павлом такое не числится. Павел может считаться образцовым коммунарком. Никогда не ляжет на койку в сапогах, всегда за собой убирает, спать ложится раньше других, а когда бы Антон ни проснулся — Пашки уже нет. Встал, аккуратно оделся, убрал постель и ушел. Куда?

И Пашкина аккуратность кажется Антону какой-то чужой, фальшивой, подозрительной. В дни полочки Павел первый и без напоминаний сдает деньги Пете Столбову — председателю совета. Никогда не бывает должником, никогда не скажет: «Ребята! Я тут купить что собираюсь!..» Что же не нравится Антону в этом образцовом коммунаре?

Ну, Павел задавала! Это точно!.. Когда кончали учиться, получил на разряд больше — четвертый... Через полгода сдал пробу на пятый, сейчас сдал на шестой... У Павла Коренева действительно золотые руки, и ему поручают самую сложную работу. И зарабатывает он много. И коммуне сдает не все — все это знают да и не требуют с него. Хотя Юра, Миша и Петр — все они зарабатывают хорошо, а в коммуну сдают все до копейки. Павел всегда смотрит сверху вниз на ребят, которые зарабатывают меньше. Всего год назад был такой же, как он, Антон. Теперь он считает себе ровней только Столбова, Кастрицына, Дайлера... Как-то Володя Давыдов вмешался в их разговор, так Пашка на него посмотрел так, что Володя весь залился краской, отошел и больше не подходит к нему. Юра и Миша по запарке и не заметили, а Антон запомнил. Потому что он давно-давно присматривается к Кореневу. Закомиссарился Павел!.. И эта история с юнкором...

С полгода назад Пашка вечером стал всех ребят спрашивать: у кого есть галстук?.. «Зачем нормальному человеку, комсомольцу, галстук?» — удивились все ребята. Тут Коренев сказал, что утром его снимать будут. Приехал из газеты специальный человек, называется «спецкор», и будет писать о Павле Кореневе большую статью как про образцовый тип молодого рабочего. А может, и не статью, а целую книгу. Завтра будет снимать, просит, чтобы был в галстуке, чтобы всем было ясно, что молодые рабочие овладели культурой...

— А чего ею владеть? — недовольно сказал Столбов.— Пошел в лавку, купил за сорок копеек галстук, вот тебе и все овладение культурой! Да еще можно похвастаться, что в точности выполнил указание Ильича — овладел всей культурой прошлого...

Впрочем, галстук нашелся у Юры — привез из города для постановок: меньшевиков всегда с галстуком положено играть в «Синей блузе». Два дня Павел Коренев ходил по стройке и поселку с каким-то невысоким пиджком в макинтоше, мохнатой кепке, с вечной ручкой, которую носил, как орден. Фотография чего-то не получалась, и Пашка сказал, что придется ему со спецкором ехать в Новую Ладугу, в уезд, и там сниматься. Ехать надобно в рабочий день, и, чтобы его отпустили с работы, получил у спецкора специальную бумагу. Юра Кастрицын взял у него эту бумагу и пронзительно свистнул.

— Ох, ребята! Все сюда! Такое еще не видал! Смотрите и тряситесь от страха.

Да, бумага была по всей форме. Выглядела она внушительно. На листке, вырванном из отрывного блокнота, было напечатано красивейшим типографским шрифтом:

СССР

Действительный член

Всесоюзного Ленинского

Комсомола с 1923 года

Юнкор газеты «Молодой Рабочий»

органа Новолодожского укома ВЛКСМ

*Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!*

ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

СОЛОДУХИН

«...» 1926 г.

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Ясным и безмятежным почерком такой же красоты, как и шрифт, Виктор Петрович Солодухин просил соответствующие организации отпустить в уезд рабочего Павла Коренева, дабы снять с него «письмофотограмму жизни». Так и было сказано: «письмофотограмму». Это слово было незнакомо даже всезнающему Юре Кастрицыну. И это оказалось концом пиджона в мохнатой кепке и с вечной ручкой. Юра, Петя, Гриша Варенцов пошли с ним знакомиться, потому что такого бюрократа они еще и не видели! А Гриша Варенцов не поленился позвонить в Новую Ладугу. А этот «спецкор» у них и не работает, а просто так: когда напишет заметку, а когда

и нет. И там над ним смеются только. В общем, никакой «письмофотограммы» ему с Пашки снять не удалось, мгновенно он исчез со стройки, Пашка отдал Юре галстук, и через неделю об этом перестали вспоминать. А Антон тогда подумал, что напрасно над этим только смеются, что ничего смешного нет в том, что коммунары захотел как-то возвеличиться над другими, выскочить вперед, стать повыше... Сегодня с него «письмофотограмму» снимать будут, завтра он станет смотреть на всех рыбьими глазами и никого не узнавать... Но Антон промолчал — и так все думают, что он с Павлом не дружит, какой-то зуб на него имеет.

Павел все же поехал в Новую Ладугу. Газета про него так и не написала, но Коренев заладил частенько ездить в уезд. И на воскресные дни и на праздничные уезжал. Никто у него не спрашивал, зачем ездит. Может, у него там такое же «срочное дело», как у Мишки в Близких Холмах? Но не похоже — никогда он не одевался получше, напротив, всегда надевал старое, в чем на работу ходил...

Антон Перегудов, по прозвищу Горемыка, перебирал иногда все причины, по которым Паша Коренев ездил в уезд. Но ему и в голову не могло прийти, что Коренев навлечет на всю их комсомольскую коммуну неизгладимое пятно позора и бесчестия.

Ежевечерний шум в ячейке кончался. За стеной, в пионерской комнате, давно уже перестали петь и стучать волейбольным мячом. Кастрицын с Точиным, сидя на подоконнике, уже второй час играли на драной, старой доске в шахматы и кричали друг на друга дикими голосами, ссылаясь на каких-то зарубежных шахматистов: Рети, Торре, Ласкера... Уже самые упорные покидали ячейку, а Павел Коренев все стоял у стены и разглядывал стенгазету, будто впервые увидел. А она уже вторую неделю висит... Антон удивленно смотрел на него: ведь всегда в это время Павел уже спать ложился... Почему он так поздно торчит в ячейке и ждет, когда все уйдут? Но, видно, Павел потерял надежду, что он может дождаться, когда Варенцов останется один. Он подошел к столу, сел на табуретку и решительно сказал:

— Гриша! Я на другое производство перехожу, так мне что, здесь открепление брать, в ячейке?

— Другое производство? Где же здесь, на Волховстройке, другое производство?

— Так не здесь. Я перееду в Новую Ладугу. Там буду работать. И жить.

— Где же там ты работать будешь?

— На заводе. Такой маленький механический завод. Слесарем.

— А с комсомольцами ты там говоришь?

— Да там нет ячейки. И комсомольцев нету. Я один буду. Ну там в уюме стану на учет.

— А чем же, Паша, тебе у нас не понравилось? Живешь в коммуне, за год два разряда получил... или есть у тебя там в городе кто?

— Ну, есть...

Антон не выдержал. Ведь врет! Нет у него там никакой такой любви! Не одевался бы в грязное, в рабочее, если бы на свидание с девушкой ездил!.. А разговор Коренева с секретарем привлек внимание всех, кто был в ячейке. Кастрицын и Точилин даже в шахматы перестали играть. Точилин соскочил с подоконника, подошел к столу и вмешался в разговор:

— Так, значит, Павел, земляком моим хочешь стать? Так это на какой же механический завод ты поступаешь? Что-то я не припомню у нас в Новой Ладобе таких заводов...

— Ну он такой — ремонтный... Машины ремонтирует разные, насосы...

— Мамочки! Так это уж не Клейна ли завод?

— Ну, Клейна. А что? Какая разница?

— То есть как — какая разница? Это же частный завод! Ты на нэпмана будешь работать!

— Я же не в нэпманы иду, а в рабочие. Там профсоюз есть, охрана труда, все как надо... Раз государство разрешает частникам заводы иметь, значит, и рабочим разрешает работать там. Как я был слесарем, так и там буду слесарить. Чего ты вяжешься?! Все по советским законам, все правильно...

— Предатель!.. — У Антона это слово вырвалось как-то само собою, как бы независимо от него... Да, предатель! Он не знал, как это сказать, как выразить, но твердо знал: Пашка — предатель!

— Ну ты, пацан-третьеразрядник! С твоей квалификацией только на обдирке стоять! Куда тебя возьмут такого?!

Вокруг стола Варенцова уже стояли все ребята, что еще не ушли из ячейки. Варенцов встал из-за стола.

— Постойте, ребята! Это правда, Коренев, советский закон разрешает частным лицам открывать такие мелкие предприятия, разрешает держать рабочих, профсоюз следит, чтобы этих рабочих не эксплуатировали, чтобы соблюдали все советские законы. Тут ты прав. Ты нам только скажи: зачем ты бросаешь стройку, гордость нашу, и переходишь на какой-то маленький частный заводик? Бросаешь товарищей, коммуну бросаешь, едешь в чужой тебе город работать на частника... Зачем ты это делаешь?

— Ну «зачем, зачем»?! Чего ты его, Гришка, спрашиваешь? За деньги! Вот за что он нас бросает! За большие деньги!

— Молчи, Горемыка! Не перебивай его! Пусть скажет...

— А чего говорить, чего говорить? Конечно, платит хорошо. Буду у него по седьмому разряду... Это что, грешно рабочему у частного деньги своим горбом выколачивать, так, что ли? Что я, должен Горемыку слушать, дурня этого?

— Совесть свою, Павел, надобно слушать, ежели она у тебя есть. А ты не подумал вот про что: государство тебя полгода учило, платило мастеру десять рублей в месяц за тебя, тебе платило двадцать два рубля, давало общежитие, ну все делало, чтобы вышел из тебя грамотный и квалифицированный рабочий. А когда научился, ты государство бросил и ушел к частнику. Станешь работать, чтобы ему в копилку доход от твоего труда шел, а не в государственную копилку, не на общее наше рабочее дело... Вот ведь как получается...

— Значит, по закону не имею права? Так выходит?

— Наверное, по закону право имеешь. Это мы пойдем в рабочком, спросим у Степаньча. Наверное, имеешь. Профсоюз тебе, надо думать, разрешит. Но ты же комсомолец?

— А что?

— А то, что у нас, в комсомоле, тоже есть законы. Чтобы жить по коммунистической совести. Тебя силком в наш союз и не загоняли. Ладно, Коренев. Вот в пятницу на комсомольском собрании мы и обсудим твой вопрос, пусть ребята скажут: прав ты или нет...

Коренев что-то еще хотел сказать, но передумал. Он сжал кулаки, резко повернулся и стремительно вышел из комнаты. Вслед ему смотрели глаза людей, которые только что, вот еще несколько минут назад, были его друзьями, товарищами, товарищами навсегда, на всю жизнь... И испуганно глядел вслед Павлу Кореневу Антон. Да, не любил он Павла, не всегда ему верил, но никогда ему в голову не могло прийти, что можно так спокойно и стремительно уйти, самому уйти из их общей, комсомольской жизни... Сам Антон не мог бы такое пережить, ему до сих пор страшно вспоминать день, когда он переступил совесть — купил у частного толстовку... Но он тогда не скрыл, что стыдно ему, и он готов был эту проклятую толстовку выбросить...

И в наступившей тишине, такой тишине, какая бывает, когда несчастье произошло, смотрел вслед Кореневу секретарь ячейки Григорий Варенцов. Он знал — навсегда уходит Коренев из их жизни, из комсомола. Уже несколько лет выбирают Варенцова секретарем ячейки, и множество ребят принимал он в комсомол, и каждый раз у него возникало радостное и славное чувство: прибавилась их комсомольская компания, еще одним другом у него стало больше... А это, это было впервые... Впервые он не приобретал, а терял. И это было горем. Ему нужны были сочувствие и близость товарищей. И, как бы понимая это, стали вокруг него Петр Столбов, Юрий Кастрицын, Саша Точилин,

Антон Перегудов... Нет, эти не изменят! Эти с ним будут навсегда!

Дневник

Антон никто в историки комсомольской коммуны не выбирал и не назначал. И вообще никто не думал заводить такую историю. Когда выбирали совет коммуны, кто-то предложил секретаря выбрать... Но все на него обрушились за бюрократизм. И решили: никаких протоколов не вести, а завести дневник коммуны и чтобы каждый записывал в нем все события, происходящие в коммуне и достойные увековечения. Завести дневник поручили Антону. Он это сделал со всей аккуратностью. Купил на станции Званка хорошую общую тетрадь в клеенчатой обложке. На первой странице крупно и красиво написал:

«ДНЕВНИК КОМСОМОЛЬСКОЙ БЫТОВОЙ КОММУНЫ».

Потом долго-долго сидел над ней и сделал в дневнике первую запись:

*

«Сегодня открылась наша комсомольская коммуна. Вот список ее членов:

Петр Столбов,	Федор Стоянов,
Юрий Кастрицын,	Карп Судаков,
Семен Соковнин,	Павел Коренев,
Михаил Дайлер,	Амурхан Асланбеков,
Владимир Давыдов,	Антон Перегудов.

И постановили, чтобы соблюдать чистоту, не ссориться, говорить только правду и быть хорошими товарищами. Если кто недоволен — писать в дневник. И дневник чтобы лежал в тумбочке. Пусть его читают только коммунары. Антон Перегудов».

*

Но как-то так получилось, что и следующую запись в дневнике сделал Антон, и что лег он в тумбочке у него, и что один он — и то время от времени — вспоминал о дневнике, доставал его и исписывал полстраницы крупными, сваливающимися вниз строчками. Вот они — эти исторические записи Антона, хоть и неполно, но раскрывающие недолгую, славную историю комсомольской коммуны на Волховстройке.

*

«Решили, чтобы за коммунарские деньги покупать книги. И пусть они лежат на окне или столе; кто хочет, пусть читает. Сегодня Петя Столбов принес книжки:

Я. Шведов — «Вьюга»; Иван Молчанов — «Борьба»; Макар Пасынок — «Под солнцем»; А. Жаров — «Ледоход», это стихи, тоненькие книжки. И еще другие: Г. Шубин — «Комсомольские рассказы»; Тимофей Мещеряков — «Буденовцы»; А. Фадеев — «Против течения»; М. Колосов — «Тринадцать». А эти книги поинтереснее. Я начал читать их».

*

«Спорили о грязи. Сегодня пришла с Михаилом Даша из деревни, посмеялась над нами, послала меня за водой и вымыла полы. И пыль убрала. После того как она ушла, Юра сказал, что мы эксплуатируем ее чувства и это не по-комсомольски. Постановили не допускать, чтобы девушки нам мыли пол, а мыть самим. И вообще все самим делать».

*

«Спорили. Если идешь куда по личным делам и хочешь приодеться и надеваешь не свое, то надо спрашивать у того, чье надеваешь, или нет? Юра Кастрицын сделал доклад о том, что по-марксистски — надо спрашивать. Петя Столбов — против. Голосовали. За Юру 6 голосов, за Петра — 4. Постановили: спрашивать. Я голосовал, чтобы спрашивать. Пусть не обижаются».

*

«Проводили на рабфак Федю Стоянова. Справили ему за счет коммуны бобриковое пальто и ботинки с галошами. Постановили, чтобы он писал, и ежели ему что нужно — будем посылать, потому что он считается как бы нашим коммунаром все равно».

*

«Спорили. Если у кого из ребят есть личная жизнь, то должен он докладывать товарищам или нет. Миша Дайлер сделал доклад, что не должен, но его отвели по случаю его личного интереса. Доклад сделал Петя Столбов — не должен докладывать, нехорошо получится. Голосовали. За Петра — 9, а против — 1. Я голосовал за то, чтобы не докладывать».

*

«В ячейке спорили, кого посылать на флот. Много хотело, а из нашей коммуны Амурхан, Карп и Володя Давыдов. Постановили, чтобы послать Амурхана Асланбекова — он очень просился и хороший комсомолец. Теперь у нас в коммуне восемь человек».

*

«Приезжала на Волховстройку экскурсия комсомольцев из Москвы. У нас в коммуне ночевало семь ребят с Красной Пресни. Делали доклад про то, как живут ребята в Москве. А Миши Дайлера не было, он ночевал с замоскворецкими ребятами. Ребята ехали за свой счет. Стоит поездка 18 рублей. Взяли только 270 человек, больше не дало мест НКПС, а хотело поехать 600».

*

«Бывший коммунар Павел Корнев исключен из комсомола и из комсомольской бытовой коммуны как предатель интересов рабочего класса и шкурник, переметнувшийся к нэпману из-за денег.

Теперь нас семь человек».

*

«Спорили. Теперь у нас три койки свободны. Брать нам в коммуны других ребят, которые хотят, но чтобы все не вносить, а только как за квартиру? Так это будет не коммуна, а просто общественная квартира. Постановили: как договорились раньше, так и соблюдать наш устав. Все общее. Единогласно. Я голосовал за то, чтобы общее».

*

«Михаил Дайлер убыл из коммуны по причине личной жизни. А еще член совета! Теперь нас всего шесть человек. А в совете остался один Петя Столбов. А чего же выбирать новый, когда нас только шесть! По-моему, если занимаешься личной жизнью, так нечего было записываться в коммуны».

*

«Ох, как открывали нашу станцию! Кого только не было! Из Москвы приехали товарищ Куйбышев и товарищ Енукидзе. И Сергей Миронович Киров приезжал. И из самого Коминтерна был — заграничный коммунист товарищ Шмераль. И еще много-много народу. Мыли сами пол и убирали, вдруг правительство возьмет и придет в коммуну. Но не пришли, у них не было времени».

*

«В ячейке составляли списки ребят, кто поедет на Свирь строить электрическую станцию — как нашу. Все записались. И постановили просить, чтобы нас всех сразу и вместе. А там мы тоже организуем комсомольскую коммуну. А наша коммуна, значит, тут кончится. Уже приходил товарищ Атарьянц В. А. и сказал, что отдаст наш дом тем комсомольцам, у которых завелась личная жизнь и которые остаются тут работать. А еще тут работы будет много. Но мы все уедем на Свирь. И я тоже. А жалко нашу коммуну! Очень она хорошая, и всю жизнь я про нее буду помнить!..»

На этом кончался дневник комсомольской коммуны.

Мальчик на чужбине

Шаляпин

Он так привык к этой кличке, что почти начал забывать свое настоящее имя. Но в те длинные, бесконечные четыре года, что он беспризорничал, его никто по имени и не звал. Когда после смерти матери он попал в детприемник, его в насмешку ребята звали Ангелочком — так его назвала, всплеснув руками, тетка, что их мыла... А потом, когда бежал с ребятами из приемника, потому что там было голодно и скучно, его звали по-разному: и Свистком — он умел красиво свистеть, и Миногой — такой он был тощий, и даже почему-то Поп Мандрило. Каждая компания, куда он попадал после очередной облавы или очередного побега из приемника, звала его по-разному. Никто за эти годы не назвал его так, как когда-то звала мать, — Андреем, Андрюшкой, Андрюней. И он даже мысленно перестал себя так называть.

А Шаляпиным его назвали давно, в Москве. Там с этой кличкой он кочевал с одного рынка на другой: со Смоленского на Сухаревский, с Полянского на Зацепу. И Шаляпиным его звали на барахолке в Твери, и на Апраксином рынке в Ленинграде, и здесь, на Волховстройке, куда он докатился через множество маленьких и больших городов.

Странствовал Шаляпин вовсе не из большой любви к путешествиям. Особенно к путешествиям, которые совершались в ящиках под вагонами, в теплушках и на площадках, продаваемых всеми ветрами; в лучшем случае — под скамейками бесплацкартного вагона. Но Шаляпина губила его слава, его известность.

В беспризорных компаниях, куда он попадал, каждый кормился по-своему. Кто — из почище одетых — помогал какой-нибудь старой тетеньке поднести тяжелую сумку и получал за это кусок хлеба, слойку, а то и пять копеек; кто ходил в помощниках у настоящих блатных и стоял на стреме, когда они воровали; кто уже сам научился бесшумно и ловко запускать два гибких пальца в чужой карман... А Андрей стал Шаляпиным благодаря Сеньке-выкресту — шустрому, всезнающему парнишке, который был коноводом у них в компании. Это он научил его петь, подыгрывая себе на двух деревянных ложках. Когда среди дикого шума Смоленского рынка Андрей впервые запел о том, что:

Там в лесу при долине
Громко пел соловей,
А я мальчик на чужбине
Позабыт от людей...—

то затихли вокруг даже продавцы, расхваливающие свой товар. Стояли вокруг мужчины и женщины, старые и молодые. Крошечный парень в длинной и рваной рубахе чистым, звенящим, как колокольчик, голосом пел о своей безрадостной детской жизни.

Позабыт, позаброшен
С молодых-юных лет,
Я остался сиротой,
Счастья-доли мне нет...

В так протяжной и грустной мелодии ложки постукивали жалобно, так убеждающе, как погребальный звон кладбищенской церкви.

Вот умру я, умру я,
Похоронят меня,
И никто не узнает,
Где могилка моя.

И пришедшие на Смоленскую барахолку женщины, ожесточившиеся от нужды и страха, вытирали повлажневшие глаза...

И никто не узнает,
И никто не придет,
Только раннею весной
Соловей запоеет...

— Шаляпин! — убежденно сказал какой-то с седой небритой щетиной мужчина. И как припечатал!

Так и стали звать Андрюшку. Шаляпин научился петь множество песен. И про цыпленка жареного, который тоже хочет жить; и про Гоп со смыком, который жил на Подоле и славился своим басистым криком, и всякие другие. Но главной его песней все же оставалась печальная исповедь мальчишки, пропадающего на чужбине. После того как он ее пел, ему всегда совали куски хлеба, еще теплого пирога с капустой, а то и медяки.

Материальное благосостояние Шаляпина росло вместе с его известностью. Уже приходили специально послушать его, он стал знаменитостью Смоленского рынка, вокруг него кормились пацаны поменьше и понеуклюжей. Прибегали слушать беспризорного певца и какие-то нерыночные дяди, его снимали, и говорят, что даже в какой-то газете появилась его фотография. А популярность Шаляпина была ни к чему. Она всегда приводила к тому, что появлялись уже не обычные любители песни, а дяди и тети, желающие его спасти от беспризорной жизни. А Андрейка знал, что его ждет от этого спасения. Это детприемник, где живешь под замком, долгий и нудный карантин, потом детский дом, где на обед приказывают ходить парами... А он уже избаловался свободной жизнью, ночевками в подвалах Проточного переуллка, славой... Поэтому-то и приходилось бегать с одного рынка на другой, а когда вовсе стало невмоготу и когда однажды его забрали уже не в обычный детприемник, а в Даниловский, за каменные стены, то он решил бежать из Москвы.

И пошел он странствовать из города в город. Иногда жилось хорошо, сытно и нескудно. А иногда он попадал в компанию ребят постарше, поблатней, и тогда у него отнимали все, что ему подавали, заставляли его в любую погоду петь на рынке, отнимали одежду получше и наряжали во всякую рвань, чтобы выглядел пожалостливей... И, чтобы знал свое место в компании, лупили, голодным оставляли... Иногда, спасаясь от такой компании, бежал он в новый город. Но и там его ждало то же самое: барахолка, полуголодная жизнь, облавы, страх, ночевка в сараях или на улице... Когда в Ленинграде чекисты стали вылавливать всех беспризорных ребят и увозить их из города в детские колонии, ему кто-то посоветовал добраться до станции Званка, а там дойти до Волховстройки. Народу там много, милиции мало, барахолка есть, сейчас лето, жить там можно...

Жизнь артиста

Андрей — городской мальчишка. Для него город был скоплением каменных домов, прорезанных улицами; грязные площади городских рынков; набитые людьми трамваи; вонючие

подворотни; согревающие по ночам теплые котлы, в которых варят асфальт. Волховстройка была чем-то совсем другим. Намного красивее и интереснее городов, знакомых Андрею. Даже интереснее Москвы. Можно было подолгу смотреть на огромный муравейник стройки: пыхтящие экскаваторы, ухающие бабы, забивающие сваи; вагонетки, скользящие по канатам, натянутым по высоким столбам... И можно было пробраться на самую стройку, потолкаться около камнетесов, что отесывали большие глыбы гранита, побегать между огромными деревянными ящиками, исписанными нерусскими буквами. Каждый день на стройке происходило что-то новое, и бегать по ней никогда не надоедало.

Правилась беглому беспризорнику и единственная улица с разномастными деревянными домами. Она наполнялась людьми, когда утром электростанция давала протяжный тонкий гудок, и была пустой весь почти день. На каждом крыльце можно было всласть полежать на солнце, никто тебя не трогал и не беспокоил. И впервые в жизни мальчик, которого звали Шаляпиным, узнал, что, кроме города, есть еще и поля, огороды, луга, лес... Андрейка всю первую неделю бегал по окрестностям Волховстройки. Залез было в огороды да быстро сбежал — их охраняли злые собаки и огородники, что еще злее собак. Попал в какой-то старый-престарый монастырь. Там жили несколько старичков в черных, заношенных рясах, иногда приходили к ним молиться скорченные старушонки, они шептали молитвы и били земные поклоны перед иконами и перед страшным стеклянным ящиком. Ящик этот был набит человеческими костями, белыми черепами со страшными пустыми глазницами. А под этим ящиком на доске было написано:

Любовно просим вас,
Посмотрите вы на нас.
И мы были, как вы,
И вы будете, как мы.

Всем была хороша Волховстройка, вот только обычного, шаляпинского, успеха певец там не имел. Барахолка была маленькая, набивалась она людьми по воскресеньям, и только тогда драный картуз Андрея наполнялся необильным гонораром. А все остальные дни недели надо было прокармливаться чем-то другим, не только одним пением.

Андрюшка перепробовал множество занятий. Был крикуном у ирисников. Деревянный поднос, на котором лежали ириски, висел у них на ремне, перекинутом через шею. В обязанность Андрея входило стоять возле них и своим знаменитым звонким голосом кричать: «А вот есть свежие сливочные ириски, копейка пара!..» Ирисники почему-то были все немолодыми и мрачными

мужчинами. Расплачивались они полдесятком ирисок. Вкусно, но несытно.

Нанял как-то один жулик, который обманывал людей странной и увлекательной игрой. В руках у него были три карты, он их показывал собравшимся и быстро разбрасывал по земле. Надо было угадать карту, и тогда выигравший мог забирать не только монеты, что он ставил, но и целую настоящую рублевку. Только Андрейка ни разу не видел, чтобы это кому-нибудь удавалось. И знал, что эта игра в «три листика» была чистым жульничеством. Таким, что даже милиция хватала этих жуликов. Вот чтобы карточного шулера не заметили милиционеры, он и нанимал Андрея дежурить на углу, зорко смотреть по сторонам и вовремя давать сигнал тревоги. Только это оплачивалось плохо.

Однажды Андрея даже настоящий знахарь нанял. Первое время ему это дело нравилось. У знахаря была помощница — толстая рыжая баба с косыми плутовскими глазами. Она на рынке находила каких-то затурканных и придурковатых женщин, уговаривала их и с Андреем отправляла к знахарю. Знахарем был жуликоватый дядька с длинной жидкой бородой, одетый в лоснящийся длиннополый кафтан. Жил он в маленькой комнатке какой-то развалюхи на краю поселка. Андрей приводил к нему очередную клиентку и, стоя у дверей, смотрел, как та — дура такая! — обливаясь слезами, чего-то шепчет знахарю. А тот разложит перед собой на столе какие-то травки, высушенную лапку лягушки, какие-то кости — не то человечьи, не то звериные — и, перебирая их, шепчет непонятные и страшные слова:

Изгони и выпусти
Всякие напасти
Из белой кости,
Из-за подкости,
Из тонкой жилы,
Из сырого тела,
Серединой, верединой —
Разгони и развей,
ТЬфу через левую,
ТЬфу через правую...

И плюется и бросает через плечо косточки и травки... Сначала смотреть на это было занятно и страшно. Но скоро надоели и представления и дуры бабы, одинаково скучные и глупые. Да и скуп был знахарь до последней возможности, кормил его черствым хлебом, спать в своей развалюхе не разрешал, и Андрей быстро сбежал. А кормиться надо было... Конечно, можно было связаться с настоящими блатными, с ворами, стоять у них на стреме, научиться залезать в карманы, а то и вовсе стать форточником у домушников: пролезать

в форточку и открывать в доме дверь ворами... Нет, за все годы своей беспризорщины ни разу Андрей не соблазнился сытой и опасной воровской жизнью! Всегда он испытывал к ней страх и отвращение. Ему не надо было ни фатовой жизни, ни сколько угодно денег на вкусную еду, на ириски, на кино. Ириски он мог подзаработать и так, а в кино он научился попадать и без денег. Контролеры строго охраняли только вход в зал. А на сцену вполне запросто можно было попасть и, сидя на сцене, смотреть картину с другой стороны. Простыня экрана свободно пропускала изображение, только надо было привыкнуть, что у людей справа была левая рука, а слева правая и двигались они как-то по-другому... Но к этому можно быстро привыкнуть, а надписи Андрей все равно читать не умел, и для него не имело значения, какими они получались на обратной стороне экрана.

Хотя на Волховстройке понравилось Андрею и ему вовсе не хотелось уезжать в какой-нибудь новый город и там все начинать сначала, но жить ему становилось все хуже и хуже. С трудом он дожидался воскресенья, когда можно было отправиться на толкучку и там пустить в ход свою пронзительно-жалостливую песню о бедном мальчишке, пропадающем на чужбине. На этот раз певцу не надо было стараться петь пожалобнее. Он чувствовал себя одиноким, голодным, пропадающим ни за грош вдалеке от родных мест. Голос его дрожал от жалости к самому себе, от слез, пощипывающих глаза, деревянные ложки потрескивали особенно уныло. И тогда все больше людей начинало толпиться вокруг него, в картуз, лежавший на земле, клали куски хлеба, иногда кто-нибудь совал в руку медную монетку.

Но воскресенье было в неделе только одно. Хлеба и медаков хватало лишь на два-три дня. А со среды Андрюшка начинал томиться от голода, попрошайничать возле булочной, таскать морковь на ближних огородах. А уже кончалось лето, ночи становились прохладными, и было ясно, что кончаются хорошие и интересные дни на Волховстройке. С тоской Андрюшка думал, что надо будет уезжать из этого полюбившегося ему места, добираться с трудом до Ленинграда или Москвы и там прятаться от непогоды и холода в сырых подвалах, согреваться в вонючих неостывших асфальтовых котлах, прятаться от облав, бояться блатных, милиционеров, шкрабов из детприемников...

В один из воскресных базарных дней Андрей особенно много про это думал. Было ему не по себе, и голос его звучал особенно жалостливо, и ему не надо было притворяться грустным и пропадающим... Когда он кончил петь и кучка людей вокруг него стала расходиться, его кто-то тихонько тронул за рукав. Андрюшка испуганно обернулся. Но молодой парень не походил

ни на переодетого мильтона, ни на шкраба, ни на блатного. Это был настоящий работяга — видно, один из тех, кто строил эту интересную штуку на реке. Андрюшка его видал и раньше. Он часто останавливался, слушал его, и Андрюшка заметил доброе лицо и подхрамывающую походку.

«Сейчас начнет меня уговаривать пойти в милицию и проситься в приемник», — подумал Андрей и посмотрел назад, есть ли там кто еще, удобно ли будет смываться от непрошеного сочувствия.

Но парень, видно, не собирался спасать Андрея. И его занимало что-то совсем другое. Он спросил:

— Хорошо, парень, поешь! Но что ж ты, кроме этой песни, никакой другой не знаешь?

— А чего не знать?! — обиделся Андрей. — Я и другие песни пою...

— Ну, какие твои песни! Про Гоп со смыком, что ли? Так какая же это песня? Так, блатная глупистика какая-то... А ты настоящие песни послушать хочешь?

— Ну, хочу...

— Знаешь, где клуб здешний?

— Ну, знаю...

— Вот как отпоешь свое, приходи в клуб и спроси Варенцова — то есть меня... Да ты не смотри на меня, как Красная Шапочка на Серого волка! Я никуда тебя не дену и в детприемник не пошлю. Только дам тебе послушать такие песни, что ты и слыхом их никогда не слышал! Приходи — не пожалеешь...

Пока базар шумел, Андрейка пел про соловья и мальчишку на чужбине и все время думал про этого парня и его странное предожение. Хорошие песни ему страх как хотелось послушать!.. В Москве ему приходилось слушать только, как поют блатные. Но они всегда пели, когда напивались, и не пели, а кричали, и песни их были нахальные и некрасивые... А этот хромой человек — он не блатной и не из лягавых... И можно попробовать сходить и послушать. А убежать он всегда сумеет, и не от таких, хромых, бегал!

Еще базар не разошелся, а Андрейка пошел к клубу. Ему ли не знать этот клуб, где кино, куда он так часто пробирался без билета на сцену... Он подошел к крыльцу клуба и долго не решался спросить этого — Варенцова... Потом все-таки не выдержал и у какого-то выходящего спросил:

— А как мне найти дяденьку Варенцова?

— Это какой такой дяденька? А, нашего отсека, что ли?

Он вернулся назад и с крыльца крикнул в коридор:

— Гришка! А ну, выйди! Тут тебя твой племянничек спрашивает!

На крыльцо вышел хромой парень. Он одобительно сказал:

— Молодец, Шаляпин, что пришел... Ну поди-ка сюда!.. Осторожно Андрей пошел за Варенцовым по коридору. Они зашли в комнату. За столом сидел чернявый парень и, на-свистывая, перелистывал книгу.

— Вот, Миша,— сказал ему Варенцов,— это знаменитый на всю Волховстройку певец. У него даже кличка такая — Ша-ляпин... Я его, понимаешь, уговорил прийти сюда и послу-шать, как поют настоящие певцы. И не на барахолке, а в самой Москве, в Большом театре, или еще где... Ты говорил, что сейчас время, когда можно слушать... А ну, доставай свою машинку! А тебя, Шаляпин, как мама-то звала?

— Андрюшкой...

— Вот, Андрей, садись сюда, к столу...

Миша подошел к шкафу и достал небольшой черный ящичек. Он поставил его на стол, ловко поймал свисающие со стены провода и прикрутил их какими-то винтиками к ящичку. На его верхней крышке торчали какие-то непонятные ручки. Миша подключил к ящичку еще провод и надел на голову металличе-скую скобу, на одном конце которой был наушник. Он поудобнее прижал наушник к уху, потом взялся рукой за рычажок, к которому была прикреплена тоненькая пружинка. Он стал ею щупать маленький поблескивающий камешек на крышке ящичка. Миша внимательно вслушивался, осторожно подкручивая ручки. Потом он снял с головы тугую металличе-скую скобу и сказал:

— Ну, Шаляпин, слушай! — и стал надевать скобу на вихрастую, нечесаную голову Андрея.

Он приладил к его уху эту круглую штуку, и в ухо Андрея ворвался странный шум, потрескивание, звуки неведомых ин-струментов. И все это перекрыл низкий и бархатный голос такой небывалой, неслыханной красоты, что у Андрея перехватило дыхание, ему казалось, что у него лопнет сердце или еще что случится...

Голос пел песню со словами непонятными, но такими же красивыми и печальными, как эта мелодия, грустно повторя-емая неизвестными Андрею инструментами.

«Уймитесь, волнения страсти,— пел где-то далеко в Москве этот удивительный человек,— засни, безнадежное сердце, я плачу, я стражду, душа истомилась в разлуке...»

Собственно, он пел о том же, о чем пел и сам Андрюшка: о том, как плохо, когда ты один и вокруг тебя нет никого, кто бы сказал ласковое слово и пожалел... Только это было невероятно красивее и лучше, нежели Андрюшкина песня про мальчика, жалеющего, что никто не узнает, где его могилка... На глазах Андрея выступили слезы, и внимательно смотревшие на него Варенцов и Миша отвернулись, сделали вид, что они

ничего не видят, чем-то заняты... Песня закончилась, и неестественно бодрый женский голос объявил:

«На этом передача музыки заканчивается. Говорит Москва! Говорит радиостанция имени Коминтерна! Слушайте нашу следующую передачу...» И все замолкло. Андрей еще вслушивался некоторое время, но в наушнике только потрескивало, ничего не было слышно. Он медленно стал снимать с головы тугую скобу.

— Ах, жалко, что малость ты запоздал... Кончили пластинку крутить,— сказал Миша.— А знаешь, кто это пел? Твой тезка — Шаляпин! Ну как? Кто из вас поет лучше?

— Брось ты, Миша, свои дурацкие шутки,— недовольно сказал Варенцов,— каждый поет как умеет. У Андрея совсем другой голос, но тоже красивый, может, и из него что получится. Он-то еще ничего в жизни и не видел, кроме барахолок, да сараев, да подвалов. Ну-ка найди ему что-нибудь еще!..

Андрей был совершенно подавлен тем, что с ним случилось за какие-то полчаса... Он знал, слышал от кого-то из ребят, что существует вот это — странная, непонятная штука, позволяющая услышать чужой голос за бог знает сколько верст...

— Это радио называется, да?

— Радио, а не радиво.

— А как оно сделано? А что в этом ящичке?

— Э, брат, эта штука занятная и не простая. Но если хочешь, можем тебя научить делать эту штуку: она называется радиоприемник...

— И у меня будет такой? Совсем такой? И как захочу, так и буду слушать?

— Да вроде так... Сделаешь и будешь слушать. А захочешь — и еще кому-нибудь сделаешь. Я этот приемник сам сделал. Если хочешь, могу и тебя научить...

— Слушай, Андрюшка! — вмешался Варенцов в разговор Михаила с мальчиком.— До следующего базара целая неделя. Тебе эту неделю все равно как-нибудь надо перебиться. Вот походи с Михаилом к ним, переночуй у него, приведи себя маленько в божеский вид, чтобы тебя лошади не пугались, а потом начнешь и учиться делать себе приемник. А вечером еще послушаешь радио — как поют настоящие артисты! Чем черт не шутит! Может, и ты станешь таким, настоящим артистом, будешь там в Москве петь, а мы с Мишкой тебя по радио слушать... Вот будет интересно!.. Миш, веди его в «халупу-малупу» да захвати приемник — пусть парень сегодня послушает...

Михаил отцепил провода от необыкновенного ящичка, взял его под мышку и подмигнул Андрею:

— Айда, Шаляпин, со мной!

На радиоволне...

По дороге Андрей все порывался спросить, что это за «халупа-малупа», куда они идут, но стеснялся. Но Михаил не держал Андрея ни за руку, ни за ворот, на него и не глядел даже... Андрей решил, что если эта «халупа-малупа» окажется тюрьмой, или милицией, или детским домом, то он всегда успеет смыться — бегать он горазд, никто его не догонит...

Но «халупа-малупа» оказалась просто-напросто маленьким и очень красивым домиком. Михаил привел его к крыльцу и сказал:

— Прибыли! Сейчас будем выступать! Жди меня...

Через несколько минут он появился с ведром воды, кружкой, с полотенцем на плече, с куском мыла в руке. Увидев на лице Андрея гримасу отвращения, Михаил сурово нахмурил брови:

— Ты не думай, Шаляпин, что я тебя с такими руками близко подпущу к радиотехнике! Да у меня немедленно из строя выйдут все конденсаторы, полетит к черту самоиндукция! Хочешь стать мастером и делать радиоприемники — кончай с этой грязью! Снимай рубаху и штаны, не бойся, тут девок нет, никто тебя не съест! Давай, давай!..

Во всем, что последовало дальше, ничего хорошего не было. Вода была или чересчур горячей или очень холодной, мыло ело глаза до слез. Зажмурившись, беззащитный в своей наготе, Андрюшка стоял под деревом, а быстрые и железные руки его скребли, поворачивали, и все это под поощрительные советы каких-то голосов вокруг:

— Ну, как негр! Вот это грязюка! Ребята, его надобно на веревке в Волхов спустить и два дня отмачивать!.. Где вы такого достали? Ребята, так ведь это Шаляпин с барахолки, я ж его знаю! Ну, хватит вам парня пугать, он уже и так, вишь, ревет...

Когда жесткое полотенце вытерло ему лицо и Андрей открыл глаза, он увидел, что вокруг него стоят человека четыре и со смехом смотрят на то, что с ним делает Михаил.

— Ты смотри, какой красивый парень стал! А он, оказывается, блондин! Он у нас что, новым коммунарком будет?

Но Миша решительно сказал:

— Хватит вам языки чесать! Этого Шаляпина зовут Андрей. Он сейчас будет — вне всякой очереди — слушать радио. Сколько захочет, столько и будет слушать! А уж вы — потом. На тебе, Андрюха, мою рубашку, надевай. Она немного длинновата, ничего, закатаем тебе рукава, штанов вот нет — придется тебе старые надевать. Потом придумаем. Ребята! Что у кого есть пожрать? Сейчас мы этого артиста покормим. А зато когда он станет знаменитым и будет петь в Большом или Мариинке, всем нам контрамарки обеспечены!..

И действительно, весь вечер Андрей слушал радио. Он сидел

в комнате с наушником и слушал все подряд: как мужчины и женщины рассказывали про царизм, капитализм, про то, какая будет погода; они читали стихи и пели дивные и разные песни — веселые и грустные, пели по одному и несколько человек вместе. А то играла только музыка, и это тоже было красиво и грустно... И как это все происходит, как это можно из такого маленького ящика извлекать все эти голоса, мелодии, — все это было совершенно непонятно и интересно до чертиков...

Потом Андрею объяснили, куда ему выходить ночью, ежели понадобится, уложили на чистую настоящую кровать, сетка под ним упруго подскакивала, никогда еще Андрей не спал на такой мягкости! И заснул. Сытый, в тепле.

Как странно закончился этот день!

Утром Михаил разбудил его, накормил, велел идти в клуб и ждать его или Варенцова. Днем отвел в столовую, накормил настоящим обедом... А когда после гудка все пошабашили, пришел к клубу, одобрительно взглянул на Андрея, стоящего у крыльца, и весело подмигнул:

— Пошли, брат!..

В знакомой комнате, где они вчера были, за столом сидел Варенцов, у окна на табуретке незнакомая женщина с усталым лицом. Варенцов повернулся к вошедшим:

— А вот и он! Видите, Зоя Сергеевна, какой парень? Наять! Знаменитый местный певец по прозвищу Шалыпин! И будет он делать радиоприемники. Миша его научит в радиокружке вашем. Сделает себе приемник, ну, обязательно вам, потом, может, и сюда, нам в ячейку, сделает какой-нибудь поинтереснее приемник... Правда, Андрюша? Иди сюда. Это вот Зоя Сергеевна, она из Ладожского детского дома...

...Так, ясно! Влип!.. Андрей мгновенно оглянулся. Сзади у двери никого не было. Теперь надо только тихонько попятиться, будто нечаянно, затем рвануть дверь и...

— Да тебя никто не держит! Хочешь бежать — беги! Это, Андрюшка, сколько угодно и когда хочешь. У нас в нашем подшефном детском доме никого силком не держат. Вот Зоя Сергеевна скажет, не даст соврать. Хочешь — уходи, пожалуйста. И никто за тобой гнаться не будет. Только ты, Андрюша, пойми: вот Миша Дайлер — он руководит в доме у Зои Сергеевны радиокружком. Там у него все инструменты, все материалы. Если ты хочешь научиться, надо пойти туда. Пока будешь учиться делать радио, тебя кормить будут, дадут где спать, одежку дадут. Ты читать умеешь?

— Не...

— Черт!.. Как же ты схемы будешь читать? Чтобы по-настоящему приемники собирать, надо уметь читать. И писать не мешает научиться. Тебя Зоя Сергеевна научит и читать и пи-

сать. А не понравится — уйдешь. Пожалуйста. Миша! Ты когда в кружке занятия проводишь?

— В среду. Послезавтра, значит.

— Ну, так, может, ты там у Зои Сергеевны подождешь два дня? Понимаешь, Андрей, здесь тебе жить негде. В комсомольской коммуне мест нет, да и коммуна наша не приспособлена для таких пацанов. А нам ты нравишься, хочется тебя научить чему-то интересному. Пойди в детский дом. Даю тебе комсомольское слово: не понравится тебе, можешь уходить — никто и слова тебе не скажет! Вот мы с Зоей Сергеевной об этом точно договорились. А если понравится — живи, учись читать и делать радиоприемники. Такой кружок только у них и есть! Даже у наших пионеров нету, а там, в Ладожском детском доме, пожалуйста!

Зоя Сергеевна молчала. Лишь один раз утвердительно кивнула головой, когда Варенцов сказал, что может он, Андрей, уйти из этого дома, когда только захочет. Потом она неторопливо встала:

— Если хочешь, Андрюша, едем со мной. Только тогда возьми у Михаила материалы для антенны.

Дайлер открыл шкаф и достал оттуда медную проволоку, белые изоляторы...

— Бери, Шаляпин, все это. Только смотри ничего не растеряй. Послезавтра приеду к вам, будем с тобой ставить такую антенну, что весь мир будем слушать! Довези аккуратно, сдай материал Зое Сергеевне, осмотришь и жди меня... Топай, браток!

Всю долгую дорогу до детского дома, пока они на обыкновенной телеге тряслись по проселку, Андрей со страхом и любопытством присматривался к Зое Сергеевне. Андрей был тертый беспризорник, перевидал не один детприемник и не одну такую тетку из воспитательниц... Но Зоя Сергеевна не была на них похожа: она не расспрашивала Андрея, кто он, и откуда, и где жил, и кто его родители, откуда он бегал... Спросила только, правда ли, что он хочет радио делать, и сказала, что у них есть еще несколько мальчиков, что учатся у Миши Дайлера этому делу.

Неласковая вроде и неразговорчивая эта Зоя Сергеевна, а не будь ее — сбежал бы Андрей из этого детского дома. Ох, и не понравились ему красные монастырские стены, и окованные железом ворота, и суровая кастаньяша, что отобрала у него все его шмотки и выдала ему казенные, и мальчишки да девочки, что с любопытством смотрели, как его моют, стригут, слушают трубкой, что приставляют к груди и спине... За эти два первых дня не раз подумывал Андрей выйти за ворота да припустить по белой дороге... Куда бы она ни вела, нигде он не пропадет! Но каждый раз, когда уже всерьез об этом подумывал, он встречался с внимательными, спокойными и добрыми глазами Зои Сергеевны.

«Подожду, подожду, пока Миша приедет, а там...» — решил про себя Андрей.

В среду Миша ворвался в детский дом как бомба. У самых ворот закричал:

— Где Шалапин? Где мой верный помощник? Где здесь главный специалист по радио?

И, увидев Андрея, затормошил его, закружил, хлопал по плечу, оглядывал, восхищался его новой одеждой, расспрашивал про ребят, с кем успел подружиться, передавал привет от Гриши Варенцова, от всех ребят из «халупы-малупы», чуть ли не от самих Графтио и Омужева. По словам Миши, вся Волховстройка с надеждой смотрит на Андрея, от которого будет зависеть, чтобы радио на Волхове звучало в каждом доме...

Два дня прожил Миша в монастырских стенах Ладожского детского дома, и эти два дня запомнились Андрею навсегда. Начать с того, что он, еще один мальчик, которого звали Иваном, и Миша Дайлер, они втроем сделали самый настоящий радиоприемник. Это было самое настоящее чудо!

Из обыкновенной фанеры они сбили маленький ящик, провернули в нем несколько дырок, выкрасили черной краской и положили сушиться. Потом они начали строить хитрые внутренности для этого ящика. Из толстой бумаги вырезали листочки и обклеивали их серебряной бумагой, что бывает в конфетах и шоколаде. Они прилаживали эти бумажки к металлической палочке, бумажки заходили одна за другую — это называлось конденсатором переменной емкости... Потом они делали сложную штуку, которая называлась катушкой самоиндукции. На пустую катушку от ниток моталась тихонько и аккуратно тонюсенькая проволока. И не просто моталась, а надо было считать каждый виток, и считал Андрей, а Миша только проверял. Потом они делали детектор: на свечке расплавляли какой-то металл, налили его в крохотуленькую чашечку и осторожно положили в расплавленный металл камешек — назывался он кристаллом. Подвижной рычажок со стальной пружинкой ощупывал кристалл, и от этого зависело, услышат ли они что-нибудь или нет...

Много еще было всякой работы в эти два дня. На крыше ставили высокие палки и крепили к ней антенну — такой медный сплетенный провод на изоляторах; потом тянули проволоку к старому колодцу — это называлось заземлением... В эти дни Андрей с Иваном бегали только в столовую. А от всего другого — от уборки комнат и двора, от санитарных бесед и всякого другого, из чего состоит жизнь детдомовцев, — они были освобождены. И в комнату, где они втроем занимались, заходила только Зоя Сергеевна и молча, как всегда, смотрела, как Андрей на примусе варит столярный клей, как он коло-

воротом дырки крутит... А Миша все самое трудное поручал ему, Андрею, и только приговаривал:

— Смотри и запоминай! Ты у меня будешь в радиокружке первый помощник и заместитель... А потом и сам станешь руководителем! Только, брат, для этого тебе еще надо научиться читать. Ну, да за зиму ты этому делу научишься, а весной мы будем мастерить не простой приемник, а настоящий супергертеродин, да еще ламповый... Во!

А когда все было готово, когда на столе стоял блестящий черный ящик, поблескивая медными винтиками, шурупами, клеммами, эбонитовыми ручками, Миша надел Андрею на голову наушник и серьезно, без улыбки, сказал:

— Ну, Андрюха, готов твой первый приемник. И ты его должен первым опробовать. Делай, как я тебя учил. Вот этой ручкой крути вправо, а детектором ищи в кристалле самое чувствительное место...

И Андрей — один, сам по себе! — начал крутить ручку конденсатора, правой рукой тыкать проволокой в кристалл детектора. И он услышал в наушнике потрескивание, шумы и всплески, а потом из этого странного и далекого шума выплыла плавная и грустная мелодия...

Андрей поднял к Мише счастливое свое лицо, и тогда в первый раз рассмеялась тихим и серебряным смехом Зоя Сергеевна...

— Вот, брат, как у нас!.. — Миша даже прищелкнул пальцами. — Только ты помни, что это все пустяки! Как научишься сам придумывать приемники — вот тогда да, станешь мастером! Ну, до этого еще далековато. Однако первый шаг сделан. Так как, Шаляпин, останешься здесь или же уткнешь? Если останешься, пойдем дальше...

— Останусь... — тихо сказал Андрей, вслушиваясь в музыку, ожидая, что вот-вот вступит тот самый необыкновенный, за душу берущий голос...

Оно горит и ярко рдеет

Смерть комсомольца

— ...А Цехновский был провокатором. Ну, это значит, что он передался дефензиве — у поляков так охранка называется, как у нас при царе жандармы... И стал передавать дефензиве все, что коммунисты и комсомольцы делают, где собираются, какие листовки печатают...

— А зачем он это делал?

Вожатый Миша Куканов посмотрел в ясные и встревоженные глаза Шурки Магницкого. Всегда этот Шурка задавал вопросы, на которые так трудно отвечать... Ну зачем рабочий парень — а этот Цехновский, видно, тоже был рабочим, — зачем он стал предавать товарищей, стал иудой, негодяем, зачем? Мише трудно было ответить пионеру, ему это самому было непонятно...

— За деньги, наверно. Кто деньги любит, тот всегда готов стать предателем. Вот и Цехновский этот стал таким. И всех своих товарищей — комсомольцев, значит, — предал... А у революционеров есть свои законы. И по этим законам — предателю смерть! Собрались комсомольцы...

— В подполье?

— Ну где же!.. Конечно, в подполье. Собрались и вынесли решение: предателю Цехновскому — смерть! И поручили это сделать комсомольцу Ботвину.

— По жребию?

— Да уж не знаю, по жребию или как... В газете про это

не написано. Ботвин, конечно, понимал, на что он идет. Жандармы своих в обиду-то не дают... Но ведь настоящий комсомолец — он жизни своей не жалеет ради революции... Посредине улицы, днем, Ботвин застрелил провокатора, как бешеную собаку застрелил... Его тут же жандармы схватили. И немедленно — военно-полевой суд... И приговорили к расстрелу... Приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Дали нашему Ботвину один час, чтобы попрощаться с близкими...

— И со своими товарищами тоже?

— Так ведь они не могли с ним даже попрощаться — их всех сразу бы и схватили! Когда судили Ботвина, комсомольцы побежали на фабрики, кричат: «Идите все, нашего товарища убить хотят!» Рабочие работу бросили, приказчики из магазинов убежали, весь город опустел — все бегут к суду. Там тысячи людей собрались... А вокруг суда полиция, жандармы лошадей людей дают... Все равно приговорили — расстрелять... Тогда народ к тюрьме кинулся.

А в тюрьму привели к Ботвину раввина — попа еврейского, значит. Ботвин его из камеры вытолкнул и говорит: «Религия существует для рабов, а я не раб!..» Попрощался с родными, с матерью... Ведут его на тюремный двор, а там столб вкопан, повозка стоит, а на повозке уже гроб приготовлен... Он идет и поет «Интернационал»... А во всех камерах заключенные бьют кулаками, мисками в двери, кричат: «Прощай, товарищ!» — и вместе с ним поют «Интернационал»... Подходит Ботвин к месту казни, осмотрелся и крикнул: «Долой буржуазию! Да здравствует революция!» А за тюремной стеной стоят тысячи людей и вместе со всей тюрьмой поют «Интернационал». И слышат — залп!..

Тамарка Осипова подавилась коротким всхлипом... Стояла такая тишина, что было слышно шипение, с каким сворачивались на костре листья свежих веток. Дым относил в сторону, и в призрачном свете костра Миша видел лица и глаза всех своих ребят.

За этот год Миша Куканов так близко узнал пионеров Волховского отряда, что теперь, глядя на них, застывших в оцепенении от его рассказа, он знал все, что каждый из них думает и переживает. Недоуменно-грустные глаза Шурки Магницкого. Он никогда не может смириться с плохим, страшным, ему обязательно надобно знать: почему люди так поступают? И Миша знает, что не один день Шурка будет ходить за ним и требовать ответа на мучающий его вопрос: откуда берутся предатели?..

А Генка Ключников прикусил губу. Кулаки его сжаты, весь он подобрался, он там — с польскими комсомольцами, у него не дрогнет рука застрелить предателя, он готов разделить

судьбу Ботвина, он не признает никакой половинчатости ни для себя, ни для других...

А Тамарка плачет вовсе не оттого, что у нее, девчонки, глаза на мокром месте... Позавчера на военной игре она провалилась в яму и разбила себе колено до крови, а все же не пискнула даже — ведь была в разведке... И с разбитой коленкой доковыляла до штаба и передала донесение! А Ванька Силин слушает рассказ о геройской смерти комсомольца, как интересную сказку, и, кроме любопытства, ничего не видно на его круглом лице...

...С каким страхом десять месяцев назад шел Куканов вместе с секретарем ячейки Гришкой Варенцовым в пионерскую комнату! Как отбивался он, когда его, члена бюро ячейки, назначили вожатым отряда...

— Ребята! Как же я пионерам буду говорить, что пионеры не курят, когда я сам курящий?..

— Не будешь, значит, курить...

— Я ж не учитель, а слесарь! И я не знаю, что с пацанами делать.

— Ты ж не отказывался, когда тебя в бюро выбирали! Значит, комсомольцами руководить можешь?

— Ну, могу...

— И пионерами, стало быть, сможешь! Требуй с них, помогай им, пусть комсомольцами вырастают. И, конечно, примером будь для них... А он, видишь ли, курящий!.. Хороши мы будем, если от такой малости отказаться не сумеем! Значит, голосуем...

После заседания Миша мрачно вытащил из кармана папиросу, размял ее и потянулся к Юре Кастрицыну за огоньком. Юрка захохотал на всю улицу. Куканов стиснул зубы, сломал папиросу, повернулся и пошел один. Через несколько шагов он остановился, вытащил только что начатую пачку «Дуката», скомкал ее и швырнул в снег. Назавтра все про всех знающая Ксения Кузнецова подошла в ячейке к Куканову и сладко пропела:

— Мишенька! Дай закурить. Мои кончились...

Но, поглядев в бешеные Мишины глаза, поперхнулась и замолкла.

— Ксюша! — сказал Варенцов тем скрипучим голосом, каким он говорил только в минуты большого раздражения. — А вот тебя мы не захотели назначить вожатой... И хорошая ты дивчина, а бузу трешь, как самая последняя балаболка... А ведь надо было бы назначить. Не ради пионеров, а ради тебя... Может, ты тогда бы и последила за своим язычком...

И вот Куканов вожатый... Младший братишка, Андрюшка, увидев на шее брата красный галстук, затанцевал по комнате с неистовым криком:

— И я! И я! Я тоже буду пионером!..

Мать недоуменно-соболезнующе покачала головой, но, как всегда, промолчала.

А отец, такой обычно суровый и неразговорчивый, подошел, потрогал Мишин галстук и, неожиданно улыбнувшись, спросил:

— Так они тебя что, Михаил Петровичем звать станут? Или как?

— Зачем же Михаил Петровичем? Я для них не учитель, а товарищ. Ну, просто старший товарищ... Не зову же я тебя Петром Ивановичем!

— Ну, правильно, старший товарищ!.. Ты, между прочим, братеника младшего повоспитай. А то распустился совсем, думает, что теперь его сразу же в пионеры примут. Как же — брат вожатый! А для коммуниста нет ни братьёв, ни сватёв! И смотри, чтоб мне в своей ячейке за тебя не краснеть!

Теперь, когда уже столько месяцев прошло, Михаил спокойно и даже с удовольствием вспоминал, как он стал вожатым. А было немного горьковато... Вместо того чтобы после работы бежать в комсомольскую ячейку и там с наслаждением погружаться в дела, крик, споры, песни, шел в пионерскую комнату клуба. А она даже вход другой имела — со двора... И, толкая с ребятами, Миша с невольной завистью вслушивался в веселые голоса за стенкой и различал в этом гомоне и залистый смех Ксюши, и высокий голос Юрки Кастрицына, и басок Варенцова... И на комсомольских собраниях он был единственным в красном галстуке, и ребята на него оглядывались весело и уважительно. А когда в конце собрания они пели «Молодую гвардию», Миша — единственный — при словах «Мы подымаем знамя, товарищи,— сюда!» отдавал пионерский салют, как это положено у пионеров, когда они поют комсомольский гимн...

«Пионер носит свой красный галстук всегда! Он надевает его утром, после того как умоется, и снимает вечером, когда ложится спать», — говорил Михаил ребятам. И сам свой красный галстук носил именно так. Только на работе он его бережно снимал, чтобы не запачкать маслом и железными опилками. А уходя с работы, снова повязывал его, и, когда он шел по улице, огненные языки галстука выбивались из-за воротника куртки. Однажды он встретил безавшую по улице Тамарку Осипову, она взглянула на него, взметнула над головой руку, потом внезапно обмерла и схватилась рукой за шею — голую шею без галстука... Он ей тогда ничего не сказал, только не ответил на салют и, не взглянув даже в ее сторону, прошел мимо... На другой день Тамара вечером пришла в отряд. Тихая и убитая, сидя в углу, она все время следила глазами за вожатым и ждала, когда он начнет разговор с ребятами о вчерашнем. Но Миша даже не смотрел на нее.

Тамара подождала, пока все не разошлись, подошла к вожатому и сказала отчаянным голосом:

— Миша! Я переоделась и забыла... Я...

— А вдруг ты забудешь, что ты пионерка? — перебил ее Михаил. — В школе — пионерка, на сборе — пионерка... А в другом месте — уже не член организации, да? Так у нас не положено! Вступила, дала торжественное обещание — всё! А то что ж... Я буду комсомольцем на работе, на собрании, а потом раз — и в церковь или торговать на базаре... Так у нас не бывает! Комсомолец — значит, всегда! И на всю жизнь! Только отступись от малого — и про большое забудешь... Так что ты, Тамара, про галстук не забывай. Ну и хватит про это!

Конечно, нелегко было Мише. На демонстрации Седьмого ноября — не со своими ребятами, а с пионерами... Первого мая в ожидании начала митинга ребята собираются в кружок и на весь поселок с посвистом орут:

Вся деревня без попа,
Ламца-дрица-о-ца-ца,
Раз-го-ва-ри-ва-ют:
«Ай да ребята, ай да комсомольцы!
Браво, браво, браво, молодцы!»

А ты с пионерами стараешься их перекричать:

Дым костра, огней сиянье-янье-янье-янье...
Серый пепел и зола-ла-ла...

Да разве перекричишь! Пионеры кричат тоненькими, совсем ребячьими голосами... Да и песня не та...

А привык! Мишу Куканова трогала и радовала безграничная вера пионеров в своего вожатого, в каждое его слово. Конечно, он старался, чтобы ребятам было весело и интересно. Выпросил у начальника работ Пуговкина проволоку и вместе с ребятами сплел сетки на окна пионерской комнаты. Попросил у Омужева мяч волейбольный. Степаныч, такой всегда скаредный, через два дня сам принес два мяча — настоящих, каких у комсомольцев не было! А Василий Иванович Пуговкин пришел как-то вечером, посмотрел, как, обдирая в кровь руки, ребята плетут сетку, и недовольно пробурчал:

— Как в каменном веке!.. За что тебе, Куканов, дали пятый разряд, ну просто непонятно! Зайдешь в механическую, там двое тисков лежат без дела, скажешь, что приказал пионерам отдать... Ну и плоскогубцы лишние найдутся там... А готового ничего у меня не просите — не дам! Инструменты, какие лишние есть, ну и материал — это, может, подкину... А все, что надо, пожалуйста, сами делайте! Волейбольную сетку из шпагата сплетете, а вот тут, чтобы ее укрепить, выпилите два крон-

штейна. И сами, сами пусть пилят! А ты им покажи, ведь пятый разряд — не шутка!..

И зимой, когда не то что волейбольный — мячик от лапты некуда закинуть, пионеры в волейбол играют! А комсомольцы стоят у дверей. Переминаются от охоты поиграть, советы подают и робко просят: «А нам можно с вами, ребята?..»

Но дело не в этом! Приятно, когда пионерам весело, когда они торопятся сделать уроки и обязательно, хоть на часик, прибежать в пионерскую комнату... Приятно, когда все к тебе относятся уважительно и ласково, когда старый токарь Мигунов, который раньше и внимания на него не обращал, вдруг пришел в мастерскую и сказал: «Хочу с тобой, Куканыч, насчет своего хлопца посоветоваться...» И назвал его, как на Волховстройке его отца называют, Куканыч...

А все-таки приятней всего рассказывать ребятам о гражданской войне, о том, как за границей рабочие с буржуями борются... Рассказываешь — и в комнате мертвая тишина, и в обращенных к нему глазах пионеров такая вера, такая убежденность!.. И где бы Миша ни показался, сразу же к нему слетаются ребята и ходят за ним стайкой, без всякой надобности ходят, просто так — чтобы за руку подержаться, спросить чего... Вожатый!

Первый лагерь

А летом устроили пионеры лагерь — их первый лагерь! Сколько было работ, и горьких и сладких!.. С зимы стали комсомольцы на воскресниках работать — деньги зарабатывать на пионерский лагерь... А один общий воскресник сделали — больше тысячи человек пришло работать... И Степаныч из Ленпрофсовета привез немного денег. И с родителей, что помногу зарабатывают, часть денег взяли. А потом доставали палатки, делали походные кровати... Чугунную плиту дали на складе. Котелки всякие, кастрюли там, миски и ложки... А завхозом лагеря и главной поварихой назначили эту трепушку — Ксению Кузнецову...

И оказалась она такой толковой дивчиной — это она все миски и всякую утварь раздобыла!

К самому Графтию ходила и кричала там на зрителя зданий так, что тот даже титан — новенький, настоящий шведский кипяtilьник — отдал! Ксению не перекричишь, не переспоришь, нет!..

Место для лагеря Михаил нашел сам. Искал долго — обходил оба берега на много верст. Сразу же после работы забирал с собой двух старших ребят, Генку Ключникова и Степу Ананьина, и отправлялся на поиски. Ребята, конечно,

хотели поинтереснее: предлагали лагерь устроить на острове — чтобы никто незаметно не мог прокрасться, чтобы на лодках переправляться... Или же на горе — чтобы красный флаг на высокой мачте был виден из всех деревень. Ну и, натурально, чтобы легче было отражать нападение всех возможных врагов... Но хотя эти предложения и были по сердцу вожатому, Миша предложил другое.

Поросшая лесом узкая долина небольшого ручья спускалась клином к Волхову. Большая поляна была зеленая, сухая, она заросла белыми цветами земляники, среди которой уже видны были краснеющие ягоды. И вода в ручье была чистая, холодная, и деревень близко не было, и нельзя было найти лучшего места для военной игры. Последнее и убедило ребят. Потом ходили туда всем советом отряда. И Гриша Варенцов придирчиво осмотрел место и согласился. И Омурев пришел к будущему лагерю, весело тер руки и сказал, чтобы кухню строить за пригорком и обязательно накрыть навесом. А через три дня уехал в Ленинград на конференцию и привез оттуда два костюма — юнгштурмовки... Их немецкие комсомольцы носят — «юнгштурм»... Зеленые гимнастерки, настоящие портупей через плечо... И, ко всеобщей зависти комсомольцев, отдал эти костюмы Михаилу и Ксении... Пионеры ахнули от гордости за своего вожатого, когда он пришел на сбор в гимнастерке с портупей...

Выбрали хозяйственное звено, санитарное звено и военное звено. Санитары достали откуда-то ранцы и понаделали из них санитарные сумки. Налепили на них красные кресты, набили их бинтами, аспирином, склянками с йодом и касторкой... А с военным звеном, забросив все свои многочисленные дела, возился Юра Кастрицын. Рассказал им, как делать «военную тропу» — такую же, что и у индейцев в Америке. Понаделал дротики и луки со стрелами. Привез из Ленинграда и отдал ребятам два настоящих компаса, походную фляжку, ножик в чехле и топорик с индейским названием «томагавк»... Начал ребятам рассказывать про необыкновенную штуку — бумеранг. Делается из дерева, пускается во врага, сбивает его, а потом прилетает обратно... Юра перевел не одну сажень дров, изготавливая этот бумеранг — попросту кривой кусок дерева. Но бумеранг хотя ветки и сшибал, как всякая деревяшка, а обратно лететь не хотел. «Не то дерево! — огорченно сказал Юра. — Нужно тиковое или же черное, а оно около Волхова не растет!..» В общем, без бумеранга обошлись. Зато он обучил ребят, как по расположению веток, по тому, где и как на деревьях мох растет, находить страны света. И как, послушав палец, узнавать, откуда ветер дует. И как узнавать на завтра погоду. И как, приложив ухо к земле, слышать далекие шаги противника...

Ксения с хозяйственным званом, с подводами, на которых лежали палатки, кирпичи, котлы, ложки, миски, уехала в лагерь за целую неделю до выхода отряда.

И вот настал этот день! Миша Куканов еще раз, волнуясь, осмотрел строй ребят. Сорок восемь мальчиков и девочек с походными сумками за плечами, в красных галстуках не сводят с него глаз... Он уходит с ними на все лето, он будет нести за них всю ответственность перед их родителями, что стоят вокруг, перед комсомолом, перед партией... Он теперь остается их единственным руководителем, наставником, защитником. Уже нельзя будет отправить домой провинившегося парнишку, нельзя будет в трудном случае забежать к Варенцову спросить совета... Теперь он за все в ответе!

— Отряд, смирно! К выносу знамени... Равнение на знамя! Салют!

Тревожно и торжественно забил барабан, затрубил горн... Сдергивает свою фуражку Степаныч, рабочие обнажают головы перед пламенеющим красным пионерским знаменем, которое выносят из дверей клуба Степа Ананьин и его ассистенты.

— Прямо... Шагом... арш!..

И двинулись. Из окон бараков и домов высывались люди, махали руками... Вышли за поселок, остановились, перестроились в походный порядок. Впереди идет разведка. Она будет оставлять за собой условные знаки, чтобы отряд мог найти дорогу. В голове колонны — самые маленькие и слабые... Позади — постарше. В конце походной колонны — санитары. Поход нешуточный — двенадцать верст. Через каждый час — десять минут отдыха. На руке у Миши самые настоящие часы — «Мозер»... Это Юрка Кастрицын ему свои часы отдал: как же, в лагере — и без часов!..

Дорога вьется, вьется... По деревенскому проселку, по лесной тропинке... Успевай смотреть, где заломлена ветка, где брошена скомканная бумажка — знаки правильной дороги, оставленные разведчиками. Правда, дорога эта до того уже знакома Мише, что он ее с завязанными глазами найдет... Но это для Миши, а отряд идет по военным приметам.

За деревьями катит свои волны река. Отряд растянулся, бьет барабан, и с горки на горку неумоимо идут ребята в свой первый лагерь. И уже виден у поворота маленький красный флажок — знак: лагерь!.. И замирает сердце от вида белых палаток, посыпанной песком линейки и высокого флагштока — пока еще голого, безжизненного, без знамени. Отрядная колонна останавливается без всякой команды, и общий вздох восторга проносится по рядам. А вместе с ним замирает от восхищения и Миша, как будто впервые он это увидел, как будто не вчера только он устраивал эту линейку, не водружал флагшток...

Это были в биографии Михаила Куканова самые хлопотные и самые сладостные дни жизни. Сотни забот, больших и малых, сваливались на вожатого лагеря. Вдруг выяснилось, что Ксюша, захватившая в лагерь всевозможные специи, даже какой-то таинственный кардамон, забыла взять соль... И, пока она бегала за ней в Волхов, ребята целый день ели все несоленое. И Миша сидел за длинным столом под соснами, сосредоточенно хлебал невкусный до отвращения суп и поглядывал одним глазом за ребятами: едят? Ребята ели суп мужественно, по-пионерски, не моргнув глазом, ни один из них не пискнул...

А был и ужасный день, когда выписали из лагеря и отправили в поселок Тишку Жаворонкова — такого милого и хорошего паренька, самого маленького и всеобщего любимца. Но он нарушил железный закон лагеря — без разрешения один пошел купаться на Волхов... Тишка плакал так, что у Миши разрывалось сердце. И плакали все девочки, и ребята ходили за Мишей и смотрели на него умоляющими глазами. И все это было так горестно, что под каким-то предлогом Миша забежал в штабную палатку и там всхлипнул от жалости к Тишке, у которого так мало радостей дома... Но он сказал ребятам, что каждый, кто нарушит этот закон, будет изгнан из лагеря. И без всяких исключений! И он не мог, не мог нарушить слово, данное ребятам перед строем!.. И он сам отвел Тишку в Волхов, и Тишка плакал всю долгую дорогу, и, забежав домой, Миша посмотрелся в зеркало — ему показалось, что он посидел от всех этих страшных переживаний...

И бывали дожди — злые, холодные, с ветром, дующим с Ладоги, — когда кухню заливало водой и кормить ребят надо было в палатках и когда явно заболели ребята младшего звена, а термометр, оказывается, разбили и санитарное звено побоялось об этом сказать вожатому... И тихие, по вечерам, когда пионеры уже спали, ссоры с Ксенией из-за ее дурацких песен, которые перенимали у нее ребята, из-за того, что она выгоняла из кухни мальчиков, когда те срезали с картошки слишком толстую кожуру... Ну, всякое, конечно, бывало... А все-таки, когда Михаил отправлялся по лагерным делам в поселок, ему там не сиделось, и, даже разговаривая с комсомольцами, он торопился и не мог дожидаться минуты, когда пойдет обратно в лагерь. Ведь целый день он там не был, и ему казалось, что в лагере за это время произошли всякие невероятные происшествия. Миша торопится, ускоряет шаг, чуть ли не бежит. Солнце уже село, светлые летние сумерки окутывают лес, тропинка становится все менее видной, и вдруг за деревьями раздается знакомый и родной протяжный звук горна:

«Спа-ать, спа-ать по па-ла-ткам!..»

Отбой!.. Ребята спать укладываются! День прошел благополучно.

А самое милое и хорошее время суток — вечер. После ужина, пока дежурное звено моет посуду и убирает лагерь, ребята бегут в лес и начинают таскать оттуда хворост, целые сухие деревца и звонкие, тяжелые от смолы пеньки. Они стаскивают все это к месту отрядного костра — в низинку, у самой реки. И только начнет темнеть, как они уже тянут Мишу к костру, где пирамидой — по-индейски — уложено топливо, а ребята уже расселись кругом на пригорке. Зажигают костер по строгой очереди. Миша протягивает кострожогу спичечную коробку с одной-единственной спичкой. У парнишки от волнения и страха сразу же становятся мокрыми ладони... Костер полагается зажечь одной спичкой, и если это не удастся, костра в этот вечер нет. И, когда так случается, наступает скучный и очень противный вечер. Ребята ходят злые, недовольные, с досадой оглядываясь на притихшего, унылого растяпу, немейку, который даже костер не сумел по-пионерски разжечь...

Но так бывает очень редко. Кострожок становится на короточки против ветра. Он чиркает спичкой, сразу сует огонек в сдвинутые чашкой ладони и, когда спичка разгорается, подносит ее к любовно выложенному им гнезду из сухих листьев, смоляных лучинок, наструганных щепочек. Пламя вспыхивает сразу и мгновенно освещает веселые лица пионеров. Сегодня костер будет!..

Бывает, что у костра рассказывают про страшные и таинственные случаи; горячо, с криками и взаимными упреками, обсуждают подробности последней военной игры; слушают, ежась от страха и волнения, рассказы прибывавшего Юры Кастрицына о том, как какой-то необыкновенный доктор Моро на таинственном острове выводил невероятные создания — полулюдей, полуживотных... Ну, а все же больше всего пионеры любят слушать беседы своего вожатого. Миша Куканов не знает таких интересных историй, как Юра Кастрицын. Не так уж много книг он прочитал, да и не умеет он так рассказывать — то повышая, то понижая до шепота голос, делая длинные паузы на самых страшных местах... Миша рассказывает ребятам все, что он прочитал в последнем номере «Комсомольской правды». О том, как в далекой Пензенской губернии три комсомольца отважно вступили в борьбу с кулаками. Как пуля из кулацкого обреза, пущенная в освещенное окно, разбила стекло и пронзила комсомольское сердце. И как перехватили другого комсомольца, несшего в город заметку о врагах — кулаках, и перебили ему руки и ноги... И как третий комсомолец — все равно! — пробрался в город.. Прятался в камышах, переплывал речку, держа в руке, поднятой над водой, тряпицу, куда была завернута записка, разоблачающая ку-

лаков... Рассказывал Миша плохо, потому что он сам очень волновался, горло у него перехватывало, когда он передавал подробности злодейской расправы над смелыми комсомольцами. Но Миша видел застывшие лица ребят, их расширившиеся глаза, и он знал, что они думают так, как он, волнуются, как он, ненавидят, как он, готовы сами взять из окровавленных комсомольских рук исписанную тетрадную страницу и нести ее дальше...

Вы с нами, вы с нами...

А особенно любили ребята, когда Миша рассказывал, как за рубежами Советской страны борются комсомольцы с буржуями. Миша им говорил о том, как проходят по улицам буржуйских городов колонны ребят в зеленых гимнастерках, с поднятой правой рукой, крепко сжатой в кулак... На них налетает полиция в блестящих, лакированных касках, бьет их дубинками, злобно выворачивает руки, втаскивает в полицейские автомобили. Но все равно полицейским не удастся захватить красные знамена!

Эти знамена горят и ярко рдеют, как говорится в той гордой и прекрасной песне, что поют пионеры... То наша кровь горит огнем, то кровь работников на нем!..

Охранка, дефензива, сигуранца, сюртэ-женераль... В каждой стране они называются по-разному, эти застенки, построенные для того, чтобы пытать и мучить смелых рабочих за то, что те хотят такой же жизни, как у нас, в Советской стране! Высокая тюремная стена теряется во мраке берлинской улицы, на берегу далекой румынской реки стоят столетние сырые башни страшного замка, превращенного в каторжную тюрьму. Зарешеченные окна, из которых вырываются революционные песни, что поют заключенные, пламенеет красный платок, с опасностью для жизни пронесенный в камеру...

Они в цепях и наручниках, их морят голодом и избивают, но они твердо знают, что их товарищи на воле продолжают борьбу. Что в Советской России их товарищи по классу строят новую, рабочую жизнь и здесь, на берегу вот этой реки, строят станцию, какой нет даже у капиталистов. И что рабочие всех стран всегда помнят о них — запертых в этих зловещих и сырых стенах...

Товарищи в тюрьмах,
В застенках холодных...
Вы с нами, вы с нами,
Хоть нет вас в колоннах...

Этой песне их тоже научил вожатый... Но неужели они там,

за границей, так далеко, знают, что здесь, на Волхове, большевики строят станцию?..

— А Ботвин знал про нас?

— Так неужто не знал, такой парень! Конечно, знал! Потому он и шел так смело на смерть... Все равно по-нашему будет! Назло всем буржуйам мы тут построим нашу станцию, ни от кого зависеть не будем, им нас не одолеть, ребята!

И вдруг в наступившей паузе с реки явственно донеслось захлебывающееся тарактение мотора.

— Ло...лодка! Ребята, лодка к нам плывет!..

Через минуту никого не было у костра. Все стояли на берегу, всматривались в светлевшую среди темных берегов широкую водяную дорогу. Да, по реке плыла лодка. Она шла на их костер, уже можно было различить в лодке темные силуэты людей, размахивавших руками. Подняв высоко над головой руки и всплескивая ладонями, они кричали:

— Пи-о-не-ри! Пи-о-не-ри! Пи-о-не-ри!

Лодка ткнулась носом в берег, мотор в последний раз чихнул и замолк. Люди попрыгали на землю, и сразу стало понятно, что и лодка не наша, и люди не наши — не с Волхова, не с Новой Ладogi и даже не из Ленинграда. Двое из них были молодые, в защитных, ненашенских рубашках, в коротких штанишках — все в карманчиках... И у одного из них, как у Миши Куканова, на шее висел красный галстук, только по-другому завязанный. А третий был уже немолодой, лысый, но такой же веселый, как и его товарищи. И именно он первый подошел к Куканову, протянул ему руку и довольным голосом, уверенный, что он хорошо говорит по-русски, сказал:

— Ми! — Потом ткнул в сторону пальцем: — Данмарк, очень долго плавать... Осло, Балт, Ленинград, Нью-Лядог... Во-ль-хов-стройка! Пионеры! Ура! Ура! Ура!

И ребята закричали так пронзительно, что пришлось Мише вытащить жестяной свисток и оглушительно свистнуть.

Через пять минут во всем разобрались. Действительно, приезжие были из самой что ни на есть капиталистической страны — из Дании. И не кто-нибудь, а коммунисты. «Коммунистейшин» — как весело говорил, ударяя себя в грудь, лысый датчанин. Его звали Эббе Трунк. А те двое были натуральными комсомольцами — Отто Мельхиор и Йорген Дрейк. А Йорген был даже настоящим вожатым, как и Миша Куканов. Потому что и в Дании есть и коммунисты, и комсомольцы, и пионеры — ну просто как на Волховстройке!

Приезжих, окруженных толпой орущих и топающих от нетерпения пионеров, повели в лагерь. И пока они плескались под лагерными умывальниками, прибитыми к соснам, а Ксения готовила им яичницу, датчанин так оживленно разговаривал

с Мишей, что невозможно было понять, говорит ли Эббе по-русски или же Миша по-датски...

А время шло, и становилось ясно, что неумолимый Миша и не подумает хоть на полчаса отложить отбой. Им, ребятам, спать, а небось Миша уведет гостей в штабную палатку и всю ночь будет слушать — по-русски или по-датски — рассказы гостей о том, как живут комсомольцы и пионеры в капиталистической Дании.

Так и произошло. Минута в минуту, как положено, протрубил горн к построению на вечернюю линейку. Правда, линейка была красивая и по-необычному торжественная... Как никогда, ровно, вытянувшись в струнку, стоял отряд. Как никогда, замерли в пионерском салюте вожатые и звеньевые, повернув головы на флагшток, с которого медленно, под горн и барабан, спускался лагерный флаг. И стояли на правом фланге гости — по-солдатски сомкнув пятки, подняв правые руки с крепко сжатыми кулаками... И не так обидно было идти спать, потому что Миша объявил, что датские товарищи останутся на завтра и будут им про все рассказывать. И что даже объявленный на завтра поход — поиски полезных ископаемых — из-за этого отменяется...

Назавтра без всякой команды ребята оделись как в воскресенье, в родительский день. Все — в белых рубашках, в красных галстуках. До самого обеда, усевшись на горке, ребята слушали рассказ о том, зачем приехали в Советскую страну гости из Дании. Рассказывал, собственно, Миша — наслушался за ночь! — да и русский язык Эббе было труднее понимать, чем если бы Миша говорил по-датски... Эббе, Отто и Йорген только сидели и слушали, что говорил Миша, и, когда в его речи упоминались знакомые им слова, вскакивали с места, размахивали руками и согласно кивали головами...

Но вожатый волховского отряда знал про них все и передавал это так, что они сами лучше бы не сумели... Да, в Дании и свои коммунисты, и комсомольцы, и пионеры... И хотя в этой стране капиталисты не самые свирепые и полиция не хватает коммунистов и комсомольцев на улицах, но и там требуется много мужества, чтобы быть коммунистом. Хозяева их не берут на работу, а если сокращают рабочих, то в первую голову увольняют ненавистных им людей, что носят на груди значок с изображением серпа и молота. А в школах учителя придираются к пионерам, ставят им плохие отметки. Буржуйские дети состоят в скаутах — они ходят в красивых, ладных костюмчиках, в широкополых шляпах, с длинными деревянными палками. На шее у них самые разные цветные галстуки: синие, зеленые — нет и не может быть только красного... И с ребятами в красных галстуках они дерутся, лупят их на переменках, требуют, чтобы они сняли свои пионерские

галстуки. Но дети рабочих и рыбаков не боятся скаутов. Пусть пионеров мало, но они не дают скаутам спуску, и никто из них не отказывается от гордого пионерского звания!..

А едут они из далекой Дании, чтобы своими собственными глазами увидеть то, что у них в Дании зовут «большеви́стским чудом». Это их Волховстройка — большеви́стское чудо! Во всех буржуазных газетах пишут, что не может этого быть, чтобы большевики сами построили такую большую электрическую станцию, какой нет в капиталистической Европе! Обман это, жульничество, и больше ничего!.. А коммунисты доказывают: рабочие, когда хозяевами становятся, могут строить получше капиталистов... И вот товарищи собрали им немного денег, они купили лодку и поехали сюда. Чтобы потом, у себя в Дании, рассказать все, что они своими глазами увидят. Они плыли на своей лодчонке по Балтийскому морю, и со всех встречающихся пароходов им махали руками и даже иногда бросали спасательные круги — принимали за потерпевших кораблекрушение... Но они плыли, плыли и добрались до Ленинграда. А там отдохнули, побывали на заводах. И были на заводе «Электросила», где делались генераторы для Волховской станции. Сами видели и разговаривали с людьми, которые строили эти генераторы!

А теперь они плывут на Волховстройку, чтобы посмотреть станцию, посмотреть, как собирают эти машины. И они смогут сказать своим товарищам: да, большевики станцию свою строят и достроят!

Это был очень веселый день в лагере. Играли с гостями в волейбол, купались, ходили в соседнюю деревню. Датские товарищи оказались совсем компанейскими парнями. Они плясали по-датски и даже пытались обучить пионеров своей датской песне. Ну, уж из этого ничего не вышло...

Ближе к вечеру, когда датчан провожали к лодке — они отправлялись на стройку, — в самый разгар веселой суеты проводов к Мише подошел Гена Ключников и отвел его в сторону.

— Миша! Ты спроси у них: а предатели там есть?

— Какие предатели?

— Ну, какие! Эти... провокаторы... Как Цехновский...

По такому сложному вопросу объясняться с Эббе было очень трудно. Но Куканов уже давно решил для себя, что ни от каких вопросов своих ребят он отмахиваться не будет... И на целых полчаса задержался отъезд датчан. Пока в кустах у реки Миша и Эббе размахивали руками и пытались понять друг друга, за ними из-за дерева внимательно и нетерпеливо следили Генкины глаза... В общем, договорились! Нет, у датских товарищей провокаторов не было. Действуют они открыто, ни от кого не прячутся, говорят про буржуев всю правду. А если кого

буржуйская жизнь больше прельщает — скатертью дорога! Такие коммунисты не нужны — пусть идут на все четыре стороны!..

Уже скрылась за поворотом реки датская лодка, и ребята, разговаривая охрипшими от крика голосами, потянулись к вечерней линейке, на зов горна. Ключников опять задержал жоютого:

— Нет, Миша! Так не бывает, чтобы капиталисты, да еще такие богатые, как эти датские, чтобы они предателей не искали! Обязательно будут искать, деньгами улещивать, потому что у коммунистов от буржуев всегда секреты будут! И пусть датские ребята не развешивают уши — им это надобно будет сказать! Ты скажи им, Миша!..

И Миша обещал Генке это сделать. И, когда через два дня сбегал в Волхов, специально зашел в шведский домик, где Эббе разговаривал с каким-то шведским рабочим, и передал датскому коммунисту мнение своего пионера. Не потому, что считал Ключникова очень уж большим специалистом по революционному движению, а потому, что всегда выполнял обещание, какое давал ребятам.

Чистка

...И вот уже позади веселые хлопотливые лагерные деньки! Но самые большие хлопоты наступили осенью, когда Куканов снова вернулся в свою мастерскую, а ребята в школу и когда только по вечерам они собирались все вместе.

На Волховстройке шла чистка советского аппарата... Это вот что значило.

Каждый вечер собираются в клубе рабочие, конторские служащие, продавцы из кооперативных лавок. И каждого по очереди обсуждают. Честно ли ты работаешь? Не замечен ли ты в каких-нибудь махинациях с нэпманами, с хозяйчиками?.. Не маринуешь ли в своем столе важные бумаги?.. Не висит ли у тебя на дверях кабинета мрачная надпись «Без доклада не входить», а рабочие часами ждут, чтобы можно было к начальству проникнуть?.. Не обмериваешь ли покупателей, которые пришли в кооперативную лавку, потому что знают — здесь все честно и дешевле? И каждый, кто хочет, чтобы в нашей стране, на Волховстройке не было бюрократов, волокитчиков, нечестных людей, выступает и говорит обо всех непорядках. А на сцене за красным столом сидит «комиссия по чистке». И среди них — машинист локомотива Петр Иванович Куканов...

Комсомольская ячейка занималась «чисткой» со всей силой и яростью, на какую только были способны комсомольцы.

«Летучие отряды» ходили по лавкам кооперации и проверяли, правильно ли работают весы, не обманывают ли покупателей... Это комсомольцы узнали, что бухгалтер Степанчук заработок ученикам выписывает по одной ведомости — они ведь работают на два часа меньше, — а деньги за них получает по другой... Комсомольцы послали новенького рабочего, Васю Караева, получить спецодежду. Он шел от одного канцелярского стола к другому, от второго начальника к третьему... В одном месте ему вычеркивали сапоги, в другом — брезентовый фартук, а в третьем — куртку... Проходив полдня, он на складе получил пару брезентовых рукавиц, и то разного цвета и на одну руку... И бумагу с описанием странствий Караева читали в клубе и показывали всем злосчастные рукавицы, и зал дрожал от хохота и криков, а счетовод, ведавший выдачей спецодежды, стоял на углу сцены красный от стыда, позора и страха...

Каждый вечер комсомольцы оставались в ячейке допоздна, и утром все останавливались около клуба, у витрины с фанерным крокодилком, подымающим на свои вилы бюрократов, рвачей, бездельников. В этой витрине висели злые и веселые заметки и рисунки, в них уж доставалось всем, кто вчера переминался с ноги на ногу перед своими волховстроевскими товарищами. «Чистка» захлестнула все комнаты волховстроевского клуба. В партячейке, рабочкоме, комсомольской ячейке — всюду занимались только этим. В одной лишь комнате, куда входили не из коридора, а со двора, все было по-прежнему. По-прежнему играли в волейбол, разучивали новые песни, изучали противогаз, подаренный пионерам новолодожским военкомом. Но и туда поступалась «чистка»...

Из всех комсомольцев меньше всего баловал пионеров своим приходом экправ ячейки Степа Морковкин. Или он был уж слишком занят своими серьезными обязанностями, или же еще почему, но гостем у пионеров Морковкин был редким. А тут он, озабоченный, вбежал в пионерскую комнату и перебил Куканова, показывавшего ребятам, что это за штука двойной морской узел.

— Есть дело. Очень важное. Очень секретное. Давай, Куканыч, мне несколько ребят постарше, и таких, чтобы можно было им доверить...

— Здесь все пионеры и всем можно верить. Что ты так предупреждаешь!.. — недовольно ответил Куканов. — Ну, давай говори — тут как раз ребята из старшего, военного звена...

Ребята мигом забыли, что Морковкин важничает. Они повскакали с мест, ухватили Морковкина за рукав и с криками: «Степа, сюда, сюда!..» — потянули его к столу. Морковкин сел, вытер рукавом влажное лицо и внимательно оглянулся. Да, тут действительно были старшие ребята. И Генка Ключников,

и Тамара Осипова, и Ваня Силин, и Лева Ардашников. Ребята на этот раз глядели на него с восхищением и ожиданием.

— Значит, так... Поповкина Егора Петровича знаете?

— Поповкина?.. Чего-то не слышали...

— То-то! Ну, а Глотова?

— Который в конторе? Это во френче что... Степан Саватеевич... ну, старший в конторе! Да знаем!..

— Тихо! Поповкина не только вы, ребята,— никто на Волховстройке не знает. А есть такой. Числится. Только он все время в командировках. И такое, видите ли, дело: только к получке и приезжает в Волхов... А документики ему Глотов подписывает аккуратненько. Как же: в командировке человек, достает для стройки гвозди, ложки, плоски. А только никуда он не ездит! И живет себе в Гостинополье спокойненько, а его дружок Глотов ему начисляет и зарплату, и командировочные, и суточные... Опять же и на «чистку» некогда являться... Так вот: ему несколько дней назад Глотов опять командировку выписал. А Поповкин спокойненько сидит дома и носа никуда не показывает... Если мы, комсомольцы, пойдем в село проверять, сразу смекнет, что к чему,— нас-то все знают... А вот уж на вас, ребят, никто не подумает... Значит, надо вам пойти в Гостинополье и узнать, на месте ли Поповкин или уехал... Понятно вам боевое задание?

Несложное задание, а все же боевое... И после ухода Морковкина добрых пару часов пионеры обсуждали все подробности завтрашней операции. Собственно говоря, в Гостинополье все бывали не раз и ребят тамошних хорошо знают, а Ваня Силин и родом оттуда. Только Поповкина никто не знает, потому что он не местный, откуда-то приехал и в селе только квартирует. Разработали детальный план. Пойдут пятеро. Ванька пойдет к знакомым ребятам, остальные — в школу, где недавно организовался пионерский отряд. Старшим — Генка Ключников, и его команду выполнять беспрекословно!

На другой день вечером, после школы, не заходя домой, все пятеро примчались в отряд. Лица их сияли, несмотря на то что секретное поручение обязывало к сдержанности и таинственной деловитости. Генка подошел к Мише, отдал салют и, краем глаза указав на ребят из звена «Защита природы», сколачивавших кормушки для птиц, тихонько промолвил:

— Пусть уйдут... Задание выполнено. Сейчас позовем Морковкина и все доложим...

— Зачем гнать? Они своим делом занимаются, а вы своим... Пошли в ячейку к Степану, там все и расскажете.

И они все рассказали. Конечно, ни в какой командировке Поповкин не находится. Живет себе спокойненько, рыбу ходит ловить... И видели его — толстый из себя и фуражка кожаная... Степа Морковкин возбужденно начал стучать кулаком по столу.

— Все! Спекся Глотов со своим дружкой! Завтра идем в контору, подыдем бумаги и выведем эту шайку на чистую воду! Молодцы, ребята!

Назавтра пионеры ловили Морковкина на улице — не было терпения дожидаться его прихода в ячейку. Морковкин был смущен.

— Тю! Понимаете, ребята, все на этот раз в порядке. Ну, что он раньше никуда не ездил,— это факт! Только вот ничего не докажешь! А вот теперь не числится в командировке! Отдыхает, видишь ли, после поездки... А ведь точно было известно — ему Глотов командировку выписал! Ну и хитер этот Савватеевич! Так все равно поскользнется! Ох, жалко!..

И ребятам было жалко... Им, единственным из всего отряда, было поручено настоящее боевое задание, и вот — ни к чему... Только Миша Куканов не разделял их уныния.

— Вот если разведчиков послали узнать, есть ли на селе противник, а они вернулись и говорят, что там никого нет,— так что же, они не выполнили задания? Выполнили! И вы, ребята, свое боевое задание выполнили. А уж командование будет знать, что делать... Так что нос не вешайте, все было сделано вами по-пионерски!

Мститель Гена Ключников

Оказывается, нет... Больше недели прошло с тех пор. Было воскресное утро, не обещавшее ничего хорошего. Дождь, шедший с ночи, сменился мокрым снегом, предательски покрывшим все лужи. Ни о какой прогулке с ребятами не могло быть и речи, оставалось только днем в пионерской комнате провести соревнование старших звеньев по завязыванию морских узлов... В комнате у Кукановых было тепло и раздражающе пахло пирогами, которые мать жарила на печурке. Даже отец был дома — на Андриюшкину беду... Теперь-то уже наверняка не удастся до обеда сбежать в снежки поиграть...

И в это время открылась дверь, и в ней, без сил от волнения, остановилась, прислонившись к стенке, Тамара Осипова. Такой еще никогда не видел Миша всегда спокойную и рассудительную Тамару... Платок был сбит на сторону, пальтишко не застегнуто, в выкатившихся глазах — слезы ужаса...

— Ми... Миша!.. Генка Ваньку Силина повел... убивать, наверно, будет...

— Что! Ты что, сдурела?

— Нет! Ничего не сдурела! Ванька — предатель... Как это? Провокатор! Как Цехновский!.. И его Гена с ребятами потащили!..

Миша вылетел на улицу в чем был, без шапки, без куртки... Тамара — за ним.

— Куда они?..

— В подполье... Ну, где прошлым годом картошка была...

Этот старый дом с каменной подклетью был неподалеку. Миша бежал, не разбирая луж, не чувствуя, как снег сечет его лицо... Он рванул полусорванную с петель дубовую дверь, скатился вниз по скользким ступеням и за второй, закрытой дверью услышал гул мальчишеских голосов, прорезаемый мрачным, не оставляющим тени надежды и снисхождения голосом Генки Ключникова:

— Галстук! Галстук пионерский снимай! Предатель!..

И в ответ ему — захлебывающийся от слез и страха голос Вани Силина:

— Н-неправда! Я не предатель!.. Ребята, честное пионерское! Под салютом всех вождей!..

Миша в изнеможении прислонился к холодной стенке, и она показалась ему горячей... Жив! Успел!.. Он с трудом перевел дух, медленно спустился еще на несколько ступеней и открыл дверь в заброшенный подвал. Стекла в маленьких оконцах под потолком были выбиты, в тусклом и неровном свете осеннего дня лица ребят показались ему серыми, почти неизвестными. И только через мгновение он рассмотрел, что они не серые, а красные, возбужденные, что ребята дышат, как после долгой игры в лапту...

Здесь были самые старшие пионеры отряда. И Степа Ананьин, и Шурка Магницкий, и Лева Ардашников... Они стояли кружком вокруг Ваньки Силина, бледного, дрожащего... Руки его отчаянно сжимали пионерский галстук, как будто только о нем, о галстуке, и шла речь, как будто только его и необходимо было защитить... А Генка стоял против него — сбыченный, с кулаками в карманах...

— Миша! Миша!..— услышал Куканов радостный, полный надежды голос Шурки Магницкого.

Ребята расступились, и Миша уселся на какой-то старый ящик, стоявший у стены. Наверху послышался стук двери, торопливые шаги по лестнице, дверь открылась, и в подвал вошел Петр Иванович Куканов. Позади него выглядывало лицо Тамары. Старый Куканов был в своей рабочей куртке, в картузе. Он остановился у двери, оглядел всех присутствующих, вздохнул, залез в карман и вынул кисет. Миша вдруг понял, что и ему хочется закурить, хочется до головокружения, до нестерпимости... Он проглотил наполнившую рот слюну и, обратившись к Генке, сказал:

— Ну?.. Говори! Ты же теперь и за вожатого и за весь отряд. Сам решил. Сам постановил... А я-то, дурак, думал — мне ребята верят! Я же вас никогда не обманул, ни в чем! Ну, что

ж ты молчишь? Говори, если ты пионером себя считаешь! Я тебя как член бюро ячейки спрашиваю! И вот тут еще и член партийного бюро стоит. Говори же!

Гена Ключников вынул руки из карманов и сразу же перестал быть кровавым мстителем, разоблачителем провокатора, каким он себя чувствовал минуту назад. Но ничего! Он и перед комсомолом и перед партией докажет, как он был прав, когда заподозрил нечистое в провале боевого задания.

...А подумал он на Ваньку еще тогда, в Гостинополе. Когда тот, вместо того чтобы встретиться на улице с гостинопольскими ребятами, взял да и начал заходить в дома своих свойственников... О чем он там трепался, неизвестно, но в одном доме пробыл долго — ребята на улице заждались его... Он, Генка, когда узнал, что у Глотова все в порядке, на другой же день пошел в Гостинополе и там все как есть узнал!.. Как только они из села ушли, этот родственник Ванькин Михайлов Сидор Трофимыч, сразу же побежал к Поповкину. И тот разом же помчался на Волховстройку... А в селе уже знают: задумали вычистить и Поповкина и самого старшего делопроизводителя. А для этого пионеров подослали с самым наисекретным заданием... Откуда могли это узнать? Со всеми ребятами он по отдельности толковал — те клятву под салютом давали, землю есть хотели: не говорили!.. Значит, ясно — Ванька Силин предал! Нарочно предал! Как Цехновский! Потому что так же любит деньги! Ребят в кино бесплатно пускают, а он родителям говорит, что за деньги, и каждый раз по гривеннику у них берет... И этих гривенников у него уйма! На рубль, а то и больше! А как на жертв контрреволюции собирали, дал как все: пять копеек... Ясно, что он самый настоящий провокатор и пусть теперь отвечает перед судом своих товарищей... Которых предал! Только пусть пионерский галстук сначала снимет! Потому что нельзя, чтобы они человека в пионерском галстуке лупцевали... ну, отомстили... А Мише не сказали потому, что стыдно и совестно перед ним. Он им поручил, доверил как самым старшим, сознательным ребятам в отряде — и вот тебе!.. А Ванька не только предатель, но и трус! Испугался, что ребята его лупить будут, Тamarку за Мишей послал!

— И никого я не посылал! И не просил!.. Тамарка, скажи же — я тебя просил? Просил, да?

Теперь лицо Вани уже порозовело, бледность с него сошла, и только дорожки слез еще говорили о пережитом...

— Никого я не предавал! Я, когда зашел к Сидору Трофимычу, Прощке только сказал, что мы с секретным заданием... Ведь он в пионеры собирается... Он страшную клятву давал! Ну конечно, не пионерскую, потому что не пионер... И про деньги Генка неправду говорит... У меня рубль и еще сорок копеек... Я птицу хочу купить — кенаря... А он два с полтиной стоит...

И я про птицу не таялся. Тамарка, скажи же — говорил про птицу?

Пока Ваня выкрикивал оправдательные свои слова, Миша сидел на ящике и думал.

Конечно, он знал, что в отряде ребята разные. Иначе и не может быть. Но он думал, что все их ребячьи жизни — у него как на ладони. А он, оказывается, и не знал, что этот вялый увалень Ваня Силин — такой страстный любитель птиц. И что боевая Тамарка с ним дружит, а не с ребятами из военного звена, где она находится... И что тихий правдоискатель Шурка Магницкий может тайком от вожатого пойти в подвал бить товарища... Как их — всех таких разных — спаять, объединить?.. Ведь он их должен вырастить коммунистами...

— Кенарь! — Гену даже передернуло от негодования. — Птица буржуйская тебе дороже всего! Как на тех, что за нас в тюрьмах сидят, — так пять копеек, а на птицу свою — два с полтиной! Пионер еще называется! Нам такие не нужны!.. И пусть снимет галстук! Товарищ Куканов! Петр Иванович, скажите!..

— Насчет галстука вы уж сами решайте... Не мы, а вы сами, ребята, принимаете в пионеры, вы сами и решайте, кто недостоин быть пионером... А только я вам вот что скажу. Нехорошо Силин сделал — растрепался, повредил делу. На войне такая штукавина жизнью своих товарищей оборачивается... Вот Ваньку мы и должны научить сейчас, чтобы он потом, когда посерьезней что будет, не поскользнулся, себя не погубил и товарищей своих... Только что ж ты, Ключников, один за всех решать стал? Тебя что, судьей кто выбирал? Ты ведь не только Силину не веришь — ребятам не веришь, всему отряду не веришь, Михаилу, вожатому своему, тоже не веришь... Все один! Один следствие пошел наводить, один приговор вынес, один решил бить Силина...

— Да не один, Петр Иванович! Я же позвал ребят...

— Чего — позвал ребят? Ты их позвал, чтобы они твой приговор выслушали и помогли тебе привести его, что ли, в исполнение. Вот для чего ты их позвал! А почему же ты не хочешь верить Силину? Ну натрепался, ну ошибся — нет, ты его сразу же — предатель! И в подвал! А мы кровь проливали, чтобы из подвалов выйти на свет белый... Чтобы там, на свету, перед всеми людьми дела свои делать! Виноват — отвечай перед всеми! Вот так... Знаешь, Ключников, наше дело на веру держится! Вот кончаем станцию. Задумал ее Ильич построить. Сколько кругом было неверующих! А рабочие поверили! И — построили. А перестанем товарищам верить, начнем верить только самому себе, а других ни за что считать, — все рассыплется... Ильич однажды сказал: идем, дескать, по узенькой дорожке, над пропастью идем... И идем, взявшись за руки,

держась друг за друга... Ну, не любишь ты, Генка, птиц, а Силин их любит — так пусть! Не птицы же вас вместе собрали, а другое: вот галстук красный, знамя наше красное... Ну, я пойду... Разбирайтесь сами в своих делах.

Куканов притушил о мокрую стену свою сигарку, повернулся, открыл дверь и зашагал вверх по лестнице.

Миша проводил взглядом отца и повернулся к Ключникову:

— Ну, так что, Гена? Снимать Силину галстук? Ты его один будешь бить, а нам смотреть? Или как? А может, нам всем галстуки поснимать? Потому что тут ни отряда нет, ни совета отряда, ничего — один Генка Ключников со своим хотением...

— Миша!.. Так я что... Я ради знамени хотел... Чтобы не предавать его...

— Оно не над тобой одним, наше знамя! Оно над нами всеми! Оно отрядное, а не твое, Ключников! Ну ладно. Соберем отряд, на нем и поговорим обо всем. Ардашников! Тебе как секретарю совета отряда поручаю: сегодня к шести вечера собрать по цепочке весь отряд на сбор... А теперь знаете что, ребята? Пошли все к станции! А ну, двинулись!.. Я только домой за одежкой забегу...

Как хорошо было на улице! Снег уже шел другой — не жесткий, колючий и холодный, а мягкий, пушистый и теплый... Огромные, сцепившиеся друг с другом хлопья кружились медленно в воздухе. Они покрыли все крыши, все лужи, все грязные дорожки, все пригорки, всю землю. В какие-то несколько минут, что Миша провел в подвале, снег разукрасил поселок, сделал праздничным, радостным все привычное кругом...

С высокого берега, к которому они подошли, станция была видна как нарисованная. Плотина пересекала реку стройно и свободно, будто ее уверенной и мастерской рукой провел по листу бумаги художник. Огромные гранитные плиты облицовывали здание станции. Казалось, что оно все высечено из могучей гранитной горы... Колоссальные окна машинного зала были только что протерты, и снег отражался в них, как в зеркале. Не было уже вокруг строительного мусора, опрокинутых тачек, мотков проволоки... Площадь перед станцией была пуста, чиста, только сбоку стояла еще не оконченная трибуна — станция готовилась к открытию...

На крыше станции на высоком флагштоке полоскалось алое полотнище.

— «Оно горит и ярко рдеет...» — вдруг сказал молчавший все время Шурка Магницкий.

— Ага! — кивнул Миша Куканов.

Новый год

— **И** осталось до него...—

Юра Кастрицын отогнул левый рукав куртки и посмотрел на часы.— Осталось до него ни больше ни меньше как семь часов и сорок пять минут... Ну, секунды считать не будем...

— Долго еще!..— вздохнул Петя Столбов.

Саша Точилин с удивлением оглянулся на Петьку:

— А чего торопишься? Завтра уже будет двадцать седьмой — и прощай, Волховстройка! Люди на работу выйдут, вечером братва в ячейке соберется, а для нас всего этого уже нет... Мы уже не волховстроевцы, а свирьстроевцы... И как-то не выговаривается... А я, ребята, и не пойму еще никак: неужто будем жить без всего вот этого?..

Когда-то в незапамятные еще времена, какой-то разозлившийся плотник-аккуратист скотил около инструменталки деревянную скамейку, чтобы получаемый инструмент не класть на мокрую землю. Давно уже уехали со стройки плотники-костромичи. И старую дощатую инструменталку уже убрали с этого места. А скамейка осталась. И на ней в белые летние ночи и в прохладные осенние вечера рассаживались ребята — песни попеть, договорить то, что не было до конца выговорено в ячейке, поспорить до истошного крика, — словом, бузу потереть, как нелестно сказал об этих сборищах комсомольский секретарь Гриша Варенцов... Да и трудно было найти для этого более подходящее место. Вся Волховстройка как на ладони... И плотина, и канатная дорога, и шлюз, и сама станция.

— Что вы в этой скамейке нашли? — спросил как-то у комсомольцев Омулев, пришедший сюда на страшный крик и спор.

— А мы смотрим, не украли бы кусок Волховстройки, — ответил ему остряк Петя Столбов.

Омулев посмотрел вниз, покачал головой и согласился:

— Это да!.. Все, что наше, — тут под рукой... Ну и кричите вы, ребята, так, что никакой вор близко не подойдет и не отхватит куса станции или кессон какой...

Вот на этой скамейке и собрались волховстроевские комсомольцы в том томительном безделье, которое наступает, когда работы уже нет, предпраздничные хлопоты окончились, а праздник еще не наступил. И, сколько бы ни было праздников в году, это тягучее чувство медленно тянущегося времени бывает так сильно только один раз — перед Новым годом...

Значит, все-таки он наступает, этот новый, тысяча девятьсот двадцать седьмой год...

— Ребята! Особый год! — сказал еще накануне открытия станции Гриша, принеся в ячейку большой новый табель-календарь. — Во-первых, десятый год Великой пролетарской революции! Понятно? Десять лет уже будет — вот какие мы с вами уже старики! А потом — как родная меня мать провожала... Поедем с вами на речку Свирь! Плотину поставим, станцию построим... А потом — дальше... А рек-то знаете сколько в Советской России — строить нам, не перестроить!

Тогда, в предпраздничной суете, перед открытием, когда столько гостей съехалось и когда спать было некогда, как-то не обратили внимания на Гришкины слова. Давно уже было известно, что поедут на Свирь... Едет туда Графтио, и Омулев едет, и добрая половина комсомольской ячейки записалась на новую стройку, и большинство кадровых рабочих уже вещички свои начали паковать... Только казалось, что прощание с Волховстройкой — дело далекое, будущего года... Какая там Свирь, когда открываем свою Волховскую станцию!

Это было 19 декабря 1926 года... Трибуну устроили на первом генераторе. Огромное массивное тело машины было обвито красными лентами. Трибуна не вмещала всех гостей — даже самых почетных, приехавших сюда, к ним, открывать станцию.

...Генрих Осипович Графтио, стоя на трибуне, осматривал зал, машины, людей с таким восхищенным удивлением, будто видел все впервые... Больше месяца назад, когда опробовали этот генератор и впервые дали ток на линию и подстанцию в Ленинград, Генрих Осипович был совершенно спокоен и весел. А теперь — всем было видно, как он бледен, как дрожит его рука, опирающаяся на край фанерной трибуны.

...А у Кирова блестели глаза, когда он говорил о том, какие

еще замечательные станции, заводы, города построят большевики... Они — волховстроевцы, ленинградцы, весь советский рабочий класс — построили ленинскую станцию, они выполнили клятву, которую дали Ильичу! И это только начало!

Четыре шведских генератора стояли рядом, друг около друга, блестя свежей краской кожухов. Но, когда Киров говорил, он указал рукой не на них, а на огороженное канатами и плохо окрашенными фанерными щитами место за ними. И все повернули головы туда. Там встанут еще четыре генератора — они будут нашими, советскими, впервые построенными... Они уже готовы, эти громадные машины, сделанные ленинградскими рабочими. Никогда еще Сименс-Шуккерт не строили на своем петербургском заводе подобных машин! А когда этот завод стал советским, стал «Электросилой», он построил самые большие в Европе электрические генераторы. И здесь, в зале Волховской станции, стояли те, кто их делал. Краснопутиловцы — они отлили стальные тела генераторов; балтийцы дали чугунное литье; рабочие с «Большевика» отковали и обработали могучие валы роторов; электросиловцы собрали машины...

Они стояли в одном строю — молодые и постарше, а некоторые уже совсем седые. Одетые кто в кожанки, кто в косоворотки, кто в старые, справленные еще до революции черные костюмы с высокими, смешно выглядевшими жилетами... Питерцы!.. Они всё умели! И уже не казалось таким страшным известие, которое несколько дней назад взбудоражило всю Волховстройку.

В Финском заливе затонул пароход «Вальтер Холькен». Это был шведский пароход, на нем везли много оборудования, закупленного в Швеции для Волховской станции. Нет, ленинградцы, приехавшие на станцию и разузнавшие в порту все подробности катастрофы, говорили, что это было совсем особое кораблекрушение... Корабль не столкнулся с айсбергом, на него в плотном черном тумане не наскочил другой пароход, и не было рева шторма и высоченных валов, перекатывающих через палубу корабля. Днем в тихую и спокойную погоду корабль дал течь, и старенькие помпы не могли откачать воду, заливавшую трюмы. Этим помпам было столько же лет, как и самому кораблю, — не меньше полувека... Старая посудина, мирно ржавевшая до этого на приколе и зафрахтованная для перевозки оборудования, спокойно и медленно шла на дно, потому что ходить по морю она уже не могла... Из всего пароходного оборудования в полном порядке были только спасательные шлюпки: хорошо зашпаклеванные и покрашенные, с новенькими моторами... Без всякой паники, как на прогулке, команда уселась в шлюпки. Как это положено по всем морским традициям, капитан последним оставил корабль, захватив с собой все судовые документы. Среди них наиболее ценными были страховые полисы. В конце концов, смешно

пускать эту старую рухлядь на слом, когда выгоднее застраховать ее и груз... Дело есть дело, а большевики в следующий раз будут осмотрительнее...

На шведских судоходчиков гибель «Вальтера Холькена» не произвела особого впечатления. И не то бывало... А вот на Волховстройке это показалось сначала настоящей катастрофой. Но выяснилось, что уже ничто не может повредить пуску станции. Четыре новых генератора строили на «Электросиле», вспомогательное оборудование тоже берется делать на советских заводах. Нет, уже Волховская станция не зависела от капиталистов!..

...Вот она, наша красавица!.. Перед плотиной — огромная замерзшая равнина разлившейся реки. С водоспуска низвергается кипящий желтый водопад. Отсюда не видно, как внизу, в бетонных гнездах, бешено крутятся турбины, как стальные валы вращают оплетенные проводами якоря генераторов. Высокие железные опоры несут тяжелые медные провода, и по ним туда, в Питер, к фабрикам и заводам, каждую секунду, минуту, час за часом и день за днем — безостановочно! — уходят потоки волховской энергии. И это сделано ими!

— Сашка, помнишь?.. Ничегошеньки этого не было! Веду ребят с Тихвина, рассказываю им всякие байки про станцию, а как посмотрел на пустую реку да как подумал, что нам все надо построить, внутри даже замерло! И верю во все, что говорю ребятам, а в голове не укладывается! А сейчас знаю — приедем мы на эту Свирь, и там такая же река и берега пустые, и начинать будем на пустом месте... А уже ничего не страшно! Все по-другому! Да и мы-то, ребята, другие!.. А?

Грише Варенцову никто не ответил. Наверно, каждый вспоминал, каким он пришел сюда...

Здесь кончилось время мальчишеское и началось другое. И это другое тоже кончается, и впереди еще столько неизведанного, интересного!

— Ладно, философ! — Юрка Кастрицын вскочил со скамейки. — Пошли, что ли, в контору. Зайдем к самому Графтию и у него точно узнаем: когда едем на Свирь! И утверждены ли списки? А то ведь мы тут размышлялись, а старик, может, уже прошелся по спискам толстым красным карандашом... И против фамилии некоторых товарищей — ну, там Варенцова какого-то или Точилина — написал три буквы: Э., Н. и О... Как вы думаете, что это значит?

Точилин схватил Юру за шею, пригнул его голову и прошелся пятерней по его рыжим волосам — от затылка ко лбу.

— Нет, братишка! Про Александра Точилина Графтию еще ни разу не говорил: «Это не орел!..» А вот про рыжего экскаваторщика, который однажды ковш оборвал, он такое

сказал!.. И еще ему это припомнит!.. Давай пошли к Графтио!

А надо сказать, что это вовсе не простым делом было — пойти к Графтио спрашивать, кто поедет. Волховстроевских комсомольцев трудно было смутить, и не было еще на свете человека, которого бы они боялись... И Генриха Осиповича они никогда не боялись и смело вступали с ним в спор, когда добивались своего. А все же холодок пробегал у них по спине, когда на стройке появлялась высокая, слегка сутулая фигура начальника строительства. И это было тем более удивительно, что Графтио никогда не топал ногами, как это делал Пуговкин, не язвил ядовито, как Кандалов, не ворчал по-стариковски, как Омурев... Когда Графтио видел, что дело сделано плохо, небрежно, лицо его становилось страдальческим и брезгливым. Он отворачивался, безнадежно махнув рукой, и, шаркая ногами, уходил... А бывало еще хуже — когда он, уходя, ронял слова: «Да, это не орел!..» Большого ругательства у Графтио не было, и оно означало крайнюю степень презрения к недобросовестному человеку: халтурщику и бузотеру. И эти слова уже запоминались навсегда, как запомнил их Юра Кастрицын в тот черный день, когда он решил перегнуть своего старого и опытного сменщика и запорол экскаватор...

Канторские уже разошлись. Перед кабинетом Графтио, в маленькой приемной, секретарша вшивала в папку бумажки. Наверно, последние бумажки за этот необыкновенный год окончания строительства... На вопросительный взгляд комсомольцев она ответила: «Отдыхает Генрих Осипович». Действительно, в приоткрытую дверь было видно, как на кушетке спит Графтио, положив под голову свой толстый портфель. Рабочий день строителя Волховстроя начинался рано, в темноте, и длился не меньше семнадцати-восемнадцати часов... После обеда Графтио ложился на час отдохнуть у себя в кабинете, и в этот час никто не решался беспокоить старого и очень уставшего человека. Комсомольцы молча смотрели, как спит Графтио, положив голову на жесткий портфель, его длинные ноги не помещались на небольшой клеенчатой кушетке... Ребята уже было тихонько повернулись, чтобы на цыпочках, неслышно уйти, как Графтио открыл глаза, машинально посмотрел на ручные часы и сразу же приподнялся.

— О! Молодежь волнуется перед Новым годом! Сейчас они старого Графтио трясти будут, уговаривать, наверно, в «Синей блузе» играть... Так, что ли, Варенцов?..

— Да нет, Генрих Осипович... Мы насчет Свири... Чтобы всем комсомольцам прямо вот так и двинуться... Ну, вместе... Мы тут вместе работали, вместе и поедем строить Свирь... Списки составили, подали в контору.

— Дела идут, контора не пишет,— вмешался Кастрицын.

— Напишет, напишет,— примирительно пробормотал Графтио.

Сон уже с него сошел, он сел за стол и, прищурившись, оглядел заполнивших его крошечный кабинет комсомольцев.

— Понимаете, товарищи, это ведь не экскурсия, не прогулка. Начнем на Свири от нуля. Как когда-то здесь, на Волхове, начинали. Да начнем по-новому, по-другому. Главное — есть кому строить, вот в чем дело! Ну чего вам, Точилин, делать сейчас на Свири? Вы монтажник, монтируете генераторы. На Свири еще до них ой как далеко!.. А здесь еще четыре генератора монтировать. Самим, без всяких там шведов... А вот Варенцов взрывник! Ему сразу же дело есть на новом строительстве. И Кастрицын со своим экскаватором туда сразу же переедет. Плотники поедут все — бараки и дома строить... Будет время — все соберетесь на Свири... А потом опять уезжать — кто пораньше, кто попозже... Вам, друзья, знаете еще сколько станций строить! Вы теперь строители — значит, кочевники... всю жизнь будете кочевать... От одной реки — к другой, с одного конца России — в другой... И нет, я вам по секрету скажу, веселее этого дела! Приехали — глушь, пустыня, как при половцах было... А уезжаете — все залито светом, станция, город, заводы начинают строиться... Очень веселое дело — строить станции! Мне вот не повезло — уйму лет зря потерял... А вы счастливые! Вам еще строить!.. А хорошо у нас Новый год сегодня, а? Открыли нашу станцию, поедем другую строить! Вот бы так всегда! Ну, с Новым годом!

На улице уже было совсем темно. Начала замечать поземка. Молча, не сговариваясь, комсомольцы зашагали в ячейку. Прощай, старая, милая, обшарпанная комната! Будут другие ячейки, другие комнаты, но уже никогда не будет такой!

— Что вы, черти, приуныли! — Юрка остановился, топнул ногой и взлетел на пень. Он сдернул с головы шапку, и его огненные волосы раздувал ветер.

Прощай, знакомая каморка,
Мне нечего тебя жалеть!
Везде есть своя махорка.
Везде я буду песни петь!

— Везде, везде... Это точно. Ты везде будешь петь,— пробормотал Варенцов, пытаясь стащить Юрку с пня...

Но Кастрицын, отбиваясь руками и ногами, продолжал декламировать:

Ну, коммунисты, публика —
Все мыслят об одном:
Жила бы Совреспублика,
А мы-то проживем!

— Вот тут-то ты хоть сказал дело. Пошли торопить старый год! Тянется!.. Забыл, что ли, что здесь Волховстройка!

Лина
Родоски

повесть

Портрет отца

Как это всегда и бывает, они пришли неожиданно. Был теплый мартовский вечер, угнало на запад тучи, висевшие весь день над городом, небо стало ясным. После многих дней непогоды предвиделась ночь, когда можно будет работать на рефракторе.

Штернберг еще днем протелефонировал в университет, чтобы студенты пришли в обсерваторию. Сейчас, в ожидании их, он, тепло одетый, стоял в холодном зале большого рефрактора и наставлял сотрудников обсерватории, которые станут руководить практикой будущих астрономов. Уже темнело, тускло светились газовые горелки. Штернберг вспомнил великолепные, залитые электрическим светом обсерватории Швейцарии и Германии... А в Москве электрический кабель доходит лишь до Кудринки. Вся Пресня освещается газом, как в прошлом столетии.

Его окликнули. У служителя было испуганное лицо.

— Павел Карлович! Там пришли...

— Кто пришел?

— Полиция... Много их... Вас спрашивают.

Тэк-с... Дошла, значит, и до него очередь. Неужели пронохали про теодолитные съемки? Ну, в кладовую негативов он их не пустит — натравит на них Цераского! Тот до Столыпина дойдет — как это, чтобы полицейские пальцами шарили по пластинкам, где засняты новые двойные звезды! Впрочем, чего гадать? Сейчас все узнает. Хорошо, что домашних нет дома. Только прислуга.

Это была не полиция. Жандармы. Они вежливо топтались в прихожей, ожидая хозяина. Офицер с погонями жандармского ротмистра двинулся навстречу Штернбергу.

— Извините, господин Штернберг, за неожиданное вторжение. Служба-с. В такое время живем! Разрешите зайти в ваш кабинет.

— Прошу.

Ротмистр с двумя жандармами зашли в кабинет Штернберга. Ротмистр протянул Штернбергу предписание на производство обыска в личной квартире приват-доцента Императорского университета статского советника Павла Карловича Штернберга.

Слава богу! В личной квартире. Значит, в обсерваторию они и не заглянут. На квартире у Штернберга не было ничего криминального. Даже книг марксистского содержания не держал. Значит, это не «теодолитные съемки»! Ну, а остальное значения не имеет.

Все это мелко в голове Штернберга, пока он по-профессорски медленно снимал пенсне, протирал его платком, опять водружал на нос и не спеша читал предписание. Затем любезно вернул жандарму бумагу.

— Ради бога, господин ротмистр! К вашим услугам.

Жандармский офицер не спеша прошелся по кабинету, осматривая полки с книгами, папки с рукописями на стеллажах, скудное убранство места работы ученого.

— А это кто будет, господин Штернберг?

Штернберг повел глазом за жандармским пальцем. Это надо же! Единственное, что могло вызвать неуверенность властей в политической невинности Штернберга, была эта фотография в старой серебряной рамке, стоящая у него на столе. Из Германии, еще в девятьсот пятом, Штернберг привез очень ему понравившуюся фотографию Маркса и держал ее на столе. Вызывая этим деликатные вопросы университетских знакомых и неделикатный смех Евгения Александровича Гопиуса. И вот — пожалуйста, жандармы!

— Это ваш батюшка, господин Штернберг?

— А что — похож?

— Как две капли воды! Очень, очень вы похожи на своего батюшку!

Смешно! Ему никогда не приходило в голову, что он похож на Маркса. А ведь действительно имеется некоторое сходство. Борода!

— Прошу вас, господа... Делайте свое дело! Разрешите, я открою вам свой стол. Попрошу бумаги, вам не требующиеся, аккуратно складывать обратно.

Нельзя сказать, чтобы жандармы очень усердствовали. В книги не лезли, не перетряхивали их. Внимательно осмотрели

содержимое письменного стола, перелистали папки. Не интересовались бумагами, исписанными от руки, больше кидались на печатное: рефераты, отписки статей, диссертации. Удобно устроившись в кресле, Штернберг под большой настольной лампой-молнией читал что-то свое, астрономическое. Часа через полтора не очень тщательного обыска жандармы закончили свое дело.

— Вот, пожалуйста, Павел Карлович, распишитесь. Обыск, согласно предписанию, произведен, ничего компрометирующего не найдено и не изъято. Не сомневались, Павел Карлович, не сомневались! Статские советники у нас в революционерах — хе-хе! — еще не числятся. И пожалуйста, завтра, часиков этак в одиннадцать, соблаговолите прийти в отделение по охране порядка. Спросите, пожалуйста, полковника Михаила Фридриховича фон Коттена.

Был солнечный день, когда Штернберг пешком шел по Пресне, Кудринской, Большой Никитской в охранное отделение. Конечно, вчерашняя ночь, такая отличная для наблюдения, прошла зря. В обсерватории только и разговоров было об обыске у Штернберга, пришлось подробно всё рассказывать. Витольд Карлович не отпускал целых полтора часа, взвизгивал от негодования и через каждые пять минут кричал: «Пся крев! Матка бозка!» И студенты, конечно, больше разговаривали об обыске у своего учителя, нежели заглядывали в астрономическую трубу. И Варе не мог дать знать... А вот и Большой Гнездиновский. Стоят около охранного типчики в штатском. У всех на морде написано, кто они такие. А интересно будет забраться туда. После победы. Раскопать все их поганые тайны! Узнать фамилии предателей. Все же страшно — напоротся на иуду...

Полковник Михаил Фридрихович фон Коттен был еще вежливее, еще предупредительнее, нежели вчерашний ротмистр.

— Простите великодушно, Павел Карлович, что оторвал вас от, так сказать, ученых обязанностей, которые мы в высшей степени, так сказать, ценим. Но служба есть служба! Так сказать, воленс-ноленс... Ведь мы с вами, уважаемый Павел Карлович, люди одного положения, состояний, образования. Вместе с вами состоим на государственной службе, даже — ха-ха! — в одних чинах. Статский советник по табели о рангах равен полковнику... Ха-ха! Общее, общее дело у нас с вами, Павел Карлович! И интересы одинаковые.

— Да, возможно, возможно, господин фон Коттен! Но у каждого свои дела, свои заботы. Меня ждут ученики, мы, астрономы, занимаемся небом, вас, очевидно, больше интересуют дела земные. Так чем могу служить?

— Правильно, правильно, Павел Карлович! К сожалению, земные дела нас тянут к себе... И в этой связи несколько вопросов к вам. Как давно вы изволите знать господина Тихомирова? Он ведь очень ваш близкий знакомый? Или же вы действительно редко с ним встречались?

— Я никогда не имел удовольствия знать господина Тихомирова. У меня хорошая память на фамилии и лица. Среди моих учеников никогда Тихомирова не было.

— Так не среди учеников, вовсе не среди учеников, Павел Карлович!

— Уже имел удовольствие вам ответить, господин фон Коттен: не имею чести знать господина Тихомирова.

— Ах, как это странно, странно... И даже сказать, грустно, Павел Карлович... Понимаете, арестовываем опасного государственного преступника с материалами конференции социал-демократической партии, с нелегальными газетами преступного содержания... И вот-с такая неприятность...

— Это какая же?

— Адресок при них... Понимаете, у государственного преступника, пойманного с поличным, так сказать, находим адресок не кого-нибудь, а статского советника, приват-доцента Императорского университета Павла Карловича Штернберга. Вот ведь какие странные дела!

— Да, пожалуй, странные. Хотя нет ничего удивительного, что среди адресов более или менее образованного человека — я не знаю, кто этот господин Тихомиров,— может оказаться и адрес Московской обсерватории.

— Да не обсерватории, не обсерватории, Павел Карлович, а ваш. Лично ваш. И не просто этакий случайный адресок, а записанный шифром. Шифром, каким пользуются только самые опасные революционеры! Вот так!

— Господин фон Коттен, простите, не знаю как вас величать по имени-отчеству...

— Михаил Фридрихович...

— Давайте, многоуважаемый Михаил Фридрихович, условимся: богу — богово, а кесарю — кесарево... Все, что вы меня спрашиваете — какие-то там заговоры, литература, зашифрованные адреса, неизвестные мне господа,— все это ко мне не имеет никакого отношения, меня нисколько не интересует и является чисто вашим делом, Михаил Фридрихович. Я не стану спрашивать вашего мнения о координатах звезды альфа-Центуриона, а вы меня не спрашивайте о том, что является вашим делом, вашими обязанностями. *Suum cuique* — каждому свое, как это говорится в классической, очевидно вам хорошо знакомой, поговорке. Рад бы вам помочь, Михаил Фридрихович, но ничего не могу сделать. Впрочем, и вы, очевидно, не сможете помочь мне в моих делах. Но я вас и не прошу об этом...

— Шуточки! Шуточки изволите шутить, господин Штернберг! На вопросы, которые я вам задаю по долгу службы, обязаны отвечать и более высокие персоны, нежели приват-доценты.

— Господин фон Коттен! Я на ваши вопросы дал совершенно исчерпывающие ответы. И у вас ко мне не может быть никаких претензий. Если у вас нет более вопросов столь же приключенческо-увлекательного характера, я, очевидно, могу считать себя свободным.

— Свободным, господин Штернберг? Можете считать себя свободным. Пока. Пока, господин Штернберг, можете считать себя свободным. От вас самого зависит ваша свобода, господин Штернберг. От вас!

— Господин полковник! Могу ли я считать ваши слова по отношению ко мне прямой угрозой? В таком случае мне, очевидно, следует довести об этом до сведения ректората и попечителя учебного округа. Или министра народного просвещения. Я не студентик желторотый, чтобы допускать неуважительное ко мне отношение, сопровождаемое неопределенными и ничем не обоснованными угрозами!

— Ах, как напрасно, напрасно вы взволновались, Павел Карлович! Я не имел в виду чем-нибудь вас потревожить. Но мой долг предупредить вас как, так сказать, собрата по государственной службе, о всем неслыханном коварстве этих революционеров, этих социалистов... Впрочем, не буду занимать ваше драгоценное для науки время. Честь имею кланяться! Если у вас ко мне будут какие-либо вопросы, дела, всегда буду рад, всегда буду искренне рад!..

Штернберг шагал по лужам, по талым сугробам снега, он шел, задыхаясь от отвращения, от ощущения, будто выпачкался в чем-то омерзительном. Хорошо хоть, что этот тип догадался руки не протянуть! Ах, мелкая, мерзкая гадина! Но неужели вот так просто — глупыми своими ужимками, мелкими угрозами, нахальным и грубым комедиантством — они добиваются у порядочных людей показаний? Все дело в том, что они прежде всего пытаются установить некое равенство между собой и допрашиваемым... Я русский человек, вы русский человек; я жажду блага русскому государству, вы желаете того же; я образованный, европейской культуры человек, вы такой же, человек моего круга, нашего общего круга... Идиоты! Нет, не они, не жандармы. А те, кто может клюнуть на это, размагнититься, размягчиться от глупых и напыщенных слов, сказанных профессиональными мерзавцами, которые за деньги, чины, карьере готовы продать и мать родную! Да, необходимо выработать в себе совершенное презрение к ним, вытравить

чувство каких-либо обязательств перед ними. Обязательств говорить правду, обязательств вести себя с ними как с нормальными порядочными людьми. Нет и не может быть никакого равенства между ним и этими нелюдьми! Этот фон Коттен, если это можно будет делать безнаказанно, не остановится, чтобы ему, Штернбергу, немолодому человеку, университетскому преподавателю, иголки под ногти загонять! И не только ему, но и любому человеку, женщине, девушке... И он содрогнулся, представив Варю перед этими на все способными людьми... А потом сразу же вернулся к действительности. Чего это он себе приписывает мудрые мысли о правильном поведении на следствии! Это, собственно, то, что ему рассказывали Варя и Николай, это их точка зрения на то, как революционер должен вести себя с жандармами. И не только их личная точка зрения, а позиция большевиков. Коля рассказывал, что даже есть печатная брошюра о том, как следует революционеру вести себя на следствии. Там черным по белому напечатано, что революционер должен отказаться от ответов на любые вопросы следователя. За исключением ответов на паспортные вопросы, всякие другие ответы могут стать неосознанной формой сотрудничества с негодяями.

...Варвара к обыску у Штернберга и вызову его в охранку отнеслась спокойно и деловито:

— Фон Коттен — это очень вредная гадина. Мягко стелет... Он и со мною пробовал по-дружески разговаривать.— Варвара усмехнулась.— Но очень быстро понял неуместность своих улыбочек. Тогда ощерился... Есть там еще один типчик, тоже полковник — Заварзин. Они с Коттеном работают как клоуны в цирке. Один из них грубит и угрожает, а другой с негодованием осуждает своего коллегу за грубость, успокаивает, утешает, разговаривает с отцовской нежностью... Болваны!

— А как они поделили эти роли?

— Любой из них может быть любым. Все это маски, и примитивные. Главный их метод: убедить подследственного, что жандармы всемогущи, всеведущи. В действительности же они ни черта не знают, кроме того, что им говорят неопытные или же исподличавшиеся люди. Удивительно все же: десятки лет сидят на том, что борются с революционным движением, в их распоряжении огромная литература, которую они забирают при арестах, множество партийных документов, показаний на допросах, доносы провокаторов — ни один партийный профессор не обладает подобными возможностями для изучения революционного движения — а ведь ничего не понимают! То есть никаких следов понимания происходящих закономерностей в развитии государства, процессов в экономике, в социальной и общественной жизни. Ничего! С наибольшими не достаи-

валась разговора, но полковники — это совершенно темные люди!

— Да кто их, Варенька, знает! Может быть, они притворяются такими темными, чтобы какой-нибудь малоопытный революционер попался на этот крючок и открылся им?..

— А может быть... Но черт с ними! По моему мнению, надо на лето уехать из Москвы. Хорошего ждать не следует, осень, мне кажется, будет трудная. Что тут делать?

Конечно, Варвара была права. Логика у нее совершенно железная, и нельзя же ей противопоставлять простое, не партийное, а человеческое желание быть около нее... Варвара совершенно не собиралась оставлять Москву, свою работу в районах, в Московском комитете. А ему, стало быть, надо уезжать. На целое лето! Как жаль!

Ночные тени

Штернберг жил в Дуббельне. Небольшой курортный поселок на взморье, верстах в тридцати от Риги. Маленький узкий кусок песчаной земли между рекой и морем. Дачи — большие и маленькие, но все обязательно с башенками, вычурными резными балконами, верандами в цветных стеклах. Перед входом — аккуратные клумбы с одинаковым набором цветов. В середине клумбы — большой золотой или серебряный стеклянный шар. По ровным дорожкам, усыпанным песком и мелкими ракушками, бегают аккуратно красивые дети — играют в серсо, катают цветные обручи, ловят воланы. В стороне — ровненькие площадки для крокета. В любое время дня они заполнены гимназистами, девушками, а то и почтенными бородатými господами. Слышен стук молотков, огорчительные или радостные возгласы.

На берегу моря — яркие цветные шатры и зонты, под которыми сидит и играет в карты или лото курортная публика. В соснах на прибрежных дюнах — шезлонги: в тенечке дамы читают последние знаменитые романы, господа уткнулись в газеты. По названиям газет Штернберг легко мог определить читателей. Если «Русские ведомости» или «Речь» — почти наверняка университетский человек, врач, адвокат, «свободный художник». «Русское слово», «Биржевые ведомости» — коммерсант, банковский служащий, либеральствующий или полулиберальствующий чиновник. Черносотенные «Московские ведомости» или «Гражданин» — понятно кто!.. Усатые старые бодрячки в неумело надетом коломенковом костюме, внимательно изучающие «Русский инвалид», — безусловно, отставные военные. Вот так. Как в детской песенке: «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай!»

Но Штернбергу и не хотелось ни с кем знакомиться. И вообще он не любил сидеть у моря и смотреть на нелепое зрелище: лошадь, запряженная в линейку, тащит далеко в море кучу визжащих дам в купальных костюмах... Лениятся пройти сто — двести аршин мелкого, скучного моря!

Чаще всего он сидел на берегу реки. Она была здесь красива, даже величественна, совсем не похожа на маленькую провинциальную реку. Вдали, на высоком правом берегу, белели песчаные обрывы. Слева река круто изгибалась, ее изгиб был широк, сильные струи воды разделяли гладь реки. Река была серьезна, пользовалась у курортников дурной репутацией. Штернберг вспомнил, что вот здесь, в Дуббельне, утонул Писарев... В двадцать восемь лет, лишь три года назад вышедший из Петропавловской крепости. Какая несправедливость судьбы! На берегу реки росли толстые дубы, оставшиеся здесь еще с ливонских времен, старые раскидистые липы. И было тихо. Штернберг часами сидел в тени, на удобной плетеной скамейке. Думал о Москве, о тех, кто в ней остался. Раз в неделю заходил на почту и спрашивал у почтовой барышни письма до востребования. И тут же, на ходу, прочитывал несколько строк, набросанных неразборчивой скорописью Вари. Обстоятельный отчет Блажко о том, что делается в обсерватории, откладывал и читал не торопясь на своей скамейке.

Отделаться от людей с газетами, конечно, было трудно. Просто невозможно. Были среди них знакомые — университетские коллеги, знакомые москвичи. Находились скучающие инициативные господа, которым не хватало собеседников. Независимо от того, какую газету держал в руках новый знакомец, Штернберг знал, с чего его собеседник начнет разговор. С Азефа. Все газеты были полны историей с разоблачением секретного сотрудника департамента полиции, который, оказывается, был членом Центрального комитета партии социалистов-революционеров, руководителем их боевой организации, занимался организацией убийств самых крупных сановников империи, а потом выдавал полиции участников.

— Понимаете, батенька,— начинал почтенный господин, только вчера познакомившийся со Штернбергом и сразу же называющий его батенькой,— у этих господ нет никаких нравственных норм! Состоять в революционной партии, руководить ею — и за деньги, и за немалые деньги, батенька, выдавать своих же товарищей по партии! Понимаете, какие это люди! Какие нравы у них!

— У кого это? — тихо переспросил Штернберг.

— Как у кого? У революционеров!

— Как странно мы понимаем с вами одни и те же сообщения. Насколько я уяснил из газетных статей, Азэф был вовсе

не революционером, а секретным сотрудником департамента полиции, по заданию этого департамента вошедший в боевую организацию и выдававший его членов. Только в одном позапрошлом году по доносам Азефа было повешено семь человек — членов боевой организации. Так?

— Так...

— При чем же тут нравы революционеров? По логике вещей, речь может идти только о нравах департамента полиции и тех грязных личностей, которых полиция нанимает для грязной работы. Я весьма далек от политики и интересуюсь ею, вероятно, меньше вашего. Но я человек науки и не в состоянии отказаться от законов логики. Не вижу в деле этого негодяя ничего двусмысленного и непонятного...

— Нет-с, не могу согласиться с этакой странной логикой! Азеф был революционным социалистом, который предавал своих сопартийцев! Вот так, батенька, а не иначе могут толковать эту гнусную историю лояльные к обществу и правительству люди! Да-с!

— Вы господина Столыпина таким считаете?

— Весьма странный вопрос!

— Так вот, хочу вам напомнить, что еще весной, кажется в феврале этого года, председатель совета министров Петр Аркадьевич Столыпин на заседании Государственной думы сказал, как мне помнится, буквально следующее: «Кто же был Азеф? Такой же сотрудник полиции, как и многие другие». Как мне кажется, ответ исчерпывающий, я вполне согласен с господином Столыпиным и полагаю, что бессмысленно нам продолжать этот беспредметный спор... Здесь все ясно.

С Азефом-то все ясно! Сложнее было в собственных делах. В Москве плохо, очень плохо. В организации провал за провалом, Коля Яковлев отбывает тюремное заключение. Режим, говорят, в тюрьмах ужасный!

А как с Варей? Из ее коротких и совершенно бессодержательных писем-записок ничего узнать нельзя, кроме того, что она на воле. Конечно, по нынешним временам и это уже не так мало.

Штернберг знал точно причину своего постоянного раздражения и смутной тоски. Он, готовый к выполнению любого партийного задания, в эту тяжкую для партии пору отдыхает на взморье, тупо смотрит на надоевшее ему тусклое море, слушает непрекращающийся женский и детский визг, разговаривает со скучными, ненужными, неинтересными собеседниками... А Коля сидит в тюрьме, Варя и ее товарищи ходят на явки, на секретные заседания, где их может ждать полицейская засада!

Штернберга мучила его оторванность от настоящей партийной работы. Но надо было смириться. Очевидно, от него

требовалось соблюдение не только партийной дисциплины, но и самодисциплины. Надо было считать дни, когда закончится август и можно будет, наконец, возвратиться в Москву...

Москва встретила Штернберга нелетним оживлением и возбуждением. Слава богу, в доме на Пресне все было в порядке. Николай здоров, сидеть ему уже не так долго. Варя была оживленная, похудевшая, вся наполненная той жизнью, от которой он был отстранен. Несмотря на неоднократные аресты комитетчиков, организация московских большевиков была жива и работала.

Варвара рассказывала о множестве новостей из Питера, о приезде представителей центра, о разных новшествах в организации.

— Много времени сейчас уделяется легальным возможностям — на этот счет есть указание ЦК. Например, открыли в городе «Клуб общедоступных развлечений». Довольно много народу привлекает к себе. И среди этих общедоступных развлечений есть и такие, что охранка взвыла бы, если бы узнала!

— А если уже знает?

— Ах, этот психоз азевовщины! — вспыхнула Варвара.— Интересно, как ему поддаются, казалось бы, самые спокойные и уравновешенные люди! Мы — не эсеры, наша организация строится на совершенно иной основе. Чего бояться ночных теней! Больше света! Больше организованности! И ближе к рабочим!

Все это Штернберг знал. И думал о том же самом. Что это Варенька делает из него пугающегося интеллигента? Ему просто присущи качества ученого — тщательность и недоверчивость. Ничего нельзя брать на веру! Все обязательно подлжет проверке и перепроверке!

Стремительно наступил и стремительно шел 1910 год. Много он значил в жизни Павла Карловича Штернберга. Определеннее стало все. И в его научной деятельности, где изучение гравитационной аномалии стало давать интересные результаты; и в партийной жизни, где его роль связанного с заграничным центром становилась все более важной; и, наконец, в своей личной жизни. Исчезла двойственность, так его ранее мучившая. Варвара Яковлева была для него теперь не только самым близким партийным товарищем, но и самым близким и дорогим человеком. Этим летом он никуда из Москвы не уезжал, да и куда уезжать? В августе должен был выйти из крепости Николай!

Николай вернулся домой побледневший, похудевший, но все такой же бодрый, веселый, неутомимый. Поразил сестру и Штернберга тем, что, сидя в крепости, был в курсе большинства партийных новостей.

— Они, знаете, порядочные болваны — это тюремное начальство! Не знаю, как в централах, а у нас в камерах происходило постоянное перемещение арестантов. Очевидно, оглушительная их идея состоит в том, чтобы арестанты, долго сидящие вместе, не вошли в преступный сговор и не принялись изображать какого-нибудь графа Монте-Кристо — подкоп там или еще чего. Поэтому состав камеры постоянно обновлялся.

— А народ какой? — спрашивал Штернберг.

— Ну, всякий. Больше эздеков. Есть и эсеры. Есть такие, кто ни за что ни про что попал. Сугубо беспартийные обыватели, втяпались случайно. Совершенно политически невежественные люди. Ну, у нас они быстро образовывались! Сначала как слушатели присутствовали при наших политических спорах, а потом начиналась у них поляризация... Кто к кому!

— А предметы споров?

— Конечно, прежде всего: надо было браться за оружие или не надо? Затем вопросы объединения и разъединения партии. Множество разговоров о провокации. Газеты к нам попадали, про Азефа разговоры были непрерывные. На эсеров жалко было смотреть... Но все равно: они мало что понимают! Им все кажется, что главное — узнать, кто предает! Им в голову не приходит, что при настоящем массовом движении отдельные предатели ничего сделать не могут. И... Камера есть камера! Когда в ней подолгу сидят раздраженные, душевно уставшие люди, да еще разных политических взглядов, поводы для спора возникают непрерывно, часто по самым что ни на есть пустякам... И по этим пустякам часто разгоралось такое ожесточение, что люди способны были броситься друг на друга! Иногда меня мучили страшные мысли: произойдет, наконец, революция, сбросим царя, установим демократическую республику... А ведь не договоримся со вчерашними союзниками по революции. Ладно, пока будем думать не о завтрашнем дне, а сегодняшнем. Ах, как хорошо все же на воле! И закрутим мы!..

Бодрое настроение Николая не очень-то действовало на Штернберга. Даже Варя, в отличие от своего брата всегда уравновешенная, вовсе не была так оптимистично настроена.

— Жалко будет в такое нужное время отсиживаться в тюрьме, — задумчиво говорила она Штернбергу.

Как и раньше они часто ходили по ночным, уже почти пустым пресненским улицам и переулкам. Кривая Большая

Пресненская, горбатые Тишинские переулки, темные деревянные Грузины...

— Не знаю, могла бы я так спокойно высидеть в крепости, как Коля? У него на этот счет завидный характер. Спокойный. А у меня — беспокойный. А то еще запихнут в какую-нибудь сибирскую глушь. Они теперь нашего брата высылают только в «места отдаленные» — только в Восточную Сибирь.

— Я к тебе приеду.

— Ну да! Стоило столько лет огород городить со строжайшей конспирацией, чтобы потом вдруг обнарудовалась подобная любопытная история: почтенный университетский чиновник, статский советник — и срывается. Куда? В Сибирь! К кому? К ссыльной большевичке! Полковник фон Коттен ручки потрет от удовольствия!

— Ну, любопытно, конечно... Но не в политическом, а совсем в другом, так сказать, в романтическом характере... Преступная любовь старого и почтенного профессора к своей юной и неопытной ученице. Сюжет не новый, вполне понятный даже фон Коттену. И от старца, способного к таким сильным страстям, стоит ли ожидать каких-либо политических действий.

— Ах, о каких только глупостях мы не говорим, когда на очереди гораздо более насущные задачи! Удивительно, что эти волнения в университете после смерти Толстого так сильно отозвались и на заводах! Удивительно! А уже декабрь. Пять лет со дня пресненского восстания. Пять лет уже прошло... Господи! Как будто пятьдесят! Насколько же мы все выросли! Другими людьми стали!

— Я-то, во всяком случае...

— Да, все мы стали другими! Пятнадцатое число сегодня... В этот день семеновцы приехали в Москву! А девятнадцатого все окончилось. Дым и чад над Пресней. Девятнадцатого... Смешно, наверное... Но не люблю с тех пор это число. Как ученые относятся к подобным предрассудкам?

— С осуждением, как и положено относиться учителям к заблуждениям юных и неопытных учениц...

Проклятое девятнадцатое число! О нем, наверное, думали не только два большевика, гулявшие поздним декабрьским вечером по пресненским улицам. Думали об этом и на Тверской у генерал-губернатора, на Тверском бульваре у градоначальника, на Малой Никитской в жандармском управлении, в Большом Гнездиновском в охранном отделении.

Потом, через два-три года, вспоминая об этих днях, Варвара и Николай Яковлевы и Штернберг согласились, что совсем не случайно жандармы приурочили попытку одним ударом лик-

видировать московскую организацию большевиков именно к 19 декабря.

...Утром 20 декабря посыльный принес Штернбергу записку от Николая Николаевича Яковлева. Только не от Коли, нет — от его отца. Никогда еще не случилось, чтобы Николай Николаевич прямо к нему обращался, и Штернберг сразу же понял, что это значит. Значит, нет ни Коли, ни Вари. Вчерашний день, 19 декабря.

В доме Яковлевых заплаканная Анна Ивановна убирала комнаты, еще носившие следы недавнего тщательного обыска. Николай Николаевич был хмур и неразговорчив.

— Вот-с, Павел Карлович... Сразу двух. Так хоть по очереди брали, а тут — сразу... Скучно, знаете, как-то сразу стало без этих моих разбойников. Недолго мой Коля погулял на воле.

— Обоих дома взяли?

— Дома только Варвару. Коля был где-то на собрании. Их всех и взяли — как перепелов сетью накрыли. Весело, весело Новый год встречаем!..

Через тернии — к звездам!..

Сгорбившись, по заснеженным улицам возвращается домой Штернберг. Домой ли? Скорее, в обсерваторию. А ведь столько лет у него понятия «дом» и «обсерватория» совпадали! С тех самых далеких времен, когда, только-только натянув студенческую тужурку, зеленым первокурсником пришел он в университетскую обсерваторию на Пресне.

И не испугался увиденного. Не из Парижа, не из Вены Штернберг приехал в Москву, а из тихого, пыльного провинциального Орла. Но и в своем родном городе никогда он не видел таких скучных и чахлах огородов, как тестовские огороды около обсерватории; никогда не видел раньше таких безотрадных замусоренных пустырей, где играют в бабки оборванные ребятишки. А рядом зловонный Камер-Коллежский вал; через каждый дом — трактир, ночлежка, смрадные мясные лавки, где продают потроха и мослы, привозимые с боен. В немощных грязных переулках вокруг обсерватории — длинные бревенчатые бараки для рабочих Прохоровской фабрики. Даже в летние дни переулки тихи и безлюдны. Жители этих домов выходят на работу, когда еще весь город спит, а возвращаются домой через четырнадцать или шестнадцать часов. И только по воскресеньям, по редким праздничным дням возникает в этих переулках резкий звук гармошки, пьяная песня, шум, драки...

Ну и что! Разве грязь и нищета кругом, разве собственная

бедность и неустроенность имели для него тогда значение? Он про себя гордо повторял любимую латинскую поговорку своего учителя, знаменитого Бредихина: «Через тернии — к звездам!» Ему надобно было пробиться к звездам. И не фигурально, а к самым настоящим, тем, что горят в небе в хорошую ясную зимнюю ночь... Двадцать шесть лет назад, в свои первые студенческие каникулы, Штернберг не поехал домой в Орел, остался в Москве, чтобы работать в обсерватории. Вот когда ему было хорошо! Не надо ждать своей очереди, чтобы сесть у объектива астрономической трубы. Да не сесть — тогда еще и сиденья не было! — а стоять. Стоять на ногах с девяти утра до восьми вечера, почти без перерыва, отрываясь только, чтобы записать в тетрадь да сбегать напротив в кухмистерскую закусить. К вечеру у силача Штернберга дрожали от усталости ноги и все плыло перед глазами. Но у астронома день на этом не кончается. И еще до часу, до половины второго ночи приводил в порядок записи, делал сложные вычисления. А в шесть утра вскакивал, чтобы вовремя быть на дежурстве. Так это летом, когда еще за звездами наблюдать трудно и главным объектом наблюдения служит солнце! А когда начнет темнеть, появится ночное звездное небо, тогда главная работа перенесется на ночь.

И в следующие летние каникулы остался в Москве. И уж вовсе был счастлив, когда получил разрешение переехать на жительство в маленький хозяйственный флигель обсерватории. Кроме всего прочего, какая экономия на ботинках! Ходить-то надо было пешком. Денег не хватало не только на конку, не всегда и на марки для писем домой. Товарищи над ним посмеивались, считали его скуповатым из-за того, что не бегал с сокурсниками в пивнушку, не бродил со студенческой компанией по Козихе, не танцевал на студенческих балах. Штернберг ничего этого не мог себе позволить. Иногда выкраивал копейки на то, чтобы купить самый дешевый билет на симфонический концерт.

...Ну, вот и его родной Никольский переулочек! И знакомые ворота с калиткой. И высланная щербом дорожка к дому. Приходило ли ему в голову в те далекие дни, когда он перенес сюда свою скудную студенческую корзинку, что почти до конца жизни этот дом станет местом его проживания, работы, почти всех интересов? Что здесь родятся и будут расти его дети?

Открыл своим ключом дверь, неторопливо разделся, прошел к себе в кабинет, привычно зажег настольную лампу, Маркс внимательно смотрел на него из серебряной рамки. Ну, что ему осталось от дома? Вот этот кабинет. Да еще детская в дальней половине квартиры. И конечно, обсерватория.

А ведь было время, когда этот дом был весь его и никакого другого дома у него не было. И никаких интересов, кроме тех, что с этим домом были связаны! Еще на последнем курсе Бредихин предложил ему остаться в обсерватории, стать его помощником. И вместе со своим дипломом получил официальную бумагу о том, что «оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию».

Из огромного спектра наук, объединенных названием «астрономия», Штернберг выбрал то, что ему было более всего интересно. Гравиметрия. Эта темная, еще малообъяснимая сила притяжения. Сила тяжести. Известная с тех пор, как человек осознал себя как существо разумное. И непонятная, с необъяснимыми отклонениями. Как же интересно ему было этим заниматься! Ездить по всей России в поисках гравиметрических отклонений; увлеченно рассказывать об этом студентам; писать статьи в тоненьком журнале с гордым названием «Анналы Московской обсерватории»; делать доклады в Московском обществе испытателей природы...

Как сначала было ясно, безоблачно!.. Довольно быстро стал приват-доцентом. Правда, звание почетно, а денег мало — только почасовая оплата. Но сразу же по окончании университета начал преподавать физику и космографию в гимназии Креймана в Пименовском переулке. Расходов было немало. Умер отец. Женился. Как странно для него обернулись его гимназические вакации в имении Картавцевых! Женился на Верочке... Воспитанница Смольного института, привыкла к богатому дому в Орле, к жизни в имении. А пришлось поселиться в скромной казенной квартире астронома в доме обсерватории. Ничего! Держалась мужественно.

Вот и началась эта накатанная жизнь. Читает в университете курс небесной механики и высшей геодезии, преподает в гимназии Креймана, берет курс физики в Александровском коммерческом училище. Ездит в экспедиции и возится с гравиметрическими аномалиями. Имеет абонемент на симфонические концерты в консерватории и Благородном собрании. Сам играет в симфоническом любительском оркестре университета партию первого кларнета. Нечастые обмены визитами с учеными коллегами. Словом, жизнь как у всех.

Спокойный, устойчивый старый корабль — дом на Пресне — плыл по хорошо разведанному маршруту. Будущее было заранее известно. В свое время станет директором обсерватории, заслуженным профессором, действительным статским, тайным советником. Будут величать «превосходительством». Станет носить на парадном сюртуке большие серебряные звезды...

Когда же уклонился корабль его жизни со своего маршрута? Когда в нем, в аполитичном, бесконечно преданном науке

астрономе Штернберге начала происходить эта перемена? Перемена всего: отношения к людям, к политике, к семье?.. Когда это все произошло? И как же это случилось?..

Да, да!.. Незачем себя обманывать! Он, приват-доцент Павел Карлович Штернберг, был тогда как все. Как все профессора, заслуженные и простые, ординарные и экстраординарные, как приват-доценты и ассистенты. За исключением редких зубров-монархистов, все они возмущались, все были на стороне студентов, многие даже считали себя политическими деятелями. В этой среде почему-то считали, что заниматься политикой — значит говорить. Говорить на банкетах, заседаниях, во всяких обществах. Вот так постучать легонько вилок по тарелке, чтобы привлечь внимание сидящих на банкете, а потом произнести что-нибудь этакое возвышенное, многозначительное, несогласное. И вернуть подходящую латинскую поговорку, явно направленную на ниспровержение. Гром оваций, подвыпившие доценты лезут целоваться, на другой день студенты встречают начало лекции об отчуждении церковных земель при Юстиниане бурной овацией. И ходит этот банкетный оратор с видом человека, который только что ниспроверг существующий строй. И считает себя почти революционером.

По своей обычной нетерпимости ко всему ненастоящему Штернберг редко ходил на подобные «политические» банкеты. И как ему был симпатичен профессор Петр Николаевич Лебедев, когда тот, придя на такой банкет и поглаживая свою русую красивую бородку, иронически, как на мальчишку, смотрел на очередного оратора. Встретится взором со Штернбергом и беззвучно засмеется...

Штернберг может точно, астрономически точно установить дату, когда он сделал первый шаг от университетского либерала в сторону... Но, правду говоря, этот шаг был сделан сначала не им.

Она подошла к нему после его третьей лекции на Высших женских курсах... Штернберг считался в университете хорошим лектором. Но читать специальный курс космогонических теорий перед аудиторией, где одни женщины, даже не женщины, а просто молоденькие девушки, ему было непривычно и стеснительно. Поэтому он, приезжая на Высшие женские, выглядел еще более сурово и неприступно, нежели обычно. Настолько неприступно, что слушательницы не решались задавать ему вопросы, хотя он по лицам девушек, сидевших в первых рядах, отчетливо понимал, что добрая половина того, что он рассказывает и чертит на доске, проходит мимо их глаз и ушей.

А вот про эту высокую, красивую девушку, которую он заметил с первой же лекции, он не мог бы сказать, что она не понимает. Спокойствие и внимание, с которыми она слушала лектора, изредка записывая что-то в тетрадь, внушали доверие к ней. И он не удивился, когда после третьей лекции она подошла к нему с вопросом. Удивил вопрос, с которым она к нему обратилась. Варвара Яковлева — так звали эту курсистку — совершенно спокойно, как будто она обращалась не к знакомому суровому профессору, а к своему товарищу, попросила Штернберга рекомендовать ей книги о происхождении Земли и Вселенной для занятия в рабочих кружках. И таких, прибавила она, которые бы боролись с религиозными суевериями и помогали формированию материалистического мировоззрения. Она говорила со Штернбергом звучным красивым голосом, не допускающим никакой попытки усомниться в ее праве задавать такие вопросы. Штернберг никогда прежде не думал ни о популярных книгах по космогонии, ни о том, насколько они способны воспитывать материалистическое мировоззрение. Со своей обычной щепетильностью и точностью Штернберг ответил курсистке, что сейчас затрудняется дать ответ на ее вопрос, но что к следующему занятию привезет ей список таких книг.

Всю неделю до следующей лекции Штернберг читал десяток популярных книг, которые купил в магазинах на Моховой. Он с детства сохранил любовь к Фламариону, но никогда не интересовался популяризаторами астрономических знаний. И ему стоило немалого труда отобрать несколько книг, которые находились на уровне современной науки и могли быть понятными читателям, не имеющим специальной подготовки.

Вот так он и познакомился с Варварой Яковлевой и ее братом Николаем. То ли предмет, который преподавал Штернберг, то ли мешала его суровая внешность и молчаливость, но у него прежде не было близости со студентами. Брат и сестра Яковлевы были первыми, с которыми он себя почувствовал не пожилым, сорокалетним университетским преподавателем, а почти ровней. По взаимной симпатии, презрению к красноречивости, уважению к деловитости, вкусу в литературе и музыке. Это было тем более странно, что Николай Яковлев даже студентом еще не успел стать. Его исключили из четвертого класса гимназии «за плохое поведение и неуспеваемость». Как весело объяснил Николай своему новому знакомцу, он вылетел из гимназии за свою вредную привычку делиться мыслями с бумагой. С первых классов гимназии вел дневник, куда заносил не только понравившиеся ему страницы из книг, но и весьма откровенные размышления об интеллектуальных и нравствен-

ных качествах своих гимназических наставников. Хотя все, ведущие дневники, уверяют, что они «пишут только для себя», но большинство из них не отказывает себе в удовольствии поделиться с друзьями своими мыслями и оценками окружающих. Характеристики учителей, инспектора и директора у гимназиста Николая Яковлева были не только категорическими, но и остроумными, в них сильно ощущалось влияние его любимого писателя — Салтыкова-Щедрина. Избранные места дневника Яковлева переписывались, расходились по гимназии и, естественно, стали известны начальству.

Штернберга, для которого в его гимназические годы тройка была катастрофой, удивляло, с каким спокойствием отнесся к своему первому жизненному крушению Коля Яковлев. Когда дружба с Яковлевым укрепилась настолько, что Штернберг стал бывать у них дома, он не переставал поражаться этой необычной семье.

Николай Николаевич Яковлев хотя и считался купцом второй гильдии, но был, по сути дела, ремесленником. Хозяином начал в ювелирной мастерской, где был главным и опытейшим мастером. Характер у него был деспотический и иронический, семью свою пытался держать в железном подчинении. Удавалось это ему плохо. Главным человеком в доме Яковлевых была девятнадцатилетняя Варвара. Как-то получилось так, что она спокойно отводила все угрозы отца, неслышно управляла братом и матерью, незаметно, но твердо перестраивала все отношения в доме. Коля Яковлев весело и быстро готовился сдавать экстерном гимназический курс и еще успевал заводить связи с революционными кружками и вместе с учебниками проглатывать множество подпольной революционной литературы. А Варвара училась на Высших женских курсах и вела рабочие кружки, в которых занимались далеко не одной только астрономией, о которой она попросила у Штернберга популярные книги.

Какие же они были разные — брат и сестра Яковлевы! Николай был почти на два года моложе Варвары, но казался по манере разговора, поведению старше, солиднее. Все, что он делал, было основательно, точно рассчитано. Ему можно было поручить любое самое важное дело и не перепроверять: Николай Яковлев никогда не подводил. Прежде чем принимать какое-либо решение, Николай долго обдумывал и высказывал свое мнение в манере, которую его пылкая сестра презрительно называла бормотанием...

— Ну, пробормотай свое мнение! — непочтительно говорила Варвара брату во время обычных споров.

Штернберг часто думал о том, что он и Николай очень схожи — в упорстве, терпеливости, основательности выработанного мнения, отсутствии ораторских талантов.

Почему же он почти всегда и во всех спорах соглашался не с ним, а с Варварой? Не потому же, черт возьми, что она красивая девушка, которая ему так нравится!..

Варвара Яковлева была столь же упорна и основательна, как и Николай. Но решения она принимала мгновенно, и они оказывались самыми реальными и необходимыми. Она не переносила длинных споров, в основу всего ставила практическое дело.

Разницу между братом и сестрой Штернберг особенно ощутил однажды в марте 1905 года, когда, прийдя вечером к Николаю, застал его в яростном споре с Варварой. Жил тогда Николай в Девятинском переулке на Новинском бульваре. Комнатка была маленькая, но удобная: вход со двора, из окна виден каждый открывавший калитку, из коридорчика дверь вела на половину хозяев — на худой конец, можно было оттуда вовремя уйти.

Спор у двух революционеров был такого накала, что Штернберг незамеченным открыл калитку, входную дверь и в коридоре еще услышал «бормотание» Николая и звонкий, саркастический голос Варвары. Они оглянулись на Штернберга.

— Ага, вот и третейский судья! — сказала Варвара. — Самый что ни на есть подходящий. Математик, астроном, по-немецки деловой человек, лишенный всяких там сентиментальных эмоций!..

— Да, уж, Варенька, ты, конечно, нашла самого объективного третейского судью, — иронически промолвил Николай.

Варвара протянула Штернбергу печатный листок.

— Читайте, Павел Карлович! И поймите, из-за чего мы спорим с Колей.

Штернберг по-профессорски удобно уселся в единственном кресле, стоявшем в комнате, и начал внимательно читать листовку. Казалось бы, что прокламация должна была радовать, а не ссорить этих людей. Напечатанная на довольно хорошей бумаге вполне приличным, несбитым шрифтом, она имела внизу напечатанную петитом строчку, являвшуюся гордостью этих двух и многих других людей Москвы: «Типография Московского комитета».

Штернберг знал, что организация этой хорошо поставленной подпольной типографии была одной из самых больших удач московских социал-демократов. К созданию этой типографии приложил руку и Николай Яковлев. Можно понять радость и гордость, с какой он смотрел на Штернберга, читавшего листовку.

Наверху прокламации было напечатано: «*Российская со-*

циал-демократическая рабочая партия. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Дальше следовало обращение:

К ОБЩЕСТВУ!

Граждане! Канун революции кончился, началась революция. Вы не видите ее? Вы не слышите раскатов грома, вы не замечаете сверканий молний? Вас не оглушает грохот, вас не ослепляет блеск? Погодите, это только начало. Гроза надвинулась, удары грома, сверкание молнии еще слабы, но скопившиеся тучи не оставляют сомнения в том, что вот-вот погода разыграется вовсю. Вы боитесь этого? Вы хотели бы, чтобы гроза миновала? Вам приятен только легкий, тепловатый дождик, который оживил бы садовые цветы в палисаднике у вашего дома? Вам приятно только легкое дуновение зефира в послеобеденные часы? Вы предпочли бы легкие сероватые облака грозным темным тучам?

Это невозможно. Вы помните, как долго стоял нестерпимый зной. Вы видите, как все небо облачно, как все насыщено электричеством. Гроза неминуема, неминуем сильный вихрь, а за ним ливень, который оросит и напоит всю необъятную русскую ниву...

Штернберг дочитал листовку, под которой стояла подпись: **«Московский комитет Российской социал-демократической рабочей партии»**, и аккуратно положил прокламацию на стол.

— Ну, что, профессор? — Варвара Яковлева смотрела на него нетерпеливо и напряженно.

— Мм... Да, знаете, как-то уж очень метеорологически. Вроде прогноза погоды в журнале «Сад и огород». К чему такие экивоки? Ведь не у Сытина это напечатано, а в подпольной типографии, и нет там визы «Разрешается цензурой»...

— Вот-вот! — взвилась Варвара. — Это не революционная прокламация, а стихотворение в прозе. Иван Сергеевич Тургенев! Федор Иванович Тютчев! «Как хороши, как свежи были розы!..» «Люблю грозу в начале мая!..» Да неужто надо было столько сил тратить, ставить подпольную типографию МК для того, чтобы в ней печатать поэтические произведения?! Дуновение зефира! Цветики-цветочки! Тьфу!

— Ну как ты, Варвара, не понимаешь? — неторопливо возражал Николай. — Это ведь обращение к обществу. Обществу! Не к рабочим на Прохоровке, а к интеллигенции, к служащим. Скажем прямо, к либеральной буржуазии, да, да... Мы не можем и не должны от нее изолироваться!

— Да эта буржуазия плевать хотела на все ваши зефиры и цветочки! Революция ставит на карту очень серьезные и очень

реальные вещи: деньги, дома, дачи, тот уклад жизни, ради сохранения которого они пойдут на союз с царем, Победоносцевым, с кем угодно! О другом мы должны сейчас думать, а не о том, как бы не испугать буржуазию, даже будь она трижды распрелиберальна! Большевики же мы, черт возьми! Павел Карлович!

— Нет, нет! Не мне вас учить, как революцию делать! В этой науке я не только не профессор, а даже и не лаборант — всего только начинающий первокурсник. Но по моему разумению, революция прежде всего есть дело, а не слова. Даже обращаясь к либеральному обществу, надо искать и находить точные слова. Чтобы было совершенно ясно, о чем идет речь. А главное, чтобы те, кому вы адресуетесь, поняли, что написали это обращение очень серьезные и деловые люди. Либеральная буржуазия заинтересована в уничтожении царизма. Но она бессильна без рабочего класса, который не пожелает таскать каштаны из огня для чужого дяди или за здорово живешь... Вот об этом и написать следовало бы...

— Слышал? Это, Колечка, тебе говорит не представитель ЦК, а лишь сочувствующий большевикам приват-доцент Императорского университета. А говорит он так потому, что является гомо сапиенс — человеком разумным, материалистически убежденным, вполне положительным. А не таким рохлей, как ты, братик!..

Варвара подскочила к Николаю, с силой стащила его со стула и с внезапным смехом начала кружить по комнате. Николай лениво отбивался.

— Хватит тебе, сумасшедшая девчонка! Обрадовалась! Третьею судью нашла! Ты бы лучше поставила самоварчик и напоила чаем Павла Карловича. Все же не забывай, что ты женщина, то есть существо неполноценное, обязанное не революцией заниматься, а поить мужчин чаем...

Шесть лет назад

Шесть лет назад, в январе 1906 года, Штернберг приехал в Москву. Приехал из праздничного новогоднего Берлина. Из начищенного, подбоченившегося города, где в огромных зеркальных витринах магазинов переливались разноцветными огнями елки, где все лавчонки, лавки и магазины заставлены фаянсовыми пивными кружками, гномиками, ангелочками, ватными мальчиками и девочками в национальных одеждах и прочим реквизитом немецкого рождества.

Поезд был полупустой, полупустым был перрон. У дверей вокзала — солдаты, закутанные в башлыки, с примкнутыми штыками на винтовках.

Еще из окна вагона увидел Штернберг на перроне знакомые лица. Блажко и обсерваторский служитель Петр Сергеевич. Получили, значит, телеграмму о приезде... Носильщики вынесли из вагона вещи. Петр Сергеевич бережно нес тяжелый ящик с приборами, закупленными Штернбергом в Берлине. Блажко мрачный, осунувшийся, поздоровался со Штернбергом:

— Наконец-то, Павел Карлович! Обсерватория, Вера Леонидовна, семья — все в порядке. Рад, что вы здесь. И раньше-то без вас было довольно уныло. А потом, когда это началось!.. Пойдемте направо, там нас ждут уже два извозчика.

Вокзальная площадь была вымершей. Мало извозчиков, совсем нет дрог с кипами товаров, не видно прохожих. И щекочущий в горле дым пожара, гарь тлеющего дерева, кирпичная пыль.

Экипаж неторопливо процокал по площади и выехал на вал. В домах по сторонам выбитые стекла, сорванные ворота, снятые заборы, разбитый штaketник палисадников. Почти нет прохожих. И на всех перекрестках солдатские патрули, сизые жандармские шинели. Обгоняя извозчика, проскакали несколько драгунов. Чем ближе к Пресне, тем ощутимее следы недавнего. На углу Курбатовского переулкa сгоревший деревянный дом. У другого, каменного, оторван кирпичный угол. И все чаще на штукатурке домов видна выщербленная рябь — следы пуль.

Блажко молчал. Наконец Штернберг не выдержал:

— Да что вы молчите, Сергей Николаевич? Я же с другой планеты сюда свалился!

— Ну чего по дороге рассказывать! Устали мы очень, Павел Карлович. От тревоги, выстрелов, бессонницы, от постоянного ожидания, что сейчас с тобой что-то приключится: убьют, сожгут, в тюрьму посадят, просто морду набьют... Знаете, после царского указа о неприкосновенности личности личность наша стала совсем дешево стоить. Тут семеновцы, драгуны да казаки убивали людей совершенно запросто. Не понравилась физиономия, нос слишком горбатый или недостаточно тупое выражение лица — рубанут шашкой или пустят пулю... У меня такое состояние: лечь бы спать да не вставать несколько суток. И проснуться в будущем году... Хотя, черт его знает, может, в будущем еще хуже будет?..

Ближе к заставе они увидели квартал, где не было, кажется, ни одного целого дома.

— Что это? — повернулся Штернберг к Блажко.

— Следы славных побед нашей доблестной армии. Здесь все же проще воевать, чем под Мукденом. Артиллерия сносит здания, а пехота непрерывно стреляет по движущимся целям...

— Да по каким же?

— Как по каким? По людям.

— По восставшим?

— Да какие в этих переулках восставшие, Павел Карлович! Стреляли просто по людям, которые, спасаясь, выбегали из горевших домов. Это очень удобно — стрелять из пушек и винтовок по безоружным. Для этого занятия у них хватило стратегических и тактических военных знаний.

— Вот просто так, по людям?

— Вот, просто так. Мне рассказывали, на Серпуховской площади ехали казаки. А на площади какой-то мальчонка подобрал подстреленную птицу — ведь и бедная птица может погибнуть, — подобрал, целует ее, дурачок, и кулаком грозит казакам. Можно ли простить такое выступление против государства! Убили.

— Мальчишку!

— Мальчишку. А почему бы и нет? Мальчишки, старики, женщины, птицы — стрельба не прицельная, шрапнель и пули не выбирают. Сам видел на мостовых лужи крови... На Неглинном проезде, у разбитого дома Шугаева, окровавленное тело.

Блажко вдруг всхлипнул и полез в карман за папиросами.

Штернберг больше не расспрашивал. Чем ближе к дому, тем страшнее становились следы разрушений: разбитые дома, спиленные деревья, опрокинутые и еще не убранные вагоны конки, дымящиеся пожарища. В низине пресненских улиц и переулков видны были стояки печей сгоревших домов. И все чаще их останавливали конные патрули. Свесится с коня красная от мороза и водки усатая драгунская морда и нагло гаркнет:

— Кто такие? Чего везете? А ну, что в ящиках?

Объяснялся Штернберг. Его огромная фигура, суровое чернобородое лицо, немосковская эlegantность одежды, очевидно, внушали больше доверия, нежели московское обличье и красные глаза Блажко. И действовала немногословность Штернберга, медлительность его речи. И то, что называл себя на дворным советником.

Теперь они ехали по Средней Пресне. Как изменилась эта столь хорошо знакомая, давно ставшая родной улица! От некоторых домов осталась груда недогоревших бревен и кирпичей; в других вместо выбитых стекол в окнах торчали подушки и ватные одеяла. Почти ни у одного дома не сохранились ворота. Остатки баррикад перегораживали тротуары.

Вот наконец и обсерватория! Кажется, в ней ничего не произошло. Ворота целы. Следов пуль и снарядов не видно.

Прошли первые минуты встречи — восклицания, вопросы и ответы. Штернберг рассказывал, давал распоряжения о пе-

реноске привезенных приборов, даже заглянул в зал большого рефрактора, но мысли его были там — в Девятинском, на Пресне...

Служитель постучал в кабинет Штернберга:

— Павел Карлович! Там вас молодой человек спрашивает. Не то студент, не то еще кто...

Штернберг поморщился от досады. Нашел же студент время прийти к нему! Еще есть, оказывается, такие, которые могут сейчас учиться...

— Спросите, кто он. Я сейчас по университетским делам никого не принимаю.

Через несколько минут служитель вернулся.

— Их зовут Василий Иванович. Говорит, что вы его знаете, и просит принять. Очень, говорит, нужно.

В удивительной, четко организованной памяти Штернберга не было ни одного знакомого человека с таким обычным именем-отчеством. Кроме разве актера Качалова...

— Просите.

Удивленный Штернберг поднялся навстречу вошедшему Николаю Яковлеву и с внезапно выступившими слезами прижал его к себе. Никогда Яковлев не показывался в обсерватории, и тем более тревожно было его появление здесь под каким-то чужим именем.

— Господи! Почему так? И что?..

— Варвара здорова, не арестована, в порядке. Мне у вас придется бывать, меня теперь зовут Василием Ивановичем. Кстати, и у Вари другое имя — Ольга. Ольга Ивановна. Я знал, что вы сегодня приезжаете, просто дожидаться не мог. Павел Карлович, ваша обсерватория как скиния на Синайской горе... Храм науки среди развалин рабочей Пресни. Кажется, вас, астрономов, одних и не тронули. И дай бог, не тронут. Поэтому мы с таким нетерпением ждали вашего приезда. Павел Карлович, может ли организация рассчитывать?

— Глупые вопросы! Я теперь такой же партийный, Коля, как и вы. Теперь мы будем заниматься одним делом. Делом, слышите, делом!

— Отлично. Сейчас главная задача — сохранить архивы, боевые инструкции, переписку с ЦК, оружие, сколько возможно. Не знаю, что будет завтра, через неделю, через месяц... Но сейчас ни одно частное лицо не может считать себя в безопасности. А обсерватория пока вне подозрений.

— Хорошо, Василий Иванович. Мы сейчас обсудим, что и где находится, каким порядком оно будет доставлено в обсерваторию. А я начну готовить тайники. Мест для них у нас достаточно. Но я должен знать все, что произошло без меня. Все о восстании! И я должен увидеть Вареньку. Сохранился ли ваш дом?

— Да, дом купца второй гильдии Николая Яковлева цел-невредим, живем там все вместе. И ждем вас, как только сможете.

— Сегодня вечером буду у вас.

В комнатке Николая с трудом уместилось пять человек. Кроме брата и сестры Яковлевых, было еще два незнакомых Штернбергу человека. Одного из них, молодого, назвавшего себя Оскаром, он застал, когда пришел. Другой, пожилой, очевидно рабочий, легонько постучал в окошко через несколько минут после прихода Штернберга. Яковлевы называли его Емельяном Степановичем и относились почтительно, как к старшему. Впрочем, так ли звали новых знакомых Штернберга или иначе, очевидно, значения не имело. Штернберга новым знакомым представили как Егора Петровича, отсутствовавшего и только что приехавшего в Москву. Рассказывал больше Николай. Варвара, мрачная, напряженная, стояла, прислонившись к кафельной печи. Оскар непрерывно курил, изредка приподымая занавеску и разглядывая темный двор. Емельян Степанович, приставив руку к уху, внимательно слушал рассказ Николая Яковлева.

— Знаете, Егор Петрович, тем, кто в эти дни не был в Москве, трудно передать ощущение силы рабочего класса! Вечером пятого декабря большевистская фракция собралась в училище Фидлера. Было чувство почти свободы. Я стоял на Чистых прудах и смотрел, как открыто, не прячась, идут большевики на конференцию. А на ней даже доклада не было — выступали представители заводских партийных организаций. И почти все — за политическую забастовку, за вооруженное восстание!

А на другой день на Мясницкой собрался Совет рабочих депутатов. И хотя народ там был разный, были и меньшевики, были и эсеры, но подавляющим большинством решили: с двенадцати часов следующего дня, значит, со среды седьмого декабря, объявить в Москве всеобщую политическую стачку и стремиться перевести ее в вооруженное восстание.

Даже распечатать решение не успели как следует, а уже к концу дня в среду в Москве бастовало больше ста тысяч человек. Все остановилось. Газеты не выходят. Только одна наша газета — «Известия Московского комитета рабочих депутатов». И в ней постановление Совета о всеобщей стачке и вооруженном восстании и все распоряжения — как настоящей власти! И приказы производить торговлю в булочных и мясных в твердые часы по обычным ценам, выпекать черный хлеб, продолжать подавать воду. Совет распоряжался, как настоящая власть! И у рабочих такое же настроение. В типографии

Мамонтова, в Леонтьевском, рабочие выстроились на улице, подняли красный флаг и двинулись прямо на Тверскую, а это значит — к самому дому генерал-губернатора, прямо в гости к Дубасову...

— Они были вооружены? — спросил Штернберг.

— Вот, дорогой товарищ,— вступил в рассказ Яковлева Емельян Степанович.— Вот здесь-то вы и спросили о главном. Демонстрация эта, да и другие, шла с одними знаменами. Ну, прямо как у Зимнего дворца девятого января! Только там хоругви, а здесь красные знамена.

Конечно, мы все знали постановление ЦК и готовились к восстанию. На заводах боевые группы создавали, оружие доставали всякими правдами и неправдами. Но к седьмому числу боеспособных дружинников было в Москве не больше тысячи. Ну, мы, конечно, понимали, что, как начнем восстание, к нам присоединятся еще тысячи. А вот чем их вооружать? На войска надеялись — их в городе было тогда тысяч четырнадцать. И были такие полки, что делегатов в Совет присылали, заявляли: не будем воевать с народом. Что у этих полков оружие взято начальством под надежную охрану, нам как-то в голову не приходило. Знали, что будет нелегкой борьба, но верили в себя. Крепко верили! Мало кто в народе представлял себе, что борьба пойдет не на жизнь, а на смерть... Кажется, можно было распознать, с кем дело имеем, а все равно расплылись от радости...

Рассказывают, что в Сытинской типографии, где печатался тогда первый номер нашей газеты — «Известия рабочих депутатов», — дружинники одного подозрительного типчика схватили. Обыскали — на тебе! При нем револьвер и удостоверение: агент охранного отделения... Ну отняли это всё, заперли его в конторку и начали обсуждать: что с охранником делать? А шпик кричит из конторки: не имеете, дескать, права со мной так обращаться, я такой же трудящийся, как вы, маленький служащий, отпустите меня, я, может, сам бастовать хочу!.. Видите, уже шпик стал сознательным! И что же вы думаете? Ну, подержали его в камерке, пока нашу газету не отпечатали, потом собрали митинг и обсуждают: что с этим охранником делать? И порешили: сфотографировать, чтобы понимал — личность его известна, отнять револьвер и отпустить на все четыре стороны. Вот ведь как... Чтобы в нас стрелять, они собраний не устраивали. Даже суд свой не собирали.

— Да,— мрачно сказал Николай.— Правду говорит Емельян Степанович. Понимать понимали, что вооруженное восстание не будет бескровным. И обсуждали в комитете и на заводах. Вслух читали питерскую «Новую жизнь», где черным по белому все было написано. Но показалось на какое-то время, что у властей от всеобщей стачки паралич

начался. Ночью, после заседания, пошли по городу — он как бы вымер. На Тверской ни одного огонька. Пусто. И ни одного городского. У генерал-губернаторского дома даже охраны не видно — наверное, попрятались в подъездах. А мы идем мимо и думаем: было бы нас побольше, тут их, голубчиков, и взять можно!

— Чем, Колечка, чем? — Варвара, молчавшая все время, впервые не выдержала.— Чем это можно было брать резиденцию адмирала Дубасова? Бульжниками? Двумя десятками «бульдогов»? Настоящего оружия у боевых дружин не было. Ночью дружинники взломали оружейный магазин Биткова на Большой Лубянке. Ну и что? Забрали двадцать пять револьверов, с десятков охотничьих карабинов. Даже патронов к ним не успели взять. Прискакали казаки, стали издали стрелять, дружинники разбежались... Какая-то идиотская уверенность, что мы будем разоружать полицию, то есть власть, а они на это все спокойно будут смотреть. А из Петербурга уже дали Дубасову приказ: ни в чем не стесняться. Семеновский полк стали готовить к карательной экспедиции...

— Про училище Фидлера слышали, вероятно? — продолжал Николай.— Об этом, наверное, и за границей писали. В училище собралось человек двести самого разного народа. Были там и дружинники, просто молодежь, санитарки, много было девушек.

— И удивительно! — Варвара снова не выдержала.— Удивительно, ведь были у Фидлера опытные дружинники, были там вооруженные люди, готовые бороться. И ни одного патруля на бульваре и в переулках! Ни одного разведчика! В училище идет собрание, а в это время войска совершенно спокойно и не торопясь окружают училище, подвозят артиллерию. Понимаете, пушки подвозят почти прямо к зданию — никто не тревожится! Ну, продолжай, продолжай, Коля...

— Ну, вот. Войска окружили училище, появляется полиция — заметьте, не армейские офицеры, а полиция! И предлагают всем находящимся в училище сдать. Даже не сдать, а, дескать, «мирно разойтись»... А в это время начальник дружинников подслушал разговор офицера с охранным отделением: оттуда дают команду — рубить всех, выходящих из здания... Ну, естественно, в училище решают не сдаваться. Дом каменный, стены толстые, двери солидные и просто в двери полиции не ворваться — знают, что в здании вооруженные дружинники. К зданию подъезжают пушки и открывают огонь... Стреляют в упор, прямой наводкой. В училище множество тяжелораненых, есть убитые, снаряды пробивают стены. Обстреливают окна из пулеметов, бьют по ним шрапнельными снарядами... Решили сдаваться. Вышли с белым флагом на переговоры. Офицер, командовавший войсками, дает честное

слово офицера, что никого не тронут. Честное слово офицера!.. Как только начали выходить из разрушенного дома, налетели драгуны. Рубят шашками лежащих на земле, стреляют в упор, не жалеют никого — ни женщин, ни подростков...

Вот тогда они и вошли во вкус... На другое утро привезли на Страстную площадь пушки и открыли стрельбу вверх по Тверской, по бульварам... У церкви, что в Палашевском переулке, поставили пулемет и кроют почти в упор по толпе, что бежит от артиллерийского огня. Солдаты пьяные, озверелые. Потом рассказывали: всех их напоили водкой, разрешили стрелять и убивать, сколько хотят... и кого хотят... А в другом конце города, на Пятницкой, драгуны окружили типографию Сытина и просто-напросто подожгли ее. Там печаталась наша газета, вот царское командование и догадалось, как с этим кончать. Сожгли огромную типографию.

У Штернберга уже не хватало его обычной выдержки.

— Но неужели вот так, безропотно, люди давали себя убивать? А баррикады? А восстание на Пресне?

Республика на Пресне

Яковлев немного помедлил с ответом на вопрос Штернберга.

— Видите ли, баррикады начали строиться по всей Москве, как только появились на улицах драгуны и казаки. Снимали ворота, калитки, ломали заборы, снимали тумбы для афиш, спиливали телеграфные столбы, в некоторых местах перегораживали улицу вагонами конки.

— А кто эти баррикады защищал?

— О господи!..— Варвара Яковлева опять не выдержала.— В этом-то и все дело! Многие их строили в какой-то глупой уверенности, что драгуны коней своих, что ли, пожалеют, как бы они ножки о баррикады не пobiли... И вообще, дались вам эти баррикады! Как будто можно деревянными воротами защититься от трехдюймовок! Баррикадами нельзя не только победить — ими нельзя и защититься!

Кустарщина! Дикая, наивная кустарщина! Никто по-серьезному не оценивал противника. Когда дело дошло до угрозы потерять свои имения, особняки, деньги, чины, звания, эти господа пустили в ход все, вплоть до морских двенадцатидюймовок! Они перестреляют и перевешают тысячи, как это они делали всегда и везде: в Париже в сорок восьмом, в семьдесят первом. И они всегда найдут своих Кавеньяков и Тьеров. Только у тех не было скорострельной артиллерии и пулеметов...

— Варвара! Что ты хочешь сказать? Может, по-твоему, не

надо было браться за оружие? Как предлагали кадеты: мирком да ладком... Что же надо было, по-твоему, делать?

— Драться.— За Варвару ответил Штернберг. Впервые за весь этот странный и страшный вечер он не спрашивал, а как бы отвечал на давно зревший в нем вопрос. Отвечал тихо, но с абсолютным убеждением, с таким, с каким излагал студентам теорию гравитации.— Когда дело доходит до драки, то надо драться по-серьезному. Конечно, не мне вас учить. Пока вы были здесь, я в Швейцарии да в Берлине в читальных залах сидел. И нет у меня права делать боевым товарищам замечания. Но в тех же залах читал ленинский «Пролетарий». И там говорилось о том, что партия должна создавать революционную армию. И нужно, пока не развернулись сражения, разрабатывать тактику революционной армии. Я так понимаю: речь идет не о полевой тактике, а о сражении в условиях города. И не об оборонительном сражении, а о наступательном! Наступать, используя преимущества, которых нет у войск: проходные дворы, лазейки через заборы, колодцы водопровода и канализации. Надо уметь исчезнуть перед более сильным противником, чтобы внезапно появиться в другом месте, там, где он и не ожидает... Восстание началось в декабре, а статьи об этой революционной тактике я читал уже в августе! Доходил же «Пролетарий» до Москвы!.. Ну, вы меня извините, что вмешался в ваш рассказ. У меня меньше других права давать советы. Как же началось восстание на Пресне?

— Нет никого, кто бы мог рассказать это лучше, чем Емельян Степанович! Он, как говорится, был штабным...

— Эх, молодые люди, шутки шуткуете! Штаб был, да войска для штаба было маловато. Дело не в баррикадах, а в том, кто и как за ними сражается. И ты, Варвара, не говори так в сердцах, не такие мы уж были глупые, чтобы за афишной тумбой от пуль прятаться. Мы и не прятались за баррикадами — наши стрелки стреляли из окон соседних домов, с крыш, из подъездов. Силы наши были неравные — вот в чем дело! Ведь еще до приезда семеновцев в Москве было тысяч пятнадцать солдат. Да еще тысячи полицейских. Правда, многих солдат держали в казармах — боялись, что мы их разагитируем. Все одно — оставалось много войска. А нас — тысячи две, не более. Это тех, у кого хоть какое оружие есть. Рабочего класса в Москве много, а все с голыми руками. На некоторых заводах стали сами шашки делать — ну, это так, от ярости, что ли... Не попрешься же с самодельной шашкой против винтовки...

Вся Москва покрылась баррикадами: Симоновка, Замоскворечье, Хамовники, Пресня наша,— везде баррикады. А центр в руках Дубасова. За день драгуны да жандармы баррикады разрушат и уберутся обратно в Манеж, а ночью

наши опять баррикады отстроят. А связи между районами нет. Через центр никого не пускают, всех обыскивают.

В городе ввели запрет с девяти вечера до семи утра появляться на улицах. Приказано все окна и фортки держать закрытыми. Чуть что — пли по ним без всякого предупреждения. На всех перекрестках патрули. Обыскивают, оружие ищут. Как только соберется кучка народу больше трех человек — приказано стрелять... А в это время по Николаевской уже идут один за другим поезда с пехотой, с кавалерией, с пушками.

— Но железнодорожники бастовали? И неужели нельзя было захватить Николаевский вокзал?

— Что вокзал! Мы понимали, что необходимо порвать железную дорогу от Петербурга. В Твери готовились мост подорвать — не удалось! К узловым станциям не подобрешся: окружены войсками. Остается Николаевский вокзал. Мы его два раза атаковали, хотели захватить, но где там! У них на вокзале да на товарной станции пять рот пехоты, сотня казаков, четыре пушки, два пулемета... А у нас если есть пять — десять ребят с маузерами, мы уже считаем — сила! Когда семеновцы пятнадцатого появились в Москве, в ней Дубасов был полным хозяином. А полковнику Мину досталось только расправляться... Ну, на это он оказался горазд. Вот только с нашей Пресней ему пришлось повозиться. С Пресненской республикой...

— Емельян Степанович, почему именно в Пресне были самые большие бои?

— Да так, знаете, получилось... Конечно, у нас на Пресне народ очень боевой, прямо скажем, отчаянный. На Прохоровке сколько тысяч людей, да еще на других фабриках... И опять же — мануфактурщики. А это значит — самый неимущий народ. На машиностроительных, в Симоновке или Замоскворечье рабочие все же получше живут. Слесаря-токаря — они получают поболее... А на Прохоровке — гроши! Живут в казармах, семьями, кругом такое!.. Вы нашу заставу знаете?

— Я пресненский, Емельян Степанович...

— Да, да! — Емельян Степанович внимательно взгляделся в Штернберга.

— Тогда и рассказывать вам не надобно, почему на Пресне рабочий народ такой отчаянный. Вот уж вправду, как у Маркса сказано, терять им нечего. И опять же — на Пресне ни одной казармы военной, нет войск. И вся наша Пресня из закоулков да переулков, широких да шикарных улиц нет вовсе. Мы в первые же дни и захватили всю Пресню. Полиция разбежалась, мы остались полными вроде хозяевами. Огородились баррикадами, на баррикадах по десятку дружинников, а внутри наша власть. Ей-богу! В Совет наш, рабочих депутатов, приходили, как к законному начальству: кому разрешение получить — выйти за баррикаду по делу, поехать куда;

другие с жалобами: на соседа, на лавочника. Лавки справно торгуют, чтобы там товар подорожал — ни-ни... Боялись они нас. Знаете, многие теперь говорят, что единственные спокойные дни у них были — это когда власть была в руках рабочих. И то сказать, ни одного грабежа, ни одного воровства. Воры да грабители первые сбежали с Пресни. Знали: поймают дружинники — тут же им и конец. К восстанию пресненцы готовились серьезно, знали мы: пощады нам ждать нельзя. Забаррикадировали все улицы, что в город вели. У главной, что около зоологического сада, бои были такие упорные — не один раз солдаты отступали! И пушка им не помогла! А когда казаки попробовали обойти баррикаду переулками, они в нашу засаду попали. Мы незаметно над самой землей протянули проволоку, а когда лошади у них споткнулись, огонь открыли из домов. Они после этого и не пробовали соваться в обход...

Ну, сил у нас еще прибавилось потому, что из других районов Москвы куда было дружинникам отступать? На Пресню! Из города пришла наша же шмитовская дружина — у них винчестеры да маузеры. У других больше всего револьверов было, а что это за оружие! Из них и целиться-то как следует нельзя.

Некоторые рабочие стали к браунингам приклады делать. Изготовят деревянный приклад, в него браунинг вставят и стреляют, как из ружья...

Конечно, дружинников в Москве было не триста человек, а, пожалуй, тысячи две. А может, и поболее того. Но я так считаю: боевые единицы — это те, у кого оружие есть и кто умеет им пользоваться. А таких немного. Что можно сделать одной храбростью? У нас такой случай вышел, это еще когда семеновцы не приехали... Двенадцатого числа, после того, как они стали артиллерией пользоваться и во вкус, значит, вошли, привезли к Ваганьковскому кладбищу две пушки и пошли гвоздить по Пресне. Ну, наши дружинники с маузерами этак незаметно, через могилки подползли к артиллеристам да и давай по ним!.. Солдаты — они храбрые по домам стрелять из пушек, а когда по ним лупят — это они не любят... Все разбежались. И понимаете, достаются нашим две целехонькие пушки. И снарядные ящики со снарядами. А делать с ними нечего... Ни один дружинник из пушки стрелять не умеет. Чего там стрелять! Даже повредить пушку, чтобы она больше не стреляла, и то не знают как! Солдаты лошадей увели, а дружинникам на себе пушки через кладбище не уволочь... Ах, если бы у нас хоть бы эти две пушки оказались!

К шестнадцатому числу царских войск в Москве было — завались! Накануне семеновцы прикатили, а шестнадцатого из Варшавы по Брестской дороге привезли 16-й Ладожский полк.

Ну, тут и своих, московских гренадеров стали пускать в дело. Пресню нашу окружили со всех сторон, очень старались они не упустить кого... Это подумать только: на один кусок города — столько войск! И то сказать: три колонны семеновцев начали наступать на нас со стороны Кудрина и заставы. Отбросили их наши, не смогли солдаты прорваться... Хотя мало нас было, но, если бы не ихняя артиллерия, они бы нас так быстро не взяли. Но вся их сила — в пушках да в том, что никакой совести!

Прежде чем штурмовать нас, они всю Пресню разбили из пушек. Пресня — она больше в низинах, кругом бугры да холмы. Вот там они свои пушки и расставили. На Кудринской площади, у Дорогомиловского моста, на Ходынке, у Ваганькова... Со всех сторон гвздят из орудий по домам, без всякого разбора, не целятся даже, знай себе лупи! Куда бы ни попали — везде дома, везде люди... Сначала загорелись бани на Большой Пресне, а потом дома на Средней Пресне, у заставы, у Горбатого моста, у фабрики Шмита... Пресня-то больше деревянная, горит, как свечка! Ночью зарево было такое, что в Дорогомиловке можно было читать, как днем... У нас, у дружинников, был наблюдательный пункт в обсерватории, что в Никольском переулке, там вышка такая, очень удобная, все с нее видно... Смотреть страшно! Вся Пресня горит, как Москва при Наполеоне!..

— А не мешали вам обсерваторские?

— Ну зачем же! Там народ свой. Студенты люди хорошие, рабочему человеку не враги... Нет, они всей душой. Да одной души, оказывается, мало. Еще и руки нужны. И чтобы в руках было чем драться... Эх, не расскажешь всего, что было! Дома горят, тушить некому, женщины с детьми в подвалы спрятались, да разве это крепость? Даст снаряд в какой-нибудь домик — и конец всем жителям, даром что в подвале спрятались. А потом, разве ребят удержишь? Они же ничего не боятся, не понимают, что происходит... Детей поубивало тогда!..

А Дубасов да Мин больше всего опасались, чтобы не выпустить никого из Пресни. Окружили ее так, чтобы мышь не проскочила. У Деятинского переулка да на всех каланчах пулеметы поставили и по каждому, кто покажется, — огонь... Вот когда они таким манером раздолбали всю Пресню, начали штурмовать нашу крепость... И тоже не просто им было. Очень сильно дрались у Горбатого моста, у заставы, на Большой Пресне. Войска стреляют издали, из трехлинейек. А мы из охотничьих да маузеров. Раненых у нас было много. А помощь какая? Студентки перевязывают, что в наших аптеках было — забрали на бинты. А помощь оказывают на улице. Дома кругом горят, дым глаза ест — ад форменный. Но это еще был

не ад. Вот когда семеновцы ворвались на Пресню, тогда настоящий ад и начался.

Емельян Степанович помолчал, он тер ладонью висок, как будто успокаивая какую-то внутреннюю боль. Оскар, упорно молчавший, курил папиросу за папиросой, время от времени он приподымал занавеску и смотрел в темный двор. Недвижно стояла у печи Варвара, облокотился на стол Николай. Емельян Степанович снова заговорил:

— Конечно, центром всего у нас на Пресне была Прохоровка. Там и штаб наш находился, там и Совет депутатский, там и больничку сделали, и в столовке дружинников кормили, оттуда наши ткачихи пищу на баррикады таскали,— там было наше главное. И понятно: семеновцы наступают, берут одну баррикаду за другой — куда нашим отступить? На Прохоровку! Мы, когда увидели, что война наша с царем идет к концу, дали приказ дружинникам — уходить с Пресни. Знали, что каждого, кого они с оружием возьмут,— прикончат! И почитай, все дружинники ушли. Это семеновцам думалось, что они Пресню заперли. Ну, а пресненцам пройти легче легкого. Тут родились, тут мальчонками играли, все лазы знают в заборах, все тропки в Тестовских огородах... Все ушли! С оружием ушли! Ни одного дружинника не захватили целехоньким, только одних раненых... Когда семеновцы Пресню заняли, в ней не было ни одного вооруженного боевика — все ушли! И никто семеновцам на Прохоровке не сопротивлялся! Они убивали только безоружных, только раненых. Убивали тех, кто никакого отношения к восстанию не имел, убивали так, для счета, кого легче было убивать... Гады!

Солдаты на спор стреляли, для смеха. Кто попадет в человека. В Грузинах солдаты стреляли во все стороны, так, без всякого прицела. Постреляют, постреляют, потом ружья в козлы — перекур. Перекурят, отдохнут от своей работы, опять разберут ружья — и стрелять... Из-за заборов высунутся детишки, дразнят солдат: «Не попал! Не попал!» — солдаты по ним. Те спрячутся, опять высунутся и снова: «Не попал! Не попал!» Вот с кем воевало православное воинство!

На Пресне семеновцы не только убивали — они и грабили, мерзавцы! Ходили по всем домам — дескать, оружие искали. Обыскивают женщин, требуют денег, а если не дают — а откуда их взять! — бьют посуду, последние подушки да перины распарывают и пух по ветру пускают... Небось ни в один богатый дом не заходили, обысков не чинили. Громили только бедняков, только те дома, где рабочие живут. Одни грабят, другие убивают.

А убивали больше на Прохоровке. Сам полковник Мин творил суд да расправу. Когда оцепили Прохоровку, в ней оставались из дружинников только раненые. А больше было не

дружинников, а так — случайных людей. Их всех на Прохоровку уволакивали, потому что там сделали вроде лазарета. И были там ткачи, какие никакого дела к баррикадам не имели, просто старые ткачи. И конечно, полно ткачих было. С детьми многие.

И вот является со своей свитой командир лейб-гвардии Семеновского полка полковник Мин и начинает над этими людьми творить расправу.

— Это что — полевой суд?

— Ну какой там суд! Для чего им время тратить? На Казанке другой полковник, Риман. Тот рабочих-железнодорожников прямо расстреливал на месте! Покажет на кого пальцем — взять и расстрелять! Берут и расстреливают! Так же и у нас на Прохоровке было. Приказал Мин всем построиться, ходит вдоль шеренги, смотрит да командует: «Налево! Направо!» Налево — значит на расстрел, а направо — сечь, бить, еще как...

— Но почему же! Без всего, без допросов, без суда! По каким же признакам этот палач решал, кого убивать, кого в живых оставлять?

— А зачем ему это? Для него весь рабочий класс виноват! Ну, а как весь его пострелять нельзя — на них же работаем! — так для острастки... А приметы для него любые годятся. Длинные волосы — значит, студент — налево! Белая папаха — кавказец — налево! Нос горбатый — жид, значит, — налево! Убивали за студенческую тужурку, за то, что у рабочего кисет красный, убивали за то, что на шее креста не было. Там кровь ручьем текла. Поставят к фабричной стене и стреляют. Кого ранят — штыком добьют... Ну, а тех, кого, значит, полковник Мин жаловал, в живых оставлял, — этих секли. Стариков, женщин секли шомполами, били прикладами, а некоторых шашками рубили — если слово поперек скажет!..

— Знаете, ловлю себя на мысли: эсерам иногда завидую, — вдруг сказал Николай Яковлев. Он был бледен той бледностью, которую дает неизбывная, не знающая себе выхода злость. — Понимаю всю никчемность индивидуального террора. Я социал-демократ без всяких сомнений, а не могу жить при мысли, что такой, как Мин, будет сидеть в офицерском клубе, пить водку и рассказывать, как он с Москвой расправлялся...

— Ну, убьют полковника Мина, наверное, убьют, мстители — они найдутся. И жалеть его не будем — нет такой смерти, какой он бы не заслужил... Так они, почитай, все такие! Ну, не Мин бы командовал семеновцами, а другой — то же самое бы сделал. Не в них дело, не в них...

— А в ком же? — Штернберг в упор смотрел на немолодого человека, рабочего, рассказывавшего об этом страшном так просто и так человечно.

— В нас дело. Только в нас самих. Не числом они сильны — нас все же поболее их. Но они знают, что хотят, а мы еще в разброде... И малограмотные мы в нашем деле. Я хочу сказать, в нашем революционном деле. Вот прошли мы сейчас школу, даже не школу, скажем, а целый университет — пятый год! Начали этот год девятого января у Зимнего дворца и кончили декабрем на Пресне. Неужто за целый такой год ничему не научимся?.. Вот вы, товарищ, по всему видать, ученый человек, — как вы считаете: должны мы научиться воевать с царем да буржуазией?

— Должны. Обязаны!

Сколько времени прошло, пока длился этот рассказ о том, чего не видел Штернберг? Ему казалось, что не часы, а долгие дни, недели — те самые недели, которые он провел в спокойном Берлине, пока здесь стреляли, резали, кололи, секли, грабили. И он за эти часы устал так, как будто сам прошел через эти бессонные, страшные дни и ночи восстания пресненских рабочих.

— Ну, прощайте, — сказал Емельян Степанович. — Не пропащий вечерок. Нового нашего товарища, значит, ввели в дело. Надо только, чтобы дело двигалось. А для этого нужно, чтобы каждый свое дело знал. Одним на людях работать, другим в подполье до поры до времени — словом, каждый пусть делает свое. Николай да Варвара передадут, товарищ, что и как... Ну, Оскар, иди вперед, как ты есть разведчик.

Оскар, так и не проронивший за весь вечер ни слова, оторвался от окна, надел драповое пальтишко, ватный картуз и вышел за дверь. Вслед за ним вышел и Емельян Степанович.

Наступившее долгое молчание прервала Варвара:

— Павел Карлович! Как вы, наверное, понимаете, Емельян Степанович — комитетский. Мы с ним обсуждали вопрос о вашей деятельности в партии. Надобно использовать то, что вас не было в Москве, что никому — не только охранке, но даже внутри партии — не известно, что вы — наш... Коля уже передал вам кое-что из партийных дел. Наверное, и дальше обсерватория будет самым надежным местом для партийных тайников. Но для этого необходимо, чтобы вы были вне всяких подозрений. Не делайте, ради бога, такого грозного лица, тут не экзамены университетские.

Я понимаю, что вам не хочется ходить в маске университетского чиновника. Но дело есть дело. Значит, ни с кем из партийных, кроме нас, вы не знаете, не вступаете ни в какие отношения. Ну, а мы с Николаем ваши давние ученики, а вы человек аполитичный, и поэтому вам, естественно, безразлично, социал-демократы мы или эти новенькие — конституционно-демократические, кадеты... Вот так и будем играть

в кошки-мышки. А теперь пора вам домой, Павел Карлович, очень поздно. Хотя уже не постреливают на улицах и разрешили ходить после девяти вечера, но все же беспокойно в Москве. А уж на нашей Пресне особенно. Коля вас проводит. Спокойной ночи! Как хорошо, что вы уже здесь, с нами!

...Они шли молча. Изредка Яковлев подсказывал Штернбергу, где обойти разбитый тротуар или еще не убранную каменную тумбу. Ни один фонарь не горел на Средней Пресненской. Снег покрыл развалины сгоревших домов, но все еще висел в морозном воздухе этот запах гари, запах пожарища и беды, каким его сегодня встретила Москва. Потом Яковлев заговорил:

— Павел Карлович, я сегодня пришел в обсерваторию по исключительной причине. И не назвался своим именем. Больше постараюсь не появляться, а если что — то буду Василием Ивановичем. А к нам вы приходите, как приходили раньше. Это никому не бросится в глаза. Только стоит подождать несколько дней.

Сила притяжения

Все последующие дни были для Штернберга наполнены мучительными делами. Мучительное в них было то, что они были обычными. Писал отчет для ректора; рассказывал Витольду Карловичу Цераскому подробности работы швейцарских и немецких обсерваторий; проверял, соответствует ли содержимое привезенных им ящиков накладным; монтировал аппаратуру; проверял отчеты лаборантов и ассистентов.

Старался поменьше встречаться с коллегами. Его поражало, что они при встрече начинали оживленно его расспрашивать о том, что он видел в германских университетах. Это они-то, которые насмотрелись такого, о чем всегда помнить будут!.. Уклонился по болезни от участия в праздновании татьянинного дня — двенадцатого января: ведь придется сидеть около Лейста и тот — красный, довольный — будет ему петь на ухо резким, неприятным голосом фривольные немецкие песни дерптских студентов...

В обсерватории ему рассказывали о декабрьских страшных днях все — от Цераского до старика сторожа у ворот.

Однажды он выходил из обсерватории и увидел у ворот незнакомого старого человека, разговаривавшего со сторожем Степаном. Старик что-то говорил Степану, из глаз его текли слезы, он осторожно вытирал их рукавом. Наверное, рассказывает про свою беду: близких убили, самого с работы выгнали, бездомный... Штернберг подошел к собеседникам.

— Дедушка, беда у вас какая?

— Беда. Беда, барин...

— Может, помочь чем?

— Нет, милый господин, не поможете вы нашей беде. Пушки нам нужны.

— Что? Что такое? Какие пушки?

— Обыкновенные, железные. Из каких стреляли по нас. Не за то, старый, плачу, что поубивали, пограбили, с работы повыгоняли, а с того, что как телят на бойне резали... У них пушки, а у нас — шиш в кармане. Пушки нам, барин, нужны! Вот тогда и перестанем мы для них навозом быть. Только тогда может получиться у нас разговор. А без пушек мы супротив них... — Он махнул рукой.

Штернберг хлопнул калиткой и вышел в переулочек. Рабочий, плачущий от того, что пушек у них не было, как-то высветил все смутные мысли, не оставлявшие его в эти дни. Он прав, драться надо умеючи. Всерьез. Этот старик умнее и дальновиднее всех говорунов. Нужны пушки, нужны люди, умеющие с ними обращаться, нужна военная техника и люди грамотные в военно-техническом отношении. Нужно готовиться к боям всерьез, профессионально. Всякий дилетантизм в революции оказывается столь же бесплодным и даже вредным, как и в науке.

Однажды в конце января Штернберг шел в университет, шел, как всегда, пешком. На Большой Пресненской, неподалеку от зоологического сада, увидел идущего навстречу Николая Яковлева. С ним был высокий, старомосковского вида господин средних лет, с небольшой бородкой. Он что-то рассказывал идущему рядом человеку небольшого роста, плотному, с круглым, немного скуластым лицом, в барашковой шапке, из-под которой виден был высокий лоб. Штернберг, конечно, понимал, что останавливать Николая не следует, но смешно и делать вид, что не знаком с ним... Хороший знакомый, его студент, да тут на Пресне каждый об этом знает! А Николай — ах, ну молодой же все-таки, мальчишка! — делает каменное лицо, словно чужой, незнакомый человек. Несмотря на этот маневр, Штернберг, проходя мимо Яковлева, слегка, по-профессорски, кивнул ему головой. Николаю ничего не оставалось делать, как сорвать с головы шапку и раскланяться.

Через несколько дней Штернберга остановил сторож Степан:

— Тут к вам, Павел Карлович, приходил молодой человек, студент, надобьсь... Василием Ивановичем, говорит, зовут. Я сказал, что вы в университете изволите быть.

Ага!.. Вечером Штернберг был в теплом и уютном доме Яковлевых. Посторонних никого не было, мать Вари и Коли,

Анна Ивановна, напекла своих знаменитых пирогов с грибами, в доме пахло сдобным тестом, теплом обжитого дома.

Варвара и Николай встретили Штернберга еще радостнее обычного, помогли ему раздеться, провели в гостиную. Штернберг снова — уж в который раз! — почувствовал, как ему хорошо, как свободно дышится в этом доме. Он потер руки, сел за рояль, открыл крышку, пробежался по клавишам, заиграл свою любимую, шумановский карнавал... Прервал, захлопнул крышку и обернулся к Николаю:

— Великий конспиратор! Еще называется моим учителем по революции! Ну чего вы такое идиотское лицо сделали: чур, мы с вами незнакомы! Если бы кто-нибудь из наших общих знакомых был тут же, вот удивился бы: какой этот Яковлев невежа — со своим хорошим знакомым, старым, почтенным человеком, почти профессором, и не здороваются... С чего это он? Это называется у вас конспирацией?

— Павел Карлович, — смеясь, оправдывался Николай. — И действительно глуповато получилось! Но это потому, что уж очень у меня ответственная роль была.

— Партийное начальство сопровождали?

— Правильно!

— Я этого, высокого, по-моему, где-то встречал.

— Конечно, встречали. В Политехническом, на общедоступных лекциях. Это Иван Иванович Скворцов — литератор, старый и очень опытный наш товарищ.

— А вот второго, небольшого и плотного господина, ~~ни~~ когда, по-моему, и не видел. Слушайте, друзья, он, по-моему, и есть главный, а?

— Павел Карлович, ну как же вы догадались?

— Гравитация моя специальность, господа! Я сразу же определяю силу тяжести, а следовательно, и силу притяжения каждого. Вот этот невысокий человек и есть центр притяжения. Не из-за хорошо же всем известного Ивана Ивановича Скворцова вы, Коля, старались не узнать меня?

— Правильно, Павел Карлович, — серьезно ответил Николай. — Не из-за него, а из-за второго. И вам, конечно, могу сказать о том, кто это был. Ленин.

— Ленин!

— Да, Ленин. Владимир Ильич Ульянов, как вы, наверное, знаете. Ленин был здесь несколько дней. Для нас всех это очень большое событие. Конечно, я не член комитета, в разговорах с Лениным сам не участвовал, один только раз сопровождал его, по просьбе Ивана Ивановича. Как пресненец, показывал Владимиру Ильичу место боев в прошлом месяце. Но приезд Ленина многое, очень многое для нас прояснил...

— А вот мне несколько дней назад все объяснил один

совершенно мне незнакомый человек, старик, рабочий, очевидно с Прохоровской.

Штернберг, медленно потирая руки, как это он делал во время лекций, стал рассказывать о своем разговоре с собеседником сторожа обсерватории:

— И я подумал: как он прав! Насколько он яснее все понимает, нежели многие, претендующие на исчерпывающее знание марксизма... Я, как и вы, наверное, не знаю еще количества жертв...

— Нет, в общем-то, известно,— сказала Варвара.— По официальным сведениям из сорока семи лечебниц — убито тысяча пятьдесят девять человек. Из них сто тридцать семь женщин и восемьдесят шесть детей, даже грудные... Но эти сведения очень далеки от истины. В больницах во время боев запрещали принимать раненых, тем более убитых. Некоторых уносили близкие, товарищи. А много трупов увозили в полицейские участки — их потом отправляли куда-то по железной дороге подальше от Москвы и хоронили в безымянных могилах... Рассказывают, что в участках, в задних дворах трупы лежали штабелями — как дрова. Многие с отрубленными головами, руками... И среди них дети!..

— О господи! — Штернберг охватил голову руками.— И неужели это повторится?

— Почему повторится? Про что вы, Павел Карлович?

— Так революция же не закончена! Все впереди. Через пять, десять, пятнадцать лет, но революция неизбежна. Значит, все повторять заново? Баррикады из афишных тумб, браунинги с самодельными прикладами... А они с пушками да пулеметами! А потом — безымянные братские могилы где-то за городом?

— Что же вы предлагаете, Павел Карлович? — Варвара своими огромными глазами внимательно, как бы впервые, смотрела на Штернберга.

— А то, что уже было предложено большевиками. Войну. Наши правители хотят, чтобы в крайнем случае в стране был бунт, мятеж, восстание — они любят так называть это. Нет, война нужна. Самая настоящая война! И чтобы этой войной руководили опытные и знающие войну люди, чтобы в ней участвовали те, кто может стрелять из пушек и пулеметов, взрывать мосты, минировать железные дороги. И делать это все не кустарно, не так, как делали народовольцы, а профессионально... Мне тут рассказывали, что на Кудринке была лаборатория, так она за все время своей работы изготовила десять бомб и пять фунтов динамита... Нам что, одного полковника надо хлопнуть или же заставить Семеновский полк отступить?

— Значит, войну предлагаете, дорогой профессор? — Варвара Яковлева смотрела на немолодого астронома так задум-

чиво, так испытующе, как смотрит на молодого абитуриента старый и опытный экзаменатор.— Предлагаете, значит, братоубийственную, гражданскую войну, такую, какой не было на Руси со Смутного времени...

— Плохо вас учат истории на ваших Высших женских... Булавин и Пугачев были на Руси после Смутного времени. И чего так бояться этих слов — «гражданская война»? Она уже объявлена, она идет... И не мы ее начали, а те, кто подослал воевать с русским народом генералов Ренненкампа и Меллера-Закомельского, полковника Мина и Римана...

— Вам бы не астрономию преподавать...

— Астрономия этому делу не помеха. Наоборот. Еще может наступить время, когда астрономам придется рассчитывать наводку артиллерии...

— Кажется, у пушек для этого есть специальные приборы, и артиллеристы обходятся без помощи профессоров астрономии,— смеясь, вставил Николай.

— Есть. А если их господа офицеры сопрут? Офицер без панорамы пушку на дальнюю цель не наведет, даже если он училище окончил. А я — я наведу!

— Да вот беда — профессоров астрономии у большевиков как-то не очень много!.. Я пока одного только и знаю...

— Вы, Колечка, не смейтесь. На то и профессора, чтобы учить других. Я не знаю, какую мне роль комитет отводит, но думаю, что не в сторожа при кладовке надо меня превращать, а поручить нечто более деятельное. Необходимо готовиться к будущей войне серьезно. И массы завоевывать, и готовить для них командиров. Училищ да академий генерального штаба открыть не сумеем, но что-нибудь вроде надобно.

— Правильно, господин профессор!

— Не профессор, господин Яковлев, не профессор. Только приват-доцент!

— Ничего, будете профессором, Павел Карлович! Еще дослужитесь до действительного статского. Вот смеху будет: большевик и — ваше превосходительство!.. А ведь он, ну, как вы сказали, «центр притяжения», он так и сказал: «Это была генеральная репетиция, надо всерьез готовиться к настоящему бою!»

Рокадные дороги

Да, надо жить дальше. Обучать студентов астрономии. Внушать юношам, что астроном занимается не только тем, что смотрит в большую трубу, как это изображают на рисунках и карикатурах. Работа астронома — это и щелканье кассет, и многочасовое рассматривание негативов, и кропотливое сли-

чение одного негатива с другим, третьим, сто двадцать седьмым, тысячным... Штернберг — с его дотошностью, аккуратностью, профессорской медлительностью и степенностью — всегда выглядел идеальным астрономом. Меньше трех лет назад, в октябре 1903 года, он защитил магистерскую диссертацию на тему «Широта Московской обсерватории в связи с движением полюсов». Работа была очень специальной, сложной и выполнена безукоризненно. Сейчас, почти через три года, ему вручили за эту работу золотую медаль. Штернберг почтительно ее принимал, с достоинством раскланивался, учтиво благодарил и выпренне говорил о величии науки. Все как положено!

И нельзя сказать, что он, занимаясь наукой, притворялся. Науку Штернберг любил горячо, искренне. Он сейчас занимался гравитацией, его эта загадочная отрасль астрономии и физики очень занимала. Московская гравиметрическая аномалия требовала большой полевой работы. Предстояло сделать гравиметрический разрез, проходящий через Москву и ее окрестности. Штернберг не знал, что в будущем этот разрез получит название «разрез Штернберга», войдет в учебники и специальные работы. Разрез проходил через Пресню, центр города, Нескучный сад, имение князей Долгоруковых Узкое, через Подольск.

Все надо было. Заниматься этой работой, преподавать в гимназии, зарабатывать деньги. У него была ответственность перед семьей, он привык к постоянному и нелегкому труду, не боялся его, считал естественным. Еще какой-нибудь год назад он бы считал, что делает все, чего от него требуют его убеждения и характер. Сейчас ему всего этого было мало, так мало! Штернберг ничем не показывал, как тяготится он пассивной ролью, отведенной ему в партии комитетом... Пока что он действительно ограничивался скромной ролью «кладовщика», как он иногда в сердцах говорил Варваре Яковлевой.

Обсерватория и вправду была идеальной «кладовкой» для московских большевиков. В стеллажах среди многих тысяч негативов незаметно укладывалась литература, партийные документы, в подвалах, в надежных тайниках хранилось оружие, оставшееся от дружинников; обсерватория была перевалочным пунктом не только партийной литературы, но и партийной переписки. Московская обсерватория переписывалась со многими зарубежными обсерваториями и научными институтами. Ежедневно почта приносила пакеты и конверты, обклеенные разноцветными марками государств Европы и Америки. А так как содержимое их — эти длинные столбцы цифр и расчетов — было понятно наблюдателям обсерватории на Никольском, а не наблюдателям в Гнездиновском, где находилось московское охранное отделение, то очень удобно было пересылать через обсерваторию документы, написанные партийным

шифром... Штернберг эту работу наладил со всей астрономической точностью и скрупулезностью.

Но всего этого ему было мало. Просто мало.

Слушая рассказы Яковлевых о выступлении Ленина в Москве перед активом организации, о платформе большевиков перед съездом, о том, что готовится городская партийная конференция, Штернберг иногда не выдерживал и невесело спрашивал:

— А что же делать пассивным партийцам? И неужели Ленин учит вас тому, чтобы в партии были пассивные члены? Насколько я знаю из партийной литературы, именно в этом вопросе Ленин и разошелся с Мартовым...

— Да будет вам, Павел Карлович! — весело отвечал ему Николай. — Дай бог побольше иметь таких пассивных членов партии, как вы. Ну что же делать, если ваша работа связана с необходимостью тщательной конспирации? Ведь вы находитесь в самом глубоком и надежном подполье — среди звезд...

— Хватит вам, Коля, острить...

— Ей-богу! И не мне же вам рассказывать о том, что передышка может окончиться в любой момент. Как только правительство очухается, оно начнет закручивать винт... А тогда ваша деятельность для партии станет незаменимой. Нет, нет, не к лицу вам, Павел Карлович, разводить слезливое уныние. И мы уже решили, что при слиянии московских партийных групп мы вас меньшевикам не откроем. Сидите в большевистском подполье. Сидите и помалкивайте. Вот так!

Однажды Николай Яковлев встретил Штернберга с почти-тально-веселой физиономией.

— О, как вы вовремя, господин профессор! Попрошу вас присесть, уважаемый Павел Карлович. Мне предстоит удовольствие поговорить с вами, мой многоуважаемый учитель.

— Благодарю вас, любезный Николай Николаевич, — ответил ему в тон Штернберг, — мне всегда небезынтересно послушать, о чем может поведать старому и отсталому человеку такой передовой и сознательный студент, как вы.

— Значит, так, дорогой учитель! Как вы думаете, чем сейчас занимается студент физмата Яковлев?

— Ну, очевидно...

— И ничегошеньки подобного! Занимаюсь я изучением преимущества «парабеллума» перед «смит-вессоном», а также проблемой использования патронов от американских карабинов «ремингтон» в других типах оружия. А кроме того, поручено некоторым аполитичным лицам, почтеннейшим профессорам,

некие довольно опасные и противозаконные деяния, кои по своду законов Российской империи подлежат...

— Да ладно, Колечка! Хватит вам изгиляться передо мною. Давайте рассказывайте всерьез!

— Вы знаете, что такое рокадные дороги?

— Кто из нас профессор и кто студент, черт возьми! И кто из нас больший специалист по геодезии и картографии?! Насколько мне известно, рокадные дороги строятся с таким расчетом, чтобы войска двигались по ним к основной стратегической магистрали...

— Ну, прямо хоть пятерку ставь вам, Павел Карлович! Так вот, нам с вами поручено эти рокадные дороги создавать!

— А если без военно-поэтических метафор, молодой человек!

— А если без, то Московский комитет решил создать военно-техническое бюро. Оно займется глубоко законспирированной подготовкой к будущему восстанию. Чтобы, как вы об этом горячо говорили, будущее восстание было не бунтом, не мятежом, а настоящей и организованной войной. Мне и другим товарищам поручено заниматься сбором, сортировкой и сохранением оружия. К этому делу вы прямого отношения иметь не должны. А от вас требуется дело гораздо более деликатное, так сказать, научного свойства, почти чисто профессорское. Надо подготовить военно-тактическую карту Москвы. Чтобы она дала нам представление о сильных и слабых сторонах противника, о его расположении, о наилучших путях наступления и отступления. Понимаете, Павел Карлович, это дело деликатное и опасное, нам очень не хочется рисковать вами — я это говорю не из личных и понятных вам чувств, а из партийных соображений. Но никто, кроме вас, этим заняться не может.

Рокадные дороги! Хорошо, он готов работать на любых дорогах, любых тропинках, ведущих к цели! Штернберг возвращался домой весь полный тем новым, что ему предстояло. Он-то больше Николая понимал всю сложность задачи. И ее сложность состояла не только в самом деле, но и в необходимости соблюсти абсолютную секретность. Абсолютная секретность, часто говорил сам Штернберг, это тогда, когда секрет знает только один человек... А тут к очень важному секрету предстояло привлечь не одного, а десяток, а то и больше людей. И не только членов партии, а совсем молодых людей, своих же студентов.

Суровая внешность и экзаменаторская строгость не отпугивали студентов от Штернберга. Они любили в своем учителе простоту и непосредственность, умение делать самую черную

работу — копать землю, класть кирпичи,— веселье, с которым он это делал. На теодолитных съемках, на гравиметрических полевых работах Штернберг был первым, кто разбивал палатку, разводил костер, с хохотом спасался от внезапно начавшегося ливня. И они любили, когда во время отдыха или вынужденного перерыва Штернберг начинал свои «астрономические рассказы», как он их называл. Впрочем, ничего небесного и даже астрономического не было в них. Штернберг присматривался к этим молодым людям, отыскивая в них качества, какими, по его убеждению, должен располагать настоящий ученый. И прежде всего — бесконечное терпение, неисправимый оптимизм, способность не теряться от неудач. Он любил рассказывать новичкам историю их профессора, директора Московской обсерватории.

— Ах, чего не бывает в нашем астрономическом деле, господа! Вы же хорошо знаете нашего директора, Витольда Карловича. Это пример настоящего большого ученого, для которого, кроме науки, ничего на свете не существует! Таким он стал не сейчас, таким он был в молодости, еще начинающим астрономом.

Так вот, в декабре 1874 года предстояло весьма и весьма редкое явление — прохождение Венеры по диску Солнца. Для астрономов такое событие — событие необыкновенное, к которому готовятся чуть ли за год-два. По расчетам выходило, что на территории России наилучшим пунктом наблюдения является Кяхта. А это где-то в тартарары, в Забайкалье, на самой границе с Китаем. А тогда еще Сибирской железной дороги в помине не было, добираться надобно было караванными путями, по которым чай доставляли из Китая. Уже глубокая осень, грязюка немислимая, надо везти с собой точные приборы, продовольствие, всякие дорожные вещи. Это почти то же самое, что Ливингстону в Африку трогаться!

Кому ехать? В обсерватории работают только два астронома: Бредихин — директор — и только что приступивший к работе астроном-наблюдатель Цераский. Ну, не Федору Александровичу же уезжать на полгода! Значит, ехать Цераскому. И вот нашему Витольду Карловичу, с его брезгливостью ко всему грязному, грубому,— ему ехать с пьяными казаками, вороватыми ямщиками, ночевать на холодных станциях, среди клопов и вшей. И поехал! Да еще специально для наблюдения купил за границей дорогой фотогелиограф, дрожит за него, сам перегружает с подводы на подводу.

Витольд Карлович потом рассказывал, что ехал как в страшном сне! Добрался до Кяхты полуживой. В Кяхте нанял помещение, выбрал места наблюдений, монтировал приборы — все самому приходилось делать. Наступил, наконец, момент прохождения Венеры. Небо как вата! Не только Венере — Со-

лицу не пробиться сквозь подобную облачность!.. Все муки оказались зря!.. И надо было демонтировать приборы и назад двигаться тем же манером. Представляете себе, господа, самочувствие человека? Да еще такого гонористого и самолюбивого, как наш Витольд Карлович?! И — ничего! Потому что Цераский — настоящий ученый, а не карьерист, не из тех, кто в науке ищет только одни жизненные успехи. Вернулся ни с чем в Москву, вернулся тощий и страшный. Что вы говорите? Бедная жена? Нет, господа, ученому и жену надо себе уметь выбрать! Чтобы была терпеливая, уважала дело своего мужа, не считала часы или дни, которые муж проводит за приборами или расчетами. Ну, а Витольду Карловичу на этот счет особо повезло. Лидия Петровна, как вам, молодым и будущим астрономам, должно быть известно, — помощница мужу не только в земных, но и небесных делах. Она наравне с профессиональными и опытными астрономами ведет наблюдение за переменными звездами. И представьте себе, открыла более полутораста переменных звезд! Сама!

...Цераский восторженно откликнулся на предложение своего помощника организовать картографическую съемку Москвы. Во-первых, прекрасная практика по геодезии для студентов! Потом, можно утереть нос этим купчикам из городской думы: университет без всякой оплаты делает для города настоящую новейшую карту! И пусть они знают, что астрономия — не абстрактная материя, не имеющая отношения к практике, а полезная и очень нужная наука. А то эти толстосумы жалеют несколько тысяч для обсерватории...

Значит, теодолитная съемка города! Штернберг представил смету — очень корректную. Будут принимать участие в работе всего человек пятнадцать. Из них шесть — восемь студентов, остальные рабочие: таскать теодолиты, копать ямы для мерных столбов и наблюдательных вышек.

Недаром Штернберг всегда ставил в пример студентам настойчивый и упрямый характер директора обсерватории. Цераский добился всего: разрешения совета университета и городской думы на производство теодолитных работ и даже указания градоначальника барона Медема всем полицейским участкам об оказании помощи господам из университета, производящим теодолитные съемки.

Лето было палящее, пыльное, город стал полупустым: купцы, чиновники, кто только мог, сбежали на дачи. Съемки начинались рано утром, когда еще было относительно прохладно. С самого начала Штернберг объяснил участникам работы задачу съёмочной группы: предстояло создать такой точный план города, который мог бы послужить помощью при всех строительных работах, прокладке водопровода, газовых труб, канализации, телеграфа и телефона. В недалеком буду-

шем все телефонные и телеграфные провода с улиц уберут под землю, и надо, чтобы план мог помочь этой работе. Следовательно, особо точно следует наметить возможные места прокладки траншей для телеграфа и телефона у всех казенных мест: канцелярий, духовных и общественных учреждений, воинских казарм, полицейских участков, тюрем, военных училищ.

Студентов и рабочих не смущало, что вместе с ними был и Штернберг. Они знали, что он всегда участвовал в экспедициях, поэтому естественно было видеть профессора вместе с ними. Он показывал, где устанавливать теодолиты и рейки, где тянуть мерную линейку, сам носил карту и отмечал на ней все, что делала группа.

Они возились со своей аппаратурой около центральной телефонной станции на Кузнецком мосту, канцелярии градоначальника на Тверском бульваре, жандармского управления на Малой Никитской, охранного отделения в Гнездниковском... И у Таганского тюремного замка в Малых Каменщиках, и на Долгоруковской у старинной Бутырской пересыльной тюрьмы.

Студенты и рабочие привыкли к дотошливости своего профессора, к тому, что он мог их по несколько раз заставлять переделывать одно и то же. Почему-то Штернберг был особенно придирчив, когда производили теодолитную съемку у воинских казарм: Покровских у Яузских ворот, Александровских у Серпуховской заставы, Спасских на Садовой, Хамовнических в Старых Хамовниках, Красных за Яузой. В Каретном ряду, где были расположены Петровские казармы жандармского дивизиона, Штернберг чуть ли не пять раз заставлял перемеривать расстояние между теодолитными точками.

И так же придирчив был он при съемке Знаменки, где помещалось Александровское военное училище, и Красноказарменной с Алексеевским военным училищем, много раз промеривался Кадетский плац, где огромным квадратом расположились кадетские корпуса.

Никто не мешал студентам. Войска, юнкера и кадеты находились в лагерях, казармы и училища были пусты, одни лишь дежурные дневальные с интересом разглядывали занятые инструменты, рабочих, стоящих с высокими мерными рейками, студентов, заглядывавших в глазок прибора. Они охотно пускали теодолитчиков на обширные дворы и даже словоохотливо объясняли, куда какая дверь в казарме ведет.

Полицейские были предупредительно вежливы и помогали студентам. Когда производились съемки около третьего участка Пресненской части в Большом Тишинском переулке, городские не только вызывались таскать теодолиты, но и растягивали по земле металлическую линейку, останавливали проезжающих

извозчиков. Один любопытствующий городской не выдержал, подошел к студенту, работающему у теодолита, и заискивающе попросил:

— Господин студент, разрешите полюбопытствовать, взглянуть, что же там такое видно?

Студент гадливо отшатнулся.

— Господин Потехин! — крикнул Штернберг. — Покажите полицейскому чину, как работают с теодолитом, и объясните ему, что наблюдающий видит в окуляре...

Позвал потом к себе Потехина и спросил:

— Вы что, Потехин? Почему это так демонстративно и с пренебрежением относитесь к полицейским?

— Ах, Павел Карлович, Павел Карлович!.. В этом самом третьем участке моего земляка, Кардина из юридического, били сапожищами в лицо, в пах, в живот, били, мерзавцы, до полусмерти — беззащитного, одного... А теперь они, видите ли, интересуются наукой, и я им еще должен объяснять...

— И должны! И должны улыбаться, быть любезным. Они нам помогают, да еще как помогают! Когда-нибудь еще добром вспомним этих субъектов с оранжевыми шнурами. Да-с. Профессионалу надлежит быть спокойным, выдержанным. А вы, Потехин, профессиональным делом занимаетесь!

Совсем непонятым казался интерес Штернберга к таким обычным и скучным вещам, как городские тупики, проходные дворы, заборы между дворами, сады, которых в Москве было множество. Штернберг серьезно, сердясь, что такие у него непонимающие ученики, объяснял:

— Ну как же вы не понимаете! Город будет расти. Расти он станет, в первую очередь, за счет дворов, которых в Москве больше, чем в каком-нибудь уездном городе, за счет садов. Конечно, это прекрасно, когда под окном соловей поет и яблоки наливаются, но надо учитывать, господа, железные законы развития города. Потребуется, а у нас, на нашей карте, все уже есть, все намечено! Я же вам говорю, что это будет единственная в своем роде карта!..

Да, карта должна была получиться действительно единственной в своем роде! Все черновые материалы топографических и теодолитных съемок Штернберг забирал и уносил домой. А был ли этот дом совершенно надежным? Яковлевы — и Николай, и более осторожная Варвара — уверяли его, что сам он выше всяких подозрений, ибо со стороны выглядит как аполитичная до полного комизма фигура ученого. Но все ли так думают?

Еще в прошлом, 1906 году, в августе, он, приехав с дачи, застал в своей квартире следы ограбления. Замок был взломан, содержимое шкафов и сундуков вытащено, разбросано по полу.

И взломан письменный стол, и выброшено на пол содержимое всех его ящиков. Ну, особо ценного в квартире Штернберга и не было, свои фамильные побрякушки и столовое серебро Вера Леонидовна забирала с собой на дачу, но воры и тем, что осталось, не попользовались. Обсерваторцы считали, что тут действовали воры-профессионалы, которые искали деньги, драгоценности и пренебрегали всякими салопами да шубами. А Штернбергу казалась подозрительной вся эта история, он полагал, что в этом деле участвовали действительно профессионалы, только не с Хитрова рынка, а из Гнезниковского переулка. Но он ни с кем не поделился своими сомнениями, тем более что в квартире не было ничего, его компрометирующего. Материалы съемки он убирал в огромную папку геодезических работ, производимых студентами во время обычных практических занятий. Папок этих было много, лежали они на виду и никого не могли заинтересовать. Но по мере того как шли к концу теодолитные съемки, Штернберг задумывался над дальнейшим.

Гопис

— Коля, вы знаете, что такое камеральные работы?

— ?

— Студентом называется, науку изучает!.. Камеральными работами, голубчик, называется обработка предварительно собранных, сырых еще материалов. То, что мы делали, все практические работы студентов, за кои вашему покорному слуге вынесена благодарность самим попечителем учебного округа,— все это только предварительная работа. Теперь из этого сырья надо приготовить военно-тактические карты, вернее, военно-тактические карты всех районов Москвы. Речь идет о том, чтобы по этой карте можно было вести бои с войсками правительства. На ней будут показаны наилучшие места для строительства баррикад, пути незаметного проникновения в тылы противника, места и способы, где легче всего прервать телеграфную и телефонную связь между правительственными учреждениями, жандармерией, охранкой, войсками и полицией. Словом, эта карта должна составляться не только мною, но еще и людьми, которые думают о технике восстания. Я полководец довольно кабинетный, студентов-партийцев к этому делу привлечь бессмысленно, если они неопытны. Надо об этом подумать. Было бы идиотизмом, чтобы пропала такая ценная работа.

— Да что вы, Павел Карлович! Я-то полагаю, что теодолитные съемки — самое главное в деятельности нашего военно-технического бюро. Но вы правы, здесь вам нужен помощник

очень опытный, очень деловой. Павел Карлович, слышали вы такую фамилию — Гопиус?

— Гопиус? Да, слышал. Фамилия такая редкая, что сразу же запоминается. По-моему, в нашем университете есть такой человек.

— Правильно, есть. Евгений Александрович Гопиус работает лаборантом у Петра Николаевича Лебедева. Любопытный, знаете, человек! Химик по образованию, и хороший, говорят, химик. А химию свою бросил и пошел работать лаборантом в Физический институт университета. Увлечен разными идеями создания эффективного оружия для восстания, вообще очень интересуется тактикой уличных боев. Я с ним несколько раз об этом разговаривал. Интересный человек! Очень занятная личность!

— Партиец?

— Представьте себе, нет. Не входит ни в какую партийную организацию. Насколько он ясно мыслит в практических делах революции, настолько же запутан в теории... Считает себя социал-демократом, но с таким максималистским, чуть ли не анархистским уклончиком. По-моему, втайне мечтал бы примирить Маркса с Бакуниным. Моя Варвара, с обычной своей нетерпимостью, относится к нему за это с презрением. А по-моему, не стоит. Человек он надежный из надежнейших, я ему готов доверить любые секретнейшие дела. Далек от всяких партийных дискуссий, от комитетских заседаний, от собраний, распространения литературы... Как большевик и вообще как социал-демократ у охраны, наверное, не числится. Ваш университетский коллега, встречи его с вами естественны, вне подозрений. По-моему, очень для нашего дела подходящий человек. Я, знаете, поговорю с товарищами. И если они не возражают, то скажу Гопиусу, чтобы зашел к вам. Идет?

— Идет.

Ну конечно, он его знал! Видел. С лаборантами, ассистентами своего факультета Штернберг встречался редко: на каких-нибудь обязательных торжествах, молебнах, татьянином дне — годовщине основания университета. Очевидно, Гопиус торжество и молебны не удаивал своим присутствием. Но в ресторане «Оливье» в татьянин день — двенадцатого января — он видел это иронически-насуспенное лицо, эту нескладную фигуру с длинными руками, разболтанной походкой. Теперь Гопиус сидел напротив него, боком в кресле, заплетя ногу за ногу, и насмешливо-вопрошающе смотрел на Штернберга.

— Евгений Александрович, как странно, что мы, коллеги, работающие на одном факультете, не были даже знакомы и встретились только сейчас...

— Да в этом, почтеннейший Павел Карлович, странного ничего нет. На нашем факультете есть и такие, с которыми я не только в респектабельном кабинете, но и в менее почтенном месте рядом никогда не сяду! — Гопиус захохотал резким, кашляющим смехом. — А вот что странно, так это дело, по поводу которого я сижу в обсерватории. У кого? У самого академического, самого аполитичного приват-доцента университета! Нет, ну знал бы мой дорогой Петр Николаевич, никогда бы не поверил!..

— А разве Лебедев правый?

— Да нет! Он эту сволочь презирает! Но Лебедев убежден, что только наука — вещь, а все остальное — гиль! И всегда мне ставит вас в пример, как человека, презирающего политику, чтящего только науку. А я ему обычно добавляю: «Ну, и конечно, начальство...» Он уверен, что вы к политике так же близки, как, скажем, к Маркизским островам... Ну, ну! Я, когда Яковлев сказал, по какому случаю мне нужно с вами встретиться, не поверил, подумал, что подшучивает надо мною. А вы — гвоздь, Павел Карлович! Ох и гвоздь! И ректор вас благодарит, и попечитель, и чуть ли не сам барон Медем за то, что вы готовите карту к восстанию... Хо-хо-хо!..

— Ну, ну, Евгений Александрович! Давайте обойдемся без взаимных комплиментов. Тем более, что пока еще карты и нет. Это нам с вами предстоит из набросков, из кроков и ученических работ сделать настоящую карту города, годную для известного вам потребления.

— Известного, известного... Я абсолютно уверен, что еще доживу до хорошей, настоящей драчки. Не такой кустарной, как в декабре пятого, а настоящей, когда не одними «бульдогами» да браунингами будем отбиваться от пушек!

— Рад, что буду работать с боевиком двадцатого столетия, а не прошлого века. Не будем сейчас заниматься фантазиями и прожектерством. Как человек, привыкший к научной работе, хочу поставить ясную задачу. Нам с вами надобно делать карту. Будем?

— Будем.

Коля Яковлев был прав. Гопиус оказался идеальным помощником. Он превосходно знал Москву, все переулки и закоулки в тех местах, которые были наиболее важны: в районе Тверской между градоначальством, охранкой и генерал-губернаторской резиденцией; отлично знал расположения главнейших полицейских участков.

Они теперь часами вместе сидели над планом города, представляя себе, как могут разворачиваться уличные бои в маленьких и тесных московских переулках.

Встречаться с Гопиусом было просто: Штернберг уговорил Цераского внести некоторые усовершенствования в большой

спектрограф и сказал ему, что в этом, очевидно, может помочь Физический институт. Лаборатория Лебедева занимается световыми явлениями, и там, наверное, есть подходящие для помощи лаборанты. Подходящим, естественно, оказался Гопиус, который стал бывать в обсерватории. Самое удивительное, что Гопиус посмотрел спектрограф и действительно придумал для него какое-то усовершенствование. И сделал это усовершенствование. Был этот человек мастером на всё! Великолепный механик, знавший тайны всех замысловатых замков, часов, электроприборов. Высокопрофессиональный оружейник, безукоризненно знающий все системы оружия — охотничьего и боевого. И талантливый химик, особо интересующийся взрывчатыми веществами. Он ухитрился в самый разгар революции в каком-то маленьком и законспирированном издательстве со странным названием «Медведь» издать написанную им небольшую книжку: «Основы техники взрывчатых веществ». В ней популярно объяснялось, как, купив в аптеке обычную аптекарскую посуду, а в москательном магазине самые обычные товары, изготовить начинку для бомб. В этом очень деловом, все умеющем делать человеку всегда кипели какие-то фантастические идеи. В частности, он мечтал о том, чтобы изобрести способ взрыва на расстоянии без помощи проводов!

Но этими идеями он делился со Штернбергом лишь тогда, когда они, устав от работы, устраивали небольшой перерыв. «Когда устаешь, надо поболтать ногами, руками и языком», — очень серьезно говорил Гопиус. Спокойный и медлительный Штернберг получал истинное удовольствие от взрывчатого, всегда ироничного, грубовато-остроумного Гопиуса. Попытки Гопиуса иногда во время «болтовни» завязать разговор на теоретические темы Штернберг отводил. А во всем остальном они договаривались быстро и успешно. И настал день, когда можно было считать работу вчерне законченной. На столе лежала небольшая папка с листками, содержащими план районов города, с указанием всего, что могло пригодиться в «день икс», как торжественно называл Гопиус предполагаемые дни революции.

— Ну, а хранить планчик будете вы, конечно, Павел Карлович? — спросил Гопиус.

— Ну конечно, будет он храниться у меня. А где же?

— Да, ваши темные кладовки подходят. Кстати, не думайте, что обсерватория — единственное университетское учреждение, могущее работать на революцию. У нас в Физическом институте тоже есть такие местечки, что никакой черт там ничего не найдет! И по-моему, некоторые товарищи не без успеха их используют. Правда, кажется, для более безопасных и громоздких бумаг, нежели эта папочка. Но вот какой у меня

вопросик: если на вас ненароком свалится труба большого рефрактора и, натурально, придавит, как эту папочку при надобности достать?

— Вопросик, Женя, вполне уместный. Как мы уже с вами договорились, секрет перестает быть секретом, когда о нем знает больше, чем три человека. Значит, так: листки с планом будут без всякой обложки лежать в большой папке практических работ студентов за 1901 год. Папки с этими работами за целых десять лет я перенес в кладовую негативов, куда посторонние, как правило, не заходят и где никому ничего трогать не разрешается. И про это дело, кроме меня, еще будете знать вы и Николай. К этой тройке подстегнем еще и Варвару Николаевну. Ничего, что она будет четвертой. Слава богу, женщины более живучи, чем мужчины. И по моему убеждению, более надежны!

— Такие, как Варвара Николаевна, безусловно! Ну, что ж, докалякались! Теперь расходимся по домам в ожидании...

— Чего?

— Военных действий. Это я не про «день икс», а про день сегодняшний, и завтрашний, и послезавтрашний... Война ведь уже идет, а на войне как на войне.

На войне как на войне

Конечно, Гопиус был прав. Война шла давно, и Штернберг понимал, что в этой войне будут потери. И у него, Штернберга, будут потери. Арест, тюрьма, ссылка, этапы — эти понятия давно и крепко сидели в сознании каждого русского рабочего и интеллигента. Даже в профессорском окружении Штернберга разговоры о том, кого арестовали, у кого сделали обыск, кого выслали, были весьма обычной темой разговоров.

За себя Штернберг не опасался, навряд ли даже тщательный обыск мог что-либо обнаружить. За других боялся. И прежде всего и больше всего — за Яковлевых. Они были для него не только товарищами, но и близкими, дорогими людьми. Варвара? В характере своих чувств к этой высокой, красивой и стремительной девушке с невинным железным характером Штернберг не ошибался. Варвара Яковлева на девятнадцать лет моложе его, собственно, годится ему в дочери. Но ни разу он не чувствовал этой разницы лет, положения. С той самой минуты, когда на Высших женских она подошла к нему и бесстрашно задала вопрос, не оставляющий сомнений в том, чем эта девушка занимается в рабочих кружках.

И с тех пор он не переставал испытывать за нее страх. В первый раз ее арестовали в середине апреля шестого года, когда она выступала на собрании рабочих казенного винного

склада. Варвару выпустили через несколько дней, запретив год жить в столицах и подчинив гласному надзору полиции. Но не в характере Варвары было подчиняться полицейским распоряжениям. Дома она, смеясь, рассказывала, как в участке, куда ее привели, она сочувственно спросила у пристава, заполнявшего протокол допроса:

— У вас, наверное, большая семья?

— Да, — растерявшись от неожиданности, ответил немолодой пристав. — Кроме супруги, имею четверых детей-с. Сын — гимназист, три дочери... Старшая почти вашего возраста, мадемуазель, и мне странно, что такая образованная особа, как вы...

— Так чем же вы заниматься будете? — бесцеремонно прервала Варвара пристава.

— То есть как? Это же когда?

— А когда все кончится, когда мы победим!..

— Ну что вы такое, сударыня, говорите! Это ж слушать невозможно... И вообще, мы — полиция и не занимаемся политикой. Это сейчас, когда вот такое...

Словом, смеясь, продолжала свой рассказ Варвара, ее и не обыскали, и в участке поместили в отдельную камеру, и так как у нее при себе оказались деньги, то за обедом даже послали в ближайший ресторан...

Весной 1906 года полиции еще некогда было следить за всеми поднадзорными. И можно было не уезжать в ближайший город Калужской или Владимирской губернии, а спокойноенько продолжать жить в своем доме на Пресне. Варвара Яковлева так и сделала, с головой уйдя в партийные московские дела.

Но уже на следующий год правительство очнулось от шока, вызванного революцией. И это не замедлило сказаться на семье Яковлевых. В конце мая, когда Штернберг пришел, как обычно, к Яковлевым, Анна Ивановна встретила его плачем. Варвара успокаивала мать. Накануне Николай был арестован на собрании большевиков Лефортовского района. Связь пока с ним не установили, но, судя по тому, что его не перевезли в Бутырки, а держат при полиции, ничего особого ему не угрожает. Сама Варвара, только что кончившая отбывать гласный надзор, непосредственно с ним связываться не будет, передачи ему станет носить мама, потом организация выделит «невесту», которая начнет приходить к нему на свидания, — словом, говорила Варвара, обычное для революционера дело, и пусть Павел Карлович не рисует себе никаких ужасов... Ничего страшного с его любимым Колей не случится!

Действительно, Николай отделался легко — тремя месяцами ареста в административном порядке. Он вышел из полицейского участка в конце июля — похудевший, бледный, но веселый

и бодрый, как всегда. Удивлялся загару Штернберга, расспрашивал о том, как идут «теодолитные съемки».

— И около моего участка были, Павел Карлович?

— А как же! Сам занимался съемкой и наносил план... Камеры у вас в участке выходили на второй внутренний двор?

— Ага!

— Ну, вот. На первый мы даже как-то пробились. Открыли нам ворота и поставили туда городского с рейкой. А во второй, где ворота с окошком,— туда не пустили. А мы слышали, как там песни поют...

— Мы это и пели! Только я не подозревал, что пою для вас...

— Ну, Коля, теперь-то вы будете осторожнее, надеюсь?

— Так если быть очень осторожным, Павел Карлович, лучше в октябристы или кадеты податься. Там обеспечен покой и благоприятствование начальства. А у нас, большевиков, дело такое, знаете, беспокойное... И опять же, очень соскучился по делу.

Через день после этого чаепития у Яковлевых Штернберг получил коротенькую записочку от Варвары: Николай снова «загремел», ходить к нему на квартиру в Девятинский переулок ни в коем случае не следует, могли оставить за-саду.

На этот раз «соскучившийся по делу» Николай не проявил никакой осторожности. Явившиеся к нему ночью с обыском жандармы нашли большое количество самой свежей нелегальщины. Теперь им уже занималась не полиция, а жандармское управление и сидел он не в полицейском участке, а в Бутырках. И было известно, что против него возбуждено дело по сто второй статье. Статья, правда, не самая страшная, но все же легко отделаться на этот раз ему вряд ли удастся.

Хорошо хоть, что Павел Карлович успел свести Николая с Гопиусом. Гопиус, повертевшись около большого рефрактора, приходил в кабинет к Штернбергу, садился на стул, оплетал ногами ножки стула и начинал рассказывать:

— Понять этих болванов из жандармского совершенно невозможно! Вот пришли они к Коле, нашли несколько газет и брошюр, наверху которых напечатано: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» И устраивают из этого целый художественный театр! Дознание, сто вторая статья, прокуратура, адвокатура, суд, тюрьма... И ведь не отобьешься! А ко мне, если придут, то что найдут: автоматические пистолеты, карабины, патроны, некоторые виды химического сырья, литературу о специфических органических соединениях... И что же? Уйдут с носом! Революеры и карабины продаются в оружейных

магазинах, химическое сырье — в аптекарских и учебных складах, книги по химии — в «Книжном деле» на Моховой... Все в полном законе! Придаться невозможно! А в «день икс» чем будем драться, уважаемый астроном? Брошюрами или маэзерами?

— Не чем, а кто будет драться, дорогой Евгений Александрович,— сурово отвечал ему Штернберг,— вот о чем в первую очередь надо думать! В войне больше чем оружие значит армия. Она состоит из людей. И та армия хорошо дерется, которая знает, за что дерется! Вот созданием этой армии и занимался Николай. И не считайте жандармов идиотами. Они слова боятся больше оружия. И правы. Удивительно, Женя, как это вы, при вашем, я бы сказал, научном характере мышления, не понимаете самых простых вещей!.. Мы уже договорились, что теоретических дискуссий открывать не будем...

Да, на этот раз с Николаем было плохо. Сидел он прочно, свиданий с ним не разрешали даже его партийной «невесте», жандармы старались приклеить что-нибудь покрепче сто второй. Должен был состояться суд. Семье Яковлевых пришлось это все пережить без дочери. Варвару арестовали через три с лишним месяца после Николая, в ноябре. Арестовали на заседании Рогожского районного комитета. Это был менее страшный арест, чем весной прошлого года. Хотя при осторожной Варваре ничего не было, но все же ее подвергли административному аресту в полиции на три месяца. И бедная Анна Ивановна разрывалась между Бутырьками, где сидел сын, и полицейским участком, где сидела дочь.

Штернберг ходил мрачный, почерневший. Единственное удовольствие он находил в частых беседах с Николаем Николаевичем — Яковлевым-старшим. К этому времени тот уже решительно отказался от домостроевских повадок, утратил всякую надежду влиять на будущее своих детей и к их революционной деятельности относился с нескрываемым интересом.

— Значит, Павел Карлович, вы полагаете, что история неминуемо движется вперед, что одно сменяет другое, скажем, так же, как лето весну? А если так, то зачем же в тюрьму садиться моей Варе да Коле? Все равно царизм окончится, пролетариат станет хозяином жизни... Но для чего же жизни молодые класть, если все это неминуемо? Ну, мои-то хоть социал-демократы больше с книжками дело имеют! А сколько молодых людей у эсеров, у анархистов идут на виселицу? Из-за чего? Губернатора или исправника убить! Да следующий будет хуже! Неужто вы их не можете убедить, что все равно: раз наша правда, то все это и так настанет!

— Нет, Николай Николаевич! Человеческое общество — не природа. В природе все происходит по своим, извечным законам, на которые человек еще никакого воздействия оказать не может. Думаю, что и не сумеет. А общество состоит из людей, разделенных на классы, в этом обществе неминуемо идет борьба между старым, отжившим, и новым, в этой борьбе обязательно победит новое. Но победит в борьбе! И в этом все дело! А без борьбы это старое еще десятки лет, а то и больше будет сидеть на шее народа...

— Понятно, понятно теперь, почему моя Аннушка, вместо того чтобы кормить своего мужа, должна бегать с передачами то в Бутырский замок, то в полицию. Профессора — они всегда сумеют объяснить! Не то что моя Варенька — только рассмеется и в лицо фыркнет, когда спрошу у нее.

Варвара Яковлева вышла из полицейского участка как раз тогда, когда начался суд над Николаем. Судили быстро. Отпираться от того, что у него на квартире нашли свежую нелегальную литературу, было бы бессмысленно, а на все остальные вопросы Николай на следствии и на суде отвечал весело и, по злобному замечанию председателя суда, «нагло»... Очевидно, в наказание за строптивость к нему не применили ссылку, которую обычно давали за хранение нелегальной литературы, а приговорили к двум годам крепости. Как уверял Николай при свидании, приговор был вполне «божеский», сидеть ему осталось каких-нибудь полтора года, и он собирался употребить это время, чтобы «подучиться»...

— Вот ведь, Павел Карлович, — говорил меланхолично Штернбергу старший Яковлев, — обидно, должно быть, профессорам, если их студенты полагают, что им в тюрьму следует садиться, чтобы подучиться... Обидно?

— Обидно! — соглашался Штернберг.

Штернбергу было не только обидно. На долгий срок он лишился близкого и любимого друга. Умного, доброго, бесконечно терпеливого к нему, к его профессорскому теоретизированию, к тем сложным и нелегким отношениям, которые устанавливались у Штернберга с сестрой Николая. Эту — пусть и временную — утрату никто не мог восполнить. Даже Варвара, которая, выйдя из-под ареста, немедленно и без всякой осторожности окунулась в самую активную партийную деятельность.

— Есть даже что-то полезное для партийной работы в тех арестах, которые произвели жандармы, — говорила она Штернбергу.

— Это уж совсем интересно! Я бы сказал, довольно парадоксально...

— А как же! Партийный организм похож на организм живого существа — скажем, теплокровных, ну, млекопитающих. На каждое кровоупускание организм отвечает тем, что кроветворные органы немедленно начинают вырабатывать свежую кровь, она насыщается кислородом, сердце гонит ее к ослабевшим органам... Уже есть новые составы комитетов вместо тех, которых арестовали. На что, интересно, эти господа рассчитывают? Что Коля, вернувшись через год, станет примерным обывателем и забудет о партийной деятельности? Запугают? Они о нас по себе судят!

В осень глухую, порою ночной...

Жизнь в Москве становилась все труднее. Можно было подумать, что какой-то рок преследует московских большевиков.

Варвара рассказала Штернбергу, что два дня назад произведены крупные аресты. Арестован почти весь состав окружка во главе с секретарем комитета, схвачено много активных товарищей. Штернберг молчаливо, боясь задать вопрос, следил за Варей, прислонившейся к печке и задумчиво покусывающей тонкий палец.

— И в доме Чагина в Милютинском переулке они все же нашли склад литературы. Большой склад! И довольно долго держался. Говорила: не ждите осени! Не следует накапливать литературу, надо ее пряником, через разные и временные пункты переправлять на заводы. А здесь устроили склад, как у Сытина! Говорят, на многих подводах жандармы вывозили литературу — пудов, наверно, полтораста было!.. О, черт!..

— Он у нас единственный был?

— Нет, есть еще несколько. Но пока охранники до них не добрались. А плохо будет, если нащупают. Интересно все же, как они добрались до Чагинского склада? Переправка литературы шла очень тщательно, товарищи ни разу не обнаруживали за собой «хвоста».

— Ах, про эти «хвосты», про филеров, по-моему, сказки рассказывают больше. И не так уж много у них филеров, и на каждом из них на лбу написано, кто он такой. Нет, тут что-то другое. Они узнают о нашей работе не от сыщиков, а от тех, кто внутри организации.

— Кто же, кто же они?

— В этом-то и вся загвоздка, Варенька... Кабы узнать?

Эти осенние ночи на Пресне! Под редкими и тусклыми газовыми фонарями блестит мокрый булыжник мостовой, ка-

менная тумба у тротуара. Дома почти все темные. Кто закрыл ставни, а кто потушил керосиновую лампу — в шесть утра вставать на работу. Штернберг, высокий, в дождевике, укравшись зонтиком от непрерывного мелкого дождя, шлепает высокими галошами по лужам. И думает. Все о том же. Есть, есть, конечно, в организации некто, кто осведомляет охранку... Говорить об этом с Варей невозможно! С ее беззаветной верой в идейность каждого партийца... Вспылит, скажет, что он за нее боится! Да, боится. И разве он не имеет на это право? Но дело не в ней, дело в организации. К ее делам комитетчики и сама Варя близко его не подпускают. Что же, он представляет для организации бóльшую ценность, нежели арестованные товарищи, нежели Варя? Глупость какая! А сказать о своих предположениях некому. Варя слушать не хочет. Гопиус — вне организации. Друганов? Друганов, очевидно, комитетчик. Тихий, немного сумрачный студент-естественник. Учился с Колей на одном курсе. Прикреплен к Штернбергу как связист. Заходит, чтобы получить заграничную почту, пересылаемую из заграничного центра в Москву на адрес обсерватории. Мало-разговорчив. Никогда не пытается продолжить с Штернбергом отношения дальше своих обязанностей связиста. Правильно, конечно, делает. Серьезный человек. А ему сейчас так нужен не самый серьезный человек, а такой, с кем можно хоть немного отвести душу... И куда он девался, этот Женя Гопиус?!

А Женя был, оказывается, у него! Встретившийся у входа Блажко сказал:

— Сидит у рефрактора Евгений Александрович. Буянит из-за того, что в эту погоду звезды нельзя увидеть. Звезды, видите, ему в осеннюю дождливую ночь захотелось смотреть! И так знаем, что крутится его штуковина. А ему звезды подайте!

— Гоните его ко мне! — обрадованно сказал Штернберг.

В кабинете Штернберга Гопиус удобно скрючился в большом кресле и укоризненно сказал хозяину:

— В порядочных домах, уважаемый профессор, в такую собачью погоду к такому вкусному чаю приличному одинокому путнику еще и коньяк подается!

— Натe вам ваш коньяк. Охота была портить такой отличный чай! Ну, что, геноссе, плохо?

— Неважнец. Сказано умнейшим человеком: «На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник». Тиранов у нас хватает, узников предостаточно! Надо искать третье звено.

— Предателя?

— Его, голубчика.

— Пушкин, когда писал стихи, которые, Женя, вы процитировали, был в плохом настроении. А вы этим никогда не отличались! Так вы думаете, что провалы вызваны тем, что охранка имеет в организации своего человека?

— Павел Карлович, я не состою в организации, у меня вроде и нет права делать такое заявление. Но уверен, что охранка изо всех сил старается к вам запустить своих. В социал-демократии работают одни только большевики. Куда же жандармам совать своих людей? Не к ликвидаторам же! Конечно, к большевикам. Только там и можно зарабатывать сребреники...

— За деньги!

— Ох, голубь вы этакой! Нет, провокаторы, по-вашему, за идею работают? За деньги. Самые обыкновенные, неотличимые от любых других. Интересно — из чистого научного любопытства — узнать: как платят? Сдельно — за каждую голову? А неужто все головы у большевиков в одинаковой цене? Ваша, профессор, почему?

— Да ну вас с этими шуточками! Вообще-то вы правы, что охранка засылает людей по преимуществу в большевистские организации. И что же, по-вашему, надо делать в этом случае?

— По моему беспартийному мнению, надо жестче и конспиративней вести работу, ограничивать приход в организацию новых членов, создавать крошечные ячейки, не знающие друг друга.

— Оно, Женечка, и видно, что вы беспартийный. И в голове у вас манная каша пополам с яичницей. Может быть, если считать, что в охранке есть очень умные люди, они и хотят столкнуть партию на этот путь! Замкнутость обязательно приведет к отрыву от масс, превратит пролетарскую партию в кружок конспираторов.

— Так что же делать, уважаемый профессор?

— Об этом сказано уже в решениях партийного съезда. Он был почти чисто большевистским, и в решениях его всё есть. Прежде всего — связь с рабочим классом, с массами. А предатели в нашей среде — это уже то, что у Маркса называется издержками производства...

— Я же забыл, Павел Карлович, что вы слушаетесь Маркса, как примерный сын своего отца...

— Можете не язвить. Согласен!

Сибирской, дальней стороной...

Свободные часы Штернберг часто проводил в милом, ставшем ему родным доме купца второй гильдии, золотых дел мастера Николая Николаевича Яковлева. Дела с его детьми прояснились, оказывались лучше, чем это можно было ожидать. Судьба их решалась административно. После крепости Коля подлежал гласному надзору полиции в одном из неуниверситетских городов империи сроком на три года. Наказание было легким. Николай по совету партийных товарищей просил заменить ему гласный надзор высылкой за границу на тот же срок «для лечения и продолжения образования». И ожидалось, что ему это разрешат.

Хуже было с Варварой. Видно, она давно стояла поперек горла у московской охранки. И с ней департамент полиции расправился со всей строгостью. Варвару Яковлеву выслали на четыре года в Нарымский край, Томской губернии, под гласный надзор. Это долгий и мучительный этап. До Томска — в омерзительных тюремных вагонах, получивших название столыпинских; потом Томская тюремная пересылка, из Томска длинная дорога на барже, на телеге по бездорожью... А местом ссылки, конечно, определяют глухое село за тридевять земель от железной дороги, пристани, почты. И там надо жить на несколько рублей, выдаваемых ссыльному, жить без всякой работы, без связи с партией. Жить под надзором безграмотного, вечно пьяного урядника. Как сумеет это перенести Варвара с ее деятельным характером, с ее вспыльчивостью, неумением ладить с любым полицейским начальством?

Впрочем, сама Варвара была настроена более оптимистично, нежели Штернберг. Отцу на свидании сказала, чтобы ни домашние, ни Павел Карлович не раскисали. К ссылке она приспособлена не меньше других, а на месте все станет яснее, и там она решит, что надо ей делать дальше. Перед этапом она переслала Штернбергу короткое письмо, написанное энергично, деловито, почти весело. Она писала, что так уж устроено, что полиция предполагает, а революционер располагает... И она надеется увидеться с ним намного раньше, нежели это предполагает министерство внутренних дел.

Штернберг понимал, что Варвара не собирается четыре года торчать в далекой сибирской деревне. Но и сам Штернберг не собирался ждать. Ни того времени, когда у Варвары кончится срок ссылки, ни того, когда она сбежит.

Наступило короткое и хорошее время, когда Николая выпустили из тюрьмы и он собирался в «изгнание», как он говорил. Хотя было очевидно, что полиция за ним следит, но это не мешало Яковлеву заниматься делами.

— Литературными, только литературными, господин про-

фессор! — весело говорил он в ответ на мрачные предупреждения Штернберга. — Перед господом богом и господином градоначальником могу поклясться: не бываю ни на каких собраниях, явках, конспиративных квартирах. Только в местах, разрешенных начальством, имеющих общеизвестный адрес, по которому не возбраняется приходиться ни одному человеку. Тем более недоучившемуся студенту, жаждущему работы. И возьми меня за рупь за двадцать!..

«Места, разрешенные начальством» в Москве действительно были. В декабре 1910 года в Петербурге стала выходить еженедельная легальная газета «Звезда», о которой все — от охранки, до рабочих самого маленького завода в России — знали, что она является газетой большевистской партии. И как и положено всякой столичной газете, она имела в Москве свою маленькую контору, где принимали подписку, получали для пересылки в редакцию материал от авторов — словом, вели обычную, вполне легальную газетную работу.

Почти все дни, отведенные ему для подготовки «к изгнанию», Николай проводил в этом «разрешенном» месте. Он ехал за границу — работать в партии, он ехал к Ленину и свое приподнятое настроение не скрывал ни от родителей, которые оставались одни, ни от своего старшего друга.

— Ей-богу, не беспокойтесь за нас, Павел Карлович! Уж вы-то знаете, что жить и работать для партии можно везде. И в тюрьме, и в обсерватории, и в ссылке, и в «изгнании»... А Варвара долго не усидит там, ей-ей! Увидите!

Летом Штернберг поехал в Томск. Вот когда он почувствовал некую выгоду от того, что он статский советник, преподаватель Московского императорского университета, астроном, чье имя и научные заслуги известны во всех университетах России. А Томск был университетским городом. Его приезд был радостным событием для томских коллег и не вызывал никаких особых вопросов у местного начальства.

Штернберг впервые был в Сибири. Долгие сутки дороги из Москвы в Томск он сидел у окна, глядя на меняющийся пейзаж. Все было почти так, как в России, но бесконечно большим. Если начинался лес, то он тянулся за окном вагона не часами, а днями. А если начиналась степь, то и ей не было конца... Ему казалось, что он начинает понимать главную особенность Сибири — расстояние... Он вспоминал свои поездки по Франции, Германии, где между черепичными крышами деревень и городов почти и расстояния-то не было. И сравнивал ту дорогу с этой... Да, не зря в России еще со времен первых Романовых политических преступников загоняют в Сибирь!..

Томск был не похож на среднерусские города, которые Штернберг хорошо знал. На главной улице богатые кирпичные дома с украшением из белого камня; зеркальные витрины

богатых магазинов со всеми предметами роскоши не хуже, чем в Москве. В низине — улицы, застроенные деревянными домами, украшенными кружевной резьбой. Множество ресторанов, трактиров, пивных. И странное смешение людей на пыльных улицах. Медленно проезжает в почти английском парном экипаже англазированный купец в рединготе и цилиндре. Проносится на тройке с колокольчиками разбушевавшийся молодой человек в плисовых штанах — старатель, кому «подфартило на золотишке». И рядом с деловитыми купцами, спившимися золотодобытчиками — юноши в студенческих тужурках и козovorотках, такие, как в Москве, на Бронной, на Козихе. Студенты идут к большому светлому дому, что стоит в глубине университетского сада.

Туда приходит и Штернберг. Иногда он идет в университет не прямой, ровной дорогой, а боковой улицей, немного левее. На углу стоит длинное белое здание подчеркнуто казенного вида. К нему пристроена маленькая церковь. Забор, решетки на окнах, полосатые будки охраны. Томская пересыльная тюрьма. Штернберг медленно проходит мимо — высокий господин в очках, в новом коломянковом костюме, в модной соломенной шляпе канотье. Он идет и внимательно осматривает ряды зарешеченных окон. За которыми сидела Варвара? Он уже в одной губернии с нею, когда же он увидит ее?

Томск был не только университетским городом. Он был еще и городом, полным «политиков» — бывших ссыльных, осевших в понравившемся им городе; теперешних ссыльных, ухитрившихся застрять в губернском городе; людей, никогда в ссылке не находившихся, но не отличающихся по своим взглядам от тех, кто сидит в Томской пересыльной тюрьме. И Штернберг, находясь здесь, понимал, что ему не придется долго и трудно готовиться к путешествию в Нарымский край.

Он возвращался назад в Москву совсем другим. Загорелым, смеющимся, белозубым человеком, которому никто бы не мог дать его сорока шести лет. Штернберг был наполнен радостью, весельем и надеждами. И не хотел эту радость расплескивать в беседах со случайными и ненужными попутчиками. Большую часть дня просиживал в поездном ресторане, пил холодное вкусное пиво и смотрел, как снова мелькает за зеркальными окнами вагона темно-зеленая тайга.

Теперь она не пугала. Он, улыбаясь про себя, вспоминал шумные прогулки в лес, костры, веселое изгнание комаров, запутавшихся в его густой бороде, и песни, песни... Маленькая большевистская ссыльная колония была наполнена бодростью и надеждами. Не только его Варвара, но и другие ссыльные товарищи не собирались просиживать годы в глухой нарымской

деревне. Одни были уверены, что дела «на воле» повернутся таким образом, что они вскоре торжественно и даже триумфально поедут в Россию; другие — не страдающие излишним оптимизмом — деловито собирались бежать из ссылки как можно скорее.

К ним принадлежала и Варвара Яковлева. Она и в ссылке была главной — в организации коллективных чтений, партийных дискуссий, прогулок, общей столовой. Она быстро доказала Штернбергу, что надо воспользоваться такой ссылкой, из которой только ленивый не убежит, и что не надо так пышно называть это бегством. Исчезнет из деревни так, что этот болван урядник и не заметит! А когда заметит, она уже будет почти что в России. И не надо бояться перехода на нелегальное положение. В конце концов, любой революционер должен считаться с возможностью и даже необходимостью вести ту подпольную жизнь, над которой так подло и бессовестно издеваются ликвидаторы. Да, это необходимо: поддельные паспорта, переодевание, конспиративные квартиры, шифры и пароли, — все то, что эти ренегаты теперь презрительно называют опереткой! И большевики будут это все использовать, потому что они в революции не любители-артисты, а профессионалы!

Ни раньше, когда еще Варвара была курсисткой, а он ее преподавателем, ни, тем более, сейчас, Штернберг не мог устоять перед ее энергией, настойчивостью, убедительностью ее логики. Долгие беседы Штернберга в те немногие дни, которые он провел в нарынской деревне, были полны обсуждениями всех деталей будущего побега Вари. Штернберг входил в эти детали с такой же придирчивостью и дотошностью, с какой проверял студенческие работы в обсерватории. Было решено, что лучше всего бежать зимой, когда бдительность начальства усыплена лютыми морозами и беспробудным пьянством, а замерзшие реки становятся прекрасными дорогами для местных опытных ямщиков. Нужно только подготовить теплую одежду, деньги, квартиры по дороге. А если попадетсЯ?

— Ну вернут назад,— спокойно отвечала Варвара.— В крайнем случае загонят в деревню еще на пару сот верст дальше. Вот и все.

Но Штернберг был уверен, что Варвара не попадетсЯ. Не из таких. Сейчас август. Сколько же еще ждать до января — февраля!.. Как смешно, что он, математик и астроном, считает по пальцам... Ничего, скоро!

И он, улыбаясь, продолжал смотреть в окно и мурлыкать про себя ту старую каторжную песню, которую он с товарищами недавно пел у костра: «...Укрой, тайга...»

Бина

Кончилась противная, мокрая осень, и морозы стукнули, и небо стало таким, каким его любят астрономы,— черным, ясным, прозрачным. Штернберг еле успевал справляться со студенческой практикой. Студентов теперь толпилось в обсерватории множество, и он не удивился, когда среди них увидел студента — не астронома. Кажется, зоолога.

— Здравствуйте, коллега,— ответил он на почтительный поклон Друганова.— Ваша очередь нескоро. Зайдите ко мне в кабинет. Всегда радуюсь, когда вижу вас, Мстислав Петрович,— серьезно сказал Штернберг уже в кабинете.— Во-первых, потому, что, не скрою, вы мне глубоко симпатичны. А еще потому, что, увидев вас, знаю: мне предстоит какая-то работа, по которой я всегда тоскую...

— Ну что вы, Павел Карлович! — стеснительно сказал Друганов.— Скучаете вы. Замурованы в обсерваторских стенах. Хочу вас свести с одним человеком. Поскольку известно, что университетские студенты с помощью астрономической трубы в саду общества приказчиков сеют разумное, доброе, вечное, то ничего нет удивительного в том, что об этом хочет написать у себя газета «Копейка»...

— «Копейка»? Кажется, вульгарная газетка, отстоящая от партии на десятки световых лет...

— Конечно, не «Звезда»! Довольно желтенькая газета. Но все же весьма популярная среди рабочих. Стоит она копейку, и в ней много завлекательного: всякие там происшествия, романчики подвалами и прочее. Но черт с ней, с газеткой этой. А встретитесь вы с сотрудницей этой газеты Валентиной Николаевной Лобовой. Она не просто активный работник в партии, но еще и связана с партийным центром и представляет его. Вот Бина вам понравится!

— Бина? Это ее партийная кличка?

— Да, в организации ее так и зовут. Но Бина, кажется, ее настоящее имя. С обществом она еще и связана через мужа — Алексея Ивановича. Лобов — партиец, его исключили из коммерческого института, он сейчас легален, работает репортером в газетах. Непосредственно в партийной работе не принимает участия, держит связь с центром, очень законспирирован. Говорю вам это, чтобы вы знали: не вы один укрыты... Я бы познакомил вас раньше, но Алексей Иванович болеет сейчас, давно не выходит из дома. С Биной чувствуйте себя столь же свободно, как и со мной.

С Лобовой он познакомился на одной из общедоступных лекций в Политехническом музее. Лекцию читал Климентий

Аркадьевич Тимирязев. Огромная аудитория была набита, не попавшие в зал толпились у входа и слушали, стоя в дверях. Через час лектор объявил перерыв, толпа хлынула в просторные фойе. К Штернбергу подошла молодая черноволосая женщина.

— Здравствуйте, Павел Карлович! Я здесь представляю газету «Копейка», меня зовут Валентиной Николаевной Лобовой.

— Душевно рад. А как вы меня узнали?

— Ну, астроном Штернберг — личность довольно заметная в первопрестольной.

Лобова смеющимися глазами оглядела высокую, плотную, выделяющуюся в толпе фигуру Штернберга.

— Пойдемте, Павел Карлович, сядем вон на тот диванчик. Сейчас Климентий Аркадьевич начнет, публика пойдет в аудиторию, а мы здесь посидим: профессор, участвующий в просвещении народа, и репортер мещанской, с подозрительной желтизной газеты. Все нормально! Хочу вам сказать, что Катя очень ценит вас как заочного — хотя и немногословного — собеседника. Она всегда с удовольствием пишет вам.

Штернберг внимательно смотрел на Лобову. «Катя» — такая подпись стояла под теми письмами, которые он получал из заграничного центра для Московского комитета. И он знал, что так подписывается Надежда Ульянова — жена Ленина.

— Да, да, Павел Карлович. Я с ней знакома и тоже в некотором роде почтарь, как и вы. Я решила с вами познакомиться еще и потому, что Славу Друганова нужно продублировать и в случае чего заменить. Хотя он мастак в своем деле и обладает замечательной способностью быть незаметным, но неровен час... А кроме того, мне известно, что вы тяжело переносите свой отрыв от организации. То есть от непосредственной и живой партийной работы. Слава-то, как вы заметили, — человек, не любящий разговаривать. Ну, а мне, журналисту, сам бог велел быть разговорчивой... Знаете, мы накануне больших событий!..

Конечно, дело было не только в том часовом разговоре, который они вели в фойе Политехнического музея, пока в Большой аудитории шла лекция Тимирязева. Разговор этот ввел Штернберга в ту самую активную партийную жизнь, по которой он все время тосковал. Лобова, очевидно, не только по партийным документам знала все, что происходит в партии. Она была знакома со многими деятелями партии, интересно о них рассказывала. Любовь к Ленину, к большевикам она выражала с такой же силой, с какой давала презрительные характеристики меньшевикам, партийным либералам — «болоту», как она их называла...

Но, помимо всего этого, сильнейшее впечатление на Штернберга произвела сама личность Бины. Очевидно, что для нее

работа в партии была сама жизнь, самое главное выражение себя. Она в этом чем-то, при всей несхожести биографий, напоминала Штернбергу Софью Перовскую. Никакой жертвенности не чувствовалось в ней. Бина весела и жизнерадостна, для нее работа в партии — радость, счастье.

В разговоре Бина иногда упоминала Алексея — своего мужа. Упоминала в связи с партийными делами. И Штернберг ощутил неожиданную и острую зависть к этому незнакомому счастливому человеку. Жить рядом двум большевикам, двум людям, соединенным не только любовью, но и идеями, стремлениями, одной партией!.. Почему, черт возьми, он лишен этого счастья?! Ну, сбежит Варя из ссылки — и все равно не будет у них той естественной, обычной семейной жизни, как у Лобовых.

— Хорошо, Павел Карлович, что познакомились! Все мы, профессионалы, живем, в общем-то, не по-человечески! Избегаем людей, работаем не там, где хотим, а в «Копейке», встречаемся не с теми, с кем бы хотелось. И странно и тяжело знать, что вокруг твои товарищи, и не иметь возможности встречаться с ними... Ну, вам трудно иметь связи с рабочими. А с партийцами-интеллигентами? Вы кого-нибудь знаете? Знакомы домами?

— Да ни с кем я не знаюсь! Вот сейчас наш университетский Михаил Николаевич Покровский за границей живет. А когда работал в университете, раскланивался с ним на совете — и всё знакомство. Хотя и знал, что он — большевик. Мои единственные дружеские и, как вы, вероятно, знаете, семейные связи — Яковлевы. Их в Москве нет, и неизвестно, когда будут. А с Мстиславом Петровичем, глубоко мне приятным человеком, я встречаюсь только, так сказать, по долгу службы...

— Ну, дорогой Павел Карлович, не всегда же так будет! И на нашей улице наступит праздник! Я так всегда говорю Алексею, когда у него появляется настроение вроде вашего. Ничего, теперь заживем веселее.

Дела текущие

Наконец! На письме штемпель Томска. 18 февраля 1912 года. Как и было условлено, университетский лаборант извещал многоуважаемого Павла Карловича Штернберга о том, что таблица с итогами годовичного наблюдения за видимостью Венеры в пределах города Томска в феврале выслана всем обсерваториям Российской империи. Так! Значит, Варя бежала! Поедет ли она сразу за границу или заедет в Москву? Это Варя должна решать по обстоятельствам, списавшись через посредников с Николаем. Теперь следовало набраться терпения и ждать.

В Яковлевском доме на Пресне приподнятое настроение. Еще неизвестно, появится ли Варвара здесь, но уже то, что она не в Нарыме, а на свободе, радовало старших Яковлевых. Штернберг у них бывал чаще обычного, часами сидел в мастерской старого ювелира, хохоча над саркастическими рассказами Николая Николаевича о своих богатых и знатных заказчиках.

...Объявилась Варвара. Сначала были короткие письма и цветные открытки, присылаемые от «Ольги Николаевны» из разных городов. Потом долгое и мучительное молчание. А затем в телефоне задыхающийся от радости голос Николая Николаевича:

— Что же вы, Павел Карлович, нас, стариков, совсем забыли? Понаведовались бы, что ли.

Штернберг не только «понаведовался». Он переехал в давно ставший ему родным дом Яковлевых на Пресне. Конечно, Варвара не поселилась в родительском доме. Охранка ее искала, и Николай Николаевич часто показывал Штернбергу в окно на задумчивую фигуру господина, читающего газету в соседней подворотне.

— Ну, пока у вас, у революционеров,— смеясь, говорил старик,— такие серьезные враги, можете разводить свою преступную деятельность! У каждого из этих дураков на лбу написано, что он из Гнездиновского!

Штернберг не разделял оптимизма и смешливости отца Вари. Пока Варвара была за границей, он был спокоен и каждое утро думал: «Ну вот, прошел еще один день — и Варвара цела и не надо за нее бояться». А теперь знал, что за Варварой охотятся: филеры, подлецы в синих мундирах, городовой. Она для них — дичь, которую надо затравить. С Варварой Штернберг чаще всего встречался на конспиративных квартирах, куда он шел, путая возможные за ним слежки, глухими переулками, через проходные дворы — вот когда ему пригодились «теодолитные съемки», его необыкновенная память!

Варвара объяснила Штернбергу, почему за последний год так увеличилась корреспонденция, за которой приходил Друганов. Она дала адрес Штернберга Покровскому и другим большевикам, которым надобно было срочно и надежно связаться с Московским комитетом.

— Так что,— говорила она,— тебе не следует теперь жаловаться на изоляцию, на то, что ты никого не знаешь и тебя никто не знает. Когда у нас будет легальный комитет и даже печатные партийные билеты, тебе не нужно будет доказывать, что ты — не беспартийный...

Варвара занималась больше всего делами столичной партийной газеты «Правда». Даже легальные, не конфискованные номера газеты полиция запрещала продавать в газетных ки-

осках; запретила хозяевам всех чайных и трактиров, покупающих для своих посетителей газеты, приобретать «Правду». Яковлева предложила, чтобы рабочие перестали посещать чайные, где нет «Правды». После этого хозяева чайных переплачивали мальчишкам-газетчикам, лишь бы у них всегда были свежие номера рабочей газеты. Но всего этого, говорила Варвара, недостаточно. Заграничный центр, Ленин считают необходимым, чтобы в Москве начала выходить такая же рабочая большевистская газета, как «Правда». Дело не простое... Из московских большевиков Варвара теснее всего была связана с Лобовым. Между Биной и Лобовым шла активная переписка. Бина была в Питере, он в Москве, такая переписка между мужем и женой, конечно, была естественна. Штернберг как-то спросил у Варвары, можно ли ему познакомиться с Лобовым. Очень ему приятна была Бина, ему нравились отношения этой семейной партийной пары. Варвара слегка задумалась над его вопросом.

— Алексей законспирирован не меньше тебя, пожалуй. Через него идут непосредственные связи с центром, он старается никого из партийцев не принимать, кроме самых необходимых случаев... Конечно, профессору астрономии незачем ходить на квартиру репортера из «Копейки», да еще находящегося под подозрением у полиции. Но при случае я вас познакомлю. И он говорил, что интересуется тобою. Встретитесь на каких-нибудь торжествах.

— Это каких же?

— Забыл, какой год настает! Трехсотлетие дома Романовых! Будет такой звон! Ну, и мы постараемся использовать это торжество! Наверное, у вас в университете тоже организуют ликование. Молебствия, речи, ордена... И тебе, может, орден дадут, а? Вот смешно-то будет!..

Штернберг ничего смешного не находил в том, что ему могут всунуть какой-нибудь орден. И придется писать ректору и попечителю официально-благодарственные письма с изъяснением чувств по поводу награды, которой его удостоил государь император... Тьфу, гадость какая!..

Больше всего московским большевикам хотелось отметить трехсотлетие романовской династии выходом ежедневной большевистской газеты в Москве. В питерской «Правде» появилось письмо «московских рабочих» о том, что в Москве нужна рабочая газета, уже стали появляться в «Правде» списки пожертвований в фонд московской газеты.

«...От рабочих завода Бромлей — 30 руб.

От рабочих Прохоровской мануфактуры 5 руб. 15 коп.

От рабочих типографии «Московское издательство» 4 руб. 10 коп.

Из села Родниково от группы рабочих 6 руб.».

И от рабочих Цинделя, Листа, Гужона, Сию, Эйнем, Брочара, Дангауэра, от рабочих Богородска, Мытищ, Коврова, Подольска, Серпухова, Струнино, Иваново-Вознесенска, Гусь-Хрустального... И от социал-демократической группы студентов Московского университета...

У Штернберга было ощущение непрерывного праздника.

Это настроение было прервано очередным приходом Друганова. Был он, при всем своим обычным спокойствием, настолько мрачен, что у Штернберга сразу же перехватило дыхание. Он порывисто поднялся навстречу Друганову.

— Нет, нет,— сказал Друганов торопливо,— Варвара Николаевна в порядке и просила вам передать, чтобы вы не беспокоились за нее. А вот с другими товарищами плохо. Очень плохо. Вчера ночью жандармы нагрянули по всем адресам... Арестовали почти весь центр... Варенцову, Аросева, Стривского, Тихомирова, Дугачева...

— Что-нибудь у них взяли?

— У них, кажется, ничего. Но охранка твердо знала, кого берет. Именно газетную комиссию взяли. Почти полностью.

Штернберг вспомнил свои разговоры с Гопиусом о тех, о предателях...

— Мстислав Петрович, вы полагаете, что провалы не случайны?

— Ну конечно, не случайны. Все мы думаем, что охранка черпает свои сведения не из наружного наблюдения. Вполне вероятно, что у них есть осведомитель внутри организации.

— Ох, мерзость какая! Могу я вас, голубчик, попросить сейчас ко мне заходить не только по непосредственным делам? Очень мне это надо!

— Да, да, Павел Карлович! Я постараюсь у вас бывать часто.

Прошла неделя тяжкого ожидания. Временами на несколько минут забегал Друганов. Варвара пока скрывалась. Дело с газетой шло вперед, несмотря на аресты. Теперь все перешло в руки Лобова. На квартире у него собрались активисты городской организации, уцелевшие после разгрома. Создали организационную тройку из Лобова, Голубева и Алексева. Уже решили, как назвать газету.

— «Наш путь»! А хорошее название! — рассказывал Друганов. Его обычно спокойное, даже невозмутимое лицо светилось.— И придаться к названию невозможно, и такое оно емкое! Наш путь! Тяжкий, многострадальный, но единственный!

Штернберг впервые видел Друганова таким вспыхнувшим, радующимся.

Но 19 марта арестовали всю «газетную комиссию», в том числе, конечно, и Лобова. Да, теперь уже не было никаких сомнений: охранка знает все или почти все, что делается в организации... Варвара, с которой он виделся редко, каждый раз в другом месте, была мрачна и только повторяла:

— Все равно будет по-нашему! Будет газета, увидишь, будет! За плохим обязательно придет хорошее!

И ведь оказалась права! В первых числах апреля, поздним вечером, Штернберг сидел дома за столом и лечил плохое настроение обычным своим способом: читал присылаемые из-за границы бюллетени обсерваторий с изложением новых гравиметрических работ. В дверь постучали, и невероятно знакомый, такой родной голос весело воскликнул:

— Герр профессор! Не позволите ли вы войти бывшему вашему студенту?!

Штернберг бросился к двери и обнял Николая Яковлева.

— Коля, милый! Откуда? Как? И почему без всякого предупреждения? След за собой не заметили? Филеры, кажется, ходят теперь за всеми.

— Господи! Зачем им за мной ходить? Я человек вполне легальный, приехал под собственной своей фамилией, и паспорт у меня самый что ни на есть настоящий! Хожу мимо фараонов и поплеываю в их сторону!

— Да как же это? Срок высылки ведь не кончился!

— Ах, да какая там высылка! Перед вами российский подданный, по молодости своей совершивший некоторые противозаконные деяния, а ныне неизреченной монаршей благодатью амнистированный — то бишь вполне прощенный по случаю трехсотлетия восхождения на престол предка благоверного нашего государя императора... Ура!

— Ура! — закричал на всю комнату Штернберг и подбросил вверх бюллетень какой-то обсерватории.— Ура! Есть, оказывается, польза от этих сукиных детей — Романовых! Ну, Колечка, раз вы уж такой важный и легальный, то хотя бы в самой краткости про эти два года... Вы присылали родителям такие таинственные открытки, что можно было предполагать все, что угодно: то вы премьер-министр, то директор крупного завода... Как это вы писали из Ганновера: «Мой завод...»

— До премьер-министра не успел дойти из-за амнистии. А что касается своего завода — это уже ближе к истине. Я в Ганновере на большом меднолитейном заводе работал. Правда, не столько директором, сколько рабочим. Да и то вышибли за участие в забастовке. Немцев оставили, а меня выкинули. Ну, что говорить, милый Павел Карлович! Покочевал я около двух годиков по заграницам, насиделся в библиотеках,

наработался в доках и заводах, посмотрелся на приличных, очень самоуверенных заграничных социал-демократов, наговорился досыта с нашей российской публикой, набрался как следует ума-разума, поучился, узнал, что мне следует делать...

— Этому вы научились в библиотеках или у немецких социал-демократов?

— Этому я научился, если уж говорить правду, за последние две недели своей заграничной жизни...

— Это же где? И у кого?

— В Австро-Венгрии, Павел Карлович. В городе Кракове. У одного человека, с которым вы меня встретили однажды в январе шестого года на Большой Пресненской...

— Колечка! Вы у Ленина были?!

— Правильно! У него. Помните, вы мне про него сказали, что он — подтверждение гравитационной теории о притяжении, о силе тяжести... Вот за эти две недели я полностью в этом убедился. Да, сейчас будем заниматься газетой. Сам я человек легальный, буду работать в легальной газете, такую закачаем газетину, что будет не хуже, чем в Питере. Будет у нас самая настоящая вторая «Правда»!

— С Варей виделся?

— И с Варей виделся, и с московскими товарищами. Конечно, охранка тут устроила порядочный погромчик! Надо принимать меры к тому, чтобы это как-то предотвратить. Ильич рекомендовал, чтобы приехала сюда из Питера Бина и тоже занималась газетой. Приедет, бедная, в пустую квартиру. Алексея Лобова тоже взяли. Черт! Варвара бы не провалилась, а?

Варвара провалилась через неделю после приезда Николая. Еще не успели обо всем наговориться, еще не успели — в который раз! — успокоить Анну Ивановну, послушаться веселых баек Николая Николаевича-старшего, как услышали в сенях звонок. И басистый голос за дверь: «Телеграмма!..» Уж сколько лет ничего другого придумать не могут! «Телеграмма!..» И ввалились в квартиру.

Жандармский ротмистр остановился в дверях комнаты Штернберга, вынул из кармана бумагу и сделал вид, что читает:

— Мне нужен статский советник Павел Карлович Штернберг...

У Штернберга немного отлегло. Значит, не Варю ищут. Загораживая ее, он протиснулся к жандарму, чтобы дать возможность Варваре выскользнуть из комнаты.

— Господин ротмистр! Я — статский советник Штернберг. Прошу сюда, пройдите ко мне.

— Благодарю вас, пройдем-с, пройдем-с... А вы, сударыня, куда? Попрошу назад, пройдите в комнату, прошу вас, присядьте. Вот, господин Штернберг, предписание о производстве у вас обыска, в порядке положения о государственной охране. Попрошу присутствующих предъявить мне документы на право жительства. Тэк-с. Понятно. Астроном-наблюдатель обсерватории Императорского университета, статский советник Штернберг. Теперь ваши документы, сударыня? Ах, у вас при себе нету... Какая жалость! Нет, нет, сударыня, не называйте себя, не утруждайте себя придумыванием чужой фамилии. Итак, если не ошибаюсь, имею честь встретиться с дочерью московского купца Варварой Николаевной Яковлевой, административно высланной из Москвы постановлением министерства внутренних дел, самовольно в феврале прошлого года скрывшейся из места ссылки и ныне проживающей в Москве без прописки...

— Да, имеете честь.

— Ну вот и отлично. Собирайтесь, сударыня. Рябкин! Посадить госпожу Яковлеву на извозчика, отправиться с ней в охранное.

Варвара простилась с родителями, со Штернбергом. Успела шепнуть ему:

— Да, ради бога, не надо так расстраиваться! Я же не ленивая! И зимы дожидаться не буду. Осенью увидимся...

Сидя в кресле, Штернберг мрачно смотрел, как жандармы роятся в ящиках письменного стола, снимают с полки книги и внимательно их перелистывают, перетряхивают кровать, открывают заслонку кафельной печи... На этот раз искали по-настоящему, не так, как в первый раз. Конечно, ничего не нашли, да и не могли найти: ни одной компрометирующей бумаги Штернберг у себя не держал. Ему надо было только следить, чтобы эти субчики не подложили ему принесенной ими нелегальщины. Он понимал, что обыск этот для видимости. Они выследили Варю и пришли за ней. Поэтому несколько удивился, когда после того, как он подписал акт о производстве у него обыска и о том, что ничего не обнаружено и не изъято, ротмистр с обычной жандармской предупредительностью сказал:

— А вот теперь, господин Штернберг, прошу подписать, что вам объявлено предписание явиться завтра к одиннадцати утра в московское отделение по охранению общественной безопасности и порядка. Вот так-с.

Штернберга без всяких проволочек провели прямо в кабинет начальника московской охранки. Немолодой уже полковник вежливо приподнялся с кресла:

— Значит, господин Штернберг? Честь имею: Павел Павлович Заварзин. Вынужден был вас пригласить.

— Да, да. Вы желаете получить объяснение о задержанной Варваре Николаевне Яковлевой?

— Да боже упаси! Госпожу Яковлеву мы были вынуждены задержать, поскольку она скрылась из места ссылки и разыскивается соответствующими органами империи. Претензии к вам не имеем, понимаем, что нахождение ее у вас вызвано лишь исключительно личными мотивами, в кои мы не смеем вмешиваться... Кто из нас, хе-хе, без греха... Прошу извинить. Нет, Павел Карлович, совсем по другому поводу, гораздо более значительному, более серьезному, я был вынужден вас пригласить. Осмелюсь вам напомнить, что четыре года назад мой коллега полковник фон Коттен был поставлен в необходимость задать вам вопрос о вашем адресе, найденном у лица, замешанного в преступной деятельности. Вы тогда изволили отместить от себя всякую причастность к этому.

— Да, изволил отместить.

— Вот-вот. Михаил Фридрихович фон Коттен, человек очень деликатный и, я бы сказал, даже застенчивый, был тогда очень смущен вашим поведением.

— Вы, господин полковник, вот по этому делу, о котором я и не помню, вызываете меня?

— Нет, что вы, Павел Карлович, что вы... Совсем по другому вопросу. Хотя, я бы сказал, сходственному... Известен вам студент Лобов?

Штернберг внутренне содрогнулся. Значит, все же что-то нащупали. Неужели он провалился? Столько лет держался и все же провалился!

— Нет, среди знакомых мне студентов господина Лобова нет.

— А знаком ли вам Виктор Алексеевич? И что вы можете, Павел Карлович, сообщить нам о Петре Петровиче?

— Господин Заварзин! Я первый раз слышу это имя-отчество. Единственный Петр Петрович, мне известный, это преподаватель физики в Университете имени Шанявского, приват-доцент Петр Петрович Лазарев. Он два года назад ушел из университета, и я не имею удовольствия с ним встречаться в университетских стенах. И не понимаю ваших вопросов. В конце концов, я не обязан вам рассказывать о своих знакомых, перечислять их имена-отчества... Я попрошу, господин полковник, более внятно мне объяснить причины, по которым вы меня изволили к себе пригласить.

— Да, да. Ах, как прав был Михаил Фридрихович, как прав... Нелегкий у вас характер, Павел Карлович. Вот возьмите эту записку, найденную у арестованного по подозрению в преступных действиях студента Лобова, и разъясните мне, пожалуйста, ее содержание...

Штернберг протер пенсне и внимательно разглядел измятый

клочок бумаги, на котором характерным почерком было мелко написано: «Средняя Пресня, Никольский переулок, обсерватория. Павел Карлович Штернберг от Никиты и Виктора Алексеевича узнать о Петре Петровиче».

— Вам устное дать объяснение или же продиктовать вам?

— Пожалуйста, пожалуйста, продиктуйте, Павел Карлович! Я ведь никогда не сомневался в вашей лояльности к законам империи, никогда не обманывался в вашей высокой порядочности...

— Записывайте, пожалуйста. «Ни студента Лобова, ни других лиц, упомянутых в записке, я не знаю и не имею представления ни о происхождении этой записки, ни о том, как мог очутиться мой адрес в таком странном виде у неизвестного мне студента. Точка».

— Не точка, не точка, господин Штернберг! Вот уж не думал, что встречу в вас такого упорного, не считающегося с фактами человека! Разрешите мне прочитать ваше официальное на этот раз письмо от 4 февраля сего года, адресованное Томскому губернскому жандармскому управлению. Так вот: «Мною было внесено в Томское казначейство в депозит губернского управления 300 рублей в качестве залога за освобождение мещанина Владимира Косарева, обвиняемого по ст. 121 Уголовного уложения». И подпись: «Статский советник П. Штернберг».

— Ну и что? Разве в этом акте гуманности по отношению к больному человеку есть что-то противозаконное? Внесение залога, как мне было разъяснено, является правом каждого подданного империи и не является противоречащим законам, указаниям, инструкциям...

— Не является, правильно. А вот известно ли вам было, что политический преступник Владимир Михайлович Косарев по сведениям департамента полиции собирается бежать?

— Ну откуда мне это может быть известно, господин полковник? Было бы известно, разве бы я выбрасывал вот так, на ветер триста рублей? И опять ваш вопрос не по существу: мое дело вносить залог, ваше — смотреть за тем, чтобы не бегали...

— А если мы недосмотрим и ссыльный убежит, то вы, господин Штернберг, будете его укрывать у себя в квартире? И почитать это вполне нормальным действием для преподавателя Императорского университета и статского советника?.. Не сочтите мои вопросы назойливыми, я разговариваю столь откровенно и прямо, ибо мы с вами на службе у государя императора состоим в одних чинах...

— Господин полковник! В свое время полковник фон Коттен мне популярно объяснил табель о рангах. Если вы ничего более существенного не можете мне сообщить, то прошу меня из-

винить... Вы сейчас на службе, а я своей службой вынужден манкировать...

— Манкируете, Павел Карлович, ох, манкируете! До новой встречи. Честь имею. Проводите господина Штернберга!

...Выслушав рассказ Штернберга о визите в Гнездниковский переулок, Николай категорически сказал:

— Да плюньте, Павел Карлович! Конечно, вы у них на крючке и они отлично знают, что не только узы личного характера соединяют вас с Варварой. Но, я думаю, они уверены, что в организации вы не состоите, а просто, ослепленный страстью к роковой девице, являетесь послушным орудием в ее руках. А девица эта использует чин и должность солидного человека... А может, кроме этой схемы, у них есть и другая, менее невинная... Но ясно, что никаких фактов у них нет.

— А что значит эта записка, найденная у Лобова?

— Вот этого не понимаю! Но что-то подозрительно быстро они с таким важным документом от вас отстали. Подождем. Будем заниматься газетой «Наш путь»! Вот это дело!

— Ну, занимайтесь, Колечка. Мне еще предстоит приятные объяснения с исполняющим обязанности ректора Императорского университета заслуженным профессором Лейстом... На-хлебаюсь!

Но другие, не университетские дела владели им. Варвара сидела в Бутырках, ей предстоял этап в Сибирь. Была бодра, весела, даже ухитрялась передавать свои предложения относительно дел в организации. Николай целыми днями пропадал невесть где. Однажды явился не один, а с Биной. Вот кому Штернберг обрадовался! Бина была похудевшей, но столь же живой и энергичной, как всегда. Она подробно и зло рассказывала, что из себя представляет русский парламент — Государственная дума, как трудно там рабочим депутатам. Из Питера приехала по поручению центра — помогать Николаю в организации газеты. Алексей еще сидел, но уже было ясно, что ничего компрометирующего охранка не нашла и что он отделается пустяками.

— Валентина Николаевна, если Алексея Ивановича вышлют административно, вы за ним поедете? Вообще существует такая возможность?

— Ну что вы, Павел Карлович! Столько дел, что ни о какой отлучке, хотя бы на месяц, речи не может быть. А Алексей такой болезненный, неприспособленный к житейским неудобствам... Но все равно — я буду в Москве. У меня теперь есть официальная служба. Я все же сделала большую журналистскую карьеру! Из репортера какой-то «Копейки» стала представителем столичной ежедневной газеты! Буду открывать в первопрестольной контору «Правды».

...Николай с восхищением рассказывал о невероятной энергии нового представителя «Правды». Оказывается, московский градоначальник запретил сдавать помещение под контору «Правды». Но Бина нашла какую-то развалюху в Косом переулке и с помощью профсоюзников-столяров начала ее ремонт.

В мае Яковлевы получили свидание с Варварой перед отправкой ее на этап. А в июне Николай пришел возбужденный.

— Лобова выпустили!

— Как? Совсем?

— Совсем. Ничего у него не обнаружили, совершенно ни к чему не могли придаться.

— А записка? Та, которую мне предъявили?

— Алексей Иванович ничего о ней не знает. Очевидно, это была провокация охраны. За Бину радостно, что дождалась Алексея. Ну и для нас, безусловно, большое счастье, что Лобов на свободе. Хороший организатор, нам станет намного легче.

Через несколько дней Яковлев с торжеством заявил:

— Герр профессор, сим сообщаю, что если вы и ваши университетские коллеги желают подписаться на столичную ежедневную газету «Правда» или же сотрудничать в оной, то пусть соблаговолят обращаться в контору вышеупомянутой газеты по адресу: Москва, Косой переулок, дом 29, квартира 6. Битте-дритте!..

«Наш путь»

В Москве шли торжества. Романовы отмечали трехсотлетие своей династии с треском, шумом, помпой... Николай объяснял это тем, что у династии остались считанные годы существования. «Им не придется праздновать даже тридцатилетия, даже тристапятилетия!» — говорил он Штернбергу. Но шумные празднества были на руку московским большевикам. Приезды в Москву высочайших особ, молебны, торжественные акты, открытие памятников, парады потешных, парады войск и многое другое отвлекали внимание блюстителей порядка. Коля уверял, что полиция так занята торжествами в центре города, что не заметит объявления республики где-нибудь на Благуше.

Так это было или нет, но дела с газетой шли хорошо. Уже были найдены люди, удовлетворявшие своей политической незаметностью требования начальства.

— Издавать газету решил господин Борщевский, — объявил Яковлев, довольно потирая руки. — Очень солидный господин, ни в чем предосудительном не замешан. И услужлив по самой своей профессии...

— То есть?

— Он официант. А редактором — господин Соколов.

— А это кто?

— Просто наш товарищ. Рабочий. Знает отлично, что в конце концов пойдет в тюрьму. Идет на это с открытыми глазами. Уже готов целый список «зиц редакторов». Понимаете, у нас уже есть опыт «Правды». Управление по делам печати накладывает на газету за статьи, подрывающие устои самодержавия, колоссальные штрафы. Денег на штрафы у нас нет, значит, редактора сажают в кутузку. И представляете, Павел Карлович, у нас много товарищей, согласных на то, чтобы садиться. А ведь у них семьи, дети... Ну мы, конечно, не дадим им с голоду умереть, но все же какая самоотверженность, нравственная чистота, идейность!.. И я определен на службу — перед вами ответственный секретарь редакции газеты «Наш путь». Печататься будем в типографии Будо на Мясницкой. И с товарищами мы уже составили редколлегияю.

И она вышла! Настоящая ежедневная газета со списком сотрудников.

— Смотрите, смотрите, — кричал Яковлев, — видите, какие у нас сотрудники: Ленин, Горький, Демьян Бедный — петербургский поэт, потом все наши! И условия подписки! И адрес редакции и конторы!

Да, трудно было привыкнуть к тому, что газета большевиков продается совершенно открыто! Штернберг в субботу 25 августа, проходя по Страстной площади мимо газетного киоска, не отказал себе в чисто ребяческом удовольствии: подошел к киоску, ткнул пальцем в «Наш путь», лежавший на прилавке, купил газету и тут же развернул ее. В трех минутах ходьбы отсюда, в Гнездиновском переулке, сидит в своем кабинете начальник охранного отделения полковник Заварзин. А большевистскую газету можно купить в киоске и открыто, на глазах у всех, читать, читать, читать.

Участие Штернберга в газете Яковлев отклонил мгновенно.

— Подумаешь, о кометах или еще о чем-то небесном будете писать! Без вас найдем ученых. Да и нет у нас места для того, чтобы небом заниматься! Тут дай бог с землей управиться! И не следует вам, Павел Карлович, ходить в сотрудниках большевистской газеты.

— Я что, полковника Заварзина обману, что ли? Да он про меня и мои убеждения знает!

— И пусть себе знает! А пальца в рот ему класть не надо. Вот ведь и Слава к газете не имеет отношения! Слава, скажи же Павлу Карловичу!

Друганов молчаливо кивал головой в знак согласия.

И Штернбергу оставалось быть только зрителем. Правда, довольно активным зрителем тех трех напряженных недель, когда в Москве выходила легальная большевистская газета.

Конечно, репрессии обрушились на газету с первого же номера. Собственно, и первый номер, и второй, и третий — все считались арестованными.

Николай приходил утром из редакции, которая помещалась в типографии, и тут же валился спать. Спал он не больше трех-четырех часов в сутки. Перед тем как заснуть, рассказывал Штернбергу очередные приключения с газетой.

В основе сложных отношений между редакцией «Нашего пути» и цензурой лежало то, что газета подлежала «последующей цензуре». Предполагалось, что первый экземпляр напечатанной газеты редакция посылает цензору, а сама терпеливо ждет разрешения. Как правило, «терпения» на это у московских большевиков не хватало. Когда в типографию являлась полиция с орденом старшего инспектора Познанского на конфискации газеты, она заставляла лишь несколько экземпляров («Еще будем когда-нибудь пользоваться архивом цензуры!» — говорил, улыбаясь, Яковлев, подымая вверх палец), обрывки упаковочного материала и не успевших разойтись рабочих. Погром, конечно, наступал, полиция разбивала стереотипы, рассыпала набор, старалась испортить рулоны бумаги. Рабочие в свою очередь умудрялись делать мелкие пакости полицейским: пачкали белые полицейские кители несмываемой типографской краской, заставляли полицейских в поисках газеты залезать в немыслимые дыры, откуда они вылезали чертовски вымазанные... Пока все это шло в типографии, номера газеты распространялись на заводах, а иногда даже, невзирая на формальную конфискацию, продавались в киосках. Не было случая, чтобы полиция арестовала весь тираж. Большевики-телефонисты выключали на ночь у Познанского телефонный аппарат, и, пока он звонил в бюро повреждения, пока дозванивался в полицию, газета расходилась. Подписчикам газету не посылали: ее арестовывали на почте. Тираж расходился в розницу. Первый номер был напечатан тиражом в восемь тысяч, следующие распространялись уже по двадцать две тысячи.

12 сентября явившаяся в типографию полиция не просто составила очередной протокол о конфискации номера, а дала редакции и владельцу типографии расписаться под постановлением московской судебной палаты о запрещении газеты «Наш путь» «вследствие противоправительственного ее направления».

Конечно, в этом ничего неожиданного не было. Было решено заранее: когда газету закроют, редакция начнет ее выпускать под другим названием. В Петербурге не раз закрывали «Прав-

ду», и она каждый раз начинала выходить под новым названием. Москвичи считали, что они все это сумеют организовать не хуже, чем в Питере.

— Подсчитаем,— сказал устало Яковлев, вернувшись домой после бессонной ночи в типографии,— подсчитаем наши доходы и убытки. Выпустили мы шестнадцать номеров газеты. Из них двенадцать номеров были арестованы. То есть числятся в арестованных. Все они дошли благополучно до читателя. Штрафов они нам, гады, накидали много. Придется нашему Феде Соколову садиться... Ну, да ничего! Сейчас начнем думать о новой газете. Как вы думаете, Павел Карлович, «По нашему пути» — хорошее название? Я, знаете, составил целый список названий для газеты. Как закроют одну, сразу же начинаем выпускать другую. Закроют «По нашему пути», начнем выпускать «Путь жизни», «Ясный путь», «Прямой путь», «Правильный путь»... А?

— Только не переоценивайте наивность жандармов,— мрачно ответил Штернберг.— Они тоже кой-чему научились на опыте петербургской «Правды». И как бы все придуманные вами пути не привели вас и всю редакцию в одно место: в тюрьму...

Предсказания Штернберга сбылись быстро. Николай не успел довести до конца хлопоты об издании газеты под новым названием. 16 сентября его арестовали прямо на улице. В квартирах профсоюзных и партийных активистов ночью раздались звонки и послышались — нового они так и не придумали! — голоса: «Телеграмма»...

На какое-то время после ареста Николая Штернберг очутился снова в изоляции. Даже Друганов, который полусерьезно-полушутя называл себя тенью Штернберга, исчез. А когда вдруг появился, то с нерадостными вестями.

— Удивительно, что даже такой опытный человек, как Бина, попалась. Все они были в помещении редакции, по телефону связывались с союзами, писали... Ночью полиция нагрянула в редакцию и сразу же всех забрала. И Борщевского, и Осинского, Максимовского, Усагина, Суница, и, конечно, Бину. Мало того: полиция оставила в редакции засаду и аккуратненько забирала всех представителей заводов, которые приносили взносы рабочих на восстановление газеты. Только через два дня удалось дать знать заводам, что в редакции сидят жандармы.

— А Лобов уцелел?

— Алексей Иванович уцелел потому, что выехал из Москвы. Да вы же не знаете. Скоро придут наши товарищи после совещания с центром.

...Об этом совещании в деревушке Поронино в Австрии, где жил Ленин, Штернберг услышал не от Лобова, который нигде не показывался, и не от докладчика из ЦК Серафимы Ивановны, присутствовавшей на совещании и приехавшей в Москву с докладом. Штернберг, конечно, на это собрание не пошел. Не было на нем и Друганова. Но вскоре охранка выпустила большинство работников «Нашего пути». Почти всех, кроме Николая Яковлева, которого департамент полиции на четыре года выслал в Нарымский край.

Среди выпущенных из тюрьмы была и Бина. И случилось так, что Штернбергу пришлось встретиться с ней при памятных для него обстоятельствах. Штернберг защищал в университете магистерскую диссертацию. Была она готова давным-давно, но не до защиты ему было. Цераский выходил из себя, требуя скорейшей защиты. И Штернберг понимал, что действительно нужно. Только эта защита давала ему возможность стать официальной заменой Цераскому, здоровье которого становилось все хуже и хуже.

После защиты, прошедшей блистательно, после всех речей и поздравлений Штернберг подошел к группке своих учеников, стоявших в конце зала и дожидавшихся его. И как же он удивился и обрадовался, увидев среди них Бину! Он ответил на все поздравления, пожал всем руки и спросил у Бины:

— Валентина Николаевна, вы не проводите меня?

— Вам же еще и на чествование, Павел Карлович?

— Это потом, вечером. А сейчас давайте удерем и поговорим. В кои-то веки...

В дальнем углу огромного ресторана «Прага», под раскидистой пальмой, Штернберг слушал неторопливый рассказ Лобовой о Поронинском совещании. Решения его были очень важны для партии. На будущий, 1914 год летом намечался созыв партийного съезда и предстояла в связи с этим огромная подготовительная работа. Правительство, очевидно, решило разгромить легальную большевистскую печать. То, что случилось с «Нашим путем», может произойти и с «Правдой». Вот почему, хотя большевики будут стремиться открывать как можно больше легальных изданий под видом профсоюзных, страховых и просто официально беспартийных, наряду с ними нужно организовать нелегальные типографии для печатания чисто партийных материалов и листовок. Это тем более важно, что уже никто — даже ликвидаторы — не могут отрицать нового революционного подъема. Дело идет к новому взрыву, и на этот раз уже не будут повторены ошибки пятого года.

Лобова рассказывала — конечно, со слов мужа — о совещании так подробно, как будто сама была в этой прикарпатской деревушке. Рассказывала с каким-то оттенком зависти к своему

Алексею, к тем, кому удалось несколько дней быть рядом с Лениным.

— А вы, Валентина Николаевна, бывали в Поронине?

— Да. И не однажды.

— Разве это так несложно? Вы ездили туда легально?

— Конечно, нет. Австрийскую границу мы всегда переходим очень просто. С помощью коров. Чего вы смеетесь? Я правду говорю. Понимаете, солдаты на границе стоят на расстоянии полуметра друг от друга. Они ходят по пограничной черте друг другу навстречу, сойдутся, потом расходятся. Вот когда они разойдутся, берешь корову — проводник уже наготове — и идешь к границе. Подошли. Проводник уводит корову назад, а сама перебежишь несколько шагов и — уже в Австрии...

— А дальше? Как попадаете в Поронино? И как там живет Ленин?

— Ну, это уже несложно. Австрийцы не охотятся за теми, кто переходит границу. Крестьяне довольно свободно ходят через границу на ярмарки, в гости к родным. Мы, когда впервые пришли в Поронино, стали спрашивать «Виллу Тереско» — нам сказали, что Владимир Ильич живет в этой вилле. Вот ищем мы ее... Надежда Константиновна очень смеялась, когда я ей рассказывала, что хожу, хожу по деревне, ни одной виллы не вижу. А «Вилла Тереско», где Ильичи живут, это простой крестьянский дом из двух небольших комнат и кухоньки. Я жила у них, и было мне неловко: как отдыхающая жила. А Владимир Ильич рано утром сумку на плечи — и на велосипеде на почту. Возвращается с кипой газет, писем и сейчас же садится отвечать на письма и писать статьи. Работает поздно за полночь. Утром отвезет то, что написал, и привозит новое. И так каждый день. Почти без отдыха. Я спрашиваю Надежду Константиновну: «Как же можно так работать?» А она мне отвечает: «При такой работе Ильича хватит еще на десять лет, не больше...» Да и сама Надежда Константиновна много работает. Занимается хозяйством — кроме них, всегда приезжие. А все остальное время сидит за перепиской, за шифровкой: она ведь фактический секретарь ЦК, ведет всю партийную переписку. Ну, что это мы соскочьзнули на несколько отвлеченную тему...

— Да какая она отвлеченная, Валентина Николаевна! Всем нам она очень близка. Значит, впереди съезд. Много дел... Провалы очень беспокоят. Иногда кажется, что охранка все знает, играет с нами в кошки-мышки...

— Да. И Ильича очень тревожат эти частые провалы. Конечно, можно не сомневаться, что охранка засылает к нам сотрудников. Но где нам их искать? На каком уровне? В среднем партийном слое или же у них есть кто-то очень близкий к центру? Но у нас в партии Азеф просто невозможен.

Мы бы его распознали просто по нравственному облику. Большевик даже ради конспирации не может кутить в ресторанах с шансонетками, вести жизнь жуира, как это делал Азеф.

— А что стоит агенту охраны вести жизнь примерного семьянина? Может же и так быть?

— Конечно, может. Думать про это страшно. Да и не хочется. А думать нужно. Я иногда с Алексеем делюсь этими мыслями, говорю, что стараюсь выбросить это из головы... А он мне отвечает, что нельзя прятать голову в песок, надо присматриваться и искать. Понимаете, Павел Карлович, — искать провокатора среди своих! Вопрос о провалах обсуждался и в Поронине. На случай провала членов ЦК наметили несколько опытных товарищей для кооптации в ЦК. Кстати, наметили для кооптации Варвару Николаевну. Думаю, что она вскоре появится. Вы, конечно, знаете, что ее уже нет на месте? Она бежала в конце сентября.

У Штернберга от этой новости перехватило дыхание.

— Нет, Валентина Николаевна! Я уже давно ничего не имею от Варвары. Теперь понятно, почему она замолчала!

Заслуженный профессор

Перед Новым годом появилась в Москве Варвара. В самое опасное, самое тревожное время. За две недели перед ее приездом жандармы арестовали сразу тридцать активных работников организации. Казалось, что у охраны на учете состоят все работники Московского комитета.

Но Варвара была полна энергии, она считала, что наступающий новый год принесет тот самый разворот событий, которого они ждали с таким нетерпением.

В январе из ссылки бежал Николай. Еще с пути прислал с оказией большое письмо, в котором весело писал, что в самом скором времени он продолжит свою журналистскую карьеру в большевистской газете, которая не только будет легальной, но и не должна будет опасаться полиции...

Все это на какое-то время было снято, отодвинуто начавшейся войной. 1 августа 1914 года круто переломило жизнь страны. Власти организовали спектакль «единения народа». Толпа с портретами царя, церковными хоругвями шла по улицам, пела «Боже царя храни» и «Спаси, господи, люди твоя». Уже начинали громить некоторые магазины с немецкими фамилиями их владельцев; на Кузнецком мосту, на Мясницкой и Сретенке шла лихорадочная замена вывесок. Коллега Штернберга по университету Лейст, когда его Павел Карлович спросил что-то по-немецки, гордо ответил, что он «не желает

разговаривать на языке тевтонов, которые выступили против нашей Руси-матушки». Тут можно было бы горько усмехнуться. Но на самом деле немало ученых, людей умных, благородных, оказалось в плену так откровенно раздуваемого шовинизма.

Какой торжествующий вой поднялся в русских газетах, когда стало известно, что немецкие социал-демократы голосовали в рейхстаге за войну. Все, кроме одного — кроме Карла Либкнехта. И как же был горд Штернберг, когда в Государственной думе депутаты-большевики проголосовали против военных кредитов, против войны.

Теперь расправами с рабочими занимались не только жандарм и полицейский, но и воинский начальник. Всех рабочих, подозреваемых в сочувствии большевикам, немедленно отправляли в маршевые роты, на фронт.

В звоне и разноголосье первого года войны Штернберг вдруг ощутил, будто находится в какой-то странной среде, которую физики зовут вакуумом. Ушел в армию Друганов. Пришел прощаться. Выглядел он нелепо в солдатской шинели, стриженный, щупленький... Невозможно было примириться с тем, что он должен идти в бой, бежать с винтовкой наперевес и кричать «ура».

— Что же делать, Павел Карлович! — устало сказал ему Друганов. — Я слишком долго был «вечным студентом» — так было нужно. Вот теперь и я в числе других старых студентов пойду воевать. Не уходить же мне в сторону, как дезертиру. В армии миллионы народа. А где же быть большевикам, как не с ним? Партийная работа должна быть везде.

— Вы что же, Мстислав Петрович, будете агитировать солдат против войны? — угрюмо спросил Штернберг. — Насколько я понимаю, за это вас мгновенно осудит военно-полевой суд и расстреляют. Вот и все.

— Ну, не такой же я дурачок! — усмехнулся Друганов. — Надобно быть с солдатами, вместе с ними сидеть в окопах, жить в грязи и холоде, быть под обстрелом, ежеминутно рисковать жизнью... Вот тогда я и получу право говорить от их имени, вести их за собой, когда время наступит...

— А когда оно наступит, Мстислав Петрович?

— Что же мы, волхвы? Кудесники, любимцы богов... Никто сейчас не может календарно предвидеть дальнейшего. Невозможно. Но вы же, конечно, знаете о позиции Ленина и большевиков. Эту свою войну русская буржуазия проиграет. А мы свою войну должны выиграть.

— Вы что же, солдатом будете?

— Пока солдатом. Вольнопером, так сказать. Вольноопределяющимся. Ну, при такой потере командного состава, какой идет, я через несколько месяцев буду произведен в прапорщики. Стану взводным. Это хороший для нас офицерский чин. Всегда

с солдатами. И — впереди них. Ничего, не горюйте, мой дорогой профессор! Ну что вы на меня так смотрите, будто заплакать хотите... Мы еще с вами встретимся, Павел Карлович! Встретимся да и повоюем за победу революции!

С уходом в армию Друганова в наступившем душевном состоянии Павлу Карловичу не могла помочь даже Варвара, хотя она и была рядом. Она готовилась стать матерью. Ее положение требовало спокойствия, и Штернберг выбивался из сил, уговаривая ее не рисковать собой и их ребенком. И товарищи в Москве с необыкновенной деликатностью старались, чтобы Варвара не рисковала. Теперь уж не она Штернбергу, а Штернберг ей рассказывал про то, что происходит в Москве.

...На Пресне действует социал-демократическая группа ленинского толка. Работает среди рабочих, распространяет листовки. Устанавливает связь с солдатами Московского гарнизона.

...Вышла печатная листовка: «Прокламация Московской организации РСДРП(б) против войны». Там прямо сказано о необходимости превратить войну империалистическую в войну гражданскую.

...В Симоновой слободе рабочие завода «Динамо» разогнали шовинистическую демонстрацию, разорвали трехцветный флаг, порвали портреты царя.

...На Даниловской мануфактуре началась стачка, охватившая всю огромную фабрику.

Самым трудным для Штернберга оказался перерыв в почте. Конечно, нельзя было ждать теперь писем из Германии и Австро-Венгрии. Но все же, хоть и с большим опозданием, почта с научной корреспонденцией приходила из Франции, из Англии и даже из-за океана — из Америки. А тех писем, с адресом, надписанным знакомой женской рукой, не было.

И когда такое письмо пришло, у Штернберга появилось давно забытое ощущение праздника. Письмо было из Швейцарии. Теперь надо узнать, кому его передать. Друганов в действующей армии, Лобовы уехали из Москвы в Крым. Хорошо, что есть Варвара! С ее помощью Штернберг установил связь с организацией. Письма из Швейцарии поступали не часто, но регулярно. И снова у него появилось чувство, что он в строю...

В университете почтенные профессора, собираясь перед началом заседания совета, не могли понять и объяснить друг другу, что же это происходит в Москве: идет «великая война славян с тевтонами», а на заводах русские люди, вместо того чтобы с радостью идти на фронт или делать снаряды, бастуют,

устраивают демонстрации и даже открыто выступают против войны!..

Действительно, стачечное движение начинало принимать почти такой же размах, как перед началом войны. И это несмотря на то, что московская охранка арестовывала группу за группой активных большевиков, а московский воинский начальник по спискам, присланным из жандармского управления, отправлял на фронт сотни рабочих, подозреваемых в принадлежности к партии или же бывших активистами во время забастовок.

В этой круговерти Штернберг продолжал свою обычную профессорскую работу. Теперь и официально профессорскую. Наконец, через столько-то лет, его утвердили в звании экстраординарного профессора. А так как исполнилось двадцать пять лет его преподавательской деятельности в университете, ему присвоили и звание заслуженного профессора.

— Ну что же, господин заслуженный профессор! — говорила ему Варвара в какую-нибудь хорошую, веселую минуту. — Дело-то все же, кажется, идет к краху империи и всего императорского. В том числе и университета. Как же быть с тем, что исчезнет звание заслуженного профессора и положенный ему трехтысячный пожизненный пенсион, а?

— Да ведь, сударыня, — отвечал ей в тон Штернберг, — когда произойдет такая катастрофа, то что будет делать второй гильдии купец Николай Яковлев? Кто будет покупать его драгоценности? По миру пойдет купец Яковлев! Бедные его дети! А хорошо бы, Варя, узнать, где сейчас преступное дитя — твой брат?

Если Варвара по обстоятельствам своей семейной жизни должна была вести оседлую жизнь, то Николай бегал «за двоих», как говорил в сердцах его отец. В самом начале 1914 года удрал из нарымской ссылки. Через некоторое время пришло от него весьма законспирированное письмо почему-то из Харькова. В марте его в Харькове схватили и снова отправили в Сибирь. Уже в августе была от него получена открытка с какой-то железнодорожной станции, и стало понятно, что Николай опять в бегах. На этот раз он в Москве не появился, а вскоре через одного приезжего товарища сообщил, что обретается в Питере. В конце сентября Яковлев уже принимал участие в совещании большевистских депутатов Думы и партийных работников, созванном в Финляндии. В ноябре от него пришло спокойное письмо из Баку. Но перед Новым годом Николая схватили и в Баку. Штернберг с ужасом думал

о страшном зимнем этапе из Баку в Нарым... Наконец пришло из Нарыма, как всегда, веселое письмо Николая. Писал, что собирается жить оседло, заниматься самообразованием, просил выслать ему книги. Милая девушка, которая любила Николая, решила ехать в ссылку за своим суженым. Раньше ей не удавалось с ним встретиться. Когда Николай бежал из ссылки и под чужой фамилией жил в Харькове, они списались, невеста поехала в Харьков, но жениха она уже застала в тюрьме... Следующий раз она поехала в Баку, где Николай собирался перейти на нелегальную работу. Но и там ей пришлось только носить передачу в тюрьму. После решения Николая отбыть ссылку она отправилась в Сибирь, и все домашние на Пресне радовались за нее и Николая: наконец хоть какие-то семейные радости обретет этот неугомонный человек! Из Нарыма была получена ее тревожная телеграмма: Николай арестован в самом Нарыме и отправлен в Томскую тюрьму. Когда невеста Николая в отчаянии вернулась в Москву, пришло письмо Николая. Жандармы пытались состряпать на него новое дело, ничего у них не получилось, и его снова вернули в нарымскую деревню...

Через год Николай прислал письмо из Томска. Его, как отбывшего ссылку, призвали в армию, зачислили в запасной полк, и он сейчас лихо размешивает томскую грязь на полковых учениях. Настроение у Николая было, как всегда, отличное. Писал родным, что он уверен в победе. Не приходилось сомневаться, какую победу имел в виду этот храбрый солдат.

— Варвара,— спрашивал у нее отец,— эти начальники — они что, с ума посходили, что такого, как наш Коля, в армию берут, винтовку ему дают? Это наш Колька пойдет умирать за царя-батюшку, да?

— Мы еще увидим, что за царя-батюшку не захочется помириться даже его министрам,— отвечала Варвара отцу.— А если правительство начнет отбирать только верных царю людей, они и дивизию одну не соберут... Это отлично, что наконец у рабочих и крестьян появились в руках винтовки и пулеметы. Мы еще посчитаемся за пятый год, посчитаемся за Пресню!

На белый свет

Сколько раз он представлял себе, как это произойдет. Он думал об этом, когда Варя и Николай уходили на партийное задание, а он оставался. Когда ему оживленно рассказывали о партийных делах, а он только слушал. Когда он ловил снисходительный взгляд студента, слушающего своего аполитичного, глубоко беспартийного профессора. В участвовавшие

бессонные ночи ему иногда казалось, что уже не хватит сил вести эту двойную жизнь.

Конечно, не один Штернберг с нетерпением ждал революцию. Но для него революция еще означала возможность стать, наконец, самим собой. Он понимал всю необходимость подполья для революционной партии. Но то подполье, в котором он был, Штернберг в сердцах называл не подпольем, а подполом, погребом, ямой. Сидит спрятавшись и только в видениях, в мечтах представляет себе кусок синего неба. И постоянно думает о том времени, когда из своего подпола, из своего погребца выйдет на белый свет. Как это произойдет? И как он тогда впервые ощутит свободу? Не только свободу для всех, но и свою, личную свободу.

Новый, 1917 год начался для организации традиционно. Готовились ко дню, о котором правительство запрещало вспоминать. Листовка московских большевиков призывала к всеобщей забастовке 9 января и кончалась словами: «Покажите, что революционная сила пролетариата жива и не разорвано Красное знамя рабочего класса...»

Оживленны были в этот день московские улицы. Потянулись в город толпы рабочих, бросивших цеха заводов Бромлея, Гаккенталя, Михельсона, Густава Листа, фабрик Жиро, Гюбнера, Котова, Цинделя, Прохоровской мануфактуры. И обсерватория была пуста. Почти никто из студентов не пришел. Штернберг сказал лаборантам и служащим, что сегодня занятия отменяются, а он сам идет в университет.

Штернберг вышел на заставу, пошел переулками от Пресненского вала через Малую Грузинскую, Тишинскую площадь к Никитской. Ему хотелось пройти этой дальней дорогой мимо больших и малых фабрик, которыми полна была Пресня. У Курбатовского переулка он оглянулся в сторону Прохоровки — ни одна труба не дымила. И в закопченных цехах завода Грачева на валу не грохотали станки; не бухал паровой молот в Александровских мастерских; за большими пыльными окнами табачной фабрики Габая у Тишинской площади не было слышно пулеметного треска папиросонабивочных машин.

Был понедельник, рабочий день. Но он скорее напоминал воскресный. Десятки людей, держась плотнее друг к другу, быстро шли, обгоняя Штернберга. Они все шли туда же, куда и он, — к центру. На Кудринской, у Никитских стояли наряды полиции — по два, по три человека — и скучными глазами провожали прохожих. Тверской бульвар чернел от людей. Мороз был небольшой, стволы и ветви деревьев покрылись серебром изморози, и на этом кружевном, нарядном фоне казались странными сотни людей в черных поношенных пальто, в плисовых теплых кофтах. Одни сидели на скамейках, другие ходили по бульвару, неумело изображая гуляющих. Штернберг

начал прикидывать, сколько же людей на бульваре. Он прибег к геодезическому способу: отсчитал количество людей на десятиметровом отрезке бульвара и умножил на всю длину Тверского бульвара. Получалось около двух тысяч. Расчеты Штернберга прервались. По сигналу гуляющая толпа стала сходить к центральной аллее бульвара. И вот уже исчезли гуляющие! Черная, слитная колонна людей двинулась в сторону Страстного монастыря. Где-то далеко высокий мужской голос зашел: «Отречемся от старого мира...»

Колонна демонстрантов дрогнула и остановилась. У Страстной что-то происходило. Со стороны Никитских ворот мелкой рысью надвигалась жидкая цепочка конной полиции.

— В переулки! — крикнул около Штернберга какой-то рабочий. — Давай врассыпную, давай через Леонтьевский!..

Люди бежали мимо Штернберга без страха, с каким-то веселым увлечением, подталкивая друг друга, смеясь, как на прогулке. Через несколько минут бульвар был пуст. Штернберг остался один.

Остался, подавив в себе желание плюнуть на всё, на все правила конспирации! Бежать вместе с ними, быть вместе с ними! Сколько он может еще так жить! Опершись на трость, Штернберг смотрел, как по пустому бульвару бегут мимо него полицейские в черных шинелях с оранжевыми шнурами револьверов. Некоторые из них даже на бегу козыряли высокому, очень почтенному господину.

В университете было бессмысленно шумно. Занятий не было, но коридоры полны людей. В профессорской рассказывали про митинги и демонстрации в центре города: на Театральной и Лубянской площадях, у Красных ворот, на Елоховской площади.

По обыкновению, Штернберг молчал, слушая рассказы, толки, пересуды своих коллег. Он все время думал о том новом, что почувствовал два часа назад на опустевшем Тверском бульваре.

— Они не боятся! Они теперь никого и ничего не боятся! — высоким, истерическим голосом говорил ректор университета Любавский.

И вдруг Штернберг понял, что то, о чем с отчаянием говорит неумный и реакционный профессор Любавский, и есть то новое, что он сегодня ощутил. Да, эти люди на Тверском, на валу, заставе, на пресненских улицах и переулках, — они никого не боялись! Они стали совсем другими, нежели те, кого он знал полтора десятка лет назад, десять лет, пять лет, год назад... Они стали другими! А значит, то, другое, что он столько ждет, — оно уже стучится в дверь!

И случилось это в предпоследний день февраля. Утро этого

дня было обычным, ничего не предвещающим. С утра те же разговоры об очередях в Москве, Протопопове в Петрограде, в газетах обычные туманные вести с фронта.

В обсерватории сыро, холодно. В кабинете дымят печи. На столе кипы таблиц, исписанной бумаги. Через месяц в Петрограде великое событие русских астрономов — Всероссийский астрономический съезд. Штернберг будет представлять Московскую обсерваторию, он делает один из главных докладов и уже второй месяц занимается его подготовкой.

И вдруг резкий телефонный звонок, к которому он до сих пор не привык. Телефон у них звонит так редко, что его пронзительный и неприятный треск всегда вызывает тревогу.

— Революция! Павел Карлович, революция! В Петрограде революция! — Не сразу он узнал знакомый голос астронома-наблюдателя Сергея Николаевича Блажко.

— Я говорю из университета,— надрывно кричал Блажко.— Сейчас звонили из Петрограда — там революция, войска все поднялись. Власть переходит к Государственной думе. Все студенты уже бросили заниматься...

Штернберг встал, отпихнул от себя толстую грудку бумаг на столе. Неужели? Неужели наступила? Неужели революция? А что ему следует сейчас делать? «Когда вы выйдете из подполья...» — вспомнил он спокойный голос Николая. Ну, вот, если Блажко говорит правду, если это не «беспорядки», а революция, то он сейчас выйдет из подполья! Выйдет из подполья! Господи! О чем он только думает! Прежде всего надо уйти из обсерватории. Идти на улицу. И там все станет ясно!

Да, революция! Штернберг это понял, как только вышел из Никольского переулка на Среднюю Пресню. Тротуары и мостовые чернели от людей. Они шли к центру. Штернберг увидел, как какой-то рабочий на ходу надевает на рукав своего пальто красную повязку.

— Барин, поедем! — Около него остановился извозчик. Возбужденно, с блестящими глазами, он кричал: — По случаю свержения государя императора, нынче до университета будет цельный рупь! И то дешево по такому случаю! Поедем, барин!

За всю дорогу Штернберг не увидел ни одного городского. В университете по коридорам пронеслись студенты, на широком подоконнике три студента старались прибить к невзрачной палке красный флаг. Один из них яростно стучал пресс-папье по гвоздю, он оглянулся на Штернберга невидящими глазами.

В профессорской все разговаривали друг с другом, и никто друг друга не слушал. Штернберга кто-то тронул за руку. Проректор Лейст, красный, возбужденный. Он потянул за собой Штернберга.

— Пойдемте, пойдемте со мной, Павел Карлович...

Они вышли в коридор и прошли в кабинет проректора. Лейст опустился на широкий кожаный диван, усадил рядом Штернберга и, наклонясь к нему, негромко — по-немецки, чего не позволял себе уже почти четыре года, — спросил:

— Что ж это будет? Ведь не может это быть?

— Может, — весело и по-русски ответил ему Штернберг. — И не только может, а уже...

— А государь император? — тоже по-русски спросил Лейст.

— Тю-тю государь император, — сказал Штернберг, глядя в растерянные, блуждающие глаза проректора. — Тю-тю и государь, и император, и все господа министры, и вся прочая, прочая и прочая... Тю-тю, Эрнст Егорович...

— Так что же это такое? Как вы это говорите, Павел Карлович?! Вы, заслуженный профессор, статский советник...

— А не будет больше статских советников, Эрнст Егорович! И действительных статских не будет! И не будет тайных советников! И Станислава не будет, ордена святого Владимира не будет! И ничегושеньки этого не будет, Эрнст Егорович! Все это кончилось! Понимаете, кончилось! На-все-гда!

— О майн гот! Что же это будет? Ведь появятся все эти — социальные демократы! И большевики! Вы, Павел Карлович, слышали о таких — большевиках?

— И слышал. И видел.

— Вы видели настоящего большевика? О, хотел бы я посмотреть, что это есть такое?

— Смотрите.

— На кого это смотреть?

— А на меня. Я большевик.

И, не дожидаясь ответа совершенно растерявшегося Лейста, засмеялся и вышел из кабинета проректора. Шел по коридору и смеялся. Тому, что тот самый выход из подполья, о котором он столько думал, произошел так смешно, просто комически, в кабинете проректора. Ну да, он вышел из подполья. Может всем говорить, наплевав на конспирацию, что он большевик! И может теперь ходить на собрания, выступать у рабочих, он теперь большевик, как и все его товарищи! Свобода! Вот теперь он понял, что такое свобода!

Да, но что же он должен делать? Не стоять же в коридоре университета и кричать, что он — большевик? Он должен работать.

...Был уже поздний вечер, когда он вернулся. Варвары не было. Ее очень долго не было. Штернберг понимал, что она уже там: заседает, обсуждает, решает. Ждать ее было нестерпимо трудно.

Варвара действительно пришла поздно. Измученная, усталая, озабоченная и такая радостная, что не было сил сказать ей слово упрека.

— Да, да, — сказала Варвара, села на стул и засмеялась. — Вот он, первый день свободы! Ну, товарищ заслуженный профессор, увидел, наконец, синее небо?

— Я-то увидел, Варюша. Увидел. А где ты была?

— В Мертвом переулке. У Владимира Александровича Обуха. Сбежались к нашему доктору все, кто мог.

— Кто ж там был? — с некоторой завистью спросил Штернберг.

— Да все старики москвичи были. Петр Гермогенович Смидович — ты его знаешь, это брат Вересаева. И Ольминский, и наш Иван Иванович Скворцов, и Виктор Павлович Ногин, и Землячка, и Сольц, — да было человек десять — двенадцать, а кричали мы так, как будто нас сотня была! И невозможно привыкнуть к этому чувству: не надо говорить шепотом, не надо оглядываться.

— Ну и что?

— Ну конечно, не банкет мы устраивали, хотя Владимир Александрович и достал из своих тайных погребов две бутылки вина. Праздновать некогда! Мы довольно быстро договорились о самом главном: о мобилизации на развертывание революции всех партийцев и всех московских рабочих. Написали обращение к рабочим, тут же наши повезли его в типографию. Пока нет еще точных сведений из Питера. Но очевидно, что в Думе хозяйничают даже не кадеты, а октябристы. Ха! Родзянко во главе революции! Красивая картинка! Но мы завтра же приступим к созданию Советов на заводах, в районах... Теперь нам предстоит работа!

Рано утром Штернберг прибежал в обсерваторию. Он зажег свет в темной и пыльной кладовой негативов и стал вытаскивать старые папки. Совершенно безошибочно он нашел ту самую. Теодолитные съемки...

За этим занятием его застал Блажко.

— Вы материалы к съезду готовите, Павел Карлович?

— К съезду? Какому съезду? — И от души расхохотался. — Нет уж, увольте, голубчик, от астрономического съезда и прочего небесного... Разве теперь съездом надобно заниматься? Рассчитывать до шестого знака орбиту нового астероида?..

— Да, пожалуй, не до этого...

— Ну и я так думаю. Сегодня все отменяется! Сегодня революция!

Планы города, сделанные десять лет назад, Штернберг убрал в стол и запер. Вчера Варвара сказала, что только теперь и начнется борьба. Вместо протухшего и обанкротившегося царька, вместо таких болванов и истериков, как Протопопов и Щегловитов, придется иметь дело с октябристами Гучковым и Рябушинским, с прожженными политиканами-кадетами. Они возьмут власть и ради ее сохранения пойдут на все...

В Москве — революция. Сегодня в этом можно было уже не сомневаться. Улицы в красных флагах, висящих на домах, а то и прямо воткнутых в снег. Флаги были узкими; с трехцветного содрали белую и синюю полосы и оставили только пламенеющий язык красной материи. Газетный киоск закрыт, висело написанное карандашом объявление, что сегодня газет не будет. Тут же рядом наклеена листовка. Та самая, о которой вчера рассказывала Варя.

Он стоял, читал и перечитывал: «Товарищи! Бросайте работу! Солдаты! Помните, что сейчас решается судьба народа. Все на улицу! Все под красные знамена революции! Выбирайте в Совет рабочих депутатов! Сплачивайтесь в одну революционную силу!» Он ее перечитывал, эту листовку, которую никто не срывал, которую, стоя с ним рядом, читали вслух мужчины и женщины — пресненцы, рабочие.

Трамваи не ходили. Густые толпы кричащих людей с красными флагами посреди мостовой. С винтовками на плече прошла какая-то воинская часть, духовой оркестр впереди и играет «Марсельезу» так, как будто это был привычный «Егерский марш». Разрезая толпу, ехала артиллерия. Рыжие лошади неторопливо тащили трехдюймовые пушки. По бокам и позади пушек — артиллеристы. Конские гривы и сбруя были украшены алыми лентами, на зарядных ящиках сидели мальчишки и изо всех сил кричали: «Нам не надо золотого кумира, ненавистен нам царский чертог...» Штернберг смотрел на ликующих мальчишек. Они, наверное, и не знают, что значат эти слова: «кумир», «чертог». Но знают, что поют революционное! А пушки те же... Точно такие, из каких расстреливали таких же мальчишек здесь же, на этой же улице, тогда, в декабре пятого... Да, пушки нельзя выпускать из рук!..

У Никитских ворот он увидел слева на бульваре густые клубы дыма. Штернберг быстро пошел по Леонтьевскому, а потом к Гнездиновскому. Мимо него бежали радостные мальчишки и кричали. «Охранка горит! Полиция горит!»

— Вот, Павел Карлович! Дождались! Поздравляю вас со свободой!

Штернберг остановился и обернулся. Рядом с ним стоял

запахавшийся студент с красной повязкой на рукаве. На повязке лиловым химическим карандашом было жирно написано: «Милиц.». На портупее через плечо у студента висела полицейская шашка, за поясом заткнут наган с остатками оранжевого шнура. Студент был знакомый, с физмата. Штернберг покопался в своей памяти и мгновенно вспомнил его фамилию — Урбанович.

— И вас со свободой!

— Какая радость, Павел Карлович! Горит охранка! Горит осиное гнездо!

— Горит. И очень плохо, что горит. Как вы думаете, кто поджег охранку?

— Ну, как это кто? Рабочий класс, Павел Карлович! Революционный народ!

— Ох и наивный же вы человек, коллега! Охранку наверняка подожгли сотрудники полиции, жандармы, подожгли провокаторы, чтобы уничтожить следы своей деятельности! Вы милиционер?

— Да.

— Товарищ Урбанович! Немедленно найдите всех ваших товарищей, всех сознательных студентов, рабочих! Оцепите охранное отделение, тушите здание, не подпускайте никого посторонних. Главное — сохранить бумаги! Подбирайте все бумаги, складывайте их в надежное место, поставьте охрану! И действуйте немедленно! Тех, кто особо старается уничтожить бумаги, арестовывать! Немедленно действуйте!

Урбанович растерянно посмотрел на Штернберга. Профессор астрономии, самый что ни на есть аполитичный профессор. Еще было ясно поздравить его с революцией...

— Ну что же вы стоите?! Вперед, в Гнездиновский! И делайте то, что я вам сказал!

Штернберг возвращался в обсерваторию донельзя усталый, оглушенный всем, что видел, слышал, испытал. На Средней Пресне вокруг деревянного дома стояла толпа. Чердачное окно было выломано, по крыше бегали какие-то штатские люди с винтовками. Штернбергу начали объяснять: это дом пристава, в нем засели вооруженные городовые и начали стрелять в проходившую демонстрацию с красными флагами. Убили одного рабочего. Городовых схватили и разоружили. А некоторые еще прячутся на чердаке. Их ищут.

Штернберг шел, упорно думая об одном и том же: что он теперь должен делать? Его роль законспирированного связного окончилась. А дальше? Кем он будет в партии? Агитатором? Пропагандистом? Литератором? Боевиком? Он перебирал в уме все партийные «специальности», знакомые по подполью. Аги-

татором он себя никогда не пробовал. Говорят, что лекции он хорошо читает. Но для революционного агитатора, очевидно, требуется не спокойная и размеренная речь лектора... И литератором он не станет. Пишет он мало, редко и скучно. Никаких литературных способностей у него никогда и не было, ему в партийной печати делать нечего. Особенно сейчас, когда из подполья вышло множество талантливых людей.

Боевик? Пожилой, пятидесятидвухлетний, тишайший, заслуженный профессор — боевик? И совершенно отчетливо Штернберг понял, что, конечно, он боевик! Что наиболее всего он приспособлен к тому, что является кульминацией революции, ее непосредственным актом, — к вооруженной борьбе! Он сумеет упорно и всерьез драться, раз уж дело дойдет до драки. А что до нее дойдет, у Штернберга нет никаких сомнений. И он знает, что сейчас надо делать!

Он об этом сказал поздним вечером. Это не было никаким заседанием, никто не думал о том, как назвать эти летучие, быстрые собрания большевиков. Из присутствующих Штернберг, кроме Варвары, знал только Ивана Ивановича Скворцова-Степанова. Никто никого не представлял, и все, очевидно, знали, кто такой Павел Карлович Штернберг.

Речь шла о том, что буржуазия и меньшевики быстро действуют. Московские промышленники создают что-то вроде комитета, собираясь прибрать к рукам власть. А меньшевики, пользуясь тем, что охранка и призывные участки выкачали из Москвы наиболее активную часть большевиков, проводят в Советы рабочих и солдатских депутатов своих людей. Они-то — оборонцы — на месте! Их не тронули!

Иван Иванович сказал:

— Мы получим подкрепление. Завтра же с утра надо мобилизовывать народ и освобождать политических. Если охрана будет сопротивляться — брать Бутырки штурмом, как Бастилию! Подтянуть к тюрьме батарею пушек — у нас уже есть революционные артиллеристы. В Бутырках сейчас не меньше трех тысяч человек. Подавляющее большинство — политики. Из них больше всего большевиков. Мы получим сразу же сотни испытанных товарищей для работы. Это — первое. Надо оформлять организацию. Создать работоспособный комитет. И — я считаю это главнее главного — газету! Немедленно создавать большевистскую газету. Без нее мы ничего сделать не сможем.

— А милиция?

Все обернулись к Штернбергу, который молчал все время, а сейчас вдруг задал этот вопрос. Штернберг спокойно, как будто он лекцию читал, продолжал:

— По-моему, нужно, чтобы за нашим комитетом, за Советами, за газетой стояла реальная вооруженная сила. Сейчас вместо полиции бегают по городу юнцы с шашками. Все они студенты, есть даже гимназисты. По-моему, надо вооружать рабочих. И рабочие отряды лучше всего создавать под видом милиции. Не просто милиции, а рабочей милиции!

— Дело говорит Павел Карлович,— сказал Скворцов-Степанов.— По-моему, ему этим и заняться. Кстати, Павел Карлович — может, это вам, товарищи, и не всем известно — после пятого года работал в Военно-техническом бюро организации. К нашей конференции ему и следует подготовить предложение о милиции, то есть о том, чтобы немедленно начать вооружать рабочих.

Сила тяжести

Ну, а наука? Разве революция отменяла науку, которую Штернберг любил постоянно и бескорыстно? Ему казалось, что в нем столько сил, что ради революции не надо будет отказываться и от науки. Был университет, была обсерватория, были ученики, предстоял Всероссийский астрономический съезд. Профессор Штернберг должен был представлять на Всероссийском съезде астрономов не только Московскую обсерваторию, но и московскую астрономическую школу. Он понимал всю ответственность этого. При всей своей занятости по несколько часов в день он сидел за материалами многолетних астрономических наблюдений, готовя свой доклад.

Но больше радости ему доставляла другая работа и подготовка другого доклада. Он приходил в дом, изукрашенный цветными кирпичиками,— училище Капцева в Леонтьевском переулке. Там обосновался Московский комитет большевиков — среди многих других разных комитетов и организаций. В конце марта — начале апреля предстояла 1-я Московская общегородская конференция большевиков.

Конечно, первая послереволюционная конференция была праздником для всех московских большевиков. А все же, думал про себя Штернберг, для него это праздник особенный. Он сидел в президиуме конференции рядом со старыми партийными товарищами, всматривался в зал, заполненный солдатами и рабочими, и не переставал удивляться тому, что он среди «своих». И, выступая, слышал, как одобрительно кричали ему из зала, когда говорил, что рабочий класс обязан сам вооружиться. И ни на минуту не следует верить сладким словам о «безоружной революции». Нет, революции безоружными не бывают! В середине своего доклада он, неожиданно для самого себя, остановился от пришедшей ему мысли и сказал:

— Товарищи, те, кто помнит декабрь пятого года! Дадим себе клятву, что нас никогда больше не застанут безоружными!

И зал захохотал навстречу его словам. Штернберг был избран в Московский комитет — вместе с Ольминским, Пятницким, Землячкой, вместе с Варварой Яковлевой.

А все же Штернберг оставался и астрономом. Сразу же после закрытия конференции он уезжал на астрономический съезд в Петроград. Ах, с какой завистью смотрели на него! Нет, не в университете, а в Московском комитете большевиков. Когда 3 апреля Иван Иванович Скворцов-Степанов открывал конференцию, он предложил послать телеграмму-приветствие большевикам, находящимся в эмиграции, и в первую очередь товарищу Ленину! А через несколько часов после этого доклад Ивана Ивановича был прерван неожиданным и срочным сообщением: сегодня вечером в революционный Петроград ожидается приезд товарища Ленина! Зал загремел овацией.

И вот Штернберг едет в Петроград, и там он, возможно, увидит и услышит Ленина! В свой толстенный портфель Штернберг уложил не только доклад на астрономическом съезде, но и длинный список вопросов, по которым он рассчитывал получить «авторитетную консультацию», как, посмеиваясь своей профессорской терминологии, говорил он.

Но в Петрограде, в особняке Кшесинской, где помещались Центральный и Петроградский комитеты, все ходило ходуном. Ленина застать и с ним поговорить оказалось вовсе не простым делом. Ленин был или в редакции «Правды», или уезжал на выступление. Штернберг сразу же решил, что у него нет прав и оснований отрывать Ленина для разговора с одним из представителей Московского комитета.

В ЦК ему сказали, что материалы для Москвы переданы Миханлу Степановичу Ольминскому, который две недели работал в редакции «Правды» и недавно уехал в Москву. В Петроградском комитете Штернберг минут двадцать говорил с секретарем ПК Глебом Ивановичем Бокием. Совершенно замороченный, не спавший три ночи, Бокий слушал рассказ Штернберга о том, как москвичи собираются организовывать рабочую милицию, слушал так, как будто и не слышал ничего, а потом востропел и сказал:

— Имейте в виду, товарищ Штернберг: московская буржуазия вам милицию не отдаст. Не настолько они наивны, чтобы передавать вам реальную вооруженную силу в городе. А мы тут, в Питере, собираемся организовывать Красную гвардию. Вооружать рабочих, обучать их — словом, иметь под рукой свою вооруженную силу. Я думаю, что и вам надобно это делать. Впрочем, вас не надо учить, опыта у вас больше, чем у питерцев... Главное — иметь оружие! Любыми средствами

и способами добывать оружие и хранить в верном месте! — Бокий поднял на Штернберга глаза, оказавшиеся совсем не заспанными, и спросил: — Есть в Москве гравитационный «разрез Штернберга». Там профессор занимается изучением гравитации. Не родственник?

— Даже не однофамилец, — пошутил Штернберг. — Просто я сам и есть этот профессор. А вы откуда про гравиметрию слышали? Или тоже мой коллега?

— Ну что вы, товарищ профессор! — рассмеялся Бокий. — Я просто-напросто недоучившийся горняк. И даже когда-то подрабатывал в экспедициях. Так что наслышан... Приятно, когда у нас в партии профессора занимаются подготовкой к уличным боям. Академически все будет организовано. Желая вам удачи! Небось свидимся еще... А Владимира Ильича я и сам почти не вижу — он все время в работе!

А Ленина он все же увидел. Однажды в вечерний, но уже по-весеннему светлый час, подходя к зданию ЦК, он увидел большую толпу. Солдаты и рабочие слушали человека, говорившего с балкона. Штернберг протиснулся ближе. Ленин! Он только что закончил свою речь, толпа разразилась аплодисментами, Ленин весело махнул рукой и ушел с балкона.

Эти дни Штернберг проводил на Васильевском острове, в Академии наук. Съезд астрономов был в русской науке большим событием — он был первый! Собрались на него астрономы всей России. И, несмотря на войну, прибыли некоторые ученые из союзных и нейтральных стран. Штернберг сидел в президиуме съезда, слушал вице-президента Академии наук Карпинского, открывавшего съезд, доклад старейшины русских астрономов директора Пулковской обсерватории Белопольского, выступления других ученых. И сам выступал. Стоял на кафедре, облаченный в парадный сюртук, солидно поглаживал черную бороду. Смотрел в зал, видел внимательные глаза своих коллег, и вдруг в голове его мелькнул вопрос: а знают ли его коллеги, что докладчик — член Московского комитета большевиков?

Охранная кличка — «Мек»

Во второй половине марта перед началом заседания Совета рабочих и солдатских депутатов Смидович отвел в сторону Штернберга.

— Павел Карлович! Тут мы советовались с товарищами, хотим вам поручить одно дело. Довольно деликатное.

Вы слышали о Комиссии по укреплению нового строя?

— Это что же такое?

— Нет, нет, это не противовес нашему Совету! Совсем другое. Не знаю почему, но так назвали комиссию, которая должна заняться разбором дел московского охранного отделения. И выявить провокаторов, которых охранка засылала в революционные организации. Комиссия эта — межпартийная, составленная из представителей всех партий. И мы думаем, что вы там будете представлять нашу партию.

— Петр Гермогенович, я же не юрист! Там, верно, следует быть товарищу, знающему юриспруденцию...

— Ну какая там нужна юриспруденция? Председателем комиссии будет известный адвокат Малянтович — он собаку съел в ней. Может, удастся выяснить причины многочисленных провалов в нашей организации за все последние пять — семь лет. Это нелегкое дело, и мы остановились на вас, Павел Карлович, не только потому, что вы — профессор, известный ученый, но никогда не арестовывались, с охранкой находились, как говорится, в сравнительно отдаленных отношениях. А следовательно, являетесь в глазах всех остальных членов комиссии наиболее объективным. Противная, конечно, работа. Но ничего не поделаешь, это необходимо, Павел Карлович.

Комиссия собралась в помещении градоначальства на Тверском бульваре. За стеной этого хорошо знакомого всем москвичам красивого дома, в Гнездниковском, стояло недогоревшее, полуразрушенное здание, в котором Штернбергу пришлось два раза разговаривать с двумя полковниками: фон Коттенем и Заварзиным.

Теперь ему предстояло разговаривать с третьим полковником, бывшим начальником московской охраны Мартыновым. С ним, с его помощником подполковником Знаменским, с ротмистром Ганько.

Штернберга встретили настороженно. Когда собрались на первое заседание и Малянтович огласил состав комиссии, какие партии и кем представлены, множество недоумевающих и удивленных глаз устремилось на Штернберга. Ну да, они же считали, что ему положено представлять кадетов, или, как они сейчас называются, «партию народной свободы». А оказывается, заслуженный профессор астрономии Штернберг — от большевиков.

Малянтович оторвался от списка, посмотрел на Штернберга и грустно-сочувственно сказал:

— Мы понимаем, уважаемый Павел Карлович, всю тяжесть того, с чем вы, как представитель своей партии, можете встретиться... Особенно в связи с тем, что стало известно из петроградских газет...

И Штернберг уловил в глазах некоторых членов комиссии злорадную ухмылку. Только что во всех петроградских, а затем и московских газетах во всех подробностях описывалась история «второго Азефа». Да, Малиновский, член ЦК, депутат Думы от Московской губернии, оказался провокатором...

Малянтович продолжал говорить о задачах комиссии. Много дел охранного отделения сгорело. Но большинство самых секретных дел находилось в несгораемых шкафах, и они уцелели. Сохранилась картотека охранного отделения.. Огромная картотека из трехсот тысяч карточек. На каждого, кто попадал в поле зрения охраны, на кого имелись какие-нибудь данные, полученные от жандармерии и секретных сотрудников. Картотека содержалась в образцовом порядке. Все карточки разных цветов, в зависимости от партийной принадлежности: социал-демократы — синего цвета, социалисты-революционеры — красного, анархисты — зеленого, кадеты и беспартийные — белого цвета, а студенты, не имеющие партийной принадлежности, — желтые.

Главный интерес для комиссии представляла не столько эта картотека, сколько донесения секретных сотрудников охраны, тех, которых она засылала в революционные организации. Но установить личность секретных агентов по их письменным донесениям невозможно, они подписывались кличкой, которую получали от охраны. Расшифровка этих кличек — дело трудное. Для этого надобно или получить показания от жандармов, которые с агентами работали, или же найти то, что тщательней всего хранилось: подлинные расписки вступающих на путь провокации.

Конечно, от арестованных жандармов получить сведения о секретных сотрудниках было нелегко. Каждый из них валил на другого, они даже утверждали, что не знали подлинных фамилий своих осведомителей. Но Штернберг снова и снова убеждался в справедливости древней пословицы: нет ничего тайного, что бы не стало явным.

Теперь члены комиссии работали в помещении Юридического общества на Малой Никитской. Штернберг с утра приходил пешком на эту тихую улицу. Добровольные делопроизводители из студентов-юристов приносили ему толстенные дела: донесения, переписку, денежные расписки, телеграммы департамента полиции.

И там, среди множества других, увидел он агентурное донесение, подписанное кличкой Мек. Донесение, написанное знакомым почерком. Он его запомнил. Этим почерком был записан его адрес на бумаге, которую когда-то отобрали у Лобова при его аресте. Штернберг почувствовал, что у него сразу же похолодело внутри, руки стали вялыми и ватными.

В комиссии работали опытные адвокаты, хорошо знавшие делопроизводство департамента полиции и охранного отделения. С их помощью Штернберг начал распутывать ухваченную ниточку. Через несколько часов у него не оставалось никаких сомнений.

В справке, составленной Комиссией по укреплению нового строя, было написано: «Алексей Иванович Лобов, охранная кличка — Мек. Состоял в рядах социал-демократической партии с 1903 года, работал в партийных организациях Крыма, Саратова, Харькова, Одессы. С конца 1911 года входит в состав Московского комитета РСДРП (большевиков). В марте 1913 года поступил на службу в московское охранное отделение, получив кличку Мек. Сообщал о работе Московской окружной организации, о партийной школе в Поронине, освещал деятельность Бюро Центрального района. Выдал участников «ленинского совещания», в котором сам принимал участие. В октябре 1913 года объехал по партийному поручению Владимирскую и Костромскую губернии, причем выдал охранному отделению все явочные адреса. По доносам Лобова произведено очень много арестов. Один из наиболее крупных провокаторов. В конце 1915 года сотрудник Мек уволен начальником охранного отделения полковником Мартыновым за систематическое пьянство».

Лобов — провокатор! «Мой Алексей... Алеша...» Так его всегда с нескрываемой нежностью называла Бина. Этот негодяй обманывал и ее, так нежно и преданно его любившую. Штернберг вспомнил Бину, ее оживленное лицо, ее глаза. И как тяжело рассказать о Лобове товарищам! Всем, кто знал и любил Бину.

Списки провокаторов были опубликованы в газетах. По наведенным справкам выяснилось, что Лобов живет в Симферополе. Штернберг послал телеграмму Симферопольской милиции, чтобы Лобова арестовали и препроводили в Москву.

Вот и пришлось все же Штернбергу встретиться с Лобовым. Могло ли ему прийти в голову, что все это осуществится вот так!..

В комнату к Штернбергу стремительно вошел председатель комиссии Малянтович.

— Сюрприз для вас, Павел Карлович! И для всех вас — большевиков! Привезли Лобова. Ну и тип же, доложу вам. Его арестовали в Симферополе и в Москву привезли два человека из милиции. Так ваш Лобов два раза убежал. Хорошо, что его быстро удалось снова схватить! Лобов сидит пока в генерал-губернаторском доме. Может, хотите первым из нашей комиссии с ним поговорить? Все же ваш, так сказать...

— Прежде всего Лобов не мой, не наш и, надеюсь, не ваш. Лобов из охранки. Он сотрудник департамента полиции, а не мой товарищ по партии!

— Ну что вы, что вы, Павел Карлович! Аж побелели... Вы что, шуток не понимаете?

— Шутки я понимаю. И знаю границу им. Ну ладно, ладно, не извиняйтесь. Конечно, я поеду на Тверскую.

Он сидел за столом в маленькой комнатке генерал-губернаторского дома, где-то наверху, чуть ли не на чердаке. Дверь открылась, милиционеры, видно рабочие, пропустили небольшого, уже обросшего двухнедельной бородой человека. Старший милиционер сказал:

— Садись, белый. И ни-ни! Товарищ, мы тут будем за дверь. Если что — кликни.

— Хорошо, товарищи.

У Штернберга так сильно билось сердце, что ему казалось: тугие удары слышит сидящий за столом напротив.

Лобов молчал, вглядываясь в Штернберга.

— Лобов! Бина, то есть Валентина Николаевна, знала или подозревала о вашем сотрудничестве с охранкой?

— Если бы она подозревала!.. Я бы тут не сидел напротив вас.— И с внезапной злобой он продолжал: — Из-за нее, из-за нее я попал в сети охранки! Из-за нее! Если бы она была хоть как-то мягче, снисходительней, я бы не сидел в этой комнате как подсудимый...

— Какой же вы, Лобов!..— Штернберг задохнулся от отчаяния.— Почему жена ваша виновата в том, что вы стали провокатором?

— Да потому, что она хотела, чтобы я был святой! Понимаете — святой! Чтобы я был как Желябов, как Ульяновы! А я — обыкновенный человек! Я и выпить люблю, и в ресторане хорошем посидеть, и на стороне погулять... Я — как все! И что ж, это кому мешает?..

— Вы наглец, Лобов! Вы не только предатель, вы и наглец! Так как же охранное отделение вас запутало, как вы говорите?

— А обыкновенно... Узнало про мои грешки, пригрозило, что Бине станет об этом известно. А я очень ее боялся. Вы не думайте, я ее любил. Больше всего на свете боялся, что она про меня может плохое узнать! И я вынужден был начать что-то говорить Заварзину и Мартынову...

— Ну, положим, не что-то, а очень много. И охотно. Вы напрасно тут путаете, Лобов. Такие господа, вроде вас, думают, что все их секреты очень глубоко спрятаны. А они, все ваши секреты, вот тут, в этих папках. Вы знали, что Малиновский — сотрудник охранки?

— Узнал про это, когда меня везли в Москву, из газет. Вот, пожалуйста, депутат Думы, член ЦК! А он, оказывается, не мне чета — пятьсот рублей получил!

— Жалеете, что мало получали... Значит, ничего о Малиновском не знали?

— Да я по поручению Заварзина за ним следил, как за виднейшим большевиком! И докладывал обо всем! Я и не подозревал, что и он... А то бы...

— А то бы надбавку себе выпросили?.. Ну, разговаривать с вами не о чем. Следователю и суду будете отвечать.

— А какие сейчас следователи есть? И суд какой? Старых законов нет, а новые еще не написаны! Да что мне с вами, Павел Карлович, разговаривать? Вы думаете, я про вас не знал? Что сидите в своей обсерватории да работаете в партии... Все знал про вас! А не выдал! В Гнездиновском ни слова не сказал! Вы думаете, я там все рассказывал? Нет! Я знал, что им можно говорить, а чего не следует...

— Лобов! Вы отдавайте отчет, что говорите. Вы — секретный агент охранного отделения, служащий департамента полиции.

— Ну, был! Я об этом еще расскажу. Я не боюсь. Надо по справедливости все взвесить. А знаете ли вы, что меня Мартынов выгнал из отделения? Как собаку какую выгнал!

— Знаем. Про вас все знаем. Вас из охранки выгнали за пьянство. Даже жандармам такой господин, как вы, не годился.

— А почему пил? Совесть мучила.

— Лобов! Вы не смеете говорить таких слов! Совесть! Вы и совесть! Да, законы новые еще не написаны, но они есть, эти законы. Законы революционной совести. Вот по ним, по этим законам совести, вас, Лобов, и будут судить.

Штернберг постучал по столу и крикнул:

— Товарищи милиционеры! Зайдите и уведите арестованного провокатора.

Долго и устало сидел за столом. Был Штернберг человеком железного здоровья. Физического, душевного. Он никогда не ощущал груза своих лет. Только сейчас, после разговора с Лобовым, вдруг понял, что он немолод, что может быть и такая, непреходящая усталость. Вот сейчас бы уйти, уйти в баню, мыться бы там до изнеможения, париться, смывая ощущение липучей и вонючей грязи после разговора с Лобовым. А потом заснуть и проснуться, не помня больше о нем. Но почему он думает только о себе? А чувства Ленина, когда он вспоминает Малиновского? А Бина? Разве можно сравнить то, что чувствует он, с тем, что переживает Бина?

Жарким летом в Москве

В конце мая уже было почти по-летнему жарко. Штернберг сидел в обсерватории и рассматривал работы студентов, которые продолжали изучение «разреза Штернберга». Как-то получалось, что множество новых дел, вызванных революцией, не могло заслонить его научные интересы. С удивлением ловил себя на том, что в самых далеких от науки ситуациях — на заседании Московского комитета — в голове у него вдруг появляются новые варианты расчетов напряжения магнитного поля. Иногда сосед заинтересованно начинал посматривать, что так увлеченно записывает профессор, и тогда Штернберг, смеясь, показывал ему листок, исчерченный математическими формулами.

Позвонили из университета. Служитель, задышавшись от волнения, сказал, что всех господ профессоров срочно и обязательно вызывают в университет. Что это могло быть? Новая университетская реформа? Он с трудом нашел извозчика и поехал на Моховую. В университете гардеробщики, служители и профессора находились в торжественно-приподнятом настроении. Штернберга попросили пройти в Круглый зал около кабинета ректора. В зале толпились взволнованные профессора, мелькали студенты с красными бантами на тужурках и уж совершенно непонятные господа во френчах с аксельбантами.

Штернберг не успел задать коллегам вопрос, почему «пальба и крики и эскадра на Неве», как дверь ректорского кабинета распахнулась, оттуда появилась небольшая группа высшего университетского начальства. Впереди властно вышагивал среднего роста человек со знакомым всей России ежиком стриженных волос, прячущий под тугим, застегнутым френчем наливающийся животик. Ах, вот зачем, оказывается, их, московских профессоров, ученых, со всей Москвы собрали сюда!

Керенский остановился и, кивнув головой в ответ на аплодисменты, заговорил высоким, отрывистым голосом. Он поблагодарил высокоуважаемых профессоров старейшего университета за приглашение. («Я тебя, что ли, приглашал?» — устало думал Штернберг.) Он, военный и морской министр, высоко ценит патриотический порыв русской интеллигенции, особенно сейчас, когда доблестная русская армия готова показать всему миру, на что она способна!

— Господа! Нам всем предстоит жаркое и знаменательное лето. Будем достойны того великого, что нас ожидает. Благодарю вас, господа!..

Керенский оборвал фразу, закрыл красными веками усталые глаза и наклонил голову. Стоящий за ним адъютант шелкнул

каблуками и почему-то взял под козырек. Сопровождаемый университетским начальством Керенский со своей свитой пошел к выходу.

Штернберг пожал плечами и спросил стоявшего рядом с ним Каблукова:

— Вот вы, Иван Алексеевич, аплодировали ему. Так объясните, пожалуйста, почему вас — химика, меня — астронома, механика Чаплыгина, почему московских ученых, как пожарных по тревоге, вызывают в университет? Только для того, чтобы выслушать несколько пошлых слов этого банальнейшего господина? Чего он стóит по сравнению с любым доцентом или лаборантом, здесь находящимся? Вы не находите в этом то самое унижительное, от чего, как мы полагали, избавились три месяца назад?

Низкого роста, Каблуков закинул вверх голову и посмотрел на мрачную громаду Штернберга.

— Я слышал, вы большевик, Павел Карлович?

— Большевик.

— И власть собираетесь взять?

— И собираемся...

— Вот когда ее возьмете и нас здесь соберут, а вы выйдете из этой двери, а позади вас будет этакий с аксельбантами, то на правах старого коллеги подойду и выражу свое удовлетворение от того, что на этот раз вышел не юрист без всякой степени, а настоящий ученый и даже заслуженный профессор... И вся будет разница!

Каблуков захохотал во все горло. Штернберг сурово посмотрел на остряка. Ему смешно! А вот Керенский прав в одном: предстоит жаркое лето!

Июнь накалялся тем московским зноем, который берется неведомо откуда: вчера еще была прохладная весна и листья тополей были клейки, а сегодня к вечеру они стали вялыми от внезапной жары. Погоде соответствовало и все остальное...

Этот господин во френче сделал то, чего от него требовали иностранные союзники: наступление русской армии началось. Ударили во все колокола. Газеты пестрели огромными заголовками: «Первый могучий удар!», «Безудержное стремление вперед!»... В газетах «Русское слово», «Московский листок», «Утро России», «Копейка» и множестве других журналисты самого разного калибра, сидя в душных комнатах редакций, начинали свои статейки словами: «Действующая армия. Энский фронт...» Кадеты, энесовцы, эсеры устраивали пышные патриотические собрания. Даже в Совете рабочих депутатов, состоявшем, правда, в большинстве из эсеров и меньшевиков,

удалось проташить резолюцию в поддержку наступления. У памятника Скобелеву сменяли друг друга пламенные ораторы. Печему-то это были главным образом дамы лет за пятьдесят и новенькие, только что произведенные прапорщики не старше лет двадцати.

Но уже через несколько дней со страниц газет исчезли восторженные заголовки. Наступление провалилось. Армия, оставляя тысячи убитых и раненых, откатывалась назад. Те, кто еще вчера восторженно писал о «наших солдатиках», сегодня поносили их как трусов и предателей. Была во всем этом такая разнузданная безнравственность, что Штернберг с трудом заставлял себя утром разворачивать «Русские ведомости», которые он по старой профессорской привычке продолжал получать.

В обсерватории все чаще появлялись люди, мало похожие на ученых-астрономов. Они шли напрямик в кабинет Штернберга, и там директор обсерватории вытаскивал из стола небольшую учебную карту «Звездное небо». Она была исчерчена значками, цифрами, знаками зодиака. Штернберг внимательно ее рассматривал и удовлетворенно где-нибудь в районе созвездия Гончих Псов проставлял значок. Это означало, что на одном из заводов, где-то в заброшенном подвале, или в забытой яме в углу литейного цеха, или в старом сараюшке создавался новый склад оружия. Пусть это были старые винтовки, револьверы, когда-то в марте отобранные у городских, корпуса гранат, изготовлявшиеся во время войны на заводах Михельсона и Бромлея,— все годилось на нужный случай.

Было еще одно событие, необыкновенно важное для Штернберга: приехал из Томска Николай Яковлев. Исхудалый, постаревший, в измятой солдатской шинели.

— Колечка, это в сытой Сибири так кормят и одевают? — говорил Штернберг, любовно ощупывая и поворачивая в разные стороны тщедушного Николая.

— А вы думали, как одевают и кормят солдат запасного полка? Как керенское офицерье — ударников с черепами на рукавах? — отшучивался Яковлев.

В Томске Яковлев с первых же дней революции работал в большевистском комитете. Он был полон сибирскими делами. Выслушав историю о том, как объединенный блок всех партий в Москве боролся с большевиками на выборах в городскую думу, он покачал головой и сказал:

— Вы не думайте, что судьба революции решается только здесь в Москве или в Петрограде. Ну конечно, вопрос о взятии власти, скорее всего, будет решен в них. А отстоять ее? Вот когда на весы будут положены огромные и необыкновенные просторы Сибири. Да, да, увидите, в Сибири еще будут ре-

шаться судьбы революции. Я сейчас еду в Петроград, увижусь с Владимиром Ильичем и цекистскими товарищами, буду с ними об этом говорить. А вообще вы напрасно думаете, что все обойдется более или менее мирно...

— Ну вот уж в чем, милый Коля, меня нельзя обвинить! — даже обиделся на него Штернберг.

— Я не про вас, Павел Карлович! Я о том, что не только в Сибири заводчики и купцы не собираются мирно расставаться со своим достоянием. Они довольно прочно уверены в своем будущем. Я сегодня пробежал газеты и по объявлениям узнал многое и важное. Это что у вас, «Русское слово»? А ну-ка! Вот, пожалуйста: «Спешно куплю фабрику. Большое производство спичечное, маслособойное, кондитерское, типографию. Предложения только от владельцев. Москва 4 п/о Н. С. Трофимов». А? Или вот вам: «Ищу имение 100—150 десятин, не дальше 50 верст от Москвы и 5 верст от станции ж. д. Необходима река или пруд и каменный корпус, годный для переделки под завод»... Понимаете? Господа капиталисты в своем будущем уверены и за это будущее, если это понадобится, перестреляют половину России.

— Коля, вы считаете, что здесь, в Москве, большевиков надобно в этом убеждать?

— Да, Павел Карлович, считаю. Разговариваешь с иным достойным и авторитетным товарищем. По сравнению с ним я — мальчишка еще. Но он годами варится только в сфере чистой политики: заседания, обсуждения, комитеты, газеты... И считает, что все будет решаться чисто политически. А в действительности все будет решаться силой. Уж многие забыли Пресню в декабре пятого... За свои заводы, имения, особняки помещики и заводчики будут детей давить пушками и женщинам иголки под ногти загонять...

Николай Яковлев вернулся из Петрограда через несколько недель, в те самые переломные жаркие дни июля. За это время многое, очень многое изменилось в Москве.

О том, что в Петрограде 3 июля полмиллиона демонстрантов вышли на улицы с лозунгами «Вся власть Советам!», а вызванные войска стреляли в демонстрантов, в Москве стало известно только на другой день. Всю ночь с третьего на четвертое в Капцовском училище в комнатках МК старались соединиться по телефону с Петроградом, с ЦК. Телефонистки отвечали: «Номер не работает». Под утро, наконец, бесстрастный голос телефонной барышни сказал: «Абонент на проводе. Соединяю». В Петрограде, во дворце Кшесинской, нетрезвый хамоватый голос на вопрос, кто говорит, из ЦК или ПК, икнул и радостно сообщил, что все большевики и из ЦК и из ПК сидят

в Петропавловке и скоро будут повешены как немецкие шпионы.

Утренние газеты взახлеб сообщали о расстреле демонстрации на Садовой, о разгроме «Правды» и занятии дворца Кшесинской, об аресте большевиков и о том, что вынесено постановление об аресте Ленина. Днем, когда собрался Московский комитет, еще не все было ясно, кроме главного, конечно: буржуазия делает попытку разгромить основную силу революции. Чем на это ответить? Штернберг угрюмо слушал, как некоторые очень горячие товарищи предлагали немедленно выступить. Захватить телеграф, Центральную телефонную станцию, почтампт, вокзалы. И этим самым поддержать петроградских товарищей...

— И предупредить буржуазное правительство? — сказал Штернберг. — Предупредить, дать им возможность сотворить с московскими большевиками то же самое, что они сделали с петроградскими. Мы еще не имеем вооруженной силы для того, что предлагают здесь некоторые товарищи. Ведь уже в марте мы говорили, что ее создание — первая и главная задача. А сделано было мало, ничтожно мало. И сейчас нельзя рисковать тем малым, что у нас есть, а надо изо всех сил создавать отряды Красной гвардии, искать для них оружие, обучать воевать. А выступать сейчас — авантюра! Подставимся сами, поможем разгромить то небольшое, что у нас есть. Сейчас не нападать, а защищаться надобно.

Подробнее о петроградских делах Штернберг узнал от Николая. Яковлев возвратился смертельно усталый, не спавший несколько ночей. Он приехал в Питер за несколько дней до июльской демонстрации, успел подробно поговорить с Лениным. И собирался немедленно уезжать назад через Москву в Сибирь, когда начались события... Остался, чтобы убедиться, что Ленин в безопасности, чтобы поговорить со Свердловым и другими товарищами перед отъездом в Сибирь.

— Коля! Вы не остаетесь в Москве? Сейчас, в такое время? — Штернберг растерялся от неожиданного решения Яковлева.

— А я и не собирался оставаться в Москве. И разговор с Лениным убедил меня в моей правоте. В первые же дни революции политические, которые были на каторге или в ссылке, все бросились в центр. В Петроград, в Москву, в большие города. И во всей огромной Сибири окопались местные эсеры. Когда я рассказал Владимиру Ильичу о том, что делается в Томске, Красноярске, Новониколаевске, то он не только поддержал меня, но и сказал, что поставит в ЦК вопрос о посылке людей в Сибирь. А мое место — там. Особенно сейчас. Я бы и раньше уехал, но хотел убедиться окончательно, что не будет сделано дикой глупости. Здесь тоже было мнение, что Ленину надобно явиться в суд?

— Ну, у нас только несколько человек стояли на такой идиотской точке зрения.

— Вот именно — идиотской... Суд! Да они бы выставили на суде субчиков, которые, не моргнув, сказали, что вместе с Лениным получали жалованье в немецком генеральном штабе... После июльских дней к Луначарскому подходит какой-то тип и, обращаясь к толпе, заявляет, что сам, своими глазами видел, как Луначарский третьего июля, сидя на крыше дома на Невском, стрелял из пулемета в толпу... Вы бы, Павел Карлович, посмотрели на Луначарского — какой из него пулеметчик!.. Ну, немедленно Луначарского арестовали и поволокли на Шпалерку. Там он и до сих пор сидит. Да нет — про суд нечего и говорить! Никакого суда не было бы! Юнкера Ленина не довели бы и до тюрьмы, а убили бы на месте. Они убийцы, Павел Карлович! Мне кажется, что до сих пор многие наши товарищи думают: идет политическая дискуссия вроде той, что была после Второго съезда. А это — чепуха! Если мы поддадимся — всё, окончим свою жизнь у какой-нибудь «стены коммунаров»... Они и без суда при этом обойдутся...

Яковлев уезжал поздно вечером. Штернберг был единственным, кто его провожал. Варвара находилась на каком-то срочном заседании, с родителями Николай попрощался еще днем, а других близких людей он так и не сумел завести за свою беспокойную и трудную жизнь. На Ярославском вокзале было шумно и грязно. Состав уже подали, в него, отталкивая проводников, влезали женщины с детьми, какие-то мордастые личности с толстенными баулами, солдаты с котомками.

— Ну, ладно, пойду занимать свое место. А то еще стоять придется. Ну, дорогой мой, счастливо вам оставаться, счастливо воевать, берегите себя, за стариками моими присматривайте, на Варю у меня насчет этого большой надежды нет... И не смотрите так на меня, ради бога!

Яковлев уже втиснулся в вагон; прошло минут пятнадцать или двадцать, пока ударили во второй и в третий раз в станционный колокол, поезд с трудом дернулся и стал медленно выползать из вокзального тупика.

А Штернберг стоял и стоял и все смотрел туда, вперед, где исчезал, растворялся в других пристанционных огнях красный фонарик последнего вагона. Как будто он уже знал, что никогда больше не увидит Николая, не услышит его доброго, глуховатого голоса. Прощай, милый Коля!

«Время за дело приняться»

— Дела, как и земной шар, надо подталкивать, иначе они и крутиться не будут,— говорил с каменно-серьезным лицом на заседании Московского комитета Василий Иванович Соловьев.— Если вы мне не верите, то спросите у нашего профессора — он как раз специалист по землеверчению...

Штернберг с такой же серьезностью, солидно, как на экзамене в университете, утвердительно кивал головой. Соловьев ему очень нравился. В Москве он был недавно, с прошлого года. За ним был большой опыт журналиста, работавшего в «Правде», и в Москве он стал официальным редактором партийной газеты «Социал-демократ».

В прошлом Соловьев был студентом физико-математического факультета. Штернбергу казалось, что Соловьев отличается редкими математическими способностями и любовью к математике. Обычно он садился на заседаниях рядом со Штернбергом и, когда оратор забредал в длинные и мало-внятные дебри, наклонялся к соседу и тихо, жалобно просил:

— Профессор, погоняйте!..

Штернберг набрасывал на бумаге какую-нибудь хитроумную задачку — запас их в его памяти был огромен — и протягивал Соловьеву. Тот решал с необыкновенной быстротой. Председатель настороженно следил за перепиской двух членов комитета: наверное, блокируются. Или придумывают что-нибудь этакое...

Последний месяц лета был жарким не только по погоде. В середине августа в Москве должно было собраться государственное совещание, и московские власти готовили торжественную встречу Временному правительству. Не очень было понятно, почему такую торжественную говорильню собирают в Москве, а не в Петрограде.

— Будущему диктатору будет представлена будущая столица,— сказал Соловьев Штернбергу, когда они заговорили об этом.

Штернберг снял пенсне и посмотрел на собеседника.

— Да, да, профессор! Вы не смотрите на меня так укоризненно, как на провалившегося студента. На Петрограде они уже поставили крест. И хотя наши еще сидят в Петропавловке и на Шпалерке, а Ленин скрывается неизвестно где, но Петроград — город, где их могут стрясти с дерева, как переспелую грушу. Что они имеют в Питере? Войска, которым они не верят и которых вывести из столицы невозможно; Кронштадт, где матросики с маузерами на боку и корабли с пушечками; огромные заводы с десятками тысяч вооружающихся рабочих... Что они могут этому противопоставить? Как вы думаете, Павел Карлович?

— Немецкую армию.

— Ох, какой вы умный, товарищ профессор! Правильно! Они пойдут на то, чтобы сдать Петроград немцам. И сразу же, как они считают, избавятся от главной опасности. Они уже исподволь готовят переезд правительства в Москву.

— А в Москве?

— А в Москве и на оставшемся куске Руси будет диктатор. И уж конечно, не эта балаболка во френче.

Прошла только одна неделя после закрытия государственного совещания. События разворачивались с нарастающей скоростью. 21 августа по распоряжению Корнилова русские войска сдали немцам Ригу. Через четыре дня рано утром Штернберга позвали к телефону. Чей-то резкий, до невозможности знакомый голос укоризненно сказал:

— А ведь обещали найти меня! Неужто, став заслуженным профессором, вы так быстро стали забывать старых знакомых?

— Евгений Александрович! — восторженно закричал Штернберг.— Женя! Где же вы? Я вас ищу с марта месяца!

— Не было меня в Москве. Да и всякие обстоятельства были,— ответил Гопиус.— Но теперь, кажется, настало время приниматься за дело. А то мы с вами на одном суку висеть будем.

— Это почему у вас такие нехорошие намерения?

— Да не у меня, а у них. Вы сегодня газеты видели?

— Не успел. А что?

— Войска генерала Корнилова движутся на Петроград. Корнилов потребовал отставки правительства и передачи ему всей власти. Вот так.

— Женя! Через два часа будьте в гостинице «Дрезден», первый этаж, сто пятнадцатая комната. Если меня там не будет, спросите у кого-либо в коридоре. На этом этаже большевики.

— А на следующих?

— На втором этаже сидят эсеры и меньшевики — не заблудитесь.

— На этот раз уже не заблужусь, Павел Карлович. Буду.

«Дрезден» кишел людьми. Гопиус поднялся на самый верхний этаж. Он был почти гостиничный, почти жилой. Вероятно, в нем жили приезжие. Даже ковровые дорожки лежали в коридоре, даже мелькнула горничная с кружевной наколкой на голове. Но по мере того как Гопиус спускался по лестнице, «Дрезден» все больше терял свой вид комфортабельной гостиницы. С окна лестничной площадки было видно, как на-

искосок через Тверскую протянулась дорожка спешащих, почти бегущих людей: из «Дрездена» в дом генерал-губернатора, из генерал-губернаторского дома в «Дрезден»... Чем ниже спускался Гопиус, тем оживленнее становились коридоры, площадки и лестницы. В первом этаже коридоры были забиты солдатами и штатскими, большинство комнат открыты и наполнены людьми. Облака махорочного дыма стлались по коридору, от гула нестесняющихся голосов гостиница напоминала вокзал.

— Евгений Александрович! Женя!

Гопиус обернулся. Он протянул руку Штернбергу и непривычно ткнулся головой ему в грудь. Штернберг разжал объятия и внимательно, заблестевшими сквозь очки глазами посмотрел на Гопиуса.

— Почти такой же! Чуть попорчен временем, а так — такой же!

— Всех нас время тронуло, Павел Карлович.

В высоком, старообразном человеке в кожаной куртке, с подстриженной серой от седины бородой мало было от почтенного благообразно-профессорского вида ученого, с которым Гопиус познакомился почти десять лет назад.

— Вот, Ян Яковлевич, это и есть тот Гопиус, о котором я вам рассказывал. Знакомьтесь, Евгений Александрович.

Бородатый человек в черном пальто, стоявший рядом со Штернбергом, протянул Гопиусу руку и назвалса:

— Пече.

Не говоря больше ни слова, он повернулся и пошел в дальний конец коридора, Штернберг и Гопиус двинулись за ним. Закрытая дверь бросалась в глаза — другие двери были раскрыты настежь в шумящие, набитые людьми комнаты. Пече вытащил из кармана ключ, отпер дверь и пропустил своих спутников в комнату. Было непривычно тихо. На полу стояли снятые со стен какие-то пейзажи в пышных золоченых рамах. Вместо картин были развешаны карты Москвы и Московской губернии. Из-под кровати высывались стволы и приклады карабинов, на подоконниках лежали рассыпанные патроны. С видом хозяина Пече предложил гостям присесть к круглому гостиничному столику.

Штернберг по-профессорски, как перед лекцией, потер руки и сказал:

— Товарищи, на политическую информацию время тратить не будем. Думаю, что вам ясна обстановка. Или Корнилов поторопился и не договорился с правительством, или еще что-то у них не сработало, но Керенский решил не сдаваться. Корнилов объявлен мятежником, против него двинуты войска. Здешние корниловцы в некоторой растерянности, и мы будем последними

дураками, если упустим время. Есть уже решение Московского комитета о рассылке товарищей на заводы, мобилизации рабочих против корниловцев, организации вооруженных пикетов на вокзалах, на всех заставах. Нам надобно создавать свои вооруженные силы. Сейчас — для подавления корниловцев, завтра — чтобы самим перейти в наступление, не дожидаясь нового Кавеньяка...

— А войска? — спросил Гопиус.

— Солдаты сидят в казармах, оружие заперто на складах, которые охраняют надежные унтер-офицеры. Командующий округом будет стараться подозрительные части отсылать в другие гарнизоны. Словом, войска могут стать взрывчаткой, если детонатором послужит Красная гвардия.

— А есть она? Я ведь, Павел Карлович, некоторое время не был в Москве, да и вообще вне...

— Есть, есть Красная гвардия. И даже штаб есть, Ян Яковлевич, и есть начальник штаба Красной гвардии.

— Штаб есть. Да.— Пече говорил по-русски хорошо, хотя и с сильным латышским акцентом.— Два штаба есть.

— Это как же?

— Один наш. Другой повыше — на втором этаже. Эсеры и меньшевики свой штаб устроили. Называется — главный штаб. Штаб главный, но без войск. И без оружия. Люди у нас, у большевиков. Оружия пока мало. На все отряды не хватает. А у нас только в Замоскворецком отрядов много. На Михельсоне, Бромлее, «Поставщике», Варшавском арматурном, на Даниловке и Цинделе, на «Моторе» — там хорошие отряды. Понадобится оружие — возьмем. Знаем где. Сейчас учить надо. Учить обращаться с оружием, стрелять, укрываться, окопы копать, командиров слушать.

Гопиус подошел к карте, висевшей на стене. Множество значков, нанесенных цветными карандашами, пестрело на улицах и площадях карты Москвы. Гопиус спросил у Штернберга:

— Наша карта пригодилась?

— А как же! Я ее принес в первый же день, когда мы эту комнату отбили и взяли под штаб. Хочу вас, Женя, сразу же ввести в сложность дела. Наши большевистские вооруженные силы — все в районах. На заводах. В центре города заводов нет, нет и красногвардейцев. Зато в пятнадцати минутах хода отсюда Александровское училище — несколько тысяч юнкеров. С пулеметами и бомбометами. Позади, в Каретном ряду, в бывших жандармских казармах, — пулеметная команда. В случае чего Рябцев и Руднев смогут взять под свой контроль весь центр. А в нем Совет, МК и наш штаб. И придется окраинам наступать на центр. Драться придется. Кто этого не понимает и не признает, тому у нас нечего делать. Женя! Вы определили свою партий-

ность? Или же, как десять лет назад, самодеятельный кустарь?

— Определил, Павел Карлович. Я — большевик. И в организации.

— Прекрасно! Но даже в наших рядах есть товарищи, которые от будущей драки отмахиваются, как черт от ладана. Надеюсь, вы к ним не принадлежите?

— Не принадлежу. И вы это знаете. Я этой драки ждал почти всю свою жизнь.

— Идем дальше. Ваша задача — помогать вооружению отрядов в районах.

— Где будем брать оружие? Какое оно?

— Довольно много оружия спрятано. Еще весной михельсоновцы на складах Павелецкой дороги забрали оружие варшавской полиции, отправленное в Москву при эвакуации Варшавы.

— Это не оружие, Павел Карлович. «Смит-вессоны», «лефшо», старые наганы. И наверное, без патронов. Будем из них пулять в юнкеров, а они нас из «максимов» расстреливать. Не годится.

— Что вы предлагаете, Евгений Александрович?

— Не соблазняться количеством. В городе до черта всякого барахла, которое дядьки из военного министерства покупали по дешевке. Японские карабины, устаревшие «ремингтоны», даже старые берданки... Наши патроны к ним не подходят, и вообще это все чистая чепуха! Нужно искать современное оружие. И не всякое. Нам не нужно полевое оружие.

— Какое-какое?

— Товарищи дорогие, драться же будем не в поле, а в городе. На улицах, в узеньких переулках, да еще московских — не питерских! Один дом выступает вперед, другой прячется назад, дворы, палисаднички... В этих условиях теряется вся эффективность не только ружейного и револьверного, но и автоматического оружия. Спрятался за угол и ты недосыгаем для пулемета.

— Я же вам говорил, Ян Яковлевич, что в инженерере Гопиусе прячется Кутузов. Значит, юнкерам будет плохо с их пулеметами? А нам без пулеметов? Чем мы будем драться, Евгений Александрович?

— А нам нужно оружие самого ближнего боя. Нам нужны ручные гранаты. Чтобы ими забрасывать пулеметчиков и скопление противника. Гранаты можно кидать из-за угла, с крыши, из-за забора... В городском бою — самое лучшее оружие.

— Где мы будем брать гранаты?

— С гранатами плохо. Это окопное оружие и оружие для наступления на фронте. Раздают гранаты солдатам перед

самым боем, и хранятся они в арсеналах, близлежащих к фронту. У солдат Московского гарнизона нет ручных гранат. Их нет и у юнкеров. Это хорошо!

— Но их нет и у нас!

— А у нас они будут. Гранаты для фронта, ну, вот эти, бутылочные и «лимонки»,— их где делают? Их в Москве делают. И кто их делает? Рабочие делают.

— Правильно товарищ Гопиус говорит! — вступил в разговор молчаливый Пече.— На Михельсоне есть формы для отливки гранатных корпусов. У нас, на заводе «Мотор», делали детонаторы для бутылочных гранат. И на телефонном заводе делали детонаторы. Да корпуса для гранат мы сможем делать на любом заводике, где есть хоть маленькая литейка. Правильно говорит инженер! Что мы, не сделаем, что ли! Сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки! Вот так!

— Допускаю, допускаю... Гранаты действительно можем делать. Да. А взрывчатку? Бомбы же начинить надо. Вы химик, Женя, и знаете, что взрывчатку сложнее делать, чем корпуса. Не делать же «македонки» по образцу пятого года. Начинять консервные банки самодельной смесью...

— Взрывчатку найдем. Она есть в городе. Ручные гранаты отправляют из Москвы в комплекте: с начинкой и детонаторами в отдельной коробке. Значит, есть в городе взрывчатка, найдем ее. А не найдем — будем выплавлять из крупнокалиберных снарядов. Я это организую.

Гопиус задумчиво хмыкал, щелкал пальцами, словно бы стоял в лаборатории перед сложным научным прибором. Пече с восхищением смотрел на него. Штернберг улыбался.

— Вторая задача, Евгений Александрович, которую мы на вас возлагаем — подготовка, теоретическая и практическая, наших отрядов к уличным боям. Ваша, так сказать, специальность. У нас есть один пока учебник.

Штернберг бережно поднял с пола небольшую стопку тоненьких книжек в зелененьких обложках.

— Вот возьмите. И продумайте, как организовать во всех районах, во всех красногвардейских отрядах изучение этого учебника. Подчеркиваю: учебника. Отнеситесь к этому изучению серьезно. От этого зависит жизнь наших товарищей и успех дела. Мы сейчас с Яном Яковлевичем пойдем в Совет, а вы набросайте план организации занятий. Заприте за нами дверь штаба и никого не пускайте. А мы постучим в дверь: два быстрых удара и через тридцать секунд — третий.

— Ну и конспирация! Давайте учебник. Вычегодский, «Тактика уличного боя». Так. Книгоиздательство «Борьба». 1907 год. Знакомая книжечка. Только я ее десять лет не видел. И не помню всей премудрости этой. Ну, вы идите, я поштурдую

учебник, подумаю, как обучать. Вспомню, что в Императорском университете служил, студентов обучал...

Через несколько часов Штернберг и Пече вернулись в штаб. Штернберг устало присел на стул и сказал Гопиусу:

— Пока обстановка в Петрограде неясная. Очевидно только, что меньшевики и эсеры струхнули порядочно. Кажется, они поняли, что корниловцы и кадеты с удовольствием и от них избавятся. Даже предложили в нашем Московском Совете большевикам войти в специальный комитет для борьбы с Корниловым. Ну, мы, конечно, решили в эту «девятку» войти, но делать будем свое... Понимаете, Женя, можем теперь уже открыто готовиться к драке! Вычегодского проштудировали?

— Ну, проштудировал. Смехотура.

— Это почему так? Что у вас за отношение к серьезному делу!

— Павел Карлович! Как вы себе представляете это обучение? Мы соберем командиров красногвардейских отрядов, и я начну им лекции читать по Вычегодскому? Выйду на кафедру и начну излагать премудрости из этой великой книжицы... Вот, например: «Наступление есть движение на противника с целью выбить его из занятой им позиции и утвердиться на ней...» Или: «Трехлинейная винтовка образца 1891 года имеет магазин на 5 патронов, дальность полета пули 5 500 шагов, скорость — 20 выстрелов в минуту. Вес пули 3 золотника, может пробить 15-дюймовую доску...» Вот знания этой науки я должен буду требовать у командиров?

— Ох, Женя! Нет на вас больше Петра Николаевича! Лебедева вы хоть боялись. А теперь вы всех и вовсе ни во что не ставите! Вычегодский писал свою книжку, основываясь на опыте пятого года. Поэтому тут даются советы о том, как, забрав у противника пушку, привести ее в негодность. Нам теперь такие советы не нужны! У нас у самих должны быть пушки, и если мы у противника отберем орудия, то не портить их будем, а пускать в ход... Вот какие поправки к Вычегодскому следует делать, Евгений Александрович, а не зубоскалить...

— Есть не зубоскалить! А теперь пять минут серьезного разговора. Здесь, в этой сто пятнадцатой комнате гостиницы «Дрезден», находится штаб Красной гвардии. Кто в него входит, кроме вас? Кто определяет стратегию и тактику будущих боев? Когда? Где? Как?

— Ну и вопросы! Я на них, к вашему большому сожалению, не могу ответить. Видите, как сразу у Пече настроение

испортилось. Постараюсь вкратце объяснить. Ян Яковлевич уже сказал вам: официальный штаб Красной гвардии, именуемый Центральным штабом, находится этажом выше. Большинство в нем составляет меньшевистская публика, и существует этот штаб, по-моему, чтобы не было другого — нашего. Но наш существует. И реальный. Хотя и полулегальный.

— Стихами даже заговорили!..

— Тут не только стихами... Фактически всеми отрядами Красной гвардии руководят товарищи в районах. В Городском — Тверитин, в Замоскворечье — Витковский и Добрынин, в Хамовниках — Саврасов, на Пресне — Меркулов, в Лефортове — Знаменский. Здесь, в сто пятнадцатой комнате, мы стараемся как-то координировать организационную деятельность районов, их вооружение. Стараемся. Но это не означает, что все это мы делаем. Ибо все дело в том, что вы, Женя, назвали стратегией... Что должна делать Красная гвардия? Для чего мы ее создаем? Вот об этом у нас в Московском комитете нет ясного мнения. Есть товарищи, которые считают, что мы ее создаем для самозащиты и нажима на буржуазные партии. Это, по-моему, отражение еще пятого года. Или открещивание от того, что вопрос о власти будет решаться восстанием. Да, да, в этом все дело! Красная гвардия создается для восстания с целью захвата власти. Следовательно, ее стратегия — наступление!

— Ну, все более или менее ясно. Для начала поеду в Замоскворечье. Как думаете, товарищ Пече?

— Правильно. Поезжайте к Михельсону и на мой завод, на «Мотор». Сейчас я вам скажу, к кому надо обратиться...

Ощущение тревоги, появившееся в конце августа, не кидало никого. Казалось, что хорошо себя чувствует лишь один Гопиус. Иногда он не давал о себе знать несколько дней. А иногда появлялся в «Дрездене» грязный, в истрепанной кожаной куртке, со следами копоти на руках и лице. Похотывая и удовлетворенно потирая руки, он садился около стола и начинал требовать. Требовал он самые странные вещи: справочную книгу «Вся Москва», пишущую машинку, распisanie железнодорожного движения на всех вокзалах. Звонил по неведомым телефонам и договаривался о том, чтобы с каких-то разбитых автомобилей сняли магнето и еще какие-то части...

Пече рассказывал Штернбергу, что Гопиус уже достал взрывчатку, начинает корпуса гранат, отливаемых на заводе Михельсона. На Даниловке, в заброшенных ямах, откуда копали глину, производятся испытания ручных гранат. На заводе «Мотор», да и на других замоскворецких заводах,

Гопнуса слушаются больше, чем директора. И об этом как-то даже дошло до городской думы...

Штернбергу приятно было слушать эти рассказы. То прошлое, когда он выполнял первые партийные поручения и организовывал «теодолитные съемки», теперь находило свое продолжение, и это прошлое прорастало в сегодняшний день, и было чувство не напрасно прожитых лет.

Впрочем, прошлое напоминало о себе еще одной взволновавшей встречей.

Двинцы

В начале сентября стало известно, что в Москву прибыл из Двинска целый эшелон арестованных солдат. Это были солдаты Северного фронта, которые еще в июне были арестованы за распространение большевистских газет, за агитацию против войны и Временного правительства. Уже два месяца сидели они в казематах Двинской крепости, а сейчас, чтобы изъять эту занозу из армии, арестованных солдат привезли в Москву. Рассказывали, что с вокзала рано утром, когда город еще спал, колонну солдат, окруженную юнкерами и конными казаками, прогнали по улицам в Бутырскую тюрьму. Восемьсот шестьдесят девять солдат разместили в башнях и корпусах старинной тюрьмы. Бутырские камеры были набиты больными, изможденными людьми, которых в Двинской крепости держали на полуголодном пайке. Среди двинцев было немало большевиков, и они сразу же дали знать Московскому комитету, что происходит в Бутырках. В Московском комитете создали комиссию по освобождению арестованных солдат, газета «Социал-демократ» начала печатать резолюции заводских собраний, требующих от властей немедленного освобождения двинцев. Власти отговаривались, что двинцы сидят в Бутырках «по транзиту» и дело это должно решаться в Петрограде. 12 сентября из Бутырок было получено сообщение, что больше восьмисот арестованных солдат объявили голодовку, требуя своего освобождения. «Свобода или смерть!» — написали они в своем обращении к рабочим Москвы.

Больше недели голодали двинцы, и только угроза забастовки на военных заводах заставила командующего военным округом Рябцева дать распоряжение об освобождении арестованных солдат. Санитарные автомобили развозили больных и совершенно истощенных двинцев по госпиталям.

Через два дня после освобождения двинцев Штернберга разыскал в обсерватории бородатый солдат. Он недоверчиво оглядел директорский кабинет, мрачные шкафы красного дерева, портреты знаменитых астрономов, развешанные по сте-

нам, и, глядя на потертую кожанку Штернберга, спросил:

— Вы, стало быть, профессор?

— Профессор, товарищ.

— И большевик?

— Большевик. А что?

— Был со мной в камере прапорщик. Из наших. Друганов фамилия. Просил, когда выйду, прийти сюда, где в трубу, значит, смотрят, разыскать главного профессора и сказать про него...

Штернберг схватил солдата за руки.

— Друганов! Мстислав Петрович! Где он?

Солдат развел руками:

— Стало быть, в госпитале. А где — не знаю. Ну, раз вы профессор, то найдете — чего там! Может, еще и не помер. Плох он был! А человек хороший, хоть из прапоров.

...Штернберг узнал, что освобожденных больных солдат из Бутырской тюрьмы развезли по двум военным госпиталям: Савеловскому и Озерковскому. Ближе к обсерватории был Савеловский госпиталь, и Штернберг поехал туда. С утра было прохладно. Он надел свое старое пальто, а в его кармане лежали визитные карточки. Иначе никогда и никого Штернберг бы не нашел. В переполненном и грязном Савеловском госпитале не с кем было разговаривать. Дежурного врача вызвали в палату, в приемном покое никого не было, усталые няньки не понимали, чего хочет этот старый дядька. В кармане Штернберг наткнулся на свои прочно забытые «визитки». Он вынул карточку и сказал:

— Найдите главного врача, передайте, скажите, что жду его в приемном покое.

Санитар прочитал на глянцевой бумаге «визитки»: «Заслуженный профессор Московского университета, директор Московской обсерватории Павел Карлович Штернберг» — и помчался наверх. Через несколько минут сверху спустился очумелый от усталости военный врач. Сразу же нашлись списки всех вновь поступивших больных. Среди них Друганова не оказалось. Штернберг поехал через всю Москву в Замоскворечье, в Садовники. Недалеко от набережной в старом переулке он нашел Озерковский госпиталь и там уже сразу пустил в ход профессорскую визитную карточку.

В списках Друганова нашли. В белоснежном накрахмаленном докторском халате, накинутом на плечи, Штернберг, сопровождаемый дежурным врачом, шел по широкому грязному коридору, уставленному кроватями с ранеными и больными. Он зашел за доктором в огромную палату. Стоя у двери, он внимательно рассматривал обращенные к нему лица, бородатые и безбородые, и среди них не было ни одного, похожего на Друганова.

— Павел Карлович...

Это не сказал, скорее прошептал какой-то совершенно незнакомый пожилой человек, лежавший у самой двери палаты. Штернберг порывисто обернулся. Только по глазам узнал он Друганова в этом человеке со впавшими щеками.

— Мстислав Петрович! Милый вы мой! Что же это такое?

Он сел на пододвинутый кем-то стул и взял Друганова за его серую, совершенно невесомую руку. Тот улыбался уголками губ, так же немного загадочно и застенчиво, как тогда, десять лет назад... Говорил он так тихо, что Штернбергу пришлось нагибаться, чтобы расслышать.

— Нет, ничего, ничего, Павел Карлович... Это не голодовка меня так доконала. Я еще в Двинске, когда сидел не в крепости, а в другой тюрьме, заболел дизентерией. Только стал из нее выползать, а нас всех в крепость, потом в Бутырки. Вот не думал, что я так приеду в Москву после революции...

— Я думал, что вы в офицерской палате...

— Так и не вышел в офицеры, Павел Карлович... Из вольноопределяющихся был произведен в прапоры, даже «Георгия» получил. А в прошлом году разжаловали в солдаты, чуть в арестантские роты не попал. Выслужился в старшие унтеры, а тут революция. Не сделал я карьеры в армии, Павел Карлович.

— Вы еще силы находите смеяться! Почему из Двинска, а потом из Бутырок не написали ни мне, ни кому-нибудь из московских товарищей? Ну чего я буду задавать сейчас вопросы! Прежде всего надо ставить вас на ноги. Мстислав Петрович, я сейчас поеду в университет, переведем вас в университетскую клинику...

— Нет.— Шепот Друганова был тверд и категоричен.— Никуда от своих я не уйду. Не для этого шел в армию. Здесь, в палате, люди, с которыми в окопах был, в бой ходил, в тюрьме сидел. Они голодовку объявили потому, что меня послушались. Как же я их оставлю! Я тут буду. Да и не нужно это. Мы все поправляемся. Скоро выйдем из госпиталя. Нет, ничего этого делать не надо. Обидно только, что тут валяемся, когда такое время...

— Мстислав Петрович! Вы же наш, московский работник! Не надо вам говорить, сколько у нас дел! Я на бюро комитета поставлю вопрос о вашей работе в организации.

— Не надо. Я останусь с двинцами. Выйдем из госпиталя, приду в комитет, в Совет.

— Что нужно из еды? Я сейчас привезу.

— Ничего мне одному не нужно. А нас кормят прилично. Особенно после Двинской крепости. И знаете, товарищи присылают продукты... Павелецкие железнодорожники из своей

столовой каждый день что-нибудь да пришлют. Нет, все хорошо! Лишь бы скорее на волю!

...Когда через три дня Штернберг снова приехал в госпиталь, Друганов уже сидел на койке и разговаривал с солдатами. Побритый, со стриженной головой, он снова стал походить на того, старого Друганова. Даже выглядел почти так же молодо. Разговаривал он уже не шепотом.

— Все прекрасно, Павел Карлович! Тут врачи нас откармливают, как людоед мальчика с пальчик... Я сначала и не понял почему. Скорее, от нас хотят отделаться, выписать из госпиталя! Ну и правильно. Нас каждый день навещают товарищи. Ну, не попавшие в госпиталь. У вас в Совете был наш Сапунов? Знаете такого?

— Нет, я от Совета теперь несколько оторван. Сижу неподалеку, в «Дрездене». И знаете, с кем работаю? С Гопиусом.

— Ох, как здорово! Это что — продолжение нашего старого? Пригодилось?

— Пригодится. Надеемся. А с Гопиусом приятно было и встретиться и работать. Вот вас не хватает для комплекта.

— А Гопиус по-прежнему сам по себе? Или в организации?

— Наш он. Поумнел. Ах, как бы хорошо было вам прикнуть к нам! К штабу Красной гвардии. А?

— Хорошо! Только я уж не штабной работник. Я человек армейский. Надо скорее выходить, сбивать двинцев в полк. Добавим верных людей из маршевых рот — представляете, какая это будет боевая сила, Павел Карлович! Как мы пригодимся!

— Правда, пригодитесь. Выходите скорее, Мстислав Петрович. И сразу же ко мне. В обсерватории я теперь бываю редко, приходите в «Дрезден», сто пятнадцатая комната на первом этаже. Вот, кажется, мы и дожили с вами до того самого дня... И будем вместе!

«Октябрь уж наступил...»

Октябрь уж наступил — уж роша отряхает
Последние листья с нагих своих ветвей...

Штернберг строго посмотрел на Соловьева.

— Могли бы пораньше вспомнить Пушкина, Василий Иванович. Сегодня уже не начало октября, а двадцатое число. И лучше всего сейчас вспоминать не Пушкина, а Ленина. Пятница-то! Храбер, храбер, а не рассказал, как ему Ильич врезал...

Уже второй час шло собрание актива московских большевиков. Формально в повестке дня был отчет Пятницкого и Яковлевой об их поездке в Петроград, где несколько дней назад

на заседании ЦК был окончательно решен вопрос о восстании. Но не в отчете двух видных членов Московского комитета было дело. Решался вопрос о выступлении в Москве. Излагая позицию Центрального Комитета, Пятницкий не проявлял своей обычной резкости, и Штернберг знал почему.

В спорах, разделявших московских большевиков, Пятницкий, который был одним из самых известных боевиков, проявлял совершенно не свойственную ему медлительность и осторожность. Он считал, что в Москве у большевиков недостаточно сил, мало оружия, неизвестна позиция гарнизона. Он упирал на то, что в Москве собираются все силы контрреволюции. Вместе с некоторыми другими товарищами Пятницкий полагал, что в Москве восстание рабочих будет немедленно подавлено самым жестоким образом.

В Петроград вместе с Пятницким была послана и Яковлева, занимавшая прямо противоположную точку зрения. Как и большинство, она считала, что Москва должна выступить против Временного правительства. Смеясь, Варвара рассказывала Штернбергу, что Пятницкому удалось увидеться с Лениным, находившимся в глубоком подполье. Ленин, хорошо знавший Пятницкого и любовно к нему относившийся, на этот раз был с ним резок и насмешлив. И когда Пятница — «заикаясь, понимаешь, заикаясь от растерянности» — стал говорить уже не о восстании, а о том, удастся ли удержать власть при таком малом количестве подготовленных людей, Ленин даже не стал спорить с Пятницей. Протянул ему свою новую брошюру «Удержат ли большевики государственную власть» и посоветовал ее прочесть.

— Как с не очень теоретически грамотным и только вступившим в организацию разговаривал!.. — хохотала Варвара, передавая разговор Ленина с Пятницким.

— Вы слышали, Павел Карлович, о том, что было позавчера на Красной площади? — спросил Соловьев.

— Слышал.

— А я не только слышал, но и видел. По неистребимой журналистской привычке пошел на парад. Понимаете, ведь не торжество какое, не тезоименитство Александра Федоровича Керенского, а просто-напросто приезд в Москву товарища военного министра полковника Яхонтова. И вот в честь этого задудалого и никому неизвестного полковничка устраивается парад войск Московского гарнизона. Я очень внимательно рассматривал войска. Там не было ни одного из тех шестнадцати полков, которые правительство хочет расформировать, чтобы избавить от них Москву. Там были отдельные команды запасных полков, юнкера всех военных училищ, украинский полк, артиллерийская батарея, броневики и две казачьи сотни. Рядом с этим Яхонтовым стоял командующий войсками округа

полковник Рябцев и подсчитывал... Потому что этот парад был просто-напросто смотром сил контрреволюции. И они взвешивали: кого больше? На маршевые команды им рассчитывать не приходится. Есть полки, в которых офицеров слушают только при условии, что их распоряжения подтверждает Совет солдатских депутатов...

— Знаю, знаю все это, Василий Иванович. Командование округа разоружает и расформирует все революционные войска. Они готовят выступление. А нам надобно выступить первыми, не дожидаясь, пока они выставят из Москвы всех ненадежных солдат.

— А оружие?

— Будут бойцы, будет и оружие. Наш штаб связался с Тульским комитетом, мы уже привезли из Тулы несколько грузовиков винтовок и патронов. Оружие лежит в надежном месте, надежно охраняется. Рябцев, конечно, об этом знает, но боится раньше времени вызвать вооруженное столкновение. Теперь октябрь, а не июль. Другое время.

— Да. Октябрь уж наступил. И пора отряхнуть, так сказать, последние листья. Пошли в зал, Павел Карлович, сейчас голосовать начнут. И результат голосования ясен.

...Если смотреть на генерал-губернаторский дом со Скобелевской площади, никогда не догадаешься, что над высокими парадными залами второго этажа есть еще помещения. Только внутри здания можно увидеть: из широкого коридора, откуда открываются двери в пышные залы, обитые цветным штофом, маленькая дверь ведет на небольшую площадку с вьющейся наверх винтовой лестницей. Лестница узенькая, встречные с трудом протискиваются. Но это неудобство никого не смущает, и обычно почти в любое время суток не прерывается цепочка людей, идущих снизу вверх и сверху вниз. Наверху небольшая комната, выходящая окнами на двор, отведена большевистской фракции Московского Совета.

Утром 25 октября эта комната была тесно набита. Шло заседание Московского комитета. Надо было решать вопрос о выступлении московского пролетариата против Временного правительства. Ни для присутствующих в этой комнате, ни для тех, кто находился за ее пределами и за пределами этого дома, не было секретом, что сегодняшний день — день решающий. И что в Петрограде это решающее уже началось.

Ведерников протянул сидящему рядом Штернбергу сегодняшней номер «Русских ведомостей». На первой странице он подчеркнул две небольших заметки:

«Вчера в течение всего дня и всей ночи телефон с Петроградом не работал, и поэтому мы были лишены возможности получить известия от нашего корреспондента». И немного ниже: «Политический отдел штаба военного округа сообщает: «По

городу циркулируют слухи об аресте в Петрограде представителей высшей правительственной власти. По имеющимся в штабе точным сведениям сообщения эти вымышленны и носят явно провокационный характер».

— Точные сведения, точные сведения...— пробурчал Штернберг.— Если бы иметь хотя бы приблизительные сведения... Этого быть не может, чтобы была прервана всякая связь с Петроградом. А если она хоть и частично прервана, то, значит, выступление там началось. Рябцев и Руднев об этом отлично знают. И опровержение штаба о выступлении в Петрограде надобно принимать за подтверждение. И еще я не понимаю, чего мы, собственно, ждем? Пока Рябцев даст команду начать аресты большевиков по уже составленным спискам? Надо выступать, а у нас еще нет руководящего центра, и идет эта волынка о его составе...

Волынка шла. Часть членов Московского комитета во главе с Яковлевой считали, что в Военно-революционный комитет следует ввести только тех, кто желает восстания,— большевиков. Другие же члены комитета настаивали, чтобы ВРК состоял из представителей всех социалистических партий.

— Всех!..— Соловьев потирал колени и подпрыгивал на месте от возмущения.— Вводить в комитет, который будет свергать меньшевистско-эсеровское правительство, меньшевиков и эсеров! Какая светлая, разумная идея! А меньшевики будут требовать, чтобы решение о посылке взвода в какой-нибудь Хоромный тупик обсуждалось предварительно на заседании и решалось при условии единогласия... И будет не Военно-революционный комитет, а польский сейм. Вы, Павел Карлович, будете давать распоряжение, а Николаев, как шляхтич на сейме, выступит и скажет: «Не позволям!» Бред сивой кобылы!

Был почти полдень, когда какой-то человек с трудом протиснулся к председателю и передал ему бумагу. Смидович быстро прочел и нетерпеливо постучал по столу. Очередной оратор с недоумением посмотрел на председательствующего и остановился. Смидович продолжал стучать пробкой графина по столу, пока в комнате не поняли, что что-то произошло.

— Товарищи! Товарищи! — Лицо Смидовича побледнело.— Поступила телеграмма из Петрограда от нашего представителя в ЦК товарища Ногина. Внимание, я ее зачитаю: «Сегодня ночью Военно-революционный комитет занял вокзалы, Государственный банк, телеграф, почту. Теперь занимает Зимний дворец. Правительство будет низложено. Сегодня в пять часов открывается съезд Советов...»

Слова Смидовича потонули в восторженном гуле. Штернберг поднялся со своего места.

— Оставайтесь, Василий Иванович, вас же решено вводить в боевой партийный центр. А я побегу напротив, в «Дрезден». По-моему, период заседаний окончен и надо приступать к действиям. Или мы их, или они нас...

Штернберг с трудом продирает свое большое, грузное тело сквозь толпу людей, толпившихся на винтовой лестнице. Было очевидно, что уже все в этом доме знают о случившемся в Петрограде. Постоянное, как в муравейнике, движение людей приостановилось.

Штернберг вышел на улицу и с наслаждением вдохнул сырой и холодный воздух. Он почти побежал через улицу, мимо памятника Скобелеву, у которого происходил очередной митинг, как будто этот митинг, начавшийся в марте, не окончился, а продолжался до сих пор. И в «Дрездене» все уже знали. В сто пятнадцатой комнате Пече командовал, отправляя в районы людей.

В комнату втиснулся Соловьев. Он сразу нашел в толпе могучую фигуру Штернберга. Взял его за руку и отвел к окну.

— Ну вот, Павел Карлович! Наше заседание закончилось быстрее. Скворцов-Степанов нам позвонил из Думы, что там Руднев собрал экстренное заседание, заклеил петроградских узурпаторов, призвал объединиться вокруг незабвенного Александра Федоровича... И уже выбрали Комитет общественной безопасности. А у нас избрали партийный центр по руководству восстанием. Ну, вы знаете тех, кого намечали: Варвара Николаевна там, Пятницкий, Ярославский, я... Значит, все ясно. Уже посланы отряды солдат занять телеграф, почтамт, телефон и вокзалы. Аросев и Ведерников этим командуют. И назначен на вечер пленум Совета — выбирать военный ревком. К сожалению, будем приглашать меньшевиков и эсеров. Представляете ситуацию? В рудневском комитете меньшевики и эсеры, и в большевистском ВРК меньшевики и эсеры... Не понимаю я, что из этого получится! Но мы думаем, что, пока будем выбирать, то да се, у нас в руках уже будет весь город. И спорить будет не о чем.

— Вашими устами... Вы все о Рудневе да Рудневе... А за этой эсеровской балаболкой стоит Рябцев. И я так считаю, что у него в городе тысяч пятнадцать — двадцать прекрасно обученных и вооруженных офицеров, юнкеров и солдат. Так что все еще впереди... Хорошо, что все наши силы в районах, а там не надо нам кооперироваться с меньшевиками да эсерами. Там везде есть ВРК, и они из одних большевиков. Знаете, что надобно первым делом сделать, Василий Иванович? Уходить из «Дрездена»! Это идиотский слоенный пирог! Мы, больше-

вики, внизу, на четвертом этаже — меньшевики, посередке — эсеры и вообще черт знает какая публика! Здесь невозможно держать центр восстания, мы как под стеклянным колпаком! И нас в любую минуту могут прихлопнуть, как куропаток!

— А куда же переезжать?

— Напротив, в Совет. Там больше телефонов, легче организовать охрану. И надо побеспокоиться, чтобы Рябцев не прислал своих представителей в Совет. С пулеметами...

— Это уже. Вызван к Совету самокатный батальон. Он весь большевистский. Вечером в Политехническом собирается пленум Совета. Все будем там, там все и порешим. Вы здесь остаетесь? Я сейчас на Киевский вокзал, у меня с собой автомобиль. Вам никуда не надо?

— Подвезите меня в обсерваторию, Василий Иванович.

Странно было ехать по уже темнеющей Москве. Она была такой, как всегда, как будто ничего не произошло. По Тверской со звоном бежали трамваи, зажглись дуговые фонари кинематографов, по-прежнему ярко освещены витрины Елисеевского магазина.

И уже совсем было странно увидеть выходящую из ворот обсерватории стайку студентов-практикантов — совсем как в прошлые, такие обычные, такие спокойные годы. Студенты весело здоровались со своим профессором. А он на них глядел с удивлением.

В своем большом директорском кабинете Штернберг открыл шкаф, в котором держал одежду для полевых занятий. Не спеша переоделся так, как будто собирался ехать далеко в осеннюю экспедицию.

Он сел за стол, неторопливо разобрал бумаги, некоторые подписал, другие отложил в сторону. Потом своим быстрым почерком написал еще одно письмо, выбрал плотный коленкорный конверт и запечатал его. Надписал: «Вскрыть в случае моей смерти» — и жирно подчеркнул. Потом положил пакет в ящик стола. Позвонил в колокольчик и попросил вошедшего служителя позвать к нему астронома-наблюдателя Сергея Николаевича Блажко. Достал из нижнего ящика стола наган и спрятал в карман кожаных брюк.

Пришедший Блажко удивленно и недовольно посмотрел на директора обсерватории. На кожаный костюм, высокие грубые сапоги, меховой жилет.

— Обрадовался, Павел Карлович, узнав, что приехали, наконец, в обсерваторию. А теперь вижу, что нечему радоваться. Не работать вы приехали, а прощаться с работой. Вон как оделись!

— Для работы оделся, Сергей Николаевич, для работы! Я вам всегда говорил, что для ученого самое главное — вовремя

выбрать основное направление работы. Вот и мне пришлось сейчас выбрать. Когда сюда вернусь и вернусь ли, не могу ничего сказать. Самые необходимые бумаги я подписал и оставил на столе. Передавать вам дела некогда, да и незачем. Почти четверть века вы здесь, все вам знакомо до последнего гвоздя. Вам и заместить меня. В случае чего.

— Павел Карлович! Хочу вам сказать не как помощник, а как сотоварищ. Мы почти ровесники: мне под пятьдесят, вам за пятьдесят... Оставьте это!

— Что «это»?

— Не про политику я, не про ваши политические убеждения. Они — дело каждого. А я про вот это — про то, куда вы отправляетесь! Про револьвер, что торчит у вас в кармане, про всякие там бомбы, баррикады, отряды... Не одобряю я это! И если уж дойдет до этого, то пусть занимаются этим молодые.

— Совесть — она и в старости нужна, Сергей Николаевич. И меня уж, во всяком случае, никто не сможет упрекнуть, что я посылал молодых драться, а сам отсиживался в обсерваторской башне. Ну, да ладно. Вспомните, Сергей Николаевич, как почти двенадцать лет назад вы меня везли на извозчике с Николаевского вокзала через сожженную Москву и плакали, вспоминая убитых женщин и детей. Не хочу, чтобы это повторилось! Не хочу! А они за свои имения и фабрики, за свою сладкую жизнь готовы на любые преступления, готовы всех передавить! Чем видеть это, лучше, как говорится, в чистом поле голову сложить... Ну, все! Счастливо вам оставаться!

Решительно вышел из-за стола, застегнул куртку, надел кожаную фуражку и пошел к двери. Блажко безмолвно его пропустил.

Штернберг втиснулся в переполненный трамвай. Множество людей вышло вместе с ним на Никитской у консерватории. Он с удивлением посмотрел — сколько же народу двинулось к дверям Большого зала! Да, сегодня концерт, и, как всегда, любители музыки шли ее слушать. Неподалеку, у театра Буф, толпились поклонники легкого жанра; какой-то юноша нетерпеливо вышагивал, поджидая свою девушку, — кругом шла совершенно обычная, нормальная и спокойная жизнь.

Большим Чернышевским переулком он шел к Совету. Фонари в переулке горели тускло, холодный ветер ударял в лицо мелкими жесткими снежинками. Было еще рано, но почти ни один прохожий не встретился ему. Ну, да кто пойдет гулять в такую собачью погоду? Лучше отсиживаться в уютной и теплой квартире. И Штернберг поднял голову к освещенным

окнам домов. За спокойными занавесками, наверно, тепло, уютно. В гостиной толстый ковер, обитые шелком кресла, в кабинете за зеркальными стеклами шкафов красного дерева блестят золотые корешки спокойных ученых книг; сидят, утопая в мягкости кожаных кресел, интеллигентные, образованные люди. Может быть, профессора, как он. Штернбергу казалась совершенно фантазмагоричной эта тишина, это мирное спокойствие... А вдруг, действительно, и дальше будет спокойно? Толкуют же некоторые восторженные товарищи о «бескровной победе» в Петрограде. И что тут будет столь же бескровно, спокойно. Плод-де поспел, надобно этак осторожно потрясти деревце и подобрать свалившееся яблоко власти... Глупость какая! Он вспомнил лицо Любавского сегодня в приемной ректора, он представил себе людей, живущих в этих переулках между Большой Никитской и Тверской, он так их хорошо знал.

И обрадовался, увидев вдали яркие, пылающие светом, без всяких занавесок окна бывшего генерал-губернаторского дома. У ворот, выходящих в переулок, прямо на тротуаре потрескивал небольшой костер, стояли и грели руки солдаты. «Самокатчики! — догадался Штернберг. — Наконец-то догадались охрану выставить!»

Впрочем, эта охрана пропускала в Совет кого угодно. Его, во всяком случае, пропустили в здание, не спросив даже, кто он и к кому идет. Непривычно тихо было в этом всегда бурлящем здании. Не было людей на парадной, блещущей позолотой лестнице, пусты залы второго этажа, и только наверху, на верхотурье, из комнат большевистской фракции было слышно, как кричит знакомый голос по телефону, вызывая Файдыша из Замоскворецкого ВРК. В комнате, кроме Соловьева, были еще Ярославский, Стуков, Пятницкий.

— Почему пусто в доме? Что такое приключилось? — спросил Штернберг.

— Все в Политехническом. Там заседает Совет, выбирают Военно-революционный комитет. А что пусто — так лучше, спокойнее. Только что позвонили наши с почтамта и телеграфа. Солдаты 56-го полка аккуратненько зашли внутрь, установили охрану. Мы уже передали в Иваново-Вознесенск, Тулу, Нижний и Брянск о том, что начали, пусть выступают.

Голова у Пятницкого сидит на туловище почти без шеи. Он, обращаясь к собеседнику, поворачивается всем корпусом, глаза его блестят, он расхаживает по комнате, потирая руки. Штернбергу показалось неправдоподобным, что этот человек мог быть против восстания...

Ярославский обернулся к Штернбергу:

— Вовремя пришли, Павел Карлович, мы уже в обсерваторию вам звонили. Штаб из «Дрездена» мы забрали, перевели

сюда. Годятся, по-вашему, эти наши старые комнатки? Тесно, да привычно!

— Не годятся.

— Почему?

— Окна выходят в переулок, рядом градоначальство. Простреливается. Пули будут залетать. Штаб следует разместить внизу. Там спокойнее, обстрел не страшен...

— Какой обстрел? Какие попадания? Профессор астрономии не может обойтись без анализа всяких там траекторий... Да город у нас уже почти весь в руках! Без одного выстрела! Вы когда шли сюда, заметили хоть какую-либо попытку сопротивления нам? Сейчас прибудет из Политехнического новенький ВРК — им только подписываться придется!

— Ох, послушал бы такую чепуховину Ленин! — Пятничный вмешивается в разговор с живостью, странной для его грузноватой фигуры. — Профессор прав, ничто не закончено, все только начинается... И давайте вправду переселяться на первый этаж. Там есть комнаты, они выходят во двор, два входа, там будем работать! А ждали мы вас, Павел Карлович, вот по какому поводу: надо нам забирать Кремль в свои руки. Там арсенал, а мы можем вооружать красногвардейцев только этим оружием... А то, пока мы будем гнать машины в Тулу, тут черт те что может произойти. Кроме того, нам важно, чтобы это оружие не попало в руки Комитета общественной безопасности... Мы тут толкуем, кого назначить комендантом Кремля... И товарищи называли вас. Как относитесь к этому?

— А гарнизон там есть? Наш?

— Там несколько рот 56-го полка. Полк весь наш. Но их мало, конечно. По-моему, кремлевский гарнизон следует усилить, все же Кремль как бы естественный центр города.

— Надобно туда военного назначить. Более подходящий будет.

— Военными делами там будет заниматься наш большевистский прапорщик Берзин. Вернее, он станет заниматься арсеналом — учетом и выдачей оружия. А нам нужен опытный и твердый товарищ, чтобы был хозяином Кремля.

— Хозяином Кремля!.. Лестно! Только не надо мне, товарищи, менять свою профессию. Нет, нет, не об астрономии идет речь. Я уже давно впрягся в штаб Красной гвардии. Там меня знают, у меня есть помощники. И потом — я человек подвижный, хорошо знаю Москву... А там я буду заперт. Нет, вы меня лучше отпустите к своим, к красногвардейцам. И вообще, по-моему, надо побольше товарищей пустить по районам. Все наши силы там. Наступать нам не от центра к периферии, а от периферии к центру... Мне лучше всего в Замоскворечье поехать.

— Опять вы про наступление! На кого наступать будем? Центр у нас в руках!

— Не хвались, идучи на рать... А вот и наши идут из Политехнического.

Вспоминая потом эту ночь на 26 октября, Штернберг с удивлением говорил о том, что это была самая спокойная ночь революции. Даже спали. Действительно, пока заседал Военно-революционный комитет, все происходило так, как предсказывал Соловьев: меньшевики Тейтельбаум и Николаев клеймили большевиков, как заговорщиков. Заседал президиум Совета. Приехавший из Петрограда Ногин на заседании всячески упирал на «бескровность» переворота в Петрограде и считал, что надо пойти на переговоры с Комитетом общественной безопасности.

Обо всем этом рассказывал Штернбергу Соловьев, нашедший профессора астрономии спящим в небольшой комнатке на втором этаже. Штернберг спал на узеньком, капризно изогнутом диване, подложив под голову свой меховой жилет и укрывшись кожанкой. Пробудившись, он уселся рядом с Соловьевым и слушал его, поеживаясь от холода. Соловьев быстро пересказывал новости:

— Можете, профессор, считать себя свободным от обязанностей дворцового коменданта. Командиром и комиссаром Кремля назначили Ярославского. Он забрал роту 193-го полка и отправился в Кремль. Пусть хозяйничает! Интересно, что он будет делать, когда попы выберут себе патриарха? Сейчас поместный собор заседает в храме Христа-Спасителя, а ведь когда выберут, то короновать придут в Кремль... Вот будут дела у Емельяна!

— Все вам смешно, Василий Иванович! С попами как-нибудь справимся. А известно ли, что происходит у Рябцева?

— Вот этим и будем сейчас заниматься в штабе. Ваше академическое мнение, основанное на теории баллистики, учтено, профессор. Мы переехали вниз, там вполне прилично, охрану поставили, чтобы не пускать некоторых мелкопоместных членов ВРК... Пойдемте, Павел Карлович, там ваш верный адъютант Гопиус даже завтрак принес... Хорошо вам с таким!

Гопиус сунул Штернбергу пакет с бутербродами и продолжал слушать Пече. Положив на стол план города, Пече водил по нему:

— В Хамовниках у них 5-я школа прапорщиков, в Басманном — Алексеевское училище и кадетские корпуса, в Рогожском — части стоят в Крутицких казармах. Конечно, весь район Арбатской площади, Поварской контролируется юнке-

рами из Александровского училища. А от Знаменки до нас — если переулками, то кот начихал... Хорошего хода пятнадцать минут!

— А нужны вы им!.. — пробормотал Гопиус. — Павел Карлович, как вы думаете, какой район Рябцеву важнее?

— По-моему, Крымской площади, — немного помолчав, сказал Штернберг. — Наши основные силы — в районах. Прежде всего в Замоскворечье. Юнкера попытаются отрезать район от центра. Каменный мост и Москворецкий им не так важны — не такие дураки мы, чтобы рваться через Москворецкий напрямик на Красную площадь или же через Каменный на Знаменку... Больше всего Рябцев будет опасаться за Крымский. Через него прямая связь с Хамовниками, легче всего окружить штаб округа на Пречистенке, а затем и Александровское училище на Знаменке. Какие известия от Ярославского?

— Довольно неважненькие. Арсенал-то у нас в руках, да Кремль блокирован. Юнкера стоят у Троицких и Боровицких ворот и не пропускают в Кремль грузовики. Рябцев требует, чтобы юнкера были поставлены на охрану ценностей, эвакуированных из Петрограда, и, пока это не будет выполнено, не пропускают в Кремль грузовики за оружием. К нему сейчас поехали Ногин, Муралов и Владимирский...

— Ну и попутает их Рябцев!

Штернберг недовольно взглянул на Гопиуса, но тот остался невозмутим.

Сеющие ветер

Может быть, будущие историки — составители хроники событий и найдут, что день 26 октября 1917 года был в Москве одним из наиболее спокойных. Но уж легким Штернберг его никак не находил. Действительно, никаких особых событий не было. Представители Совета заседали с Рябцевым, меньшевики из ВРК на автомобиле, предоставленном им Рудневым, разъезжали между Скобелевской площадью и Воскресенской площадью, где в неуклюжем красном здании городской думы заседал Комитет общественной безопасности. Гопиус сказал, что он уезжает в свое Замоскворечье, и исчез из штаба. Соловьев, как тигр в клетке, расхаживал по комнате штаба. Время от времени он останавливался возле Штернберга и мрачно произносил:

— В пору в шахматы начать играть... Или от скуки задачи решать... В Петрограде революция, власть в руках Советов, правительство во главе с Лениным... А здесь идет идиотская тягомотина! Сейчас позвонили из нашей газеты: сегодня утренним поездом прибыли в Москву господа из Временного

правительства — те, каких в кутузку не удалось посадить...

— Это кто же?

— Кажется, Прокопович, Хижняк, еще кто-то... Да дело не в том, кто!.. Они приехали создавать здесь филиал Временного правительства. Их там на вокзале Руднев встречал как свое начальство. А мы Венский конгресс устраиваем — переговоры, разговоры: «Ах, не будете ли вы столь любезны, не сообразовите ли...» А знаете ли вы, Павел Карлович, что происходило час назад в вашем университете? Да-с. В Богословской аудитории шла общестуденческая сходка, которая абсолютным большинством решила выступить против узурпаторов-большевиков, для чего создать студенческие дружины. Понимаете, дружины! Назвали, как будто это продолжение традиций пятого года!.. А эти дружинники стоят в очередь в Александровском училище, получают винтовки и вытягиваются в струнку, когда проходит мимо какой-нибудь штабс-капитан! Братание дружинников с сослуживцами полковника Мина! Хорошо, что мы называемся Красной гвардией, а не дружинниками! Что о нас должны думать питерские товарищи? По-моему, как о штрейкбрехерах революции! Да вы почитайте, что сегодня напечатано в московских газетах! Прямой вызов — резать большевиков!

— Это хорошо!

— Что хорошо. профессор?

— Что все ясно. Они начали сеять ветер. Завтра пожнут бурю.

В конце этого «спокойного» дня приехали, наконец, Ногин, Муралов и Владимирский. Рябцев обещал снять блокаду Кремля, а Совет согласился вывести из Кремля роту 193-го полка, приведенную Ярославским. Молчаливо слушали в штабе отчет делегатов. Все уже понимали, чего может стоить потерянный день. То и дело приходили в штаб и сообщали: Рябцев и не думает никого пропускать в Кремль! Юнкера занимают посты на Театральной площади, у Каменного моста, они уже останавливают прохожих, обыскивают — ищут оружие.

«Завтра» началось с утра тревожными вестями. В думе рудневы торжественно заявили, что в Петрограде с «узурпаторами» покончено! По генерал-губернаторскому дому бегали эсеры и меньшевики, рассказывая, что Советская власть в Петрограде пала, Керенский во главе верных ему войск вошел в столицу, народные комиссары арестованы или же попрятались...

В нижних комнатах генерал-губернаторского дома жили тревожно и нетерпеливо.

В Совет приехал Ярославский. Он был смущен и утратил

свой обычно невозмутимый вид. Выполняя условия договоренности между Рябцевым и ВРК, он вместе с Рябцевым, прибывшим в Кремль, вышел из Кремля и увел роту солдат 193-го полка. Оставшиеся солдаты чуть не разорвали Рябцева, с трудом выпустили его из Кремля...

— И правильно бы сделали.— Штернберг был мрачен, как это редко с ним бывало.— Какие мы лопухи!.. Все эти переговоры с Рябцевым и Рудневым во имя бескровной революции обойдутся нам дорого. Потоками крови! Вы имели возможность, Емельян Михайлович, арестовать Рябцева, обезглавить штаб контрреволюции, предложить юнкерам немедленно разоружиться...

— А юнкера бы ответили выстрелами...

— Выстрелов бояться — власти не видать! Как мы все боимся услышать хоть один винтовочный выстрел! Дождемся пулеметного огня. И артиллерийского тоже. А юнкера сняли осаду Кремля? Грузовики из Замоскворечья пропущены в Кремль?

— Нет.

— Ну, вот. И не пропустят. А вы — сторонники бескровной революции, вы сегодня уже услышите выстрелы. И увидите кровь. Нашу кровь!

На улице в отдалении глухо ухнул выстрел. Все бросились к окнам.

— Началось! — Штернберг постучал слегка пальцами по столу, как это он делал перед началом лекции.

Началось! Это чувство было у всех. И не только у находившихся в помещении ВРК. Берзин сообщил из Кремля, что юнкера занимают Москворецкий и Каменный мосты. Всякое движение грузовиков через мосты прекращено. Юнкера накапливаются у ворот. Он приказал выставить на стены пулеметы, расставил часовых.

Из Замоскворечья позвонили и сказали, что в Коммерческом институте вооруженные студенты пытались выступить против Совета. Но совсем неподалеку, в Александровских казармах, находился большевистский 55-й полк. И две роты вместе с отрядом Красной гвардии загнали студентов назад в институт. Сейчас институт окружен, белогвардейцам предложено разоружиться и сдаться. Была перестрелка, но потерь пока нет.

Штернберг через двор генерал-губернаторского дома вышел на улицу и зашагал к «Дрездену» — там в сто пятнадцатой комнате находился Пече, там дублировалась связь с районами. Темнело, по пустой улице ветер перекачивал валики сухого снега. Впервые за все эти месяцы у памятника Скобелеву никто не митинговал, Тверская была пуста, не горели фонари, жидкие цепи солдат перегораживали улицу наверху и внизу, у Брю-

совского переулка. И в вечернем сыром воздухе отчетливо были слышны где-то там, внизу, наверное у Охотного ряда или на Моховой, отдельные винтовочные выстрелы.

В сто пятнадцатой комнате Пече разговаривал по телефону с Файдышем из Замоскворечья. Он оторвался от телефонной трубки и спокойно рассказал о самых новых известиях. Юнкера вышли из училищ, заняли всю Театральную площадь, заняли Крымскую площадь, подходят к почтамту и Центральной телефонной станции. Рябцев прислал в Московский Совет ультиматум, он требует, чтобы ВРК был распущен, Кремль сдан, Красная гвардия разоружена. При отказе Рябцев угрожал начать артиллерийский обстрел Московского Совета.

Штернберг вернулся в комнату ВРК, когда обсуждение рябцевского ультиматума, собственно, закончилось. Бледный Ногин сидел на председательском месте и молчал. Скворцов-Степанов стоял у стены и кончал свое слово:

— ...те, кто призывают нас продолжать переговоры с Рябцевым, пусть не обманывают ни себя, ни нас. Рябцеву и белогвардейцам не нужно спокойствие, они ждут нашего разоружения, чтобы начать убивать безоружных. Они готовы залить город кровью, если мы сами не перейдем в наступление. А что касается угрозы открыть огонь по Совету, то они и будут стрелять! И кто боится смерти, пусть встанет и немедленно покинет этот дом! Ему тут нечего делать! Здесь останутся большевики, желающие драться с контрреволюцией!..

Штернберг тихо спросил Соловьева:

— А что-нибудь делается, чтобы защитить Совет от внезапного нападения? Тут на улице две жиденькие цепочки солдат. Так они нас и без всякой артиллерии накроют...

— Из 1-й артиллерийской бригады вызвана батарея. И позвонили из Замоскворечья, что большой отряд двинцев пошел к нам. Так что они не сунутся... Дело в другом: нам нельзя ждать, нам необходимо самим наступать.

Кто-то в комнате крикнул:

— Да тише, товарищи! Слышите?

Даже сквозь плотно закрытые окна были слышны сливающиеся в один сплошной гул выстрелы. Штернберг и Соловьев быстро вышли на Тверскую. Снизу, со стороны Охотного ряда, шел гул битвы. Это уже не были отдельные выстрелы. На фоне сплошной беспорядочной стрельбы отчетливо прослушивался сухой пулеметный треск. Там шел бой. Где? С кем?

Штернберг и Соловьев бросились в штаб. Слава богу, хоть кончили обсуждать, да совещаться, да спорить!.. Член МК Усиевич разговаривал по телефону с Замоскворецким ревкомом. Бой, очевидно, шел с двинцами, которых ревком направил

для защиты Московского Совета. Сейчас посылают к Москворецкому мосту отряд красногвардейцев. Не хватает пулеметов, нужна артиллерия, нечем подавить юнкеров, у них огромное преимущество в пулеметах.

И позвонил Берзин из Кремля. С кремлевских стен бой был с трудом виден, он шел в темноте у Исторического музея. А пулеметы кремлевского гарнизона расставлены против Лобного места. Вылазка из Никольских ворот невозможна, весь Кремль в крепком кольце юнкеров. Сейчас бой окончился, большевики, очевидно, прорвались к Воскресенской площади через Иверские ворота.

В комнату вбежали солдаты из охраны.

— Пришли наши! Раненых несут!..

Ревкомовцы двинулись навстречу двинцам. Совет наполнился людьми. Солдаты еще дрожали от горячки боя. На шинелях, на руках они несли раненых, были измазаны кровью. В парадных залах второго этажа на диванах, прямо на полу размещали раненых. В комнате штаба солдаты, задыхаясь, рассказывали.

...Их было всего человек сто пятьдесят. Находились еще в Озерковском госпитале. Пришел туда приказ Замоскворецкого ревкома — двинуться на Скобелевскую площадь для защиты Совета. Сформировали четыре взвода, командовал Сапунов, которого солдаты избрали командиром роты. Пулеметов не было, у каждого только четыре подсумка патронов, гранат тоже ни у кого... Прошли Садовники, мост прошли, никто их не останавливал. Только у Лобного места остановила цепь юнкеров. Спрашивают: «Куда?» Отвечают: «К Скобелевской площади, на охрану Совета...» Пропустили. Почти всю Красную площадь прошли, а у Исторического темно от юнкеров — человек двести, а то и триста... И полковник какой-то с ними. Подошел к Сапунову и командует: «Сдавай оружие!» И, не дожидаясь ответа, из револьвера прямо в лицо Сапунову стреляет... А потом поворачивается к своим юнкерам и командует: «В штыки их!..» Но двинцы шли не строем, растянулись, задние ряды ответили залпом... Юнкера отбежали, началась стрельба. Но юнкеров куда больше, забралась на крыльцо музея, кроют, гады, из-за камней, а их не достать... Двинулись к Иверским, а на углу Никольской с церковной колокольни по ним из пулемета саданули... Побили многих, кого ранили — старались забрать с собой, ведь добьют, сволочи!.. Вырвались к Лоскутному переулку, потом на Охотный и вверх по Тверской... Сколько на Красной осталось, сколько пришло — неведомо, перекличку не делали еще...

...Штернберг вышел в коридор. Он был наполнен солдатами.

— Где наши? Где двинцы из Озерковского? — обратился к Штернбергу невысокий солдат.

— А вы кто и откуда?

— Мы двинцы из Савеловского госпиталя. Сейчас наша рота пришла на охрану. Говорят, наших из Озерковского побили насмерть юнкера? А там у меня земляки... Где на-ши-то?

Штернберг поднялся с солдатом на второй этаж. Парадные, разноцветные, обитые шелком залы были полны ранеными. В Голубом зале женщины в платках с красным крестом раздевали и бинтовали раненых. Военный с погонами младшего врача подошел к Штернбергу.

— Товарищ, вы из ревкома? С легкоранеными мы сами справимся. Но тут есть тяжелые. Очень тяжелые. Здесь их держать нельзя. Рядом, в Леонтьевском, есть частная лечебница. Пять самых тяжелых необходимо отправить туда. Тут есть солдат с тяжелейшим ранением в брюшину. Вот этот...

Врач оглянулся назад, и Штернберг за ним повернул голову. Внутри у него похолодело... На диване лежал укрытый шинелью солдат, его спокойные глаза внимательно глядели на Штернберга. Только по этим глазами и узнал он его. И кинулся к солдату.

— Мстислав Петрович! Слава, милый вы мой!.. Как же это вас? Господи, что я за глупости говорю! У меня из головы вылетело, что вы же в Озерковском были! Ничего, ничего! Сейчас мы вас эвакуируем в больницу, рядом, в Леонтьевском... Пока там полежите, мы с белыми справимся!

Почти беззвучно Друганов сказал:

— А может, не надо в больницу? Ах, как глупо мы попались! Скажите им, Павел Карлович, пусть не верят, пусть не верят им... Жалко, умру, так и не узнав...

— Да что вы, Слава, такое говорите! Куда вы, к черту, такой молодой, умрете! Еще будем тут Советскую власть устанавливать!

— Будете! А я, кажется, уже не буду. Так ведь все же дожил до войны с ними. Стрелял в них... Почти смерть на баррикаде, как мечтал в гимназическое время...

Какое-то подобие улыбки скользнуло по бескровным губам Друганова.

Штернберг подошел к военврачу.

— Сейчас пошлю солдат в больницу за носилками. Если тут остаются только легкораненые, отправляйтесь с тяжелыми в больницу, принимайте на себя все лечение. Запишите телефон ВРК.

Потом вернулся к Друганову. Тот был в полузабытьи. Взял его руку и держал, пока не пришли с носилками. Помог

положить Друганова, накрыл его шинелью. Взялся за край носилок, снес вниз, вышел в Чернышевский переулок, отдал ручку носилок солдату. Наклонился к Друганову — глаза у того были закрыты, губы сжаты от нестерпимой боли. Штернберг махнул рукой солдатам — несите! И смотрел вслед, пока солдаты с носилками не скрылись в темноте. Друганов — первый. Первый из близких ему людей, погибший в бою. Сколько их еще будет? Непривычно сгорбившись, Штернберг пошел в комнату штаба.

Максимов

Это был человек с малозаметной внешностью, среднего роста, небольшими темными усиками и темными волосами, аккуратно расчесанными на пробор. После бессонной заседательской ночи или поездки на тряском грузовике на окраину города Максимов всегда выглядел так, как будто только что собрался на прогулку в городской сад: чистая рубашка с галстуком, наглаженные брюки, застегнутые широким ремнем со множеством карманчиков — такие пояса любили носить мастеровые в провинциальных городах. Константин Максимов, собственно, и был таким: столяром-краснодеревщиком из Самары. Он был молод — лет двадцати с чем-нибудь, но не по годам размерен и нетороплив.

Заметил его Штернберг еще с весны, когда на заседаниях Московского комитета появился этот молчаливый молодой человек. Было о нем известно, что он рабочий, партиец из Самары, недавно вышел из тюрьмы, где сидел больше двух лет. Выступал он редко, немногословно, но очень ядовито. Этот мастеровой из Самары умел и любил вставлять в свои короткие речи какие-нибудь убийственные словечки и сравнения, взятые у писателя, которого, очевидно, он больше всего любил, — у Салтыкова-Щедрина.

В июне, когда после демонстрации в Петрограде в Политехническом шло бурное заседание Совета, после меньшевика Николаева вышел на трибуну этот аккуратный и спокойный человек и, показав пальцем на встрепанного Николаева, с волнением усаживавшегося в президиуме, сказал:

— Вот этот Дю Шарю...

— Какой это Шарю? — взорвался Николаев.

— А был такой градоначальник из французов. Взялся он объяснять жителям города Глупова права человека, но кончил тем, что объяснил права Бурбонов — королей, значит... Получилась такая история и с товарищем Николаевым. Он нам очень точно объяснил, что у народа есть обязанности, а у правительства — права. Как и описано было в одной книге...

— А вы, молодой человек, что-нибудь, кроме Салтыкова-Щедрина, читали? — выкрикнул Николаев.

— А на вас, меньшевиков, одного Салтыкова-Щедрина во-он как хватит. Еще останется...— спокойно ответил ему Максимов под хохот зала.

Как всякий остроумный человек, Максимов был угрюмоват, не улыбчив и невозмутимо спокоен. О волнении его или задумчивости можно было догадаться только по тому, что он вдруг начинал тихонько, как бы про себя, напевать высоким приятным голосом какую-нибудь волжскую народную песню.

Через полчаса после возвращения Штернберга в штаб, запыхавшись, прибежали солдаты, относившие раненых в больницу в Леонтьевском переулке:

— Юнкера! Юнкера кругом! Как сдали раненых, пошли назад, видим, идут по переулку юнкера. Много, цепями идут. С пулеметами. Мы еле успели проскочить в Чернышевский, а и там юнкера идут. Окружают нас, окружают со всех сторон!..

— И окружают,— невозмутимо сказал Максимов.— Если не организуем разведки. По-моему, в штабе у нас ее и нет. Не так ли, товарищ Штернберг?

— Так. С разведки и начинать следует. И думаю, что назначить начальником разведки следует товарища Максимова. Главное, он в панику не впадет.

— Не впаду,— кратко ответил Максимов.

Начальнику разведки Штернберг тоже дал книгу Вычегодского. Но, полистав ее, Максимов вежливо вернул назад.

— Нам это непригодно, Павел Карлович. Тут, правда, интересно объясняется, как зулусы в Африке разведку ведут. Но нам ни к чему. И отчетные карточки заводить не буду. Как-нибудь одной головой будем обходиться.

На свою голову Максимов мог положиться. Память у него была феноменальная. Приходя в штаб, он, никогда не заглядывая в бумажку, перечислял количество юнкеров в каждом переулке вокруг Советов, количество пулеметов, расставленных у «Метрополя» и Большого театра, сколько зарядных ящиков около пушек у врагов. И людей себе он подобрал таких же, как он сам: быстрых, незаметных, молчаливых, спокойных, все запоминающих. И никогда не врущих. На данные максимальной разведки можно было положиться.

Новости, сообщаемые вновь организованной разведкой, были угрожающими. Вывести всю артиллерию из 1-й бригады на Ходынке не удалось. Юнкера ночью налетели на бригаду, захватили два орудия, у нескольких пушек сняли панорамы

и заклинили затворы. Дорогомиловский ВРК был ими застигнут врасплох и разгромлен. Ожидая прибытия вызванных с фронта войск на Брянский вокзал, юнкера захватили Бородинский мост и отрезали от центра весь Дорогомиловский район.

...Самое страшное произошло 28 октября. До самого раннего утра Штернберг расхаживал по коридору, отгоняя от себя мысль, что он сам, своими руками отдал смертельно раненного Друганова в руки юнкеров. Лечебница частная, Леонтьевский переулок в руках у юнкеров, они, конечно, узнали, что в лечебнице лежат раненые дружинники. Но неужели юнкера и студенты, может быть, его, Штернберга, студенты, могут вытащить из больничной кровати и растерзать раненых, беззащитных людей?.. Это же не нахлеставшиеся водкой солдаты лейб-гвардии Семеновского полка, расстреливавшие рабочих во дворе Прохоровской мануфактуры! Они же не убийцы!..

Лицо идущего ему навстречу Максимова было, как всегда, спокойно, но было в нем что-то напряженное... Штернберг остановил его:

— Что-нибудь новое, товарищ Максимов? И плохое?

— Новое. Очень плохое, Павел Карлович. Кремль взяли. Пойдемте в штаб. Расскажу.

Комната штаба была заполнена людьми.

Рассказ Максимова был ужасен.

— Глупо, преступно глупо получилось. Штурмом взять Кремль они не могли. Там же больше полутора тысяч солдат, неограниченное количество пулеметов и патронов. Но мы — дурни! Не только Рябцева выпустили из Кремля, но и товарищ Емельян оттуда ушел. И ни одного толкового партийца. Берзин этот — мальчишка зеленый. Они его и попутали. Рябцев его по телефону уговорил, что Москва у него в руках. Совет занят, ВРК арестован, откройте-де ворота и дайте возможность юнкерам сменить караул у эвакуированных ценностей. Тот, лопух, поверил... Ну, юнкера ворвались через Троицкие ворота, схватили Берзина и заперли в арсенал. Дальше черт знает что!.. Двух уцелевших солдат расспрашивал — картина страшноватая.

— Что?

— Юнкера ворвались в казармы 56-го полка, захватили их как курей. Винтовки-то стояли в пирамидах, ни одной не успели взять... Начали прикладами выгонять раздетых солдат и гнать к арсеналу. А у арсенала эти мерзавцы уже приготовили два броневика, на каждом по шесть пулеметов. И расстреливали солдат в упор, совершенно хладнокровно. Говорят, сразу же человек двести уложили...

— А сейчас?

— А сейчас, наверное, доканчивают остальных...

— Да быть этого не может! — возмутился Ногин.

— Может, товарищ Ногин. Очень даже может.

— Они могут...— Штернберг был почти так же спокоен, как Максимов. Теперь он уже понимал, что нечего ему надеяться, что ворвавшиеся в лечебницу оставят в живых Друганова.— Забыть, навсегда забыть и оставить все разговоры о возможных переговорах с Рудневым и Рябцевым! Два раза они уже нас проводили за нос. Чем кончилось — теперь вы видите. Будем и дальше вазгаться, они нас прихлопнут. Подумайте о том, что они сделают тогда с рабочими и их семьями...

Кто-то, видно, из максимовских людей вошел в комнату штаба и молча передал ему листок бумаги. Максимов быстро его пробежал и поднял руку. Шум в комнате затих.

— Уже и приказ есть. Отпечатанный. В типографии успели отпечатать! Сейчас прочту:

ПРИКАЗ

по городу Москве № 1486
командующего войсками Московского военного округа

Кремль занят. Главное сопротивление сломлено. Но в Москве еще продолжается уличная борьба. Дабы, с одной стороны, избежать ненужных жертв и чтобы, с другой, не стеснять выполнение всех боевых задач, по праву, принадлежащему мне, на основании военного положения, запрещающего всякие сборища и всякий выход на улицу без пропуска домовых комитетов, все граждане приглашаются немедленно уведомить меня по телефону городской думы о всех домах, где в окнах или на крышах засели вооруженные люди.

Предупреждаю, что в ответ на выстрелы из домов последует немедленный пулеметный и артиллерийский обстрел дома.

Обращаюсь к чувству сознательных граждан помочь избежать всех лишних жертв.

Командующий войсками Московского военного округа
полковник *Рябцев*.

Ясненько вам, товарищи?

— Совершенно ясно,— ответил Штернберг Максиму. И, обратившись к Ногину, продолжал: — Вы были в конце пятого в Москве, Виктор Павлович, и должны сразу же вспомнить, чьи слова повторяет Рябцев. Они из приказа генерал-губернатора адмирала Дубасова. Это означает стрельбу из пушек не по прицельным объектам и расстрелы без суда. К чертовой матери эту всю дальнейшую канитель! Нам нужны пушки!

— Батарея с Ходынки прибыла! Три орудия. Есть снаряды.

Наступить на Совет от Страстного по улице они теперь не сумеют. Как бы по переулкам не просочились.— Соловьев вопрошающе посмотрел на Максимова.

— Это если мы провороним... Сейчас что-нибудь придумаем.— Он повернулся и вышел.

Теперь уже можно было не гадать о том, что происходит в Москве. Шел бой. Винтовочные и пулеметные выстрелы были слышны со всех сторон. Сильный пулеметный огонь доносился со стороны Тверского бульвара и Страстной площади. От гула дрожали стекла дома. Стреляли пушки. Свои, стоящие у самого здания Совета. Очевидно, шла стрельба по юнкерам, наступавшим от Страстного монастыря. Штернберг неподвижно сидел за столом. Самым ужасным были молчащие телефоны. Время от времени он поднимал трубку и с яростью бросал на рычаги. Не было даже связи с «Дрезденом». Несколько раз он выходил на Тверскую и шел в «Дрезден». Улица была совершенно пуста, у булочной Филиппова две выдвинутые вперед пушки время от времени стреляли в сторону Страстной площади. В перерывах между выстрелами слышен был тонкий противный свист пролетающей пули.

Мрачно, не нагибаясь, во весь свой огромный рост Штернберг переходил Скобелевскую площадь и входил в гостиницу. В комнатах первого этажа было полно людей, в коридоре грудами лежали патроны, стояла открытая бочка с селедками, около нее на чистой рогоже лежали кирпичи черного, плохо пропеченного хлеба.

— Угощайтесь, профессор! -- Пече кивнул ему на селедку.

Штернберг вспомнил, что последний раз он ел, наверное, сутки назад, но есть ему не хотелось.

— Телефоны молчат, Ян Яковлевич?

— Молчат. Как вы думаете, что надо делать?

— Прекратить это дурацкое сидение в заблокированном Совете. Центр в руках юнкеров. Значит, надо наступать на центр. Из окраин.

— Из Замоскворечья, Павел Карлович. Замоскворечье все наше целиком. Юнкеров студентов в Коммерческом прихлопнули. Школы прапорщиков в Александровских казармах разоружены 55-м полком. Шестая школа прапоров у Цинделя, а там у нас сильнейший отряд. Прапорщиков разоружим, если это не сделали до сих пор. Людей много, оружие достанем. Во всех остальных районах — слоеный пирог из юнкеров и наших. Замоскворечье дает нам возможность действовать на всех направлениях.

— Правильно. А здесь нам незачем сидеть, все равно ничего не делаем.

...В нижнем этаже Совета Штернбергу сказали, что наступление юнкеров продолжается, они уже заняли здание градоначальства на Тверском бульваре, ближе к Садовой вышли на Кудринскую и держат под огнем Никитскую, Конюшки и Большую Пресню.

«Опять они на Пресне! — мелькнуло в голове Штернберга. — Что там, дома?..»

Вошедший в комнату Максимов был не только спокоен, но даже что-то тихонько напевал:

Ты скажи-ка мне, голубчик,
Что за дом такой стоит?
Кто владелец тому дому?
Как фамилия гласит?

Сейчас мы в этот дом ходим в гости и отлично устроимся.

— Чей же это дом, товарищ Максимов?

Максимов совершенно серьезно ответил Штернбергу:

— Карла Карловича Нирнзее, товарищ профессор! Совсем рядом от нас. В домике девять этажей, на крыше ресторанчик был.. Я уже поставил в подъездах своих людей, отобрал винтовки у домовой охраны. Даже лифты работают. Теперь нужно послать туда десяточек опытных ребят и штуки четыре пулеметов. И тогда к Совету и близко не сунутся. Как думает наш военный специалист?

Аросев задумчиво почесал свою маленькую бородку.

— Как профессиональный военный, опирающийся на богатейший опыт военной мысли, я думаю, что Максимов прав. И мы сейчас в этот теремок пошлем пулеметчиков. Но как опытный вояка, думаю, что без пушек нам не обойтись...

Даже в эти невеселые минуты маленькая речь Аросева вызвала улыбки. Был Александр Яковлевич Аросев глубоко штатским человеком. Но так как до своего ареста за большевистскую агитацию он шесть месяцев был офицером, то в ревкоме считался военным специалистом. Самое замечательное, конечно, было то, что Аросев и оказался таким. Спокойный, никогда не теряющийся, он без всякой суеты вызывал артиллерию, посылал на боевые позиции красногвардейские отряды, даже показывал начинающим пулеметчикам, как устранять перекося патрона в затворе пулемета.

...По призыву ВРК и Центрального совета профсоюзов в Москве с утра 28 октября началась всеобщая политическая забастовка. В Совете появлялись женщины, закутанные в платки, похожие на московских молочниц, разносящих молоко по богатым квартирам. Это были связные, пробиравшиеся в Совет через районы центра, занятые юнкерами. Их сообщения были более отрадными. Московские фабрики и заводы оста-

новились, на заводских дворах идет запись в Красную гвардию, во главе отрядов становятся большевики-солдаты. Оружие! Нужно оружие!

Исчезнувший на несколько часов Максимов вернулся в ВРК запыхавшийся. У него в Совете появилась своя комната, куда приходили связные, стекались сведения из районов, с которыми начальник разведки одному ему ведомым путем установил связь. Номер максимовской комнаты — 33—стал уже названием разведки ВРК.

На этот раз из тридцать третьей комнаты пришли очень важные сведения.

— Есть винтовки! Есть и еще будут! На путях Казанской дороги, около Сокольников, стоят в тупике запломбированные вагоны. В них сорок тысяч новых винтовок. Есть и патроны к ним. Это раз! — Максимов загнул палец.— Связались с Тулой. В эшелон с дровами, отправляемый в Москву, товарищи погрузят несколько тысяч винтовок и цинки с патронами. Это два... Значит, оружие найдется. Остается решить: кто сможет разгрузить вагоны в Сокольниках и вооружить ими людей?

В штабе замолчали.

— А каково мнение нашей разведки? — спросил Аросев.

— Я так полагаю: винтовки надо перебросить в Замоскворечье. Там у нас самый организованный народ, они сумеют разгрузить вагоны. Из Замоскворечья вести наступление на центр. И сделать в Замоскворецком ВРК дублирующий штаб. Опять же там у нас сейчас вся партийная печать: и «Известия» и «Социал-демократ». Там уже работают и товарищ Емельян, и Владимирский. Словом, Замоскворечье — наша главная база для наступления. И там Совет — полный хозяин района.

— А ВРК?

— Председатель Совета Косиор, он и в ревкоме председательствует. Начальником штаба Файдыш. Его товарищи хорошо знают еще по пятому году, человек толковый. Но по-моему, там надо усилить руководство военными действиями. И чтобы командующий был товарищ решительный и авторитетный.

— Правильно, правильно разведка говорит... — Аросев пощипывал свою бородку, как будто оттуда приходили ему на ум наиболее верные предложения.— Нужно послать туда Цивцивадзе — опытный боевик. Товарища Волина — агитатор отличный.

— Товарищи! — Соловьев выступил вперед и показал на Штернберга, молча сидевшего у стола.— Вот, по-моему, кто должен руководить боевыми операциями из Замоскворечья. С самого начала Павел Карлович убеждал нас не защищаться, а наступать... Знает в Москве каждый переулочек, каждый тупик.

Ну, а авторитета и энергии не занимать! А? Как вы, Павел Карлович?

— Ну, чего будем обсуждать! Уже темнеет, будем пробираться в Замоскворечье! За тридцать третьей комнатой — непрерывная связь со всеми районами, с нами!

— Тридцать третья не подведет! — весело откликнулся Максимов.— Дорогу в Замоскворечье показывать не надо?

— Своими силами обойдемся.

Командующий

— Как будем, товарищи, двигаться? — спросил Цивцивадзе.— Где и как нам лучше перейти Москва-реку?

— Лучше всего, конечно, вброд...— мрачно пошутил Штернберг.— Во-первых, пойдем врассыпную: если попадем к юнкерам, то не все скопом. И не берите с собой никаких документов, связанных с Советом. И оружие не берите. Да и не мешает вам побриться, товарищи, чтобы выглядеть поприличнее.

— Вы-то хороши, профессор! — И Волин сквозь свое пенсне посмотрел на Штернберга, на его такой непрофессорский вид. В кожаном костюме, в кожаной фуражке.

— Ничего. Мне все можно.

Штернберг тщательно просмотрел свои карманы. Переложил в карман куртки все, что как-то подтверждало его принадлежность к университетскому сословию. С сожалением отдал Соловьеву револьвер.

Темнело, когда он двинулся по Тверской. Ни одного человека, ни одного извозчика не было на пустынной горбатой улице. Какие-то редкие фигуры, наклонившись, перебежали улицу, и нельзя было понять, юнкера ли занимают позиции или бежит московский обыватель к себе домой из гостей, где он застрял в такое неудачное, негостевое время.

Штернберг шел своим обычным быстрым шагом и думал: где его остановят, а главное — кто? Студенты? Они все знают, что профессор астрономии Штернберг — большевик. И даже какое-то влиятельное лицо у большевиков. А что он их профессор — на это не посмотрят. У Штернберга сейчас не было никаких иллюзий. Юнкера? Эти, конечно, ничего и никого не знают. Большинство из них — иногородние и малоинтеллигентные люди. Брюсовский переулок он прошел без всяких осложнений. У Газетного из-за угла вышел патруль.

— Стой! Кто идет?

Штернберг остановился. Еще окончательно не стемнело, он отчетливо различил на шинелях погоны с литерами военного училища. Юнкера!

— Пожалуйста, господа. — Он порылся в кармане, нащупал глянec визитной карточки и протянул ближайшему юнкеру. Тот стал вглядываться в перечисление всех званий заслуженного профессора.

— Куда в такое время, господин профессор? Тут же стрельба идет, из-за каждого угла вас дружинники подстрелят.

— Не только у вас долг, господа. И меня ждут в университете срочные дела.

— Не идите к Охотному ряду, пройдите лучше Долгоруковским, господин профессор.

— Я так и собирался идти. Знакомая дорога.

Да, дорога была знакомой. Сколько раз шел по ней, раскланиваясь непрерывно со студентами. А теперь он больше всего опасается с ними встретиться... В Долгоруковском его еще раз задержал юнкерский патруль и так же быстро отпустил. Штернберг перешел на другую сторону Никитской. В арке ворот университета виднелся патруль, он наверняка состоял из юнкеров студентов. Пусть лучше его останавливают юнкера!

Но он благополучно прошел по Моховой, пересек Воздвиженку и даже Знаменку. Здесь время от времени постреливали. Но несмотря на это несколько человек всегда накапливалось в каком-нибудь защищенном от пуль закоулке, а потом, выждав перерыв в стрельбе, бросались бегом через улицу к следующему крыльцу. Штернберг останавливался в подворотнях и подъездах вместе с ними, вместе с ними перебегал...

А вот когда свернул с Волхонки на Ленивку, ведущую к Каменному мосту, Штернберг остался один. И немедленно был задержан патрулем. На этот раз у юнкеров был начальник, судя по погонам, офицер, мрачный и подозрительный. При свете карманного фонаря он внимательно прочитал не только содержание визитной карточки, но и университетских документов, предусмотрительно взятых Штернбергом с собой, даже письмо ректору об отпуске средств на постройку в Нескучном пункта гравиметрического измерения. Бумага эта с резолюцией Мензбира оказалась решающей в разговоре с офицером.

Капитан недоверчиво осмотрел Штернберга. Внешность его мало напоминала профессорскую.

— Куда вы направляетесь, господин профессор?

— В Нескучный сад, капитан. Конечно, не на прогулку. Там пункт астрономического наблюдения, установлена аппаратура, меня ждут сотрудники обсерватории.

— Вам придется вернуться. Через мост нельзя пройти. Правда, он наш, но Малый Каменный в руках дружинников. Там стреляют. И вообще весь этот район — Якиманка, Калужская, — весь он у красных. Вам туда не пройти. В вашем возрасте, пешком, под пулями... Идите назад, господин профессор, я вам дам юнкера в провожающие, быстрее доберетесь

до университета. Наука подождет, пока мы этих не прикончим.

— Господин капитан! Наука — единственное, что не может ждать. Наблюдение над светилами нельзя откладывать так же, как нельзя откладывать до лучшего времени роды ребенка. Мы имеем возможность сегодня, и только сегодня, выяснить то, что представляет первостепенную важность не только для чистой науки, но и для практической жизни людей... Вот почему я, старый человек, иду через весь город, вместо того чтобы сидеть в теплом профессорском кабинете... Наука — вне политики, я надеюсь, что меня пропустят и те, как пропустили меня вы.

— С кем вы нас сравниваете, профессор? И как вы наивны! Эта взбунтовавшаяся чернь плюет на нашу науку. Да потом — пули не проверяют документы...

— Я буду осторожен, капитан.

— Если вам удастся пройти Большой Каменный, идите по Всехсвятской, прижимаясь к левой стороне. На той стороне, на набережной, завод Листа, но мы сдерживаем дружинников. А вот справа у них трамвайная электростанция, а значит, и Малый Каменный. Бог вам в помощь, профессор. А уж на нас можете надеяться! Мы эту шваль пулеметами загоним в их вонючие дыры!

— Арма вирумку кано! Пою оружие и мужа! Как писал Публий Вергилий Марон... Если вы так любезны, черканите, капитан, на моей визитке, чтобы меня ваши не очень задерживали. Понимаете, светила не обращают внимания на людские беспорядки, они движутся по своим орбитам, не задерживаясь. Надеюсь, что прибуду на свой пункт вовремя.

...Трамвайная станция, значит, у наших! Но до нее еще надобно пробраться по мосту, по Всехсвятской. Каменный мост как бы вымер. Трамвайные рельсы блестели под налетом снега. Штернберг шел, прижимаясь поближе к перилам. По нему не стреляли, он прошел мост благополучно и теперь шел, стараясь находиться в тени бесконечной каменной ограды Соляного двора. Стало совсем темно, черная кожаная одежда его почти сливалась с темной грязной стеной. Но через десяток шагов Штернберг уперся в небольшую свежеврытую канаву. Он остановился и сразу же был окликнут с нескольких мест.

— А ну остановись! Кто такой? Куда это идешь?

К нему бежали вооруженные люди. В черных пальто, один в нелепо на нем выглядевшей широкополой шляпе, все с винтовками в руках. Свои! Добрался!

— Вы из Трамвайной?

— Ну, из Трамвайной! Кто такой?

— Отведите меня, товарищи, к своему командиру. Только побыстрее.

Двор Трамвайной электростанции напоминал военный лагерь. Он был полон солдат и красногвардейцев. Под небольшим навесом у склада стояла груда цинковых ящиков с патронами. Штернберга провели в контору на первом этаже. В небольшой комнате толпилось много народа, густой махорочный дым висел в воздухе, какой-то человек за столом кричал в телефонную трубку...

Ох, как здорово! И телефон работает!!

— Моя фамилия Штернберг. Я послан из Московского ВРК. Телефон с ВРК заработал?

— Нет, товарищ Штернберг. Телефон, видите, полевой. Связывает нас с нашим районным ВРК, с заводом Листа, фабрикой Эйнем. Другие товарищи из ВРК уже прибыли, нам сообщили.

— Почему документов у меня не спрашиваете?

— Я вас десятки раз видел и слышал, товарищ Штернберг! Даже лекции по астрономии слушал у Шанявского...— Человек за столом так улыбнулся, как будто он был хозяин, к которому пришел приятный гость.

Вдруг Штернберг почувствовал, как он устал. Присел на стул, кем-то ему подставленный.

— Соедините меня, товарищ, с районным ВРК.

Человек за столом долго вертел ручку полевого телефона. Наконец дозвонился. Он передал трубку Штернбергу, и тот услышал ослабленный расстоянием и старыми батареями невозможно знакомый, резкий голос...

— Евгений Александрович! Вы?

— Я, конечно, я, Павел Карлович! Я, когда узнал от товарища Цивцивадзе, что идете к нам, до смерти испугался... Это вы прямиком через Каменный?!

— Конечно, через него. Где вы находитесь? На Малой Серпуховке?

— Я нахожусь, где мне положено,— в трактире. Да вы не злитесь, Павел Карлович! Ей-богу, в трактире. В трактире Полякова на Калужской площади. Ревком сюда перебрался с Малой Серпуховки поближе к боевым, так сказать, порядкам. Ничего вам рассказывать сейчас не буду, все увидите сами. Сейчас я за вами прибуду.

— А зачем такая честь? Я уж доберусь сам. Если по Моховой прошел, то по Якиманке подавно.

— А я за вами как за главверхом — на автомобиле...

Автомобиль оказался небольшим потрепанным грузовиком. Штернберг сидел рядом с шофером, немолодым солдатом.

А Гопиус, стоя на подножке, кричал Штернбергу, сидевшему у разбитого окна:

— Слышите справа пулеметный — это наши у Бабьегогородской плотины. Бабьегогородские переулки у нас в руках, там наши накапливаются и с набережной наступают на Крымский мост. Но, как пишут в сводках, с переменным успехом. А вот мы и дома!

Грузовик круто развернулся у углового трехэтажного дома, стоявшего напротив маленького чахлого скверика посередине площади. Со стороны Коровьего вала они зашли в залы, где ничто уже не напоминало их ресторанное прошлое. И большая зала, и примыкающие к ней комнаты были полны вооруженных людей. Стульев не было, сидели на полу. У стен спали красногвардейцы и солдаты, не выпуская из рук винтовки. В углу стояли два стола, на них лежали караваи хлеба, миски с чем-то съестным. Густой табачный дым плавал в воздухе.

Из задней комнаты вышли Цивцивадзе и Файдыш — спокойный, поблескивавший стеклами пенсне человек лет под тридцать.

— Ну вот, добро пожаловать, товарищ Штернберг, — сказал он, пожимая ему руку. — Пошли в штаб, сейчас расскажу про наши дела.

В небольшой комнате штаба вокруг стола, на котором лежала та же старая, вырванная из справочника «Вся Москва» карта, стояли и сидели люди, почти все знакомые Штернбергу. Ему уступили стул, и Файдыш сразу же стал рассказывать:

— Вы, Павел Карлович, сумели пройти через Каменный мост потому только, что там наше наступление приостановилось. Мы с середины дня начали наступление по двум направлениям. Одна наша колонна от Серпуховской шла по Большой Полянке, мы думали с ходу занять Каменный мост, выскочить на Волхонку и прямо на Знаменку — к Александровскому училищу. Ну, это у нас не получилось, мы окопались у канавы, там у Трамвайной электростанции наши позиции прочные. А другое направление у нас было — через Крымский на Остоженку, чтобы атаковать штаб округа. Тут у нас пошло более удачно. Мост у нас в руках. И все набережные на нашем берегу до самого моста Окружной дороги. Он тоже занят нами. Сейчас главные бои идут на той стороне, у Катковского лица и Интендантских складов...

— А кто там начальствует?

— Я сам там был, так что сведения сообщаю, что называется, из первых рук. А сейчас передал командование нашему очень толковому товарищу — Добрынину. Он уже на той стороне окопался. Мы ему отсюда посылаем подкрепления.

— А где окопался? Покажите на карте.

— Вот тут, видите, на углу Остоженки и Первого Ушаковского переулка, в чайной Бахтина, так сказать, штаб Добрынина. Там же у нас перевязочный пункт. А чтобы юнкера с налета нас не захватили, перекопали Остоженку, сделали окоп. Почти настоящий, солдаты делали. Думаю, что сидим там крепко, оттуда не выбьют. Мы с фабрики, что рядом, привезли тюки с прессованным хлопком, их никакая пуля не пробивает. Не окоп — крепость! Там сидим твердо! Мост и площадь за мостом занимают отряды с Михельсона, Варшавского арматурного, «Поставщика». А на Остоженке, кроме них, солдаты 55-го полка.

— Что, по-вашему, больше всего мешает нашему продвижению?

— Пулеметы у юнкеров. Из-за них мы и застряли на Каменном. Юнкера поставили пулеметы у храма Христа-Спасителя и на этой, на красной церкви, как ее, у самой набережной. Оттуда они держат под огнем любой выход с моста. А сейчас дела такие: лицей мы заняли, Интендантские склады тоже у нас. Можем продвинуться до Зубовской. Но Пречистенка и Остоженка у них защищены пулеметами с колоколен Троицкой церкви, церкви Воскресенья. Видите, вот они обозначены на карте. А потом они поставили пулеметы на всех церквах Зачатьевского монастыря. А с него простреливается вся Остоженка. Пулеметов у нас очень мало, Павел Карлович. Хорошо, что винтовок много, — взяли на Казанке. И патроны есть.

— А как доставляете патроны?

— А как удастся. Лучше всего трамваем. Да, да, не удивляйтесь. Мы и винтовки с Казанского вокзала на трамвае привозили. Самый лучший транспорт! Трамвайный парк рядом, там одни большевики, он нам крепко помогает.

— Это хорошо! Очевидно, товарищи, главное преимущество юнкеров — пулеметы. Умеют ими пользоваться, офицеры у них опытные. С этими пулеметами они думают продержаться до тех пор, пока к ним не подойдут, как они надеются, войска с фронта.

— Ну какие у них войска?

— Рассчитывают на казаков. Рябцев непрерывно посылает телеграммы на Западный фронт, и ему генералы обещали послать подкрепление. Юнкеров надо разбить как можно скорее, пока они не получили ни одной казачьей сотни. А с пулеметами можно бороться только одним способом.

— Каким же?

— Артиллерией. Артиллерией, товарищ Файдыш. У юнкеров пушек нет. Артиллерия вся в полковых казармах. Нам надобно оттуда их забрать и использовать для подавления пулеметного огня. Иначе не продвинемся. И людей наших жалко подставлять под пули. Где находится ближайшая артиллерия, известно?

— В Александровских казармах есть учебные пушки, трехдюймовки. Вот не знаю, есть ли у них снаряды. На той стороне реки, в Бутиковских казармах, стоят артиллеристы. С кем они, неизвестно. Очевидно, что не на стороне юнкеров. Ни одного пушечного выстрела оттуда не было.

На столе затрещал телефон. Файдыш схватился за трубку.

— Да, да! Откуда движутся? Сколько их? Говоришь, не разберут... Лукич, скажи, пусть не спускают глаз! Чуть что — звонят тебе. Сейчас некогда разговаривать. К нам приехал товарищ Штернберг из Московского Совета, ввожу его в обстановку.

...На часах Штернберга, таких точных, какие положено иметь профессору астрономии, было уже половина пятого. Утра. Несколько часов он просидел в продымленном штабе и уже мог себе представить положение дел. Как он и предполагал, именно Замоскворечье было главной опасностью для Рябцева. Район имел неограниченные возможности для формирования отрядов. Множество заводов, большевики везде хозяева, оружие есть, и удалось не только выйти за пределы района, но и занять на той стороне важнейший плацдарм, на самом подступе к штабу Рябцева.

Позвонил Гопиус, сказал, что был в Бутиковских казармах, артиллеристы готовы дать пушки, подробности сообщит сам, выезжает в штаб.

— Павел Карлович! Надо вам хоть час, да поспать! — решительно сказал ему Файдыш. — Нет, нет! Не спорьте! Сейчас сравнительно тихо, люди дремлют, темно, все ждут, пока развиднеется. Поспите часок. Я вас отведу в бывший хозяйский кабинет, там тихо. А как только придет Гопиус, разбудим вас.

На какой-то козетке, еле уместившей половину его гигантского тела, Штернберг мгновенно заснул. Все же Файдыш, видно, обманул его, и спал он больше часа. В окнах не то что светлело, но темнота стала сероватой.

Гопиус уже был в штабе — свеженький, похохатывающий, как будто он эту ночь хорошо дома выспался.

— Ну как, Евгений Александрович?

— Есть пушечки! И неплохие — 155-миллиметровые. Да вот беда: французские, осадного типа... И не знаю, подойдут к ним наши шестидюймовые снаряды или же нет?

— А где пушки?

— Мы их лошаадьми притащили. Одну поставили на набережной, на той стороне, а другую можете посмотреть — стоит посередине Калужской площади напротив нашего штаба. Пойдемте посмотрим?

Большая пушка задрала свой длинный ствол прямо в середине большой клумбы на площади. У орудия стояли бородатые артиллеристы. Штернберг обошел пушку.

— Женя! А панорамы-то у орудия нет?

— Нет. Панораму господу юнкера сперли. Ну, как-нибудь!.. Если не сумеем прямой наводкой, то рассчитаем угол наводки... А, товарищ профессор астрономии?

— Рассчитать-то рассчитаем. А снаряды где?

— Послали грузовики на Раевские склады. Там есть снаряды для тяжелой артиллерии. Ну, пошли пока назад.

Настроение в штабе все время повышалось. К штабу то и дело подходили вооруженные отряды красногвардейцев. Их сразу же направляли на остоженские позиции. С утра бои разгорелись с еще большей силой. Даже на Калужской площади слышны были непрерывные пулеметные раскаты, и время от времени глухо ухал одиночный орудийный выстрел. Где? Чей?

Штернберг решительно отклонил предположение направить часть отрядов на Большой Каменный мост.

— Сейчас незачем! Не так у нас много сил, чтобы их распылять. Наше главное направление — штаб округа. Если мы его возьмем, у нас сразу же развязываются руки. Тыл обеспечен. Юнкеров на западе Остоженки и Пречистенки мы остановили уже, и дальше они не продвинутся.

— У них есть батарея трехдюймовок?

— Есть. Но она учебная. У них нет или почти нет снарядов. А артиллерийские склады — наши. Нет, все их преимущество именно в пулеметах! А мы должны иметь преимущество в артиллерии.

— Павел Карлович! Артиллерии трудно действовать в условиях города. Артиллерийские снаряды разрушают дома. Что о нас будут говорить!

— Ну, да, разрушают дома! А пулеметы только убивают людей. Только! Дома жалеем — на людей наплевать! В домах, где находятся пулеметные гнезда юнкеров, жильцов нет. Все попрятались. Одним пушечным выстрелом мы ликвидируем источник убийства десятков, а то и сотен людей. И мы обязаны пустить пушки в ход!.. Поехали на позиции!

Сразу можно было понять, что Замоскворечье стало тылом. Позади была тишина, не стреляли у Крымского моста, были распахнуты ворота Интендантских складов. Зато правее, в переулках Остоженки, почти безостановочно гулко стреляли из винтовок, пулеметы заводили свой треск, останавливались и снова начинали. Было слышно, как по крышам домов звякают излетные, уже утратившие свою силу пули...

— Нагнитесь! Да пригнитесь же, Павел Карлович!..

Спутники Штернберга нервничали. Среди серых шинелей солдат, темных курток и пальто красногвардейцев высокая,

плотная фигура Штернберга, его кожаная одежда, седая борода, очки на большом горбатом носу действительно бросались в глаза издали. Но Штернберг не слушал советов. Навстречу ему из мелких, только что открытых окопов подымались веселые, восторженно на него глядевшие люди. В Замоскворечье уже знали, что военными действиями Красной гвардии руководит не кто-нибудь, а самый настоящий профессор. Профессор! Вот уж никогда не приходило в голову ни Штернбергу, ни его коллегам, что это столь мирное звание способно приобрести боевую репутацию.

Из штаба Добрынина Штернберг вышел в Ушаковский переулок и прислушался к перестрелке. У него было впечатление, что самые сильные бои идут сейчас в центре, на Тверской.

— Неужели юнкера предприняли решительное наступление на Совет? А может, и взяли его?..

И Штернберг вдруг представил себе, как врываются эти озлобленные, натренированные юнкера в Совет, как вытаскивают и гонят к кирпичной стене двора старого Смидовича, Ногина, Соловьева, Аросева, женщин... Варвару...

У лица он сел на грузовик и попросил поскорее ехать на Калужскую.

Вечера в трактире Полякова

Что это? Там, где, как считал Штернберг, находился уже глубокий тыл, там, где находились штаб ВРК и Замоскворецкий Совет, гулко трещали выстрелы, раздавались пулеметные очереди. Никаких вооруженных людей не было на Коровьем валу, но пулемет трещал во дворе Совета. Хватаясь за наган, Штернберг открыл калитку ворот Поляковского трактира и чуть не задохся от запаха пороха и вина. На ступенях черного хода припал к пулемету солдат и в упор расстреливал гору ящиков, стоявших в конце огромного двора. Рядом несколько красногвардейцев со смехом поддерживали пулемет огнем своих винтовок... В ящиках гулко, с каким-то необыкновенным звоном, лопались бутылки, их содержимое потоками бежало по ящикам и низвергалось на землю, уже всю пропитанную вином и водкой.

— Помилуй бог! У нас каждый пулемет на счету! А здесь он на что употреблен? — спросил Штернберг у председателя Совета Косиора, внимательно наблюдавшего за происходящим.

— Правильно употребляем! — мрачно ответил Косиор. — Эти сволочи, трактирщики, начали бесплатно раздавать красногвардейцам водку. Появились какие-то темные типы, раздают «для храбрости» вино красногвардейцам, уговаривают их разнести казенные винные склады. Мы этих провокаторов схва-

тили, посадили в Серпуховской арестный дом. А из наиболее угрожаемых мест привезли ящики с вином сюда. Это ж ясно, кто делает!

Штернберг спустился вниз, в комнату штаба, и сразу же понял, что произошло что-то очень важное. Файдыш разговаривал по телефону. Тому самому городскому телефону, который уже больше двух суток молчал. Файдыш закричал в трубку:

— Да вот товарищ Штернберг как раз появился. Сейчас даю ему трубку.

Это был Аросев. И говорил он из Совета. Из дома генерал-губернатора. Штернберг только сейчас понял, с какой силой подавлял он в себе страх перед тем, что может случиться в этом доме.

Голос Аросева был почти счастливый.

— Павел Карлович! Приветствую, наконец! Ну, кажется, наступил решительный перелом. Наши взяли градоначальство! Почти весь Тверской бульвар и Тверская до Охотного — наши. Подходим прямо к Думе... Телефонную связь восстановили со всеми районами. Пресненцы вышли на Кудринку и движутся вниз по Никитской... Лефортовцы и рогожцы-симоновцы ведут бои на территории Алексеевского училища. Словом, вся периферия у нас в руках, наступление идет к Центру. Как у вас со штабом округа?

— Думаю, что активизируемся. У вас связь, Александр Яковлевич, через общую телефонную?

— Не беспокойтесь! Посадили своих телефонистов, юнкера нас не подслушивают.

— Александр Яковлевич, есть ли у вас связь с Мастяжартом?

— С Мастерскими тяжелой артиллерии? Есть. Туляков с отрядами наступает на Алексеевское, а Демидов в мастерских возится с артиллерией.

— Вот-вот! Передайте товарищам в центральном ВРК, что я категорически за то, чтобы начала работать артиллерия. В Мастяжарте несколько десятков совершенно годных шестидюймовок. И снаряды к ним есть. Юнкера сдадутся, только если против них будет обращен этот кулак! Ради бога, не тяните!

— Да не дойдет дело до осадной артиллерии! Но я передам ваше мнение, Павел Карлович. Посадите на связь с нами человека.

— Посадим.

Ах, как же веселее пошло дело! И уже удалось установить связь с Хамовниками через мост Окружной дороги, а дальше приходили связные с Пресни... Пресненцы дрались как и по-

ложено пресненцам! С Пресненской заставы, из закоулков Трехгорки они уже добрались до Центра, наступали на Никитском бульваре. И непрерывно работал телефон с центральным ВРК. Вечером веселым голосом Максимов сообщил, что Почтамт и Центральный телеграф снова у нас, установлена телефонная и телеграфная связь с Клином, Шуей, Ивановом, Подольском. И там формируются красногвардейские отряды для посылки в Москву на помощь.

А в Замоскворецком районе уже Советская власть. Самая настоящая власть! На втором этаже штаба сидел Косиор и энергично строчил предписание за предписанием:

«...Открыть продовольственные лавки и ни под каким видом не повышать цены.

...Вывести в ночную смену всех пекарей, к утру выпечь хлеба достаточно, чтобы обеспечить всех жителей района по норме.

...Разгрузить на Павелецкой дороге стоящие несколько дней вагоны с картошкой и капустой, наладить их распределение прямо около заводов.

...Фабрично-заводским комитетам выделить людей посолднее, вооружить и послать как милиционеров в наиболее угрожаемые места. Обязательно на Даниловку, Павелецкий рынок, где сосредоточена вся босота...»

Ах, как славно идут дела!.. И может быть, действительно прав Аросев и удастся обойтись без артиллерии? Вот сейчас еще нажать, как можно скорее нажать, взять Кремль, Думу, штаб округа... И тогда — всё!

Веселое настроение у Штернберга сразу же исчезло, когда Аросев позвонил из Совета и мрачно сказал:

— Тут решили пойти на перемирие, Павел Карлович.

— Какое перемирие? Да вы что там, с ума, что ли, сошли? Я собираюсь вас уговорить ни под каким видом не сокращать военные действия на ночь, а вы — перемирие! Что-то бредовое!

— Павел Карлович, я думаю так же, как и вы. Но профсоюз железнодорожников — ВИКЖЕЛЬ — предъявил ультиматум, грозит приостановить все железнодорожное движение в стране. Наше преимущество настолько очевидно, что Руднев и Рябцев, вероятно, согласятся прекратить войну. И надобно подобрать раненых и отправить в госпитали. Юнкера не дают даже подползти к раненым красногвардейцам и солдатам... Словом, здесь решили объявить перемирие на сутки, начиная с двенадцати часов ночи. Я вам сообщаю распоряжение штаба: передать на все позиции, что в двенадцать ночи прекращается огонь по всему фронту. С тем чтобы сразу же начать переговоры о полном прекращении огня и признании перехода власти к Совету. Значит, приказ я вам передал. А все остальное, что

надо делать,— не мне вас учить... Теперь я думаю, что был неправ в споре с вами. И дело может дойти до необходимости крайнего...

— Может. А могли бы и обойтись...

В комнатке штаба все затихли, слушая разговор Штернберга с Аросевым. И когда он положил трубку, все поняли, что произошло. Штернберг устало махнул рукой, останавливая поток вопросов, негодования, недоумения....

— Товарищи! Ну не можем и не будем вести сепаратную политику. Что мы тут — отделимся от Москвы и объявим самостоятельную Замоскворецкую республику? Конечно, страшная ошибка. Она будет стоить очень дорого. Передайте на позиции приказ Центрального штаба. А самим укрепляться на рубеже остоженских позиций. И попросите приехать сюда Добрынина. Надо считаться с тем, что эти сутки могут нам принести много неприятного...

Неприятное началось сразу же. Сообщили: по Павелецкой дороге пришел в Каширу эшелон казаков. Идут с фронта по вызову штаба Московского военного округа — Рябцева, значит. Дальше Каширы эшелон не пошел: большевики-железнодорожники не пустили. Казаки выгрузились и идут на Москву в конном строю. По Каширскому шоссе. Через сколько же времени они могут подойти к окраине города? К утру, пожалуй, подойдут... А если не торопятся, то к середине дня. Отдохнут и по команде Рябцева кинутся на Замоскворечье с тыла... Вот тебе и конец этого перемирия!..

Маленький морозящий дождь перешел почти в ливень. Штернберг позвонил на Даниловскую мануфактуру, на фабрику Цинделя, на фабрику Ферейна, чтобы красногвардейцы пешком, а лучше — на грузовиках отправлялись в Нижние Котлы и там на полверсты выше Даниловской мануфактуры начали отрывать окопы. И туда же подбросить хотя бы полдюжины пулеметов...

Файдышу пришла мысль: послать навстречу казакам Володю Карпова...

— Карпов — студент Коммерческого. Он — большевик, боевой парень, командует у нас отрядом.

— Он что, такой агитатор превосходный?

— Да больше чем агитатор! Он — казак сам! Коренной казак, с чубом и всеми казацкими выкрутасами. И веселый! Вот его навстречу, а?

— Дайте ему автомобиль, и пусть едет по шоссе навстречу. А окопы у Котлов копать и сразу же занимать людьми. Хотя бы пару трехдюймовок туда. Хорошее начало для перемирия! Но, товарищи, действительно надо использовать перемирие, чтобы все, кто может, спали и отдохали. Потому что перемирие это липовое и нам потребуются силы.

Рано утром Штернберг поехал на Тверскую в ВРК. Не доверяя никакому перемирию, добирался кругом, по пути заглянул на родную Пресню. Пресненцы тоже всю ругали перемирие. Ценой больших потерь им удалось выйти на Кудринку, занять Садовую, подойти по Никитской почти вплотную к Никитским воротам, где окопались юнкера. Еще немного — и удалось бы вернуться на бульвар, а там рукой было подать до Александровского училища. А сейчас все надо будет начинать сначала... Что из переговоров ничего не выйдет, в этом на Пресне никто не сомневался.

В бывшем доме генерал-губернатора Штернберга встретило мрачное раздражение. Не было никакого согласия между членами ВРК. Как и Штернберг, Аросев, Усиевич и многие другие считали, что Комитет общественной безопасности тянет время, надеясь на подход с фронта войск, верных Временному правительству.

— Ну, это у них навряд ли получится, — говорил Штернбергу Максимов. Начальник разведки был, как всегда, выбит, начищен, в галстуке. — На всех близких к Москве железнодорожных узлах наши предупреждены и эшелоны не пропустят. Да и нет у Керенского никаких войск. Все это — чистая липа! А вот к нам из Павлова-Посада, Клина, Орехово-Зуева, Шуи и других городов все время подъезжают отряды красногвардейцев. И из Питера должна подъехать поддержка. Есть уже решение ЦК поддержать москвичей. А ведь могли, Павел Карлович, к тридцатому, к сегодняшнему дню, кончить!

— А сейчас? Что думает тридцать третья комната о перемирии?

— Тридцать третья комната, товарищ профессор, считает, что перемирие надо кончать. По моим данным, юнкера и не собираются капитулировать. Они подтягивают резервы, формируют новые отряды. Уже до того Руднев дошел, что из гимназистов организует отряды. Мерзавец! А потом станет кричать, что большевики детей убивают.

Разговаривать, собственно, было не с кем. Руководители Совета и ВРК поехали на переговоры с Рудневым. На креслах, диванах, на полу спали красногвардейцы. Было отрадно, что вокруг Совета явственно прибавилось солдат — хорошо вооруженных, с подсумками, набитыми патронами. И стояла целая батарея трехдюймовых скорострельных пушек. Совет и ВРК были теперь защищены надежно!

...А хорошо было оказаться дома, в Поляковском трактире! Был порядок, боевой дух, спокойное ожидание боя. И появился Гопис. Он окликнул Штернберга своим высоким и резким голосом, когда тот переходил Калужскую площадь. Гопис стоял с артиллеристами на клумбе возле большой пушки с задраным дулом. На земле лежали и стояли снаряды. Гопис,

как маленького спеленатого ребенка, держал на руках снаряд. Штернберг подошел к нему.

— Привез из Мыза-Раевой целый грузовик снарядов. Да вот какая штука — снаряды наши и не подходят к французским 155-миллиметровым. Видите, тут такая полоска у основания снаряда, она мешает...

— Мешает, гадюка,— авторитетно подтвердил бородатый артиллерист.— Не подойдут! Нипочем!

— Что это значит — нипочем? — задумчиво ответил Гопис, поворачивая снаряд со всех сторон.— Все в наших руках... Сами набьем мы патроны, к ружьям привинтим штыки, других просить не будем... Как вы думаете, Павел Карлович, а если эту сволочную полоску срезать?

— Чем? На токарном станке?

— На нем самом. Так тихонечко зажать и аккуратненько срезать. Работа для токаря второго разряда. Товарищи! А где в самой близости есть токарные станки?

— Это где угодно! — ответил какой-то заинтересовавшийся красногвардеец.— Вот рядом, у Бромлея, целый цех точит снаряды. Станки уже налажены...

— А содержимое? — спросил Штернберг.— Вы что, Женя, мелинит будете выплавлять, а потом снова начинать?

— А зачем! С начинкой ничего не произойдет. Можете мне поверить. Я же не только механик. Я химик по образованию. А потом, чтобы вы не беспокоились, я людей из цеха выгоню и сам все сделаю. За час-два наготовлю снарядов достаточно, чтобы от штаба округа осталась груда кирпичей... Не беспокойтесь, профессор, все будет в лучшем виде! Чай, у Лебедева работал! И не жаловался Петр Николаевич...

И в штабе были хорошие новости. Володя Карпов уже вернулся и рассказывал членам штаба о своих переговорах с казаками. Был Карпов действительно похож на донского казака, несмотря на свою сатиновую косоворотку под студенческой тужуркой. Чубатый, скуластый, с веселыми глазами. И рассказ его был веселый:

— Я, когда приехал на Даниловскую заставу, застал там ба-аль-шой шумок. Казаки выслали вперед конный дозор — пять человек. И они, конечно, напоролись на наших. Деваться им некуда, наши их разоружили, стоят кругом, говорят им разные слова. Неласковые. Да. Я говорю казакам: «Здорово, станичники! Откуда, в каких местах проживали?» Представляете, товарищи,— почти земляки! Наша станица верст на семьдесят ниже по Дону. Ну, тут у нас пошел разговор другой. Спрашиваю их: «Далеко отряд?» Они отвечают: «Полевой рысью час-полтора». Я говорю красногвардейцам: «Отдайте им оружие и коней». А у них с собой, как положено разъезду, запасная лошадь! И говорю казакам: «Поеду с вами». Они хоть

и поверили, что я с Дону, но не очень-то верили мне, что я сам — казак. А посмотрели, как сел в седло и выехал,— сразу же поверили. И пошел у нас по пути очень-очень толковый разговор. Короче... Когда приехали, они уже были почти свои. В отряде полно офицеров, командует войсковой старшина — ну, подполковник казачий. Он на меня накинулся: «Изменник родному Дону, передался большевикам, зарубим, как собаку!..» Ну, тут мои казачки выехали вперед, говорят: «Нет, ваше высокоблагородие, он нас освободил, рубить его не дадим! И казак он нашенький!» Я предлагаю им занять нейтральную позицию. Повернуть назад и отказаться от братоубийственной войны. И тут, представьте, меня поддержал один есаул. Нет, не от большой сознательности! «Пускай,— говорит он,— они режут друг друга, нам это все равно. Хватит, мы при царе влезали во все неприятности. Наше казачье дело — воевать немца, а не с рабочими драться». А я говорю казакам: «Вы, станишники, поймите в виду, что это вам не пятый год. На нашей стороне десять пехотных полков, тяжелая артиллерия, вас и близко не подпустят к городу...» Словом, повернули назад в полном составе, решили воздержаться от участия в гражданской войне. Только у меня этот офицер, скотина такая, забрал лошадь. Я топал по грязи верст семь, пока не остановил попутный грузовик.

Темнеет. Вечер 30 октября 1917 года. Странный вечер. Тихо. Из-за реки не слышно ни одного выстрела. Начинают светлеть крыши от редкого падающего снега. А напряженная и тревожная жизнь в трамвае Полякова продолжается неустанно. Звонят из трамвайного парка и сообщают, что приготовили трамвайчики «броневичок», ждут только приказа, куда двигаться; сидит за столом, окруженная представителями красногвардейских отрядов, молоденькая студенточка в пенсне, Люся Лисинова, и составляет список отрядов, их количество, вооружение — ей это Штернберг заказал сделать... И Гопис позвонил из конторы завода Бромлея и сказал, чтобы присылали грузовик за снарядами. Он их наготовил достаточно. И пришли артиллеристы — они достали лошадей, спрашивают, на какую позицию везти пушки с Калужской площади.

Штернберг сидит за столом, привалившись к стене. Куртка его растегнута, фуражка лежит на столе рядом с поясом, к которому прицеплен большой, неуклюжий артиллерийский кобур с наганом. Вокруг Штернберга расселись красногвардейцы. Это все молодые ребята. Они уже отдохнули, выпались, командиры их заставили проверить и смазать винтовки. Каждый достал себе столько патронов, сколько только мог на себе разместить. Подсумки висят на ремнях, карманы топорщатся

от обойм, некоторые надели через плечо пулеметные ленты. Таких немного. Командиры это запрещают: пулеметных лент не хватает; посадили девушек набивать патронами ленты для пулеметов.

Отряд, расположенный в здании ВРК, именуется «резервом». Составляющие отряд молодые ребята томятся от безделья и рады редкой возможности поговорить с «профессором», как они про себя называют командующего вооруженными силами ВРК. Они расспрашивают Штернберга о Петрограде, о Ленине, видел ли он его, какой он?

— Видел, видел, товарищи. Не могу сказать, что много и часто. Видел Владимира Ильича всего два раза. И с перерывом почти в двенадцать лет. Один раз встретил в январе шестого, на Большой Пресненской. И один раз весной этого года.

— В Смольном, товарищ Штернберг?

— Нет, на балконе дворца Кшесинской.

— А в Смольном вы бывали?

— Бывал в Смольном. Только было это, товарищи, тридцать три года назад.

— Ох! А зачем тогда было ходить туда?

Штернберг смеется. И он вспоминает тот чинный и тихий Смольный, где он навещал Верочку Картавцеву...

— Ну, вам легко понять, зачем я туда ходил... Был такой же молодой, как вы сейчас, а Смольный — институт для девушек. Ну, и среди них была одна...

Мирная беседа с лирическими воспоминаниями прерывается резким телефонным звонком. Звонит со Скобелевской площади Аросев.

— Ну, вопрос ясен, Павел Карлович! Переговоры, конечно, ничем не кончились. Руднев и Рябцев нахально требовали продолжить перемирие еще на сутки, наши разъяры чуть не согласились, но мы тут, большинством, постановили кончать эту волюнку. Тем более Максимов сообщил, что эти господа вооружили еще человек триста студентов и направили их в городскую Думу и «Метрополь». И на Кудринке юнкера занимают позиции как раз напротив наших. Словом, готовьтесь к ночному бою.

— Мы-то готовы, Александр Яковлевич. К полуночи выйдем на исходные позиции и начнем наступление. Основное направление остается прежним — через Остоженку на штаб округа, а затем через переулки и Пречистенские ворота к Александровскому училищу. Передайте товарищам категорическое мнение Замоскворецкого ВРК: мобилизовать как можно больше артиллерии и пустить ее в дело немедленно, концентрированно

и без ограничения! Чем мы скорее это сделаем, тем меньше крови прольется... Передайте товарищам из Мастяжарта, чтобы они выкатили на позиции шестидюймовки... И — вперед, Александр Яковлевич! Перикулум ин мора! Опасность в промедлении!

— Правильно! Теритиум нон датур! Третьего не дано,— рассмеялся в ответ Аросев.

Уже к середине ночи бой шел по всему периметру того, что у военных называется линией фронта. Странная, ни на что не похожая была эта линия... Если бы у Штернберга был воздушный шар и он мог бы взлететь на большую высоту, то увидел бы, какая причудливая линия вспыхивающих огоньков-выстрелов тянется вдоль Садовой, Бульварного кольца, как прерывается эта линия, чтобы вспыхнуть дальше, и как за тем, что именуется линией фронта, тонкие пунктиры выстрелов обозначают еще и какие-то внутренние маленькие фронты. И самой яркой в этой картине была бы густая россыпь огней-выстрелов в переулках между Пречистенкой и Остоженкой.

Как и следовало ожидать, юнкера, отдохнув за сутки перемирия и подтянув свои резервы, перешли в наступление. Связные, прибывшие от Добрынина, говорили, что в наступлении на наши позиции принимают участие не только юнкера, но и спешенные казаки. Они вышли из Малого Левшинского переулка и через Пречистенку рвутся к переулкам, идущим на Остоженку. Видно, командует ими опытный человек, хочет отрезать опорный пункт красногвардейцев от набережной и Крымского моста.

Интересно бы знать, какие силы накопили белые за сутки этого idiotского перемирия? И откуда у них взялись казаки? И сколько их? Но раздумывать об этом не было времени.

Штернберг сидел у телефонов, писал быстрые, коротенькие записки командирам отрядов, непрерывно высылал подкрепления Добрынину.

Переброшены были к Добрынину красногвардейцы из Нижних Котлов, посланы новые отряды с кожевенного завода «Поставщик», с машиностроительного завода Михельсона у Серпуховской заставы. К замоскворецким отрядам пробились солдаты 193-го полка, который находился в казармах на Хамовническом плацу. Теперь дела у наших должны пойти веселее!..

А впрочем, не такое уж было веселье... Штернберг требовал, чтобы ему в донесениях, пусть хоть и не очень точно, но указывали потери. И на клочках бумаг, доставляемых связными, он читал цифры... Больше всего жертв от огня, который невозможно было контролировать. Стреляли из форточек, из подвалов и с крыш, из дырок в бесконечных заборах остоженских переулков. Стрелки — любители или профессионалы,

черт их знает! — перебегали с места на место, застигнуть их было невозможно.

Штернберг понимал, что только полный разгром противника может прекратить это непрерывное избиение солдат и красногвардейцев! Пока идут бои, этот наиболее опасный огонь не прекратится.

И тут сообщение — самое, пожалуй, главное и самое радостное за эти несколько трудных дней: наши заняли Зачатьевский монастырь! Любому москвичу понятно значение этого тихого женского монастыря, притаившегося в запутанном узле маленьких переулков между набережной и Остоженкой. Монастырь стоял на горке, с колокольни, самой высокой точки монастыря — церкви Воскресенья, простреливался весь луч улиц и переулков, идущих к Пречистенским воротам.

Вот и пора действовать активнее! Штернберг сказал Файдышу:

— Владимир Петрович! У нас есть две французские 155-миллиметровки. И есть подготовленные Гопиусом снаряды. Одно орудие, которое стояло здесь у ВРК, перетянули к Крымскому мосту. Второе стоит у Александровских казарм. Необходимо сейчас же оба эти орудия к Зачатьевскому монастырю перебросить прямо так, без орудийных передков. Лошадей берите любых, лишь бы дотянуть. Вот сами этим займитесь, а мы с Евгением Александровичем через час будем там. А Добрынину я сообщу, чтобы накапливал силы и ждал артиллерийского обстрела штаба округа.

— Ясенько-понятненько! Сейчас этим займусь.

Штернберга с Гопиусом провели к Зачатьевскому монастырю два солдата 193-го полка. В остоженских переулках не умолкал винтовочный и пулеметный огонь, но здесь было какое-то затишье. Они подошли к высоким стенам монастыря. Неподалеку от ворот на пригорке задрали длинные стволы две большие пушки. Тут же рядом стояли снаряды и гильзы. По лицу Файдыша было заметно его глубокое разочарование.

— Павел Карлович,— обратился он к Штернбергу.— Оказывается, зря мы эти бандуры сюда тащили. Из них нельзя стрелять. Артиллеристы говорят, что прямой наводкой невозможно: цель далеко и не видна, а все прицельные приборы на пушках отсутствуют...

— Это точно! — весело подтвердил солдат-артиллерист.— Панораму господ офицеры не доверяли нам никогда. Как учебная стрельба идет — приносят, поставят. А кончится — снимут и с собой забирают. Не было у них доверия к нам — как же, вещь тонкая!

— Ничего, ничего, борода,— примирительно ответил ему Гопиус, весело потирая руки.— Обойдемся без офицерской трубки. Павел Карлович, с чего начнем?

— Владимир Петрович! Вместе с товарищем артиллеристом полезайте на колокольню и укажите ему крышу штаба — она должна быть видна оттуда. Пусть он остается там, а сами идите на Остоженку — отсюда не видно, куда будут ложиться снаряды. А мы с Гопиусом сейчас будем устанавливать орудия... Ну, скажите угол склонения, сейчас на бумажке посчитаю! Так, еще на полградуса... Ну, давайте заряжайте эту штуку, товарищи!

— Отойди от орудия! — пронзительно закричал артиллерист помоложе. — Первая! Огонь!

Он дернул за шнур. Пушка откатилась назад, снаряд с грохотом вылетел из дула... Далеко в переулках грохотом обвала отозвался разрыв.

— Ну как, борода? — крикнул вверх Гопиус.

— Давай чуток правее! Снаряд ткнул в дом, что в переулке ближе...

— На ноль тридцать три правее, Женя!..

— Второе! Огонь! — победно крикнул артиллерист.

— Ну, вот! Какая ни на есть несовершенная, но артиллерия у нас есть, и юнкера должны понять, что она будет пущена в ход!..

В штабе ВРК Штернберга встретили восторженно. Грохот тяжелых орудий показался всем чуть ли не концом сражения. Штернберг не разделял этого восторга. Две старые французские пушки, да еще без панорам, ничего не могли решить.

А артиллерия уже вступила в дело! И не только у красногвардейцев. Теперь винтовочные залпы и пулеметный треск то и дело перекрывались глухими раскатами. Судя по звуку и частоте, это были полевые скорострельные трехдюймовки. Приехали в штаб два красногвардейца из соседнего района. Идут бои за Симоновские снарядные склады. Они в руках у юнкеров, оттуда они берут снаряды для своих трехдюймовок. Больше им брать неоткуда, главные склады на Мыза-Раево в наших руках! Штернберг начал формировать отряд. Надобно было поскорее, на грузовиках, а может, и на трамваях перебросить их к месту боев. Склады взять у юнкеров! Взять во что бы то ни стало!

...Еще одно событие. Да еще какое! В штаб вошли несколько человек, поразившие красногвардейцев. Солдаты-артиллеристы никого бы не удивили, но с ними были два настоящих офицера. С погонами и черными петлицами артиллеристов. С офицерами был человек, хорошо знакомый и Штернбергу и Файдышу, — Блохин. Из центрального ВРК.

— Вот, товарищ Штернберг, — сказал Блохин. — По распоряжению центра привез вам батарею тяжелых орудий. С батареей снаряды, вся прислуга и командиры — это товарищи офицеры, они на нашей стороне.

Штернберг встал и поздоровался с офицерами. Старший из них был немолодым, усталым капитаном.

— Вот хорошо, товарищи! Надеюсь, что орудия у вас с панорамами? А то мы тут исхитрялись стрелять без них.

— Без них? — удивленно сказал капитан. — Значит, неприцельный огонь!

— Ну что вы! Неприцельный огонь в городе! Нет, целились! Но для этого потребовались профессор астрономии и физик лебедевской лаборатории.

— Да, профессор, — улыбнулся капитан. — Я понимаю, что астрономов и физиков у вас не так много. Но наша батарея в полной боевой исправности. Она стоит на Крымском валу. Мы пришли, чтобы узнать, на какую позицию ее выводить. Вы, профессор, руководите военными действиями, нам сказали?

Он с откровенным любопытством смотрел на Штернберга.

— Да. Надеюсь, сугубо временно. Москву и окрестности знаете?

— Наш дивизион в Москве полгода. Но по карте ориентируюсь.

— Вот посмотрите по карте — какая позиция может господствовать над городом?

— Это и смотреть не надо. С Воробьевых гор достижима почти любая точка города.

— Точно прицельным?

— Я вам сказал, профессор, что орудия в полном порядке. Я обучался в артиллерийском училище. Говорят, неплохой артиллерист.

— Отправляйтесь, товарищ капитан, на Воробьевы горы, располагайтесь на позиции в радиусе полуверсты от церкви. Часа через два я приеду к вам. Без моего распоряжения — устного или письменного — огня не открывать. Поезжайте!

Рассвет на Москве-реке

С Симоновскими складами все было в порядке. Склады заняли. Отряд юнкеров, приехавший на грузовиках за патронами, отбили. Штернберг уже заметил, что по мере развертывания боя у штаба все больше появлялось пушек, пулеметов, винтовок, грузовиков. Даже несколько легковых автомобилей, конфискованных из гаражей купеческих особняков. Была, очевидно, какая-то логика в том, что у наступающих силы прибавляются.

Позвонил на Скобелевскую. Долго ждал, пока разыскивали Аросева. В комнате ВРК телефонную трубку, очевидно, по-

ложили на стол, и Штернберг отчетливо слышал звуки ожесточенного боя, развертывавшегося где-то неподалеку от Совета. Непрерывно стреляли, чуть ли не рядом трещали пулеметы, а время от времени слышен был звук выстрела и гул разрыва... Потом эту звуковую панораму боя перекрыл возбужденный голос Аросева:

— Я вас приветствую, Павел Карлович!

— Ну, как дела?

— Ура! Мы ломим, гнутся шведы! Алексеевское училище взято. Шестая школа прапорщиков тоже у нас в руках. Собственно говоря, почти весь город наш. Блокируем Театральную площадь и Воскресенскую. Главные бои идут у Никитских ворот, на Неглинной и Никольской, на подступах к «Метрополю». Если там прорвемся — Дума наша. А у Никитской решается вопрос об Александровском училище. Пущена в ход артиллерия, но у трехдюймовок мало фугасных снарядов, больше шрапнель, она в городе бесполезна.

— Александр Яковлевич, сделано ли что-либо с шестидюймовками с Мастяжарта?

— Да! Демидов уже установил орудия на Швивой горке. Но наши еще не решаются пустить их в ход. Думают, что хватит трехдюймовок.

— Александр Яковлевич! Мы так можем провозиться еще несколько дней и совершенно обескровим себя. Нужно пустить в ход пушки большого калибра. Батарей, которую вы нам прислали, мы отправили на Воробьевы. Сейчас выезжаю сам туда. И не для того, чтобы отдохнуть!

— Понимаю. Перед отъездом отправьте к нам с нарочным письмом о необходимости пустить в дело большой калибр. Сами начните с Никитских ворот.

— Будет сделано.

Файдыш отправлял отряды к захваченному Устинскому мосту. Теперь можно было перебрасывать красногвардейцев на Солянку и дальше через Варварку и Ильинку к Кремлю. Штернберг подозревал Файдыша и дал ему прочесть только что написанную им бумагу.

«Дальнейшее промедление и малая нерешительность могут весьма губительно отразиться на успехе революции. Поэтому Замоскворецкий ВРК предлагает начать работу шестидюймовых орудий и просит ВРК высказать свое мнение по этому поводу. Предварительно предлагает сдать юнкерам. И в случае отказа с их стороны начинает свои действия с 10 часов утра».

— Согласны, Владимир Петрович?

— Полностью. Я бы и не ждал утра...

— Ну и мы, вероятно, не очень будем ждать. Отправьте эту бумажку поскорее. Мы поедем на Воробьевы на автомобиле, потом я его пришлю назад, и пусть он будет полностью в распоряжении связи. Полевой телефон тянуть не будем.. И свяжитесь с Максимовым, пусть он присылает ко мне своего человека. Я еду с Гопиусом.

— Счастливо.

Автомобиль был русского производства «Руссо-Балт», открытый. Ветер рвал натянутый брезентовый верх. Штернберг сел рядом с шофером — небритым, мрачным солдатом из автороты. Позади сели Гопиус с двумя солдатами-артиллеристами. Уже вечерело, о переднее стекло с треском разбивались крупинки снега. Машина тряслась по булыжнику Большой Калужской мимо градских больниц, бесконечной ограды Нескучного сада. У дворцовых ворот Нескучного Штернберг тронул плечо шофера.

— Остановитесь, товарищ. И подождите меня несколько минут.

— Куда вы, Павел Карлович? — удивленно спросил Гопиус.

— На гравиметрический пункт. Хотите, пойдете со мной, Евгений Александрович.

Они быстро прошли аллею, ведущую к дворцу. Деревья уже были все голые, дорожки устланы толстым слоем мокрых листьев. Штернберг прошел за дворец, по узкой тропинке между дубами и кленами подошел к небольшому деревянному шалашу, обшитому толем. Возле шалаша стоял свежий кирпичный столб, инструменты на нем были тщательно укутаны брезентом. У шалаша возле догорающего костра жалось несколько человек, упрятав зябнувшие руки в рукава, подняв воротники студенческих негреющих пальто. Увидев Штернберга, они с радостным удивлением окружили его.

Штернберг начал расспрашивать о результатах работы за последнюю неделю. Гопиус с удивлением слушал, с каким вниманием председатель Замоскворецкого ВРК рассматривал журнал записей наблюдений. Неужели он думает, что через день-два вернется к спокойным занятиям в университете? Понимает ли он, что дальше — после победы! — будет не легче, а может быть, труднее и что для него, для заслуженного профессора астрономии, навсегда окончена научная деятельность?..

Штернберг как будто понял мысли своего спутника.

— Ну, вот и все, коллеги. Когда приеду в следующий раз — не знаю. А скорее всего, на этом и закончатся мои занятия по гравиметрии. Силу тяжести будут изучать в других измерениях, уже не в физических... А по всем вопросам

обратитесь к Сергею Николаевичу Блажко, мы с ним обо всем переговорили. Пойдемте, Евгений Александрович!..

Батарею шестидюймовок Штернберг и его спутники быстро нашли по яркому костру. Сразу было видно, что тут командуют профессионалы. Орудия стояли на сглаженных лопатами земляных площадках, панорамы аккуратно закрыты чехлами, брезентовые чехлы закрывали дула пушек. У зарядных ящиков стоял караульный. И подойти неожиданно к батарее было невозможно. Из-за деревьев вышли вооруженные солдаты:

— Стой! Кто идет?

И даже козырнули, узнав, что председатель ВРК. Капитан, командир батареи, спешно подошел к Штернбергу. Гопиусу стало смешно оттого, что офицер не знал, как ему обращаться к Штернбергу. Профессор? Товарищ председатель ВРК? Товарищ военачальник?..

Через несколько минут капитан, командир батареи, быстро нашелся и стал называть своего нового и прямого командира по имени-отчеству.

— Вот садитесь на этот ящик, Павел Карлович. И погрейтесь. Хорошую позицию выбрал? Хотите посмотреть на город? Возьмите мой бинокль, он десятикратный.

Огромный ночной темный город лежал перед Штернбергом. Только в маленьких деревенских домиках около огородов на той стороне реки были видны редкие огоньки. Чем ближе к центру, тем гуще становилась тьма. Но в центре была россыпь крошечных огоньков, вспыхивающих и моментально исчезающих. Намного быстрее, чем искры от костра, что трещал у ног Штернберга. В большой полевой бинокль совершенно отчетливо можно было различить и отдельные россыпи таких огней и целые их гнезда.

«Как похоже на ночное небо! — думал Штернберг, медленно водя бинокль вдоль панорамы города.— И созвездия есть, и туманности...»

Старый москвич, он и в темноте различал, где идут бои, в каких местах наиболее интенсивно вспыхивают тающие огоньки выстрелов. Бой шел по северо-восточной части периметра Бульварного кольца, наиболее активно в районе Арбатской площади и Никитских ворот. Кремль был темен, иногда вспыхивали и исчезали блики на куполе колокольни Ивана Великого.

Штернберг нагнулся к костру и посмотрел на часы. До рассвета еще не меньше четырех-пяти часов. Он заставил себя вспомнить астрономическую таблицу восхода солнца в октябре... Нет, надо в ноябре! Уже это будет 1 ноября... Пока не рассветет, стрелять все равно нельзя.

Было зябко. Ветер продувал сквозь кожанку, сквозь меховой жилет.

Штернберг подошел к костру и опустил на ящик, подвинутый Гописом. У других костров, уткнув голову в колени или привалившись к земле, дремали или же просто спали солдаты и красногвардейцы. Гопис притащил себе ящик и уселся рядом. Он молчал, глядя на огонь костра, изредка подбрасывая в костер доски из разломанных ящиков от снарядов.

Розоватый край туч на востоке начал становиться более прозрачным, ветер унес тучи в сторону, и ясно обозначилась красная полоса поднимающегося солнца. Темная Москва стала медленно выплывать из мглы — так проступает изображение на негативе, лежащем в ванне с проявителем... Только река внизу еще была совершенно черной, графитового цвета.

В темноте слышались голоса. Какая-то группа людей вышла из темноты леса и подошла к догорающим кострам. Солдаты-артиллеристы вели с собой человека сугубо штатской, даже щегольски штатской внешности. Без всякого удивления Штернберг узнал в нем Максимова. И чуть ли не рассмеялся, увидев — в такую ночь! — чисто выбритого и в свежем воротничке начальника разведки центрального ВРК.

— Как вы к нам пробрались, товарищ Максимов?

— Ну, сегодня к вам пробраться можно без больших приключений! Даже на автомобиле приехал. А у вас — полный порядок! Застава, караул. Павел Карлович, пошли в сторонку, поговорим...

Они отошли к обрыву.

Максимов изысканно щелкнул жестяным портсигаром и закурил.

— Павел Карлович! Слышите?

Далеко от города доносились усиливающиеся звуки боя. И в этом смешении звуков время от времени возникал басовитый, все перекрывающий гул.

— Шестидюймовки, Максимов!

— Они самые. Демидов из Мастязарта пустил их в ход. Телефона к вам нет, хочу рассказать об обстановке. Юнкерский узел сопротивления в Центре сломлен. По моим сведениям, Руднев со всей компанией из Думы перебрался в Кремль. Там же и Рябцев. Главные бои в Центре сейчас идут у Никитских ворот и у «Метрополя». Там действует артиллерия, очень большие потери. Сейчас самое главное — взять штаб округа и Александровское училище. Кремль, по-моему, это последнее дело. Хотя Демидыч не удержался и уже послал парочку снарядов в Кремль. А ваша задача нанести удар по Никитским воротам, по Знаменке, по Арбатской площади. Все остальное — у нас. Да, профессор, могу вам сообщить, что мы заняли

университет. Можете читать лекции — хо-хо! И манеж наш! Сейчас еду на Калужскую площадь, в ваш штаб. Какие будут поручения?

— Совсем они, черти, заспались, что ли! Пусть каждый час присылают связных. Передайте Файдышу — чтобы обязательно!

— Будет сделано!

Стало уже совсем светло. В расступившихся темно-серых тучах голубели просветы чистого неба. Москва была теперь отчетливо видна. В некоторых местах города подымались столбы дыма.

Батарея работала. Серые тела орудий откатывались назад, снаряды с визгом улетали, артиллеристы всматривались, выискивая в бинокли место разрыва. Штернберг не отрывался от бинокля, пока не убедился, что капитан действительно артиллерист опытный. Снаряды ложились точно в цель. Да и то сказать, эта цель была ясно обозначена высоким столбом черного дыма у самых Никитских ворот.

Уже два раза приезжал от Файдыша связной. Во второй раз привез конверт, на котором знакомой рукой Файдыша было написано: «*Тов. Штернбергу! Очень срочно!*»

В конверте была небольшая бумага. Зато с печатным бланком ВРК, адресом и даже исходящим номером — 137... На машинке был напечатан короткий приказ:

Артиллерийскому отряду на Воробьевых горах.

ПРИКАЗ

Штаб Военно-революционного комитета приказывает
прекратить стрельбу по Никитским воротам и
перенести огонь на Кремль.

Член Военно-революционного комитета *Аросев*.

Вторая подпись, за секретаря, была Штернбергу незнакома. Штернберг подозвал командиров батареи:

— Поступил приказ из центрального ВРК. Очевидно, юнкера у Никитских ворот капитулировали. Приказывают перенести огонь на Кремль. Проверьте тщательней прицелы.

— А что тут проверять, профессор! Здесь можно бить даже прямой наводкой.

— По Кремлю? — с внезапным ужасом переспросил младший офицер. — Как, по самому Кремлю?

— А что? — с таким же внезапным раздражением и даже злостью сказал Штернберг. — От чего в ужас приходите? Свя-

шенная древняя столица России — да? Еще один Бенингсен нашелся!..

— Это кто — Бенингсен? — толкнул в бок Гопиуса молодой красногвардеец. — Юнкер, да? Юнкер?..

— Был такой деятель, — меланхолично ответил Гопиус. — Повыше юнкера. Но безусловно — юнкер...

— Так вот, — снова с непонятным ему самому раздражением сказал Штернберг артиллерийскому капитану, — прямой наводкой бить по Кремлю не надо. Прямой наводкой вы просто снесете колокольню Ивана Великого. А она — не центр скопления неприятельских сил. Вести огонь строго прицельно. И не по церквам — их труднее всего отстраивать. И не по дворцу. Вы были в Кремле?

— Был, — угрюмо ответил капитан.

— Дворец, а юго-западной его Оружейная палата — не военные объекты. Проще всего целиться по куполам... Не надо! В Кремле есть один важный объект, подлежащий обстрелу, — арсенал. В панораму он должен быть достаточно хорошо виден. Поэтому я и прошу, чтобы вы сами, никому не передоверяя, вели прицел... Огонь вести с большими интервалами. Повторяю: очень тщательно, просто ювелирной наводкой. Не допускайте перелета снарядов на Красную площадь — там, возможно, уже наши. И на Неглинной, у Кутафьевой башни, тоже наши. Огонь вести, пока не получите моего распоряжения. Я сейчас уеду в штаб. Евгений Александрович, вы оставайтесь здесь. Дальше дам вам знать. Ах, надо, Женя, сегодня кончать!.. Авось к ночи они сдадутся!..

На Воробьевском шоссе женщины из грузовика снимали хлеб и закутанные в тряпье огромные чугуны — привезли еду воробьевскому отряду. Штернберг сел в кабину разгрузившейся машины и поехал в штаб. Ни один патруль не остановил их, ни один выстрел не прозвучал вслед. Да, Замоскворечье стало глубоким тылом.

В Поляковском трактире было, как и прежде, шумно и надымленно. Штернберг подсел к столу, к Файдышу, разговаривающему по телефону.

— Дела как идут, Владимир Петрович?

Не отнимая трубки от уха, Файдыш стал рассказывать:

— Очень упорные бои... Главным образом на подступах к Кремлю. Наши уже на Никольской. Но продвигаются очень медленно, юнкера ведут с кремлевских стен страшнейший огонь.

— Мы здесь как бы в глубоком тылу... Тут нам ничто не угрожает. И наша главная задача, Владимир Петрович, формировать все новые отряды и направлять их туда, в Центр.

Через Каменный мост, через Устьинский, а если будет потребность, то и через Краснохолмский... Вот сейчас этим и будем заниматься! Где же наш секретарь? Где Люся, товарищи?..

Стоящая в углу студентка из Коммерческого — в таком же пенсне, как и у Люсик Лисиновой, всхлипнула и повернулась лицом к стене.

— Убили товарищ Лисинову, — мрачно сказал Файдыш. — Убили на Остоженке. Недосмотрел — ушла туда с ребятами. Проклятая Остоженка! Добрынина оттуда недавно привезли.

— Он ранен?

— Тяжело ранен. Не знаю, жив ли.

— Кто его заменил на пречистенском участке?

— Командование принял Арутюнянц. И Мышкина я послал туда.

— Ах ты боже мой! Как жалко товарищей! Бедная Люсик! Товарищ Файдыш, нет сейчас никакой надобности форсировать операции на пречистенском участке. Максимов мне сообщил, что Рябцева в штабе округа нет. Он перебрался в Кремль. В штабе на Пречистенке сидит группа офицеров и юнкеров. Они изолированы, никакого значения для хода боя не имеют. На них нельзя тратить ни одну нашу жизнь! Блокировать штаб, пусть сидят себе, черт их возьми! Сами сдадутся! А нам сейчас надобно все силы бросить на Центр. И даже не на Александровское училище, а непосредственно на Кремль! А куда отправили Добрынина?

— В Градскую.

— Ах, Добрынин, Добрынин!.. Я потом съезжу к нему. А теперь, товарищи, давайте сколачивать отряд в отправку в Центр. Пойдем через Устьинский мост. И я пойду с ним.

В отряде немногим больше ста человек. Красногвардейцы с Михельсона и Бромлея, студенты-большевики из Коммерческого, солдаты из Александровских казарм. Винтовки почти у всех новенькие, привезенные с Казанской дороги, патронами набиты брезентовые подсумки и карманы. За отрядом солдаты тащили пулемет, тарахтевший по булыжнику мостовой. Штернберг своими большими, размашистыми шагами шел впереди. Ему было жарко, он расстегнул кожанку, фуражка сбилась набок, и ветер трепал вырвавшийся клоч седых волос. Два часа назад, когда он присел к столу в штабе и узнал о гибели Люсик и о ранении Добрынина, он на какое-то мгновение почувствовал такую усталость, что ему показалось: не встать ему с этого стула... Потом это прошло, и сейчас он шагал так, как будто не было позади холодной бессонной ночи на Воробьевых горах и чугунной усталости, накопившейся за эту невероятную неделю.

Отряд через Житную, Полянку и Екатерининский переулок

вышел на Большую Ордынку. Странно было видеть, что, несмотря на бои в городе, у булочных стояла очередь, из водоразборных колонок несли ведра с водой, мальчишки в подворотнях играли в казаки-разбойники...

Через Большую Татарскую отряд прошел к Устьинскому мосту. Вот где уже кончалось то, что Штернберг называл глубоким тылом, и начиналась настоящая война. Патрули не пропускали через мост никого из гражданского населения. По мосту, из «глубокого тыла», почти непрерывно шли вооруженные рабочие. Шли отрядами по двадцать — тридцать человек, шли группками по пять — десять, шли одиночки, догоняющие свой отряд. Пронеслись грузовики с вооруженными солдатами, санитарные автомобили с красными крестами на бортах.

Отряд Штернберга прошел на Варварскую площадь набережной, мимо огромного Воспитательного дома. Здесь уже чувствовалось дыхание близкого боя. За Зарядьем, на Мининской и Красной площадях шла отчаянная стрельба. И это была не беспорядочная ружейная стрельба, знакомая по первым дням боев. Все звуки перекрывала артиллерия. Почти непрерывно и быстро били трехдюймовки, а время от времени где-то далеко справа ухали шестидюймовки. И был слышен свист тяжелого снаряда, пронесившегося откуда-то справа... Со Швивой горки — быстро определил Штернберг. Значит, Демидов пустил в ход свои тяжелые... Их у него много!

Прижимаясь к Китайгородской стене, защищавшей от пуль, отряд вышел к Никольским воротам. Здесь господствовала артиллерия. На Лубянской площади батарея вела огонь по гостинице «Метрополь». И можно было видеть, как снаряды вырывают куски потолка, как дождем осколков вылетают зеркаланые стекла... Три пушки били прямо вдоль Никольской, по направлению к Никольской башне Кремля. Отряду Штернберга обрадовались. Готовили штурм Кремля, войска ВРК накапливались на Никольской, в Ветошном ряду. Юнкера в Кремле были полностью отрезаны от тех мест, где еще дрались отдельные отряды юнкеров.

Отсюда недалеко было и до Скобелевской. Но Штернбергу не терпелось добраться домой, в Замоскворечье, в Поляковский трактир... Его усадили в попутный грузовик, и через час он был у себя. В комнате штаба было тепло после сырого, пронизывающего ветра.

— А далеко Арутюнянц или Мышкин? — спросил Штернберг. — Они на позиции?

— Арутюнянц там, а Мышкин недавно был здесь, — ответил ему кто-то. — Да сейчас разыщем.

— Разыщите, голубчик, — сказал Штернберг.

Он привалился к стене, расстегнул куртку и меховой жилет, закрыл глаза... Потом он вдруг встрепенулся, очнулся от

совершенно непривычной тишины. Открыл глаза и увидел, что напротив сидит и внимательно на него смотрит Мышкин. Рядом с ним стоят в комнате солдаты и красногвардейцы. Ему показалось, что все на него смотрят... Смотрят и молчат. Ах ты стыдоба какая! Да он просто-напросто заснул. А Мышкин, эти солдаты и красногвардейцы старались его не разбудить!..

— Да, противное дело, Юрий Сократович, быть стариком! Вот заснул,— сказал сконфуженно Штернберг.

— Да что вы, Павел Карлович! Старикам лучше — у них меньше потребности во сне. А мне и Пете Арутюнянцу спать хочется до смерти. Мы с ним так по очереди прикорнем на полчаса-час и опять... А вы, верно, и совсем не спали. Мы выполняли ваше указание. Штаб не атаковали, накапливали силы. А теперь, наверно, надо начать активные действия?

— Надо. Только предварительно штаб необходимо окружить полностью.

— Да мы уже вышли к Пречистенским воротам. У храма Христа-Спасителя юнкера в кольце. Мы у Пречистенских ворот, а наш отряд наступает на него и со стороны Каменного моста. Им деваться некуда!

— Много у вас людей для штурма?

— Да людей не очень много. Главным образом кожевники с «Поставщика». Хорошо вооружены, народ сильный и толковый. На рассвете, думаю, двинемся...

— Ну, с богом, товарищи! Только не лезьте на рожон. Вы же все молодые... И знаете, обидно погибнуть за час до победы... Придерживайте очень безрассудных. Да и сами... Добрынин в больнице?

— Умер Петр.

— Так... Ну, двигайтесь.

...Все же Штернберг немного соснул. Пришел Косиор, посмотрел на него и сказал:

— Пойдемте со мной, Павел Карлович! Поспите часик у нас, у Советской власти... У нас спокойнее, здесь вам и подремать не дадут.

«Советской властью» Косиор называл Замоскворецкий Совет на втором этаже. Совет занимал две-три комнатухи, и работал он так же, как и ВРК,— круглые сутки, но Косиор действительно высвободил какую-то клетушку, составил из трех табуреток вроде постели и уложил Штернберга.

Проснулся в темноте. С трудом нашел выключатель, зажег лампочку под потолком и спустился вниз. В штабе спали. Спали, свернувшись калачиком на грязном полу, спали, положив голову на стол, спали, откинувшись головой к стене. У телефона моргал глазами, чтобы не уснуть, дежурный — молодой парень.

Штернберг уселся рядом с ним и стал крутить ручку телефона. Он довольно быстро соединился со штабом ВРК на Скобелевской. Аросева тоже нашли быстро. И голос у него был совсем не сонный.

— Новости, Павел Карлович! Хорошие новости. Руднев, очевидно, понял, что они проиграли. Собственно, город в наших руках. У них три-четыре пункта, где еще сопротивляются. Руднев прислал парламентариев. Предлагает начать переговоры.

— Какие переговоры? Опять переговоры! Опять перемирие! Опять новые сотни жизней! Никаких переговоров! Скажите, что Замоскворечье не прекратит военных действий ни за что!

— Павел Карлович, да успокойтесь вы! Никто не собирается этого делать. Руднев предлагает прекратить вооруженную борьбу. И пока будут идти переговоры, военные действия мы собираемся не прекращать, а усилить. Юнкера держатся только в трех-четырёх местах. Сегодня необходимо закончить бои!

— Вот это правильно!

Победа!

2 ноября 1917 года. Кто-то принес и положил на табуретку целую пачку вчерашней петроградской «Правды». Газета вся полна даже не торжеством вчерашней победы, а заботами завтрашнего дня новой, Советской власти. И телеграммами из губернских городов о переходе власти в руки Советов. Уже, кажется, по всей России торжествует победа революции! А у них в Москве...

Но и в Москве дело действительно шло к концу. Над городом грохотали пушки, и это были наши пушки! Вдруг Штернберг понял, что у него прошла та тревожная душевная боль, которая его преследовала много-много лет. Начиная с той минуты, когда во дворе обсерватории плачущий старик ему сказал: «Пушки нам, барин, нужны. Без пушек мы для них навоз...» Когда-то, кажется при Людовике XIV, кардинал Ришелье приказал отлить на пушках надпись «Ультима ратио регум» — последний довод королей... Да, это у них был не только последний, но и главный довод! У них в руках были пушки, и министры могли в Государственной думе нагло говорить после расстрела на Лене: «Так было, так и будет!» А теперь? Теперь не будет! Потому что пушки у нас!..

С этим чувством торжества и уверенности встретил Штернберг сообщение о том, что — наконец! — взят штаб округа.

Арутюнянц рассказывал об этом спокойно, несмотря на всю свою армянскую горячность:

— Вокруг Зачатьевского монастыря боев нет, наши решили — надо брать штаб. Человек с полсотни красногвардейцев с «Поставщика» пошли к штабу. Командовал Смирнов — тоже с «Поставщика». И вот что значит, когда над ними наша артиллерия кроет! Юнкера в каком-то оцепенении были! Наши со Всеволожского переулка ползком и через заборы подобрались к воротам... Разоружили часовых, перелезли через забор, ворвались во двор и открыли ворота. А потом через подъезды — напрямик в здание штаба. Представьте себе, Павел Карлович, у нас было не больше полусотни красногвардейцев, а в штабе им сдалось около двухсот человек, из них не меньше половины — офицеры. А остальные — юнкера. У них мы отобрали двенадцать пулеметов, до черта винтовок и гранат, неограниченное количество патронов. И они не сделали никакой попытки к сопротивлению. Почти на наших глазах срывали погоны, передевались в солдатские шинели. Наш Федор Смирнов посмотрел на них, плюнул и говорит: «Вот уж точно: молодец против овец, а против молодца и сам овца!» Денежный ящик у них захватили. Потребовали ключ, вскрыли — в нем денег тысяч сто!

— Что сделали с пленными, оружием, деньгами?

— Пленных под конвоем отправили в Серпуховской арестный дом, сейф заперли и вместе со всем трофейным оружием передали Мышкину. Ну, победители себе взяли два пулемета и патроны к ним.

— Ладно. Теперь все силы остоженского участка переключайте на взятие Александровского училища. И давайте, Петр Георгиевич, не успокаивать себя тем, что юнкера деморализованы. В училище их много, они боятся, что с ними расправятся, могут сопротивляться до последнего патрона... И нам надобно избегать жертв. Вот давайте смотреть по плану и набрасывать себе на бумаге. Значит, вот вы от бульвара проходите задами музея Александра III, Малым Знаменским, упираетесь в дом князя Долгорукого. Тут в доме большой сад, открывайте ворота, осмотрите сад, нет ли там засады, сами оставьте засаду... Потом вы просачиваетесь Большим Знаменским. На углу церковь Святого Антипия. Если юнкера поставили пулеметы на колокольне, пройти будет трудно. Не подставляйтесь под пулеметный огонь, связывайтесь с ближайшей нашей батареей, и пусть они подавят пулеметчиков. А если юнкера не догадались занять колокольню — займите ее, и тогда вы будете держать под обстрелом весь этот радиус.

— Ну, никогда, Павел Карлович, не скажешь, что вы — профессор астрономии! Можно подумать, что вы преподавали географию Москвы!

— Не преподавал, но занимался этим. Любительски, так сказать. И вот пригодилось, оказывается! Ну, действуйте, голубчик!

— Товарищ командующий вооруженными силами Замоскворецкого Военно-революционного комитета! Сего числа и немедленно прошу прибыть в расположение Центрального штаба Московского Военно-революционного комитета для получения дальнейших указаний!..

Голос у Аросева был не только торжествующий, но и ликующий, его радость лилась из телефонной трубки с такой силой, что этот голос был отчетливо слышен не только Штернбергу, но и всем находившимся в комнате.

— Александр Яковлевич! Что — уже?

— Уже, милый мой Павел Карлович! Руднев и Рябцев капитулировали! Соглашение подписано! Приезжайте на каком-нибудь автомобиле, соответствующем вашему высокому положению, немедленно сюда!

— По голосу вашему чувствую, Александр Яковлевич, что глаза у вас сияют, лик ужасен, движенья быстры... И вообще, вы весь как божия гроза.

— Точно! Жду! Потому что вот тут, у самой двери победы, как бы не наколбасить! И требуется ваш профессорский авторитет...

Автомобиль Штернберга промчался по Моховой, мимо Лоскутной гостиницы и повернул на Тверскую. Еще стреляли, слева, за Арбатом, слышны были оружейные выстрелы, но было очевидно — на слух! — что бои кончаются. На Красной площади тоже стреляли, но лениво, казалось, по инерции. Центр города был по-прежнему совершенно темный. Штернберг вспомнил, что в первые же дни боя, пять дней назад, на электростанции отключили свет во всем Центральном районе, оставив только дом генерал-губернатора, у которого была отдельная линия. На фоне темной вечерней улицы штаб Московского военно-революционного комитета, стоявший на верху Тверского холма, выглядел как иллюминированный.

Давно здесь, кажется, не был Штернберг. Ему казалось, что не дни, а годы... Штаб уже переехал из крошечных клетушек цокольного этажа в большую комнату первого. Там толпились все... Все знакомые, много и незнакомых. Аросев встал на встречу Штернбергу.

— Приветствуем красное Замоскворечье! Идите сюда, Павел Карлович, садитесь и читайте!

Штернберг протер очки и внимательно прочитал и перечитал документ, переданный ему Аросевым. Он и взаправду был более чем кратким:

Договор между Военно-революционным комитетом
и Комитетом общественной безопасности

2 ноября с/г в 5 часов вечера

1. Комитет общественной безопасности прекращает свое существование.

2. Белая гвардия возвращает оружие и расформируется. Офицеры остаются при присвоенном их званию оружия. В юнкерских училищах сохраняется лишь то оружие, которое необходимо для обучения. Все остальное оружие юнкерами возвращается.

Военно-революционный комитет гарантирует всем свободу и неприкосновенность личности.

3. Для разрешения вопроса о способах осуществления разоружения, о чем говорится в пункте 2-м, организуется комиссия из представителей Военно-революционного комитета, представителей командного состава и представителей организаций, принимавших участие в посредничестве.

4. С момента подписи мирного договора обе стороны немедленно дают приказ о прекращении всякой стрельбы и всяких военных действий с принятием решительных мер к неуклонному исполнению этого приказа на местах.

5. По подписании соглашения все пленные обеих сторон немедленно освобождаются.

Подлинное подписано:

представители Военно-революционного комитета:

В. Смирнов,

П. Сидович.

Представители Комитета общественной безопасности:

В. Руднев,

И. Сорокин,

С. Студенецкий.

Штернберг пробегал неразборчивые подписи представителей организаций, скрепивших этот документ.

Дальше Штернберг наткнулся на «Сопроводительное заявление».

Все военнослужащие и белая гвардия заявляют, что они вели борьбу не для достижения политических целей, а для водворения

государственного порядка и охранения жизни и имущества жителей города Москвы.

Председатель Соединенного комитета войск, оставшихся верными Временному правительству, полковник *Якулов*.

Член Исполнительного комитета военно-учебных заведений г. Москвы юнкер *Кобра*...

Штернберг медленно положил бумагу на стол.

— Почему такой недовольный вид, Павел Карлович? Вы что, считаете, что Московский ВРК опять что-то не так сделал?

— Дубасовцы! «Водворение государственного порядка!» И слова, негодяи, не изменили даже... Как из приказа полковника Мина!.. Политических целей, они, видите ли, не ставили!.. Не понимаю, зачем согласились товарищи Смирнов и Сидович на то, чтобы включить в договор это наглое и лживое заявление! Ну, да черт с ними! Но я не вижу из этого документа, что Руднев и Рябцев признали переход власти в руки Советов. И это — черт с ними! Не нуждаемся в их признании! Но здесь сказано лишь о том, что рудневская беспопаска распускается... А про Рябцева?

— Не считайте нас уж такими полными идиотами, Павел Карлович! Мы только что отправили отсюда Муралова с таким приказом. Читайте:

ПРИКАЗ

по Московскому военно-революционному комитету

Командующий Московским военным округом полковник Рябцев смещается с занимаемой должности.

Солдат Муралов назначается комиссаром того же округа, с правами командующего.

Солдату Муралову немедленно принять дела от полковника Рябцева и об исполнении донести ВРК.

ВРК Московского Совета рабочих и солдатских депутатов.

— Это, конечно, другое дело. Но стрельба еще идет. Значит, сопротивление продолжается?

— Еще сопротивляются в Александровском училище и в Пятой школе прапорщиков. Кремль перестал отстреливаться. Там, очевидно, готовятся к сдаче. Да и мы ждем утра, ночью разоружать кремлевский гарнизон нам не с руки.

— Хорошо. Я сейчас возвращусь в Замоскворечье. С чем?

— Мы уже послали в типографию манифест ВРК ко всем гражданам Москвы о полной победе над юнкерами. Завтра расклеим его по всему городу.

— Нет, товарищи, вы меня неправильно поняли. Я вернусь к вооруженным силам Замоскворечья. Какую сейчас задачу мы перед ними ставим? И не только перед замоскворецкими, а перед всеми вооруженными силами Советов? По-моему, самое главное — ни в коем случае до полного разоружения не распускать отряды. Больше того, занимать все позиции и укреплять их...

— Тут на этот счет не может быть разногласий. Мы сейчас составим приказ по войскам ВРК, и вы его отвезете к себе. Помогите нам с этим приказом. Я для этого и просил вас приехать, Павел Карлович.

На Калужской площади, у входа в штаб ВРК, стояла густая толпа красногвардейцев. Она расступилась перед Штернбергом — высоким, расправившим плечи, застегнутым на все пуговицы своей кожанки.

Штернберг заставил себя в дороге подавить возникшее в нем чувство усталости, доходившей до какого-то почти отчаянья. В конце концов, он возвращался с победой к людям, которые устали не меньше его, рисковали своей жизнью больше, чем он, сделали для революции больше, чем он. И никто, черт возьми, не виноват, что ему пятьдесят третий год, что он седой старик, почти бездомный, очень усталый...

В штаб Штернберг вошел с таким торжественным видом, что в комнате закричали «ура». Он подошел к столу, снял и положил на стол кожаную фуражку и сказал:

— Товарищи! Я привез из Московского Военно-революционного комитета приказ. Сейчас я его оглашу:

ПРИКАЗ

Всем войскам Военно-революционного комитета

Революционные войска победили. Юнкера и белая гвардия сдают оружие. Комитет общественной безопасности распускается. Все силы буржуазии разбиты наголову и сдаются, приняв наши требования.

Вся власть в руках Военно-революционного комитета. Московские рабочие и солдаты дорогой ценой завоевали всю власть в Москве.

Все на охрану новой власти рабочей, солдатской и крестьянской революции!

Враг сдался.

Военно-революционный комитет приказывает прекратить всякие военные действия (ручной, пулеметный и орудийный огонь).

С прекращением военных действий войска Советов остаются

на своих местах до сдачи оружия юнкерами и белой гвардией особой комиссии.

Войскам не расходиться до особого приказа ВРК.

Военно-революционный комитет Совета рабочих и солдатских депутатов.

Ноябрь 2 дня 1917 года.

9 часов вечера.

В комнате было тихо, слышно лишь тяжелое дыхание многих людей. Штернберг аккуратно сложил приказ и уже самым будничным голосом сказал:

— Приказ размножить и передать на все боевые позиции, по телефону на все заводы. Делайте упор на то, чтобы не расходиться! Ни в коем случае до утра, до приказа из нашего штаба ни одному человеку не оставлять позиций!

Народу в Поляковском трактире становилось все больше и больше, было совершенно непонятно, как этот небольшой дом может вместить столько людей. Из редакции «Известий Московского Совета» приехали товарищи. Стоя на табуретке, Ольминский говорил о победе революции, и Штернбергу было видно, как задыхается он от волнения и блестят в его глазах слезы... Уступив свою табуретку другому оратору, Ольминский протиснулся сквозь толпу и сел рядом со Штернбергом.

Штернберг смотрел, как вытирает свои мокрые, совершенно белые волосы Ольминский, и вдруг, неожиданно для самого себя, спросил:

— Сколько вам лет, Михаил Степанович? Мы не однолетки?

— Может быть. Я в шестьдесят третьем родился...

— На целых два года старше меня, Михаил Степанович! Мы здесь с вами, очевидно, самые старые. Удивительно все же, что дожили мы до этого дня!.. Вам не удивительно?

— Нет. Я верил в это. Я был убежден в нашей победе!

— И я верил в это с такой же непоколебимостью, с какой убеждаю студентов в существовании гравитации. Но знаете, о чем я никогда не думал? Просто в голову не приходило — что я буду делать на другой день после социальной революции? Уже второй час ночи, значит, у нас уже пятница, 3 ноября 1917 года. Наступает утро первого дня после победы социалистической революции... Как интересно будет жить!

— Интересно, Павел Карлович. Невероятно интересно!..

Вятские поляны

Пароходы стояли впритык друг к другу, почти перегоразживая реку. Вятка в этом месте была широка, оставалось достаточно места, чтобы могли по фарватеру проходить баржи с хлебом или оружием. И всегда мог проскользнуть маленький грузовой пароходик, на котором часто выезжал командующий Второй армией.

Штаб армии размещался на трех пассажирских пароходах, стоявших у обветшалой пристани «Вятские Поляны». Большое деревянное село с этим странным названием раскинулось на высоком берегу. Въезд туда был крутым, в непогоду скользким и труднопроезжим. Вероятно, поэтому штаб расположился на плавучих квартирах. Может быть, летом на реке и было приятно. Но когда в конце сентября 1918 года в Вятские Поляны приехал новый комиссар Второй армии Павел Карлович Штернберг, жить на этих легких с подозрительной дешевизной построенных пароходах было неуютно и неудобно. К вечеру подымался туман, от него сырела одежда, и Штернберг начинал по-стариковски кашлять. И днем туман расходился только к полудню.

Пароходы поставил у пристани еще старый командарм, Махин. Теперешний командарм, Харченко, собирался перебазировать штаб на берег, но весь август шли тяжелые и неудачные бои, ему было не до переезда. А когда стало известно, что в армию приезжает новый командующий, у Харченко и вовсе не было ни времени, ни дела до месторасположения штаба.

На тяжелой и неудобной пролетке Штернберг проехал через все село. Центральные улицы Вятских Полян ничем не отличались от улиц обычного российского уездного города: булыжные мостовые, деревянные тротуары, большое здание гимназии, кирпичные особняки купцов-богачей, лавки, запертые железными дверьми с огромными висячими замками. На пристани Штернберга встретил знакомый и симпатичный ему человек, невысокий, кряжистый, с веселыми ироничными глазами под пенсне. Сергей Иванович Гусев дней десять назад приехал в армию из штаба Восточного фронта, где он был членом Реввоенсовета. Вид у Гусева был безнадежно штатский. Он с завистью посмотрел на высокую фигуру нового комиссара, на его как бы литую кожаную одежду и горестно сказал:

— Нет, Павел Карлович! Мне с вами рядом нельзя показываться! Ну кто со мной, таким шпингалетом, считаться будет!..

— Так ведь и Наполеон был не из крупных...

— Красноармейцы убеждены, Павел Карлович, что Напо-

леон был гигантского роста. Вроде вас. Ну, выбирайте себе любой пароход! Дарю вам!

Гусев жестом оперного артиста показал ему на пароходы. К самому дебаркадеру приткнулся пароход «Король Альберт». За ним стоял пароход с прозаическим названием «Иван Иванович Любимов». Дальше расположился поменьше, «На-следник».

— Вы, Сергей Иванович, наверняка находитесь на королевском. Я уж возьму себе поскромнее, следующий. Кстати, что это за знаменитость — Иван Иванович?

— Да просто-напросто хозяин пароходства. Ну, ладно. Вещей, я вижу, у вас только одна котомка. Отдайте товарищу, он ее снесет на ваш пароход, а мы посидим у меня, в моих королевских апартаментах.

По скользким сходням они прошли на пароход. Навстречу комиссарам шли вразвалку могучие мужики с ящиками патронов. Амбары на берегу были раскрыты, в них толпился народ, кони с храпом оседали на скользком после дождя спуске. «Королевские апартаменты» комиссара армии состояли из маленькой каюты с нишей, где высилась кровать красного дерева, густо покрытая бумагами. Гусев усадил Штернберга в единственное кресло у столика, взял жестяной чайник, принес кипятку и стал заваривать чай. Он достал из тумбочки половину каравая серого пшеничного хлеба, блюдец с маслом.

— Подкормитесь здесь! Единственное, что тут хорошо, — много продовольствия. Если бы мы могли отправить в Москву хоть десяток эшелонов с хлебом! Сейчас, Павел Карлович, введу в наши маловеселые дела. Я уж тут десять дней и на-смотрелся. Значит, так. Хотя мы с вами являемся политическими комиссарами и членами Реввоенсовета Второй армии Восточного фронта, но все это — чистая липа. Никакой армии нет. И то сказать, фронт Второй армии уделял очень мало внимания. Каюсь в этом, как комиссар фронта. Все давали Пятой армии, немного Третьей, а до Второй, как говорится, не доходили руки. Потому что, милый Павел Карлович, рук этих очень мало. В нашей так называемой армии всего-навсего тысяча семьсот восемьдесят штыков, сто пятьдесят кавалеристов, сто пулеметчиков, семьдесят артиллеристов. Это — люди. А в распоряжении этих людей три трехдюймовки с тысячью снарядов, две горные пушки без снарядов к ним, двадцать один пулемет. К пулеметам и винтовкам имеется только триста тысяч патронов и двести десять пулеметных лент. Вот так.

— Знаете, Сергей Иванович, у нас в Замоскворечье в прошлом году было куда больше и людей, и пушек, и пулеметов. Вот только не догадался назвать наши красногвардейские отряды армией...

— Да ясно, что никакой армии нет и надобно нам ее

создавать заново. Аб ово. Армия обросла огромным количеством какой-то обслуги, канцеляристами, продовольственниками и еще кем-то... Видели, сколько народу шатается на берегу! Это все не красноармейцы, а только потребляющие красноармейский паек. Командармы здесь были неудачливые. Да и что от них можно требовать, когда они на своем высоком посту находились по месяцу-полтора. Александра Ивановича Харченко назначили командармом в начале августа, а уже готовится сдавать армию новому, который приедет завтра-послезавтра. Вам с ним предстоит работать, хочу о нем вам рассказать. Ибо Василий Иванович Шорин — человек нелегкий для всех, кто с ним имеет дело. Вы о нем слышали?

— Очень мало.

— Начну с внешних данных. Они малопривлекательны. Шорин — полковник царской армии. И не просто полковник, а этакий бурбон, прямо-таки выскочивший из Купринского «Поединка». Суров, груб, бывает и жесток. Не стесняется, как многие военспецы, своего прошлого. Настойчиво требует дисциплины без всякой оглядки на партийные чины. Но вот — обратите внимание — несмотря на это пользуется у бойцов и командиров полным и абсолютным доверием. Потому что, безусловно, предан нашему делу, прям, правдив и очень талантлив. Талантлив как полководец. Это я вам, Павел Карлович, говорю как крупнейший специалист по военной истории и военному делу.

— Вы?

— А что вы удивляетесь! Небось обо мне слышали только, что у меня голос хороший и в опере мог бы петь... А про то, что я три года работал у Сытина корректором «Военной энциклопедии», — про это никто не знает... Представляете себе, как я изучил военное дело! Но без шуток! Шорин знает дело, умеет командовать, в него верят. Что это необходимо командарму — без всякой энциклопедии понятно. Но характер! Невежественные замечания, самомнение вызывают у него приступы бешенства. Как хорошо, что прислали сюда комиссаром именно вас!

— Это из-за моего профессорства?

— И это тоже! Шорину будет импонировать и ваше профессорство, и воспитание, и то, что вы в военном деле не дилетант. Знаете, не только Вторая армия, но и весь Восточный фронт знает, как вы командовали вооруженными силами Московского восстания!

— Небось вы, Сергей Иванович, про меня такую дутую славу пустили. И командовал-то я десять дней, и не московскими, а замоскворецкими...

— Это все равно! Теперь о наших первоочередных задачах. Вы, конечно, знаете, что смена командования армии произошла

после белого восстания в Воткинске прошлым месяцем. Белые захватили Воткинск, Сарапул и Ижевск. Не надо вам говорить, что для нас значит Ижевск и Воткинск. Теперь посмотрите на карте. Постоите, я уберу чайник. Вот. Белые дивизии вклинились в наше расположение, они, собственно, зашли в тыл наших армий. Второй и Третьей. Приказ Москвы — ликвидировать этот белый выступ. Харченко уже начал продвижение к Сарапулу. Сейчас, после прибытия Шорина, начнутся самые активные операции. Кроме всего прочего, Шорин впервые становится командармом. И он уж воспользуется этим постом для того, чтобы не топтаться на месте, а воевать. А теперь, Павел Карлович, хоть десяточек минут расскажите про Москву. Я уж забыл, как она выглядит, а вы только-только оттуда!..

...Шорин оказался таким, каким его описал Гусев. Правда, знаменитого шоринского бешенства никто еще не видел. Но кажется, и не было для него причин. Приказы нового командарма выполнялись мгновенно. Вторая армия стала превращаться в настоящую боевую силу. Начали прибывать из резерва фронта люди и вооружение. Армия уже насчитывала около пятнадцати тысяч штыков, в ней было сорок орудий. Даже прислали бронепоезд. И уж вовсе потрясло бойцов, что поездом привезли целых восемь аэропланов. Бронепоезд больше чинился, чем воевал; аэропланы тоже больше чинились. Но нет-нет, а какой-либо аэроплан, чихая и стреляя парами спирта, взлетал в воздух под радостные крики красноармейцев и брал курс на восток — на разведку.

Военный совет быстро распределил обязанности. Гусев должен был помогать командарму в оперативных делах.

— Вы, говорят, Сергей Иванович, крупный специалист по военному делу? — с грозной шутливостью спросил Шорин.

— Уже насплетничали вам про мое энциклопедическое образование! — кротко ответил Гусев. — Конечно, про операции в Семилетней войне я знаю бесконечно больше вас. Вы уже давно забыли, что учили, а в моей памяти все эти сражения при Кюстрине живы. На экзамене в академии вам бы двойку поставили, а мне пятерку! Но не будем считаться, ладно уж...

Штернбергу досталось все остальное. Остальное значило: доставать агитлитературу и организовывать ее читку в частях; со всех концов вятской земли собирать музыкантов, составлять из них духовые оркестры и посылать их в полки. Писать листовки, которые разбрасывались с аэропланов в тылу у белых; организовывать в частях товарищеские суды; связываться с комбедами и доставать для армии продовольствие; работать с агитаторами, могущими разговаривать на родном языке с татарами и вотяками; издавать газеты на русском и татарском языках...

Штернберг просыпался в своей маленькой каюте рано утром, когда еще было совсем темно. А часто, усталый и возбужденный, в третьем часу ночи ложился на скрипучую деревянную кровать и лежал на ней все часы без сна, с нетерпением дожидаясь, когда посереет окно от наступающего рассвета.

Сначала он думал о том, что не удалось сделать за день. Многие не удалось. Не удалось убедить Шорина отпустить на политработу командира батальона — интеллигентного молодого татарина. Хотел его сделать редактором газеты на татарском языке. Не удалось уговорить никого в штабе отказаться от ношения этой модной кожаной одежды — лучше из нее сапоги бойцам сшить! Сам он сразу же снял свой старый костюм из прекрасного, крепчайшего хрома и отдал в швальню — сапоги чинить. Надел обычную солдатскую шинель. До сих пор не удалось как-то сблизить Шорина и Гусева. Сергей Иванович хотя и сам с иронией относится к своему «военному образованию», но все же любит вмешиваться в приказы командарма. А Шорин не терпит «любезительства», как он выражается.

«В пении еще можно быть любителем, а в военном деле — невозможно!» — желчно говорил он... Штернбергу приходилось частенько сглаживать возникающие между командармом и комиссаром споры. Помогало, что Шорин с почтением относился к Штернбергу, даже гордился, что комиссаром у него не кто-нибудь, а заслуженный профессор Московского университета, знаменитый астроном и к тому же «командующий вооруженными силами революции в Москве» — так он называет Штернберга, выступая на красноармейских митингах.

Штернберг перебирает в памяти все дела прошедшего дня, думает о том, с чего он начнет, когда наконец настанет новый день. Старается не думать о Москве, о людях, оставленных там. Думать надобно только о том огромном пути, который следует еще проделать Второй армии и всему Восточному фронту, туда, за Урал, в Сибирь, Забайкалье, на Дальний Восток... Необходимо спешить туда, на помощь товарищам, борющимся с белочехами, японцами, американцами... Среди этих товарищей Коля, Николай Яковлев. Все попытки Штернберга перед отъездом на фронт узнать, что случилось с председателем Центросибири, ни к чему не привели. Было лишь известно, что после восстания белочехов и захвата власти белогвардейцами большей части руководящих товарищей во главе с председателем ЦИК Сибири Николаем Яковлевым удалось выбраться из города и скрыться в тайге. Очевидно, они решили идти к Иртышу, на соединение с советскими войсками. Но никаких сообщений о судьбе этой группы не поступало. В каждом письме к Варваре Штернберг спрашивал, что ей известно о своем брате. И ни в одном письме она ничего о Коле не написала. Значит, и в Москве ничего не знают...

...Коля в тайге, зимой, невероятно близорукий, в своих всегда спадающих очках... Как он выдержит все это?.. Как проберется он с товарищами через огромные пространства, где бродят казачьи банды?..

Слава богу! На корме вахтенный матрос ударил в небольшой колокол. Шесть часов. Подъем. В каюте холодно, в умывальнике воды нет, матрос, который должен ее налить, — лентяй. Ругать его у Штернберга не хватает духу. Штернберг идет мыться на палубу. Блестит стальным, неласковым светом вода в реке, на «Короле Альберте» уже светятся все окна; фырчит на берегу большой открытый «паккард» — автомобиль командарма. Теперь надо сходить в кубовую, налить в чайник кипятку, выпить горячего чая. А потом начать крутить, бесконечно крутить ручку большого деревянного полевого телефона. Прежде всего узнать сводку за ночь!

Сводка хорошая. Войска продвинулись за Можгу, прочно оседлали железную дорогу и жмут к Сарапулу. Бронепоезд, наконец, вышел из ремонта и тут оказался ох каким нужным! Идет впереди, подавляя заставы белых на дороге. Шорин и Гусев на передовой, только что пришла телеграмма от Сергея Ивановича: наступление развивается нормально, оперативная плотность удовлетворительная, наступающие части ворвались во второй эшелон противника... Ох, любит все же Сергей Иванович военную терминологию! А когда у Штернберга однажды на совещании спросили, что такое азимут, то он подумал, шелкнул пальцами и начал говорить, что «азимут это такая штука...». Это он-то, профессор геодезии, говорит об азимуте, что он — штука!.. Но это, вероятно, правильнее, чем сказать, что азимут — угол между плоскостью меридиана точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемым предметом наблюдения... Ну, да ладно! Лишь бы двигалось дело!

Штернберг через сходни идет на «Король Альберт» в штаб армии. В каютах, где находится штаб, густо накурено; спят, уткнувшись в деревянные коробки телефонов, дежурные телефонисты; тихонько стучит телеграфный аппарат. Так как Шорин и Гусев отсутствуют, то на оставшегося комиссара армии сразу же обрушиваются все еще не решенные дела, вся сложная и тревожная жизнь армии. Остатки невыспанной усталости мгновенно проходят, Штернберг весь уходит в работу. Тем более что к нему любят обращаться со всеми трудными и неприятными делами. Он никогда не вспылит, не начнет угрожать трибуналом. Укоризненно покачает головой, задумается и начнет вполголоса, как бы про себя, перебирать все варианты возможного решения трудного вопроса. Иногда запнется и смотрит на докладывающего ему подчиненного, как бы ожидая подсказки... Спокойствие комиссара останавливало и приступы

гнева у командарма. Однажды, когда Шорин, обозвав одного младшего командира трусом, выгнал его из штаба, Штернберг ему тихо сказал:

— Вы были несправедливы к нему, Василий Иванович. Он бой провел неудачно, но не трусил, а шел впереди бойцов, не боясь смерти.

— Я, Павел Карлович, не командир взвода, а командующий армией! И я тоже не боюсь смерти! У меня нет никаких преимуществ перед любым красноармейцем, идущим в бой!

— Нет, есть, Василий Иванович. Командующего армией, героически погибшего в бою, помнит множество людей. Ему посвящаются статьи в газетах и журналах, в энциклопедиях и учебниках. И вы это знаете. А красноармеец в бою идет на смерть, не рассчитывая на посмертную славу. Его человеческий подвиг выше вашего.

— Ах, Павел Карлович, можно подумать, что вы не профессор астрономии, а профессор богословия! А впрочем, вы, конечно, правы. Но я — командующий, а вы — комиссар. Вы и обязаны быть лучше меня. Ну не сердитесь, профессор!

Как же быстро пролетает день в октябре! Уже зажглись керосиновые лампы в штабе, когда телеграфист встрепенулся, читая ленту, выползающую из аппарата.

— Ура! Сарапул взят!

Да, вот и первая настоящая победа! Все бросились рассматривать штабную карту. Стало очевидно, что крупная группа белых войск, владеющая Ижевском и Воткинском, скоро будет в кольце. Теперь наступать дальше на север, на Ижевск.

Комиссар армии

Живительный дух победы наполнял армию. Приехавший с фронта Шорин провел одну ночь на «Короле Альберте», вызвал начальника тыла и сказал ему:

— Всю ночь из моей каюты слышал, как на соседнем пароходе кашляет комиссар армии. Ему, кстати, не двадцать лет, а пятьдесят три! И он знаменитый ученый! А мы его заморим в этой проклятой барже! И все мы тут пропадем от сырости и холода. Сегодня же к вечеру весь штаб армии перевести в городское помещение. И чтобы оно было теплым! Павлу Карловичу отвести комнату в самом здании штаба. И топить, топить дом круглые сутки!

Лучшим зданием в Вятских Полянах был дом, где раньше жил богатейший купец-хлеботорговец. Кирпичный, с полукруглыми венецианскими окнами, лепными потолками, узор-

ными изразцовыми печами. Множество комнат внизу и в мезонине были крохотными и неудобными, зато парадные залы — столовая, гостиная — огромны, и в них еще почти полностью сохранилась обстановка богатого дома. Даже огромный концертный рояль был цел. И была клетка, в которой сидел на жердочке самый настоящий и живой попугай. Большой, белый, с ослепительными фиолетовыми и оранжевыми перьями на лохматой голове. За попугаем ухаживали, кормили и поили; множество красноармейцев тэлпилось вокруг невиданной птицы, пытаясь учить ее человеческой речи. Попугай в ответ на уговоры резко и некрасиво кричал пронзительным голосом — не птичьим и не человеческим. Шорин немедленно приказал убрать попугая куда-нибудь подальше, чтобы не мешал оперативной деятельности штаба. Хотел убрать и рояль. Но увидел, с какой внезапной нежностью провел по пожелтевшим клавишам рояля комиссар армии, и распорядился рояль оставить.

Так он и стоял в углу, покрытый картами и пачками армейских газет.

Командарм гневался часто. После взятия Сарапула армия продвигалась вперед медленно. Иногда некоторые инициативные командиры проникали дальше, чем им было поставлено заданием, и это-то вызывало всегда взрыв гнева у Шорина. Задумал он не только освобождение городов, но и уничтожение всей белой армии.

Части Второй армии медленно текли вдоль железной дороги, вдоль Камы, окружая белую армию. По карте, куда каждый вечер заносились результаты дня, можно было ясно проследить, как все теснее и теснее смыкается красное кольцо вокруг почти трех десятков тысяч белых.

Обычно Штернберг и Гусев уезжали в части рано утром. Штернберг нагружал автомобиль не только литературой, но и ботинками, обмотками, меховыми жилетами, только что поступившими в армию. Выслушав доклад командира, вызывал отличившегося в разведке бойца и тут же, перед строем, награждал ботинками... Улыбающийся красноармеец под одобрительный смех товарищей возвращался в строй, прижимая пахнущее свежей кожей отличие.

Южнее Ижевска шли затяжные и малоудачные бои. Белые стянули туда значительные подкрепления. Ижевский завод давал им любое количество оружия и боеприпасов. Белые части здесь состояли из офицерских полков и участников восстания в городе. Они дрались с ожесточением отчаяния. Гусев сразу же уезжал на передовую, в «боевые порядки», как он говорил. А Штернберг оставался в ближайшей к фронту деревне и до вечера разбирался с крестьянскими делами, улаживал возникающие ссоры между красноармейцами и мужиками из-за забранной лошади или сбруи. Мужикам нравилось, что «глав-

ный комиссар» — старый, с седой мужицкой бородой, что он нетороплив в разговорах и решениях, никогда никого не прервет, слушает внимательно и сам говорит не торопясь, спокойно.

Вечера в штабе армии были разные. Они зависели от дня. В дни неудач, отбитых белыми атак, больших потерь комиссары возвращались в село усталые до полного изнеможения, озлобленные, были не в состоянии даже разговаривать друг с другом. Они быстро договаривались о том, что с утра делать, и уходили в свои комнаты, пытаясь уснуть.

А бывали и хорошие вечера. На фронте удача, подкрепление прибыло, за весь день с неба ни дождинки, ни снежинки, тепло не по-осеннему. И комиссары приезжают веселые, дружные, и вокруг них все смеются, и завтрашнее утро всем кажется решающим и надежным. И тогда Гусев подходит к роялю, быстро снимает с его лакированной крышки груды бумаг, притаскивает табуретку, открывает крышку и зовет Штернберга:

— Маэстро!..

Медленно, как бы нехотя, улыбаясь от предстоящего удовольствия, Штернберг усаживается за рояль, пробегает пальцами по пожелтелым клавишам. Рояль расстроен, в нем западают некоторые молоточки, но все равно эти звуки воскрешают и далекое орловское детство, и репетиции студенческого оркестра, и блаженные вечера в Большом консерваторском зале. Штернберг играет своего любимого Шумана.

Потом, увидев подошедшего к роялю Гусева, начинает вступление к романсу, который ему нравится больше всего из обширного репертуара Гусева.

Город уснул спокойно, глубоко.

Вот дом, как прежде, с освещенным окном...

Комиссар Второй армии поет, как на концертной эстраде: в полный голос, бледный от волнения, заложив руку за борт куртки. «Он действительно настоящий артист!» — думает о нем Штернберг. Этот дивный романс Шуберта он слушал много раз в исполнении великолепных певцов. Самого Шаляпина слышал. Но все равно редко у кого была такая теплая глубина бархатного, низкого голоса, кто пел бы с таким драматизмом и артистичностью.

В дверях толпятся штабные и красноармейцы, кто-то раскрыл окно, на улице бойцы и жители села слушают, как красиво и грустно поет комиссар.

Часто импровизированный концерт кончался на одном романсе, а иногда Гусев бывал в ударе, и тогда он пел свои любимые романсы и песни. «Нас не в церкви венчали», «Есть на Волге утес», и «Глухой неведомой тайгою», и «Ноченька»...

На такие вечера заходил и Шорин. Командарму пододвигают сохранившееся от купеческих времен кресло. Он садится, ставит шашку между ног, кладет на эфес руки и слушает. Потом встает и, не говоря ни слова, уходит к себе. А иногда покачает головой и, обращаясь ко всем присутствующим, скажет:

— Запомните! Такие вечера только во Второй армии!

В селе Вятские Поляны жители и бойцы уверены, что в штабе комиссары готовятся к празднику — первой годовщине Октябрьской революции. Но чем ближе праздник, тем реже слышно пение из дома штаба. Не до песен. Надобно кончать затянувшуюся операцию на фронте.

— Вот мои дорогие комиссары! — говорит, расхаживая по комнате Шорин. — Если мы еще будем тянуть, то все наши стратегические замыслы рухнут. Кама станет! И если мы и возьмем Ижевск — мы его, конечно, возьмем! — то белые целехонькие уйдут по льду за реку. И из задуманного нами окружения и разгрома противника ничего не выйдет! Поэтому наша главная боевая задача: завершить окружение войск белых и разгромить их до ледостава! А бог считается с нами не будет — морозы могут грянуть в любое время...

И Москва требовала более активных действий. Гусев пропал на телеграфе. Однажды пришел возбужденный разговор по прямому проводу с Лениным. Владимир Ильич был обеспокоен затяжными действиями, тем, что два города оставались в руках белых. Военная машина Второй армии стала вертеться быстрее. Не только окончились музыкальные вечера в штабе, но редко теперь командарм и комиссары армии возвращались на ночь в Вятские Поляны. Шла подготовка к решительному наступлению. 5 ноября дивизия Азина бросилась вперед, за ней пошли в прорыв остальные дивизии армии.

В первую годовщину Октябрьской революции бойцы из дивизии Азина дрались уже на окраине Ижевска. В бинокль можно было видеть, как мечутся по улицам города отступающие белые. И вдруг на городской каланче заалел красный флаг.

В праздничный вечер 7 ноября 1918 года Штернберг нетерпеливо расхаживал по помещению небольшой типографии. В углу стояли две наборные кассы, а в середине керосиновый движок крутил небольшую печатную машину. Вот кончилась наладка, скомканы и брошены первые, бракованные экземпляры, машина застучала ровнее, и на ее решетку стали укладываться свеженькие экземпляры армейской газеты «Красный воин». Печатник снял первый экземпляр и отдал комиссару.

На первой полосе самым крупным шрифтом, какой только был в типографии, напечатано:

Председателю Совета Народных Комиссаров
тов. Ленину.

Э к с т р е н н о .

Доблестные войска Второй армии шлют горячее поздравление с великим праздником и подносят город Ижевск тчк Сего числа в 17 часов 40 минут город Ижевск взят штурмом тчк

7 ноября 1918 года.

Командарм 2
Шорин.

Политические комиссары:

Гусев.
Штернберг.

Победа! Первая серьезная победа в армии! Конечно, телеграмма выпренная и старомодная. «Подносят»!.. Но Шорину так нравилось. В конце концов, он в эту победу вложил больше, чем другие. Да и как может не нравиться, когда победа! И в такой день!

Штернберг взял только что отпечатанную пачку и понес на митинг. К бойцам.

7 ноября — Ижевск; меньше чем через неделю — Воткинск. Вторая армия дошла до Камы, она охватила всю группу белых дивизий, и Шорин мог торжествовать. Его стратегический замысел оказался выполненным. Почти все белые дивизии были разгромлены, их остатки лихорадочно переправлялись на другой берег Камы, бросая тяжелое оружие, снаряды, автомобили и лошадей. Плацдарм белых на правом берегу Камы был ликвидирован.

Штаб армии переехал в Сарапул. Хоть он и назывался городом, но мало чем отличался от Вятских Полян. Да и штаб находился в помещении намного худшем, чем особняк сельского миллионера. И уже не было в новом помещении штаба рояля и не устраивались больше «музыкальные вечера». Да и не до них было! Прошло лишь несколько дней, как последних белых вышибли за Каму, а из Зауралья начали приходить тревожные известия.

18 ноября в Омске адмирал Колчак произвел переворот, разогнал слабосильную эсеровскую Директорию, взял власть в свои адмиральские руки.

— Почему адмирал? — недоуменно пожимал плечами Штернберг.

— До ближайшего моря три года скачи... И что, генералов у них не хватает?

— Не каждый генерал приехал из Америки,— с досадой отозвался Гусев.— А Колчака привезли американцы, и за ним стоит реальная сила. Так, Василий Иванович?

— Уж куда реальней! Ее и возить из Америки не надо. Тут стоит, на месте. Чешские легионы генерала Гайда. Сорок восемь тысяч здоровенных лбов, откормившихся на русском сале. До черта оружия, и весь Сибирский путь у них в руках... Я думаю, что нам надо ждать удара.

Из всех членов Реввоенсовета армии Шорин был настроен мрачнее других.

— Некоторые великие стратеги думают, что наши места — гиблые и никому не нужны. Не было-де великих битв в вятских болотах. А вы поглядите по карте: белым нужно выйти на стык с Волгой, а это лучше всего сделать, имея в руках Каму. Вот так: перехватить Каму, за зиму накопить силенок, а потом продвинуться рекой к Волге-матушке...

— И где, по-вашему, они перехватят Каму?

— В Перми, Павел Карлович, в Перми. Я командующему фронтом сообщил мои предположения. Удара надо ждать по Перми.

Пришел с телеграфа Гусев, сел напротив Штернберга, помолчал и сказал:

— Все думали, маэстро, наладить наши музыкальные вечера. Да не та музыка получается. Наш полководец Василий Иванович как в воду глядел. Неважные дела на пермском направлении. Жмут изо всех сил. Только что говорил с Москвой, очевидно, уеду опять в штаб фронта.

— Я что, один останусь?

— Нет, на днях приедет вместо меня новый комиссар. Постепенно вся Москва перекочет во Вторую армию. Приедет ваш старый знакомец по великой московской смуте в октябре прошлого года... Ну, ладно, не буду вас интриговать. Василий Иванович Соловьев приедет сюда на мое место.

Соловьев! Все, что Штернбергу казалось бесконечно далеким,— все это нахлынуло на него при одном упоминании этой фамилии. Конечно, идет война, она перемешивает людей, как хороший пекарь тесто, но ни в каких мечтах он не мог предположить, что здесь, рядом с ним, будет бесконечно ему милый, ставший таким близким человек.

Соловьев приехал 4 декабря днем. Штернбергу, как это с ним теперь нередко бывало, нездоровилось. Гусев сам привез со станции нового члена Реввоенсовета армии. По дрогнувшим глазам Соловьева догадался: как же он изменился за этот год!

Сам Соловьев был почти таким же, как в прошлом году в штабе Московского ВРК: бледный, спокойный, обросший мягкой бородкой.

В комнате у командарма Соловьев рассказывал о военных делах на других фронтах, о том, что тревожно стало на Южном фронте и сейчас, пожалуй, ему уделяется главное внимание. И конечно, о том, как быстро поправился Владимир Ильич после ранения, что он уже почти по-прежнему работает; и о том, как обстоит дело с продовольствием в Москве, и возможно ли наладить регулярную отгрузку хлеба Москве и Петрограду...

Стемнело, когда кончился разговор с новым комиссаром армии. Штернберг встал и сказал Соловьеву:

— Василий Иванович! Я сказал, чтобы вам пока койку поставили у меня в комнате, не возражаете? Завтра что-нибудь придумаем. Я сосед плохой — кашляю, хриплю, спать вам не дам.

— А я сам вам, Павел Карлович, не дам сегодня спать. Так мне хорошо, что буду с вами! Обрадовался, когда узнал о решении ЦК. Чаю с собой привез, Павел Карлович! Помню, как вы по ночам любили чай крепкий пить. Вот и захватил с собой, сейчас мы его покруче заварим да поговорим. Про Москву, про вятские места, про вчера и сегодня...

— Нехорошо начинать про плохое. Но я чуял, что вы ждете минуты, чтобы спросить про Яковлева. К сожалению, случилось то, чего мы все боялись. Николай Николаевич погиб. Еще в начале октября. Только совсем недавно мы узнали, как все это произошло. Больше трех месяцев они пробирались тайгой к Иртышу. Около Олекминска зашли в деревню попросить продовольствия. И наткнулись на казачий отряд. Они отстреливались до последнего патрона... Ну, Павел Карлович, ну, дорогой, не надо так!..

Но Штернберг ничего не мог с собой поделать. Он достал платок и вытирал мокрые очки, мокрую от слез бороду. Ах, Коля, Коля!.. Вот уж действительно отдал революции все, что мог... Умер так, как жил.

— Ничего, Василий Иванович, извините меня. По-стариковски слаб стал на слезы. Коля для меня был и сыном и моим руководителем в партии... Нехорошо переживать молодых. Несправедливо. То-то Варвара не отвечала на все мои вопросы о Коле...

— Да, Павел Карлович. Яковлев жил и умер как большевик. Я все вспоминаю наш с вами разговор в конце июня, когда был опубликован приговор трибунала о расстреле провокаторов. Когда вы мне о Лобове рассказывали. О том, как он начал и как кончил... Вас тогда мучила судьба жены этого

негодяя. Она же большевичка! Так вот, могу вам рассказать о ней, о Лобовой. Бина ее зовут, да?

— Да, да! Что вы про нее знаете? И откуда?

— У нас в Москве в октябре был съезд украинских большевиков. Я там был по разным делам и услышал про Бину. А меня ваш тогдашний рассказ про нее просто потряс, я тогда целыми днями ходил под впечатлением такой страшной, такой трагической судьбы. И когда услышал ее имя, стал расспрашивать и узнал ее дальнейшую историю...

— Ну, ну, голубчик...

— Вы знаете, что она жила с Лобовым в Симферополе во время войны. Лобова арестовали по телеграмме из Москвы, и только через несколько дней до нее дошли московские газеты, из которых она узнала, кем был ее муж... И она заболела.

— То есть?

— С ума сошла. Да и было от чего. Очевидно, крымские товарищи к ней хорошо относились. Когда Симферополь заняли немцы, ее переправили в Киев, в психиатрическую больницу. И не казенную — там могло обнаружиться ее большевистское прошлое, а немцы не посмотрели бы, что она больная... Нашли частную психиатрическую больницу, там был очень порядочный врач, который ее укрыл и лечил. И представляете себе, Павел Карлович, силу душевных потрясений! Они Бину и с ума свели, они ее и вылечили! Вы, конечно, знаете о провале киевского подполья... Так вот, каким-то образом Бина об этом узнала. И — выздоровела! Распропагандировала своего врача, устроила в психиатричке явочную квартиру для большевиков. Представляете себе! В центре Киева, на углу Бибиковского бульвара, она организовала самый настоящий центр киевского подполья! Там и документы изготовляли, там и людей направляли на места. И все это — спокойно так, деловито, под самым носом контрразведки полковника Коновальца. Украинские товарищи чудеса рассказывали про конспиративные способности Бины.

— Да, революционному делу она у хороших учителей обучалась! Ильичи ее любили. Да и все ее любили. И было за что. Бина была всегда такой улыбчивой, жизнерадостной. И знаете, Николай Яковлев был таким же веселым, счастливым. Тридцати пяти ему еще не исполнилось... А может, так и надо — умереть молодым, в бою, не испытав ни старческих разочарований, ни стариковских болезней...

— Нет, Павел Карлович! Хорошо дожить до ваших лет и сохранить в себе все, что вас отличает: честность, прямоту, мужество... Так было нам всем удивительно, когда вы ушли из Наркомпроса, попросились на фронт.

— Меня тогда упрятал в Наркомпрос Михаил Николаевич Покровский. Я сдуру и пошел!.. Мне это не подходило. По-

кровский хотя и состоял доцентом университета, но работал там мало, мало с кем соприкасался. А я в университете всю жизнь! Всех знаю, со многими собачился десятки лет... А с ними надобно работать! Не гнать, не требовать покаяния, а работать. А у меня характер не академический. Полтора десятка лет жил в притворстве, в улыбочке, в спокойствии... А я совсем не такой! И моя настоящая партийная специальность — боевик! И личные некоторые причины были. Словом, попросился на фронт и не жалею об этом!.. Давайте ложиться спать, Василий Иванович. Вы больше суток небось не спали. А завтра нелегкий день. Не зря Шорин в мрачность впал.

Нелегким оказался не только завтрашний день, но и следующие. Шорин был прав. Войска генерала Гайды нанесли удар по Третьей армии, отеснили ее от Екатеринбурга к Перми и 25 декабря взяли Пермь. По приказу Москвы Второй армии была поставлена задача освободить Пермь. Наступление началось сразу же, с первых чисел нового года.

Вот идет уже 1919 год. Трудно воевать в январе в Предуралье. Мороз, многоснежье, метели не январские, а самые что ни на есть февральские. Железная дорога занесена, приходится мобилизовывать горожан и крестьян на ее расчистку. Грунтовые дороги все перемерзены. Утром, еще в темноте, Штернберг садится в возок, чтобы ехать на позиции. Если в штабе Соловьев, то он всегда выйдет проводить, подоткнет ему тулуп, проверит, надел ли он свой знаменитый меховой жилет. Штернберг злится и смеется.

Стоит только выехать за город, как дорога исчезает в сугробах, ездовой гонит лошадей только по чутью. Частенько возок попадает в метель. Тут уж и вовсе нельзя понять, куда тянут лошади. Штернберг вспоминает пушкинские стихи, время от времени спрашивает ездового, не сбился ли он с пути. А то некрасиво получится: привезти в расположение белых комиссара армии... Волки разнахальничались — не только ночью, но и днем иногда гонятся за санями.

Тяжело наступать в такое время! За весь месяц продвинулись всего-навсего километров на тридцать — сорок. Продвинулись и остановились. Шорин с самого начала был против этого наступления. У половины красноармейцев нет валенок, нет ни одной пары лыж, лошади падают от бескормицы, а без лошадей вообще делать нечего — не тащить же на себе пушки, снарядные ящики, продовольствие...

Хорошо, что в командовании фронта сейчас Гусев, который знает Вторую армию не понаслышке. И верит командарму. А Шорин уговаривает командование фронта не растрчивать силы, готовиться к весне, когда начнется наступление белых.

В этом нелегком ожидании проходит зима. Тяжелая, не похожая на прошлогоднюю. Кончились тридцатиградусные январские морозы, заканчиваются февральские вьюги. Снег становится сырым, плотным. Дороги начинают понемногу развозить, все переброски грузов сейчас идут ранним утром, когда прочный наст выдерживает даже тяжело груженные сани.

Наступление белых началось раньше, чем это предполагал даже сверхосторожный Шорин. 4 марта фронт пришел в движение. Оседлав все дороги, поставив своих стрелков на лыжи, Гайда ударил в стык двух армий: Второй и Третьей. Южнее основные силы Колчака нанесли удар по Пятой армии и уже 14 марта заняли Уфу.

Штаб Второй армии начал стремительно перемещаться на запад. Командарм спешно выводил свои силы из-под удара белых. Шорин был уверен, что наступление белых выдохнется, как только окончательно развезет дороги. Так оно и получилось. Части генерала Гайды увязали на раскисших дорогах в проснувшихся болотах. Полки Второй армии свободно уходили на запад.

Конечно, в этом быстром марше было и что-то бесконечно грустное — как во всяком отступлении. Газеты, выпускаемые Штернбергом, десятки агитаторов убеждали красноармейцев, что отступление временное, что наступательный порыв белых скоро выдохнется. Штернберг верил, что не за горами наше ответное наступление. А все-таки... А все-таки они уходили из городов и сел, оставляя в страхе бедноту и торжествующих бывших чиновников, крупомолов, лабазников... 7 апреля пришлось оставить Воткинск, а через неделю и Ижевск. А потом и пойти до реки Вятки.

В начале отступления армии, когда красные оставили Оханск и Осу, а штаб Второй армии выехал из Сарапула, Штернберг остановился на ночевку в большом селе. Квартирмейстер привел его в огромный деревянный дом, где когда-то под одной крышей находились и постоялый двор, и трактир, и лабазы. За несколько часов до Штернберга туда приехал Соловьев и, как обычно, заботливо встречал Штернберга: стаскивал с него тяжеленный тулуп, помогал снять мокрые валенки. На раскаленной плитке уже плевался кипящий чайник, в углу были свалены большие пачки газет.

— Неужто московские, Василий Иванович? — радостно спросил Штернберг. — Почти десять дней не было!

— За целую неделю привезли. Они, оказывается, два дня назад были доставлены в штаб и вместе с нами отступали...

— Смотрели у же? Есть новости?

— Смотрел,— виновато ответил Соловьев.— Как не быть новостям! Разным — и хорошим, и плохим...

— Ну, давайте с плохих. Лучше начинать с них,— решительно сказал Штернберг.

Несгибающимися от холода пальцами он взял серый тонкий лист газеты. Это были московские «Известия» от 20 февраля. Штернберг посмотрел на первую полосу, перевернул газету. В отвратительно черной рамке мелькнула фамилия. Такая знакомая, такая бесконечно родная... Гопиус! В некрологе по-военному кратко сообщалось, что 15 февраля от сыпного тифа скончался заместитель военного комиссара Московского района по инженерной части, активный участник октябрьских боев в Москве Евгений Александрович Гопиус...

Уронив газету на колени, Штернберг сидел прямо, уставившись в деревянную стену. В его ушах вдруг зазвенел резкий голос Гопиуса, он вспомнил его лицо, саркастическую улыбку, спокойствие в самые трудные минуты. Вот ушел и еще один спутник его жизни. Да, Гопиус сопровождал его почти все годы жизни в партии. Мятушийся, не признающий никаких авторитетов Гопиус, нашедший себя окончательно лишь в дни октябрьских боев. И проживший после этого только полтора года...

— Да, да, хорошо его помню,— сказал Соловьев.— Несмотря на всю его резкость, в нем было что-то необыкновенно привлекательное. Неординарность, что ли? Он был какой-то неожиданный...

— Он был надежный,— устало сказал Штернберг.— Он был нравственно надежным человеком. Он всем казался неожиданным в речах и поступках... А в действительности у него был совершенно железный круг нравственных представлений, и он никогда не переступал его. Никогда не изменял своей совести, на него можно было положиться, как на каменную гору. Но и горы не вечны. На семь лет моложе меня был Женя... Устал я от смерти молодых, Василий Иванович. Идет война, каждый день гибнут на моих глазах прекрасные молодые люди, полные сил. А меня, старого и обомшелого, ни пуля, ни сыпняк не берут...

— Павел Карлович, бедный вы мой, я понимаю, что значит терять близких... Но что же мы с этим можем сделать? Нам, оставшимся, надо продолжать жить. И драться. И работать.

— Да, надо. Если завтра будет дневка, организуем бойцам баню. Мне возница сказал, что тут не только по избам бани, но есть одна общая. Натопим ее, пусть хоть несколько сот красноармейцев помогутся. Вот и будет им и отдых и удовольствие. А я сейчас лягу. Ужинать не хочу, извините меня, милый...

...Весну Вторая армия встречала на реке Вятке. Впрочем, это уже была не только Вторая армия. Восточный фронт укреплялся с каждым днем. Чуть ли не ежедневно прибывали из центра подкрепления, оружие, боеприпасы. Вторую и Третью армии объединили под командованием Шорина. И Шорин — теперь уже не командарм, а командующий группой войск — все дни в дивизиях: давал разгон командирам полков, голос его гремел с неумолкающей силой.

Контрнаступление красных армий началось на юге Восточного фронта в самых последних числах апреля. По вечерам, когда командование собиралось вместе, все с нетерпением вслушивались в тихое телеграфное пощелкивание в соседней комнате. Оттуда приходили фронтовые новости. Они были хорошими, эти новости. Дивизии Эйхе и Чапаева опрокинули фронт белых, перерезали железную дорогу и двигались на Бугульму. 13 мая красные войска освободили Бугульму.

В городе со странным татарским названием Мамадыш штаб двух армий Восточного фронта готовил свой удар. Бурная северная весна уже заканчивалась. Леса опушились, болота затянулись свежей зеленью, и теплыми вечерами комариные орды начали свои зверства.

В двух газетах — русской и татарской — Штернберг печатал советы о том, как бороться с «комарами — помощниками белогвардейцев»...

Шорин не стал ждать, когда подсохнут лесные дороги. 25 мая Вторая армия перешла в наступление. Уже на следующий же день передовые части Красной Армии ворвались в Елабугу. Кама была совсем рядом!

— Насколько, товарищи, веселее и легче было по болоту наступать, чем отступать! — сказал вечером на митинге Штернберг.

И уставшие, насквозь промокшие красноармейцы захохотали, глядя на своего комиссара — старого, но бодрого, мокрого, но веселого.

А Штернберг, придя в штаб, еще долго сидел на скамейке. У него не было сил снять с себя мокрую шинель. Соловьев заставлял его выпить горячего чая, укладывал в постель, накрывал теплым. И полночи не спал, слушая, как в соседней комнате заходится глухим и натужным кашлем старый московский профессор. Однажды утром, глядя, как Штернберг отнимает от рта запачканный кровью платок, Шорин решительно сказал:

— Довольно, профессор! Еще не хватает, чтобы у меня единственный во всей Красной Армии профессор-комиссар ноги протянул! Надо вам уезжать лечиться, Павел Карлович! Ижевск вчера взяли, завтра-послезавтра возьмем Воткинск. Вы

свое дело сделали, привели, как обещали, красноармейцев снова на наши старые позиции. А теперь следует вам подлечиться, чтобы не пасть смертью храбрых, как вы говорите на митингах...

— Ах, Василий Иванович! — устало ответил Штернберг. — Для комиссара такая смерть еще завиднее, чем для красноармейца! Особенно когда красноармеец молод, полон сил, а комиссар стар и жизнь у него на излете... Армия наступает, а я лечиться буду!.. Да и есть телеграмма из Москвы, чтобы Соловьев выезжал в распоряжение ЦК. Так что, армию без комиссара оставлять? А вы, Василий Иванович, известный бурбон, баши-бузук и сорвиголова... Вас нельзя оставлять без старческого присмотра. Вот обещаю: как возьмем Пермь, поеду лечиться. Чтобы успешнее с вами справиться.

В первых числах июля в летней жаркой Перми Штернберг сидел за круглым дачным столом в саду большого дома, где расположился только что переехавший штаб армии. Дышать было тяжело, он уперся руками в толстую дубовую столешницу и не сводил глаз с зеленого моря полей, лугов и лесов на том, низком берегу Камы. В таком виде и застал его Шорин. Он сделал вид, что не замечает состояния своего комиссара, уселся рядом, вытер лицо платком и мечтательно сказал:

— Чем воевать, сидеть бы тут, за этим столом, и пить чай с медом и свежим калачом. Тут мед знаменитый, Павел Карлович! Поедете в Москву — захватите с собой. Я это устрою.

— Почему это в Москву?

— Только что пришла телеграмма из Москвы: направить вас для лечения. Согласен с этим. Нам еще воевать да воевать. От Перми до Владивостока далеко. Хочу еще с вами поработать! Я бы, может, и своими дедовскими средствами вас полечил, да, очевидно, армию нашу перебросят на юг, а я получу другое назначение. Пока суд да дело, вы подлечитесь, отдохнете, Москвой подышите, а потом ко мне... Сюда или на юг — куда пошлют. А?

Восточный фронт

Сколько же он пробыл в Москве?.. Неужели только два месяца! Штернбергу казалось, что не месяцы — годы отделяли его от всего, что неустанно продолжало жить в его памяти: серые туманы над вятскими болотами; холодная неуютность северных рек; красноармейцы, проваливавшиеся в оседающих сугробах; тревожные ночи в глухих селах; разбитые дороги,

по которым весело наступать и тоскливо отступать...

Москва была жаркой, пыльной, голодной и тревожной. Штернберг полежал в больничке, и осматривавший его старый и милый знакомый Владимир Александрович Обух сердито ему сказал:

— Старик должен быть стариком, Павел Карлович! Я сам старик и поэтому имею право так говорить! Каким мы вас отпустили из Москвы и каким вы приехали сюда! Хорошо знаю, что, пока мы тут в тылу сидели, вы воевали, а не по балам шатались... Но мне уже передали, как вы себя неразумно вели! Как будто вам двадцать пять лет, а не пятьдесят пять... Владимир Ильич требует, чтобы таких, как вы, за такое поведение судили, как за хищническое отношение к важнейшему партийному достоянию! Да. Вот при первой встрече с ним все ему про вас расскажу!..

— Да хватит вам ворчать, Владимир Александрович! И не лезьте в старики, не примазывайтесь к нам — вам еще и пятидесяти небось нету! Просто сыровато там у нас было. А я орловец все же, привык к теплу. Вот передохну, поеду к своему Шорину. Он переехал на Южный, где-то около Дона. Вот поеду в какую-нибудь его армию, там погреюсь. Там сейчас горячее, чем хотелось бы...

— Это мы, врачи, будем решать, куда вам ехать и поедете ли вообще. Вот так. Так что, милый Павел Карлович, поезжайте в санаторий и бережно отнеситесь к самому себе, поскольку вы — собственность казенная. Правда. Поедете в Ильинское. Там хорошо, много знакомых вам товарищей живет. И ваш университетский коллега Климент Аркадьевич Тимирязев. Вот славный и интересный человек... Словом, езжайте, а там и видно будет!

...Ну, вот и пожил он в Ильинском. Милое подмосковное место. Когда-то, в незапамятные времена, в конце прошлого века, снимал здесь дачу. Играл с детьми в крокет, бегал с сачком за бабочками, много часов исхаживал в ближайшем лесу. Теперь он уже и не бегал, и не ходил ни по лугам, ни по лесам. Ходил по коротенькой усыпанной песком дорожке. А больше сидел в тени под старым дубом в плетеном кресле. Почти всегда усаживался рядом Тимирязев. Штернберг был рад встретиться с этим глубоко симпатичным ему человеком. Всю свою долгую университетскую жизнь он привык видеть в профессоре физиологии растений олицетворение всего лучшего, что он ждал от университета. Но университет — это такое для него давно прошедшее и даже неинтересное...

Тимирязев оказался более молодым и живым, чем он мог себе представить. Тимирязеву было необыкновенно интересно все, что видел и пережил его университетский коллега на фронте. Тимирязев расспрашивал про красноармейцев; про то,

как относятся друг к другу в армии русские и татары; идут ли в Красную Армию вотяки; как себя ведут на фронте бывшие царские офицеры.

С удивлением думал Штернберг о том, что этому всем интересующемуся человеку с молодыми глазами и молодыми интересами, кажется, уже семьдесят шесть лет... Что он, считающий себя стариком, годится Тимирязеву в сыновья. Какая же все-таки это глупость — думать, что жизнь на излете, приходит к концу... Ему еще двадцать два года до возраста Тимирязева! И если он проживет эти годы, то сколько впереди еще работы, а значит, и радостей!

По многу часов рассказывая Тимирязеву о Восточном фронте, он чувствовал себя так, как будто он и не покидал фронта. Так, отлучился на время, поехал по делам и скоро вернется назад... А вернуться назад ему хотелось. Как только улегся кашель, прошла бессонница, как только сделал первую настоящую прогулку...

Начал ездить в Москву. Сначала по делам семейным, родственным, даже поинтересовался обсерваторией. А потом надо было отбиться от попыток привязать его к академической колеснице. Это все старался Михаил Николаевич Покровский — сердился, когда Штернберг решительно отказался даже разговаривать о возвращении в университет. Хорошо, что в ЦК фамилия Штернберга была связана не с обсерваторией, не с «разрезом Штернберга», а с октябрьскими боями в Москве, с контрнаступлением армий Восточного фронта, с войной и только войной.

Да и трудно было в это лето 1919 года думать о чем-либо кроме войны. Дела были так плохи, как никогда еще не было... Деникин готовился к решительному прыжку на Москву. Его армии уже заняли всю правобережную Украину, Одессу, Киев. Мамонтовский корпус прорвался в наши тылы и в начале сентября захватил Воронеж. 20 сентября Деникин занял Курск.

К этому времени Штернберг решил, что дальнейшее его пребывание в санатории, прогулки по дорожкам, беседы под тенистым дубом становятся кошмарными, безнравственными... Нет, скорее туда, на фронт, где сейчас — не когда-нибудь, а только сейчас — решается судьба революции! Ему не пришлось особо убеждать товарищей в Центральном Комитете. Но к Шорину он так и не попал. Шорин в это время командовал двумя армиями на Южном фронте, находился в тяжелых боях, и у него были укомплектованы реввоенсоветы армий. Штернбергу предложили ехать снова на восток.

Как и следовало ожидать, неудачи красных войск на юге не могли не сказаться на положении Восточного фронта. Белые усилили нажим, красным войскам пришлось отступить

за реку Тобол. Словом, там все было довольно тяжело. Штернберга назначили членом Реввоенсовета Восточного фронта. Фронт надо было приводить в боеспособность и начинать наступление на Колчака, не давая ему времени оправиться от весенних поражений.

— К кому же я поеду? — спросил Штернберг. — Кто командует фронтом? И кто еще входит в Реввоенсовет?

Склянский, с которым Штернберг разговаривал, внимательно посмотрел на него, поправил пенсне и сказал:

— Командует фронтом очень опытный командир, старый генштабист, участвовавший еще в русско-японской войне. Владимир Александрович Ольдерогге — один из первых царских генералов, начавших у нас работу. В Красной Армии с весны прошлого года. Знающий человек, и мы ему верим. Но ему нелегко с нами, и нам не просто с ним. Членом Реввоенсовета у него очень толковый человек. Настоящий самородок, природный организатор. Но без образования...

— Ага! Значит, вы меня к генералу из-за моего профессорства?

— И из-за этого тоже, товарищ Штернберг. И Ольдерогге, да и кому бы то ни было, безусловно, импонирует и внушает всяческое уважение ваше академическое прошлое, ваше образование. И мне, знаете, лестно, Павел Карлович, что в кадрах Красной Армии есть такие товарищи. Но кроме того, общеизвестно, что вы имеете за плечами боевой опыт, хорошо знаете фронт, умеете работать с самыми разными людьми. Уж на что у Шорина отвратительный характер, а вы ему очень симпатичны. Он просил вас к себе...

— А у Ольдерогге характер такой же, как у Шорина?

— Полная ему противоположность. Безупречный академик. Впрочем, сами увидите.

— А мой товарищ по комиссарству, самородок, — это кто?

— Он москвич. Так что, может быть, вы его и знаете. Константин Гордеевич Максимов.

— Ох! Начальник нашей разведки в октябре! Вот какая будет у меня приятная встреча!

— Ну, вот как прекрасно получается. От вас многое будет зависеть, Павел Карлович, и мы на вас надеемся. Поезжайте безотлагательно. Со штабным вагоном. Мы его отправляем в Уфу. Когда можете выехать?

— Хоть завтра.

Выехал не завтра. Только через два дня. И странно употребил эти дни. Не сидел в Реввоенсовете и ЦК, не предавался отцовским радостям, не встречался с милыми ему людьми, многих из которых не видел чуть ли не с октябрьских боев...

Ходил по Москве. И не вообще по городу, который он любил и знал, а по своему родному кусочку Москвы — по Пресне.

Были последние сентябрьские дни «бабьего лета». Тепло. Безветренно. Непривычно тихо на улицах, на заставе. Не дымят трубы Прохоровской мануфактуры, не гремит, не стучит на заводе Грачева, и не тянутся запряженные битюгами платформы с тюками хлопка или мануфактуры. Не видно извозчиков, только изредка профырчит и проедет, обдав улицу клубами синего дыма, старый военный автомобиль.

Можно не торопясь пройтись по переулкам, по которым столько раз ходил по ночам с Варварой; можно постоять у ограды церкви в Предтеченском переулке, как некогда стоял там с Другановым... Прошагать по Прудовой улице, вспоминая, как вот почти в такой же теплый осенний день ходил тут с Колей Яковлевым... Скоро будет уже два года, как взяли власть в свои руки. Два года! Нельзя уже об этом поговорить ни с Колей, ни со Славой Другановым, ни с Гописом... Что же — они хорошо погибли. Как это говорится, сложили головы. Не зря, не по-пустому, за дело. Он вспомнил последние слова Друганова: «Почти на баррикаде... Как мечталось...»

У Штернберга сейчас исчезло ощущение своего стариковства, усталости от длинной жизни. Все правильно, все хорошо сделано: он полечился, отдохнул, он едет драться на фронт, ему доверена одна из самых ответственных военных должностей в Республике. Значит, он еще в силах работать! И он работает. А сейчас ему хотелось просто-напросто походить по родным местам, насытиться ими, потому что там, на Востоке, ему уже некогда будет ни вспоминать Москву, не предаваться той неизнуряющей и спокойной грусти, которая сейчас им владела.

Штернберг прошел огромным пыльным пустырем площадь Камер-Коллежского вала и направился по небольшой улице между двумя кладбищенскими оградами. Справа — Армянское, слева — Ваганьковское. Старое, простонародное кладбище. Не аристократическое Донское, не купеческое Даниловское, не интеллигентское Новодевичье... Здесь в огромной братской могиле зарыли тысячи людей, подавленных на Ходынке; здесь зарыли, а потом сровняли с землей могилы расстрелянных полковником Мином рабочих с Трехгорки; тут похоронили Баумана; этой весной похоронили здесь его товарища по октябрьским боям, по Красной гвардии Алексея Ведерникова...

Штернберг зашел в кладбищенские ворота и не спеша пошел между памятниками, деревянными крестами. Он никогда не боялся смерти, не думал о ней. Столько он за последние два года насмотрелся смертей молодых и цветущих людей, что с каким-то удивлением относился к тому, что ему уже за полвека,

а он еще жив!.. И даже засмеялся, вспомнив старую немецкую поговорку: после пятидесяти лет надо считать, что каждый день — это чаевые, которые тебе дает бог... Он уже много таких чаевых дней получил. И надо надеяться, еще получит! Поедет на Восток и вместе с Красной Армией двинется гнать Колчака, интервентов, гнать их туда, в сибирскую тайгу, в забайкальские степи, к Тихому океану, чтобы покончить с гражданской войной!

Чем он тогда займется? Кончится война, кончится и его военная деятельность. Опять университет? А почему бы и не вернуться к гравиметрии? Продолжить «разрез Штернберга» за пределы Московской губернии? Он представил себе такую славную, сухую, теплую осень и себя со студентами в какой-нибудь дальней экспедиции: натянуты палатки, потрескивает костер; расселись вокруг юноши и девушки и слушают его рассказы... И не только о гравиметрии и планетах и звездах. Ему есть о чем рассказать!

Никогда, пожалуй, он не чувствовал себя таким здоровым, спокойным, уверенным в своих силах. Уверенным в победе над врагом, в том, что преодолеют блокаду, разруху; что все будет так, как об этом мечталось в те далекие дни, когда он сидел в своем глубоком подполье... Он шел по дорожкам кладбища, подняв голову, во весь свой могучий рост, таким, каким любовались им красногвардейцы в Замоскворечье, красноармейцы в вятских лесах. Он шел победно по старому московскому простонародному кладбищу, на котором его через четыре месяца похоронят...

Штабной вагон, который ему предоставил Склянский, наверное, был старым еще в прошлом веке. В нем ехали, кроме него, другие командиры — молодые, горластые и веселые. На узловых станциях они добивались, чтобы их вагон прицепили к первому же поезду; они бегали за кипятком, покупали свежий хлеб. К Штернбергу относились с почтительным восхищением и не мешали ему думать о будущей работе, о встрече с Максимовым, о том, как сложатся отношения с командующим фронтом, об агитаторской работе среди белых, насильственно мобилизованных в колчаковскую армию... Ему было о чем подумать, пока их скрипучий вагон не остановился у старого с башенками вокзала, на фронтоне которого написано: «Уфа».

На вокзал за Штернбергом приехал Максимов. Они радостно засмеялись, глядя друг на друга. Штернбергу казалось, что он увидит члена Реввоенсовета фронта в новенькой, с иголки, военной форме, в новеньких скрипучих ремнях с блестящим оружием — таким же щегольским и молодеватым,

каким всегда, в самые горячие дни боев оставался начальник разведки Московского ВРК. Но Максимов был другим: не щеголеватым, совершенно штатским. И френч на нем был потертый, из-под него выглядывал старый, заношенный свитер. Уже не было в Максимове той молодой свежести, которая всегда вызывала восхищение Штернберга.

— Что, постарели мы с вами, Константин Гордеевич?

— Постарели, профессор. И было с чего. Вы не обижаетесь, что я вас так называю? По-старому. Как тогда в Москве. Поедьте сначала ко мне. Я ведь сейчас человек семейный. Да, да, представьте себе. Жена нас покормит. А потом отведу вас на вашу квартиру.

— А представиться командующему? Наверное, не любит вольностей? Все же не профессоришка, а генерал-майор... Строгий!

— Ах, если бы он был таким, наш милейший Владимир Александрович! Это прекраснейший, мягкий, милый человек. Ему надобно бы читать историю каких-нибудь римских войн на Высших женских курсах, а не Восточным фронтом командовать!.. Умница, знающий дело, и я ему безусловно верю, он честнейший человек. Но он академист, любит, чтобы все было поставлено так, как их обучали в академии. И окружил себя такими — штабистами... Ну, сами увидите, Павел Карлович. Я вам собираюсь сдать все чисто комиссарские обязанности, а самому заняться только мелким делом. Оно, на мой простой мастеровой взгляд, самое важное.

— Какое же?

— Наступать будем зимой. И не в Крыму, а в Сибири. Сейчас октябрь, к ноябрю всю армию необходимо обути в валенки, одеть в полушубки — без этого здесь нельзя воевать. Надо у крестьян заготовить продовольствие. Вот этой материей и буду заниматься. Ну, и не ждать, когда нам пришлют винтовки и патроны из Тулы, а организовать производство оружия на уральских заводах. Вот вся моя мелочная работа.

— Да уж, мелочная...

Командующий фронтом принял Штернберга почти восторженно. Конечно, Максимов преувеличивал академическую застенчивость Ольдерогге. Он был стопроцентным военным, требовал дисциплины и не мог привыкнуть к отсутствию внешних ее проявлений. И действительно любил ссылаться на примеры, взятые чуть ли не из истории пунических войн, ведшихся Ганнибалом против Рима. Он страдал от того, что его исторические экскурсии выслушивались комиссаром фронта и командующими армиями в подозрительном молчании... После того как он заговорил об этом с новым членом Реввоенсовета

и бывший ученик Орловской классической гимназии прочел по памяти, на превосходном латинском языке, отрывок из Тита Ливия, он со Штернбергом стал обращаться, как с драгоценным хрустальным сосудом: бережно и с любовью.

Ольдерогге свое дело знал. 4 октября Штернберг приехал в Уфу, а уже 15 октября фронт начал наступление. Основной удар наносила Третья и отдельная Пятая армии. Через несколько дней они форсировали Tobол. Штаб командующего Пятой армией находился уже далеко на востоке, в Петропавловске. Штернберг, оставив Ольдерогге с Максимовым в Уфе, выехал в Петропавловск.

Командующий Пятой армией Тухачевский ему понравился. Молодой, быстрый, сдержанный в словах. Каждый его приказ был ясен, лаконичен и приводился в исполнение немедленно. Настоящая «военная косточка». И не военспец, а партиец. С восемнадцатого года в партии.

— Вы, Михаил Николаевич, кажется, кадровый военный? — спросил Штернберг, когда он после первого заседания Реввоенсовета остался с Тухачевским наедине.

— Да. Кончил Александровское училище. Во время войны служил поручиком в Семеновском полку.

— Лейб-гвардии Семеновский полк... Памятный полк...

— Да, знаю. У вас с ним особые счеты.

— Откуда вы знаете?

— Я про вас много знаю, Павел Карлович. Мне про вас много и любовно говорил Гопнус.

— Вы знали Евгения Александровича?

— Он был моим заместителем по инженерной части, когда я прошлым годом командовал московскими военными силами. Интересный был человек. Очень. Считал вас своим учителем и талантливым военачальником. Рад, что сюда вы приехали, а не Ольдерогге. Я хотя и профессиональный военный, но ценю всякий свежий и непредубежденный взгляд на вещи.

— Насчет непредубежденного вы правы. Что ж, будем воевать вместе, Михаил Николаевич. Значит, наступаем на столицу Колчакии?

— Да. Удар на Омск.

От Петропавловска до Омска — железная дорога. Но наступление Красной Армии шло и параллельно — по шоссевым трактам, по проселочным дорогам, а то и вовсе по лесу и болотам, скованным первыми морозами. Передовые части Пятой армии с помощью бронепоездов пробивались вперед по магистрали. Было известно, что Омск забит военным имуществом, оружием. А в Омской тюрьме сидят сотни большевиков-подпольщиков и партизан.

— Михаил Николаевич,— говорил Штернберг Тухачевскому,— нельзя дать Колчаку спокойно эвакуироваться из Омска. Пусть бегут в одних подштанниках! И чтобы не успели, мерзавцы, расправиться с пленными! Бойцам необходимо так и говорить: «Вперед, спасайте товарищей!» А с тылами я тут останусь и буду подгонять их вперед, не дам им оторваться от передовых частей...

— Вы и вправду хороший военачальник. Будет выполнено, товарищ комиссар фронта!

...Вторая годовщина революции. Третий раз он проводит эти ноябрьские дни в боях, в наступлении. Да не в отступлении, а в наступлении! Два года назад начали наступление из Замоскворечья на белый центр; год назад в эти дни взяли Ижевск; сейчас уже наступают на столицу «верховного правителя Российского государства», на самое логово Колчака.

Наступать — не отступать. Наступать весело! Морозы еще не очень большие, но уже дороги стали твердыми, артиллерию можно переправлять прямо по льду. Максимов обул наступающие части в валенки, прислал только что сшитые овчинные полушубки и папахи, шлет с Урала боеприпасы и оружие.

Из России известия все утешительнее, все радостнее. Советская конница разбила дивизии Мамонтова и Шкуро. Красная Армия освободила Воронеж, Курск и гонит денкинцев на юг. Юденич остановлен под самым Петроградом, выбит из Царского Села, его армия панически отступает!.. Поездная походная типография каждый день печатала эти радостные новости, листовки Штернберг рассылал во все части армии, жалел, что у него нет аэропланов, чтобы рассыпать их над позициями белых.

14 ноября Красная Армия ворвалась в Омск. Бойцы переправлялись через еще не замерзший Иртыш ночью. Переправлялись на зыбких лодках, на плотках, на двух-трех еле сколоченных бревнах. Белым и в голову не приходило, что красные могут ворваться в город, не наведя предварительно понтонные мосты, не переправив артиллерию. Навстречу мокрому, обледенелым красноармейцам, взбиравшимся с берега по скользкому, обледенелому взвозу, бежали вооруженные подпольщики, рабочие. Колчаковцы еще не успели удрать, а бойцы Пятой армии уже разбивали ворота Омской тюрьмы.

Штернберг подгонял тылы армии, организовывал отгрузку боеприпасов и продовольствия, выпускал газеты, организовывал в деревнях Советскую власть, проводил митинги. К вечеру он не то что уставал — встать с места ему бывало трудно. И поэтому частенько оставался ночевать в каком-нибудь селе,

вместо того чтобы добраться до своего вагона, где у него своя койка, всегда кипяток и чай.

Вагон двигался на восток вместе со всей армией, тогда Штернберг отдыхал, расслаблялся и даже напевал старую-старую песню: «Укрой, тайга...» Он пел ее давным-давно, когда так же смотрел, как проносится тайга за окном. Ехал в Сибирь к Варваре, в ее нарымскую ссылку... Ехал благообразный, почтенный, молодой еще ученый господин с черным шелковым галстуком, накрахмаленном воротничке. Смотрел в окно на перроны станций, где расхаживали в синих мундирах с аксельбантами жандармы. Каждый из них мог его задержать, обыскать, отобрать то, что он вез Варе... Как же все изменилось! Всего за каких-нибудь девять лет! Комиссар Восточного фронта Красной Армии чувствовал себя намного лучше, чем тогда доцент Московского университета! Ничего! Он еще доберется до самого Тихого океана! Никогда там не был, все мечтал побывать во Владивостоке.

К Омску Штернберг подъехал не по железной дороге. Сибирский мороз сделал свое дело. Реки стали, переправляться можно везде, где хочешь. Даже Иртыш замерз. На другой стороне широкой реки был виден Омск: церкви, серые дома, столбы дыма, поднимающиеся к морозному небу. По реке уже проложен зимник, по нему ехали подводы, и видно было, как обгоняет их легковой автомобиль. Наверное, за ним...

Действительно, Тухачевский прислал за Штернбергом свою машину. Шофер в роскошном кожаном пальто на меху пренебрежительно посмотрел на высокого старика в простой красноармейской шинели.

Автомобиль спустился на лед и помчался по реке. Штернберга трясло на неровной ледяной дороге. На каком-то толчке машина вдруг осела, и ноги Штернберга мгновенно очутились в ледяной воде. Он привстал. Вода заливала машину, дверь уже не открывалась, зажатая льдом... Шофер и сидевший рядом с ним порученец успели выскочить и старались вытащить из полузатопленной машины комиссара. Штернберг перелез на переднее сиденье и вышел из машины.

Шофер злобно и тихо ругался. Он сел за руль, завел машину, порученец толкал ее сзади. Штернберг присоединился к нему. Автомобиль пытел, фырчал. Прошло, наверное, минут тридцать, пока он не выбрался из полыньи. Штернберг распрямился. Он был совершенно мокрый, но не чувствовал холода — толкал машину, как молодой. Есть еще, оказывается, в нем силенка!

Порученец почтительно смотрел на могучего старика. Ах, плохо он везет комиссара фронта, промок насквозь, попадет ему от командарма... Автомобиль уже без всяких приключений переехал Иртыш, выехал в город и привез Штернберга в штаб

армии. Вот теперь он самостоятельно уже не мог выйти из автомобиля. Шинель на нем замерзла и стала похожа на ломкий и тяжелый панцирь. Даже борода превратилась в комок льда, а сквозь заледенелые очки Штернберг ничего не видел. Порученец за руку привел Штернберга в кабинет командующего, где его ждали Тухачевский и Смирнов.

Сколько же он после этого жил? То есть сколько же он еще работал?

Штернберг думал об этом в те часы, когда перед рассветом у него на какое-то время спадал жар. Сколько же он успел еще поработать: день, два, неделю?.. Не помнил. Сначала гневно отказывался от сочувствия, врачей, отдыха. А потом сразу же рухнул. Мгновенно ушел в беспамятство, в тяжкий, непроходимый бред. В маленькой больничке, куда его положили, лежал один в палате. И когда приходил в себя, бесконечно, мучительно страдал от своей беспомощности, от того, что армия движется на восток без него. Все, все двинулись туда, а он здесь один в городке, который снова стал небольшим тыловым сибирским городком. Последнюю радость испытал, когда ему принесли телеграмму Тухачевского: 14 декабря выбили белых из Новониколаевска, Пятая армия наступает на Красноярск.

А ему осталась больничная койка, консилиумы, попеременные беспамятство и слабость. И тоска, внезапно напавшая на него с такой силой, что не знал, куда себя девать.

...Открыл глаза и посмотрел на вошедшего комиссара армии Смирнова. От него веет морозом, свежим воздухом, здоровьем, тем, что у военных называется «духом наступления». Сел у постели, осторожно поднял руку Штернберга и тихонько пожал.

— Сейчас, Павел Карлович, я участвовал в медицинском синклите. Наши армейские и здешние городские эскулапы говорят, что у вас гнойный плеврит и, дескать, это затяжная штука. Я доложил в Москву. Там сказали — да пришлите его береженько к нам, и мы его мигом и спокойно поставим на ноги. И решили мы с Михаилом Николаевичем отправить вас в столицу. А у меня насчет вас есть одна мыслишка... Пока подлечитесь: больница, санаторий, то да се — съезд партии соберется. От нашей армии, наверное, будем посылать двух или трех человек с решающим голосом. Вот вас как раз и выберем делегатом. А может, и я поеду. Я же должен быть тоже на съезде как кандидат в члены ЦК. Вот и встретимся там. А?

Ничего не ответил Ивану Никитичу. Посмотрел на него тихо, из последних сил махнул рукой и закрыл глаза.

...В Москву! В Москву! В старую, милую, уютную Москву! Где его дети, его близкие и друзья, где Ленин, где университет

и обсерватория, где милый доктор Владимир Александрович Обух на него сначала накричит, а потом его вылечит... Чтобы он мог ходить по Пресне, заседать на партийном съезде... И к тому времени покончат с Колчаком... И с Деникиным... Ну и что ж — он помирится с Покровским, действительно возьмется за работу в университете, начнет ездить со студентами по России. По Советской России.

И счастливо улыбнулся, когда пришли за ним врачи и санитары, чтобы везти его. В Москву. Домой. На Пресню.

На небольшой кусок пресненской земли за невысоким каменным забором.

СОДЕРЖАНИЕ

Шестая станция	3
Сила тяжести	253

К читателям

Отзывы об этой книге
просим присылать по адресу:
125047, Москва, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.

Литературно-художественное издание

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Разгон Лев Эммануилович

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ответственный редактор
И. В. Омельк

Художественный редактор
В. А. Тогобицкий

Технический редактор
Е. В. Буташина

Корректоры
Л. А. Лазарева, А. П. Саркисян

ИБ № 11498

Слано в набор 20.11 87. Подписано к печати 06.05 88.
Формат 60×90^{1/16}. Бум. типогр. № 1. Шрифт литератур-
ный. Печать высокая. Усл. печ л 29,0. Усл. кр.-отт. 29,5б.
Уч.-изд. л. 27,15. Тираж 100 000 экз. Заказ № 7502.
Цена 1 р. 40 к.

Орден Трудового Красного Знамени и Дружбы народов
издательство «Детская литература» Государственного ко-
митета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книж-
ной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский
пер., 1.

Ордена Трудового Красного Знамени ПО «Детская книга»
Росглаволиграфпрома Государственного комитета
РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли. 127018, Москва, Сушевский вал, 49

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

1р. 40к.